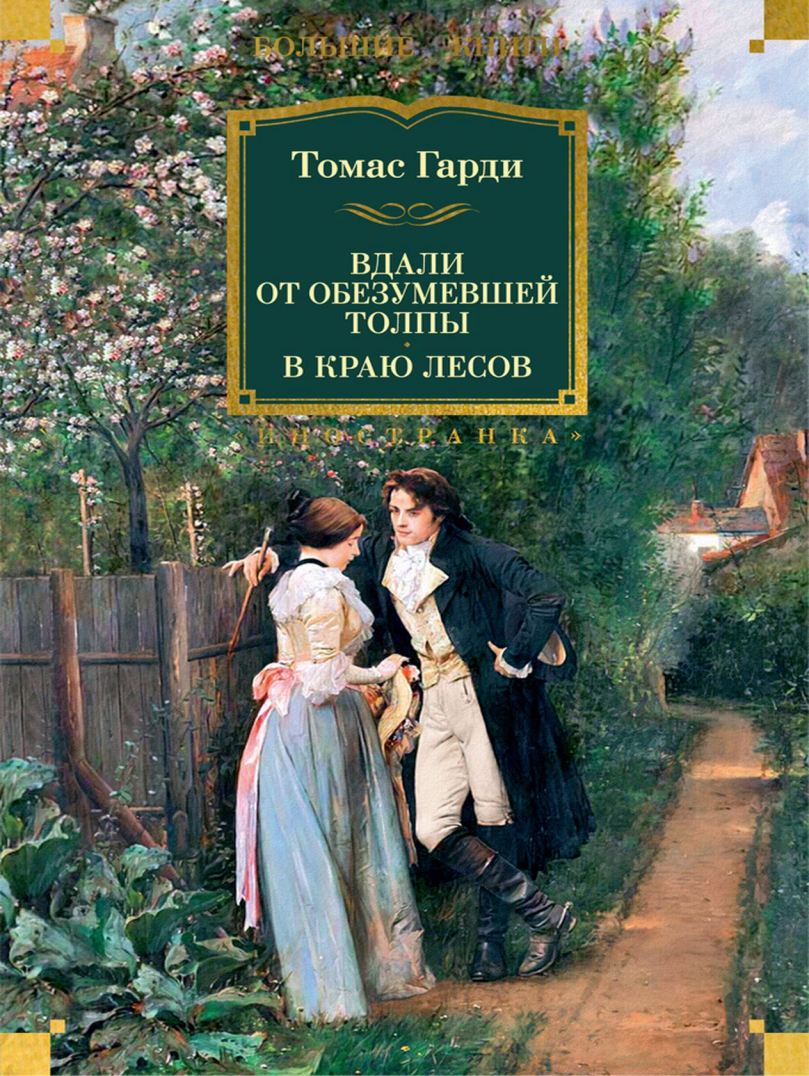
БОЛЬШИЕ КНИГИ

Томас Гарди

ВДАЛИ ОТ ОБЕЗУМЕВШЕЙ ТОЛПЫ

В КРАЮ ЛЕСОВ

«ИНОСТРАНКА»



Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов

Томас Харди

Аннотация
Томас Гарди. Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов
Вдали от обезумевшей толпы
Вступление
Глава I. Портрет фермера Оука. Происшествие
Глава II. Ночь. Отара. Бытовая картинка. Еще бытовая картинка
Глава III. Девушка на лошади. Разговор
Глава IV. Габриэль решается. Визит. Ошибка
Глава V. Батшеба уехала. Пастушеская трагедия
Глава VI. Ярмарка. Путешествие. Пожар
Глава VII. Так они встретились. Боязливая девушка
Глава VIII. Солодовня. Погуторили. Новости
Глава IX. Усадьба. Посетитель. Полупризнание
Глава X. Хозяйка и батраки
Глава XI. У казарм. Снег. Свидание
Глава XII. Фермеры. Правило. Исключение
Глава XIII. Гадание по Библии. Письмо-шутка на Валентинов день

Глава XIV. Действие письма. Восход солнца
Глава XV. Утренняя встреча. Еще одно письмо
Глава XVI. Всех Святых и Всех Усопших
Глава XVII. На хлебном рынке
Глава XVIII. Болдвуд раздумывает. Раскаяние
Глава XIX. Мойка овец. Предложение
Глава XX. Затруднительное положение. Они точат ножницы. Ссора
Глава XXI. Несчастье в загоне. Записка
Глава XXII. Большая рига и стригачи
Глава XXIII. Вечером. Второе объяснение
Глава XXIV. В тот же вечер. Еловая роща
Глава XXV. Описывается новый знакомый
Глава XXVI. Сцена на краю скошенного луга
Глава XXVII. Посадка пчел в улей
Глава XXVIII. Ложбина среди папоротников
Глава XXIX. Прогулка в сумерках
Глава XXX. Пылающие щеки и полные слез глаза
Глава XXXI. Упреки. Ярость
Глава XXXII. Ночь. Конский топот
Глава XXXIII. На солнцепеке. Вестник
Глава XXXIV. Опять дома. Фигляр
Глава XXXV. У верхнего окна
Глава XXXVI. Благосостояние под угрозой. Пирушка

Глава XXXVII. Гроза. Вдвоем
Глава XXXVIII. Дождь. Встреча двух одиноких
Глава XXXIX. Возвращение домой. Крик
Глава XL. На Кэстербриджской дороге
Глава XLI. Подозрения. Посылают за Фанни
Глава XLII. Поездка Джозефа. «Оленья голова»
Глава XLIII. Месть Фанни
Глава XLIV. Под деревом. Кризис
Глава XLV. Романтизм Троя
Глава XLVI. Химера и ее проделки
Глава XLVII. Происшествие у морского побережья
Глава XLVIII. Возникают сомнения. Сомнения рассеиваются
Глава XLIX. Повышение Оука. Великая надежда
Глава L. Овечья ярмарка. Трой прикасается к руке своей жены
Глава LI. Батшеба беседует со своим провожатым
Глава LII. Пути скрещиваются
Глава LIII. Concurritur – Horae Momento
Глава LIV. После удара
Глава LV. Март следующего года. «Батшеба Болдвуд»
Глава LVI. Красавица в одиночестве. После всего

Глава LVII. Туманный вечер и такое же утро.
Заключение
В краю лесов
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII

Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Глава XLVI
Глава XLVII
Глава XLVIII

Аннотация

Томаса Гарди называют последним писателем Викторианской эпохи. Своей славой он обязан прежде всего циклу произведений, созданных в 1872–1895 годах, – так называемым романам характера и среды.

Широкое признание обрел прежде всего роман «Вдали от обезумевшей толпы» (1874). Гордая, независимая Батшеба Эвердин мечтает о любви. Возможных партий несколько, однако в каждом поклоннике девушка находит изъян – один слишком добропорядочен, другой староват и скучен… Но вскоре появляется щеголеватый красавец-сержант, и на авансцену выходят интрига, тайна, преступление, поруганная честь и, конечно же, настоящая, подлинная страсть. Эта история несколько раз экранизировалась.

В декорациях тихой викторианской провинции разворачиваются и события романа «В краю лесов» (1887). Судьба обещает Грейс Мельбери светлое будущее. Она получила образование, миловидна, может составить счастье достойного человека. По крайней

мере, так считает ее отец, готовый на многое ради своей дочери…

Томас Гарди
Вдали от обезумевшей толпы
В краю лесов

© Е. Н. Бирукова (наследник), перевод, 1970
© М. П. Богословская (наследники), перевод, 1970
© М. Д. Литвинова (наследник), перевод, 1973
© А. Я. Сергеев (наследник), перевод, 1973
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®

Вдали от обезумевшей толпы

Вступление

Готовя эту книгу к новому изданию, я вспомнил, что именно в главах романа «Вдали от обезумевшей толпы», в то время как он выходил ежемесячно в одном из популярных журналов, я впервые рискнул упомянуть слово «Уэссекс», заимствовав его со страниц древней истории Англии, и придать ему фиктивное значение якобы существующего ныне названия местности, входившей некогда в древнее англосаксонское королевство. Задуманная мною серия романов в большей степени связана местом действия, и для того, чтобы сохранить это впечатление единства, требовалось дать какое-то определенное представление о территории. Поскольку я видел, что площади какого-нибудь одного графства недостаточно для задуманного мною широкого полотна, и мне по некоторым соображениям не хотелось давать вымышленных имен, я откопал это старинное название. Местность, охватываемая им, известна довольно смутно, и даже весьма образованные люди нередко спрашивали меня: где это, собственно, находится? Однако и читающая публика, и печать отнеслись вполне

благожелательно к моему причудливому плану и охотно признали допущенный мною анахронизм, позволявший вообразить себе обитаемый Уэссекс, существующий при королеве Виктории; Уэссекс сегодняшнего дня, с железными дорогами, почтой, сельскохозяйственными машинами, общественными домами призрения, серными спичками, землепашцами, умеющими читать и писать, и казенными детскими школами. Но я полагаю, что не ошибусь, если скажу, что до того, как этот современный Уэссекс на месте теперешних графств появился в моей повести в 1874 году, его никогда не было и в помине ни в литературе, ни в разговорах. И, встретив такое выражение, как «уэссекский пахарь» или «уэссекский обычай», всякий подумал бы, что речь идет о давних временах — эпохе не позже норманнских завоеваний.

Мне не приходило в голову, что применение этого слова в изложении современных событий выйдет за пределы моей хроники. Но оно было очень скоро подхвачено, первым применил его ныне уже не существующий журнал «Экзаминер», который в своем выпуске от 15 июля 1876 года озаглавил одну из своих статей: «Уэссекский пахарь», причем статья была посвящена не сель-

скому хозяйству англосаксов, а современному положению крестьян в юго-западных графствах.

С тех пор это название, которое я приурочивал к вехам и ландшафтам наполовину существующего, наполовину выдуманного края, все больше и больше входило в обиход, как подлинное обозначение некоторых наших провинций. И постепенно мой вымышленный край обрел черты вполне реальной местности, куда люди могут поехать, снять себе дом, писать оттуда в газеты. Но я прошу моих добрых и склонных к фантазиям читателей не тешить себя этой мыслью и не верить, что жители викторианского Уэссекса существуют где-либо помимо этих книг, которые подробно рассказывают об их жизни, разговорах и нравах.

Более того: тому, кто попытался бы разыскать в какой-то существующей ныне местности селение по имени Уэзербери, где происходит большая часть действий, описанных в моей хронике, вряд ли удалось бы это сделать собственными силами; хотя еще сравнительно недавно, когда писалась эта повесть, можно было без труда найти близко соответствующие описанию приметы местности и черты действующих лиц. По редкой счастливой случайности еще сохра-

нилась нетронутой описанная мною церковь и несколько старых домов. Но старинная солодовня — достопримечательность прихода — снесена уже двадцать лет тому назад, и большинство домиков с соломенными крышами и слуховыми окнами разделили ту же участь. Прекрасный старинный дом героини перенесен в моей повести по крайней мере на милю от того места, где он действительно находится, но, если не считать этого, он и по сию пору, и при солнечном и при лунном свете, выглядит точь-в-точь так, как он описан. Игра в бары, которая совсем недавно чуть ли не круглый год велась с неослабеваемым азартом перед обветшалой хлебной биржей, теперь, насколько мне известно, совсем не в чести у современных ребят. Гадание по Библии с ключом, письма на Валентинов день, чему придавалось такое важное значение, ужин по окончании стрижки овец, длинные балахоны стригачей, празднества после уборки хлеба — все это исчезло вместе со старыми домами, а вместе с этим исчезли и посиделки с выпивкой, которые так любила старая деревня. Коренной причиной всех этих перемен было совершившееся недавно постепенное вытеснение постоянного класса местных жителей, поддерживавших местные традиции

и обычаи, и замена их сезонными рабочими, переходящими с места на место. Это оборвало течение истории местного края, ибо необходимое условие для сохранения преданий, фольклора, тесных взаимоотношений и своеобразных типов, характерных для этой среды, — это крепкая привязанность к почве, к одному месту, где родятся, растут и сменяются одно поколение за другим.

Т. Г.

1895–1902

Глава I
Портрет фермера Оука. Происшествие

Когда фермер Оук улыбался, губы у него так расплывались, что углы рта оказывались где-то возле ушей, а глаза становились узенькими щелками и вокруг них проступали морщинки, которые разбегались во все стороны, словно лучи на детском рисунке, изображающем восход солнца.

Звали его Габриэль, и в будние дни это был рассудительный молодой человек, одетый как полагается, державшийся спокойно и просто, словом, во всех отношениях вполне положительная личность. По воскресеньям это был человек несколько неопределенных взглядов, склонный к медлительности и скованный в движениях своей праздничной одеждой и зонтом, словом, человек, сознающий себя частью того обширного срединного слоя ни во что не вмешивающихся лаодикеян, который отделяет благочестивых прихожан от пьянствующих низов прихода; скажем так, он ходил в церковь, по посреди службы, задолго до Символа веры уже начинал

позевывать, а когда дело доходило до проповеди, он, вместо того чтобы внимать ей, раздумывал о том, что у него нынче будет на обед. Ну а если характеризовать его, исходя из общественного мнения, то можно сказать так: когда его друзья и судители бывали не в духе, они говорили, что он никудышный человек; когда они бывали навеселе, он становился «славным парнем», а в тех случаях, когда они были ни то, ни другое, он слыл у них ни черным, ни белым, а чем-то средним, или, как говорится, — серединка на половинку.

Так как будничных дней в жизни фермера Оука было в шесть раз больше, чем воскресных, то все, кто видел его изо дня в день в обычной рабочей одежде, не представляли его себе иначе, как в этом естественном для него, затрапезном виде. Он всегда ходил в войлочной шляпе с низкой тульей, примятой и раздавшейся книзу, потому что в сильный ветер он нахлобучивал ее на самый лоб, и в теплой куртке, наподобие душегрейки доктора Джонсона. Его нижние конечности были облачены в толстые кожаные гетры и исполинских размеров башмаки, в которых каждой ноге предоставлялось просторное помещение такого добротного устройства, что обутый подобным образом мог целый день простоять в воде и не

почувствовать этого; создатель этих башмаков, человек совестливый, все погрешности кро́я старался возместить беспредельностью размера и прочностью.

Мистер Оук всегда носил при себе серебряные часы, по форме и назначению карманные, но по размеру скорее напоминавшие небольшой будильник. Этот механический прибор, будучи на несколько лет старше деда фермера Оука, отличался тем, что он либо спешил, либо останавливался. Кроме того, его маленькая часовая стрелка время от времени соскальзывала, и, таким образом, если даже минуты отмечались с безошибочной точностью, никогда нельзя было быть уверенным, к какому они относятся часу. Со свойством своих часов останавливаться Оук боролся постукиваньем и встряхиваньем, а от каких-либо дурных последствий двух других недостатков спасался тем, что постоянно проверял время по солнцу, по звездам или же, прильнув лицом к окну своих соседей, старался разглядеть на зеленом циферблате их стенных часов местонахождение часовой стрелки. Следует еще заметить, что карман, в котором Оук носил часы, был чрезвычайно труднодостижим, ибо он помещался в самой верхней части пояса

его штанов, пристегнутого высоко под жилетом; поэтому, чтобы достать часы, Оук вынужден был откинуться всем туловищем в сторону, и когда, весь мучительно сморщившись, так что лицо и губы превращались у него в сплошной коричневато-красный комок, он наконец ухватывал цепочку и вытаскивал часы, это было похоже на то, как тащат ведро из колодца.

Но если бы какой-нибудь наблюдательный человек встретил его в то декабрьское утро — солнечное и на редкость мягкое, — когда он шагал по одному из своих загонов, возможно, у него сложилось бы иное представление о Габриэле Оуке. Лицо этого вполне взрослого мужчины еще сохранило совсем юношескую мягкость и свежесть красок, и даже что-то мальчишеское нет-нет да и проскальзывало в его чертах. Его рослая, широкоплечая фигура, несомненно, привлекала бы внимание, если бы он только держал себя с подобающей внушительностью. Но у некоторых людей, как у горожан, так и у крестьян, их манера держать себя зависит не столько от их костяка и мускулов, сколько от их душевного склада. Они не показывают себя во весь рост, и от этого на самом деле кажутся меньше. Фермер Оук по какой-то застенчивой скромности, которая

пристала бы разве что невинной девице, казалось, постоянно был одержим мыслью, что ему не положено занимать много места, и поэтому он старался не привлекать к себе внимания и ходил не то что сутулясь, а слегка втянув голову в плечи. Это могло бы считаться недостатком у человека, который стремится произвести впечатление, полагаясь на свою внешность больше, чем на уменье держать себя, но фермер Оук отнюдь не притязал на это.

Он только что достиг того возраста, когда люди, говоря о нем, перестали предпосылать слову «человек» обязательную приставку «молодой». Он вступил в счастливейшую пору в жизни мужчины; и ум и чувства его были четко разделены: он уже миновал то время, когда по молодости лет чувства у юноши вторгаются в разум и заставляют его подчиняться их внезапному побуждению, но для него еще не настала пора, когда под влиянием жены и семьи чувства снова завладевают разумом и порождают предвзятость. Короче говоря, ему было двадцать восемь лет, и он был неженат.

Поле, по которому он шагал в это утро, раскинулось по косогору одного из увалов холма, носившего название Норкомбский холм. Через

отрог этого холма пролегала дорога из Эмминстера в Чок-Ньютон. Взглянув мимоходом поверх изгороди, Оук увидал спускающуюся по дороге нарядную рессорную повозку, выкрашенную в желтый цвет с пестрым узором; повозку везла пара лошадей, а возчик шагал рядом с кнутом в руке, который он держал опустив вниз. Повозка была нагружена домашним скарбом, цветочными горшками с комнатными растениями, а поверх всего этого сидела молодая привлекательная женщина. Габриэль едва успел охватить взглядом это зрелище, как вдруг повозка остановилась почти против его изгороди.

— Задок потеряли, мисс, — сказал возчик.

— Так это я, верно, и слышала, как он упал, — отозвалась девушка не то чтобы тихим, но скорее мягким голосом. — Я слышала, что-то стукнуло, когда мы поднимались в гору, да мне не пришло в голову, что это задок.

— Пойду погляжу.

— Ступайте, — сказала она.

Умные лошадки стояли спокойно, и шаги возчика, удаляясь, вскоре затихли вдали.

Девушка сидела не двигаясь на груде домашнего скарба, среди перевернутых вверх ногами столов и стульев, прислонясь к громоздившемуся

за ее спиной дубовому ларю и живописно обрамленная спереди горшками с геранью, миртами, кактусами и клеткой с канарейкой, — все это, вероятно, было снято с окон только что покинутого дома. Тут же была и кошка в плетеной корзинке с крышкой, которая была задвинута не до конца; кошка, жмурясь, выглядывала из корзинки и провожала умильным взглядом порхавших кругом птичек.

Хорошенькая девушка некоторое время сидела, спокойно откинувшись, и в тишине слышно было только порханье канарейки, перепрыгивающей с жердочки на жердочку в своей клетке. Затем девушка внимательно поглядела куда-то вниз; не на кошку и не на канарейку, а на какой-то продолговатый сверток в бумаге, лежавший между корзинкой и клеткой. На секунду она оглянулась посмотреть, не идет ли возчик. Его еще не было видно, и взгляд ее снова устремился к свертку: по-видимому, мысли ее были поглощены тем, что в нем находилось. Наконец она протянула руку за свертком, переложила его к себе на колени и развернула; это оказалось маленькое висячее зеркало, она поднесла его к лицу и стала пристально себя разглядывать, потом вдруг разомкнула губы и улыбнулась.

Это было чудесное утро; в ярком солнечном свете ее бордовый жакет казался огненно-красным, и мягкие блики скользили по ее оживленному лицу и темным волосам. Мирты, герань, кактусы, громоздившиеся вокруг нее, были зелены и свежи, и в это безлиственное время года они придавали всему — и лошадям, и повозке, и домашнему скарбу, и девушке — какое-то особенное, весеннее очарование. Что это ей вздумалось вдруг пококетничать, когда кругом не было ни души и никто не мог наблюдать за ней, кроме воробьев, дроздов да этого фермера, о присутствии которого она не подозревала, — кто знает; была ли эта улыбка деланой, не началось ли все с того, что ей захотелось попробовать свои силы в этом искусстве, — сказать трудно, но, несомненно, потом улыбка стала естественной. Девушка даже слегка покраснела и, глядя на себя в зеркало, еще больше залилась краской.

То, что все это происходило не в обычной обстановке в часы одевания, в спальне, когда глядятся в зеркало по необходимости, а в повозке под открытым небом, сообщало этому праздному занятию характер новизны, которой оно, в сущности, не обладало. Получилась прелестная картинка. Обычная женская слабость выглянула

украдкой на свет и вдруг заиграла на солнце каким-то неожиданным своеобразием. Глядя на эту сцену, Габриэль Оук, как ни великодушно он был настроен, не мог не прийти к довольно-таки циническому умозаключению: ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало. Она не поправила на себе шляпу, не пригладила волосы, не провела рукой по лицу и не сделала ни одного жеста, который позволил бы догадаться, почему, собственно, ей понадобилось смотреться в зеркало. Она просто созерцала себя как достойное произведение природы, создавшей такой прекрасный экземпляр женского пола, и, должно быть, ей представилось некое отдаленное, но вполне вероятное будущее, когда вокруг нее будут разыгрываться драмы с участием мужчин — и они все у ее ног. Тут, верно, и появилась эта улыбка, — она уже видела себя покорительницей сердец. Конечно, все это было не больше чем предположение; и, во всяком случае, все движения ее были так непосредственны, что усмотреть в них какую-то преднамеренность было бы весьма опрометчиво. На дороге послышались шаги возвращающегося возчика. Она завернула зеркало в бумагу и положила сверток на прежнее место.

Когда повозка двинулась дальше, Габриэль

покинул свой наблюдательный пункт и, спустившись на дорогу, пошел следом за повозкой к заставе у подножия холма, где объект его наблюдений вынужден был остановиться для оплаты дорожных сборов. Еще не дойдя до заставы, шагах в двадцати он услышал громкие пререканья. Люди с повозки спорили со сторожем у заставы из-за двух пенсов.

— Племянница хозяйки, вон она сидит на возу, говорит, что достаточно с тебя и того, что я дал, сквалыга ты этакий, больше она платить не будет! — кричал возчик.

— Очень хорошо, тогда, значит, племянница хозяйки дальше не поедет, — отвечал сторож, закрывая ворота.

Оук, приблизившись к спорщикам, молча переводил взгляд с одного на другого и размышлял. Два пенса казались ему сейчас чем-то совершенно ничтожным. Три пенса — это уже были деньги, урвать три пенса из дневного заработка это чувствительный урон, есть из-за чего поторговаться; но два пенса…

— Вот получите, — сказал он, выходя вперед и протягивая сторожу двухпенсовик, — пропустите эту молодую женщину.

И он поднял на нее глаза, а она в этот миг, услы-

шав его слова, поглядела вниз.

Лицо Габриэля в общих чертах представляло собой до такой степени нечто среднее между прекрасным ликом апостола Иоанна и безобразным Иудой Искариотом, какими они были изображены на потускневшем витраже церкви в ее приходе, что глазу не на чем было задержаться. Оно не привлекало к себе внимания, ибо ничем не выделялось. К такому же заключению пришла, по-видимому, и темноволосая девушка в красном жакете, потому что она только бегло скользнула по нему взглядом и приказала возчику трогать. Может быть, этот взгляд и был изъявлением благодарности Габриэлю, но она не сказала ему спасибо, да, скорей всего, и не чувствовала никакой благодарности, потому что, заплатив за ее проезд, он тем самым заставил ее сдаться в споре, а какая женщина будет признательна за такого рода услугу?

Сторож проводил взглядом удалявшуюся повозку.

— А красивая девушка, — заметил он, поворачиваясь к Оуку.

— И у нее есть свои недостатки, — сказал Габриэль.

— Верно, фермер.

— И самый большой — это тот, что всегда за ними водится.

— Морочить добрых людей? Что правда, то правда.

— Да нет, совсем не то.

— А что же тогда?

Габриэль, может быть слегка уязвленный равнодушием миловидной путницы, поглядел через плечо на изгородь, из-за которой он только что наблюдал пантомиму с зеркалом, и сказал:

— Суетность, вот что.

Глава II
Ночь. Отара. Бытовая картинка. Еще бытовая картинка

Это был канун Фомина дня, самого короткого дня в году. Время было около полуночи… Отчаянный ветер дул с севера из-за того самого холма, где всего несколько дней тому назад, в ясное солнечное утро, Оук наблюдал желтую повозку и сидевшую в ней путницу.

Норкомбский холм недалеко от пустоши Толлердаун принадлежал к норкомбским земельным угодьям, которые сдавались в аренду под овечьи выгоны, и путнику, идущему мимо этого холма, невольно приходило на ум, что эта ровная округлость, пожалуй, одно из самых несокрушимых образований земной толщи, какое только можно встретить на земном шаре. Эта ничем не примечательная выпуклость из песка и мела, похожая на обыкновенную шишку, вздувшуюся на поверхности земли, уцелела бы, вероятно, при любом катаклизме, который сокрушил бы гораздо более высокие горы и мощные гранитные скалы.

На северном склоне холма была когда-то запо-

ведная буковая роща, которая давно уже пришла в запустенье и превратилась в дикую чащу: кроны ее верхних деревьев поднимались над гребнем косматой дугой, словно взлохмаченная грива. Сейчас эти верхние деревья защищали южный склон от бешеных порывов ветра, который с яростью врывался в рощу, с ревом проносился по ней, круша все на своем пути, и, захлебнувшись на гребне, нет-нет да и перехлестывал через него с жалобным стоном. Сухие листья в канаве вдруг точно вскипали на ветру; иногда вихрю удавалось выхватить и унести несколько листьев, и он гонял их по траве и кружил в воздухе. Эта масса палой сухой листвы изредка пополнялась только что упавшими листьями, которым до сих пор, до половины зимы, удалось удержаться на ветвях, и теперь, отрываясь, они падали, звучно постукивая о стволы.

Между этим наполовину лесистым, наполовину обнаженным холмом и туманным, недвижным горизонтом, над которым он смутно громоздился, лежала непроницаемая пелена бездонной мглы, но по шуму, доносившемуся оттуда, можно было догадаться, что и там, за этой мглой, творится примерно то же, что и здесь. Чахлая трава, кое-где покрывавшая холм, страдала

от натисков ветра не только различной силы, но и различного характера; он то обрушивался на нее и валил на землю, то раскидывал и греб, как граблями, то приминал и приглаживал, как щеткой. Человек, очутившийся на этом холме, невольно остановился бы послушать жалобные голоса деревьев, которые, словно в церковном хоре, вторили и отвечали друг другу, подхватывая то справа, то слева горестные стенанья и вопли, а придорожные кусты с подветренной стороны и еще какие-то темные тени не сразу откликались им чуть слышным всхлипыванием, а затем ветер в стремительном порыве перекидывался на южный склон и все стихало.

Небо было ясное — на редкость ясное, и мерцанье звезд казалось трепетаньем единой плоти, в которой бьется один общий пульс. Полярная звезда стояла прямо над тем местом, откуда дул ветер, а Большая Медведица с вечера успела повернуться вокруг нее ковшом к востоку и теперь находилась под прямым углом к меридиану. Различие в цвете звезд, о котором в Англии знают скорее по книжкам и редко кто наблюдал воочию, сейчас было явственно видно. Царственно сверкающий Сириус резал глаз своим стальным блеском, звезда, известная под названием Ка-

пеллы, была желтая, Альдебаран и Бетельгейзе горели огненно-красным.

Для человека, который в такую ясную ночь стоит один на вершине холма, вращение Земли с запада на восток становится почти ощутимым. Вызывается ли это ощущение величественным движением звезд, которые, плывя по небосводу, оставляют позади разные земные вехи, — а это, если постоять спокойно, начинаешь замечать через несколько минут, — или, может быть, безграничным пространством, открывающимся с вершины холма, или ветром, или просто одиночеством, — чем бы оно ни вызывалось, это очень явственное ощущение, и оно длится — ты чувствуешь, как плывешь вместе с землей. Поэзия движения… Как много у нас говорят об этом, но, чтобы ощутить ее во всей полноте, надо взойти ночью на вершину холма и, исполнившись сначала сознанием разительного отличия от остальной массы цивилизованного человечества, мирно почивающего в этот час и не интересующегося подобными вылазками, созерцать спокойно и длительно собственное величавое движение среди светил. После такого ночного странствия, когда человек отрешается от привычного образа мыслей и представлений,

иные так воспаряют духом, что чувствуют себя уже готовыми для вечности.

Внезапно какие-то неожиданные звуки прокатились по холму и понеслись в небо. Они отличались четкостью, несвойственной ветру, и связностью, какой не бывает в природе. Это были звуки флейты фермера Оука.

Мелодия не плыла по воздуху, не лилась свободно, ее как будто что-то теснило, и едва только она устремлялась ввысь и вдаль, как тут же и обрывалась. Она доносилась со стороны какого-то небольшого темного выступа под изгородью, окружавшей буковую рощу, — это была пастушеская хижина, но сейчас в темноте человек непосвященный никак бы не мог догадаться, что здесь такое громоздится и зачем.

В общем, это имело вид маленького Ноева ковчега на маленьком Арарате, в том трафаретном изображении, какое вошло в традицию у игрушечных мастеров, а благодаря этому отложилось и в нашем представлении в том же неизменном виде, в каком оно запомнилось в детстве и сохранилось на всю жизнь вместе с другими неизгладимыми ранними впечатлениями. Хижина стояла на небольших колесах, так что пол ее примерно на фут возвышался над землей. Такие

пастушеские хижины вывозятся на пастбище, когда овцам приходит пора ягниться, чтобы у пастуха был приют на время его вынужденного ночного бдения.

Габриэля только с недавних пор стали величать фермером Оуком. За последний год, благодаря своему необыкновенному усердию и никогда не изменяющей ему бодрости, он наконец добился того, что мог позволить себе снять в аренду небольшую овечью ферму, куда входил Норкомбский холм, и обзавестись двумя сотнями овец. До этого он некоторое время служил управителем в усадьбе, а раньше был простым пастухом: еще совсем мальчишкой, когда отец его жил в работниках у богатых сквайров, он помогал ему ходить за гуртами овец, и так оно и шло до тех пор, пока старый Габриэль не почил вечным сном.

Попытка заняться фермерством не в качестве батрака, а на правах хозяина, своими силами, в одиночку, да еще выплачивать при этом долг за овец, была, разумеется, рискованным делом, и Габриэль Оук прекрасно сознавал это. Первое, о чем надо было позаботиться для успешного продвижения по новой для него стезе, это сохранить приплод, а так как во всем, что касается овец, Габриэль разбирался лучше всякого другого, он не

решился доверить их кому-либо в это время года, опасаясь, как бы они не попали в чьи-нибудь нерадивые или неумелые руки.

Ветер по-прежнему ломился в хижину, но игра на флейте прекратилась. Внезапно в стене хижины вырезался освещенный прямоугольник и в нем фигура фермера Оука. В руке у него был фонарь; он вышел и закрыл за собой дверь; в течение примерно двадцати минут он возился на ближнем участке выгона, свет его фонаря то появлялся, то пропадал, мелькая то там, то тут, и фигура Оука то выступала на свету, то исчезала в темноте, в зависимости от того, стоял ли он позади фонаря или заслонял его собой.

Движения Оука, хотя они и отличались какой-то спокойной силой, были медлительны, и их неторопливость вполне соответствовала его занятию. Поскольку соответствие — основа всего прекрасного, нельзя было не признать, что в этих уверенных движениях, когда он, то наклоняясь, то выпрямляясь, прохаживался среди своих овец, была какая-то своеобразная грация. И хотя в случае надобности он мог действовать и соображать с такой же молниеносной быстротой, какая более свойственна горожанам, ибо у них это вошло в привычку, — сила, отличавшая его нравственно,

физически и духовно, пребывала в состоянии покоя и, как правило, ничего, или почти ничего, не выигрывала от скорости.

Приглядевшись внимательно к окружающей местности, можно было даже и при слабом свете звезд обнаружить, с какой тщательностью этот, в сущности говоря, голый склон был приспособлен фермером Оуком для того важного дела, на которое он возлагал надежды в эту зиму. Кругом, там и сям, виднелись прочно вбитые в землю плетеные загородки, перекрытые соломой, а под ними и между ними копошились белые комочки ягнят. Звон овечьих бубенчиков, стихший в отсутствие Оука, теперь возобновился, но в нем не было звонкости, звук был скорее мягкий, заглушенный густой шерстью, разросшейся вокруг бубенцов. Он продолжался до тех пор, пока Оук не покинул стадо. Он вернулся в хижину, неся на руках только что родившегося ягненка, представлявшего собой четыре длинных ноги, достаточно длинных для взрослой овцы, и соединявшей их тоненькой мездры, вся совокупность коей составляла примерно половину всех четырех ног вместе взятых, и это было все, из чего состояло сейчас туловище животного.

Оук положил этот маленький живой комочек

на охапку сена перед небольшой печкой, на которой сейчас кипело в кастрюльке молоко, задул фонарь, снял пальцами нагар, — хижину освещала свеча, вставленная в скрученную на конце, спускавшуюся с потолка проволоку.

В этом очень тесном жилище половину места занимало довольно твердое ложе из наваленных один на другой холщовых мешков из-под зерна; фермер Оук растянулся на нем, развязал свой шерстяной галстук и закрыл глаза. Не прошло и нескольких секунд — другой человек, непривычный к физическому труду, еще только примеривался бы, на какой ему бок повернуться, — как фермер уже спал.

Заманчиво и уютно выглядела сейчас внутри маленькая хижина; красный отблеск углей, тлеющих в печке, и пламя свечи, отражавшееся веселыми бликами на всем, куда доставал ее свет, придавали какой-то праздничный вид даже посуде и инструментам. В углу стоял посох, а вдоль стен и на полке выстроились бутылки и жестянки со всякими средствами, необходимыми для ухода за овцами, для их лечения и оперирования. Главными из этих средств были спирт, скипидар, деготь, магнезия, имбирь и касторовое масло. На угловой полке лежали хлеб,

сало, сыр, стояла кружка для пива или сидра, а в углу под полкой — фляжка, из которой, видимо, и наливали в кружку. Тут же, рядом со съестными припасами, лежала флейта, которая скрашивала своим пеньем томительные часы бодрствования одинокого фермера. Хижина проветривалась посредством двух круглых отверстий, похожих на иллюминаторы с деревянными задвижками.

Пригревшись у печки, ягненок зашевелился и заблеял, и этот звук, едва коснувшись слуха Габриэля, мгновенно вошел в его сознание, как нечто ожидаемое. Он моментально проснулся и, очнувшись с такой же легкостью, с какой он незадолго до этого погрузился в крепчайший сон, взглянул на часы, обнаружил, что часовая стрелка опять соскользнула, надел шляпу и, взяв ягненка на руки, вышел с ним в темноту. Положив малыша к матери, он отошел на несколько шагов и, остановившись, стал внимательно оглядывать небо, чтобы определить по положению звезд, который сейчас может быть час.

Сириус и Альдебаран, повернувшись к беспокойным Плеядам, уже прошли половину своего пути по небу Южного полушария, а между ними висел Орион, и это пышное созвездие, казалось, никогда не пылало так ярко, как сейчас, когда

оно словно повисло над горизонтом. Кастор и Поллукс мирно светились на самом меридиане, а сумрачный, полый квадрат Пегаса тихонько поворачивался на северо-восток; далеко за лесом, словно лампа, висящая среди обнаженных деревьев, поблескивала Вега, а кресло Кассиопеи стояло, чуть покачиваясь, на верхних ветвях.

— Время час, — определил Габриэль.

У него нередко бывали минуты, когда он живо чувствовал, что в жизни, которая выпала ему на долю, есть своя прелесть, и вот сейчас, покончив со своими наблюдениями, он продолжал стоять и смотреть на небо, но уже не как на полезный механизм, а с восхищением, как на прекрасное произведение искусства. С минуту он стоял словно потрясенный полной отчужденностью этой живущей своей жизнью бездны, или, вернее, ее непричастностью ко всему людскому, ибо на всем пространстве, которое она обнимала, не было ни видно и ни слышно ни души. Люди с их распрями, заботами, радостями как будто и не существовали, и казалось, на всем погруженном во мрак полушарии Земли не было ни одного земного существа, кроме него; можно было подумать, что они все на другой, солнечной стороне.

Так он стоял, поглощенный своими мыслями,

глядя прямо перед собой в необъятную даль, и прошло некоторое время, прежде чем он с удивлением обнаружил, что светящаяся точка совсем низко на небе по ту сторону букового леса, которую он принимал за звезду, вовсе не звезда, а свет от огня, горевшего где-то совсем рядом.

Бывает иной раз, очутится человек где-нибудь совсем один ночью, и ему становится жутко, и он ждет и надеется, что вот-вот кто-нибудь появится вблизи. Но еще более трудное испытание для нервов — это обнаружить около себя чье-то таинственное присутствие, когда все ваши чувства, и восприятия, и память, и чутье, и сопоставления, и доводы, и догадки, и умозаключения, и все доказательства, которыми располагает логика, — все вселяет в вас полную уверенность, что вы в полнейшем уединении.

Фермер Оук вошел в рощу и, пробравшись меж густо разросшимися нижними ветвями, очутился на противоположной, наветренной стороне холма. Какой-то темный бугор выступал под откосом, и он вспомнил, что где-то здесь, в выбоине холма, стоял сарай, сколоченный из просмоленных досок, прибитых спереди к столбам и покрытых крышей, которая сзади приходилась вровень с землей. Сквозь щели в крыше и в стене просачи-

вались узенькие полоски света, и это слившееся в одну точку, мерцающее из-за деревьев сияние и обмануло его. Оук подошел поближе и, нагнувшись над крышей, заглянул в щель, — в нее было хорошо видно все помещение сарая.

Там находились две женщины и две коровы. Возле одной из коров стояло ведро с пойлом из отрубей, от которого поднимался пар. Одна из женщин была более чем пожилого возраста; ее товарка показалась Оуку молоденькой, привлекательной, но он не мог судить о ее внешности, потому что ему было видно ее только сверху, иначе говоря, он созерцал ее с высоты птичьего полета, подобно тому как мильтоновский Сатана впервые созерцал Рай. На ней не было ни чепца, ни шляпы, она куталась в широкий плащ, накинутый прямо на голову.

— Ну, пора, идем-ка домой, — сказала старшая и, упершись руками в бока, огляделась по сторонам, словно проверяя, все ли в порядке. — Я думаю Дэзи теперь обошлась. Уж как я перепугалась, до смерти! Весь сон пропал. Ну, ничего, кажется, мы ее выходили.

Молодая девушка, у которой, едва только наступало молчанье, наверно, слипались глаза, сладко зевнула, не разжимая губ, и Габриэль,

заразившись от нее, тоже сочувственно зевнул.

— Как бы я хотела, чтобы у нас было побольше денег, чтобы можно было держать работника и он бы со всем этим возился, — сказала она.

— Но так как у нас их мало, — возразила другая, — хочешь не хочешь, а приходится возиться самим, и ты должна мне помогать, если ты у меня останешься.

— А шляпка моя, наверно, пропала, — промолвила девушка. — Должно быть, за изгородь унесло. И ветер-то совсем слабый был, и вот надо же — сорвал.

Корова, стоявшая неподвижно, была девонской породы, плотно обтянутая гладкой блестящей шкурой такого ровного медно-красного цвета, без единого пятнышка на всей поверхности от головы до хвоста, что казалось, ее целиком окунули в медную краску; спина у нее была длинная и совершенно плоская. Другая корова была пестрая, в серых и белых пятнах. Возле нее Оук только теперь заметил маленького теленка, не старше одного дня; он тупо уставился на женщин и, видимо, еще не освоил свой аппарат зрения, ибо то и дело поворачивался к фонарю, который он, должно быть, принимал за луну, — с тех пор как он появился на свет, прошло еще так мало

времени, что унаследованный им инстинкт еще не выправился опытом. Люцине, богине родов, было много забот последнее время и с овцами и с коровами на Норкомбском холме.

— Я думаю, не послать ли нам за овсяной мукой, — сказала пожилая женщина, — отруби уже все вышли.

— Ладно, тетя, я сама съезжу за ней, как только рассветет.

— Но у нас нет такого седла, дамского-то.

— А я могу и на мужском, вы за меня не бойтесь.

Слушая этот разговор, Оук сделал было еще попытку разглядеть черты молодой девушки, его разбирало любопытство, но все его усилия были тщетны, ибо голова ее была покрыта плащом, и, кроме плаща, ему сверху ничего не было видно; тогда он попытался представить ее себе воображением. Даже в тех случаях, когда объект наших наблюдений находится прямо перед нами, на уровне наших глаз и ничто не мешает нам его видеть, мы придаем ему те краски и те черты, какие нам самим хочется в нем видеть. Если бы Габриэлю с самого начала удалось увидеть ее лицо, оно показалось бы ему красивым или не очень, в зависимости от того, нуждалась ли его душа в

кумире или ею уже завладел кто-то. А так как с некоторых пор душе его явно чего-то недоставало и нечем было заполнить пустоту, томившую ее, то вполне естественно, что сейчас, когда воображению его был предоставлен полный простор, он нарисовал ее себе ангелом красоты.

И надо же, чтобы в эту самую минуту, — такие удивительные совпадения охотно подстраивает природа, точь-в-точь как любящая мать, которая среди своих непрестанных хлопот нет-нет да и пошутит с детьми, — девушка откинула плащ, и ее черные косы упали на красную жакетку. Оук тотчас же узнал в ней утреннюю героиню из желтой повозки с цветами и зеркалом, — словом, ту самую молодую женщину, которая задолжала ему два пенса.

Они положили теленка к матери, взяли фонарь и, выйдя из сарая, пошли по тропинке вниз с холма, и свет от фонаря, скользя по склону, становился все бледнее и бледнее, пока не превратился в чуть заметное пятнышко. Габриэль Оук зашагал обратно, к своему стаду.

Глава III
Девушка на лошади. Разговор

Медленно пробуждался день. На земле даже его пробуждение всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, едва рассвело, снова направился к роще, хотя никакой причины к этому, кроме ночной сцены, которую он наблюдал там, не было. Погруженный в задумчивость, он бродил среди деревьев, как вдруг до него донесся стук копыт и у подошвы холма на тропинке, ведущей вверх мимо сарая с коровами, показалась пегая лошадка с сидящей на ней верхом девушкой. Это была та самая девушка, которую он видел ночью. Габриэль тотчас же вспомнил про шляпку, которую с нее сорвало ветром; может быть, она приехала искать ее. Он поспешно заглянул в канаву и, пройдя вдоль нее шагов десять, увидел шляпку среди вороха листьев. Габриэль поднял ее и вернулся к себе в хижину. Здесь он примостился у своего круглого оконца и стал наблюдать за приближающейся всадницей.

Поднявшись на холм, она сначала огляделась по сторонам, потом заглянула за изгородь. Габри-

эль совсем было уже собрался выйти ей навстречу и возвратить потерянную собственность, но тут она неожиданно выкинула нечто такое, что он просто остолбенел и забыл о своем намерении.

Тропинка, миновав сарай, углублялась в рощу. Это была совсем узенькая пешеходная тропинка, отнюдь не для езды; ветви деревьев сходились над ней невысоко от земли, ну разве что на высоте каких-нибудь семи футов, так что проехать здесь верхом нечего было и думать. На девушке было обыкновенное платье, не совсем подходящее для верховой езды; подъехав к роще, она быстро огляделась по сторонам, словно желая убедиться, что кругом нет ни души, ловко откинулась назад, так что голова ее очутилась у самого хвоста, и, глядя в небо, уперлась ногами в шею лошади. Все это совершилось в одно мгновенье — она просто скользнула стремительно, как зимородок, бесшумно, как сокол. Габриэль даже не успел уловить ее движений. Рослая сухощавая лошадка, видимо, привыкла к такому обращению и невозмутимо продолжала трусить легкой рысцой. Так они и проехали под сводом деревьев.

Наездница, видимо, чувствовала себя как дома на спине лошади, в любой ее точке от головы до хвоста, и когда чаща деревьев осталась позади и

надобность в такой необычной позе миновала, она попробовала принять другую, более удобную. Седло было не дамское, и усесться прочно, извернувшись лежа, на гладкой, скользкой коже оказалось не так-то просто. Тогда она вскочила, выпрямившись, как молодое деревцо, и, убедившись, что кругом никого нет, уселась, правда, не совсем так, как подобало сидеть женщине, но, во всяком случае, так, как подобало сидеть в этом седле, и вскоре скрылась из глаз, свернув к мельнице.

Оуку все это показалось несколько диковинным и очень забавным; он повесил шляпу в хижине и отправился снова к своим овцам. Примерно через час девушка проехала обратно, сидя теперь вполне благопристойно рядом с привязанным к седлу мешком с отрубями. У сарая ее встретил мальчик с ведром в руке. Она бросила ему поводья и спрыгнула с лошади. Мальчик увел лошадь, оставив ей ведро для молока. Вскоре из сарая послышались мерно перемежающиеся то звонкие, то глухо всхлипывающие звуки — там доили корову. Габриэль взял потерянную шляпку и вышел к тропинке, по которой девушка должна была пройти, чтобы спуститься с холма. Она вышла, неся в одной руке ведро на уровне

колена и вытянув для равновесия другую, левую руку, которая, высунувшись из рукава, заставила Оука невольно пожалеть, что дело происходит не летом, когда она была бы открыта вся целиком. Сейчас на лице девушки было написано такое удовлетворение и торжество, как если бы она всем своим видом заявляла, что ее существование на белом свете должно радовать всех; и это дерзкое допущение даже не казалось вызывающим, потому что всякий, глядя на нее, чувствовал, что так оно, в сущности, и есть. Так необычная выразительность, которая в речах посредственности показалась бы смешной, усиливает власть гения и придает внушительность его слову. В глазах девушки мелькнуло удивление, когда физиономия Габриэля вынырнула перед ней, словно луна из-за ограды.

Сложившийся в представлении фермера неясный очаровательный облик, сейчас, когда он очутился лицом к лицу с живой натурой, не то чтобы проиграл от сравнения, а скорее как-то изменился. Начать с того, что он ошибся в росте. Она казалась высокой, но ведро было маленькое, а изгородь низкая, поэтому, делая скидку на это невольное сопоставление, следовало признать, что рост ее не превышал того, какой считается

самым хорошим у женщин. Черты лица у нее были правильные, строгие. Ценители красоты, изъездившие вдоль и поперек нашу страну, справедливо замечали, что у англичанок классическая красота лица редко соединяется с такой же совершенной фигурой; строгие, точеные черты чаще бывают крупными и в большинстве случаев не соответствуют росту и сложению, а изящная, пропорциональная фигурка обычно сочетается с неправильными чертами лица. Не возводя нашу молочницу в нимфы, скажем просто, что здесь все критические замечания отпадали сами собой и любому критику доставило бы несомненное удовольствие созерцать такое совершенство пропорций. Округлые очертания стана позволяли предположить красивые плечи и грудь, но с тех пор как она перестала быть ребенком, их никто не видел. Если бы ее нарядили в платье с низким вырезом, она бы бросилась сломя голову куда-нибудь в кусты. А она была далеко не из застенчивых. Просто она инстинктивно проводила черту между доступным и запретным для чужого взгляда, и черта эта была несколько выше, чем у горожанок. Как только она поймала устремленный на нее взгляд Оука, мысли ее, естественно, последовали за его взглядом к собственному лицу

и фигуре. Будь это откровенное самолюбование, оно показалось бы тщеславием, а если бы она постаралась его скрыть, она проявила бы несвойственную ей высокомерную сдержанность. В деревне девичьи лица чувствительны к пламенным взорам мужчин. Она поспешно провела рукой по щекам, как если бы Габриэль и впрямь коснулся их розовой кожи, и в ее непринужденных движениях появилась какая-то неуловимая застенчивость. Но краска вспыхнула на щеках мужчины, а она не покраснела.

— Я нашел шляпку, — вымолвил Оук.

— Это моя, — сказала она и, стараясь держать себя как подобает, подавила желание расхохотаться и только улыбнулась. — Она нынче ночью у меня улетела.

— В час ночи?

— Да, верно. — Она явно удивилась. — А вы откуда знаете?

— Я был тут.

— Вы фермер Оук? Не правда ли?

— Да, похоже, что так. Я здесь совсем недавно.

— И большая у вас ферма? — поинтересовалась она, обводя взглядом склон холма и откидывая со лба волосы. Они были черные, густые, но сейчас солнце, которое взошло всего час тому назад,

брызнуло на них своими лучами и позолотило волнистые прядки.

— Да нет, небольшая. Так около сотни будет. — Местные жители, говоря о ферме, опускают по старинке слово «акр».

— Нынче утром мне так нужна была моя шляпка, — продолжала она. — Я ездила на мельницу.

— Да я знаю.

— Откуда вы знаете?

— Я вас видел.

— Где? — спросила она, застыв на месте и уже предчувствуя ответ.

— Да вот здесь, когда вы ехали через рощу и потом спускались с холма, — отвечал фермер Оук весьма многозначительным тоном, относящимся к тому, что само собой невольно возникло перед его взглядом, устремленным на терявшуюся вдали тропинку, и тут он перевел глаза на свою собеседницу.

Но едва только он взглянул на нее, как сразу отвел взгляд, и с такой поспешностью, как если бы его уличили в воровстве. Когда девушка вспомнила свои акробатические номера во время езды через рощу, ее сначала кинуло в дрожь, а потом всю с ног до головы обдало жаром. Вот когда можно было увидеть, как способна покрас-

неть женщина, которой отнюдь не свойственно краснеть. На лице ее не осталось ни следа белизны. Она вся покрылась краской до корней волос, и краска эта все густела, постепенно переходя от девичьего румянца через все оттенки Розы Прованса до Алой Тосканы, пока не стала совсем густо-пунцовой. Оук из деликатности отвернулся.

Человек великодушный, он заставлял себя смотреть в сторону, думая, скоро ли она овладеет собой настолько, что ему можно будет позволить себе снова глядеть на нее. Вдруг ему послышался словно шелест листа, подхваченного ветром, он взглянул, а ее уже и след простыл.

Габриэль, представляя собой поистине трагикомическое зрелище, вернулся к своей работе.

Прошло пять дней и пять вечеров. Девушка аккуратно приходила доить здоровую корову и ухаживать за больной, но ни разу не позволила себе хотя бы бросить взгляд в сторону Оука. Он глубоко оскорбил ее своей бестактностью, и дело было не в том, что он видел то, что ему не полагалось, — это случилось не по его вине, — а в том, что он нашел нужным сказать ей об этом. Ибо как нет греха, если нет запрета, так нет и неприличия, если нет чужих глаз; а теперь выходило, что

из-за подглядывания Габриэля (а ведь она этого не знала) ее поведение оказалось непристойным. Габриэль страшно огорчался своим промахом, и все это только сильнее разжигало вспыхнувшее в нем чувство.

Но, может статься, знакомство на том бы и кончилось и он мало-помалу перестал бы о ней думать, если бы в конце той же недели не случилось одно происшествие. В этот день после полудня сильно похолодало; к вечеру ударил мороз, словно он только и ждал темноты, чтобы незаметно захватить все в свои оковы. В деревне в такую стужу в хижинах от дыхания спящих индевеют простыни, а в хорошем городском доме с толстыми стенами у сидящих перед камином бежит холодок по спине, хотя в лицо так и пышет жаром. В этот вечер много маленьких пташек укрылось голодными на ночь среди оголенных ветвей.

Незадолго до того часа, когда девушка обычно приходила доить, Оук, как всегда, занял свой наблюдательный пост над сараем. Сильно прозябнув, он подбросил овцам, которые собирались ягниться, еще по охапке соломы и вернулся в хижину, чтобы подложить дров в печурку. Ветер так и садил из-под дверцы, и, чтобы защититься от

него, он повернул свой домик на колесах в другую сторону. Тогда ветер ворвался в отдушины — их было две, одна против другой в боковых стенах. Габриэль хорошо знал, что одна из них должна быть непременно открыта, если в хижине топится печь и затворена дверь; открывалась обычно та, в которую меньше дуло. Он задвинул отдушину с наветренной стороны и хотел было открыть другую, но решил на минутку присесть и подождать, чтобы в хижине немножко обогрелось. Он сел.

У него заболела голова, это было нечто совершенно непривычное для него, и он подумал, что, должно быть, сказывается усталость, — последние ночи ему приходилось вставать к овцам и он спал урывками. Он сказал себе, что сейчас встанет, откроет отдушину и завалится спать. Но он свалился и заснул, прежде чем успел что-либо сделать.

Сколько времени он пробыл без сознания, для него так и осталось неизвестным. В первый момент, когда он очнулся, ему показалось, что с ним происходит что-то странное. Собака выла, голова у него разламывалась от боли, кто-то тряс его за плечи, чьи-то руки развязывали его шейный платок. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил,

что сумерки уже сменились темнотой. Возле него сидела та самая девушка с необыкновенно пленительными губками и ослепительными зубами. Более того, и это было самое удивительное — голова его лежала у нее на коленях, причем лицо и шея у него были противно мокрые, а ее пальцы расстегивали его ворот.

— Что случилось? — растерянно вымолвил Оук.

Она, по-видимому, обрадовалась, но не настолько, чтобы тут же и рассмеяться.

— Теперь можно сказать, ничего, раз вы не умерли, — ответила она. — Надо только удивляться, что вы не задохлись насмерть в этой своей хижине.

— А, хижина! — пробормотал Габриэль. — Десять фунтов я заплатил за эту хижину. Но я ее продам и буду укрываться в плетеном шалаше и спать на соломе, как в старину делали. Вот только на днях она чуть было не сыграла со мной такую же штуку! — И Габриэль для убедительности стукнул кулаком об пол.

— Вряд ли тут можно винить хижину, — возразила она таким тоном, что сразу можно было сказать, что эта девушка представляет собой редкое исключение — она додумывает до конца свою

мысль, прежде чем начать фразу, и не подыскивает слова, чтобы ее выразить. — Надо было самому соображать и не поступать так неосмотрительно, не задвигать обе отдушины.

— Да, оно конечно, — рассеянно отозвался Оук.

Он старался проникнуться этим ощущением ее близости — вот он лежит головой на ее платье, — поймать, удержать этот миг, пока он не отошел в прошлое. Ему хотелось поделиться с ней своими переживаниями: но пытаться передать это неизъяснимое чувство грубыми средствами речи было бы все равно что пытаться донести аромат в неводе. И Оук молчал.

Она помогла ему сесть, и он принялся вытирать лицо и шею, отряхиваясь, как Самсон, пробующий свою силу.

— Как мне благодарить вас? — вымолвил он наконец прочувствованно, и присущий ему коричневатый румянец проступил на его лице.

— Ну что за глупости, — ответила она, улыбнувшись, и, не переставая улыбаться, посмотрела на Габриэля, как бы заранее подсмеиваясь над тем, что он сейчас скажет.

— Как это вы меня нашли?

— Я слышу, ваша собака воет и скребется в дверь, а я как раз шла доить (ваше счастье — у

Дэзи уже кончается молоко и, может быть, это последние дни, что я хожу сюда). Как только она увидела меня, она бросилась ко мне и ухватила меня за подол. Я пошла за ней и первым делом посмотрела, не закрыты ли отдушины в хижине. У моего дяди точно такая же хижина, и я слышала, как он предупреждал своего пастуха не ложиться спать, не проверив отдушины, и всегда оставлять одну открытой. Я открыла дверь, вижу — вы лежите как мертвый. Я побрызгала на вас молоком, потому что воды не было, мне даже в голову не пришло, что молоко теплое и никакого от него толку нет!

— А может быть, я так бы и умер, если бы не вы! — чуть слышно произнес Габриэль, словно обращаясь к самому себе, а не к ней.

— Ну нет! — возразила девушка. Она явно предпочитала менее трагический исход. После того как спасешь человека от смерти, невольно разговор с ним приходится поддерживать на высоте такого героического поступка — а ей этого совсем не хотелось.

— Я так думаю, что вы спасли мне жизнь, мисс… не знаю, как вас звать… Имя вашей тетушки мне известно, а ваше нет.

— А я не скажу, как меня зовут, — не скажу. Да

оно, пожалуй, и ни к чему, вряд ли вам придется иметь когда-нибудь со мной дело.

— А мне бы все-таки хотелось узнать.

— Можете спросить у моей тетушки, она вам скажет.

— Меня зовут Габриэль Оук.

— А меня по-другому. Вы, видно, очень довольны своим именем, что так охотно называете себя — Габриэль Оук.

— Так, видите ли, оно у меня одно на всю жизнь, и как-никак приходится им пользоваться.

— А мне мое имя не нравится, оно кажется мне каким-то чудны`м.

— Я думаю, вам недолго сменить его на другое.

— Упаси боже! А вы, верно, любите делать разные предположения о незнакомых вам людях, Габриэль Оук?

— Простите, мисс, если я что не так сказал, а я-то думал вам угодить. Да где же мне с вами тягаться, я не могу так складно свои мысли словами передать. У меня к этому никогда способности не было. А все-таки я благодарю вас от души. Позвольте пожать вашу руку.

Сбитая с толку этой старомодной учтивостью и серьезностью, какую Оук придал их шутливому разговору, она секунду поколебалась.

— Хорошо, — помолчав, сказала она и, поджав губы, с видом неприступной скромницы протянула ему руку. Он подержал ее в своей одно мгновенье и, боясь обнаружить свои чувства, едва прикоснулся к ее пальцам с нерешительностью робкого человека.

— Как жаль, — вырвалось у него тут же.

— О чем это вы жалеете?

— Что я так скоро выпустил вашу руку.

— Можете получить ее еще раз, если вам так хочется. Вот она. — И она снова протянула ему руку.

На этот раз Оук держал ее дольше, сказать правду, даже удивительно долго.

— Какая мягкая, — сказал он, — а ведь сейчас зима, и не потрескалась, не загрубела!

— Ну теперь, пожалуй, довольно, — заявила она, но не отдернула руки. — Мне кажется, вам хочется поцеловать ее? Пожалуйста, целуйте, если хотите.

— У меня этого и в мыслях не было, — простодушно отвечал Габриэль. — Но я очень…

— Нет, этого не будет! — Она вырвала руку.

Габриэль почувствовал, что он опять оплошал.

— А ну узнайте, как меня зовут, — задорно крикнула она и исчезла.

Глава IV
Габриэль решается. Визит. Ошибка

Единственный вид превосходства в женщине, с которым способен мириться соперничающий пол, это превосходство, не заявляющее о себе; но иногда превосходство, которое дает себя чувствовать, может нравиться покоренному мужчине, если оно сулит ему надежды завладеть им.

Эта хорошенькая бойкая девушка скоро совсем пленила ум и сердце молодого фермера. Ведь любовь — чрезвычайно жестокий ростовщик (расчет на громадную духовную прибыль — вот на чем зиждется подлинное чувство, когда происходит обмен сердец; точно так же и в других, более низменных сделках обе стороны рассчитывают на хороший барыш — денежный либо телесный), поэтому каждое утро, когда Оук взвешивал свои шансы, его чувства подвергались таким же колебаниям, как денежный курс на бирже. Он каждый день ждал появления девушки совсем так же, как его пес в часы кормежки дожидался своей похлебки. Пораженный однажды этим унизительным сходством, Оук перестал смотреть на собаку. Но

он продолжал свои наблюдения из-за изгороди и каждый день караулил приход девушки, и с каждым днем чувство его возрастало. На нее это не оказывало ни малейшего действия. Пока у Оука еще не было никаких определенных намерений, он не знал, как заговорить с ней о том, что переполняло его сердце; он был не мастер сочинять любовные фразы, у которых конец не отличается от начала, и не способен на пылкие излияния, которые полны

Неистовства и воплей исступленных,
Лишенных смысла, —

и он не говорил ничего.

Порасспросив соседей, он узнал, что девушку зовут Батшеба Эвердин и что дней через шесть-семь корова перестанет доиться. Он со страхом ждал восьмого дня.

И наконец восьмой день наступил. Корова перестала давать молоко до конца года, и Батшеба Эвердин больше не появлялась на холме. Габриэль дошел до такого состояния, какого он некоторое время тому назад не мог себе даже и представить. Если прежде он любил насвистывать за работой, теперь он то и дело твердил имя Батшебы; он стал отдавать предпочтение черным

волосам, хотя с детства ему всегда нравились каштановые. Он бродил в одиночестве и так сторонился людей, что его мало-помалу просто перестали замечать.

Любовь — это зреющая сила, заложенная в преходящей слабости. Брак превращает ослепление в выносливость, и сила этой выносливости должна быть — и, к счастью, нередко и бывает — соразмерна степени одурения, на смену которому она приходит; Оук начал все чаще задумываться над этим и наконец сказал себе: «Или она будет моей женой, или, клянусь Богом, я совсем пропаду».

Последнее время он тщетно ломал себе голову, выискивая предлог, который бы позволил ему пойти к тетушке Батшебы, в ее коттедж.

Наконец ему представился удобный случай — у него пала овца и от нее остался ягненок. В один погожий день, который глядел по-летнему, а знобил по-зимнему, ясным январским утром, когда людям, настроенным радостно, глядя на голубые просветы и серебрящиеся на солнце края облаков, казалось, что все небо вот-вот станет синим, Оук положил ягненка в добротную кошелку для воскресных покупок и пошел через пастбище к дому миссис Херст, тетушки Батшебы; его пес Джорджи бежал за ним следом с сильно озабочен-

ным видом, — казалось, он был явно встревожен тем серьезным оборотом, какой с некоторых пор начали принимать их пастушеские дела.

Сколько раз, поглядывая на голубой дымок, вьющийся из трубы ее дома, Габриэль предавался странным мечтам. Глядя на него вечерами, он представлял себе его путь от конца к началу и мысленно следовал за ним по трубе к очагу, а там возле очага сидела Батшеба в том самом платье, в котором она приходила на холм; ибо Батшеба представлялась ему не иначе как в этом платье, и его чувство распространялось на него, как и на все, что было связано с ней. На этой ранней стадии любви ее платье казалось ему неотделимой частью милого целого, имя которому было Батшеба.

Он постарался одеться прилично случаю, а чтобы произвести впечатление изящной небрежности, отобрал кое-что от парадной одежды, которую он надевал в ненастные праздничные дни, а кое-что от выходного костюма, в котором в хорошую погоду ездил на кэстербриджский рынок. Он старательно вычистил мелом свою серебряную цепочку для часов, вдел новые шнурки в башмаки, предварительно осмотрев все медные колечки для шнуровки, исходил всю буковую

рощу, забрался в самую ее чащу в поисках подходящего сука, из которого он на обратном пути смастерил себе новую палку; затем он достал из своего платяного сундука новый носовой платок, облачился в светлый жилет с пестрым узором из тоненьких веточек, сплошь покрытых цветами, напоминающими красотой розу и лилию, но без их недостатков; извел на свои сухие рыжеватые вихрастые, курчавые волосы всю имевшуюся у него помаду, добившись того, что они приобрели наконец совершенно новый, роскошно сверкающий цвет — нечто среднее между гуано и романцементом — и плотно пристали к его голове, как кожура к ядру у мускатного ореха или морские водоросли к гладкому камню после отлива.

Кругом коттеджа стояла тишина, которую нарушало только громкое чириканье воробьев, собравшихся кучкой под навесом кровли, — можно было подумать, что для этого маленького сборища на крыше сплетни и пересуды не менее излюбленное занятие, чем и для всех сборищ, происходящих под крышами.

Судьба, по всем признакам, неблагоприятствовала Оуку; первое, что он увидел, подойдя к дому, не предвещало ничего доброго: у самой калитки

их встретила кошка, которая, выгнув горбом спину с вздыбленной шерстью, злобно ощерилась на Джорджи. Пес не обратил на нее ни малейшего внимания, ибо он достиг того возраста, когда с откровенным цинизмом предпочитал щадить себя и не лаять попусту, — и, сказать правду, он никогда не лаял даже на овец, разве только когда требовалось призвать их к порядку, и тогда он делал это с совершенно невозмутимым видом, как бы подчиняясь необходимости выполнить эту неприятную обязанность — время от времени припугивать их, для их же блага. Из-за лавровых кустов, куда бросилась кошка, раздался голос:

— Бедная киска! Противный, злой пес хотел растерзать тебя? Да? Ах ты, моя бедняжечка!

— Простите, — сказал Оук, обернувшись на голос, — Джорджи шел позади меня, смирный, как овечка.

И вдруг, он даже не успел договорить, сердце у него екнуло — чей это был голос и кому он отвечает. Никто не появился. И из-за кустов послышались удалявшиеся шаги.

Габриэль остановился в раздумье, он думал так сосредоточенно, что от усилия на лбу у него проступили морщины. Когда исход свиданья сулит человеку какую-то важную перемену в

жизни — к лучшему или к худшему, — всякая непредвиденность, когда он идет на это свиданье, всякое отступление от того, к чему он готовился, действует на него обескураживающе. Он направился к крыльцу несколько озадаченный. Его представление о том, как все это произойдет, с самого начала сильно расходилось с действительностью.

Тетушка Батшебы была дома.

— Не будете ли вы так добры сказать мисс Эвердин, что некто очень желал бы побеседовать с нею, — обратился к ней Оук.

(Сказать о себе «некто» и не назвать себя — отнюдь не свидетельствует о дурном воспитании в деревне, нет, это проистекает из такого исключительного чувства скромности, о каком люди городские с их визитными карточками и докладываниями даже и понятия не имеют.)

Батшебы не было дома. Ясно, это был ее голос.

— Заходите, прошу вас, мистер Оук.

— Благодарствую, — отвечал Габриэль, проходя вслед за хозяйкой к камину. — Я вот принес ягненочка мисс Эвердин; я так подумал, может, ей будет приятно его выходить; молодые девушки любят с малышами возиться.

— Что ж, может, она и рада будет, — задумчиво

отвечала миссис Херст, — но ведь она ко мне только погостить приехала. Да вы подождите минутку, она вот-вот вернется.

— Что ж, я подожду, — сказал Габриэль, усаживаясь. — Признаться, миссис Херст, я вовсе не из-за ягненка пришел. Я, знаете, хотел спросить ее, не пойдет ли она за меня замуж?

— Нет, правда?

— Да. Потому как, если она согласна, я хоть сейчас рад был бы на ней жениться. Вы вот, должно быть, знаете, не ухаживает ли за ней какой-нибудь другой молодой человек.

— Дайте-ка хоть подумать, — отвечала миссис Херст, тыкая кочергой в угли без всякой надобности. — Ну, да уж что там, ясное дело, молодых людей около нее хватает. Сами понимаете, фермер Оук, девчонка хорошенькая и образование отличное получила, одно время она даже в гувернантки собиралась поступить, да вот нрав у нее уж больно строптивый. Ну конечно, у себя в доме я ее молодых людей не встречала, они сюда не показываются, но женскую натуру сразу видать, я думаю, их у нее добрая дюжина.

— Плохо мое дело, — промолвил фермер Оук, грустно уставившись на трещину в каменном полу. — Я, конечно, человек незаметный, прямо

скажу, только на то и надеялся, что я первым буду... Ну, стало быть, нечего мне и дожидаться, я ведь только за тем и пришел. Уж вы простите меня, миссис Херст, я, пожалуй, пойду.

Габриэль успел пройти шагов двести по склону холма, когда сзади до него донесся крик: «Эй, эй!» — причем голос был гораздо тоньше и пронзительней, чем можно обычно услышать на пастбище. Он обернулся и увидел, что за ним бежит какая-то девушка и размахивает над головой белым платком.

Он остановился. Бегущая фигура быстро приближалась. Это была Батшеба Эвердин. Габриэль вспыхнул, а у нее щеки так и пылали, но не от волнения, как потом выяснилось, а от бега.

— Фермер Оук, я... — вымолвила она, с трудом переводя дух, и остановилась перед ним, полуотвернувшись, прижав руку к боку и глядя в сторону.

— Я только что был у вас, — сказал Габриэль, не дождавшись, пока она договорит.

— Да, я знаю, — отвечала она, дыша часто и прерывисто, как пойманная малиновка, а лицо у нее было все влажное и красное, точно лепестки пиона, пока на нем не обсохла роса. — Я не знала, что вы пришли сделать мне предложение, а то

бы я не задержалась в саду. Я побежала за вами, сказать вам, что тетя напрасно вас отослала и отсоветовала ухаживать за мной.

Габриэль просиял.

— Уж вы простите, дорогая, что вам пришлось бежать так быстро, чтобы нагнать меня, — сказал он с чувством бесконечной признательности за ее благосклонность. — Обождите немножко, отдышитесь.

— Это неверно, что тетя сказала вам, будто у меня уже есть молодой человек, — продолжала Батшеба. — У меня нет никакого поклонника и никогда не было, мне стало очень досадно, что она внушила вам, будто у меня их много!

— Как я рад слышать это, вот уж рад, — сказал фермер Оук, расплываясь до ушей в блаженной улыбке и вспыхивая от радости. Он протянул руку к ее руке, которую она, отдышавшись, отняла от бока и теперь грациозно прижимала к груди, чтобы унять частые биения сердца.

Но как только он схватил ее за руку, она тут же отдернула ее, рука, как угорь, выскользнула из его пальцев и спряталась за спину.

— У меня славная маленькая, доходная ферма, — сказал Габриэль уже далеко не с той уверенностью, с какой он схватил ее руку.

— Да, я знаю, у вас ферма.

— Один человек одолжил мне денег, чтобы я мог обзавестись всем, чем надо, но я скоро выплачу свой долг, и, хоть я человек маленький, все-таки я кой-чего добился с годами. — Габриэль так выразительно подчеркнул это «кой-чего», что ясно было, что он только из скромности не сказал «очень многого». — Когда мы поженимся, — продолжал он, — я ручаюсь, что буду работать вдвое больше, чем сейчас.

Он шагнул к ней и снова протянул руку. Батшеба нагнала его на краю луга, где рос невысокий куст остролиста, сейчас сплошь усыпанный красными ягодами. Видя, что его рука грозит поймать ее, если не обнять, Батшеба скользнула за куст.

— Что вы, фермер Оук, — сказала она, глядя на него поверх куста удивленно округлившимися глазами. — Я вовсе не говорила, что собираюсь за вас замуж.

— Вот так так! — упавшим голосом протянул Оук. — Бежать за человеком вдогонку только за тем, чтобы сказать, что он вам не нужен…

— Я только хотела сказать, — с жаром произнесла она, тут же начиная сознавать, в какое дурацкое положение она себя поставила, — что меня еще никто не называл своей милой, ни один

человек, а не то что дюжина, как наговорила тетя. Я даже подумать не могу, чтобы на меня кто-то смотрел как на свою собственность, хотя, может, когда-нибудь это и случится. Да разве я побежала бы за вами, если бы я хотела за вас замуж? Ну, знаете, это была бы такая распущенность! Но догнать человека и сказать, что ему наговорили неправду, в этом ведь нет ничего дурного.

— Нет, нет, ничего дурного.

Но иной раз, сказав что-нибудь не думая, человек переступает меру своего великодушия, — и Оук, охватив мысленно все происшедшее, добавил чуть слышно:

— Впрочем, я не уверен, что в этом не было ничего дурного.

— Но, право же, когда я пустилась за вами вдогонку, я даже и подумать не успела, хочу я замуж или нет, — ведь вы бы уже перевалили через холм.

— А что, если вы подумаете, — сказал Габриэль, снова оживая. — Подумайте минутку-другую. Я подожду, а, мисс Эвердин, пойдете вы за меня замуж? Скажите «да», Батшеба. Я люблю вас так, что и сказать не могу…

— Попробую подумать, — отвечала она уже далеко не так уверенно, — боюсь только, что я не

способна думать под открытым небом, мысли так и разбегаются.

— А вы попробуйте представить себе.

— Тогда дайте мне время. — И Батшеба, отвернувшись от Габриэля, задумчиво уставилась вдаль.

— Я все сделаю, чтобы вы были счастливы, — убеждал он, обращаясь через куст остролиста к ее затылку. — Через год-другой у вас будет пианино, — жены фермеров теперь стали обзаводиться пианино, а я буду разучивать за вами на флейте, чтобы играть вместе по вечерам.

— Да, это мне нравится…

— А для поездок на рынок мы купим за десять фунтов маленькую двуколку, и у нас будут красивые цветы и птицы — всякие там куры и петухи. Я хочу сказать, потому как они полезные, — увещевал Габриэль, прибегая то к поэзии, то к прозе.

— И это мне очень нравится…

— И парниковая рама для огурцов, как у настоящих джентльменов и леди.

— М-да.

— А когда нас обвенчают, мы дадим объявление в газету, знаете, в отделе бракосочетаний.

— Вот это будет замечательно!

— А потом пойдут детки, и от каждого такая

радость! А вечером у камина, стоит вам поднять глаза — и я тут возле вас, и стоит мне только поднять глаза — и вы тут со мной.

— Нет, нет, постойте и не говорите таких неприличных вещей!

Батшеба нахмурилась и некоторое время стояла молча. Он смотрел на красные ягоды, отделявшие ее от него, смотрел и смотрел на них не отрываясь, и так долго, что эти ягоды на всю жизнь остались для него символом объяснения в любви. Наконец Батшеба решительно повернулась к нему.

— Нет, — сказала она. — Ничего не получается. Не пойду я за вас замуж.

— А вы попробуйте.

— Да я уж и так пробовала представить себе, пока думала; в каком-то смысле, правда, конечно, очень заманчиво выйти замуж: обо мне будут говорить, и, конечно, все будут считать, что я ловко вас обошла, а я буду торжествовать и все такое. Но вот муж…

— Что муж?

— Он всегда будет рядом, как вы говорите… стоит только поднять глаза — и он тут…

— Ну конечно, он будет тут… то есть я, значит.

— Так вот в этом-то все и дело. Я хочу сказать, что я не прочь побыть невестой на свадьбе, толь-

ко чтобы потом не было мужа. Ну а раз уж нельзя просто так, чтобы покрасоваться, я еще повременю, во всяком случае пока еще мне не хочется выходить замуж.

— Но ведь это просто слушать страшно, что вы говорите.

Обиженная таким критическим отношением к ее чистосердечному признанию, Батшеба отвернулась с видом оскорбленного достоинства.

— Клянусь чем хотите, честное слово, я даже не могу себе представить, как только молодая девушка может говорить подобные глупости! — вскричал Оук. — Батшеба, милая, — жалобно продолжал он, — не будьте такой. — И Оук глубоко вздохнул от всего сердца, так что даже ветер пронесся в воздухе, словно вздохнула сосновая роща. — Ну почему бы вам не пойти за меня, — умолял он, пытаясь приблизиться к ней сбоку, из-за куста.

— Не могу, — ответила она и попятилась.

— Но почему же? — повторял он, уже отчаявшись достичь ее и не двигаясь с места, но глядя на нее поверх куста.

— Потому что я не люблю вас.

— Да… но…

Она подавила зевок, чуть заметно, так, чтобы

это не показалось невежливым.

— Я не люблю вас, — повторила она.

— А я люблю вас, и если я вам не противен, что ж…

— О, мистер Оук! Какое благородство! Вы же сами потом стали бы презирать меня.

— Никогда! — вскричал Оук с таким жаром, что, казалось, вслед за этим вырвавшимся у него словом он сейчас и сам бросится прямо через куст в ее объятия. — Всю жизнь теперь — это уж я наверняка знаю, всю жизнь я буду любить вас, томиться по вас и желать вас, пока не умру. — В голосе его слышалось глубокое волнение, и его большие загорелые руки заметно дрожали.

— Конечно, ужасно нехорошо ответить отказом на такое чувство, — промолвила не без огорчения Батшеба, беспомощно оглядываясь по сторонам, словно ища выхода из этого морального затруднения. — Как я теперь раскаиваюсь, что побежала за вами! — Но, по-видимому, она была не склонна долго огорчаться, и лицо ее приняло лукавое выражение. — Ничего у нас с вами не получится, мистер Оук, — заключила она. — Мне нужен такой человек, который мог бы меня укротить, очень уж я своенравна, а я знаю, вы на это не способны.

Оук стоял, опустив глаза и уставившись в землю, словно давая понять, что он не намерен вступать в бесполезные пререкания.

— Вы, мистер Оук, — снова заговорила она каким-то необыкновенно рассудительным и не допускающим возражений тоном, — в лучшем положении, чем я. У меня нет ни гроша за душой, я живу у тети, просто чтобы не пропасть с голоду. Я, конечно, образованнее вас. И я вас нисколечко не люблю. Вот вам все, что касается меня. Ну а что касается вас, — вы только что обзавелись фермой, вам, по здравому смыслу, если уж вы задумаете жениться (что вам, конечно, сейчас ни в коем случае не следует делать), надо жениться на женщине с деньгами, которая могла бы вложить капитал в вашу ферму, сделать ее гораздо более доходной, чем она сейчас.

Габриэль смотрел на нее с нескрываемым восхищением и даже с некоторым изумлением.

— Так ведь это как раз то, о чем я сам думал, — простодушно признался он.

Габриэль обладал некоторым излишеством христианских добродетелей, — его смирение и избыток честности сильно вредили ему в глазах Батшебы. Она, по-видимому, никак не ожидала такого признания.

— Тогда зачем же вы приходите беспокоить меня зря? — вскричала она чуть ли не с возмущением, и щеки ее вспыхнули, и алая краска разлилась по всему лицу.

— Да вот не могу поступать так, как, казалось бы…

— Нужно?

— Нет, разумно.

— Ну вот вы и признались теперь, мистер Оук! — воскликнула она еще более заносчиво, презрительно качая головой. — И вы думаете, после этого я могла бы выйти за вас замуж? Ну уж нет.

— Неправильно вы все толкуете! — не выдержав, вспылил Габриэль. — Оттого только, что я чистосердечно открылся вам, какие у меня были мысли, а они у всякого были бы на моем месте, вы вдруг почему-то кипятитесь, вон, даже все лицо заполыхало, и накидываетесь на меня. И то, что вы для меня не пара, — тоже вздор! Разговариваете вы, как настоящая леди, все это замечают, и ваш дядюшка в Уэзербери, слыхать, крупный фермер, такой, что мне за ним никогда не угнаться. Разрешите мне прийти к вам в гости вечером, или, может быть, пойдемте погулять в воскресенье. Я вовсе не настаиваю, чтобы вы так

сразу решили, если вы колеблетесь.

— Нет, нет, не могу. И не уговаривайте меня больше. Я вас не люблю и... это было бы смешно, — сказала она и засмеялась.

Кому приятно, чтобы его подымали на смех и потешались над его чувствами!

— Хорошо, — сказал Оук твердо и с таким видом, как будто для него теперь не осталось ничего другого, как только дни и ночи черпать утешение в Екклезиасте. — Больше я вас просить не буду.

Глава V
Батшеба уехала. Пастушеская трагедия

Когда до Габриэля дошли слухи, что Батшеба Эвердин уехала из здешних мест, это известие оказало на него такое действие, какое, наверно, показалось бы неожиданным всякому, кому не случалось наблюдать — чем с большим жаром мы от чего-либо отрекаемся, тем менее действенно и бесповоротно наше отреченье.

Многим пришлось испытать на себе, что дорога, которой можно уйти от любви, гораздо трудней той, что ведет к ней. Иной человек, запутавшись, вступает в брак, рассматривая это как способ полегче выпутаться, но и этот способ, как мы знаем, не всегда помогает. Исчезновение Батшебы предоставляло Оуку счастливую возможность воспользоваться способом разлуки, который для людей некоего определенного склада оказывается как нельзя более действенным, а других побуждает идеализировать отсутствующий предмет любви, в особенности тех, чье чувство, — казалось бы, спокойное, ровное, — пу-

стило глубоко прочные, невидимые ростки. Оук принадлежал к разряду уравновешенных людей и чувствовал, что его тайное влечение к Батшебе теперь, когда она уехала, разгорается еще сильнее — вот и все. Дружественные отношения с ее теткой были пресечены в самом зародыше его неудачным сватовством, и все, что Оук знал о Батшебе, доходило до него стороной. Говорили, что она уехала в селение Уэзербери, в двадцати милях отсюда, но уехала ли она погостить или навсегда, Оук так и не мог дознаться.

У Габриэля были две собаки. Старший пес Джорджи, с черным, как деготь, кончиком носа, выступавшим из узенькой каемки голой розоватой кожи, был лохматый пес с длинной шерстью, цвет которой, переходя от пятна к пятну, в общем сливался в белый с грифельно-серым; но с годами серый цвет в верхних слоях шерсти выцвел и вылинял от солнца и дождя и стал красновато-бурым, как если бы синяя краска, входящая в состав серого, поблекла, как индиго на некоторых картинах Тернера. Что же касается шерсти, то в самой своей сущности первоначально это был волос, но от долгого общения с овцами он, мало-помалу свалявшись, превратился в шерсть весьма невысокого качества и прочности. Этот

пес принадлежал раньше пастуху очень распущенного и буйного нрава, поэтому Джорджи так хорошо различал все нюансы разных замысловатых ругательств и проклятий, что ни один самый сварливый старик во всей округе не мог бы с ним в этом сравниться. Долгий опыт научил его так точно определять разницу между окриком: «Сюда!» и «А, ччерт, сюда!» — что, бросаясь со своего места позади стада на зов хозяина, он безошибочно набирал ту скорость, какая требовалась в том или ином случае, дабы избежать взбучки. Хотя теперь он уже был старый, тем не менее это был умный пес, заслуживающий доверия.

Молодой пес, сын Джорджи, должно быть, вышел в мать, потому что между ним и Джорджи что-то не замечалось сходства. Он учился ходить за стадом, чтобы потом остаться при нем на месте Джорджи, когда тот умрет. Но пока что он еле усвоил только самые основные правила и до сих пор никак не мог постичь одной непреодолимой трудности — научиться различать, когда делаешь очень хорошо, а когда слишком хорошо. Это был такой старательный и бестолковый пес (у него еще не было собственного имени, и он с одинаковой готовностью откликался на любой приветливый оклик), что, когда его посылали

подогнать стадо, он так ревностно брался за дело, что с радостью прогнал бы отару через все графство, если бы его не отзывали или если бы не пример старого Джорджи, который показывал ему, что пора остановиться.

На этом мы пока расстанемся с собаками. На дальнем краю Норкомбского холма была меловая яма, откуда окрестные крестьяне из поколения в поколение доставали мел для своих полей. Яма с двух сторон была обнесена загородками, которые, не смыкаясь концами, возвышались над ней в виде буквы «V». Узкий промежуток между ними над самым обрывом был закрыт мостками из досок.

Однажды после ночного обхода, вернувшись к себе домой и полагая, что его помощь не потребуется в загоне до утра, фермер Оук вышел на порог покликать, как всегда, собак, чтобы закрыть их на ночь в сарае. На зов прибежал только старый Джорджи; другой нигде не было видно, ни в доме, ни за плетнем, ни на огороде. Тут Габриэль вспомнил, что он оставил обеих собак на холме, предоставив им на съедение павшего ягненка (пища, которая им обычно не разрешалась, а только в тех случаях, когда запасы подходили к концу), и, решив, что молодой пес еще не разделался с ужином, вошел в хижину и с

наслаждением растянулся на своем ложе — роскошь, которую за последнее время он позволял себе только по воскресеньям.

Перед рассветом его разбудила какая-то странная перемена в доносившихся до него привычных звуках. Для пастуха звон овечьих бубенцов, так же как тиканье часов для других людей, это звук, с которым он до такой степени свыкся, что перестает замечать его, пока он не прорвется или не нарушится внезапно каким-то необычным изменением того знакомого мерного позвякивания, которое, даже если его едва слышно, говорит издалека привычному слуху, что в загоне все благополучно. В глубокой тишине пробуждающегося утра звуки, доносившиеся до Габриэля, отличались необычной частотой и стремительностью. Такой непохожий на обыденный звон бывает в двух случаях: когда стадо выгоняют на корм, овцы, рассыпаясь по пастбищу, начинают поспешно щипать, и от их бубенцов стоит частый перемежающийся звон; или когда стадо бросается бежать, тогда бубенцы звенят непрерывно и стремительно. Оук, с его опытным ухом, сразу распознал, что это звон бегущего опрометью стада.

Он вскочил и, напяливая на ходу куртку, ринулся в предрассветный туман, через дорогу к

склону холма. Овцы-матки помещались отдельно от овец, которым еще предстояло ягниться, и этих последних в гурте Габриэля было двести голов. Их нигде не было видно. Пятьдесят маток с ягнятами, укрытые в дальнем конце загона, так и лежали там, но все остальные, — а они-то и составляли основную массу гурта, — точно куда-то сгинули. Габриэль стал кликать их во всю мочь обычным пастушеским кликом:

— Оо-э! Оо-э!

Ни одного ответного блеянья. Он подошел к изгороди и увидел, что она в одном месте повалена и вокруг следы овец. Его очень удивило, что овцам в зимнее время приспичило вылезать из загона, но он тут же объяснил это их пристрастием к плющу, который в изобилии рос в буковой роще, и пошел через пролом. В роще их не было. И он снова стал кликать, и дальние холмы и долины откликались эхом, как тем мореплавателям, которые кликали пропавшего Гиласа у Мизийских берегов; но овец не было. Он пробрался сквозь чащу деревьев и пошел по гребню холма.

На дальнем конце гребня, на самой вершине, там, где края загородок, о которых говорилось выше, расступались над меловым обрывом, он увидел своего пса; он стоял, четко выделяясь

на посветлевшем небе, темный, неподвижный, словно Наполеон на острове Св. Елены.

Страшная догадка осенила Оука. Весь как-то сразу ослабев, он медленно приблизился; в дощатом настиле зияла дыра и кругом везде были следы овец. Пес подошел и лизнул ему руку, всем своим видом явно давая понять, что он ждет особой награды за свою замечательную службу. Оук заглянул в яму. Мертвые и подыхающие овцы лежали на дне — груда искалеченных овец, две сотни, а поскольку все это были суягные овцы — выходило не две, а по меньшей мере вдвое больше.

Оук был на редкость отзывчивый человек; сказать по правде, его отзывчивость нередко оказывалась препятствием для кое-каких стратегических замыслов, ибо стоило ему задумать что-нибудь, она брала над ним верх, и все его хитроумные планы рушились. Он всегда огорчался тем, что его стаду написано на роду стать бараниной, что для каждого пастуха наступает день, когда он становится гнусным предателем своих беззащитных овец. И сейчас его прежде всего охватило чувство жалости к этим безвременно погибшим кротким овечкам и их неродившимся ягнятам.

И лишь потом это бедствие предстало перед ним с другой стороны. Овцы не были застрахованы, все его сбережения, накопленные лишениями и трудом, пошли прахом; рухнули — и уж верно, навсегда — все его надежды выбиться в независимые фермеры. Столько усилий, терпенья и усердия стоили Габриэлю эти годы его жизни с восемнадцати до двадцати восьми лет, чтобы достичь теперешнего положения, что сейчас он как будто весь выдохся. Он прислонился к загородке и закрыл лицо руками.

Но остолбенение не длится вечно, и фермер Оук опамятовался и пришел в себя. И что удивительно и как нельзя более характерно для него — первые слова, вырвавшиеся у него, были словами благодарности.

— Благодарю тебя, Боже, что я не женат! Каково бы ей теперь пришлось в бедности, которая ждет меня.

Он поднял голову и, задумавшись над тем, что ему теперь делать, безучастно глядел прямо перед собой. По ту сторону ямы лежал небольшой овальный пруд, а над ним висел тонкий серп месяца, доживавшего последние минуты, — утренняя звезда уже наступала на него слева. Пруд мерцал тускло, как глаз покойника, но кру-

гом уже все пробудилось к жизни, задул ветер, заколыхал, растянул, не дробя, абрис месяца, а звезду разметал по воде фосфорическими искрами. Все это Оук видел и запомнил.

Насколько можно было установить, как все это произошло, по-видимому, бедный пес, по-прежнему пребывавший в уверенности, что его держат для того, чтобы гонять овец, и, следовательно, чем больше их гонять, тем лучше, поужинав павшим ягненком и почувствовав после этого прилив энергии и бодрости, поднял овец и погнал их к изгороди. Напуганные животные прорвались через ограду на верхнее пастбище; пес погнал их наперерез вверх по склону и пригнал к обрыву, где они всем гуртом сбились у мостков; подгнившие доски не выдержали, и все стадо рухнуло в яму. Сын Джорджи сделал свое дело так основательно, что его сочли чересчур исполнительным, чтобы оставить в живых, и в полдень того же дня жизнь его трагически окончилась. Еще один пример грустной участи, которая частенько выпадает на долю собак и прочих философов, пытающихся доходить в своих рассуждениях до логического конца и поступать с неуклонной последовательностью в мире, где все держится главным образом на компромиссах.

Овец для своей фермы Габриэль приобрел у торговца, который, положившись на его добрую репутацию и степенный вид, поверил их ему в долг с начислением процентов до тех пор, пока он не выплатит все до конца. Оук подсчитал, что стоимости уцелевших овец, инвентаря и имущества, составлявшего его личную собственность, хватит только на то, чтобы погасить долг, после чего он будет волен располагать собой и кроме того, что на нем надето, у него не останется ровно ничего.

Глава VI
Ярмарка. Путешествие. Пожар

Прошло два месяца. Стоял февральский день, день, когда по издавна укоренившемуся обычаю в Кэстербридже состоится ежегодная ярмарка найма — фермеры нанимают себе работников. На одном конце улицы теснилось двести — триста человек здоровых, горластых мужиков, — они пришли сюда попытать счастья; все это были люди одного склада, для которых труд это всего-навсего привычная необходимость преодолевать земное тяготение, а высшее блаженство — когда эта необходимость отпадает. Тут были возчики и обозники, которых можно было сразу узнать по обмотанной вокруг шляпы бечеве от кнута, кровельщики с нацепленными на шляпы пучками плетеной соломы, пастухи с изогнутыми узловатыми посохами в руках, так что нанимателю с первого взгляда было ясно, кто какого рода работы ищет.

В этой толпе заметно выделялся один молодой человек атлетического сложения. Он отличался от других каким-то неуловимым, но настолько

явным превосходством, что стоявшие поблизости загорелые парни один за другим осведомлялись у него насчет работы, обращаясь к нему, как к фермеру, с почтительным «сэр». Он отвечал всем одно и то же:

— Я сам ищу места управителя на ферме. Не слышали ли, кому нужно?

Габриэль побледнел за это время. Взгляд у него стал более задумчивым и в выражении лица появилось что-то грустное. Он прошел через горнило несчастий, которые дали ему больше, чем отняли. Он опустился со скромных высот своего пастушеского процветания в бездну самой унизительной нищеты, но он обрел незыблемое спокойствие, какого никогда не знал раньше, и то равнодушие к собственной судьбе, которое одного делает подлецом, а другого, напротив, духовно растит и возвышает. Итак, унижение способствовало его возвышению, а утрата оказалась выигрышем.

В этот день утром кавалерийский полк, стоявший здесь, снимался с постоя и сержант-вербовщик с отрядом солдат гарцевал по всему городу, зазывая новобранцев. По мере того как день подходил к концу и близился вечер, а Габриэля все так никто и не нанимал, он стал жалеть, что не

записался в солдаты и упустил случай отправиться в дальние края служить отечеству. Он устал топтаться без толку по рыночной площади, а так как ему, в сущности, было все равно, на какую бы его ни взяли работу, он решил попробовать наняться не управителем, а работником.

Похоже было, что всем фермерам требовались пастухи. А для Габриэля ходить за стадом было привычным делом. Он повернул с площади на какую-то глухую улочку, а оттуда в еще более глухой переулок и вошел в кузницу.

— Сколько вам надо времени сделать крюк для посоха?

— Двадцать минут.

— А что это будет стоить?

— Два шиллинга.

Габриэль сел на скамью. Ему сделали крюк и даже дали палку в придачу.

Затем он отправился в лавку готового платья, хозяин которой был свой человек в округе. Так как почти все свои деньги Габриэль отдал за крюк, он решил попытаться обменять свое пальто на холщовую пастушескую блузу, что и сделал.

После того как этот обмен совершился, он вернулся на рынок и стал на краю тротуара, с посохом в руке, как пастух. И надо же, чтобы

теперь, когда он преобразился в пастуха, спрос только и был что на управителей. Все же сначала один, потом еще два-три фермера приметили его; одни за другим они подходили к нему и всякий раз следовал примерно такой разговор:

— А ты откуда?

— Из Норкомба.

— Не ближний конец.

— Пятнадцать миль.

— У кого последнее время работал? На чьей ферме?

— На своей собственной.

Этот ответ всякий раз неизменно оказывал такое же действие, как слух о холере. Осведомлявшийся фермер пятился и поспешно отходил, с сомнением покачивая головой. Габриэль, подобно своему псу, был слишком хорош, чтобы на него можно было положиться; так дальше этого разговора дело и не шло. Куда вернее ухватиться за первую подвернувшуюся возможность и поступить сообразно, чем иметь наготове заранее обдуманный план и выжидать, когда представится случай осуществить его. Габриэль теперь жалел, что связал себя отличительными знаками пастуха, — не будь этого, он мог бы подрядиться на любую работу, выбрав из того, на что был

спрос.

Уже смеркалось. Какие-то гуляки насвистывали и распевали возле хлебной биржи. Габриэль стоял, засунув руки в карманы своей пастушеской блузы, и пальцы его машинально нащупали флейту, которую он переложил туда. Вот тут-то и представлялся случай проявить мудрость, приобретенную столь дорогой ценой.

Он достал флейту и заиграл песенку «Ярмарочный плут», да так задорно, как если бы это играл человек, не испытавший в жизни никаких огорчений. Оук умел извлекать из своей флейты истинно аркадские звуки, и сейчас знакомая мелодия радовала его самого не меньше, чем столпившихся кругом зевак. Он играл с увлечением и за полчаса собрал пенсами изрядную сумму, которая для неимущего человека представляла собой маленький капитал.

Порасспросив людей, он узнал, что на другой день такая же ярмарка найма будет в Шоттсфорде.

— А далеко ли до Шоттсфорда?

— Миль десять от Уэзербери.

«Уэзербери! Куда уехала Батшеба тому назад два месяца!» Это известие вдруг словно озарило все кругом, как если бы ночь превратилась в

ясный день.

— А сколько отсюда до Уэзербери?

— Миль пять, шесть.

Батшеба, наверно, уже давно уехала из Уэзербери, и все же для Оука это место обладало такой притягательной силой, что он только потому и решил попытать счастья на Шоттсфордской ярмарке, что это было неподалеку от Уэзербери. Да и народ в Уэзербери такой, что посмотреть любопытно. Если верить молве, так других таких смельчаков, удачливых, озорных и веселых, во всем графстве не сыщешь. Оук решил, что ему по пути в Шоттсфорд можно будет переночевать в Уэзербери, и, не долго думая, свернул на проселочную дорогу, которая, как ему сказали, вела прямо к этому селению.

Дорога шла через заливные луга, по которым там и сям бежали ручьи; вода в них, подернутая рябью, струилась посредине бороздой и набегала складками по краям, а там, где течение убыстрялось, на поверхности выступали клочья белой пены, которые, невозмутимо покачиваясь, спокойно скользили по воде. Затем дорога пошла вверх, мертвые сухие листья взметались и кружили, подхваченные ветром, и со стуком падали на землю; маленькие птахи в изгородях

шелестели перышками, устраиваясь поудобнее на ночь, и замирали, когда Оук проходил мимо, а если он останавливался поглядеть на них, они снимались с места и улетали.

Путь его лежал через Иелберийский лес, где глухари и фазаны уже садились на ночлег и слышались надтреснутые «ку-юк, ку-юк» фазана-самца и захлебывающееся посвистывание курочек.

Он прошел всего три или четыре мили, а кругом, куда ни кинь глаз, уже все окуталось черной густой мглой. Когда он спустился с Иелберийского холма, он с трудом различил в двух шагах от себя крытую телегу, стоявшую под большим деревом на обочине дороги.

Приблизившись, он увидел, что телега без лошади и кругом ни души. По-видимому, телегу оставили здесь на ночь, потому что, кроме растрепанной вязанки сена на дне, в ней больше ничего не было. Габриэль уселся на дышло и стал раздумывать, как ему поступить. Он рассчитал, что прошел больше половины пути, а так как он с раннего утра был на ногах, его сейчас сильно прельщало растянуться на сене в телеге, вместо того чтобы тащиться в Уэзербери и там платить за ночлег.

Он доел последний оставшийся у него ломоть хлеба с мясом, запил несколькими глотками сидра из бутылки, которую он предусмотрительно взял с собой, и залез в покинутую телегу. Разворошив часть сена, он улегся на него, а остальным, насколько удалось нащупать в темноте, накрылся с головой, как одеялом, и почувствовал себя так уютно, как никогда в жизни.

Конечно, для такого человека, как Оук, склонного гораздо больше других копаться в самом себе, трудно было отделаться от горьких мыслей в теперешнем его положении. Итак, размышляя о своих любовных и пастушеских горестях, он вскоре уснул, ибо пастухи, как и моряки, наделены исключительным даром — они могут вызвать к себе бога сна, а не дожидаться, когда он соизволит сойти.

Оук не имел представления, сколько времени он спал, когда, вдруг проснувшись, обнаружил, что телега движется. Она катила по дороге с очень большой скоростью для безрессорного экипажа, и Оук проснулся с неприятным ощущением барабанного боя в висках, оттого что голова его колотилась о дно телеги. Тут он услышал голоса, доносившиеся с передка телеги. В полном недоумении (которое у человека преуспевающего,

наверно, перешло бы в испуг, — нет лучшего лекарства от страха, чем несчастье) Габриэль осторожно выглянул из-под сена, и первое, что он увидел, были звезды у него над головой. Большая Медведица уже почти стояла под прямым углом к Полярной звезде, из чего он заключил, что время близится к девяти, — значит он проспал два часа. Это маленькое астрономическое вычисление не стоило ему никаких усилий, он произвел его, стараясь бесшумно повернуться, чтобы по мере возможности выяснить, к кому это он попал в руки.

Впереди смутно виднелись две фигуры, сидевшие, свесив ноги, на облучке; один из сидящих правил. Габриэль сразу догадался, что это хозяин телеги, возчик, и что оба они, должно быть, как и он, возвращаются с ярмарки в Кэстербридже.

Между ними шел разговор, и Габриэль услышал его продолжение.

— Так-то оно так, ничего не скажешь, пригожая, ладная бабенка. Да ведь это что, видимость одна, поглядеть приятно, а вот нрав у них, у этих пригожих, — не приведи бог, вот уж гордыня сатанинская.

— М-да, похоже, что так, похоже, что так, Билли Смолбери.

Это произнес сильно дребезжащий голос. Таким он, по-видимому, был от природы, но это присущее ему свойство усиливалось тряской и толчками телеги, действие коих явно отражалось на голосовых связках говорившего. А говорил тот, который держал вожжи.

— Так про нее все и говорят — спесивая бабенка!

— Ну, ежели так, я на нее и глаз не смогу поднять. Где уж мне, упаси бог, — кхе-кхе-кхе! Я человек робкий!

— М-да, уж так-то собой кичится! Говорят, всякий раз на ночь, перед тем как спать лечь, в зеркало смотрится, чтобы чепчик как следовает надеть.

— А сама незамужняя! Надо же!

— А еще говорят, на фортепианах играет! Любой церковный мотив на такой лад разделает, что за самую тебе разудалую песню сойдет, слушаешь — душа радуется.

— Ну и ну! Выходит, нам с тобой повезло, я ровно как воспрял духом! А платит она как?

— Вот уж этого я не знаю, мистер Пурграс.

У Габриэля, прислушивающегося к этому разговору, нет-нет да и мелькала дикая мысль, не о Батшебе ли это идет речь. Конечно, допустить

всерьез такое предположение не было никаких оснований, потому что хотя они и ехали в сторону Уэзербери, но, возможно, путь их лежал дальше, да и женщина, о которой они говорили, была явно хозяйкой какой-то усадьбы. Они как будто уже подъезжали к Уэзербери, и, чтобы не пугать зря увлекшихся разговором спутников, Габриэль незаметно соскочил с телеги. Он направился к проходу в изгороди и, подойдя ближе, обнаружил, что это ворота и они закрыты; он уселся на перекладину и стал раздумывать — идти ли ему в деревню искать дешевого ночлега или устроиться еще дешевле где-нибудь вот тут, под скирдой или под копной сена. Грохот и скрип телеги замерли где-то вдали. Оук уже совсем было собрался идти, как вдруг заметил налево от себя, так примерно в полумиле, какой-то необыкновенный свет. Он пригляделся — свет у него на глазах заполыхал ярче. Что-то горело.

Взобравшись снова на перекладину ворот, Габриэль спрыгнул на ту сторону и очутился на вспаханном поле; он бросился бегом наперерез, прямо на свет. Зарево, пока он бежал, выросло вдвое — и оттого, что огонь разгорался, и оттого, что он теперь был совсем близко от него; в ярко полыхающем свете впереди отчетливо выступи-

ли высокие стога и скирды. Горело на гумне.

Желто-багровый отсвет — отсвет пламени за безлиственной оголенной оградой озарил усталое лицо Оука, и сплетающиеся тени голых колючих веток заплясали узором по его блузе и гетрам, а металлический крюк его пастушеской клюки засверкал серебром. Он остановился у изгороди перевести дух. На гумне как будто не было ни души.

Пламя вырывалось из длинной скирды соломы, уже настолько сгоревшей, что спасти ее нечего было и думать. Скирда горит совсем не так, как дом. Когда ветер загоняет пламя внутрь, воспламенившаяся часть мгновенно исчезает без следа, как тающий сахар, и не видно, куда кинулся огонь. Однако плотно сложенная скирда сена или пшеницы может некоторое время противостоять огню, — если она загорелась снаружи, ему не сразу удается проникнуть внутрь. Но здесь перед Габриэлем была кое-как сложенная, рыхлая скирда, в которую языки пламени ныряли с молниеносной быстротой. Часть ее с наветренной стороны, обуглившаяся и раскаленная докрасна, то вспыхивала, то затухала, словно курящаяся сигара. Потом вдруг свисавший сверху ворох соломы обрушился вниз с шипящим свистом;

языки пламени вытянулись, охватили его и загудели спокойно, без треска. Клубы дыма поползли сзади, словно плывущие облака, а скрытые погребальные костры пылали под ними, пронизывая полупрозрачную пелену желтым сверкающим светом.

Растерзанные пучки соломы с краю скирды корчились, опаленные жаром, и скручивались, словно свившиеся узлом красные черви, и над ними маячили какие-то свирепые рожи, то словно выкатывался сверкающий глаз, то огненный язык высовывался изо рта, или ощеривались какие-то дьявольские пасти, и из них время от времени, словно птицы из гнезда, выпархивали искры.

Как только Габриэль понял, что дело серьезнее, чем ему показалось сначала, он перестал быть просто зрителем. В какой-то момент клуб дыма, подхваченный ветром, отнесло в сторону, и в прорвавшейся пелене Оук увидел прямо против горящей скирды скирду с пшеницей, а за нею еще целый ряд других, — может статься, весь урожай фермы; он-то думал, что эта скирда соломы стоит особняком, а оказывается, тут целый склад зерна и скирда за скирдой рядами по всему двору.

Габриэль перемахнул через ограду и тут об-

наружил, что он не один. Первый человек, попавшийся ему на глаза, носился впопыхах взад и вперед с таким очумелым видом, как если бы мысли его намного обогнали тело и никак не могли подтянуть его за собой так, чтобы оно поспевало за ними.

— Горим, горим! Добрые люди! Огонь, ох, наделает делов, добрый хозяин, плохой слуга, то бишь плохой слуга, добрый хозяин! Эй, Марк Кларк, сюда, сюда! И ты, Билли Смолбери, эй, Мэриен Мони! Джан Когген, Мэтью, сюда!

Позади вопившего человека появились в дыму другие фигуры, и тени их прыгали вверх и вниз, подчиняясь не столько движениям своих хозяев, сколько взмывающим языкам пламени. Габриэль теперь видел, что он не только не один, но что здесь куча народу. Это сборище людей, принадлежавших к тому классу, который выражает свои мысли посредством чувств, а чувства проявляет смятением, уже порывалось что-то делать, но пока что без всякого толку.

— Прикройте тягу под пшеничной скирдой! — крикнул Габриэль суетившимся возле него людям.

Скирда пшеницы стояла на каменных подскирдниках, и желтые языки пламени от горящей

соломы уже резвились между ними и прядали внутрь. А стоило только огню забраться под скирду — все пропало.

— Накиньте скорее брезент!

Притащили брезент и завесили им, как занавеской, продух между подскирдниками. Языки пламени тотчас перестали прядать под скирду, а взмыли кверху.

— Станьте здесь с ведром воды и поливайте брезент, чтобы мокрый был, — командовал Габриэль.

Огненные языки, загнанные вверх, уже начали лизать углы огромного навеса, покрывавшего скирду.

— Лестницу сюда, — крикнул он.

— Лестница у той скирды стояла, сгорела дотла, — отозвался из дыма кто-то, похожий на призрак.

Оук ухватил комли снопов и, оттянув их так, чтобы можно было поглубже засунуть ногу, полез наверх, цепляясь своей клюкой. Взобравшись на навес, он уселся верхом на стыке и принялся сбивать клюкой налетавшие туда огненные хлопья, не переставая кричать в то же время, чтобы ему принесли большой сук, лестницу и воды.

Билли Смолбери — один из тех, кто ехал в те-

леге, — разыскал и притащил лестницу, и Марк Кларк взобрался по ней и уселся рядом с Оуком. Там, наверху, можно было прямо задохнуться от дыма, и Марк Кларк, малый проворный, втащил наверх поданное ему ведро воды, плеснул Оуку в лицо и обрызгал его всего с головы до ног, а тот продолжал сметать горящие хлопья, теперь уже обеими руками, размахивая длинной буковой веткой и клюкой.

Толпившиеся внизу люди все так же суетились, стараясь что-то сделать, чтобы потушить пожар, но по-прежнему без всякого толку. Суетящиеся фигуры, окрашенные в кирпичный цвет, отбрасывали резко очерченные, причудливо меняющиеся тени.

В стороне, за самой большой скирдой, куда почти не проникал свет пламени, стояла лошадка, на которой сидела в седле молодая женщина. Тут же рядом стояла другая женщина. Обе они, по-видимому, нарочно держались подальше от огня, чтобы не пугать лошадь.

— Это пастух, — сказала женщина, стоявшая возле всадницы. — Ну да, пастух. Поглядите, как блестит его крюк, когда он бьет по скирде. А вон блузу-то его, бог ты мой, уже в двух местах прожгло. Молодой, красивый пастух, мэм.

— Чей же это пастух? — звонким голосом спросила всадница.

— Не знаю, мэм.

— Но кто-нибудь, наверно, знает?

— Никто не знает, уж я спрашивала. Говорят, не здешний, чужой.

Молодая женщина выехала из-за скирды и с беспокойством огляделась по сторонам.

— Ты как думаешь, рига не может загореться? — спросила она.

— Джан Когген, как по-вашему, рига не может загореться? — переспросила другая женщина стоявшего поблизости человека.

— Теперь-то уж нет, я думаю, можно не опасаться. Вот ежели бы та скирда загорелась, тогда и риге не уцелеть… А так бы оно и было бы, коли б не этот молодой пастух, вон он сидит на той самой скирде и молотит своими длинными ручищами, ровно твоя мельница.

— И как ловко орудует, — сказала всадница, глядя на Габриэля через свою плотную шерстяную вуаль. — Я бы хотела, чтобы он остался у нас пастухом. Кто-нибудь из вас знает, как его зовут?

— Кто ж его знает, никто его здесь никогда не видел.

Укрощенный огонь начал затихать, и Габриэль,

убедившись, что ему больше нет надобности восседать на своем высоком посту, собрался слезать.

— Мэриен, — сказала молодая всадница, — ступай туда, он сейчас слезет, и скажи, что фермер хочет поблагодарить его за то, что он нас выручил.

Мэриен подошла к скирде как раз в тот момент, когда Оук сошел с лестницы. Она передала ему, что ей было поручено.

— А где ваш хозяин, фермер? — осведомился Габриэль, оживившись при мысли, что для него может найтись работа.

— Не хозяин, а хозяйка, пастух.

— Женщина — фермер!

— Да и еще какой богатый фермер! — подхватил кто-то из стоящих рядом. — Недавно в наши края приехала откуда-то издалека. Дядюшка у ней внезапно скончался, вот ей его ферма и досталась. Старик деньги полпинтами мерил, так кружками и считал, а она теперь, говорят, со всеми кэстербриджскими банками дела ведет. Ей в кинь-монету можно не как нам, грошами, а золотыми играть.

— Вон она там, на лошади, лицо черным покрывалом с дырочками закрыто, — сказала Мэриен.

Оук, весь грязный, черный, сплошь облеп-

ленный копотью, в прожженной, дырявой, промокшей насквозь блузе, с обугленным и укоротившимся по крайней мере дюймов на пять, на шесть пастушьим посохом, смиренно, — тяжкие превратности судьбы сделали его смиренным, — приблизился к маленькой женской фигурке, сидевшей на лошади. Он почтительно, но вместе с тем молодцевато приподнял шляпу и, остановившись у самых ее ног, спросил нерешительным голосом:

— Не требуется ли вам пастух, мэм?

Она подняла шерстяную вуаль, закрывавшую ее лицо, и уставилась на него круглыми от изумления глазами.

Габриэль и его жестокая милая, Батшеба Эвердин, очутились лицом к лицу.

Батшеба молчала, а он повторил машинально упавшим, растерянным голосом:

— Не требуется ли вам пастух, мэм?

Глава VII
Так они встретились. Боязливая девушка

Батшеба отъехала в тень. Она и сама не знала — смешно ей, что они вот так встретились, или скорее неприятно, — уж очень все это неловко получилось. В ней шевелилось как будто и чувство жалости, а вместе с тем что-то похожее на чувство торжества: вот он в каком положении, а я… Она не испытывала никакого замешательства, а то, что Габриэль признался ей в любви в Норкомбе, она вспомнила только сейчас, когда, увидев его, подумала, что вот ведь она совершенно забыла об этом.

— Да, — тихо промолвила она, повернув к нему с важным видом слегка зарумянившееся лицо. — Мне нужен пастух. Но…

— Вот он как раз то, что надо, мэм, — веско заявил один из сельчан.

Убежденность действует убедительно.

— Да, да, верно, — решительно поддержал второй.

— Самый подходящий человек, — с воодушев-

лением подтвердил третий.

— Лучше не найти, — с жаром подхватил четвертый.

— В таком случае скажите ему, чтобы он поговорил с управителем, — распорядилась Батшеба.

И все стало на свое место и свелось к делу. Чтобы придать этой встрече подобающую ей романтическую окраску, требовались более подходящие условия — летний вечер, уединенность.

Габриэлю помогли разыскать управителя, и они отошли с ним в сторонку потолковать, и все время, пока у них шел этот предварительный разговор, Габриэль старался унять трепыхание в груди, вызванное неожиданным открытием, что эта неведомая ночная богиня Астарта, о которой он слышал такие странные речи, оказывается, не кто иной, как хорошо знакомая ему, обожаемая Венера.

Огонь унялся.

— После такой неурочной работы я предлагаю вам всем немножко подкрепиться, — сказала Батшеба. — Заходите в дом.

— Оно конечно, мисс, неплохо бы перекусить да выпить, — отозвался один за всех, — да только нам куда вольготнее было бы посидеть в солодовне Уоррена, ежели бы вы нам туда чего-нибудь

прислали.

Батшеба повернула лошадь и скрылась в темноте. Крестьяне гурьбой двинулись в поселок, и у скирды остались только Оук с управителем.

— Ну вот, как будто и все, стало быть, мы уговорились, — сказал наконец управитель. — Я пошел домой. Доброй ночи, пастух.

— А вы не могли бы меня на жилье устроить? — попросил Габриэль.

— Вот уж чего не могу, того не могу, — отвечал управитель, стараясь поскорей увильнуть от Оука точь-в-точь как благочестивый прихожанин от блюда с доброхотными даяниями, когда он не собирается ничего давать. — Ступайте прямо по дороге, уткнетесь в солодовню Уоррена, они туда все сейчас угощаться пошли; там, верно, вам что-нибудь укажут. Доброй ночи, пастух.

Управитель, который, по-видимому, сильно страшился возлюбить ближнего, как самого себя, зашагал вверх по склону холма, а Оук направился в селение. Он все еще никак не мог опомниться от этой встречи с Батшебой. Он радовался, что будет жить поблизости от нее, и в то же время был совершенно ошеломлен тем, как быстро такая молоденькая, неопытная норкомбская девушка превратилась в невозмутимую власт-

ную женщину. Впрочем, некоторым женщинам только недостает случая, чтобы показать себя во весь рост.

Тут Габриэлю пришлось оторваться от своих мыслей, чтобы не сбиться с дороги, — перед ним было кладбище, и он пошел по тропинке вдоль ограды, где росли громадные старые деревья. Тропинка поросла густой травой, которая даже и сейчас, в заморозки, заглушала его шаги. Поравнявшись с дуплистым деревом, которое даже среди всех этих старых великанов казалось патриархом, Габриэль увидел, что за ним кто-то стоит. Он продолжал идти, не останавливаясь, но случайно наподдал ногой камень, и тот откатился со стуком. Фигура, стоявшая неподвижно, вздрогнула и попыталась принять небрежно-беспечный вид.

Это была очень тоненькая девушка, в легкой не по сезону одежде.

— Добрый вечер, — приветливо сказал Габриэль.

— Добрый вечер, — ответила девушка.

Голос оказался необычайно пленительным, низкого, бархатного тона. Такие голоса любят описывать в романах, но в жизни их редко услышишь.

— Будьте так добры, скажите, пожалуйста, попаду ли я этой дорогой в солодовню Уоррена? — спросил Габриэль, которому действительно нужно было узнать, туда ли он идет, но, кстати, хотелось еще раз услышать этот мелодичный голос.

— Вы правильно идете. Вон она там, внизу под горой. А вы не знаете… — Девушка на секунду замялась. — Вы не знаете, до какого часа открыта харчевня «Оленья голова»?

По-видимому, приветливость Габриэля подкупила ее, так же как его подкупил ее голос.

— Я не знаю, где эта «Оленья голова», никогда про нее не слышал. А вы хотите попасть туда сегодня же?

— Да. — Девушка опять замялась.

В сущности, продолжать разговор не было необходимости, но из какого-то смутного желания скрыть свое смятение, спрятаться за ничего не значащей фразой ей явно хотелось еще что-то добавить, — так поступают простодушные люди, когда им приходится действовать тайком.

— Вы сами не из Уэзербери? — робко спросила она.

— Нет. Я новый пастух, только что прибыл.

— Пастух? Вот не сказала бы, вас можно за фер-

мера принять.

— Нет, всего-навсего пастух, — с мрачной решительностью отрезал Габриэль, и мысли его невольно устремились к прошлому. Он опустил глаза, и взгляд его упал на ноги стоявшей перед ним девушки, и тут только он увидел узелок, лежавший на земле. Она, вероятно, заметила, что взгляд его задержался на нем, и пролепетала робким, просительным тоном:

— Вы никому из здешних не скажете, что видели меня тут, не скажете, правда, ну хотя бы день или два?

— Конечно, не скажу, если вы не хотите.

— Спасибо вам большое, — сказала она. — Я бедная девушка, и я не хочу, чтобы обо мне люди судачили. — Она замолчала и поежилась.

— В такой холодный вечер вам следовало бы одеться потеплей. Я вам советую, идите-ка вы домой.

— О нет, нет. Пожалуйста, я вас прошу, идите своей дорогой и оставьте меня здесь одну. Большое вам спасибо за то, что вы так сказали.

— Хорошо, я пойду, — сказал он и прибавил нерешительно: — Раз вы сейчас в таком трудном положении, может, вы не откажетесь принять от меня вот этот пустяк? Тут всего-навсего шиллинг,

все, что я могу уделить.

— Да, не откажусь, — с глубокой признательностью ответила незнакомка.

И протянула руку. Габриэль протянул свою. И в тот момент, когда она, коснувшись его руки, повернула свою ладонью вверх, Габриэль, взяв ее руку в темноте, чтобы положить монету, нечаянно нащупал ее пульс. Он бился с трагической напряженностью. Ему нередко случалось нащупывать такой учащенный, жесткий, прерывистый пульс у своих овец, когда пес загонял их до изнеможения. Это говорило о чрезмерном расходовании жизненной энергии и сил, а их, судя по хрупкому сложению девушки, было у нее и так слишком мало.

— Что с вами такое?

— Ничего.

— Что-то, должно быть, есть?

— Нет, нет, нет. Пожалуйста, не проговоритесь, что видели меня.

— Хорошо, буду молчать. Доброй вам ночи.

— Доброй ночи.

Девушка осталась стоять не двигаясь, прислонясь к дереву, а Габриэль пошел вниз по тропинке к селению Уэзербери, или Нижней Запруде, как его здесь называли. У него было такое чувство,

как будто он соприкоснулся вплотную с каким-то безысходным горем, когда рука этого маленького, хрупкого существа легла в его руку. Но на то и разум, чтобы не поддаваться минутным впечатлениям, и Габриэль постарался забыть об этой встрече.

Глава VIII
Солодовня. Погуторили. Новости

Солодовня Уоррена была со всех сторон обнесена старой стеной, густо поросшей плющом, и хотя в этот поздний час от самого дома мало что было видно, его темные резкие очертания, отчетливо выступавшие на вечернем небе, достаточно красноречиво изобличали его назначение и свойства. Покатая соломенная крыша, свисавшая бахромой над стенами, сходилась в середине углом, увенчанным небольшим деревянным куполом наподобие фонаря и обнесенным со всех четырех сторон решетчатыми навесами, из-под которых, медленно расплываясь в ночном воздухе, струился пар. Окон в доме спереди не было, и только через маленький, заделанный толстым стеклом квадратик над входной дверью пробивались полосы красноватого света, которые тянулись через двор и ложились на увитую плющом стену. Изнутри доносились голоса.

Оук долго шарил рукой по двери, как ослепший Елима-волхв. Наконец он нащупал кожаный ремешок и потянул за него; деревянная щеколда

откинулась, и дверь распахнулась.

Внутри помещение было освещено только красным жаром сушильной печи, свет которой струился низко над полом, словно свет заходящего солнца, и отбрасывал вверх колеблющиеся искаженные тени сидящих людей. Каменные плиты пола стерлись от времени, от входной двери к печи протопталась дорожка, а кругом образовались углубления и впадины. У одной стены стояла длинная скамья из неструганого дуба, закруглявшаяся с обеих сторон, а в глубине, в углу, узкая кровать, накрытая одеялом, где спал, а частенько полеживал и днем хозяин-солодовник.

Старик-хозяин сидел сейчас прямо против огня; белые как снег волосы и длинная белая борода, закрывавшая его согбенное туловище, казалось, разрослись на нем, как мох или лишайник на старой безлиственной яблоне. На нем были штаны, подвернутые до колен, и башмаки на шнурках; он сидел, уставившись в огонь.

Воздух, пропитанный сладким запахом свежего солода, ударил Габриэлю в нос. Разговор (говорили, по-видимому, о возможной причине пожара) сразу прекратился, и все до одного уставились на него оценивающим, критическим взором, при этом так сильно наморщив лоб и сощурившись,

как если бы от него исходил ослепительный свет, слишком яркий для глаз.

После того как процесс обозревания завершился, несколько голосов глубокомысленно протянуло:

— А ведь это, надо быть, новый пастух, не иначе, он самый.

— А мы слышим — то ли щеколду шарят, то ли лист сухой занесло, шуршит, — сказал кто-то. — Входи, пастух, добро пожаловать, мы все тебе рады, хоть и не знаем, как тебя звать.

— Меня, добрые люди, зовут Габриэль Оук.

Услышав это, старик-солодовник, сидевший возле сушильни, медленно повернулся — так поворачивается старый заржавленный кран.

— Не внук ли Гэба Оука из Норкомба? Нет, быть не может!

Это восклицание не следовало понимать буквально, всем было ясно, что оно выражало крайнюю степень изумления.

— Мой отец и дед оба носили имя Габриэль, — невозмутимо ответил пастух.

— То-то мне там на скирде показалось, будто лицо знакомое. А как ты сюда-то попал, где ты живешь, пастух?

— Да вот думаю здесь обосноваться, — отвечал

Оук.

— Ведь я твоего деда с да-авних лет знал, — продолжал солодовник, и казалось, слова у него теперь вылетали сами собой, словно от толчка, сила которого еще продолжала действовать.

— Вот как!

— И бабку твою знал.

— И ее тоже?

— И отца твоего, когда он еще мальчонкой был. Да вон мой сынок Джекоб, они с твоим отцом неразлучные дружки были, равно как кровные братья, а, Джекоб?

— Верно, — отозвался сынок, молодой человек лет этак шестидесяти пяти, с наполовину голым черепом и единственным зубом, который торчал слева в верхней челюсти ближе к середине и так заносчиво выдавался вперед, что его можно было заметить издали, как верстовой столб на дороге. — Только это они с Джо больше водились. А вот мой сын Уильям, должно быть, знавал и вас самого. Верно я говорю, Билли, ну когда еще ты был в Норкомбе?

— Не я, а Эндрью, — отвечал сын Джекоба Билли, малютка лет сорока, с густой растительностью на лице, уже кое-где подернутой сединой, которому природа отпустила веселый дух, но

заключила его в унылую оболочку.

— Мне помнится, жил у нас в деревне человек по имени Эндрью, я тогда еще совсем мальчишкой был, — сказал Габриэль.

— Ну да вот и сам я ездил туда недавно с младшенькой моей дочкой Лидди, на крестины внука, — продолжал Билли, — там-то мы вашу семью и вспоминали, как раз это на самое Сретение было, в тот день, когда самым захудалым беднякам из приходских сборов лепту раздают; потому я тот день и запомнил, что все они в ризнице толклись, вот тут и об ихней семье разговор зашел.

— Иди-ка сюда, пастух, выпей с нами, глотни раз-другой, промочи глотку, хоть напиток и не бог весть какой, — сказал солодовник, отводя от углей красные, как киноварь, глаза, слезящиеся и воспаленные оттого, что они на протяжении стольких лет глядели в огонь. — Подай-ка «прости-господи», Джекоб. Да погляди, горяча ли брага.

Джекоб наклонился к «прости-господи» — большому глиняному сосуду, стоявшему в золе. Это была кружка, напоминавшая бочонок, с ручками с обеих сторон, обгоревшая и потрескавшаяся от жара и вся обросшая снаружи какой-то инород-

ной коркой, особенно в углублениях ручек, витки которых, закруглявшиеся внутрь, должно быть, уже много лет не выглядывали на свет божий из-под толстого слоя золы, слипшейся от пролитой браги и припекшейся. Но для всякого разумного ценителя браги кружка от этого ничуть не теряла своих достоинств, ибо по краям и внутри она была совершенно чистая. Причины, по которым сей сосуд в Уэзербери и его округе получил название «прости-господи», не совсем выяснены. Очень может быть, что его размеры заставляют самого завзятого бражника невольно устыдиться, когда он одним духом опоражнивает его до дна.

Джекоб, которому приказано было проверить, достаточно ли согрелась брага, невозмутимо опустил в кружку указательный палец в качестве термометра и, объявив, что температура, надо быть, в самый раз, поднял сосуд и из вежливости попытался смахнуть с него золу полой своей блузы — ибо Габриэль Оук был не свой, а чужой, пришлый человек.

— Достань чистую кружку пастуху, — приказал солодовник.

— Да нет, что вы, зачем же, — сказал Габриэль укоряющим и вместе с тем предупредительным тоном. — Я чистого сору не гнушаюсь, коли знаю,

что это за сор. — Он взял кружку обеими руками и, отхлебнув из нее, так что уровень в ней опустился примерно на дюйм с лишним, передал ее, как полагалось, сидящему рядом. — Да чтобы я позволил себе утруждать добрых людей мытьем посуды, когда у них и без того дела хватает, — продолжал он, несколько задохшись оттого, что у него перехватило дух, как это всегда бывает, когда хлебнешь из такого внушительного сосуда.

— Вот это правильный человек, сразу видно, — сказал Джекоб.

— Верно, верно, ничего другого не скажешь, — подхватил бойкий молодой человек по имени Марк Кларк, веселый, обходительный парень, с которым всякому, кому ни привелось встретиться, значило тут же и познакомиться, а коли уж познакомиться, значит выпить, а выпить — значит, увы, заплатить за него.

— А вот на-ка, бери пожевать хлеба с салом, это нам, пастух, хозяйка прислала. Брага-то, она лучше идет, ежели ее закусить чем. Да только ты смотри не больно разжевывай, потому как я это сало, когда нес, дорогой обронил, и оно малость в песке вывалялось. Ну, да это чистая грязь, как ты, пастух, верно сказал, мы знаем, что это за грязь, а ты, похоже, человек непривередливый.

— Вот уж нисколько, правда, — дружелюбно подтвердил Оук.

— Ты только не сжимай зубы-то вплотную, оно и не будет хрустеть. Диво дивное, как человек ко всему приспособиться может.

— И я, милый человек, такого же мнения держусь, — отозвался Оук.

— Сразу видать, внук своего деда, — сказал солодовник. — Он тоже непривередливый, понимающий был человек.

— Пей, Генри Фрей, пей, — великодушно поощрял Джан Когген, человек, придерживавшийся в отношении напитков принципов Сен-Симона: делить на всех и делить поровну; он видел, что сосуд, медленно двигавшийся по кругу, уже приближается к нему.

Генри, который до сих пор задумчиво глядел прямо перед собой, не заставил себя просить. Это был человек более чем пожилого возраста, с вскинутыми высоко на лоб бровями, любивший разглагольствовать о том, что в мире все идет не по закону; доказывая это своим слушателям, он вперял многострадальный взор мимо них в этот самый мир и давал волю своему воображению. Он всегда подписывался «Генери» и с жаром настаивал, что так оно и до́лжно писать, а если

случайно зашедший школьный учитель говорил, что второе «е» лишнее и давно уже вышло из употребления, что так только в старину писали, то получал в ответ, что Ге-не-ри — это имя, коим его нарекли при крещении, и что он не намерен от него отрекаться, и тон, которым это говорилось, ясно давал понять, что орфографические расхождения — это такое дело, которое каждый волен решать по-своему.

Мистер Джан Когген, передавший Генери сосуд с брагой, толстощекий, румяный человек с плутовато подмигивающими глазками, вот уже двадцать лет был неизменным участником бесчисленных брачных церемоний, совершавшихся в Уэзербери и прочих близлежащих приходах, и его имя как шафера и главного свидетеля в графе брачных записей красовалось во всех церковных книгах; он очень часто подвизался также в роли почетного крестного, в особенности на таких крестинах, где можно было смачно пошутить.

— Пей, Марк Кларк, пей, в бочке хватит браги, — говорил Джан.

— Я выпить никогда не откажусь, вино — наш целитель, только им и лечимся, — отвечал Марк Кларк; они с Джаном Коггеном были одного поля ягоды, хотя он на двадцать лет был моложе Джа-

на; Марк никогда не упускал случая выудить из собеседника что-нибудь такое, над чем можно было посмеяться, чтобы потом поднести это в компании.

— А вы что же, Джозеф Пурграс, даже и не пригубили еще, — обратился мистер Когген к скромному человеку, застенчиво мнущемуся сзади, и протянул ему кружку.

— Ну и стеснительный же ты человек! — сказал Джекоб Смолбери. — А правда про тебя говорят, будто ты все никак глаз не решишься поднять на нашу молодую хозяйку, а, Джозеф?

Все уставились на Джозефа Пургграса сочувственно-укоризненным взглядом.

— Н-нет, я на нее еще ни разу взглянуть не посмел, — промямлил Джозеф, смущенно улыбаясь, и при этом весь как-то съежился, словно устыдившись того, что он обращает на себя внимание. — А вот как-то я ей на глаза попался, так меня всего в краску вогнало: стою, глаз не подыму и краснею.

— Бедняга! — сказал мистер Кларк.

— Чудно все же природа наделяет: ведь мужчина, — заметил Джан Когген.

— Да, — продолжал Джозеф Пурграс, испытывая приятное удовлетворение оттого, что его недостаток — застенчивость, от которой он так страдал,

оказался чем-то достойным обсуждения, — краснею и краснею, что ни дальше, то больше, и так все время, пока она говорила со мной, я только и делал, что краснел.

— Верю, верю, Джозеф Пурграс; мы все знаем, какой вы стеснительный.

— Совсем это негоже для мужчины, несчастный ты человек, — сказал солодовник. — И ведь это у тебя уже давно.

— Да, с тех пор, как я себя помню. И матушка моя уж так-то за меня огорчалась, чего только не делала. И все без толку.

— А ты сам-то, Джозеф Пурграс, пробовал ну хоть почаще на людях бывать, чтобы как-нибудь от этого избавиться?

— Все пробовал, и с разными людьми компанию водил. Как-то раз, помню, меня на ярмарку в Гринхилл затащили, и попал я в этакий расписной балаган, там тебе и цирк, и карусель, и целая орава мамзелей в одних юбчонках стоймя на конях скачет; ну и все равно я этим не вылечился. А потом пристроили меня посыльным в женском кегельбане в Кэстербридже, как раз позади трактира «Портной». Вот уж, можно сказать, нечестивое было место. Диво дивное, чего я там только не нагляделся, — с утра до ночи, бы-

вало, толчешься среди этого похабства, а все без пользы; ничего у меня от этого не прошло, — как было, так и осталось. Это у нас в семье издавна такая напасть, от отца к сыну, так из рода в род и передается. Что ж поделаешь, и на том надо Бога благодарить, что на мне дальше не пошло, а не то могло бы быть и еще хуже.

— И то правда, — согласился Джекоб Смолбери, задумываясь всерьез и над этой стороной вопроса. — Тут есть над чем призадуматься, конечно, на тебе это могло бы сказаться еще и похуже. Но и так тоже, Джозеф, что ни говори, большая это для тебя помеха. Ну вот вы скажите, пастух, почему это оно так — что для женщины хорошо, то для него, для бедняги, ну как для всякого мужчины, никуда не годится, черт знает что получается?

— Да, да, — сказал Габриэль, отрываясь от своих размышлений. — Разумеется, для мужчины это большая помеха.

— Ну а он к тому же и трусоват малость, — заметил Джан Когген. — С ним однажды такой случай был: заработался он допоздна в Иелбери, и пришлось ему ворочаться в потемках; ну уж как это оно там вышло, может, и хватил лишнее в дорогу, только, стало быть, шел он Иелберийским долом, да и заплутался в лесу. Было такое дело,

мистер Пурграс?

— Нет, нет, ну стоит ли про это рассказывать! — жалобно взмолился стеснительный человек, пытаясь скрыть свое смущение насильственным смешком.

— Заплутался и никак на дорогу не выйдет, — невозмутимо продолжал мистер Когген, всем своим видом давая понять, что правдивое повествование, подобно времени, идет своим чередом и никого не щадит. — Зашел куда-то в самую чащу, а уже совсем ночь, ни зги не видно, ну он со страху и завопил: «Помогите! Заблудился! Заблудился!» — а тут сова как заухает, слыхал, пастух, как сова кличет — «охо, хо!» — (Габриэль кивнул). — Ну а Джозеф тут уж совсем оробел, ему с перепугу чудится — «кто? кто?». Он и говорит: «Джозеф Пурграс из Уэзербери, сэр!»

— Ну нет, это уж ни на что не похоже… неправда! — вскричал робкий Джозеф, вдруг сразу превращаясь в отчаянного смельчака. — Не говорил я «Джозеф из Уэзербери, сэр», клянусь, не говорил! Нет, нет, коли уж рассказывать, так рассказывать по-честному; не говорил я этой птице «сэр», потому как прекрасно понимал, что никто из господ, ни один порядочный человек не станет ночью по лесу шататься. Я только сказал

«Джозеф Пурграс из Уэзербери», вот, слово в слово, и, кабы это не под праздник было и не угости меня лесник Дэй хмельной настойкой, конечно, я бы так не сказал… Ну счастье мое, что я только страхом отделался.

Вопрос о том, кто из них ближе к правде, компания обошла молчанием, и Джан глубокомысленно продолжал:

— А уж насчет страха ты, Джозеф, и всегда-то был пуглив. Помнишь, как ты тогда на загоне в воротах застрял?

— Помню, — отвечал Джозеф с таким видом, что бывает, мол, и со скромным человеком такое, что лучше не вспоминать.

— Да, и это тоже как будто ночью случилось. Ворота на загоне никак у него не открывались. Он толкает, а они ни взад ни вперед, ну он со страху и решил, что это дьявольские козни, и бух на колени.

— Да, — подхватил Джозеф, расхрабрившись от тепла, от браги и от желания самому рассказать этот удивительный случай. — Как же! Я прямо так и обмер весь, упал на колени и стал читать «Отче наш», а потом тут же «Верую» и все десять заповедей подряд. А ворота все так и не открываются. Я вспомнил «Дорогие возлюбленные братья»,

начал читать, а сам думаю: это четвертое, последнее, — все, что я знаю из Святого Писания, а если уж и это не поможет, ну тогда мне конец. И вот, значит, дошел я до слов «повторяют за мной», поднялся с колен, толкаю ворота, а они тут же открылись разом, сами собой, как всегда. Вот, люди добрые, как оно было.

Все сидели молча, задумавшись над тем, что само собой надлежало заключить из этого рассказа, и глаза всех были устремлены в зольник, раскаленный, как пустыня под полуденным тропическим солнцем. И глаза у всех были сосредоточенно прищурены то ли от пылающего жара, то ли от непостижимости того, что заключалось в услышанном ими рассказе.

Габриэль первым прервал молчание:

— А живется-то вам здесь ничего? Ладите вы с вашей хозяйкой, как она с работниками?

Сердце Габриэля сладко заныло в груди, когда он так, словно невзначай, завел разговор о самом заветном и дорогом для него предмете.

— А мы, правду сказать, мало что про нее знаем, ровно как бы и ничего. Она всего несколько дней, как к нам показалась. Дядюшка ее занемог сильно, вызвали к нему самого что ни на есть знаменитого доктора; но и он уж ничего сделать

не мог. А теперь она, слышно, сама хочет фермой заправлять.

— Так оно, похоже, и будет, — подтвердил Джан Когген. — Семья-то хорошая! Мне так думается, у них лучше, чем у кого другого, работать. Дядюшка у нее уж такой справедливый был человек. А жил один, неженатый, вы, может, о нем слыхали, пастух?

— Нет, не слыхал.

— Я когда-то частенько в его доме бывал: первая моя жена Чарлотт у него на сыроварне работала, а я к ней тогда сватался. Душевный был человек фермер Эвердин. Ну конечно, он про меня знал, какой я семьи и что за мной ничего худого не водится, и мне разрешалось приходить к ней в гости и угощаться пивом сколько душе угодно, только не уносить с собой, ну, сами понимаете, сверх того, что в меня влезет.

— Понимаем, понимаем, Джан Когген! Как не понимать!

— А уж пиво было — ввек не забуду. Ну конечно, я старался уважить хозяина, отплатить ему за его доброту и со всем усердием оказывал честь его пиву, не то что какой-нибудь невежа, который за радушие непочтением платит — пригубит да отставит.

— Верно, мистер Когген, так не годится поступать, — поддакнул Марк Кларк.

— А потому, перед тем как туда идти, я, бывало, наемся рыбы соленой так, что у меня все нутро жжет, вся глотка пересохнет, а в сухую глотку пиво само так и льется. Ух! Душа радуется! Вот были времена! Райская жизнь! Да, сладко я пивал в этом доме! Помнишь, Джекоб? Ты ведь туда со мной хаживал?

— Как же, помню, помню. А еще мы с тобой, помнишь, в Духов день в «Оленьей голове» пили. Ох и здорово же мы тогда насосались!

— Было дело. Но ведь питье питью рознь, а вот ежели по-благородному пить, без греха, так чтобы нечистый тебе с каждым словом на язык не подвертывался, нигде мне так хорошо не пилось, как на кухне у фермера Эвердина. Там не то что чертыхнуться, слова бранного обронить не смели, даже когда все уж до того допивались, что всяк не помнил, что городил; а ведь тут-то тебя бес за язык и тянет, в самый бы раз душу отвести!

— Верно, — подтвердил солодовник, — природа — она своего требует; выругаешься, и словно на душе легче; стало быть, надобность такая, без этого на свете не проживешь.

— Но Чарлотт ничего такого не допускала, —

продолжал Когген, — упаси бог, чтобы при ней помянуть всуе... ах, бедная Чарлотт, кто знает, посчастливилось ли ей на том свете, попала ли ее душенька в рай! Не больно-то ей в жизни везло, и там, может, не тот жребий выпал, и мается она, горемычная, в преисподней.

— А кто из вас знал родителей мисс Эвердин, ее отца и мать? — осведомился пастух, которому приходилось делать некоторые усилия, чтобы удержать разговор вокруг интересующего его объекта.

— Я знал их мало-мало, — отозвался Джекоб Смолбери, — только они оба городские были, здесь не жили. Давно уже оба померли. Ты-то их помнишь, отец, что они были за люди?

— Да он-то так себе, неприметный был, не ахти какой, — сказал солодовник, — а она видная собой. Он так за ней и ходил, сам не свой, покуда не поженились.

— Да и женатый тоже, — вмешался Джан Когген, — сказывали, как начнет целовать, целует, целует без конца, оторваться не может.

— Да, и женатый он страх как гордился женой.

— Да, да, — подхватил Когген. — Рассказывают, будто он на нее просто наглядеться не мог, и ночью-то раза три встанет, свечу зажжет и

любуется.

— Этакая беспредельная любовь! А мне думается, такой на свете не бывает! — пробормотал Джозеф Пурграс, который, высказывая свои суждения, предпочитал выражаться обобщенно.

— Нет, почему же, бывает, — сказал Габриэль.

— Да, так оно у них, похоже, и было, — продолжал солодовник. — Я-то хорошо знал их обоих. Он ничего мужик был, звали его Леви Эвердин. Мужик-то — это я зря сказал, просто обмолвился, он не из крестьян был, классом повыше, модный портной, и деньжищ у него хватало. И два, не то три раза он прогорал, так о нем все и говорили — известный банкрот, — далеко о нем слава шла.

— А я-то думал, он из простых был, — сказал Джозеф.

— Ни-ни, нет. Банкрот. Как же, кучу он денег задолжал серебром да золотом.

Тут солодовник задохнулся, и, пока он переводил дух, мистер Когген, задумчиво следивший за свалившимся в золу угольком, покосился одним глазом на компанию, подмигнул и подхватил рассказ:

— Так вот, представьте себе, трудно даже и поверить, этот самый человек, родитель нашей мисс Эвердин, оказался потом очень непосто-

янным и еще как изменял своей жене. И сам на себя досадовал, не хотел огорчать жену, а ничего с собой поделать не мог. Так-то уж ей бедняга был предан и любил ее всей душой, а вот поди же, не мог удержаться. Он как-то раз мне сам в этом признался, и уж так он себя горько корил. «Знаешь, Когген, говорит, лучше и красивей моей жены на свете нет, но вот то, что она моя законная супруга и на веки вечные ко мне прилеплена, от этого меня, грешного, на сторону и тянет, и никак я с собой совладать не могу». Но потом он как будто от этого вылечился, а знаете чем? Вот как вечером запрут они свою мастерскую и останутся вдвоем, он ей тут же велит кольцо обручальное снять и зовет ее прежним девичьим именем и сам себе представляет, будто она не жена ему, а возлюбленная. И как, значит, он себе это внушил, что он с ней не в супружестве, а в прелюбодействе живет, с тех пор у них все опять по-прежнему пошло, друг на друга глядят не надышатся.

— И надо же, такой нечестивый способ, — пробормотал Джозеф Пурграс. — Счастье великое, что милостивое Провидение его от соблазна удержало! Могло бы быть хуже. Так и пошел бы по торной дорожке, глядь, и вовсе в беззаконие впал, в полное бесстыдство!

— Тут дело такое, — вмешался Билли Смолбери. — Сам человек про себя понимал, что не след ему так поступать, а тянет его, и ничего он супротив этого поделать не может.

— А потом уж он совсем исправился, а под старость и вовсе в благочестие впал. Верно, Джон? Говорят, будто он еще раз, наново к вере приобщился, весь обряд над собой повторил, потом во время богослужения так громко выкрикивал «аминь», что его громче, чем причетника, слышно было. И еще пристрастился он душеспасительные стишки с надгробных плит списывать. И церковный сбор собирал, с блюдом ходил, когда «Свете тихий» пели, и всех ребят внебрачных у бедняков крестил; а дома у него на столе всегда церковная кружка стояла, — как кто зайдет, он тут же с него и цапнет. А мальчишек приютских, ежели они в церкви расшалятся, бывало, так за уши оттаскает, что они еле на ногах стоят; да и много он всяких милосердных дел делал, как подобает благочестивому христианину.

— Да уж он к тому времени ни о чем, кроме божеского, и не помышлял, — сказал Билли Смолбери. — Как-то раз пастор Сэрдли встретился с ним и говорит ему: «Доброе утро, мистер Эвердин, денек-то какой сегодня хороший выдался!» А он

ему в ответ: «Аминь», — потому как увидел пастора, уж ни о чем другом, кроме божественного, и думать не может. Истинным христианином стал.

— А дочка ихняя в ту пору совсем неказистая была, — заметил Генери Фрей. — Кто бы подумал, что она этакой красоткой станет?

— Вот коли бы и нрав у нее такой же приятный был.

— Да, хорошо бы, коли так. Только делами-то на ферме, оно видно, управитель будет ворочать, да и нами, грешными, тоже. Э-эх! — И Генери, уставившись в золу, усмехнулся иронически и ехидно.

— Вот уж этот на христианина так же похож, как черт в клобуке на монаха, — многозначительно прибавил Марк Кларк.

— Да, он такой, — сказал Генери, давая понять, что тут, собственно, зубоскалить нечего. — Мне думается, этот человек без обмана не может: что в будни, что в воскресенье — соврет без зазрения совести.

— Вот так так! Что вы говорите? — удивился Габриэль.

— А то и говорим, что есть! — отвечал саркастически настроенный Генери, оглядывая честную

компанию с многозначительным смешком, из которого само собой явствовало, что уж в чем в чем, а в житейских невзгодах никто так, как он, разобраться не может. — Всякие на свете люди бывают, есть похуже, есть получше, но уж этот — не приведи бог…

Габриэль подумал, не пора ли перевести разговор на что-нибудь другое.

— А вам, должно быть, очень много лет, друг-солодовник, коли и сыновья у вас уже в летах? — обратился он к солодовнику.

— Папаша у нас такой престарелый, что уж и не помнит, сколько ему лет, правда, папаша? — сказал Джекоб. — А уж до чего согнулся за последнее время, — продолжал он, окидывая взглядом отцовскую фигуру, сгорбленную несколько больше, чем он сам. — Вот уж, как говорится, в три погибели согнулся.

— Согнутые-то, они дольше живут, — явно недовольный, мрачно огрызнулся солодовник.

— А что бы вам, папаша, пастуху про себя, про вашу жизнь рассказать, должно, ему любопытно послушать — правда, пастух?

— Еще как! — с такой поспешностью отозвался Габриэль, как будто он с давних пор только и мечтал об этом. — Нет, правда, сколько же вам

может быть лет, друг-солодовник?

Солодовник неторопливо откашлялся для пущей торжественности и, устремив взгляд в самую глубину зольника, заговорил с такой необыкновенной медлительностью, какая оправдывается только в тех случаях, когда слушатели, предвкушая услышать что-то исключительно важное, готовы простить рассказчику любые чудачества, лишь бы он рассказал все до конца.

— Вот уж не припомню, в каком я году родился, но ежели покопаться в памяти да вспомнить места, где я жил, может, оно к тому и придет. В Верхних Запрудах, вон там (он кивнул на север), я жил сызмальства до одиннадцати годов, потом семь лет в Кингсбери жил (он кивнул на восток), там я на солодовника и научился. Оттуда подался в Норкомб и там двадцать два года в солодовне работал и еще двадцать два года брюкву копал да хлеб убирал. Тебя, верно, и в помине не было, мастер Оук, а я уж этот Норкомб как свои пять знал. — (Оук предупредительно улыбнулся, чтобы показать, что он охотно этому верит.) — Потом четыре года солодовничал в Дерновере и четыре года брюкву копал; потом до четырнадцати раз по одиннадцати месяцев на мельничном пруду в Сен-Джуде работал — (кивок на северо-северо-

запад). — Старик Туилс не хотел нанимать меня больше чем на одиннадцать месяцев, чтобы я, чего доброго, не свалился на попечение прихода, ежели я, не дай бог, калекой стану. Потом еще три года в Меллстоке работал и вот здесь, почитай, тридцать один год на Сретение будет. Сколько же оно всего выходит?

— Сто семнадцать, — хихикнул другой такой же древний старичок, который до сих пор сидел незаметно в уголке и не подавал голоса, но, как видно, хорошо считал в уме.

— Ну вот, стало быть, столько мне и лет.

— Ну что вы, папаша! — сказал Джекоб. — Брюкву вы сажали да копали летом, а солод зимой варили в те же годы, а вы их по два раза считаете.

— Уймись ты! Что ж я, по-твоему, леты и вовсе не жил? Ну что ты молчишь? Ты, верно, скоро уж скажешь, какие там его годы, и говорить-то не стоит.

— Ну этого уж никто не скажет, — попытался успокоить его Габриэль.

— Вы, солодовник, самый долголетний старик, — таким же успокаивающим и вместе с тем непререкаемым тоном заявил Джан Когген. — Все это знают, и что вам от природы этакое заме-

чательное здоровье и могучесть даны, что вы столькие годы на свете живете, правда, добрые люди?

Успокоившийся солодовник смягчился и даже не без некоторого великодушия снисходительно пошутил над своим долголетием, сказав, что кружка, из которой они пили, еще на три года постарше его.

И когда все потянулись разглядывать кружку, у Габриэля Оука, из кармана его блузы, высунулся кончик флейты, и Генери Фрей воскликнул:

— Так это, значит, вас я видел, пастух, в Кэстербридже, вы дули в этакую большую свирель?

— Меня, — слегка покраснев, подтвердил Габриэль. — Беда со мной большая стряслась, люди добрые, туго мне пришлось, вот нужда и заставила. Не всегда я таким бедняком был.

— Ничего, голубчик! — сказал Марк Кларк. — Не стоит расстраиваться, плюньте. Когда-нибудь и ваше время придет. А вот ежели бы вы нам поиграли, мы были бы вам премного обязаны. Только, может, вы очень устали?

— Уж я, поди, с самого Рождества ни тебе трубы, ни барабана не слышал, — посетовал Джан Когген. — А правда, сыграйте нам, мастер Оук.

— Отчего ж не сыграть, — сказал Габриэль, вы-

таскивая и свинчивая флейту. — Инструмент-то у меня не бог весть какой. Но я с удовольствием, уж как сумею, так и сыграю.

И Оук заиграл «Ярмарочного плута», и повторил три раза эту веселую мелодию, и под конец так воодушевился, что в задорных местах поводил плечами, раскачиваясь всем туловищем и отбивая такт ногой.

— Здорово это у него получается — мастер он на флейте свистеть, — заметил недавно женившийся молодой парень, личность настолько непримечательная, что его знали только как мужа Сьюзен Толл. — У меня бы нипочем так не получилось, уменья нет.

— Толковый человек, с головой; вот уж, можно сказать, нам повезло, что такой пастух у нас будет, — сказал, понизив голос, Джозеф Пурграс. — Надо Бога благодарить, что он никаких срамных песен не играет, а все такие веселые да приятные; потому как для Бога все едино, он мог бы его не таким, какой он есть, сотворить, а мерзким, распутным человеком, нечестивцем. Ведь вот оно что! Нам за своих жен и дочерей радоваться должно, Бога благодарить.

— Да, да, вот именно, надо Бога благодарить! — решительно умозаключил Марк Кларк, нимало

не смущаясь тем, что из всего сказанного Джозефом до него дошло от силы два-три слова.

— Да, — продолжал Джозеф, чувствуя себя чуть ли не пророком, — ибо времена пришли такие, что зло процветает и обмануться можно в любом человеке, будь он приличный с виду, в белой крахмальной рубашке, начисто выбрит или какой-нибудь бродяга в лохмотьях, промышляющий у заставы.

— А я теперь ваше лицо припоминаю, пастух, — промолвил Генери Фрей, приглядываясь затуманенным взором к Габриэлю, который начал играть что-то новое. — Только вы в свою флейту задули, я тут же и признал, — значит, вы и есть тот самый человек, который в Кэстербридже играл, вот и губы у вас так же были выпячены, и глаза, как у удавленника, вытаращены, точь-в-точь как сейчас.

— А ведь и впрямь обидно, что человек, когда на флейте играет, выглядит этаким пугалом, — заметил мистер Марк Кларк, также окидывая критическим оком лицо Габриэля, который в это время, весь напружившись, со страшной гримасой, подергивая головой и плечами, наяривал хоровую песенку из «Тетушки Дэрдин».

Тут были Молли, и Бэт, и Долли, и Кэт,

И замарашка Нэлл!

— Уж вы не обижайтесь на парня, что он, такой грубиян, про вашу наружность судит, — тихонько сказал Габриэлю Джозеф Пурграс.

— Да нет, что вы, — улыбнулся Оук.

— Потому как от природы, — умильно-подкупающим тоном продолжал Джозеф, — вы, пастух, очень красивый мужчина.

— Да, да, верно, — подхватила компания.

— Очень вам благодарен, — со скромной учтивостью благовоспитанного молодого человека сказал Оук и тут же решил про себя, что ни за что никогда не будет играть при Батшебе, проявляя в этом решении такую осмотрительность, какую могла бы проявить разве что сама породившая ее богиня мудрости Минерва.

— А вот когда мы с женой венчались в норкомбской церкви, — внезапно вступая в разговор, сказал старик-солодовник, явно недовольный тем, что речь идет не о нем, — так о нас такая молва шла, что красивее нас парочки в округе нет, так все и говорили.

— И здорово же ты с тех пор изменился, дед-солодовник, — раздался чей-то голос, проникнутый такой искренней убежденностью, с какой человек высказывается о чем-то само собой ра-

зумеющемся, очевидном. Голос принадлежал старику, сидевшему сзади, который то и дело старался ввернуть какое-нибудь ядовитое словцо и, присоединяясь иногда к общему смеху, пытался хихиканьем скрыть свое раздражение и зависть.

— Да нет, вовсе нет, — возразил Габриэль.

— Вы уж больше не играйте, пастух, — взмолился муж Сьюзен Толл, молодой, недавно женившийся парень, который до этого только один раз и открыл рот. — Мне надо идти, а когда музыка играет, меня точно проволока держит. А если я уйду да подумаю дорогой, что здесь музыка играет, а меня нет, я совсем расстроюсь.

— А чего ты так торопишься, Лейбен? — спросил Когген. — Ты, бывало, всегда чуть ли не последним уходил.

— Ну сами понимаете, братцы, я недавно женился, ну так оно вроде как моя обязанность… сами понимаете. — Малый от смущения замялся.

— Новый хозяин — новый порядок, как оно в пословице говорится, так, что ли? — подмигнул Когген.

— Ха-ха! Да так оно и выходит, — смеясь, подхватил муж Сьюзен Толл, всем своим видом давая понять, что он все такой же, как был, и нисколько на шутки не сердится.

За ним вскоре ушел и Генери Фрей. А затем Габриэль с Джаном Коггеном, который предложил ему у себя жилье. Но не прошло и нескольких минут — остальные тоже поднялись и уже собирались расходиться, — как вдруг в солодовню ворвался запыхавшийся Генери Фрей.

Зловеще помавая перстом, он вперил многоречивый взор куда-то в пространство и случайно наткнулся на физиономию Джозефа Пургграса.

— Ох, что случилось, что случилось, Генери? — отшатываясь, простонал Джозеф.

— Что там еще такое, Генери? — спросили в один голос Джекоб и Марк Кларк.

— Управитель-то, Пенниуэйс, что я говорил, говорил ведь…

— А что, на месте поймали, хапнул что?

— Ну да, хапнул. Говорят, мисс Эвердин после того, как вернулась домой, малость погодя опять вышла, как всегда, на ночь поглядеть, все ли в порядке, и видит: он по лестнице из амбара крадется с полным мешком ячменя. Она в него, как кошка, вцепилась, — она ведь такая, бедовая, — ну это, конечно, промеж нас?

— Ясное дело, промеж нас, Генери.

— Как она на него накинулась, он, значит, и сознался, что пять мешков из амбара вынес. Это

после того, как она ему обещала, что в суд на него не подаст. Ну, она тут же его взашей и выгнала. А теперь спрашивается, кто же у нас управителем будет?

Это был такой важный вопрос, что Генери вынужден был приложиться к большой кружке, что он и сделал, да так основательно, что не отрывался до тех пор, пока у нее не обозначилось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, тоже едва переводя дух.

— Слышали вы, что у нас в приходе-то говорят?

— Это насчет управителя Пенниуэйса?

— Да нет, кроме того!

— Кроме? Нет, ничего не слыхали, — ответили все хором и так впились глазами в Лейбена, словно стараясь выхватить слова у него изо рта.

— Ну и ночь выдалась, ужас-то какой! — бормотал Джозеф Пурграс, судорожно всплескивая руками. — Недаром у меня в левом ухе такой звон стоял, ну ровно как набат, и потом я еще сороку видел, сама по себе одна скакала.

— Фанни Робин нигде найти не могут, младшую служанку мисс Эвердин. Они там, в доме-то, уже часа два тому назад запереться на ночь хотели, глядь, а ее нет. Ну они и не знают, что делать,

как спать-то ложиться, как же она тогда в дом попадет. Так-то они, может, и не тревожились бы, да она последнее время сама не своя ходила, и Мэриен боится, как бы она, бедняжка, над собой чего не учинила.

— А что, как она сгорела! — вырвалось из запекшихся уст Джозефа Пургграса.

— Нет, верно, утопилась! — сказал Толл.

— А может, отцовской бритвой того… — живо представив себе все подробности, высказался Билл Смолбери.

— Так вот, мисс Эвердин и желает поговорить с кем-нибудь из нас, пока мы еще не разошлись. Тут эта история с управителем, а теперь еще и с этой девчонкой, хозяйка прямо сама не своя.

Все потянулись гурьбой вверх по тропинке к фермерскому дому, кроме старика-солодовника, которого никакие события — ни грозы, ни гром, ни пожар, — ничто не могло вытащить из его норы. Звуки шагов уже замерли вдали, а он все так же сидел на своем месте, уставившись, как всегда, в печь красными, воспаленными глазами.

Из окна спальной высоко над стоящими внизу высунулись голова и плечи Батшебы, окутанные чем-то белым и словно реющие в воздухе.

— Есть тут среди вас кто-нибудь из моих лю-

дей? — с беспокойством спросила она.

— Да, мэм, несколько человек своих, — отвечал муж Сьюзен Толл.

— Завтра утром пусть кто-нибудь из вас, два-три человека, пойдет по окрестным деревням и поспрошает, не видел ли кто девушки, похожей на Фанни Робин. Сделайте это так, чтобы не заводить толков. Пока еще нет причин бить тревогу. По всей вероятности, она ушла из дома, когда все мы были на пожаре.

— Прошу прощенья, мэм, — сказал Джекоб Смолбери, — а может, у нее дружок завелся, не ухаживал ли за ней кто-нибудь из молодых парней нашего прихода?

— Не знаю, — отвечала Батшеба.

— Да не слыхать было ничего такого, — раздалось несколько голосов.

— Нет, не похоже, — помолчав, сказала Батшеба. — Будь у нее кавалер, он бы, наверно, показался здесь, в доме, если это порядочный парень. Но вот что мне кажется странным, — и это-то меня и беспокоит, — Мэриен видела, как она выходила из дому раздетая, в обычном своем будничном платье и даже без чепца.

— А вы думаете, мэм, уж вы простите мою простоту, — продолжал Джекоб, — что молодая

женщина вряд ли пойдет на свиданье с милым, не приодевшись как следует? — И, видимо порывшись в своей памяти и вспомнив кое-что из своего личного опыта, добавил: — Оно, конечно, верно, не пойдет.

— А мне кажется, у нее был с собой какой-то узелок, только я не очень-то приглядывалась, — послышался голос из соседнего окна, по-видимому голос Мэриен. — Но у нее в нашем приходе нет кавалера. Ее милый в Кэстербридже живет, мне помнится, он из солдат.

— А ты знаешь, как его зовут? — спросила Батшеба.

— Нет, не знаю; она от нас скрывалась.

— Может, если бы мне съездить в Кэстербридж, в казармы, я и мог бы что разузнать, — предложил Уильям Смолбери.

— Отлично, если она до завтра не вернется, поезжайте туда и постарайтесь отыскать этого человека и поговорить с ним. Я чувствую себя за нее в ответе, потому что у нее нет ни родных, ни друзей. Надеюсь, что она не попала в беду из-за какого-нибудь вертопраха… А тут еще эта грязная история с управителем… ну, об этом я сейчас не буду говорить… — У Батшебы было столько причин для беспокойства, что, по-видимому, ей

не хотелось сейчас разбираться ни в одной из них. — Сделайте так, как я вам сказала, — распорядилась она, закрывая окно.

— Сделаем, сделаем. Будьте покойны, хозяйка, — отозвались они, уходя.

Этой ночью в доме Коггена Габриэль Оук, плотно сомкнув веки, предавался игре воображения, и оно так и бурлило, унося его, словно быстро бегущее течение реки под плотным покровом льда. Ночь всегда была для него теперь заветным временем, потому что ночью он особенно живо представлял себе Батшебу, и сейчас, в эти медленно текущие часы, в темноте, он с нежностью вглядывался в ее образ. Редко когда муки бессонницы искупаются радостями воображения, но, наверно, в эту ночь так оно было с Габриэлем, потому что счастье видеть ее стерло на первых порах в его сознании великую разницу между «видеть» и «обладать».

И он уже обдумывал, как он привезет сюда из Норкомба свое скромное имущество и книги «Лучший спутник молодого человека», «Верный путеводитель коновала», «Ветеринар», «Потерянный Рай», «Путь паломника», «Робинзон Крузо», «Словарь» Эша и «Арифметику» Уокингема, — словом, всю свою библиотеку. И хоть это был

ограниченный круг чтения, он читал так вдумчиво и внимательно, что извлекал из этих книг больше пользы, чем иные баловни судьбы из заставленных до потолка книжных полок.

Глава IX
Усадьба. Посетитель. Полупризнание

Жилище новообретенной хозяйки Оука, Батшебы Эвердин, представляло собой при свете дня старое обомшелое здание в стиле Раннего Ренессанса, а по его пропорциям можно было сразу сказать, что это был некогда жилой господский дом с прилегающим к нему небольшим поместьем, которое, как это часто бывает, давно перестало существовать как самостоятельное владение, растворившись в обширных земельных угодьях отсутствующего владельца, объединивших несколько таких скромных усадеб.

Массивные каменные пилястры с каннелюрами украшали его фасад, трубы над щипцовыми крышами выступали круглыми или коническими башенками, а украшенные веночками арки, заканчивающиеся шпилями, и прочие архитектурные детали еще сохраняли следы своего готического происхождения. Мягкий коричневый мох, словно выцветший бархат, стелился по черепичным крышам, а из-под кровель низких строений, прилегавших к дому, торчали пучки

очитка. Усыпанная песком дорожка, ведущая от крыльца к дороге, на которую выходил дом, тоже вся заросла мохом, только здесь он был другой разновидности — серебристо-зеленый, а полоска светло-коричневого песка, шага в полтора шириной, виднелась только посредине. И это, и какая-то сонная тишина, царившая здесь, тогда как другая сторона дома, в полную противоположность фасаду, кипела оживлением, невольно наводило на мысль, что жизненный центр дома, с тех пор как дом обратился в жилище фермера, переместился с одной стороны на другую, повернувшись вокруг своей оси. Коммерция и промышленность сплошь и рядом подвергают таким перемещениям, калечат и безжалостно парализуют не только отдельные здания, но и целые ансамбли — улицы и даже города, которые в своем первоначальном виде были задуманы строителем именно так, а не иначе, для того чтобы радовать взор.

Оживленные голоса раздавались в это утро в верхних комнатах, куда вела лестница из мореного дуба с перилами на массивных столбах, выточенных и отделанных в чопорной манере минувшего века; сами перила были добротные, прочные, словно перила моста, а ступени

лестницы все время изворачивались винтом, словно человек, который силится заглянуть себе через плечо. Поднявшись наверх, вы сразу обнаруживали крайнюю неровность пола, он то вздыбливался горбом, то проваливался глубокой ложбиной, а сейчас, когда с него только что сняли ковры, на досках видны были бесчисленные узоры червоточины. Всякий раз как открывалась или закрывалась какая-нибудь дверь, все окна отзывались звоном стекол; от быстрой ходьбы или двиганья мебели весь дом начинало трясти, и каждый ваш шаг сопровождался скрипом, который следовал за вами повсюду, как призрак, преследующий по пятам.

В комнате, откуда раздавались голоса, Батшеба и ее служанка и товарка Лидди Смолбери сидели на полу и отбирали бумаги, книги и пузырьки из кучи всякого хлама, сваленного тут же — выпотрошенного из кладовых и чуланов покойного хозяина.

Лидди, правнучка солодовника, была почти ровесницей Батшебы, а ее лицо как нельзя лучше подошло бы для какой-нибудь рекламы с изображением веселой английской деревенской девушки. Красота, которой, может быть, в смысле строгости линий недоставало ее чертам, щедро

возмещалась богатством красок; сейчас, в этот зимний день, нежнейший румянец на мягкой округлости щек вызывал в памяти картины Терборха и Герарда Доу, и, как на портретах этих великих колористов, это лицо обладало своей привлекательностью, хотя оно отнюдь не отличалось идеальной красотой.

Лидди была очень переимчива по натуре, но далеко не такая бойкая, как Батшеба, иногда она даже обнаруживала некоторую степенность, может быть в какой-то мере и свойственную ей, но более чем наполовину усвоенную для приличия, из чувства долга.

В полуоткрытую дверь слышно было, как скребут пол, и время от времени в поле зрения появлялась поденщица Мэриен Мони с круглой, как диск, физиономией, сморщенной не столько от возраста, сколько от усердного недоуменного разглядывания разных отдаленных предметов. Стоило только вспомнить о ней, и невольно хотелось улыбнуться, а когда вы пытались ее изобразить, вы представляли себе румяное печеное яблоко.

— Перестаньте-ка на минуту скрести, — сказала Батшеба через дверь. — Мне что-то послышалось.

Мэриен застыла со щеткой в руках.

Теперь уже совершенно ясно слышен был конский топот, приближающийся к дому со стороны фасада; топот замедлился, по стуку подков слышно было, как кто-то въехал в ворота и — это уже было совсем ни на что не похоже — прямо по замшелой дорожке подъехал к самому крыльцу. В дверь постучали кончиком хлыста или палкой.

— Какая наглость! — громким шепотом сказала Лидди. — Подъехать на лошади к самому крыльцу? Что, он не мог остановиться у ворот? Господи боже, да это какой-то джентльмен. Я вижу край его шляпы.

— Помолчи! — сказала Батшеба.

Лидди продолжала выражать явное беспокойство, но уже не устно, а всем своим видом.

— Почему миссис Когген не идет открыть? — продолжала Батшеба.

Тра-та-та! — забарабанили настойчиво в дубовую входную дверь.

— Мэриен! Подите вы! — умоляюще сказала Батшеба, взволнованная предчувствием всяких романтических возможностей.

— О, мэм! Вы только посмотрите на меня!

Батшеба скользнула взглядом по Мэриен и ничего не ответила.

— Лидди, пойди открой, — сказала она.

Лидди вскинула высоко вверх перепачканные выше локтей руки, все в пыли от хлама, который они разбирали, и умоляюще посмотрела на хозяйку.

— Ну вот, миссис Когген пошла! — промолвила Батшеба, и, так как она уже несколько секунд сидела затаив дыхание, вздох облегчения вырвался из ее стесненной груди.

Дверь отворили, и чей-то низкий голос спросил:

— Мисс Эвердин дома?

— Сейчас узнаю, сэр, — ответила миссис Когген и через минуту появилась в комнате. — Ну надо же, как назло, всегда со мной так получается, — сказала, входя, миссис Когген, очень здоровая на вид особа, у которой тембр голоса менялся в зависимости от характера речи и переживаемых ощущений. Миссис Когген умела месить оладьи и орудовать шваброй с чисто математической точностью, — она вошла, потрясая руками, облепленными тестом и свалявшейся в клейстер мукой. — Только я начну взбивать пудинг и руки у меня по локти в муке, вот тут, мисс, обязательно что-нибудь да случится, или нос у меня зачешется, так что удержу нет, умри, а почесать должна,

или кто-нибудь постучится. Мистер Болдвуд спрашивает, может ли он повидать мисс Эвердин.

Платье для женщины — это часть ее самое, и всякий беспорядок в одежде — это то же, что телесный изъян, рана или ушиб.

— Не могу же я принять его в таком виде, — сказала Батшеба. — Ну что делать?

На фермах в Уэзербери еще не вошла в обычай вежливая форма отказа — хозяев нет дома, — поэтому Лидди предложила:

— Скажите, что вы вся перепачкались, глядеть страшно, и поэтому не можете к нему выйти.

— Да, так прямо и можно сказать, — окинув ее критическим взглядом, подтвердила миссис Когген.

— Скажите, что я не могу его принять — и все.

Миссис Когген сошла вниз и передала ответ так, как ей было поручено, но, не удержавшись, добавила по собственному почину:

— Мисс протирает бутылки, сэр, вся выгвоздалась, глядеть страшно, вот почему она и не может.

— Ну хорошо, — с полным равнодушием произнес низкий голос. — Я только хотел спросить, слышно ли что-нибудь о Фанни Робин?

— Ничего, сэр, но вот, может, нынче вечером

услышим. Уильям Смолбери отправился в Кэстербридж, где, говорят, ее дружок проживает, другие тоже по всей округе спрашивают.

Вслед за этими словами послышался стук копыт, он тут же затих в отдалении, и дверь захлопнулась.

— Кто это такой — мистер Болдвуд? — спросила Батшеба.

— Джентльмен-арендатор в Малом Уэзербери.

— Женатый?

— Нет, мисс.

— Сколько ему лет?

— Лет сорок, наверно, красивый такой, только суровый с виду, а богатый.

— Надо же, эта уборка! Вечно у меня какие-то оказии, не одно, так другое! — жалобно сказала Батшеба. — А почему он справлялся о Фанни?

— Да потому, что она сиротой росла и никого у нее близких не было, он ее и в школу отдал, а потом к вашему дяде пристроил. Так-то он очень добрый человек, но только — не дай бог!

— А что такое?

— Для женщины — безнадежное дело! Уж как только его не обхаживали — все девушки из нашей округи, из благородных семей и простые! Джейн Паркинс два месяца за ним, как тень, по

пятам ходила, и обе мисс Тэйлорс год целый по нем убивались, а дочка фермера Айвиса сколько слез по нем пролила, двадцать фунтов стерлингов ради него на наряды ухлопала; и все зря, все равно как если бы она эти деньги просто в окно выбросила!

Тут снизу по лестнице взбежал какой-то карапуз и подошел к ним. Это был малыш кого-то из Коггенов, а эта фамилия, так же как и Смолбери, не менее распространена в здешней округе, чем Эвон и Дервент среди английских рек. Он всегда бежал к своим друзьям поделиться всем, что бы с ним ни случилось, — показать, как у него шатается зуб, или как он порезал палец, что в его глазах, разумеется, возвышало его над всеми другими мальчишками, с которыми ничего не произошло; и, конечно, он ждал, что ему скажут «бедный мальчик!», да так, чтобы в этом слышалось и сочувствие и похвала.

— А у меня есть пенни, — протянул нараспев юный Коггенс.

— Вот как? А кто тебе его дал, Тедди? — спросила Лидди.

— Ми-и-стер Бо-олд-вуд! Он дал мне пенни за то, что я открыл ему ворота.

— А что он тебе сказал?

— Он сказал: «Куда ты спешишь, мальчуган?» — а я сказал — в дом мисс Эвердин, вот куда; а он сказал: «Она почтенная женщина, мисс Эвердин?» — а я сказал: да.

— Вот противный мальчишка! Зачем же ты так сказал?

— А он дал мне пенни!

— Как у нас все сегодня нескладно получается! — недовольным тоном сказала Батшеба, когда малыш убежал. — Ступайте, Мэриен, или кончайте мыть пол, или займитесь чем-нибудь. Вам в ваши годы следовало бы быть замужем, жить своим домом, а не торчать у меня здесь.

— Ваша правда, мисс. Но ведь вот дело-то какое — сватались ко мне все бедняки, а я нос воротила, а чуть побогаче на меня и глядеть не хотели, вот я и осталась одна-одинешенька, как перст.

— А вам делали когда-нибудь предложение, мисс? — набравшись смелости, спросила Лидди, когда они остались одни. — Уж верно, от женихов отбою не было?

Батшеба молчала и, казалось, была не склонна отвечать, но соблазн похвастаться — и ведь она действительно имела на это право — был слишком силен для ее девичьего тщеславия, и она не удержалась, несмотря на то что была страшно

раздосадована тем, что ее только что выставили старухой.

— Один человек когда-то очень добивался моей руки, — сказала она небрежным тоном многоопытной женщины, и в памяти ее возник прежний Габриэль Оук, когда он еще был фермером.

— Как это должно быть приятно! — воскликнула Лидди, ясно показывая всем своим видом, что она представляет себе, как это все было. — А вы ему отказали?

— Он был неподходящая для меня партия.

— Вот счастье-то, когда можно позволить себе отказать, ведь как оно в большинстве-то у девушек бывает — рады-радешеньки, кто бы ни подвернулся, спасибо скажут. Я даже представляю себе, как вы его отставили: «Нет, сэр, вы мне не ровня! Почище вашего меня добиваются, не вам чета!» Ведь вы в него не были влюблены, мисс?

— Не-ет! Но он мне немножко нравился.

— И сейчас нравится?

— Ну конечно нет. Что это там, чьи-то шаги?

Лидди вскочила и подбежала к окну, выходившему на задний двор, над которым сейчас уже сгущалась серая мгла надвигающихся сумерек.

Изогнутая петлей вереница двигавшихся друг за другом крестьян приближалась к черному ходу. Эта медленно ползущая цепь, состоящая из отдельных звеньев, двигалась в едином целеустремлении, подобно тем удивительным морским животным, известным под названием сальповой колонии, которые, отличаясь друг от друга строением, движутся, подчиняясь единому импульсу, общему для всей колонии. Одни были в своих обычных белых холщовых блузах, другие в белесовато-коричневых из ряднины, заштопанной на груди, на спине, на рукавах, на плечах. Несколько женщин в деревянных башмаках, наподобие калош, замыкали шествие.

— Орда на нас целая идет, — прижавшись носом к стеклу, сказала Лидди.

— Очень хорошо. Мэриен, ступайте вниз и задержите их в кухне, пока я пойду переодеться, а потом проводите их ко мне в зал.

Глава X
Хозяйка и батраки

Полчаса спустя тщательно одетая Батшеба вошла в сопровождении Лидди в парадную дверь старинного зала, где в дальнем конце все ее батраки уже сидели на длинной скамье и низкой без спинки лавке. Батшеба села за стол, открыла учетную книгу и, взяв в руку перо, положила возле себя брезентовую сумку с деньгами, вытряхнув из нее сначала небольшую кучку монет. Лидди устроилась тут же рядом и принялась шить; время от времени она отрывалась от шитья и поглядывала по сторонам или с видом своего человека в доме, пользующегося особыми правами, брала в руки монету из кучки, лежавшей на столе, и внимательно разглядывала ее, причем на лице ее в это время было ясно написано, что она смотрит на нее исключительно как на произведение искусства, а ни в коем случае не как на деньги, которые ей хотелось бы иметь.

— Прежде чем начать, — сказала Батшеба, — я хочу с вами поговорить о двух делах. Первое, это то, что управитель уволен за воровство и что я

решила теперь обойтись без управителя, буду управлять фермой сама, своим умом и руками.

Со скамьи довольно внятно донеслось изумленное «ого!».

— Второе вот что: узнали вы что-нибудь о Фанни?

— Ничего, мэм.

— А сделано что-нибудь, чтобы узнать?

— Я встретил фермера Болдвуда, — сказал Джекоб Смолбери, — и мы вместе с двумя его людьми обшарили дно Ньюмилского пруда, но ничего не нашли.

— А новый пастух справлялся в «Оленьей голове» в Иелбери, думали, может, она там на постоялом дворе, но никто ее там не видел, — сказал Лейбен Толл.

— А Уильям Смолбери не ездил в Кэстербридж?

— Поехал, мэм, только он еще не вернулся. Часам к шести обещал быть назад.

— Сейчас без четверти шесть, — сказала Батшеба, взглянув на свои часики. — Значит, он вот-вот должен вернуться. Ну а тем временем, — она заглянула в учетную книгу, — Джозеф Пурграс здесь?

— Да, сэр, то есть, мэм, я хотел сказать, — ото-

звался Джозеф. — Я самый и есть Пурграс.

— Кто вы такой?

— Да никто, по совести сказать, а как люди скажут — не знаю, ну им виднее.

— Что вы делаете на ферме?

— Вожу всякие грузы, сэр, а во время посева гоняю грачей да воробьев, а еще помогаю свиней колоть.

— Сколько вам причитается?

— Девять шиллингов девять пенсов, сэр, простите, мэм, да еще полпенса взамен того негожего, что я в прошлый раз получил.

— Правильно, и вот вам еще десять шиллингов в придачу, подарок от новой хозяйки.

Батшеба слегка покраснела оттого, что ей было немножко неловко проявлять щедрость на людях, а Генери Фрей, тихонько подобравшийся поближе, выразил откровенное удивление, подняв брови и растопырив пальцы.

— Сколько вам причитается — вы, там в углу, как вас зовут? — продолжала Батшеба.

— Мэтью Мун, мэм, — отозвалась какая-то странная фигура в блузе, которая висела на ней, как на вешалке; фигура поднялась со скамьи и направилась к столу, ступая не как все люди носками вперед, а выворачивая их чуть ли не

колесом то совсем внутрь, то наоборот, как придется.

— Мэтью Марк, вы сказали? Говорите же, я не собираюсь вас обижать, — ласково добавила юная фермерша.

— Мэтью Мун, мэм, — поправил Генери Фрей сзади, из-за самого ее стула.

— Мэтью Мун, — повторила про себя Батшеба, пробегая блестящими глазами список в книге. — Десять шиллингов два с половиной пенса, правильно тут подсчитано?

— Да, мисс, — чуть слышно пролепетал Мэтью, голос его был похож на шорох сухих листьев, тронутых ветром.

— Вот, и еще десять шиллингов. Следующий, Эндрью Рэнди, вы, кажется, только что поступили к нам. Почему вы ушли с вашего последнего места?

— Пр-пр-про-шш-шу, ммэм, пр-ррр-ррр-прошшш…

— Он заика, мэм, — понизив голос, пояснил Генери Фрей, — его уволили, потому как он только тогда внятно говорит, когда ругается, вот он, значит, своего фермера в таком виде и отделал, сказал ему, что он, мол, сам себе хозяин. Он, мэм, ругаться может не хуже нас с вами, а говорить

так, чтобы не спотыкаясь, — это у него никак не выходит.

— Эндрью Рэнди, вот то, что вам причитается, — ладно, благодарить кончите послезавтра.

— Миллер Смирная… о, да тут еще другая, Трезвая — обе женщины, надо полагать?

— Да, мэм, мы тут, — в один голос пронзительно выкрикнули обе.

— Что вы делаете на ферме?

— Мусор собираем, снопы вяжем, кур да петухов с огородов кышкышкаем, почву для ваших цветочков колом рыхлим.

— Гм… Понятно. Как они, ничего эти женщины? — тихо спросила она у Генери Фрея.

— Ох, не спрашивайте, мэм! Непутевые бабенки, потаскушки обе, каких свет не видал! — захлебывающимся шепотом сказал Генери.

— Сядьте.

— Это вы кому, мэм?

— Сядьте.

Джозеф Пурграс сзади на скамье даже передернулся весь, и во рту у него пересохло от страха, как бы чего не вышло, когда он услышал краткое приказание Батшебы и увидел, как Генери, съежившись, отошел и сел в углу.

— Теперь следующий. Лейбен Толл, вы остае-

тесь работать у меня?

— Мне все одно, у вас или у кого другого, мэм, лишь бы платили хорошо, — ответил молодожен.

— Верно, человеку жить надо! — раздалось с того конца зала, куда только что, громко постукивая деревянными подошвами, вошла какая-то женщина.

— Кто эта женщина? — спросила Батшеба.

— Я его законная супруга, — вызывающе отвечал тот же голос.

Обладательница этого голоса выдавала себя за двадцатипятилетнюю, выглядела на тридцать, знакомые утверждали, что ей тридцать пять, а на самом деле ей было все сорок. Эта женщина никогда не позволяла себе, как некоторые иные молодые жены, выказывать на людях супружескую нежность, быть может потому, что у нее этого и в заводе не было.

— Ах так, — сказала Батшеба. — Ну что же, Лейбен, остаетесь вы у меня или нет?

— Останется, мэм, — снова раздался пронзительный голос законной супруги Лейбена.

— Я думаю, он может и сам за себя говорить?

— Что вы, мэм! Сущая пешка! — отвечала супруга. — Так-то, может, и ничего, да только дурак

дураком.

— Хе-хе-хе! — захихикал молодожен, весь перекорежившись от усилия показать, что он ничуть не обижен таким отзывом, потому что, подобно парламентскому кандидату во время избирательной кампании, он с неизменным благодушием переносил любую взбучку.

Так, один за другим, были вызваны все остальные.

— Ну, кажется, я покончила с вами, — сказала Батшеба, захлопывая книгу и откидывая со лба выбившуюся прядку волос. — Что, Уильям Смолбери вернулся?

— Нет, мэм.

— Новому пастуху нужно подпаска дать, — подал голос Генери Фрей, снова стараясь попасть в приближенные и подвигаясь бочком к стулу Батшебы.

— Да, конечно. А кого ему можно дать?

— Каин Болл очень хороший малый, — сказал Генери, — а пастух Оук не посетует, что ему еще лет мало, — добавил он, с извиняющейся улыбкой повернувшись к только вошедшему пастуху, который остановился у двери, сложив на груди руки.

— Нет, я против этого не возражаю, — сказал

Габриэль.

— Как это ему такое имя дали, Каин? — спросила Батшеба.

— Видите ли, мэм, мать его бедная женщина была, неученая. Святое Писание плохо знала, вот, стало быть, и ошиблась, когда крестила, думала — это Авель Каина убил, ну и назвала его Каином. Священник-то ее поправил, да уж поздно; из книги церковной никак нельзя ничего вычеркнуть. Конечно, это несчастье для мальчика.

— Действительно, несчастье.

— Ну да уж мы стараемся смягчить. Зовем его Кэйни. А мать его, бедная вдова, уж так горевала, все глаза себе выплакала. Отец с матерью у нее совсем нехристи были, ни в церковь, ни в школу ее не посылали, вот так оно и выходит, мэм, родителевы грехи на детях сказываются.

Тут мистер Фрей придал своей физиономии то умеренно меланхолическое выражение, кое приличествует иметь соболезнующему, когда несчастье, о котором идет речь, не задевает кого-нибудь из его близких.

— Так, очень хорошо, пусть Кэйни Болл будет подпаском. А вы свои обязанности знаете, вам все ясно, — я к вам обращаюсь, Габриэль Оук?

— Да, все ясно, благодарю вас, мисс Эвер-

дин, — отвечал Оук, не отходя от двери. — Если я чего-нибудь не буду знать, я спрошу.

Он был совершенно ошеломлен ее удивительным хладнокровием. Конечно, никому, кто не знал этого раньше, никогда бы и в голову не пришло, что Оук и эта красивая женщина, перед которой он сейчас почтительно стоял, могли быть когда-то знакомыми. Но, возможно, эта ее манера держаться была неизбежным следствием ее восхождения по общественной лестнице, которое привело ее из деревенской хижины в усадебный дом с крупным владеньем.

Примеры этого можно найти и повыше. Когда Юпитер со своим семейством (в творениях позднейших поэтов) переселялся из своего тесного жилища на вершине Олимпа в небесную высь, его речи соответственно становились значительно более сдержанными и надменными.

За дверью в передней послышались размеренные, грузные и в силу этого не слишком торопливые шаги.

Все хором:

— Вот и Билли Смолбери вернулся из Кэстербриджа.

— Ну, что вы узнали? — спросила Батшеба, после того как Уильям, дойдя до середины зала,

достал из шляпы носовой платок и тщательно вытер себе лоб от бровей до самой макушки.

— Я бы раньше вернулся, мисс, да вот непогода, — сказал он, тяжело потопывая сначала одной, потом другой ногой; тут все уставились ему на ноги и увидели, что сапоги его облеплены снегом.

— Давно собирался, высыпал-таки? — сказал Генери.

— Ну что же насчет Фанни? — спросила Батшеба.

— Так вот, мэм, ежели так без обиняков прямо сказать, сбежала она с солдатами.

— Не может быть, такая скромная девушка, как Фанни!

— Я вам сейчас все как есть доложу. Я в Кэстербридже прямо в казармы подался, вот они мне там и сказали, что одиннадцатый драгунский полк недавно с постоя снялся, а на его место другие войска пришли. А одиннадцатый на прошлой неделе на Мелчестер выступил, а там, может, и еще куда дальше двинут. Приказ-то им от начальства нежданно-негаданно пришел, — ну так уж оно, видно, положено, как тать в нощи, — они, говорят, и опомниться не успели, мигом снялись да и выступили. Говорят, мимо нас шли.

Габриэль слушал с интересом.

— Я видел, как они уходили, — сказал он.

— Да, — продолжал Уильям, — говорят, они там по главной улице этак лихо гарцевали, да еще с музыкой, и какой: «Покинул я девчонку». Все высыпали глазеть. А уж трубачи-то старались, и барабан так гудел, что, говорят, все нутро у людей переворачивалось, а девицы ихние да собутыльники в трактире на постоялом дворе, говорят, глаз не осушая, плакали.

— Но ведь они же не на войну ушли?

— Нет, мэм, но их отправили на место тех, кого, может, и на войну послали, а уж оно там одно с другим во как близко связано. Тут я, стало быть, про себя и решил, что Фаннин дружок не иначе как в том самом полку, а она, значит, за ним и ушла. Вот, мэм, все как по писаному и выходит.

— А вы его фамилию узнали?

— Нет, мэм, никто не знает. Похоже, он не просто солдат.

Габриэль помалкивал, задумавшись, у него на этот счет были кое-какие сомнения.

— Ну, во всяком случае, сегодня мы вряд ли что-нибудь еще узнаем, — заключила Батшеба. — Но так или иначе, пусть кто-нибудь из вас сбегает сейчас же к фермеру Болдвуду и расскажет ему

то, что мы здесь слышали.

Она поднялась, но прежде, чем уйти, обратилась к собравшимся с маленькой речью; она произнесла ее с большим достоинством, а ее черное платье придавало ей солидность и внушительность, которой отнюдь не отличался ее язык.

— Так вот знайте, теперь у вас вместо хозяина будет хозяйка. Я еще сама не знаю ни своих сил, ни способностей в фермерском деле, но я буду стараться, как могу, и если вы будете хорошо мне служить, так же буду служить вам и я. А если среди вас есть еще мошенники и плуты (надеюсь, что нет), пусть не думают, что, если я женщина, так я не разберу, что хорошо, что плохо.

(Все). Нет, мэм.

(Лидди). Замечательно сказано.

— Вы еще не успеете глаза открыть, а я уже буду на ногах, я буду на поле, прежде чем вы подыметесь, вы только на поле выйдете, а я уже позавтракаю. Смотрите, я еще вас всех удивлю.

(Все). Да, мэм.

— Ну а пока до свиданья.

(Все). До свиданья, мэм.

Вслед за этим маленькая законодательница вышла из-за стола и направилась к выходу, шур-

ша по полу шлейфом своего черного шелкового платья и волоча за собой приставшие к нему соломинки.

Лидди, проникнувшись подобающей случаю важностью, шествовала за ней следом несколько менее величественно, но, во всяком случае, явно подражая ей. Дверь за ними захлопнулась.

Глава XI
У казарм. Снег. Свидание

В этот снежный вечер, несколькими часами позже, унылая окраина маленького городка и военного постоя в нескольких милях к северу от Уэзербери представляла собой самое безотрадное зрелище, если только можно назвать зрелищем нечто состоящее главным образом из мглы.

В такой вечер самый веселый человек может загрустить, и ни ему самому, ни другим это не покажется странным; в такой вечер у людей восприимчивых любовь превращается в беспокойство, надежда в сомнение, а вера слабеет и становится смутной надеждой; в такой вечер воспоминания о прошлом не будят сожаления об упущенных возможностях, не бередят честолюбия, а ожидание будущего не воодушевляет к действию.

Перед нами проезжая дорога, проложенная по берегу речки, налево по ту сторону речки высокая каменная стена, по правую сторону дороги голая равнина, луга, перемежающиеся болотами, а вдали на горизонте волнистая гряда гор.

В такой местности переход от одного времени года к другому не бросается в глаза, как где-нибудь в лесу. Однако для человека наблюдательного он не менее явствен. Различие в том, что перемены, совершающиеся на глазах, не столь привычны и обыденны, как появление и опадание листвы. Многое происходит совсем не так незаметно и постепенно, как казалось бы естественным для этой погруженной в спячку равнины или топи. Каждый шаг приближающейся зимы отпечатывался здесь явно и резко — попрятались змеи, потемнели, потеряли свои веера папоротники, наполнились водой бочаги, поползли туманы, ссохлась и побурела трава, гнилушки рассыпались в пыль, и все затянуло снегом.

Этой кульминационной стадии равнина достигла сегодня вечером, и в первый раз за эту зиму все ее неровности обрели расплывчатую, лишенную очертаний форму, она ничего не напоминала, ни о чем не свидетельствовала и не имела никаких отличительных признаков, кроме того, что казалось последним пределом чего-то другого — нижним слоем снеговой выси. Из этого необозримого хаоса мятущихся хлопьев на равнину каждое мгновение накидывалась новая пелена, и от этого она с каждым мгновеньем

становилась все более обнаженной. Огромный, затянутый мглою купол неба, нависший необыкновенно низко, казался осевшим сводом громадной темной пещеры, продолжающим оседать все ниже и ниже; и вас невольно охватывал страх, что эта снежная подкладка неба и снежная пелена, окутывающая землю, скоро сомкнутся в одну сплошную массу и между ними не останется никакого воздушного пространства.

Налево от дороги тянулась какая-то плоская полоса — речка, за ней выступало что-то отвесное — стена, и то и другое было окутано мраком. И все это, сливаясь, создавало впечатление общей массы. Если можно было представить себе что-нибудь темнее неба — это была стена, а если могло быть что-нибудь угрюмее этой стены — это была река, бегущая под ней. Смутно вырисовывающийся верх здания там и сям прорезался клиньями и зубцами труб, а на фасаде, в верхней его части, слабо обозначались продолговатые прямоугольники окон. Внизу, вплоть до самой воды, лежала ровная мгла без выступов и просветов.

Какое-то непостижимое чередование глухих ударов, озадачивающих своим мерным однообразием, с трудом пробивая пушистую мглу, слышалось в заснеженном воздухе. Это башен-

ные часы где-то совсем рядом били десять. Они были на открытом воздухе, и колокол на несколько дюймов занесло снегом, так что он на время лишился голоса.

Снегопад теперь понемногу утихал. Уже не двадцать хлопьев падало сразу, а десять, и вскоре на место десяти ложилась одна снежинка. Спустя некоторое время на краю дороги, у самой воды, появилась какая-то фигура.

По ее очертаниям, если приглядеться в темноте, видно было только, что она маленькая. Вот и все, что можно было различить, но, по-видимому, это все-таки была человеческая фигура.

Она двигалась медленно, но без каких-либо особых усилий, потому что снега под ногами, хотя он и выпал внезапно, было не так много. Она двигалась, произнося вслух:

— Раз, два, три, четыре, пять.

После каждого слова маленькая фигурка делала несколько шагов. Теперь уже можно было догадаться, что она считала окна наверху, в высившейся перед ней стене. Пять обозначало пятое окно с краю.

Здесь фигурка остановилась и вдруг сделалась чуть ли не вдвое меньше. Она наклонилась. И вот комок снега полетел через реку к пятому окну.

Он шлепнулся о стену несколькими ярдами ниже намеченной цели. Бросать снегом в окно — это, несомненно, была мужская затея, приведенная в исполнение женщиной. Ни один мужчина, если он когда-то в детстве подстерегал птичку, зайца или белку, не мог бы так по-дурацки швырять в цель.

Затем последовала еще попытка, и еще, и еще, пока мало-помалу вся стена не покрылась приставшими комьями снега. Наконец один комок попал в пятое окно.

Речка, если поглядеть на нее днем, была из тех глубоких, спокойных речек с ровным течением, которое, если что-либо замедляло его бег, сейчас же старалось преодолеть препятствие, образуя маленький водоворот. Сейчас, кроме тихого журчанья и всплескивания одного из этих невидимых водоворотиков, не слышно было ничего, никакого ответа на сигнал, если не считать долетавших откуда-то слабых звуков, которые грустно настроенный человек уподобил бы стонам, веселый — смеху, на самом же деле это просто вода хлюпала обо что-то вдали.

Еще комок снега ударился в стекло.

Затем послышался стук открывающегося окна, после чего оттуда раздался возглас:

— Кто это?

Голос был мужской, нисколько не удивленный.

Высокая стена была стеной казармы, а поскольку к бракам в армии относились снисходительно, то, по всей вероятности, свиданья и сообщения через реку были делом обычным.

— Это сержант Трой? — дрожащим голосом спросила чуть видная тень на снегу.

Это существо было так похоже на тень, а тот, наверху, до такой степени слился с самим зданием, что казалось, стена ведет разговор со снегом.

— Да, — осторожно ответили сверху из темноты. — А кто вы, как вас зовут, девушка?

— О Фрэнк, разве ты не узнаешь меня? — отвечала тень. — Я твоя жена, Фанни Робин.

— Фанни! — воскликнула стена в полном изумлении.

— Да, — пролепетала девушка, едва переводя дух от волнения. Было что-то такое в ее голосе, что не вязалось с представлением о жене, и по его манере говорить трудно было предположить, что это муж. Разговор продолжался.

— Как ты добралась сюда?

— Я спросила, которое окно твое. Не сердись на меня.

— Я не ждал тебя сегодня вечером. По правде сказать, мне и в голову не приходило, что ты можешь прийти. Это просто чудо, что ты меня разыскала. Я завтра дежурю.

— Ты же сам сказал, чтобы я пришла.

— Да я просто так сказал, что ты можешь прийти.

— Я так и поняла, что могу прийти. Но ведь ты рад видеть меня, Фрэнк?

— О да, конечно.

— Ты можешь сойти ко мне?

— Нет, дорогая Фанн, никак не могу. Уже вечерний сигнал давно протрубили, ворота закрыты, а увольнительного пропуска у меня нет. Мы здесь все равно как в тюрьме до завтрашнего утра.

— Значит, я тебя до тех пор не увижу? — Голос ее дрогнул, в нем слышалось глубокое отчаяние.

— Как же ты добралась сюда из Уэзербери?

— Часть пути я шла пешком, кое-где меня подвезли.

— Вот удивительно.

— Да, я и сама себе удивляюсь. Фрэнк, когда это будет?

— Что?

— То, что ты обещал.

— Я что-то не помню.

— Нет, ты помнишь! Не говори так. Если бы ты знал, как мне тяжело. Ты заставляешь меня говорить о том, о чем ты должен был бы заговорить первый.

— Ну, не все ли равно, скажи ты.

— Ах, неужели мне придется… Фрэнк, ты… когда мы с тобой поженимся, Фрэнк?

— А, вот о чем. Ну знаешь, ты сначала должна позаботиться о свадебном платье.

— У меня есть деньги. Это будет по церковному оглашению или по свидетельству?

— Я думаю, по оглашению.

— А мы с тобой в разных приходах.

— Разве? Ну и что же?

— Я живу в приходе Святой Марии, а у вас тут другой приход. Значит, огласить должны и там и тут.

— Это такой закон?

— Да. Ах, Фрэнк, я боюсь, ты считаешь меня назойливой. Умоляю тебя, дорогой Фрэнк, не думай этого, я так тебя люблю. И ты столько раз говорил, что женишься на мне… а я… я…

— Ну не плачь, что ты! Вот это уж совсем глупо. Раз я говорил — значит так оно и будет.

— Так, значит, я могу подать на оглашение у себя в приходе, а ты подашь у себя?

— Да.

— Завтра?

— Нет, не завтра. Мы сделаем это через несколько дней.

— У тебя есть разрешение от начальства?

— Нет, пока еще нет.

— Ах, ну как же так. Ты ведь мне сам говорил, что ты его вот-вот получишь, еще когда вы стояли в Кэстербридже.

— Дело в том, что я просто забыл спросить. Я ведь не думал, что ты придешь, для меня это такая неожиданность.

— Да, да, правда. Я знаю, это нехорошо, что я тебя так донимаю. Я сейчас уйду. А ты придешь ко мне завтра на Норс-стрит, дом миссис Туилс, правда? Мне не хочется приходить к вам в казармы. Тут столько гулящих женщин, и меня за такую посчитают.

— Может статься… Я приду к тебе, дорогая. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Фрэнк, спокойной ночи!

И снова послышался шум закрывающегося окна. Маленький комочек двинулся в темноту, а когда он уже почти миновал казарму, за стеной послышались приглушенные возгласы:

— Ого, сержант, ого-го! — Затем тут же проте-

стующий голос, и все это потонуло в захлебывающемся, сдавленном хохоте, который уже трудно было отличить от тихого журчанья и всплесков маленьких водоворотов на реке.

Глава XII
Фермеры. Правило. Исключение

Первым наглядным доказательством решения Батшебы фермерствовать самолично, а не через доверенных лиц, было ее появление на хлебном рынке в Кэстербридже в ближайший ярмарочный день.

Низкое, просторное помещение, крытое бревнами, опирающимися на массивные столбы, недавно получившее почетное наименование Хлебной биржи, было битком набито возбужденно спорящими мужчинами, которые, сойдясь по двое, по трое, горячо убеждали один другого, причем говоривший, глядя куда-то вбок и прищурив один глаз, искоса, украдкой следил за лицом слушающего. У большинства из них в руках был свежесрезанный ясеневый сук, то ли для того, чтобы опираться при ходьбе, то ли для того, чтобы тыкать им в свиней, овец или спины зевак, словом, во все, что мешало им по дороге сюда и в силу этого заслуживало подобного обращения. Во время беседы каждый проделывал со своим суком различные упражнения: то

закидывал его за спину и, подсунув концы под руки, сгибал дугой, или, держа обеими руками за концы, придавал ему форму лука, или гнул изо всей силы об пол, а то поспешно засовывал под мышку, когда приходилось пускать в ход обе руки, чтобы высыпать на ладонь горсть зерна из мешка с образцами, тут же после оценки швырнуть эту горсть на пол — обстоятельство, хорошо известное нескольким расторопным городским курам, которые незаметно пробирались сюда и в ожидании предвкушаемого угощения зорко косились по сторонам, вытянув шеи.

Среди этих дюжих фермеров скользила женская фигурка — одна-единственная женщина во всем помещении. Она была изящно и даже нарядно одета. Она двигалась между ними, словно легкая коляска между грузными телегами, голос ее рядом с их голосами казался нежным пением рядом с грубыми окриками, ее присутствие среди них ощущалось, как свежее дуновение ветра между пышущими жаром печами. Чтобы занять здесь такое же положение, как и все, требовалось проявить некоторую твердость характера, значительно большую, чем представляла себе Батшеба, потому что в первый момент, когда она только что появилась здесь, все разговоры и

споры прекратились, все головы повернулись к ней и застыли, уставившись на нее изумленным взглядом.

Среди этой толпы фермеров Батшеба знала разве что двух-трех человек, и она прежде всего подошла к ним. Но раз уж она вознамерилась показать себя деловой женщиной, то надо было вступать в деловые отношения, независимо от того, знакома она с кем-то или нет, и, собрав все свое мужество, она стала обращаться и к другим, к людям, о которых она только слышала. У нее тоже были с собой мешочки с образцами зерна, и постепенно она тоже наловчилась высыпать зерно из мешочка на свою узкую ладонь и ловко, по-кэстербриджски, подносила его собеседнику для осмотра.

Что-то неуловимое в очертаниях ее полураскрытых алых губ, обнажавших ровный ряд верхних зубов, и в приподнятых уголках рта, когда она, вызывающе закинув голову, спорила с каким-нибудь рослым фермером, говорило о том, что в этом маленьком существе таятся богатые возможности, которые могут ввергнуть ее в рискованные любовные авантюры, и что у нее хватит смелости пуститься в них очертя голову. Но в глазах ее была какая-то мягкость, неизмен-

ная мягкость, и не будь они такие темные, может быть, взгляд ее казался бы слегка затуманенным; на самом же деле он был остро-пронизывающим, а это мягкое выражение делало его бесхитростно-чистым.

Может показаться удивительным, что эта цветущая, полная сил и задора молодая женщина всегда позволяла своим собеседникам высказать свои соображения до конца, прежде чем выдвигать свои. Когда возникали споры о ценах, она твердо стояла на своей цене, как оно и подобает торговцу, и по свойственной всем женщинам манере настойчиво сбивала цену конкурента. Но твердость ее была не без покладистости, и этим она отличалась от упрямства, а в ее манере сбивать цену было что-то наивное, что никак не вязалось со скаредностью.

Фермеры, с которыми она не вела дел (а их было значительное большинство), спрашивали один у другого — кто это такая? И в ответ слышали:

— Племянница фермера Эвердина; унаследовала от него ферму в Верхнем Уэзербери; выгнала управителя и заявила, что всем будет заправлять сама.

И тогда тот, кто спрашивал, с сомнением качал головой.

— Да, жаль, конечно, что она такая своевольная, — соглашался собеседник. — Но мы-то здесь, право, должны быть довольны, — она словно солнышко ясное светит в нашем старом сарае. Ну, да такая пригожая девушка, гляди, ее мигом кто-нибудь подцепит.

Было бы не совсем любезно предположить, что самая новизна ее присутствия здесь, в этой необычной для женщины роли, привлекала к ней внимание не меньше, чем ее красота и грация. Как бы там ни было, она возбуждала всеобщее любопытство, и, что бы ни принес ей этот ее субботний дебют как фермеру в смысле продажи и покупки, для Батшебы-женщины он был несомненным триумфом. Впечатление, производимое ею, было настолько сильно, что в нескольких случаях она инстинктивно воздержалась от заключения каких бы то ни было сделок, а проплыла королевой среди этих богов пашни, подобно маленькому Юпитеру в юбке.

Многочисленные свидетельства ее притягательной силы были особенно очевидны благодаря одному поразительному исключению. У женщины на такие вещи как будто глаза на затылке. Батшеба каким-то чутьем, не глядя, сразу обнаружила в этом стаде одну паршивую овцу.

Сначала это ее несколько озадачило. Будь на той или другой стороне явное меньшинство, это было бы вполне естественно. Если бы никто не взглянул на нее, она бы отнеслась к этому с полным равнодушием, — бывали такие случаи. Если бы глазели все, не исключая и этого человека, она приняла бы это как должное, — так оно случалось и раньше. Но в этом единичном исключении было что-то загадочное.

Она мельком отметила некоторые черты внешности этого строптивца. С виду это был джентльмен с резко очерченным римским профилем, смуглым цветом лица, казавшимся бронзовым на солнце. Он держался очень прямо, манеры у него были сдержанные. Но что особенно выделяло его в толпе — это чувство собственного достоинства. По-видимому, он не так давно переступил порог зрелости, за которым внешность мужчины естественно — а женщины с помощью искусственных мер — перестает меняться так примерно на протяжении двенадцати — пятнадцати лет: это возраст от тридцати пяти до пятидесяти, и ему могло быть любое количество лет в этих пределах.

Можно прямо сказать, что женатые сорокалетние мужчины очень охотно и расточительно

мечут взоры на любые образцы весьма несовершенной женской красоты, встречающиеся им на пути. Возможно, — как у игроков в вист, играющих не на деньги, а из любви к искусству, — сознание того, что им при любых обстоятельствах не грозит страшная необходимость расплачиваться, весьма повышает их предприимчивость. Батшеба была твердо убеждена, что этот бесчувственный субъект не женат.

Когда торг на бирже кончился, она поспешила к Лидди, поджидавшей ее возле желтого шарабана, в котором они приехали в город. Лидди тут же запрягла лошадку, и они поехали домой. Покупки Батшебы — чай, сахар, свертки с материей — громоздились сзади и всем своим видом — цветом, формой, общими очертаниями и еще чем-то неуловимым — явно показывали, что они являются собственностью этой юной леди-фермерши, а не бакалейщика и суконщика.

— Ну вот я и отмучилась, Лидди. Дальше будет не так трудно, потому что они уже привыкнут видеть меня здесь. Но сегодня было просто ужас как страшно, все равно что стоять под венцом — все так и пялят глаза.

— А я знала, что так будет, — сказала Лидди. — Мужчины такой ужасный народ — им только бы

на вас пялиться.

— Но там был один здравомыслящий человек, он даже ни разу не удосужился взглянуть на меня. — Она сообщила это Лидди в такой форме, чтобы у той ни на минуту не могло возникнуть подозрение, что ее хозяйка несколько задета этим. — Он очень недурен собой, — продолжала она, — статный такой, я думаю, ему, должно быть, лет сорок. Ты не знаешь, кто это мог быть?

Лидди не имела представления.

— Ну неужели тебе никто в голову не приходит? — разочарованно промолвила Батшеба.

— Нет, никого такого но припоминаю; да не все ли вам равно, коли он даже и внимания на вас не обратил! Вот если бы он больше других на вас глазел, тогда, конечно, оно было бы важно.

Батшебу разбирало совершенно противоположное чувство, и они молча продолжали путь. Вскоре с ними поравнялась открытая коляска, запряженная прекрасной породистой лошадью.

— Ах! Вот же он! — вскричала Батшеба.

Лидди повернула голову.

— Этот! Так это же фермер Болдвуд! Тот самый, который приходил в тот день и вы еще не могли его принять.

— Ах, фермер Болдвуд, — прошептала Батшеба

и подняла на него глаза в тот самый момент, когда он обгонял их. Фермер не повернул головы и, уставившись куда-то вдаль прямо перед собой, проехал вперед с таким безучастным и отсутствующим видом, как если бы Батшеба со всеми ее чарами была пустым местом.

— Интересный мужчина, а как по-твоему? — заметила Батшеба.

— Да, очень. И все так считают, — отозвалась Лидди.

— Странно, почему это он такой замкнутый, ни на кого не смотрит и как будто даже не замечает ничего кругом.

— Говорят — только ведь кто знает, правда ли, — будто он, когда еще совсем молодой да непутевый был, пострадал шибко. Какая-то женщина завлекла его да и бросила.

— Это так только говорят, а мы очень хорошо знаем, женщина никогда не бросит, это мужчины всегда женщин обманывают. Я думаю, он просто от природы такой замкнутый.

— Да, верно, от природы, я тоже так думаю, мисс, не иначе как от природы.

— Но, конечно, это как-то интересней представить себе, что с ним, бедным, так жестоко поступили. Может, это и правда.

— Правда, правда, мисс! Так оно, верно, и было. Чует мое сердце, что так и было.

— Впрочем, нам всем свойственно представлять себе людей в каком-то необыкновенном свете. А может быть, тут всего понемножку, и то и другое: когда-то с ним жестоко поступили и от природы он такой сдержанный.

— О нет, мисс, как может быть и то и другое!

— Да так оно больше похоже на правду.

— А верно, так оно и есть. Я тоже считаю, что это больше похоже на правду. Можете мне поверить, мисс, так оно, должно быть, и есть.

Глава XIII
Гадание по Библии. Письмо-шутка на Валентинов день

Это был канун Валентинова дня, воскресенье тринадцатого февраля. В фермерском доме уже отобедали, и Батшеба, за неимением другого собеседника, позвала к себе посидеть Лидди. Зимой в сумерки, пока еще не были зажжены свечи и закрыты ставни, старый замшелый дом выглядел особенно уныло; самый воздух в нем казался таким же ветхим, как стены. В каждом углу, заставленном мебелью, держалась своя температура, потому что камин в этой половине дома топили поздно, и до тех пор, пока наступивший вечер не скрадывал все громоздкости и недостатки, новое пианино Батшебы, которое в других фамильных летописях уже было старым, казалось особенно скособочившимся на покоробленном полу. Лидди болтала не умолкая, совсем как маленький, неглубокий, но непрестанно журчащий ручеек. Ее присутствие не отягощало ум работой, но не давало ему погрузиться в спячку.

На столе лежала старая Библия in quarto в ко-

жаном переплете.

Лидди, глядя на нее, спросила Батшебу:

— А вы никогда не пробовали, мисс, гадать ключом по Библии о своем суженом?

— Что за глупости, Лидди! Как будто гаданьем что-то можно узнать.

— Что ни говорите, а все-таки в этом что-то есть.

— Чепуха, милочка.

— А знаете, как при этом сердце начинает колотиться! Ну конечно, кто верит, а кто нет; я верю.

— Ну хорошо, давай попробуем! — вскочив с места, вскричала Батшеба, вдруг загоревшись идеей гаданья и нимало не смущаясь тем, что ее служанка Лидди может удивиться такой непоследовательности. — Поди принеси ключ от входной двери.

Лидди пошла за ключом.

— Вот только что сегодня воскресенье, — промолвила она, вернувшись. — Может, это нехорошо.

— Что хорошо в будни, то хорошо и в воскресенье, — заявила ее хозяйка непререкаемым тоном.

Открыли книгу с потемневшими от времени листами; на многих зачитанных страницах текст

был совершенно вытерт указательными перстами давнишних читателей, которые, читая по складам, старательно водили пальцем от слова к слову, чтобы не сбиться. Батшеба выбрала текст из Книги Руфи и пробежала глазами священные строки. Они поразили и взволновали ее. Их отвлеченная мудрость дразнила воплощенное сумасбродство. Сумасбродка густо покраснела, но не отступилась и положила ключ на открытую страницу. Выцветшее ржавое пятно на месте, где лег ключ, явно свидетельствовало о том, что старая Библия не первый раз используется для этих целей.

— Ну, теперь смотри и молчи, — сказала Батшеба.

Она медленно произнесла выбранные строки, толкнув книгу; книга сделала полный оборот. Батшеба вспыхнула.

— На кого вы загадали? — с любопытством спросила Лидди.

— Не скажу.

— А вы заметили, мисс, как мистер Болдвуд себя нынче утром в церкви показывал? — продолжала Лидди, ясно давая понять своим вопросом, куда устремлены ее мысли.

— Нет, как я могла заметить, — с полной невоз-

мутимостью отвечала Батшеба.

— Но ведь его место как раз против вашего, мисс.

— Знаю.

— И вы не видели, как он себя вел?

— Ну я же тебе говорю, конечно нет.

Лидди сделала невинное лицо и плотно сжала губы. Это было так неожиданно, что несколько огорошило Батшебу.

— А что же он такое делал? — помолчав, не выдержала она.

— Ни разу за всю службу даже головы не повернул поглядеть на вас.

— А зачем ему глядеть? — сердито покосившись на нее, спросила хозяйка. — Я его об этом не просила.

— Нет, но ведь все на вас обращают внимание, чудно, что он только один не замечает. Вот он такой! Богатый, джентльмен, ни до кого ему дела нет.

Молчание Батшебы давало понять, что у нее на этот счет свое особое мнение, недоступное пониманию Лидди, а не то что ей нечего сказать.

— Боже мой, — внезапно воскликнула она, — а я ведь совсем забыла про эту открытку на Валентинов день, которую я купила вчера.

— Для кого, мисс? — спросила Лидди. — Для фермера Болдвуда?

Это было одно-единственное имя из всех не имевшихся в виду, которое в эту минуту показалось Батшебе наиболее подходящим.

— Да нет. Это для маленького Тедди Коггена. Я обещала ему что-нибудь подарить, вот это будет для него приятный сюрприз. Подвинь-ка сюда мой секретер, Лидди. Я сейчас ее надпишу.

Батшеба достала из секретера ярко размалеванную открытку с тисненым узором, которую она купила в прошлый ярмарочный день в лучшей писчебумажной лавке в Кэстербридже. В середине открытки была маленькая белая вставка, в форме овала, где можно было написать несколько строчек более подходящих адресату и соответствующих случаю, нежели какая-нибудь печатная надпись.

— Вот здесь надо что-нибудь написать, — сказала Батшеба. — Что бы такое придумать?

— Да что-нибудь вроде этого, — живо подсказала Лидди. —

Алая роза,
Синий василек,
Но всех милей гвоздичка,

Как ты, мой голубок.

— Отлично, так и напишем. Очень подходит для такого бутуза, — сказала Батшеба.

Она написала стишок мелким, но разборчивым почерком, вложила открытку в конверт и окунула перо, чтобы надписать кому.

— А вот было бы смеху послать это старому дураку Болдвуду, то-то бы он удивился! — высоко подняв брови, вскричала неугомонная Лидди, которую так и тянуло вернуться к прежней теме, и она прыснула со смеху, в то же время немножко робея втайне, потому что ведь это был такой почтенный и такой благородный джентльмен.

Батшебе показалось, что эта идея стоит того, чтобы над ней подумать. Болдвуд начинал не на шутку раздражать ее. Этакий непреклонный Даниил в ее царстве, которого ничто не может заставить повернуть голову в ее сторону, когда, казалось бы, так естественно последовать общему примеру и обратить на нее восхищенный взор. Конечно, это непризнание или отступничество, в сущности, не так уж трогало ее, а все-таки было немножко обидно, что самый уважаемый и влиятельный человек во всем приходе не желает ее замечать, и вот такая болтушка, как Лидди, судачит об этом. Поэтому сначала мысль Лидди

отнюдь не показалась ей забавной, а скорее раздосадовала ее.

— Нет, этого я не сделаю. Он не поймет, что это шутка.

— Он будет думать и терзаться, что это может значить! — не унималась Лидди.

— Правда, мне не так уж хочется посылать эту открытку Тедди, — задумчиво промолвила Батшеба. — Он иногда бывает просто несносный.

— Бывает, бывает!

— Давай-ка сделаем, как мужчины, — бросим монетку, — со скучающим видом сказала Батшеба. — Выпадет герб — Болдвуд, решетка — Тедди. Нет, нехорошо метать монету в праздник, это уж и впрямь искушать дьявола.

— А вы загадайте на молитвеннике, в этом не может быть греха, мисс.

— Отлично. Если он упадет раскрытый — Болдвуду, закрытый — Тедди. Нет, конечно, он раскроется, когда будет падать. Раскрытый будет Тедди, закрытый — Болдвуду.

Молитвенник взлетел в воздух и, не раскрывшись, упал на стол.

Батшеба, делая вид, что подавляет зевоту, взяла перо и, нимало не задумываясь, невозмутимо написала на конверте имя и адрес Болдвуда.

— Зажги свечу, Лидди. Посмотрим, какую нам выбрать печать. Вот голова единорога — ничего интересного. Это что такое — два голубка, нет, не годится. Надо, чтобы было что-нибудь необыкновенное, правда, Лидди? Вот эта с каким-то девизом, я помню, что-то очень забавное, только сейчас не разберу. Ну что ж, попробуем эту, а если она не подойдет, поищем другую.

И она наложила, как должно, большую красную печать. Потом вгляделась в горячий сургуч, чтобы разобрать слова.

— Замечательно! — воскликнула она, весело подкидывая письмо. — Вот уж это кого хочешь рассмешит, самого пастора, да еще с причетником вместе.

Лидди нагнулась разглядеть печать и прочла: «Женись на мне».

В тот же вечер письмо было отправлено и пришло в кэстербриджскую почтовую контору, где оно вместе со многими другими подверглось надлежащей сортировке, и на следующее утро снова вернулось в Уэзербери.

Так, от нечего делать, легкомысленно и беспечно, совершилось это дело. Любовь как зрелище — это было нечто хорошо знакомое Батшебе; но о любви как о душевном переживании она не

имела ни малейшего представления.

Глава XIV
Действие письма. Восход солнца

В сумерки под вечер, в Валентинов день, Болдвуд, как обычно в это время, сел ужинать у пылающего камина. Перед ним на камине стояли часы с мраморной фигурой орла, и между распростертыми крыльями этого орла стояло письмо, присланное Батшебой.

Взгляд холостяка подолгу останавливался на этом письме, пока большая красная печать не отпечаталась у него в глазу кроваво-красным пятном; он ел, запивая из бокала, а слова на печати, которые он, конечно, не мог разобрать отсюда, так и стояли у него перед глазами: «Женись на мне».

Этот дерзкий вызов был подобен некоторым кристаллам, которые, будучи сами по себе бесцветны, принимают окраску окружающей их среды. Здесь, в этой строгой столовой, где ничему легкомысленному не было места, где атмосфера пуританского воскресенья царила всю неделю, это письмо с девизом утратило свою игривость и вместо присущего ему шутливого тона приоб-

рело глубоко торжественную внушительность, проникнувшись ею из всего, что его окружало.

С той самой минуты утром, когда он получил это послание, Болдвуда не покидало странное ощущение, что его размеренная жизнь начинает медленно нарушаться, подчиняясь какому-то сладко волнующему чувству. Пока это было нечто смутно тревожащее, вроде первых плавающих водорослей, обнаруженных Колумбом, — что-то ничтожно малое, приоткрывавшее беспредельные возможности.

Это письмо должно было иметь какие-то побудительные причины. Что это мог быть такой пустяк, о котором и говорить-то не стоило, — этого Болдвуд, конечно, не знал. Ему это даже не приходило в голову. Человеку, одураченному чьим-нибудь поступком, трудно себе представить, что следствие поступка не зависит от того, совершен ли он по внутреннему побуждению или подсказан случайными обстоятельствами, — результат от этого не меняется. Огромное различие между тем, как завязывается цепь событий и как ход этих событий направляется в определенное русло, незаметно для человека, пострадавшего от их исхода.

Когда Болдвуд пошел спать, он взял письмо

с собой и воткнул его в раму своего зеркала. Он ощущал его присутствие, даже не глядя на него, даже когда повернулся к нему спиной. Первый раз в жизни с Болдвудом случилось нечто подобное. То же самое ослепление, которое заставляло его воспринимать это письмо как нечто серьезно обоснованное, не позволяло ему даже заподозрить в нем пустую, дерзкую шутку. Он снова поглядел в его сторону. В таинственной темноте ночи перед ним смутно вставал образ незнакомки, приславшей письмо. Чья-то рука, *женская* рука, водила пером по этой бумаге, где начертано его имя; ее глаза, глаза, которых он не видел, следили за начертанием каждой буквы, а мысли ее в это время устремлялись к нему. Почему она думала о нем? Ее рот, ее губы — а какие они — алые, бледные, полные, сморщенные? — непрестанно изменяли выражение, в то время как перо скользило по бумаге и уголки рта трепетно вздрагивали? А что они выражали?

У этого видения женщины, пишущей письмо, как бы иллюстрирующего написанные слова, не было сколько-нибудь определенного облика. Это была какая-то призрачная тень, что в известной мере соответствовало действительности, так как сама виновница письма спала сейчас крепким

сном, не думая ни о любви, ни о каких письмах на свете.

Стоило Болдвуду забыться сном — видение облекалось в какую-то форму и уже переставало быть призраком, а очнувшись, он видел перед собою письмо как бы в подтверждение своего сна.

Ночь была лунная, и луна светила как-то по-особенному. В окно падал отраженный свет, и его бледное сиянье, подобно отблеску сверкающего снега, отсвечивало вверх, причудливо озаряя потолок, отбрасывая неожиданные тени и освещая углы, обычно скрытые в тени.

Содержание письма не так взволновало Болдвуда, как самый факт его получения. Среди ночи ему внезапно пришло в голову, нет ли в конверте чего-нибудь еще, кроме обнаруженный им открытки. Он вскочил с кровати и в призрачном лунном свете схватил письмо, вытащил открытку, судорожно встряхнул конверт, провел пальцем внутри. Нет, больше ничего не было. Он снова, в который раз, пристально уставился на вызывающую красную печать. «Женись на мне», — громко произнес он.

Сдержанный, чопорный фермер снова вложил письмо в конверт и сунул его в раму зеркала. Мимоходом он взглянул на свое отражение и увидел

бледное лицо с какими-то неопределенными чертами; увидел плотно сжатые губы, широко раскрытые, блуждающие глаза. Ему стало как-то неприятно и не по себе оттого, что он так взвинчен, и он снова улегся в постель.

Но вот занялся рассвет. Было еще так рано, когда Болдвуд встал и оделся, что, несмотря на ясное, безоблачное небо, все казалось сумрачным, как в хмурый, ненастный день. Он спустился вниз, вышел из дому и пошел направо к калитке, выходившей на поле. Подойдя к изгороди, он остановился и, опершись на нее, огляделся кругом.

Солнце всходило медленно, как всегда в это время года, и небо, почти фиолетовое над головой и свинцовое на севере, было затянуто мглой на востоке, где над заснеженным склоном или пастбищем Верхнего Уэзербери, словно присев отдохнуть на гребне, раскаленная, без лучей, пока еще только одна видимая половина солнца горела как красный шар на белом поду очага. Все вместе скорее походило на закат, как новорожденный младенец на древнего старца.

В обе другие стороны равнина, занесенная снегом, казалась настолько одного цвета с небом, что с первого взгляда нельзя было различить

линию горизонта. А в общем и здесь было то же описанное ранее фантастическое перемещение света и тени, какое наблюдается в пейзаже, когда сверкающая яркость, присущая небу, переходит на землю, а темные тени земли — на небо. Низко на западе висела ущербная луна, мутная, желтая с прозеленью, словно потускневшая медь.

Рассеянно глядя по сторонам, Болдвуд машинально отмечал, как крепко схватило ледяной коркой снег на полях, который сейчас, в красном утреннем свете, сверкал, отливая, как мрамор; как там и сям на склоне засохшие пучки трав, скованные ледяными сосульками, поднимались над гладкой бледной скатертью, словно хрупкие изогнутые бокалы старого венецианского стекла, и как следы нескольких птиц, прыгавших, как видно, по рыхлому снегу, так и сохранились до поры до времени, скрепленные льдом. Приглушенный шум легких колес вывел его из задумчивости. Болдвуд обернулся и посмотрел на дорогу. Это была почтовая тележка, расшатанный двухколесный вагончик, который, казалось, вот-вот опрокинется от ветра. Почтарь протянул ему письмо. Болдвуд схватил его и надорвал конверт, полагая, что это еще одно анонимное послание, — у большинства людей представле-

ние о вероятности — это просто ощущение, что случившееся должно непременно повториться.

— Мне думается, это письмо не вам, сэр, — сказал почтарь, не успев остановить Болдвуда. — Имени-то на нем нет, но похоже, это вашему пастуху.

Болдвуд спохватился и прочел написанное на конверте:

Новому пастуху

Ферма Уэзерберивозле Кэстербриджа

— Ах, как это я так ошибся! Письмо вовсе не мне. И не моему пастуху, а пастуху мисс Эвердин. Уж вы лучше вручите это сами Габриэлю Оуку и скажите, что я распечатал его по ошибке!

В эту минуту на самом верху склона, на фоне пылающего неба, показалась темная фигура, словно черный обгоревший фитиль в пламени горящей свечи. Фигура двинулась и начала быстро и решительно переходить с места на место, перенося какие-то плоские квадратные предметы, пронизанные солнечными лучами. Следом за нею двигалась маленькая фигурка на четырех ногах.

Высокая фигура был не кто иной, как Габриэль Оук, маленькая — его пес Джорджи; перемещаемые с одного места на другое квадратные

предметы — плетеные загородки из прутьев.

— Погодите, — сказал Болдвуд. — Вон он сам на холме. Я передам ему письмо.

Для Болдвуда это было уже не просто письмо, адресованное другому. Это был как нельзя более удобный случай. Он вышел на занесенное снегом поле, и по сосредоточенному выражению его лица видно было, что он что-то задумал.

Габриэль тем временем уже стал спускаться по правому склону холма. И красный солнечный свет брызнул в ту же сторону и уже коснулся видневшейся вдали солодовни Уоррена, куда, по-видимому, и направлялся пастух.

Болдвуд следовал за ним на некотором расстоянии.

Глава XV
Утренняя встреча. Еще одно письмо

Пурпурно-оранжевый свет, разгоравшийся снаружи, не проникал внутрь солодовни, которая, как всегда, была освещена соперничающим с ним светом тех же оттенков, исходившим из сушильной печи.

Солодовник, который спал всего несколько часов не раздеваясь, сидел сейчас возле небольшого столика о трех ножках и завтракал хлебом с копченой грудинкой. Он обходился без всяких тарелок, а отрезал себе ломоть хлеба и, положив его прямо на стол, клал на него кусок грудинки, на грудинку намазывал слой горчицы и все вместе сверху посыпал солью; затем все это нарезалось вертикально, сверху вниз, большим карманным ножом, который всякий раз ударялся лезвием о стол, отрезанный кусок подцеплялся на кончик ножа и отправлялся куда следовало.

Отсутствие зубов у солодовника, по-видимому, не отражалось на его способности перемалывать пищу. Он обходился без них уже столько лет, что перестал ощущать свою беззубость как недоста-

ток, ибо приобрел взамен нечто более удобное — твердые десны. Вот уж поистине можно было сказать, что, хотя солодовник и приближался к могиле, он приближался к ней подобно тому, как гипербола приближается к прямой, — чем ближе он к ней подвигался, тем расстояние между ними убывало все медленнее, так что в конце концов казалось сомнительным, сойдутся ли они когда-нибудь.

В зольнике сушильни пеклась кучка картофеля и кипел горшок с настоем из жженого хлеба, именуемым «кофеем», — даровое угощение для всякого, кто бы ни зашел, ибо солодовня Уоррена, за отсутствием в деревне трактира, была чем-то вроде деревенского клуба.

— А что, правду я говорил, говорил, погожий будет день, — глядь, ночью мороз и ударил.

Речь эта внезапно ворвалась в солодовню из только что открывшейся двери, и Генери Фрей, сбивая на ходу снег, налипший на башмаках, и топая, проследовал к сушильне. Солодовник, по-видимому, нисколько не был удивлен этим громогласным вторжением; здесь при встрече между своими часто обходились безо всяких словесных и прочих церемонных учтивостей, и сам он, пользуясь этой свободой нравов, не то-

ропился вступать в разговор. Он подцепил кусок сыра, наткнув его на кончик ножа, как мясник натыкает на вертел мясо.

На Генери было темное полусуконное пальто, одетое поверх его длинной рабочей блузы, которая внизу, примерно на фут, выглядывала широкой белой каймой; для глаза, свыкшегося с такой манерой одеваться, это сочетание казалось вполне естественным и даже нарядным; во всяком случае, оно было очень удобно.

Мэтью Мун, Джозеф Пурграс и другие конюхи и возчики вошли следом за ним с раскачивающимися в руках фонарями, из чего можно было заключить, что они завернули сюда прямо из конюшен, где они с четырех часов утра возились с лошадьми.

— Ну как она, без управителя-то обходится? — поинтересовался солодовник.

Генери покачал головой с горькой улыбкой, от которой вся кожа у него на лбу собралась складками между бровями.

— Ох и наплачется она, и еще как наплачется, — сказал он. — Бенджи Пенниуэйс был, конечно, негодный управитель, нечестный человек, сущий Иуда Искариот. — Он умолк и покачал головой из стороны в сторону. — Вот уж не думал я, за мое

старанье, никак не ждал.

Эти загадочные слова были восприняты всеми как горький вывод из каких-то мрачных рассуждений, которые Генери вел сам с собой, молча покачивая головой; на лице его тем временем сохранялось скорбное выражение отчаяния, словно Генери приберегал его для того, что он еще собирался сказать.

— Развалится все, и нам конец будет, или уж я ничего не понимаю в господских делах! — вырвалось у Марка Кларка.

— Упрямство девичье, вот оно что, ничьих советов слушать не желает. Упрямством да суетностью человек своих самых верных помощников со свету сживает. О господи! Как подумаю об этом, душа надрывается, ну прямо места себе целый день не нахожу.

— Это верно, Генери, я вижу, как ты изводишься, — глубокомысленно подтвердил Джозеф Пурграс, скривив губы в жалостливую усмешку.

— Не всякому мужчине такую Бог голову дал, даром что на ней чепец, — сказал Билли Смолбери, который только что ввалился, неся впереди себя свой единственный зуб. — И за словом в карман не лезет, и умом где надо пораскинет. Что, не правду я говорю?

— Оно, может, и правда, но без управителя… а ведь я-то заслужил это место! — возопил Генери и с видом непризнанного гения скорбно уставился на рабочую блузу Билли Смолбери, словно дразнившую его видением прекрасного, несбывшегося будущего. — Ну что ж, видно, такова судьба. Кому что на роду написано, а Святое Писание — не про нас; ты вот делаешь добро, а награды за свои добрые дела — тебе нет, и не жди, что тебя вознаградят по заслугам, нет, такая уж наша участь, обман один.

— Нет, нет, в этом я с тобой согласиться не могу, — запротестовал Марк Кларк. — Господь Бог — он справедливый хозяин.

— Оно значит, как говорится, по работе и плата, — поддержал Джозеф Пурграс.

В наступившем вслед за этим молчании Генери, словно в антракте, начал тушить фонари, в которых сейчас, при ярком дневном свете, отпала надобность даже и в солодовне с ее единственным крошечным оконцем.

— Дивлюсь я на нее, — промолвил солодовник, — и на кой это фермерше понадобились какие-то там клавикорды, клавесины, пиянины или как их там называют. Лидди говорит, что она себе этакую новую штуку завела.

— Пианину?

— Да. Похоже, стариковские дядюшкины вещи для нее нехороши. Говорят, все новое завела. И тяжелые кресла для солидных, а для молодых, кто потоньше, легкие, плетеные стулья; и часы большие, вроде как башенные, на камин ставить.

— А картин сколько, и все в богатых рамах! И скамьи мягкие, чтобы прилечь где, ежели кто выпьет сильно, — подхватил Марк Кларк, — все-то сплошь конским волосом набитые, и подушки на них с каждого бока, тоже из волоса.

— А еще зеркала для жеманниц да книжки блажные для бесстыжих.

Снаружи послышались громкие, скрипящие шаги; дверь приоткрылась, и кто-то, не входя, крикнул:

— Люди добрые, найдется у вас здесь место ягнят новорожденных притулить?

— Тащи, пастух, найдется, — ответили все хором.

Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену и вся сверху донизу содрогнулась от толчка.

На пороге появился Оук, от него так и валил пар; он был в своей рабочей блузе, подпоясанной кожаным ремнем, ноги его до самых лодыжек

были обвязаны жгутами соломы для защиты от снега, четыре ягненка, перекинутые через плечи, висели на нем в самых неудобных позах, и весь он казался воплощением здоровья и силы; следом за ним важно выступал пес Джорджи, которого Габриэль успел перевезти из Норкомба.

— Добрый день, пастух Оук, ну как у вас, позвольте спросить, нынешний год ягненье-то идет? — осведомился Джозеф Пурграс.

— Хлопотно очень, — отвечал Оук. — Вот уж две недели, как я по два раза на дню до нитки насквозь промокаю то под снегом, то под дождем. А нынче ночью мы с Кэйни и вовсе глаз не сомкнули.

— А правду говорят, будто двойняшек много?

— Да, я бы сказал, чересчур. Такой в этом году с ягнением ералаш, — коли так и дальше пойдет, боюсь, что оно и к Благовещенью не кончится.

— А прошлый год, помнится, на мясопустное воскресенье уже все кончено было, — заметил Джозеф.

— Давай сюда остальных, Кэйни, — сказал Габриэль, — да беги к маткам. Я мигом приду.

Кэйни Болл, парнишка с веселой рожицей и вечно открытым маленьким, пухлым ртом, вошел, положил на пол двух ягнят и тут же исчез.

Оук снял висевших на нем ягнят с неестественной для них высоты, завернул их в сено и положил возле печки.

— Вот жаль, нет у нас здесь шалаша для новорожденных, как был у меня в Норкомбе. А тащить таких, чуть живых, в дом — Божье наказание. Если бы не ваша солодовня, хозяин, ну право, не знал бы, куда деваться в такой мороз. А вы как сами-то себя нынче чувствуете, друг-солодовник?

— Да ничего, не жалуюсь, не болею, вот только разве что не молодею.

— Понятно.

— Да вы присаживайтесь, пастух, — предложил древний служитель солода. — Ну как там в нашем старом Норкомбе, что вы там видели, когда за своим псом ездили? Я бы и сам не прочь повидать родные края; да ведь из тех, кого я знал, верно, души живой не осталось.

— Пожалуй, что так. С тех пор там сильно все изменилось.

— А что, правду говорят, будто заведение Дикки Хилла, деревянный-то дом, где он сидром торговал, совсем снесли?

— Да, давным-давно, и коттедж Дика тоже, что повыше стоял.

— Вот оно как!

— А старую яблоню Томпкинса выкорчевали, ту самую, которая одна две бочки сидра давала.

— Выкорчевали? Ну что ты скажешь! Муторные времена пошли, ох, муторные!

— А помните тот старый колодец, что посреди площади стоял, из него теперь такую чугунную колонку с насосом сделали, а внизу этакий сток с желобом из цельного камня.

— Подумать! Как все меняется, и народ совсем другой пошел, чего только не наглядишься! Да и здесь у нас тоже. Вот они, стало быть, сейчас толковали, какие наша хозяйка-то чудеса творит.

— Что это вы про нее такое судачите? — круто повернувшись к компании, вспылил Оук.

— Да ведь это все наши папаши косточки ей перемывают, горда, дескать, да суетна не в меру. А я говорю, пусть себе вволю потешится! Ну что, в самом деле, с этаким-то личиком — да я бы на ее месте, эх, что говорить, — губки-то, что твои вишенки.

И галантный защитник, Марк Кларк, вытянув собственные губы, издал всем хорошо знакомый аппетитный звук.

— Вот что, Марк, — внушительно сказал Габриэль, — советую вам запомнить: никаких этих ваших балагурств, причмокиваний да сюсюка-

ний я насчет мисс Эвердин не потерплю. Чтобы этого больше не было. Слышите?

— Да я со всем моим удовольствием, мне что, мое дело сторона, — кротко отвечал мистер Кларк.

— Так это вы, значит, здесь прохаживались на ее счет? — повернувшись к Джозефу Пурграсу, грозно спросил Оук.

— Нет, нет, я ни слова, я только всего и сказал: порадуемся, что такая, а не хуже, больше я ничего не говорил, — дрожащим голосом испуганно оправдывался Джозеф и весь даже покраснел от волненья. — А Мэтью только начал…

— Что вы такое говорили, Мэтью Мун? — спросил Оук.

— Я? Да я в жизни червяка не обижу, не то что кого, простого червяка дождевого, — тоже, видимо, струхнув, жалобно сказал Мэтью Мун.

— Однако кто-нибудь да говорил; ну, вот что, други мои. — И Габриэль, этот на редкость спокойный человек, удивительно мягкого и доброго нрава, внезапно с полной наглядностью дал понять, что в случае надобности он может действовать круто и решительно. — Видите этот кулак? — сказал он, и с этими словами он опустил свой кулак, чуть поменьше размером, чем добрый

каравай хлеба, на самую середину небольшого стола, за которым сидел солодовник. — Всякий, кто посмеет хулить нашу хозяйку, как только я прослышу об этом… — (тут кулак оторвался от стола и снова опустился со стуком, — так Тор, прежде чем пустить в ход свой молот, примеривает, хорошо ли он бьет), — отведает его у меня, как пить дать, или провалиться мне на этом самом месте.

На всех лицах явно изобразилось, что они отнюдь не желают ему никуда проваливаться, а, напротив, очень жалеют, что побудили его прибегнуть к такой угрозе, и Марк Кларк даже крикнул:

— Правильно, правильно, вот и я то же говорю.

А пес Джорджи, слыша сердитый голос пастуха, поднял голову и, хоть он не все понимал по-английски, грозно заворчал.

— Да полно вам, пастух, зачем же так все близко к сердцу принимать, — промолвил Генери с кротостью и благоволением истинного христианина.

— А мы слышали, пастух, про вас все говорят, уж такой-то добрый да умный человек, — робко сказал Джозеф Пурграс, с опаской выглядывая

из-за ложа солодовника, куда он незаметно убрался подальше от греха. — Великое это дело умным быть, — добавил он, сопровождая свои слова жестом, рисующим нечто возвышенное, умственное, а не грубо телесное. — Всякому лестно, правда ведь, добрые люди?

— Еще бы, — подхватил Мэтью Мун и с робким смешком повернулся к Габриэлю, словно желая показать свое дружелюбие.

— Кто это говорит, что я умный? — удивленно сказал Оук.

— Слухом земля полнится, — поспешно ответил Мэтью.

— А мы слышали еще, будто вы время по звездам можете сказать, не хуже чем мы по солнцу да по луне. Это правда, пастух?

— Да, могу немножко, — без всякого энтузиазма подтвердил Оук.

— А еще говорят, будто вы солнечные часы сделать можете и печатными буквами любое имя написать на фургоне либо на повозке, и не хуже, чем на заказной дощечке получается, со всякими загогулинами да разводами. Как это замечательно для вас, что вы такой умный. Вот Джозефу Пурграсу до вас случалось надписывать фургоны фермера Эвердина, так он, бывало, всякий раз

путается, не помнит, куда Д, а куда Е повернуть? Ведь правда, Джозеф?

Джозеф ожесточенно затряс головой в подтверждение того, что он действительно никак не может этого запомнить.

— И вот так у него и получалось наоборот, а, Джозеф?

И Мэтью, вынув из-за пояса кнут, начертил ручкой на полу «Джэймс».

— А фермер Джеймс, как увидит свое имя задом наперед вывороченное, так ну браниться, сколько раз он, бывало, тебя ослом обзывал, а, Джозеф?

— Да, было дело, — грустно согласился Джозеф, — только разве моя в том вина, когда эти чертовы буквы никак не запомнятся, куда у них закорючки повернуты, вперед либо назад. А память у меня всегда слабая была.

— Для вас это должно быть особенно чувствительно, Джозеф, потому как на вас и без того такая напасть.

— Что ж, на то воля Провиденья, а я и за то Бога благодарю, что хуже со мной чего не стряслось. А что до нашего пастуха, так я прямо скажу, вот кого следовало хозяйке в управители-то назначить, вы для этого как раз подходящий человек.

— Не скрою, я и сам думал, не назначит ли она меня на это место, — чистосердечно признался Оук. — По правде сказать, я на это надеялся. Но с другой стороны, ежели мисс Эвердин хочется самой у себя управителем быть, это ее право; ее право и меня держать в пастухах. И только. — Оук тяжело вздохнул и, грустно уставившись в раскалившийся зольник, погрузился в какие-то невеселые размышления.

Живительный жар печки начал понемножку согревать почти безжизненных ягнят; они стали блеять и резво зашевелились на сене, по-видимому только сейчас ощутив факт своего появления на свет. Вскоре они уже все блеяли хором; тогда Оук вытащил из печки стоявшую с краю кружку с молоком, достал из кармана своей блузы маленький чайник, налил в него молока и, отделив от этих беспомощных созданий тех, кого не предполагалось вернуть маткам, стал учить их пить из носика, что они тут же с необычайным проворством усвоили.

— Я слышал, будто она даже не позволяет вам брать себе шкуры павших ягнят, — возвращаясь к прежнему разговору, заметил Джозеф Пурграс, следивший за всеми операциями Оука со свойственным ему меланхолическим видом.

— Я их не беру, — коротко ответил Габриэль.

— Ну это уж несправедливо, нет, вовсе несправедливо с вами здесь обходятся, — продолжал Джозеф, надеясь залучить Оука на свою сторону, чтобы и он тоже присоединился к его сетованиям. — Должно быть, она что-то против вас имеет.

— Да нет! — поспешно оборвал его Габриэль и, не удержавшись, вздохнул, конечно не оттого, что ему не доставались шкуры ягнят.

Тут, прежде чем его собеседник успел что-либо возразить, в дверях выросла какая-то тень, и Болдвуд, дружески и покровительственно кивая на ходу направо и налево, вошел в солодовню.

— А, Оук, я так и думал, что вы здесь, — сказал он. — Мне только что встретилась почта, минут десять тому назад, и почтарь сунул мне в руку письмо, а я распечатал его, не поглядев на адрес. По-видимому, это вам. Простите меня, пожалуйста, что так вышло.

— Ничего, мистер Болдвуд, не извольте беспокоиться, — с готовностью отвечал Габриэль. У него на всем свете не было никого, с кем бы он вел переписку, и неоткуда было получить такого письма, которого нельзя было бы показать всему приходу.

Он отошел в сторону и стал читать письмо,

написанное незнакомым почерком.

Дорогой друг, не знаю Вашего имени, но надеюсь, что до Вас дойдут эти строки, в которых я премного благодарю Вас за Вашу доброту ко мне в тот вечер, когда я, не подумавши, сбежала из Уэзербери. Возвращаю Вам также деньги, которые задолжала Вам, и прошу простить, что не могу принять их от Вас в дар. Все кончилось счастливо, и я рада, что могу Вам открыться, что я выхожу замуж за молодого человека, который за мной ухаживал; это сержант Трой из драгунского полка, который сейчас квартирует в этом городе. Я знаю, что ему было бы неприятно, если бы я от кого-нибудь приняла что-либо иначе как в долг, потому как это очень достойный и высокопорядочный человек, и даже могу Вам сказать, человек благородного происхождения.

Я буду Вам очень обязана, дорогой друг, если Вы до поры до времени никому не скажете об этом письме. Мы хотим преподнести сюрприз всем в Уэзербери, приехать сюда уже законными супругами. Я даже краснею, говоря об этом почти незнакомому человеку. Сержант родом из Уэзербери. Спасибо Вам еще раз за Вашу доброту.

С самыми искренними пожеланиями

Фанни Робин.

— Вы не заглянули в письмо, мистер Болдвуд? Советую вам прочесть, — сказал Габриэль. — Я знаю, вы интересуетесь судьбой Фанни Робин.

Болдвуд взял письмо и, прочитав его, явно расстроился.

— Ах, Фанни, бедняжка Фанни! Счастливая развязка, то, о чем она так уверенно пишет, еще не наступила и, следовало бы ей об этом знать, может, еще и не наступит. И она даже не дает своего адреса.

— А что это за человек сержант Трой? — спросил Габриэль.

— Гм... Боюсь, что он не из тех людей, на кого при такого рода обстоятельствах действительно можно положиться, — пробормотал фермер, — хотя он смышленый малый и не лишен способностей. Мать его была француженка, гувернантка, и ходили слухи, что покойный лорд Сиверн был с нею в тайной связи. Потом она вышла замуж за бедного здешнего доктора, и вскоре у нее родился ребенок; пока они регулярно получали какие-то деньги, все шло хорошо, но, к несчастью для мальчика, его покровители и друзья умерли; он поступил на службу в контору поверенного в Кэстербридже младшим клерком. Мог бы со временем продвинуться и занять неплохое

положение; но он прослужил недолго, дернула его нелегкая записаться в солдаты. Я, знаете ли, очень сомневаюсь, что бедняжке Фанни удастся преподнести нам сюрприз, о котором она здесь пишет, очень сомневаюсь. Ах, глупая девчонка! Глупая!

Дверь снова шумно распахнулась, и в солодовню вбежал совершенно запыхавшийся Кэйни Болл. Из его широко открытого красного рта, похожего на круглый конец раскрашенной детской дудки, дыханье вырывалось с хрипом, к тому же он еще закашлялся, и все лицо у него страшно напружилось и покраснело.

— Что ты, Кэйни, зачем ты всегда летишь сломя голову, так что потом не отдышишься, — строго сказал Оук. — Сколько раз я тебе говорил…

— Ох, я хо-хотел передохнуть, да не в то горло попало, вот, вот и закашлялся. Кха, кха!

— Ну что ты прибежал?

— Я бежал сказать, чтобы вы скорее шли, пастух Оук, — сказал юный подпасок, привалившись к косяку двери всем своим мальчишеским тельцем. — Еще две матки близнят принесли, вот что.

— Ах вот какое дело, — вскричал Оук, вскакивая и сразу выбрасывая из головы все мысли о

бедной Фанни. — Ты молодец, Кэйни, что сразу прибежал за мной; не сегодня завтра получишь от меня в награду большой кусок сливового пудинга. Но, прежде чем идти, Кэйни, подай-ка мне сюда горшок со смолой, мы переметим ягнят, и с этим будет покончено.

Оук вытащил из своего необъятного кармана железное клеймо, окунул его в горшок и, приложив по очереди к заду каждого из ягнят, отпечатал на них инициалы властительницы своих дум «Б. Э.», буквы, которые для всех живущих в округе означали, что эти овцы отныне являются собственностью не кого иного, как фермера Батшебы Эвердин.

— Ну, Кэйни, забирай теперь, клади на плечи своих двух, и пошли. До свиданья, мистер Болдвуд.

Пастух взвалил на себя четыре маленьких туловища и шестнадцать ног и исчез, скрывшись за домом, откуда шла тропинка к загону. Ягнята были теперь гладкие, окрепшие, и на них приятно было смотреть, не то что полчаса тому назад, когда они находились в полумертвом состоянии и еще неизвестно было, выживут ли они.

Болдвуд пошел было вслед за пастухом вверх по склону, но по дороге заколебался и повернул

назад. Потом, видимо окончательно решившись, снова повернул и вскоре нагнал его. Подойдя к ложбине, где был устроен загон, фермер достал из кармана записную книжку, открыл ее и, держа открытой в руке, подошел к Оуку. Сверху, на самом виду, в книжке лежало письмо Батшебы.

— Вот что я хотел спросить вас, Оук, — сказал он с деланой небрежностью, — не знаете ли вы, чей это почерк?

Оук заглянул в книжку и, весь вспыхнув, сразу ответил:

— Мисс Эвердин.

Он покраснел просто оттого, что произнес вслух Ее имя. Но вдруг у него мелькнуло какое-то смутное подозрение, и сердце у него упало. Письмо, очевидно, было анонимное, иначе зачем бы было спрашивать!

Болдвуд, видя замешательство Оука, почувствовал себя несколько неловко. Люди, легко уязвимые, всегда готовы, чуть что, упрекать себя, вместо того чтобы спокойно разобраться, в чем дело.

— Я ведь без всякого подвоха спросил, — сказал он и тут же с необыкновенной горячностью, в которой было даже что-то нелепое, стал объяснять, что означает шутливое письмо, которое

посылают на Валентинов день. — Вы понимаете, ведь на это, собственно, и бьют, чтобы заставить человека узнавать стороной. В этом же вся и штука. — При этом у него было такое напряженное и взволнованное лицо, как если бы он сказал не «штука», а «мука».

Расставшись с Габриэлем, этот одинокий, замкнутый человек вернулся к себе домой завтракать, пристыженный и огорченный тем, что он своими лихорадочными расспросами позволил незнакомому человеку заглянуть в свой внутренний мир. Он снова поставил перед собой письмо, прислонив его к часам на камине, и уселся подумать над тем, как следует все это понимать после того, что он узнал от Габриэля.

Глава XVI
Всех Святых и Всех Усопших

В один из будничных дней, утром, в старой замшелой церкви Всех Святых, в маленьком казарменном городке, о котором говорилось выше, небольшая кучка прихожан, главным образом женщин и девушек, собравшихся перед самым амвоном, поднялась с колен по окончании обедни. Так как проповеди в этот день не было, они уже думали расходиться, как вдруг внимание всех привлекли громкие, молодцеватые шаги. К звуку этих шагов примешивался еще какой-то необычный для церкви звук — бряцание шпор. Все повернули головы к главному проходу. Молодой военный в красной форме кавалериста, с тремя нашивками сержанта на рукаве, шел по проходу к алтарю, стараясь не выдавать своего смущенья, которое тем не менее явно обнаруживалось и в подчеркнуто твердой походке, и в напряженно-решительном выражении, застывшем на его лице.

Щеки его слегка покраснели, когда он проходил под устремленными на него справа и слева

любопытными женскими взглядами, но, поднявшись на возвышение, он не замедлил шага и остановился только у самого алтаря. Минуты две он стоял там совсем один.

Наконец священник, служивший обедню и еще не успевший снять с себя облаченья, увидел его и прошел с ним вглубь алтаря. Они о чем-то поговорили шепотом, потом священник поманил причетника, который, в свою очередь, позвал шепотом какую-то пожилую женщину, по-видимому свою жену, и она тоже подошла к алтарю.

— Это свадьба, свадьба, — зашептали, оживившись, прихожанки. — Давайте останемся.

Большинство снова уселись.

Сзади послышался какой-то шум и скрежет, и кое-кто из молодых обернулся. Из западной стены башни с внутренней стороны выдвинулся грибок с фигуркой, под которой висел маленький колокол, — механическая фигурка приводилась в движение тем же часовым механизмом, который заставлял бить большой башенный колокол. Башня отделялась от церкви глухой решеткой, и дверца ее обычно бывала закрыта во время службы, так что движения этого причудливого механизма из церкви не было видно. Но сейчас дверца была открыта, и многие успели увидеть,

как выскочившая фигурка дважды ударила по колоколу и снова скрылась, а звонкие удары разнеслись по всей церкви.

Большой колокол пробил половину двенадцатого.

— Где же невеста? — шепотом спрашивали одна у другой прихожанки.

Молодой сержант стоял не двигаясь, словно он и сам окаменел среди окружавших его каменных колонн. Безмолвный, неподвижный, он стоял спиной к прихожанам, повернувшись на юго-восток.

По мере того как проходили минута за минутой и никто не появлялся, все словно застыли в ожидании, и тишина становилась все более ощутимой. Снова раздался железный визг, выскочила механическая фигурка, отбила три четверти и с таким же грохотом исчезла. На этот раз всех это как-то резнуло и многие даже вздрогнули.

— Странно все-таки, куда же это невеста запропастилась? — спросил кто-то громким шепотом.

Томительное ожидание, в котором все пребывали, вскоре стало прорываться в громком покашливании и шарканье ногами. Наконец кто-то захихикал. Но сержант даже не пошевелился. Он стоял, повернувшись лицом на юго-восток,

прямой, как колонна, с шапкой в руках.

Минута проходила за минутой. Нервное напряжение среди женщин стало ослабевать, смешки и хихиканье раздавались все чаще. Потом вдруг наступила мертвая тишина. Все замерли в ожидании развязки. Многим, вероятно, случалось наблюдать, как быстро летит время, когда часы отбивают каждую четверть. Трудно было поверить, что механический человечек не сбился со счета, когда он опять с громким хрипеньем выскочил со своим грибком и судорожно ударил четыре раза. И всем показалось, что его уродливая рожица исказилась ехидной усмешкой и что-то злорадное было в его подергиваниях. Затем послышались глухие отдаленные удары колокола — это часы на башне пробили двенадцать. Женщины были потрясены, и теперь уже никто не хихикал.

Священник прошел в ризницу, и причетник исчез. Сержант все еще стоял, не оборачиваясь; все женщины, собравшиеся в церкви, жаждали посмотреть на его лицо, и он, по-видимому, сознавал это. Наконец он повернулся и решительно зашагал к выходу, сжав губы, ни на кого не глядя, словно презирал их всех. Двое сгорбленных, беззубых стариков-нищих переглянулись

и хихикнули ему вслед, в сущности вполне безобидно. Но этот старческий смех в стенах церкви прозвучал как-то зловеще.

Перед церковью на выложенной плитами небольшой площади лежали живописные тени от сгрудившихся кругом старинных деревянных домов. Молодой человек, выйдя из церкви, пошел наперерез через площадь и на полдороге встретился с молоденькой женщиной. По ее взволнованному лицу видно было, что она в страшном смятении, но при виде сержанта она остановилась как вкопанная и словно помертвела от ужаса.

— Так… — сказал он с едва сдерживаемым бешенством, глядя на нее в упор.

— О, Фрэнк, я ошиблась! Я думала, церковь Всех Святых это та, что со шпилем, и я была у входа ровно в половине двенадцатого, как ты сказал; я ждала до без четверти двенадцать, и тут уж спросила и узнала, что это церковь Всех Усопших. Ну, я конечно испугалась, но не очень, потому что я подумала, что можно ведь и завтра.

— Дура! Выставить меня таким остолопом! Ну что с тобой говорить…

— Так, значит, завтра, Фрэнк? — растерянно спросила она.

— Завтра! — Он грубо захохотал ей в лицо. — Нет, хватит с меня такого удовольствия надолго, можешь быть уверена.

— Но как же так, — жалобно пролепетала она срывающимся голосом, — что же я такого страшного сделала, что ошиблась! Ну скажи, дорогой Фрэнк, когда же это будет?

— Когда? А бог его знает! — насмешливо бросил он и, повернувшись, быстро зашагал прочь.

Глава XVII
На хлебном рынке

В субботу Болдвуд, как обычно, был в Кэстербридже на хлебном рынке, когда возмутительница его покоя появилась в поле его зрения. Адам проснулся от своего глубокого сна, открыл очи — перед ним была Ева. Фермер собрал все свое мужество и в первый раз по-настоящему устремил на нее взгляд.

Материальные причины и вытекающие из них эмоциональные следствия не укладываются в математические уравнения. Прибегая к каким-нибудь средствам, чтобы вызвать движение душевного порядка, можно получить такие неслыханные результаты, что причина по сравнению со следствием окажется до нелепости ничтожной. Когда женщина подчиняется какому-то капризу или прихоти, то по свойственному ей легкомыслию или какому-нибудь другому недостатку она упускает это из вида. Так вот и случилось с Батшебой, она никак не ожидала того, с чем ей пришлось столкнуться в этот день.

Болдвуд смотрел на нее не украдкой, не кри-

тическим или оценивающим взглядом, нет, он уставился на нее, как на какое-то чудо, как жнец на поле глядит во все глаза на проносящийся мимо поезд, нечто настолько чуждое ему, что с трудом доступно его пониманию. Женщины для Болдвуда были не чем-то сосуществующим с ним в обязательном порядке вещей, а неким феноменом, отдаленным на громадное расстояние, вроде комет, — об их строении, происхождении, движении так мало известно, что даже не приходит в голову задумываться, вращаются ли они по таким же неизменным геометрическим орбитам, подчиняющимся тем же законам, что и его собственная земная, или носятся беспорядочно, как это кажется, когда глядишь.

Он смотрел и видел ее черные волосы, правильные черты, точеный профиль, округлый подбородок, шею. Потом он увидел сбоку опущенные веки, глаза, ресницы, изящную форму уха. После этого он разглядел ее фигуру, юбку, все вплоть до башмаков.

Глазам Болдвуда она казалась прелестной, но он не был уверен, так ли это, как ему кажется, потому что может ли быть, чтобы эта мечта во плоти, если она так прекрасна, как ему представляется, могла бы находиться здесь, не вызывая бурного

восхищения мужчин, расспросов и любопытства, которое, кстати сказать, проявлялось достаточно заметно. Насколько он мог судить — ни природа, ни искусство не могли бы придать большей красоты этому единственному совершенному из множества несовершенных созданий. Сердце его заговорило. Не следует забывать, что Болдвуд, несмотря на свои сорок лет, никогда не смотрел ни на одну женщину внимательным, изучающим взглядом; они как бы всегда были для него не в фокусе и не задевали ни одного из его чувств.

Правда ли, что она красавица? Он все еще никак не мог решиться поверить самому себе. Он украдкой наклонился к соседу и спросил его шепотом:

— А что, мисс Эвердин считается красивой?

— О да! Вы помните, когда она появилась первый раз, все только на нее и смотрели. На редкость красивая девушка, ничего но скажешь.

Когда мужчина слышит похвалы женщине, в которую он влюблен или даже только близок к тому, чтобы влюбиться, он обнаруживает удивительную доверчивость. Слово любого ребенка приобретает для него значимость академического суждения. Болдвуд был удовлетворен.

И вот эта очаровательная женщина так-таки

и сказала ему: «Женись на мне». Чем вызван такой странный поступок? Слепота Болдвуда, не видевшего разницы между признанием того, что напрашивается само собой, и измышлением чего-то, что отнюдь не напрашивается, была вполне под стать неосмотрительности Батшебы, не задумывавшейся над тем, что какой-нибудь пустяк может привести к серьезным последствиям.

Она в эту минуту спокойно заключала сделку с каким-то бойким молодым фермером и подводила итог счета с таким хладнокровием, как если бы перед ней было не живое лицо, а бухгалтерская книга. Было совершенно очевидно, что такой человек для женщины с запросами Батшебы не представляет собой ничего интересного. Но Болдвуд почувствовал, как его всего бросило в жар от внезапно охватившей его ревности. Он впервые заглянул «в тот страшный ад, где мучится влюбленный». Первым его побуждением было пойти, втиснуться между ними. Это можно было сделать только одним способом — спросить у нее образцы ее зерна. Болдвуд откинул эту возможность. Он не мог обратиться к ней с этим — завести с ней разговор о купле-продаже значило бы осквернить красоту, и его представление о ней никак не допускало этого.

Батшеба все это время прекрасно видела, что наконец-то ей удалось покорить эту величественную крепость. Она чувствовала, что глаза его неотступно следуют за ней, за каждым ее шагом. Это была победа; и достанься она сама собой, она была бы для нее еще слаще из-за несносного промедления. Но Батшеба достигла ее, введя его в заблуждение своим дурачеством, и поэтому она утратила для нее свою цену, как какой-нибудь искусственный цветок или красивое восковое яблоко.

У Батшебы было достаточно здравого смысла, и она могла рассуждать трезво, когда не были задеты ее чувства, поэтому она винила себя и Лидди и искренне раскаивалась, что допустила эту шутку и нарушила спокойствие человека, которого она слишком уважала, чтобы позволить себе умышленно его дразнить.

Она в этот день уже почти решила, что при первом же удобном случае извинится перед ним. Но ее пугала мысль, как бы не наделать хуже, — если он узнает, что она хотела посмеяться над ним, он не поверит ее извинениям и только еще больше обидится, а если он думает, что это попытка завлечь его, то он сочтет это новым домогательством с ее стороны.

Глава XVIII
Болдвуд раздумывает. Раскаяние

Болдвуд был арендатором владения, носившего название Малое Уэзербери, и среди окрестных жителей в этом захолустном местечке считался чуть ли не аристократической особой. Приезжие горожане, люди светские, для которых город — это все, если им случалось задержаться на день, на два в этом захолустье, услыхав стук колес легкого экипажа, оживлялись, надеясь, что им повезет и они найдут здесь хорошее общество, может быть, скучающего в уединении лорда или, на худой конец, крупного помещика-сквайра, — но это оказывался всего только мистер Болдвуд, ехавший по своим делам. Потом они еще раз слышали стук тех же колес и снова загорались надеждой: и опять это был всего только мистер Болдвуд, возвращавшийся домой.

Его дом стоял особняком, отступя от дороги, а конюшни, которые для фермы то же, что очаг для жилья, находились за домом, скрытые снизу разросшимся лавровым кустарником. В полуоткрытую синюю дверь видны были сейчас крупы

и хвосты полдюжины сытых, резвых лошадей, стоявших в стойлах.

Человеку, глядевшему снаружи, они представлялись чередованием гнедых и пегих округлостей подковообразной формы наподобие мавританской арки, пересеченных в середине прямой линией хвоста; чуть подальше за этими округлостями, невидимые для человека, глядящего снаружи, были морды животных, громко размалывающие челюстями обильные порции овса и сена, необходимые для поддержания в должной норме вышеупомянутых округлостей и резвости. В самом конце конюшни, мелькая, как тень, метался в открытом стойле непривязанный жеребенок. Ровный шум жующих челюстей перебивался иногда шуршанием и скрипом веревки или стуком переступавших копыт.

Посреди конюшни, между крупами животных, прохаживался взад и вперед сам фермер Болдвуд. Это место было его прибежищем — здесь он был даятелем и отшельником; позаботившись о накормлении своих четвероногих слуг, он иногда задерживался здесь допоздна, шагая в глубоком раздумье до тех пор, пока лунный свет не начинал струиться в затканные паутиной окна или все кругом не погружалось в темноту. Здесь сейчас

его рослая, широкоплечая фигура казалась более внушительной, чем среди толпы и сутолоки хлебного рынка. Задумчиво шагая взад и вперед, он ступал уверенно, всей ступней; красивое, с бронзовым загаром, лицо было опущено, отчего стушевывалась резкая складка плотно сжатого рта и округлый, крутой подбородок. На высоком, гладком лбу четко проступали две-три тонкие горизонтальные линии морщин.

Жизнь Болдвуда текла довольно обыденно, но сам он был далеко не обыденный человек. В этом невозмутимом спокойствии, проявлявшемся и в его характере, и в его манере держать себя, которое прежде всего поражало всякого, кто наблюдал его со стороны, было что-то очень похожее на оцепенение опустошенной души, но, возможно, это было редкое состояние равновесия скрытых в нем огромных противоположных сил — положительных и отрицательных, — пребывающих в полном покое. Но едва только равновесие нарушалось, он сразу впадал в крайность. Стоило ему только поддаться какому-то переживанию, оно завладевало им целиком. Чувство либо властвовало над ним, либо не проявлялось вовсе. Оно пребывало в полном застое или бурлило, ему была чужда постепенность переходов. Оно могло

ранить его смертельно или не задеть вовсе.

В его характере не было никаких полутеней или слабо проявляющихся наклонностей к дурному или хорошему. Строго последовательный в своих действиях, непридирчивый в мелочах, он ко всему относился с неизменной серьезностью. Он не замечал нелепых сторон людского безрассудства, и если среди весельчаков и зубоскалов, которым вся жизнь представляется шуткой, он считался не компанейским человеком, — люди серьезного склада, люди, изведавшие горе, не избегали его общества. Он принимал всерьез все, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни, но если он и не проявлял интереса, когда что-либо совершавшееся на его глазах принимало комедийный характер, во всяком случае, он никогда не отмахивался, если дело принимало печальный или трагический оборот.

Батшебе и не снилось, что этот застывший темный грунт, куда она так беспечно кинула зернышко, был такой благодатной почвой, насыщенной тропическим зноем. Знай она, что сейчас переживает Болдвуд, она чувствовала бы себя страшно виноватой, и это навсегда осталось бы пятном на ее совести. А если бы она еще сознавала, какова сейчас ее власть над этим человеком

— что от нее одной зависит повернуть его судьбу к добру или злу, она пришла бы в ужас от такой ответственности. К счастью для ее спокойствия в настоящее время и к несчастью для будущего, она понятия не имела о том, что представляет собою Болдвуд. Да, по правде сказать, никто этого не знал; потому что, если и можно было строить какие-то догадки о его необузданности по старым, едва заметным следам, никто никогда не видел его в таком состоянии, которое могло оставить такие следы.

Фермер Болдвуд подошел к двери конюшни и устремил взгляд на расстилавшиеся вдали луга. За первым огороженным участком тянулась изгородь, и за нею лежал луг, принадлежавший ферме Батшебы.

Стояла ранняя весна — время, когда овец выпускают на подножный корм, когда они впервые лакомятся свежей зеленью и пасутся на лугу до тех пор, пока его не скосят. Ветер, который в течение нескольких недель дул с востока, внезапно переметнулся на юг; весна наступила сразу и сейчас была в самом разгаре. Это были вешние дни, когда, может быть, и впрямь пробуждаются дриады. Растительный мир начинает оживать, набухать, наливаться соками, и вот в полной

тишине пустующих садов и непроторенных рощ, где все, кажется, обессилело, оцепенело после долгого рабства в оковах, в плену у мороза, вдруг начинается какое-то движение, чувствуются потуги, толчки, дружные усилия — все разом, перед которыми мощные рывки кранов и блоков в шумных городах кажутся работой пигмеев.

Болдвуд, глядя на расстилающийся вдали луг, заметил там три фигуры. Это были мисс Эвердин, пастух Оук и Кэйни Болл. Едва только фигура Батшебы мелькнула перед ним, фермер весь просиял, как если бы она озарила его своим светом, как луна озаряет высокую башню. Внешность человека может быть для его души и скорлупой и вывеской, смотря по тому, как он настроен — замкнуто или чистосердечно-откровенно, погружен ли он в себя или склонен к излияниям. Лицо Болдвуда внезапно утратило свою обычную невозмутимость; по нему видно было, что он впервые живет сейчас вне своей скорлупы и очень остро ощущает ее отсутствие. Так оно всегда бывает с сильными натурами, когда они влюбляются.

Наконец он решил подойти к ней вот сейчас и прямо спросить.

Но полная отчужденность, в которой он по сво-

ей замкнутости пребывал в течение стольких лет, и выработавшаяся привычка не обнаруживать, не проявлять своих чувств оказали свое действие. Как замечалось не раз, причины возникновения любви в основе своей субъективны, и Болдвуд был живым подтверждением правильности этого положения. У него не было ни матери, которая могла бы быть предметом его обожания, ни сестры, к которой он мог бы относиться с братской нежностью, никаких мимолетных чувственных связей. Он был переполнен смешением всех этих непроявленных чувств, из которых, в сущности, и складывается подлинная любовь влюбившегося без памяти человека.

Он подошел к калитке изгороди, окружавшей луг. По ту сторону ее звонко журчали ручьи, бегущие по склону, а в небе заливались жаворонки, и негромкое блеяние овец сливалось и с тем и с другим. Хозяйка и пастух были поглощены сложной процедурой подмены ягненка, которого надо было приучить к другой матке; овце, у которой пал ягненок, подкладывается один из близнят от другой овцы. Габриэль снял шкуру с погибшего ягненка и, завернув в нее, как полагается, подменного ягненка, обвязывал его, чтобы она держалась, а Батшеба отодвинула загородку ма-

ленького загона из четырех плетеных решеток, куда надо было загнать матку с подкидышем, чтобы держать их там до тех пор, пока матка не привяжется к ягненку.

Когда со всем этим было покончено, Батшеба подняла глаза и увидела фермера у калитки, выглядывавшего из-за ветвей пышно распустившейся ивы. Габриэль, для которого лицо Батшебы было как «апрельский день, изменчивый, неверный», и он всегда замечал в нем малейшую перемену, увидел, как она вдруг вспыхнула, и сразу угадал, что ее смущение вызвано чем-то извне. Он посмотрел в ту же сторону и увидел Болдвуда.

Габриэль тут же сопоставил это с письмом, которое ему показывал Болдвуд, и заподозрил, что Батшеба ведет какую-то кокетливую игру, — затея началась с письма, и с тех пор это как-то продолжается, а он ничего не замечал.

Фермер Болдвуд, наблюдавший эту немую сцену, понял, что они обнаружили его присутствие, и, так как все чувства его были сейчас крайне обострены, это подействовало на него, как если бы ему прямо в лицо направили яркий сноп света. Он все еще находился по ту сторону изгороди и теперь пошел вдоль нее по дороге,

надеясь, что они, может быть, не догадаются, что он собирался войти в калитку. Он прошел мимо, пришибленный тем, что ничего не понимает, терзаемый сомнением, робостью и острым чувством стыда. Может быть, по ее лицу можно было прочесть, что она хочет его видеть, а может быть, нет, — женщина была для него закрытой книгой. Мудрствования этой эротической философии заключались, по-видимому, в скрытом значении самых, казалось бы, банальных жестов или слов. Каждый поворот головы, взгляд, возглас, интонация таили в себе нечто совсем непохожее на то, что они выражали явно, а он до сих пор никогда даже и не думал ни о чем подобном.

Что касается Батшебы, она отлично поняла, что фермер Болдвуд попал к ее калитке не потому, что он шел мимо или прогуливался от нечего делать. Взвесив все вероятности, она пришла к выводу, что причина его появления здесь она сама.

Она была очень встревожена тем, что такая ничтожная шальная искра оказалась способной разжечь столь буйное пламя. Батшеба не стала бы прибегать к уловкам с целью поймать жениха, и ей было вовсе не свойственно играть чувствами мужчин; если бы какой-нибудь блюститель нравов, наблюдавший за ней, сравнил ее с насто-

ящей кокеткой, он был бы чрезвычайно удивлен, обнаружив, что Батшеба, в сущности, совсем не кокетка, хотя со стороны ее легко можно было бы причислить к ним.

Она дала себе зарок, что никогда больше ни словом, ни взглядом не позволит себе нарушить спокойствие этого человека. Но зарок избегать зло редко дается прежде, чем зло успевает зайти так далеко, что его уже нельзя избежать.

Глава XIX
Мойка овец. Предложение

В конце концов Болдвуд решился пойти к Батшебе. Ее не оказалось дома. «Ну конечно», — прошептал он. Думая о Батшебе как о женщине, он упускал из вида всякие привходящие случайности, связанные с ее положением землевладельца, а именно что она как фермер, и не менее крупный фермер, чем он сам, может в это время года находиться на поле. В его состоянии и это, и многие другие упущения были вполне естественны, тем более принимая во внимание все обстоятельства. Они как бы помогали ему идеализировать предмет его любви: он видел ее только на расстоянии и случайно, он не встречался с нею нигде в обществе; видеть ее он привык — говорить с ней ему еще не случалось. Обыденная сторона ее жизни оставалась вне поля его зрения; всякие житейские мелочи, которые занимают такое большое место в повседневном существовании человека, в его делах, казались ему не тем, чем они были, по той простой причине, что ни он, ни она не видели друг друга дома, и едва ли Болдвуду

могло даже прийти в голову, что у нее могут быть какие-нибудь скучные домашние дела или что ей, как и всем на свете, случается быть в таком затрапезном виде, когда лучше не показываться на люди, чтобы, не дай бог, такой не запомнили. Поэтому в его воображении, окруженная ореолом, Батшеба вела какое-то обособленное существование, тогда как она жила и дышала одним с ним воздухом, — такое же обремененное заботами существо, как и он.

Май уже был на исходе, когда Болдвуд решил, что надо в конце концов перестать мучиться неизвестностью. Он уже к этому времени более или менее свыкся со своим состоянием влюбленного; его чувство теперь уже не столько изумляло, сколько постоянно терзало его, и ему казалось, что он готов на все, лишь бы не оставаться в неведении. Узнав, что ее нет дома, он спросил, где она, и, когда ему сказали, что она наблюдает за мойкой овец, он пошел на пастбище в надежде застать ее там.

Моечная запруда на луговине представляла собой большой круглый бассейн, выложенный кирпичом и наполненный прозрачной ключевой водой. Его зеркальная поверхность, отражающая ясное небо, видна была летящим птицам, навер-

но, на расстоянии нескольких миль — этакий сверкающий глаз циклопа на зеленом лице. Трава, подступавшая к самым краям бассейна, так разрослась в этом году, что это зрелище при всей его обыденности надолго оставалось в памяти. Быстрота, с какой растительность всасывала влагу из богатой сырой почвы, казалось, была заметна на глаз. За окраиной этого заливного луга расстилались пастбища, пересеченные холмами и оврагами, сплошь усеянными лютиками и ромашками. Река струилась плавно, беззвучная, как тень; покачивающийся камыш и осока, словно колеблющаяся ограда, высились на затопленном берегу. К северу от луга виднелись деревья с только что распустившимися нежными, клейкими листочками, еще не успевшими уплотниться и потемнеть от летнего солнца и зноя, и такими тонкими, что они казались желтыми рядом с зеленым и зелеными рядом с желтым. Из чащи этой листвы раздавались громкие голоса трех кукушек, далеко разносившиеся в тихом воздухе.

Болдвуд, поглощенный своими мыслями, спускался по склону, опустив голову, уставившись на носки своих сапог, замысловато разукрашенных желтой пыльцой лютиков. Приток реки протекал через бассейн у запруды; на двух проти-

воположных сторонах бассейна были устроены водостоки с затвором. Пастух Оук, Джан Когген, Мун, Пурграс, Каин Болл и еще несколько человек, собравшихся здесь, все были мокрые с головы до ног. Тут же около своей лошадки, накинув на руку повод, стояла Батшеба в новой изящной амазонке. Чуть поодаль в траве лежали бутылки с сидром. Когген и Мэтью Мун, стоя по пояс в воде у нижнего затвора, сталкивали в бассейн покорных овечек, а чуть подальше Габриэль, стоявший на краю бассейна, легонько нажимал на них сверху чем-то вроде клюки, когда они плыли мимо, так что они окунались с головой; этой же клюкой он помогал им выплывать, когда шерсть у них набухала от воды и они выбивались из сил. Их заставляли плыть против течения, чтобы всю смытую грязь уносило вниз, а выпускали у верхнего затвора. Кэйни Болл и Джозеф, совершавшие эту последнюю операцию, промокли, пожалуй, больше всех, если допустить, что это было возможно; они напоминали бронзовых дельфинов у фонтана — из каждой торчащей полы, из каждой складки их одежды струились ручейки.

Болдвуд подошел к бассейну и поздоровался с Батшебой с таким натянутым видом, что у нее невольно мелькнула мысль, что он никак не

рассчитывал встретить ее здесь, а просто пришел посмотреть на мойку овец; ей даже показалось, что он нахмурился и поглядел на нее с неодобрением. Она поспешила отойти и пошла по берегу реки. Не прошло и нескольких секунд, как она услышала сзади его шаги и почувствовала, как любовь настигает ее, словно насыщенный ароматом воздух. Вместо того чтобы обернуться и подождать, Батшеба пошла дальше сквозь заросли осоки, но Болдвуд, во-видимому, был настроен решительно и не отставал, и так они шли, пока не обогнули излучину реки. Здесь, хотя до них и доносились шумные всплески, крики и возгласы мойщиков, они были скрыты ото всех.

— Мисс Эвердин! — окликнул ее фермер.

Она вздрогнула, обернулась и промолвила:

— Добрый день!

В голосе его ей послышалось что-то совершенно непохожее на то, что она могла ожидать для начала. Тихий, преувеличенно спокойный, он вместе с тем звучал так многозначительно, что слова мало соответствовали тому, что выражал его голос. Молчание иной раз обладает удивительной силой — оно как бы становится вырвавшейся на свободу душой чувства, покинувшей свою оболочку, и тогда оно гораздо значительней, чем

слово. А бывает и так, что иной раз сказать мало — значит сказать больше, чем наговорить целую массу слов. Болдвуд только произнес ее имя и сказал все.

Подобно тому как до сознания внезапно доходит, что шум, который казался нам грохотом колес, на самом деле отдаленный раскат грома, так до сознания Батшебы дошло сейчас то, о чем она только догадывалась.

— Я слишком переполнен чувством… чтобы раздумывать, — сказал он с благородной простотой. — Я пришел сказать вам без обиняков. Жизнь стала мне не в жизнь с тех пор, как я увидел вас, мисс Эвердин, я пришел просить вас стать моей женой.

Батшеба старалась сохранить на своем лице полную невозмутимость — она только сжала губы, которые до этого были слегка приоткрыты.

— Мне сорок один год, — продолжал он. — Меня уже, наверно, считают закоренелым холостяком, и сам я себя таким считал. Я и в молодости никогда не думал о женитьбе, и в зрелые годы не строил никаких планов на этот счет. Но все мы, как видно, меняемся, и я изменился после того, как увидел вас. С некоторых пор я чувствую, и с каждым днем все сильней, что жить так, как

я жил до сих пор, плохо во всех отношениях. И что больше всего на свете я хочу, чтобы вы стали моей женой.

— Мистер Болдвуд, при всем моем глубоком уважении к вам, я не чувствую… это не то чувство, которое позволило бы мне принять ваше предложение, — запинаясь, пролепетала она.

Несомненное уважение, с которым она отнеслась к его словам, казалось, прорвало плотину, сдерживавшую до сих пор чувства Болдвуда.

— Без вас моя жизнь мне будет в тягость! — тихо промолвил он. — У меня только одно желание — чтобы вы были моей, чтобы вы позволили мне снова и снова повторять, что я люблю вас.

Батшеба промолчала, а лошадка, стоявшая у нее за плечом, словно почувствовав напряженность момента, перестала щипать траву и вскинула голову.

— Я думаю, я надеюсь, что вы немножко интересуетесь мной, хотя бы настолько, чтобы выслушать то, что я должен сказать.

Батшеба чуть-чуть было не спросила, почему это он так думает, но вовремя вспомнила, что она сама ввела его в заблуждение своей открыткой и что он говорит так не из самомнения, а оттого, что принял всерьез ее легкомысленную шутку.

— Если бы я умел выражаться учтиво и любезно, — несколько более спокойно продолжал фермер, — я бы постарался облечь мои бурные чувства в изящную форму, но у меня нет ни возможности, ни терпения научиться этому. Я так жажду, чтобы вы стали моей, что ни о чем другом и думать не могу; но я не посмел бы высказать вам всего этого, если бы вы не позволили мне надеяться.

«Опять эта шутка Валентинова дня! Ах, эта дурацкая открытка!» — каялась про себя Батшеба, не отвечая ни слова Болдвуду.

— Если вы способны полюбить меня, скажите «да», мисс Эвердин, если нет — не отнимайте у меня надежды.

— Мистер Болдвуд, мне очень больно, но я вынуждена сказать вам, что я ошеломлена, и я просто не знаю, как мне ответить вам, не уронив себя в ваших глазах. Я глубоко уважаю вас, но я могу только высказать то, что я чувствую, или, вернее, то, что я сознаю: боюсь, что, при всем моем уважении к вам, я не могу стать вашей женой. Вы такой высокодостойный джентльмен, я не подхожу вам, сэр.

— Но, мисс Эвердин…

— Я, я не думала… я знаю, что я не должна была

посылать вам эту открытку, простите меня, сэр, это была глупая выходка, которую ни одна уважающая себя женщина не могла бы себе позволить. Если вы только простите мне мое легкомыслие, обещаю вам, что я никогда…

— Нет, нет! Не говорите, что это легкомыслие! Позвольте мне считать это чем-то более серьезным, своего рода предвидением… предчувствием того, что вы могли бы полюбить меня. Это такая пытка, когда вы говорите, что сделали это по легкомыслию, — мне даже в голову не приходило предположить что-нибудь подобное, нет, я не в состоянии этого перенести. Ах, если бы я только знал, как завоевать вас! Но я не способен на это, я только могу просить вас согласиться быть моей. Если нет, если это неверно, что вы пришли ко мне сами, не зная почему, так же как я к вам, — мне нечего сказать.

— Я не влюблялась в вас, мистер Болдвуд, это я могу сказать наверняка. — И тут впервые за все время разговора легкая тень улыбки появилась на ее серьезном лице и сверкнувший на миг белый ряд зубов и дрогнувшие уголки тонко очерченных губ придали ей что-то жестокое, что никак не вязалось с ее мягким взглядом.

— Нет, но вы еще подумайте, со всей вашей

добротой и снисходительностью подумайте, может быть, вы еще согласитесь выйти за меня. Боюсь, я для вас слишком стар, но поверьте мне, я буду заботиться о вас больше, чем кто-либо другой, больше, чем любой мужчина вашего возраста. Я буду беречь и холить вас, как только могу, поверьте мне! У вас не будет никаких забот — никакие домашние дела не будут касаться вас, вы будете жить в полном довольстве, не зная никаких хлопот. Для молочной фермы наймем человека, который будет наблюдать за всем, — я могу себе это позволить, — вам даже не нужно будет ходить на пастбище, ни думать о сенокосе, ни беспокоиться о погоде во время уборки хлеба. Я привык к своей коляске, в ней ездили и мой отец и мать, но если она вам не нравится, я продам ее, и у вас будет собственный кабриолет и пара лошадок. У меня нет слов сказать вам, как вы мне дороги, дороже всего на свете, нет, этого даже никто и представить себе не может, один Бог знает, — вы для меня все.

Сердце Батшебы было юно и отзывчиво, оно прониклось глубоким сочувствием к этому замкнутому человеку, который сейчас говорил так бесхитростно.

— Не надо! Не говорите так! Это выше моих

сил сознавать, что у вас ко мне такое чувство, а я ничем не могу вам ответить. И я боюсь, что нас с вами увидят, мистер Болдвуд. Давайте оставим это. Я сейчас не в состоянии думать. Я никак не ожидала такого разговора. Ах, какая я гадкая, что заставила вас так страдать. — Она была потрясена и испугана его горячностью.

— Тогда скажите, что вы не отказываете мне. Не отказываете окончательно.

— Я ничего не могу с собой сделать. Ничего не могу вам ответить.

— Вы позволите мне возобновить этот разговор?

— Да.

— Позволите мне думать о вас?

— Разумеется, вы можете думать обо мне.

— И надеяться получить вашу руку.

— Да нет — не надейтесь! Идемте.

— Я приду спросить вас завтра.

— Нет, прошу вас. Подождите. Дайте мне время.

— Хорошо, я буду ждать, сколько хотите, — сказал он горячо и прочувственно. — У меня уже стало отраднее на душе.

— Нет, умоляю вас, не радуйтесь, если эта радость зависит от моего согласия. И не прини-

майте ничего близко к сердцу, мистер Болдвуд! Я должна подумать.

— Я буду ждать, — сказал он.

Она повернулась и ушла. Болдвуд как стоял, опустив глаза в землю, так и остался стоять не двигаясь, как человек, который вдруг потерял представление о том, где он и что с ним. Потом сознание действительности внезапно вернулось к нему с полной силой, как острая боль в ране, которую чувствуешь не сразу, не в тот момент, когда нанесен удар, и он быстро зашагал прочь.

Глава XX
Затруднительное положение. Они точат ножницы. Ссора

«Он такой бескорыстный, такой добрый, готов дать мне все, что я ни пожелаю», — раздумывала Батшеба.

Но фермер Болдвуд, какой бы он ни был на самом деле, добрый или совсем наоборот, в данном случае не проявил никакой доброты. Изысканнейшие дары самой идеальной любви — это не щедрость души, а потаканье самому себе.

Батшеба ничуть не была влюблена в Болдвуда, поэтому она могла не торопясь, спокойно обдумать его предложение. Здесь, в округе, многие женщины на ее месте, да, пожалуй, и рангом повыше, с радостью ухватились бы за такое предложение и тут же раззвонили бы о нем. Со всех точек зрения, будь то с общественной или с любовной, нельзя было и желать ничего лучшего — одинокой молодой девушке представляется возможность выйти замуж за такого солидного, обеспеченного, всеми уважаемого человека. Живет он по соседству, принят в хорошем об-

ществе, а уж о личных его качествах и говорить не приходится. Батшеба умела подавлять свои капризы и подчиняться доводам рассудка, и если бы ее прельщала мысль о замужестве, о чем она, признаться, вовсе не думала, то, рассудив хорошенько, она, конечно, не отказалась бы от такого брака. Если бы замужество было для нее целью — лучше Болдвуда нечего было бы и желать: она уважала его и даже была расположена к нему, но — она нисколько не нуждалась в нем.

Вообще говоря, обыкновенные мужчины и женщины, по-видимому, поступают так: мужчина берет женщину в жены из желания обладать ею, потому что без брака обладание невозможно, а женщина соглашается терпеть мужа, потому что без этого нельзя считаться замужней; та и другая сторона действуют совершенно одинаково, хотя и преследуют разные цели. Но здесь со стороны женщины побудительная причина отсутствовала. Кроме того, Батшеба еще не совсем свыклась со своим новым положением полновластной хозяйки дома и фермы, оно еще не утратило для нее своей новизны.

Однако на душе у нее было неспокойно, и это, несомненно, говорило в ее пользу, ибо очень немногие способны были бы беспокоиться на ее

месте. Помимо того что Батшеба находила разные разумные доводы, которыми она старалась побороть свое внутреннее сопротивление, она искренне считала, что, раз уж сама затеяла эту игру, надо честно идти до конца и нести ответственность за ее последствия. Но, несмотря на все это, внутреннее сопротивление оставалось. Она внушала себе, что с ее стороны будет неблагородно отказать Болдвуду, и тут же говорила себе, что она скорее умрет, но не выйдет за него замуж.

Батшеба была запальчива по натуре, но умела смотреть на вещи здраво. Елизавета по уму, Мария Стюарт по духу, она часто поступала в высшей степени рискованно, соблюдая при этом крайнюю осторожность. Ее рассуждения во многих случаях представляли собой прекрасно построенные силлогизмы; к сожалению, это всегда были только рассуждения. Она редко приходила к ошибочным умозаключениям, но, к несчастью, они-то чаще всего и претворялись в действие.

На другой день после предложения Болдвуда Батшеба, выйдя из дома, увидела в глубине сада Габриэля Оука, который точил ножницы для предстоящей стрижки овец. Кругом во всех коттеджах происходило примерно то же самое. Со всех концов селения далеко окрест разносился

мерный скрежет точильного колеса, словно в оружейной мастерской, готовящей оружие к походу. Мир и война братаются друг с другом в часы приготовлений — серпы, косы, садовые ножи и ножницы, так же как сабля, штыки и копья, должны быть заострены и отточены.

Кэйни Болл вертел ручку точила, и голова его мерно двигалась вверх и вниз с каждым поворотом колеса. Оук стоял в позе, несколько напоминавшей позу Амура, оттачивающего свои стрелы: он слегка наклонился вперед, чтобы покрепче нажимать на ножницы, и чуть покачивал головой из стороны в сторону, критически сжав губы и прищурившись.

Хозяйка подошла, остановилась и минуты две-три молча смотрела на них, потом сказала:

— Поди на нижний луг, Каин, и приведи гнедую кобылу. Я поверчу колесо. Мне надо поговорить с вами, Габриэль.

Каин убежал, и Батшеба взялась за ручку. Габриэль поднял на нее изумленный взгляд и тотчас же безучастным взором уставился на ножницы. Батшеба вертела колесо, а он правил ножницы.

Особенное движение, которое делаешь, когда вертишь колесо, обладает удивительной способностью притуплять сознание. Это своего рода та

же Иксионова кара, но в смягченном виде, она составила бы довольно мрачную главу в истории тюрем. Сознание мутится, голова становится тяжелой, центр тяжести тела словно постепенно перемещается и застревает свинцовым комком где-то между макушкой и надбровьем.

Батшеба, повернув ручку несколько десятков раз, почувствовала все эти неприятные симптомы.

— Повертите-ка лучше вы, Габриэль, а я подержу ножницы, — сказала она. — У меня голова кружится, я не могу говорить.

Габриэль стал вертеть колесо. Батшеба заговорила сначала несколько бессвязно, отвлекаясь то и дело необходимостью направлять ножницы, что требовало некоторой сноровки.

— Я хотела спросить вас, что — там вчера были какие-нибудь разговоры обо мне и мистере Болдвуде, когда мы с ним отошли за осоку?

— Были, — отвечал Габриэль. — Вы не так держите ножницы, мисс, — я знал, что у вас не выйдет сразу, вот как надо держать. — Он отпустил ручку колеса и, обхватив обе ее руки своими (как руку ребенка, когда его учат писать), зажал их вместе с ножницами. — Наклоняйте лезвие, вот так.

И согласно этим наставлениям, наставник в течение довольно долгого времени поворачивал руки и ножницы, крепко держа их в своих.

— Довольно! — вскричала Батшеба. — Отпустите мои руки. Терпеть не могу, когда меня держат. Вертите колесо.

Габриэль спокойно отпустил ее руки и стал вертеть колесо. Работа продолжалась.

— Должно быть, им это показалось странным?

— Не то чтобы странным, мисс…

— Что же они говорили?

— Что, должно быть, ваши имена, фермера Болдвуда и ваше, будут оглашены в церкви еще до конца года.

— Я так и поняла по их виду. Так вот, ничего этого нет. Надо же такую глупость выдумать; я хочу, чтобы вы опровергли это, за этим я сюда и пришла.

Габриэль слушал ее с грустным, недоверчивым видом, но недоверие уже вытеснялось чувством облегчения.

— Они, должно быть, слышали наш разговор, — продолжала она.

— Но как же так, Батшеба! — вскричал Оук и, бросив вертеть, уставился на нее с изумлением.

— Мисс Эвердин, вы хотите сказать, — с важно-

стью поправила она.

— Я то хочу сказать, что, если мистер Болдвуд в самом деле вел речь о женитьбе, я не стану этого отрицать и выдумывать какие-то небылицы вам в угоду. Достаточно я поплатился за то, что слишком старался вам угодить.

Батшеба смотрела на него широко раскрытыми круглыми глазами. Она не знала, следует ли ей пожалеть его за его безутешную любовь или рассердиться за то, что он сумел побороть в себе это чувство, — его слова могли означать и то и другое.

— Я только хотела, чтобы вы просто дали понять, что это неправда, я не собираюсь за него замуж, — уже несколько менее уверенным тоном прошептала она.

— Я могу им это сказать, если вам угодно, мисс Эвердин. И могу также высказать вам мое мнение по поводу того, что вы делаете.

— Не сомневаюсь. Но меня нисколько не интересует ваше мнение.

— Я тоже так полагаю, — с горечью сказал Габриэль, и голос его, сопровождаемый мерным движением колеса, подымался и падал на каждом слове, в зависимости от того, нагибался он или выпрямлялся, поворачивая ручку, а глаза

его были прикованы к листу, выглядывавшему в траве.

Когда Батшеба действовала сгоряча, она часто поступала безрассудно, но ведь не всегда удается выждать и проявить благоразумие. И нужно сказать, она очень редко выжидала. В это время, о котором идет речь, единственный человек в приходе, чье мнение о себе и своих поступках она ценила выше своего собственного, был Габриэль Оук. Его прямодушие и честность внушали к нему такое доверие, что Батшеба ни минуты не сомневалась — заговори она с ним о любом предмете, будь это даже о любви к другому человеку или о замужестве, она услышит от него абсолютно беспристрастное суждение. Он твердо знал, что он для нее в женихи не годится и нечего даже и думать об этом, но повредить в ее глазах другому — на это он был неспособен. Она обратилась к нему с вопросом, зная, что он ответит правду, хотя прекрасно понимала, что разговор этот для него мучителен. Некоторым очаровательным женщинам свойствен такой эгоизм. Впрочем, ей можно было простить, что она ради каких-то своих целей мучила этого честного человека, — у нее не было никого другого, на чье мнение можно было положиться.

— Так что же вы думаете о моем поведении? — спокойно спросила она.

— Что ни одна рассудительная, скромная, порядочная женщина не сочла бы такое поведение достойным себя…

Лицо Батшебы мгновенно вспыхнуло гневным румянцем, напоминающим огненные краски заката Дэнби. Но она подавила свое возмущение, и от этой сдержанности выражение ее лица казалось особенно красноречивым.

И тут Габриэль ошибся.

— Вам, верно, не нравится моя грубость, что я вам вот так все выложил, — сказал он, — я сам знаю, что это грубо, но я подумал, может быть, вам это будет на пользу.

— Напротив, — язвительно ответила она, — я о вас такого невысокого мнения, что за вашими оскорблениями я слышу похвалу действительно понимающих людей.

— Очень рад, что вы не обиделись, потому что я вам по правде сказал, и я серьезно так думаю.

— Понятно. Только, к сожалению, у вас это получается смешно, как всегда, когда вы пытаетесь рассуждать, а услышать от вас что-нибудь разумное можно только тогда, когда вы случайно обмолвитесь.

Это было жестоко с ее стороны, но, конечно, Батшеба вышла из себя, а Габриэль, видя это, старался изо всех сил держаться спокойно. Он промолчал. И тут она уже совсем взорвалась.

— Позвольте мне спросить, в чем, собственно, недостойность моего поведения? Не в том ли, что я не выхожу замуж за вас?

— Ни в коем случае, — спокойно ответил Габриэль. — Я давно уже и думать перестал об этом.

— И желать, надеюсь, — не удержавшись, добавила она; и видно было, что она так и ждет, как у него сейчас вырвется «нет».

Что бы ни почувствовал Габриэль в эту минуту, он невозмутимо повторил за ней:

— И желать.

Можно позволить себе по отношению к женщине язвительность, которая ей будет даже приятна, и грубость, которая не покажется ей оскорбительной. Батшеба стерпела бы от Габриэля суровые обвинения в легкомыслии, если бы он после всего этого сказал, что любит ее; несдержанность неразделенного чувства можно простить, даже если вас ругают и проклинают; к обиде примешивается чувство торжества, а в бурных упреках вы чувствуете нежную заботу. Вот этого-то и ждала Батшеба и — обманулась. Но

терпеть поучения от человека, который видит вас в холодном свете чистого рассудка, ибо у него не осталось на ваш счет никаких иллюзий, это было невыносимо. Но он еще не договорил. Он продолжал взволнованным голосом:

— Я считаю (раз уж вы интересуетесь моим мнением), что вы поступили очень дурно, затеяв потехи ради эту шутку с таким человеком, как мистер Болдвуд. Ввести в заблуждение человека, до которого вам нет никакого дела, это непохвальный поступок. И даже если бы вы питали к нему серьезное чувство, мисс Эвердин, вы могли бы найти способ показать ему это добрым и ласковым обхождением, а не посылать ему шутливую открытку на Валентинов день.

Батшеба выпустила из рук ножницы.

— Я никому не позволю критиковать мое поведение, — вскричала она. — Я не потерплю этого ни минуты. Извольте оставить ферму до конца недели.

У Батшебы было одно странное свойство, — или характерная для нее особенность, — когда ею владели недобрые, низкие чувства, у нее дрожала нижняя губа, когда ее охватывало благородное волнение, у нее вздрагивала верхняя губа, обращенная ввысь. Сейчас у нее дрожала нижняя

губа.

— Хорошо, — спокойно сказал Габриэль. Его связывала с ней чудесная нить, которую ему было мучительно больно порвать, но он не был прикован к ней узами, которых он был бы не в силах сбросить. — Я могу уйти хоть сейчас, и, пожалуй, так будет лучше, — добавил он.

— Да, да, уходите сейчас же, ради бога! — крикнула она, сверкнув глазами, но избегая встретиться с ним взглядом. — И не попадайтесь мне на глаза. Чтобы я вас здесь больше не видела.

— Прекрасно, мисс Эвердин. Так и будет.

И, взяв свои ножницы, он удалился прочь спокойно и величаво, как Моисей от разгневанного фараона.

Глава XXI
Несчастье в загоне. Записка

Во второй половине дня, в воскресенье, спустя примерно сутки после того, как Габриэль Оук перестал ходить за уэзерберийским стадом, старые работники Джозеф Пурграс, Мэтью Мун, Фрей и еще несколько человек прибежали впопыхах к дому хозяйки Верхней фермы.

— Что случилось? — спросила она, встретив их у крыльца и перестав натягивать тесную перчатку, что требовало, по-видимому, больших усилий, так как она от старанья изо всех сил сжала свои алые губы; она шла в церковь.

— Шестьдесят! — задыхаясь, крикнул Джозеф Пурграс.

— Семьдесят! — надбавил Мун.

— Пятьдесят девять! — поправил муж Сьюзен Толл.

— Овцы из загона вырвались, — сказал Фрей.

— На клеверный луг! — подхватил Толл.

— На молодой клевер! — сказал Мун.

— Клевер! — простонал Джозеф Пурграс.

— Раздует их от него, кишки вспучит, — пояс-

нил Генери Фрей.

— Это уж как пить дать, — подтвердил Джозеф.

— Пропадут все ни за что, если их сейчас же не согнать да не спустить ветры, — сказал Толл.

У Джозефа от огорчения по всему лицу пролегли глубокие борозды и складки. У Фрея от сугубого отчаяния весь лоб покрылся сетью морщин, перекрещивающихся вдоль и поперек, словно прутья садовой решетки. Лейбен Толл поджал губы, и лицо у него точно окаменело. У Мэтью отвисла нижняя челюсть, а глаза ни секунды не оставались на месте, словно их дергала изнутри какая-то мышца, заставляя перебегать то туда то сюда.

— Да, — заговорил Джозеф, — сижу это я себе дома, только взял Библию, Послание к Ефесянам поискать, а сам думаю: ничего у меня, кажись, кроме коринфян да фессалонийцев, в моем драном Завете не осталось, гляжу — Генери: «Джозеф, говорит, овцы клевером объелись».

У Батшебы в такие минуты мысль мгновенно претворялась в слово, а слово переходило в крик. Тем более что она еще не совсем успокоилась после того, как Габриэль Оук своими рацеями вывел ее из себя.

— Довольно, перестаньте, вот олухи! — крик-

нула она и, швырнув в прихожую свой зонтик и молитвенник, бросилась бегом туда, где произошло бедствие. — Идут ко мне, вместо того чтобы сразу согнать овец! Вот дубины!

Глаза у нее потемнели и сверкали, как никогда. Батшеба отличалась скорее демонической, чем ангельской красотой; и она бывала особенно хороша, когда сердилась, а сейчас это было тем более заметно благодаря роскошному бархатному платью, в которое она только что нарядилась перед зеркалом.

Все старики скопом бросились за ней на клеверное поле. Джозеф на полдороге отстал и опустился на землю в полном изнеможении, словно его совсем доконала эта жизнь, которая день ото дня становится все невыносимее.

Оживившись, как всегда, от ее присутствия, все быстро рассыпались по полю и окружили пострадавших овец. Большая часть из них уже лежала на траве, и их невозможно было заставить подняться. Их перенесли на руках, а остальных перегнали на соседнее поле. Здесь через несколько минут свалилось еще несколько овец в таком же беспомощном и тяжком состоянии, как и другие.

У Батшебы сердце разрывалось от жалости, так

больно было смотреть, как лучшие образцы ее первого молодого стада корчатся в судорогах,

…раздутые, отравы наглотавшись.

У многих на губах выступила пена, они дышали часто и прерывисто, и животы у всех страшно вздулись.

— Ах, что же мне делать, что делать? — беспомощно повторяла Батшеба. — Несчастные животные эти овцы, вечно с ними что-то случается! Я в жизни не видела ни одного стада, с которым в течение года чего-нибудь не приключилось бы.

— Есть такое одно средство, только оно и может их спасти, — сказал Толл.

— Какое, какое? Ну, говорите скорей.

— Им надо проколоть бок такой штукой, она для того и приспособлена.

— Вы можете это сделать? Или я?

— Нет, мэм. Ни нам, ни вам этого не суметь. Надо знать, где проколоть. Кольнешь чуть левее или правее, попадешь не туда и заколешь овцу. И пастухи-то сами этого не умеют.

— Значит, они так и погибнут, — сказала она упавшим голосом.

— Есть только один человек у нас здесь, он это

может сделать, — сказал только что подошедший Джозеф. — Будь он здесь, он бы их всех поднял.

— Кто это? Сейчас же пошлите за ним.

— Пастух Оук! — сказал Мэтью. — Этот на все руки мастер.

— Это верно, — подтвердил Джозеф.

— Правильно, только он и может, — поддакнул Лейбен Толл.

— Как вы смеете называть это имя в моем присутствии, — возмутилась Батшеба. — Я же вам сказала, чтобы вы не заикались о нем, если хотите остаться у меня. Ах! — воскликнула она, просияв. — Фермер Болдвуд, вот кто должен знать.

— Нет, мэм, — отозвался Мэтью. — Тут на днях две из его отборных овец объелись вики, вот то же с ними было, что и с этими. Так он тут же в спешном порядке верхового прислал за Гэбом. Гэб их и спас. Правда, у фермера Болдвуда есть такая штука, которой колют. Этакая полая трубка с иглой внутри. Верно я говорю, Джозеф?

— Правильно, полая трубка, — подтвердил Джозеф, — она самая.

— Да, это, стало быть, тот самый инструмент, — задумчиво промолвил Генери Фрей с невозмутимостью восточного мудреца, которого не смущает бег времени.

— Так что же вы стоите здесь да твердите ваши «стало быть» да «правильно», — взорвалась Батшеба. — Сейчас же ступайте и приведите кого-нибудь спасать овец.

В полной растерянности они разбрелись в разные стороны, чтобы привести, как им было велено, кого они сами не знали. Через одну-две минуты все скрылись за воротами. Батшеба осталась одна с подыхающим на ее глазах стадом.

— Ни за что не пошлю за ним, ни за что, — решительно сказала она.

Одна из овец забилась в мучительных судорогах, вытянулась и прыгнула высоко в воздух. Это был чудовищный прыжок. Она тяжело рухнула наземь и больше не двигалась.

Батшеба подбежала к ней. Овца была мертвая.

— О! Что же мне делать? Что делать? — застонала Батшеба, ломая руки. — Я не хочу посылать за ним! Не буду!

Самые энергичные возгласы, выражающие какое-нибудь решение, не всегда совпадают с твердостью принятого решения. К ним нередко прибегают как к подкреплению, чтобы утвердиться в своем намерении, которое отнюдь и не нуждалось в этом, пока оно само по себе было твердо. Сквозь «нет, не хочу» Батшебы явно про-

рывалось «да, придется».

Она вышла за ворота следом за своими работниками и помахала рукой тому, кто стоял поближе. Это оказался Лейбен.

— Где живет Оук?

— В Гнезде, в хижине по ту сторону дола.

— Берите гнедую кобылу и скачите туда, скажите, чтобы он немедленно был здесь — что я так велела.

Толл ринулся вверх на выгон и через одну-две минуты уже скакал на гнедой кобыле, без седла, без узды, ухватившись обеими руками за веревку, накинутую ей на шею, и орудуя ею вместо поводьев. Он быстро уменьшался, спускаясь по склону.

Батшеба следила за ним взглядом. И все остальные тоже. Толл скакал по тропинке через Шестнадцатиакровый выпас, Овечий луг, Среднее поле, Пустоши, участок Кэмпля, вот он уже едва заметной точкой мелькнул на мосту и стал подниматься по противоположному склону через Родниковую балку и Белый овраг. Хижина, где временно поселился Габриэль, до того как совсем покинуть эти края, выделялась белым пятном среди голубых елей на противоположном холме.

Батшеба в нетерпении ходила взад и вперед.

Работники вернулись на поле и принялись растирать несчастных животных, пытаясь хоть как-нибудь облегчить их страдания. Но это не помогало.

Батшеба продолжала ходить. Лошадь уже повернула назад и стала спускаться с холма, и казалось томительно долго снова следить в обратном порядке весь этот дальний путь: Белый овраг, Родниковая балка, участок Кэмпля, Пустоши, Среднее поле, Овечий луг, Шестнадцатиакровый выпас. Батшеба надеялась, что у Лейбена хватит сообразительности дать Габриэлю кобылу, а самому вернуться пешком. Всадник приближался. Это был Толл.

— Ах, какая тупость! — воскликнула Батшеба.

Габриэля нигде не было видно.

— Может быть, он уже совсем уехал из наших мест, — сказала она.

Толл въехал в ворота и соскочил с лошади с трагическим видом Мортона после битвы у Шрюсбери.

— Ну? — сказала Батшеба, не допуская и мысли, что ее устный приказ мог не возыметь действия.

— Он говорит, раз просят, нечего чваниться, — ответил Лейбен.

— Что-о? — грозно протянула юная фермерша,

широко раскрыв глаза и чуть не задыхаясь от возмущения.

Джозеф Пурграс попятился на несколько шагов и поспешно юркнул за плетеную загородку.

— Он говорит, что не придет до тех пор, покуда вы его не попросите как следует, вежливо, как оно подобает, когда обращаются за помощью.

— О-о-о! Это его ответ? Откуда у него такие замашки? Кто я ему, что он смеет так со мной обращаться? Чтобы я стала кланяться человеку, который сам пришел ко мне кланяться, чтобы его взяли!

Еще одна овца подпрыгнула и упала мертвая. Работники стояли удрученные и, казалось, не решались высказать свое мнение.

Батшеба отвернулась, слезы застилали ей глаза: сама же она довела до этого своей гордостью и запальчивостью, и все это понимают. Она горько разрыдалась на глазах у всех; она уж и не пыталась сдержаться.

— Я бы на вашем месте, мисс, не стал из-за этого плакать, — участливо сказал Уильям Смолбери. — Почему бы вам не попросить его помягче. Ручаюсь, что он тогда придет. Гэб, ежели с ним по-хорошему, очень справедливый человек.

Батшеба подавила обиду и вытерла глаза.

— Это гадко и жестоко так поступить со мной, да, гадко и жестоко, — прошептала она. — И он просто вынуждает меня, сама бы я никогда этого не сделала. Толл, идемте со мной.

И после этого самоуничижительного признания, мало достойного солидной хозяйки, она пошла домой, а за нею по пятам Толл. Придя к себе, она села за стол и поспешно нацарапала записку, время от времени тихонько всхлипывая, что после ее горючих слез было, пожалуй, благодатным признаком, как набухание земли после грозового дождя. Записка была написана учтиво, хотя она писала второпях. Она взяла ее в руки и, прежде чем сложить, еще раз пробежала глазами, потом снова положила и приписала внизу: «Не покидайте меня, Габриэль». Она чуть-чуть покраснела, складывая записку, и закусила губу, словно запрещая себе думать сейчас, допустим ли такой ход с ее стороны, и откладывая это до тех пор, когда думать будет уже поздно. Записка отправилась с тем же гонцом, что и устное поручение. Батшеба осталась дома дожидаться результата. Это были мучительные четверть часа с того момента, как уехал гонец, и до того, как снаружи снова послышался топот коня. На этот раз Батшеба была не в силах стоять и следить;

облокотившись на старый письменный стол, за которым она писала записку, она закрыла глаза, как бы гоня от себя и надежду и страх.

А дело обстояло вовсе не так безнадежно.

Габриэль вовсе не рассердился, он проявил полное беспристрастие, несмотря на все высокомерие ее устного приказа. Для менее красивой женщины подобная заносчивость была бы просто гибельна, но такой красотке немножко заносчивости можно было простить.

Батшеба вышла, услышав топот копыт, и подняла глаза. Между нею и небосводом промчался верховой, он подъехал к загону и, соскочив с лошади, повернулся. На нее смотрел Габриэль.

Бывают минуты, когда глаза и язык женщины говорят совершенно противоположные вещи. Батшеба подняла на него полный благодарности взгляд и сказала:

— О, Габриэль, как вы могли поступить со мной так нехорошо?

Такой ласковый упрек за свое промедление в первый раз Габриэль не променял бы ни на какие другие слова, будь это даже похвала за то, что он проявил такую готовность сейчас.

Он что-то смущенно пробормотал и поспешил в загон. А она уже успела прочесть в его глазах,

какая фраза в ее записке заставила его примчаться. Она пошла следом за ним на луг. Габриэль уже стоял среди распростертых раздутых животных. Он скинул куртку, засучил рукава и вытащил из кармана спасательный прибор. Это была небольшая трубка, через которую проходила подвижная игла; Габриэль начал орудовать ею с ловкостью опытного хирурга; он проводил рукой по левому боку овцы и, нащупав нужную точку, прокалывал иглой кожу и стенку желудка и быстро выдергивал иглу, не отнимая трубки; газы струей вырывались из трубки с такой силой, что затушили бы свечу, поднесенную к ее верхнему концу.

Говорят, облегчение после муки в первые минуты — настоящее блаженство, в этом можно было сейчас убедиться воочию, глядя на этих перемучившихся животных. Сорок девять операций было совершено успешно. В одном случае, в силу того что угрожающее состояние овец вынуждало действовать в высшей степени стремительно, Габриэль попал иглой не туда, куда следовало, прокол оказался смертельным и сразу положил конец мукам несчастной овцы. Четыре овцы погибли до его прихода, а три обошлись без операции. Общее количество овец, попавших в такую опасную переделку, было пятьдесят семь.

Когда воодушевленный любовью пастух кончил трудиться, Батшеба подошла к нему и подняла на него глаза.

— Габриэль, вы останетесь у меня? — спросила она, подкупающе улыбаясь, и в ожидании ответа даже не сомкнула губ, зная, что сейчас же они снова разомкнутся в улыбке.

— Останусь, — сказал Габриэль.

И она снова улыбнулась.

Глава XXII
Большая рига и стригачи

Случается, что люди впадают в ничтожество и перестают существовать для окружающих, оттого что у них не хватает душевной энергии тогда, когда она им больше всего требуется, но не менее часто это происходит с ними оттого, что они растрачивают ее зря, без пользы для себя, когда она у них есть.

Габриэль с некоторых пор, впервые после обрушившегося на него несчастья, снова обрел прежнюю независимость суждений и бодрость духа — качества, с которыми далеко не уедешь, если нет случая их применить, но и случай без них никуда не вывезет. Эти качества, несомненно, могли бы помочь подняться Габриэлю, воспользуйся он благоприятным стечением обстоятельств. Но он топтался, как на привязи, возле Батшебы Эвердин и упускал время. Весенний разлив не вынес его на гребне волны, а теперь уже приближалось время спада, когда все возможности оставались позади.

Был первый день июня месяца, самая пора

стрижки овец; луга и даже самые скудные пастбища дышали изобильем и радовали глаз красками. В каждой юной былинке, в каждой раскрывающейся поре, в каждом наливающемся стебле чувствовалось стремительное брожение буйных жизненных соков. Здесь, на лоне природы, явно присутствовал Бог, а дьявол со своими делами перекочевал в город. Пушистые сережки ив, завитки папоротника, похожего на епископский посох, квадратные головки куреслепа, пятнистый аронник, подобный апоплексическому святому в малахитовой нише, белоснежный сердечник, колдуница, чешуйник с мясистым стеблем, траурные колокольчики с черными лепестками — весь преображенный растительный мир в Уэзербери и его окрестностях был полон причудливой грации в эту плодоносную пору. В животном мире можно было наблюдать преображенные фигуры Джана Коггена — старшего стригального мастера, второго и третьего стригача, которые работали поденно, переходя с фермы на ферму, поэтому их можно не называть, четвертого стригача Генери Фрея, пятого — мужа Сьюзен Толл, шестого — Джозефа Пургграса, подручного, юного Кэйни Болла, и главного надзирающего Габриэля Оука. Ни на одном из них не было надето ничего заслу-

живающего наименования одежды; каждый был облачен в нечто представляющее собой пристойное среднее между одеяниями индуса высшей и низшей касты. Согнутые спины и напряженно застывшие лица свидетельствовали о том, что люди заняты важным делом.

Стригли овец в большой риге, которая так и называлась: Стригальная рига, а по общему своему плану похожа была скорей на церковь с притворами. Она не только повторяла форму соседней приходской церкви, но и соперничала с нею в давности. Была ли когда-нибудь эта рига одним из многочисленных строений, относящихся к какому-нибудь монастырю, этого никто не знал: никаких следов не сохранилось. Просторные приделы по обеим сторонам здания, достаточно высокие, чтобы мог въехать самый высокий воз, груженный верхом снопами, соединялись широкими каменными арками, мощными и строгими; в самой их простоте заключалось величие, которого так часто недостает иным зданиям с богатой архитектурной отделкой.

Благодаря своему ценному материалу потемневший сумрачный свод из каштанового дерева с громадными поперечными балками, укрепленный дугами и диагоналями, отличался тем

строгим благородством, какого нет и в помине у девяти десятых наших современных церквей. По обеим боковым стенам стояли ряды раздвинутых щитов, а падавшие от них густые тени были прорезаны светом, льющимся из стрельчатых окон, которые своими пропорциями отвечали высоким требованиям красоты, а также и правилам вентиляции.

Об этой риге можно было сказать, что она и поныне служила тому же назначению, для коего была задумана с самого начала, что вряд ли можно сказать о замках и церквах, близких ей по стилю и такой же давности. В этом и состояло ее отличие и превосходство над этими двумя характерными памятниками Средневековья, — старая рига воплотила в себе навыки труда, которые сохранились и до нас не изуродованные временем. Здесь, по меньшей мере, замысел древних зодчих полностью совпадал с тем, что вы лицезрели сейчас. Стоя перед этим старым, посеревшим зданием, вы видели, как оно служит и ныне, и, представляя себе его прошлое, с удовлетворением устанавливали непрерывность его службы во все времена, и вас охватывало чувство гордости, почти благодарности к долговечности создавшей его мысли. И то, что четыре столетия не смогли

доказать, что оно возведено заблуждением, не внушили ненависти к тому, для чего оно было возведено, не вызвали никакого отпора, который не оставил бы от него камня на камне, облекало это непритязательное серое творение древней мысли спокойствием и даже величием, которые при излишней пытливости ума перестаешь ощущать у его религиозных и военных собратий. Здесь в кои-то веки Средневековье и современность нашли общий язык. Стрельчатые окна, изъеденные временем каменные своды и арки, направление оси, потускневшие, тщательно отделанные коричневые балки и стропила не говорили ни о заглохшем искусстве возведения крепостей, ни об отжившем религиозном культе. Защита и спасение тела хлебом насущным остались и ныне старанием, верой и рвением.

Сегодня огромные боковые двери были раскрыты настежь прямо на солнце, и его благодатный свет падал снопами на деревянный ток посреди риги, где орудовали стригачи. Толстый дубовый настил, почерневший от времени и отполированный цепами множества поколений, стал такой же гладкий и такого же великолепного оттенка, как паркет парадной залы в каком-нибудь елизаветинском замке. Стригачи стояли на коленях,

и поток солнечного света ложился косыми полосами на их выбеленные рубахи, бронзовые от загара руки и сверкающие ножницы, которые при каждом взмахе ощетинивались тысячами лучей, способных ослепить человека со слабым зрением. Под ножницами лежала задыхающаяся пленница-овца, и по мере того, как испуг ее нарастал, переходил в ужас, дыхание ее все учащалось и вся она начинала дрожать, как зыбкий, пронизанный зноем воздух на солнце снаружи.

Эта живописная современная картина в раме четырехсотлетней давности не производила впечатления того резкого контраста, какое, казалось бы, невольно могло внушить такое расстояние во времени. Уэзербери по сравнению с городами оставался неизменным. То, что горожанин относит к «тогда», для селянина означает «теперь». В Лондоне прежнее время — это двадцать, тридцать лет тому назад, в Париже — десять или пять, а в Уэзербери и шестьдесят и восемьдесят — это все еще «нынче», и надо, чтобы прошло по меньшей мере столетие, чтобы какой-то заметный отпечаток остался на его лице и говоре. За пятьдесят лет разве что самую малость изменился крой сапог или вышитый узор на рабочей блузе. В этом захолустье Уэссекса о стародавних временах, которые

приезжие деловые люди называют допотопными, говорят «прежде бывало»; их прежнее время — здесь все еще нынешнее, их настоящее — здесь далеко впереди.

Итак, рига вполне соответствовала стригачам, и стригачи были под стать риге.

Просторные концы здания — то, что в храме отвечает притвору и алтарю, — были отгорожены плетеными загородками, и за ними толпились овцы. В одном углу между загородкой и стеной был устроен маленький загон, где бесперебойно держали на очереди трех-четырех овец, которых по мере надобности выпускали к стригачам, чтобы они не отрываясь делали свое дело.

В глубине здания, в сумраке, пронизанном рыжеватым светом, копошились три женщины: Мэриен Мони, Смирная и Трезвая Миллер; они собирали руно, сворачивали и связывали его штапелями. Им довольно успешно помогал старый солодовник. Когда время варки солода, длившееся с октября до апреля, кончалось, он ходил по окрестным фермам и предлагал свои услуги.

Батшеба надзирала за всем; она зорко следила, чтобы стригачи были осторожны, не ранили животных и стригли достаточно коротко. Габриэль, которого ее блестящий взгляд притягивал, как

мотылька свет, носился с места на место и снова возвращался к ней; он не был непрерывно занят стрижкой, а только время от времени помогал другим, выпуская к ним овец. Сейчас он обносил работников кружкой с сидром, который черпал из бочки, стоявшей в углу, и подавал им ломти нарезанного хлеба и сыра.

Батшеба, окинув взглядом стригачей, подошла к одному из них, сказала, чтобы он стриг осторожнее, пожурила мальчишку-подручного за то, что он отпустил в стадо только что остриженную овцу, не поставив на нее клейма, а затем вернулась к Габриэлю, который, только что отложив завтрак, подтащил к себе испуганную овцу и ловким движением руки перевернул ее на спину. Он обкорнал ей длинные космы вокруг головы и обнажил шею и дужку, в то время как хозяйка молча следила за его работой.

— Она краснеет от унижения, — прошептала Батшеба, глядя, как алая краска заливает у овцы шею и грудь, оголившуюся под звонко постукивающими ножницами; не одна салонная красотка позавидовала бы такому нежному румянцу, и любой женщине было бы к лицу вспыхнуть так мгновенно и естественно.

Сердце бедняги Габриэля таяло от блаженства,

что она здесь, около него, что ее глаза с интересом следят за его искусными ножницами, которые, кажется, вот-вот отхватят кусок живого тела, но никогда не отхватывают. Подобно Гильденштерну, он был счастлив тем, что не чрезмерно счастлив. У него не было желания говорить; достаточно было того, что его прекрасная дама и он, они вдвоем, составляют одну группу, они одни, отдельно от всего мира. Итак, разговор вела главным образом она; бывает такая болтовня, которая ничего не говорит, — вот так болтала Батшеба, а бывает молчание, которое говорит многое, — таково было молчание Габриэля. Полный смутного скрытого блаженства, он продолжал делать свое дело: постепенно поворачивая овцу, он придерживал ее голову коленом и, быстро строча ножницами, снимал шерсть кромками с подгрудка, с одного бока, с другого, со спины и закончил хвостом.

— Здорово, — сказала Батшеба, взглянув на часы, когда ножницы хрустнули в последний раз, — и как быстро!

— За какое время, мисс? — спросил Габриэль, утирая потный лоб.

— С тех пор как вы отхватили первую прядь, прошло двадцать три с половиной минуты.

Первый раз вижу, чтобы на всю стрижку ушло меньше получаса.

Гладкая, чистенькая овечка поднялась из своего руна — глядя на нее, невольно вспоминалась Афродита, вышедшая из пены морской, — изумленная, оробевшая без привычного своего одеяния, которое лежало на полу, словно пушистое облачко; нежный подшерсток сверху, до сих пор скрытый внутри, был без единого пятнышка, белый, как снег.

— Каин Болл!

— Да, мистер Оук, я тут!

Кэйни подбежал с горшком смолы. Буквы «Б. Э.» отпечатались на оголенной коже, и бедная глупышка, дрожа всем телом, ринулась через загородку в стадо своих раздетых подруг. Затем подошла Мэриен, подобрала отлетевшие в сторону клочки, бросила их в середину кучки, скатала всю шерсть и унесла вглубь риги три с половиной фунта беспримесного тепла на радость в зимнюю стужу далеким незнакомым людям, которые так никогда и не узнают, какой несказанно приятной бывает шерсть вот такая, как она сейчас, здесь, нетронутая, девственно-чистая, пока еще в ней живы питающие ее природные жировые соки, пока она не высохла, не омертвела и ее не вы-

мыли и не превратили в некий сорт «шерсти», которая по сравнению с тем, что она сейчас, это снятое разбавленное молоко по сравнению со сливками.

Однако жестокая судьба не дала Габриэлю спокойно наслаждаться своим счастьем в это утро. Уже покончили со стрижкой баранов, старых и двухлетних маток, настала очередь ярок и годовалых овечек, и он уже готовился снова приступить к операции, надеясь, что Батшеба и на этот раз будет стоять около него и следить по часам за его проворной работой, как вдруг его постигло горькое разочарование — в дальнем углу риги появился фермер Болдвуд. Никто как будто и не заметил, как он вошел, но его присутствие было несомненно. Болдвуд всегда вносил с собой особую атмосферу, которую мгновенно ощущали все окружающие. Разговоры, которые до сих пор только чуть-чуть сдерживало присутствие Батшебы, сразу прекратились.

Он прошел через всю ригу к Батшебе, она обернулась и поздоровалась с ним с самым непринужденным видом. Он заговорил с ней, сильно понизив голос, и она тоже невольно понизила голос, сначала немножко, а потом стала говорить так же тихо, как он. Ей вовсе не хоте-

лось, чтобы кругом думали, будто у нее какие-то секреты с ним, но женщины в этом возрасте так восприимчивы, что невольно поддаются влиянию сильного пола и перенимают не только их язык, что можно наблюдать изо дня в день, но и манеру говорить, и интонацию.

О чем они говорили — Габриэлю не было слышно, и хотя он не мог этим не интересоваться, не в его характере было подойти поближе. Разговор кончился тем, что фермер протянул Батшебе руку и с присущей ему учтивостью помог ей перебраться через доску, загораживающую вход в ригу, и выйти наружу, на яркий солнечный свет. Здесь, стоя возле жмущихся друг к дружке уже остриженных овец, они продолжали разговор. О чем они говорили, об овцах? Нет, не похоже. Габриэль умозаключил, и не без основания, что, когда люди спокойно беседуют о чем-то, что находится в поле их зрения, взгляд их невольно устремляется к предмету их обсуждения. Но Батшеба, не поднимая глаз, смотрела на солому у себя под ногами, и это скорее свидетельствовало о ее смущении, чем о деловом разговоре насчет овец. Щеки ее заалелись, кровь прилила к нежной коже, отхлынула и снова прилила. Габриэль продолжал стричь, расстроенный, удрученный.

Она отошла от Болдвуда, и он, оставшись один, с четверть часа прогуливался взад и вперед. Затем она появилась в своей новенькой зеленой амазонке, так плотно облегавшей ее фигуру до талии, как кожура облегает плод, а юный Боб Когген вел за нею ее гнедую кобылу. Болдвуд подошел к дереву, где была привязана его лошадь.

Габриэль был не в силах оторвать от них глаз, но так как он в то же время пытался продолжать стричь, то неосторожно задел ножницами пах овцы. Животное рванулось. Батшеба мигом обернулась и увидела кровь.

— Ах, Габриэль! — вскричала она с суровой укоризной. — Вы всегда так следите за другими, а сами смотрите, что наделали!

Всякий бы сказал, что на такое замечание нечего особенно и обижаться, но Габриэля, который знал, что Батшеба отлично понимает, из-за кого ранена бедная овечка, ибо того, кто стриг бедняжку, она сама ранила еще больнее, мучительно кольнули ее слова, и этой боли отнюдь не могло принести облегчения постоянное чувство приниженности от сознания своего положения рядом с ней и с Болдвудом. Но твердое решение уверять самого себя, что он больше не питает к ней никаких нежных чувств, и на этот раз помогло ему не

обнаружить своих переживаний.

— Бутыль! — крикнул он своим обычным невозмутимым голосом.

Кэйни Болл тут же подбежал с бутылью, рану смазали, и Габриэль продолжал стрижку.

Болдвуд бережно подсадил Батшебу в седло, и, прежде чем он повернул лошадь, она снова обратилась к Габриэлю все тем же властным и нестерпимо снисходительным тоном:

— Я еду посмотреть лейстеров мистера Болдвуда. Замените меня здесь, Габриэль, и следите, чтобы люди как следует работали.

Они повернули лошадей и поехали рысью.

Серьезное увлечение Болдвуда вызывало живейший интерес у всех, кто его знал, но он столько лет служил примером убежденного благоденствующего холостяка, что теперь его падение обратилось как бы в свидетельство против него самого, как в случае с сэром Сен-Джоном Лонгом, который умер от чахотки, доказывая, что эта болезнь не смертельна.

— А видно, дело к свадьбе идет, — провожая их взглядом, заметила Смирная Миллер.

— Похоже, что так, — продолжая стричь и не поднимая головы, подтвердил Когген.

— Что ж, оно и лучше взять себе жену тут же,

по соседству, а не где-нибудь на стороне, — отозвался Лейбен Толл, переворачивая овцу.

Генери Фрей окинул всех скорбным взглядом и произнес медленно:

— Не знаю, зачем такой девушке замуж идти, коли она такая прыткая, что за все сама берется да по-своему делает; что ей домашний очаг, только другой дорогу перебивает. Ну да уж хоть бы женились, а то, гляди, кавардак пойдет в обоих домах.

Такие решительные натуры, как Батшеба, всегда вызывают осуждение у людей, подобных Генери Фрею. Больше всего ей ставилось в вину то, что она слишком резко высказывала свое недовольство и недостаточно явно выражала свое одобрение. Известно, что цвета тел зависят не от тех лучей, которые они поглощают, а от тех, которые они отражают; так вот и людей характеризует их способность отталкивать, сопротивляться, а не их благожелательность, которая отнюдь не считается отличительной чертой.

Генери продолжал несколько более благодушным тоном:

— Я как-то в разговоре между прочим попробовал было ей кое о чем намекнуть, уж так ясно, как только стреляный воробей рискнет этакую

бедовую штучку учить. Вы, люди добрые, знаете, что я за человек, меня ежели раззадорить, я не смолчу…

— Знаем, знаем, Генери.

— Так вот я, значит, ей и говорю: «Мисс Эвердин, у вас, — говорю, — освободились места, и люди для них самые что ни на есть подходящие имеются, и вот только козни, — нет не козни, я не сказал козни, — зловредство противного пола, — так я про женский пол выразился, — их не допускает». Что, хорошо загнул? А? Как скажете?

— Неплохо!

— Д-да; и вот, ежели бы мне за это головой поплатиться пришлось и богу душу отдать, я бы все равно так вот ей и сказал бы. Такой уж я человек: если что решил — кончено.

— Правильный человек, а уж горд, как сам сатана.

— А ловко я ее подцепил, не всяк догадается; ведь речь о том, чтобы мне управителем быть, но только я это так хитро завинтил, где ей понять, что это я на ее счет проезжаюсь. Вот оно у меня как задумано было. Ну а насчет свадьбы… коль охота идти, пусть идет. Оно, может, время пришло. Сдается мне, фермер Болдвуд обнимал ее там, за осокой, в тот день, как мы овец мыли.

— Экое вранье! — вскричал Габриэль.

— А вы почем знаете, пастух Оук? — смиренно поинтересовался Генери.

— Потому что она сама рассказала мне все как было, — сказал Габриэль с чувством фарисейского превосходства, оттого что в этом случае он был отличен ото всех других работников.

— Ваше полное право верить этому, — сказал Генери не без ехидства, — полное право. Ну а у меня свое суждение есть. Оно конечно, управителем быть особого разуменья не требуется, а все-таки кое-что надо смекать. Что ж, я смотрю на жизнь трезво. Понятно я говорю, добрые люди? Уж, кажется, проще и не скажешь, все ясно, а иному все невдомек!

— Да нет, Генери, мы тебя понимаем.

— Вот так-то, добрые люди, оно и выходит. Швыряют тебя, как старый обносок, тыкают то туда, то сюда, будто ты и впрямь ни на что не годишься. Что ж, годы мои такие, поизносился малость! Однако мозги у меня в исправности; еще как действуют! Насчет этого я хоть сейчас с небезызвестным пастухом потягаться берусь. Ну да что там! Ни к чему, нет, ни к чему.

— Старый обносок, говоришь? — сердито вмешался солодовник. — Не такой уж ты старый,

чтобы тебе этим козырять, и вовсе ты не старик! Зубов-то еще сколько во рту! Какой же это старик, ежели еще и зубы держатся. Я уже давно женат был, когда тебя еще на руках носили. Что такое шестьдесят годов, когда другим уже за восемь десятков перевалило, нашел чем хвастаться.

В Уэзербери уже вошло в обычай мигом прекращать все ссоры, когда требовалось унять солодовника.

— Чего уж там хвастать! — тут же подхватил Джан Когген. — Мы, дед-солодовник, все понимаем, какой вы у нас неслыханно долголетний старец, никто против этого спорить не станет.

— Никто! — поддержал Джозеф Пурграс. — На редкость долголетний, и все вас за это почитают.

— То-то! И когда я молодой был, в цвете лет, меня тоже уважали и любили, те, кто меня знал, — не унимался солодовник.

— Ясное дело, любили, как не любить.

В конце концов сгорбленный косматый старик утихомирился, и Генери Фрей, по всей видимости, тоже.

Чтобы закрепить мир, Мэриен попробовала рассмешить всех; смуглая, в грубой заплатанной порыжелой дерюге, она напоминала сейчас мягкой гаммой красок живописную фигуру с

какой-нибудь старинной картины маслом, в манере Никола Пуссена.

— Не знает ли кто какого хромого, горбатенького либо так какого недотепу, кто бы меня, горемычную, за себя взял? — запричитала она. — Уж о хорошем-то мне в мои годы думать не приходится. А вот ежели бы хоть какой подвернулся, для меня это было бы слаще эля и хлеба с сыром.

Когген тут же нашелся, что ей ответить. Оук продолжал стричь и не проронил ни слова. Горькое чувство завладело им и отравило его покой. Батшеба, по-видимому, собиралась назначить его управителем, в котором на ферме ощущалась острая необходимость, поэтому она и отличала его перед всеми другими. А его это положение соблазняло не потому, что оно возвышало его на ферме, а потому, что оно приближало его к ней, к его возлюбленной, которая была еще не связана ни с кем другим. Теперь все его представления о ней смешались и спутались. И то, как он поучал ее, казалось ему теперь полнейшей нелепостью. Она вовсе не играла с Болдвудом, а вот его, Оука, она одурачила, притворившись, будто подшутила с этим письмом. В глубине души он был убежден, что эти малограмотные, добродушные работники правы в своих предсказаниях и что Болдвуд

сегодня получит согласие мисс Эвердин стать его женой. Габриэль был уже в том возрасте, когда чтение Святого Писания перестает быть неприятной обязанностью, от которой, естественно, уклоняется подросток; он теперь частенько заглядывал в него, и сейчас ему припомнились слова: «Горше смерти для меня женщина, чье сердце подобно тенетам». Это восклицание вырвалось из его сердца, как пена из бурной волны. Что бы там ни было, он все равно боготворил Батшебу.

— Мы, работнички, будем сегодня пировать по-барски, — прервал его размышления Кэйни Болл, — Я нынче утром видел, как они месили громадные пудинги в ведрах — куски жира там были, мистер Оук, ну прямо с ваш большой палец. Я в жизни своей не видывал таких громадных кусков — раньше, бывало, клали кусочки с горошину. А на очаге стоял большой черный котел на ножках, только я не знаю, что в нем такое.

— И два бушеля яблок нарезали для яблочных пирогов, — добавила Мэриен.

— Надеюсь, я сумею всему этому воздать должное, — сказал Джозеф Пурграс и аппетитно причмокнул в предвкушении. — Д-да, еда и питье — отрада человека, они придают бодрость духа малодушному, ежели вы позволите так сказать.

Пища — это слово Божье для поддержания плоти, мы без нее, прямо сказать, тут же погибли бы.

Глава XXIII
Вечером. Второе объяснение

Стол для ужина, который полагалось устраивать для стригачей по завершении стрижки овец, был накрыт на лужайке перед домом; конец стола перекинули через подоконник большого окна гостиной, так что он фута на полтора вошел в комнату. Здесь, у самого окна, в комнате сидела мисс Эвердин. Таким образом, она была во главе стола, но отделена от работников.

Батшеба в этот вечер была необыкновенно оживлена. Непокорные пряди пышных темных волос живописно оттеняли ее пылающие румянцем щеки и алые губы. Она, по-видимому, ждала кого-то, и по ее просьбе место на нижнем конце стола оставалось незанятым, пока не начали ужинать. Тогда она попросила Габриэля сесть туда и взять на себя обязанности хозяина на том конце, что он тут же и сделал с большой готовностью.

В эту минуту у калитки показался мистер Болдвуд, он прошел через лужайку к окну, где сидела Батшеба, и извинился за то, что задержался: по-видимому, у них было уговорено, что он придет.

— Габриэль, — сказала Батшеба, — пересядьте, пожалуйста, а туда сядет мистер Болдвуд.

Оук молча пересел на свое прежнее место.

Джентльмен-фермер был одет по-праздничному, в новеньком сюртуке и белом жилете, что сразу бросалось в глаза, так как совсем не походило на его обычный строгий серый костюм. И на душе у него был тоже праздник, что проявлялось в неожиданной для него разговорчивости. И Батшеба тоже разговорилась с его появлением, хотя присутствие незваного Пенниуэйса, бывшего управителя, которого она прогнала за воровство, на некоторое время вывело ее из себя.

Когда кончили ужинать, Когген по собственному почину, не дожидаясь, чтобы его попросили, затянул песню:

Потерял я милушку, и ну ее,
Потерял я милушку, и ну ее,
Найду себе другую,
Подружку дорогую,
Потерял я милушку, и ну ее!

Сидящие за столом выслушали этот романс молча, уставившись на певца задумчиво-одобрительным взглядом, свидетельствующим о том, что эта излюбленная песня в хорошо знакомом

исполнении всегда пользуется успехом у слушателей и, подобно книгам всеми признанных авторов, не нуждающихся в газетной рекламе, не требует никаких похвал.

— А теперь, мистер Пурграс, вашу песню! — сказал Когген.

— Боюсь, я захмелел… да и нет у меня таких талантов, — стараясь остаться незамеченным, отнекивался Джозеф.

— Глупости! Ну можно ли быть таким неблагодарным? Вот уж никогда бы о вас не подумал, — укоризненно вскричал Когген, прикидываясь, что он оскорблен в своих лучших чувствах. — А хозяйка-то как глядит на вас, будто хочет сказать: «Спойте сейчас же, Джозеф Пурграс!»

— И верно, глядит; похоже, теперь не отделаешься. А ну-ка, гляньте на меня, люди добрые, никак меня опять в краску вогнало?

— Ничего, Джозеф, краснота ваша в самый раз, — успокоил его Когген.

— Уж как я всегда стараюсь не краснеть под взглядом красоток, — конфузливо признался Джозеф, — но так уж оно само собой получается, ничего не поделаешь.

— Ну, Джозеф, спойте нам, пожалуйста, вашу песню, — раздался из окна голос Батшебы.

— Да, право же, мэм, — сказал Джозеф, явно сдаваясь, — уж не знаю, что и сказать. У меня только и есть одна простая *боллада* собственного сочинения.

— Просим, просим! — закричали хором за столом.

Осмелев от всеобщего поощрения, Пурграс запел срывающимся голосом какую-то чувствительную песню про пламенную и вместе с тем высокодобродетельную любовь — мотив ее сводился к двум нотам, и певец особенно налегал на вторую. Пение имело такой успех, что Джозеф, не переводя духа, перешел ко второму куплету, но, споткнувшись на первой же ноте, несколько раз начинал снова первую строфу.

Я сеее-ял,
Я се-еял лю…
Я се-еял любви семена,
Когда наступала весна,
В апреле и в мае, в июньские дни,
Когда пта-ашки пели пе-е-сни свои.

— Здорово закручено, — сказал Когген после второго куплета, — и как ладно звучит «пе-е-сни свои». И еще вот это место про «семена любви» —

такую руладу закатил, а ведь про любовь петь тоже надо уметь, надтреснутой глоткой не вытянешь. А ну, следующий куплет, мистер Пурграс!

Но во время исполнения следующего куплета с юным Бобом Коггеном приключился конфуз, обычная история с подростками — всегда с ними что-нибудь случается, когда взрослые настроены особенно торжественно: он изо всех сил старался удержаться от хохота и с этой целью запихал себе в рот угол столовой скатерти, но это помогло ненадолго, смех, заткнутый герметически со стороны рта, вырвался носом. Джозеф, весь вспыхнув от негодования, сразу оборвал пение. Когген тут же оттаскал Боба за уши.

— Продолжайте, Джозеф, продолжайте, не обращайте внимания на сорванца. Такая замечательная *баллада,* а ну-ка следующий куплет. Я вам буду подтягивать в дишкантовых нотах, ежели вы от натуги выдохнетесь.

Ах, ива зеленая ветвями сплелась,
Ива кудрявой листвой завилась…

Но певца так и не удалось уговорить. Боба Коггена за плохое поведение отправили домой, и за столом снова воцарились мир и благодушие с помощью Джекоба Смолбери, который затянул одну

из бесконечных, изобилующих подробностями баллад, какими при подобных обстоятельствах достославный пьяница Силен услаждал слух юных пастухов Хромиса, Мназила и прочих повес того времени.

Вечер еще сиял огненно-золотым светом, но сумрак уже стелился украдкой по земле; закатные лучи, едва касаясь поверхности земли, не протягивались по ней и не освещали уснувших равнин. Словно в последний раз собравшись с силами перед смертью, солнце выползло из-за дерева и начало опускаться. Сгущающаяся мгла окутала сидящих за столом снизу до пояса, а их головы и плечи все еще нежились в дневном свете, залитые ровным золотым сиянием, которое, казалось, не поступало извне, а источалось из них самих.

Солнце скрылось в охряной пелене, а они сидели, беседовали и пировали, словно Гомеровы боги. Батшеба по-прежнему восседала во главе стола у окна, в руках у нее было вязанье, от которого она время от времени отрывалась и поглядывала в меркнущую даль. Медленно подкрадывающийся сумрак разливался все шире и наконец поглотил и сидящих за столом, а они все еще не собирались расходиться.

Габриэль вдруг обнаружил, что фермер Болдвуд исчез со своего места в конце стола. Оук не заметил, когда он скрылся, но решил, что он, должно быть, пошел бродить по саду. Только Габриэль успел подумать об этом, как Лидди принесла свечи в комнату, и веселые язычки пламени брызнули ярким светом, который выхватил из темноты стол, фигуры сидящих и затонул в темной зеленой гуще, сомкнувшейся сзади.

Фигура Батшебы, сидевшей на прежнем месте, снова отчетливо выступила в окне между огнями свечей, и главам сидящих за столом в саду и в освещенной комнате стало видно, что и Болдвуд сидит там рядом с ней.

Тут все подумали, не пора ли кончать вечер. А не споет ли им мисс Эвердин, прежде чем разойтись по домам, ту песню, которую она так чудесно поет, — «На берегах Аллен-реки».

Батшеба, немножко подумав, согласилась и поманила к себе Габриэля, который только о том и мечтал, чтобы очутиться поближе к ней.

— У вас с собой ваша флейта? — шепотом спросила она.

— Да, мисс.

— Так вот, я буду петь, а вы аккомпанируйте мне.

Батшеба стала в нише окна, лицом к людям, освещенная горевшими сзади свечами, Габриэль — справа от нее снаружи, у самого окна. Болдвуд — в комнате, по левую ее руку. Она начала тихим, дрожащим голосом, но скоро распелась, и звуки полились ясные, чистые, звонкие. Одну из строф этой песни, в связи с разыгравшимися вскоре событиями, вспоминали потом многие из собравшихся здесь, и она надолго сохранилась у них в памяти.

Солдат сулил на ней жениться,
Речами свел ее с ума.
На берегах реки Аллен
Она пригожей всех была.

Мягким звукам Габриэлевой флейты Болдвуд вторил густым басом так низко и тихо, что это отнюдь не походило на дуэт, а создавало некий своеобразный мелодический фон, который только оттенял голос Батшебы. Стригачи, привалившись друг к другу, сидели тесным кругом плечо к плечу, как когда-то, сотни лет тому назад, сиживали за трапезой наши предки; они слушали как завороженные, и все так притихли, что иногда, казалось, слышно было дыхание Батшебы. А когда баллада кончилась и последний

томительно долгий звук незаметно замер, послышался восхищенный шепот, а это и есть самое лестное одобрение.

Стоит ли говорить, что поведение фермера по отношению к хозяйке дома не могло не привлечь внимания Габриэля. Сказать по правде, ничего особенного в его поведении не было, кроме того, что оно не совпадало во времени с поведением других. Он смотрел на Батшебу только тогда, когда на нее не смотрел никто другой; когда глаза всех были устремлены на нее, взгляд его блуждал по сторонам; когда все другие громко благодарили ее или рассыпались в похвалах, он сидел молча, а когда они, заговорившись, не обращали на нее внимания, он благодарил ее шепотом. И вот это расхождение со всеми и придавало особое значение каждому его слову и жесту, хотя ничего особенного и значительного в них не было; но ревность, которой не могут избежать влюбленные, не позволяла Оуку пренебречь этими знаками.

Наконец Батшеба пожелала всем спокойной ночи и скрылась в глубине комнаты. Болдвуд закрыл окно, опустил ставни и остался с Батшебой в гостиной. Оук пошел по тропинке и скоро исчез в безмолвной, насыщенной благоуханием роще

деревьев. Стригачи, очнувшись от приятного оцепенения, в которое их погрузило пение Батшебы, стали один за другим подниматься, чтобы идти домой. Когген, отодвигая скамью и намереваясь выйти из-за стола, повернулся к Пенниуэйсу и уставился на почтенного вора с таким видом, словно перед ним было какое-то редкостное произведение искусства.

— Приятно похвалить человека, коли есть за что, — наконец выговорил он, — позвольте воздать вам должное.

— А я, прямо сказать, гляжу и глазам не верю, пока мы все в точности не сосчитали, — прерываясь на каждом слове от икоты, вмешался Джозеф Пурграс, — все до единой кружки и парадные ножи и вилки, все пустые бутылки, все, как было, так и осталось целехонько, ничего не украдено.

— Ну я, пожалуй, не заслуживаю и половины ваших похвал, — мрачно ответствовал добродетельный вор.

— А вот уж что правда надо сказать к чести Пенниуэйса, — добавил Когген, — так это вот: коли уж он в самом деле задумает поступить по-хорошему, чтобы все было честно да благородно, — а так оно с ним нынче и было, я это по его лицу видел, когда он за стол садился, — уж тут

он себя выдержит. Я, люди добрые, с радостью могу подтвердить, он нынче в самом деле ничего не украл.

— Стало быть, он поступил честно, наше вам за это спасибо, Пенниуэйс, — сказал Джозеф, и все остальные единодушно поддержали его.

А тем временем в гостиной, откуда через закрытые ставни пробивалась наружу лишь узенькая полоска мягкого света, разыгрывалась бурная сцена.

Мисс Эвердин и Болдвуд были одни. Она сознавала, что в жизни ее наступил серьезный момент, пышущий здоровьем румянец сбежал с ее щек, но глаза сверкали торжеством, радостным чувством победы не столько желанной, сколько заранее задуманной.

Она стояла за спинкой низкого кресла, с которого только что вскочила, а он на коленях в кресле, перегнувшись к ней, держал ее руку в обеих своих. Он весь дрожал от того, что Китс так тонко называет переизбытком сладостного счастья. И то, что этот человек, у которого чувство собственного достоинства было его отличительной чертой, вдруг предстал перед ней лишенный своего главного качества — до такой степени его умалила любовь, — было так неожиданно, что это

тягостное своей нелепостью зрелище несколько отравляло ее горделивую радость от сознания, что ее боготворят.

— Я постараюсь полюбить вас, — говорила она дрожащим голосом, совсем непохожим на ее обычный самоуверенный тон, — и если только я почувствую хотя бы некоторую уверенность в том, что я буду вам хорошей женой, я охотно выйду за вас замуж. Но в таком серьезном деле, мистер Болдвуд, колебания женщины нужно уважать, и я не хочу ничего обещать вам сегодня. Я хочу попросить вас подождать несколько недель, чтобы я могла хорошенько разобраться в моих чувствах.

— Но вы думаете, что *к тому времени*...

— Я очень надеюсь, что через месяц или полтора, считая от сегодняшнего дня до сбора урожая, — а вы говорили, что будете в отъезде это время, — я смогу обещать вам стать вашей женой, — закончила она твердо. — Но запомните хорошенько, сейчас я еще не обещаю.

— С меня этого достаточно. Большего я сейчас не буду просить. Я могу ждать, положившись на эти милые моему сердцу слова. А пока до свиданья, доброй ночи, мисс Эвердин.

— Доброй ночи, — мягко, почти нежно ответи-

ла она, и Болдвуд удалился с блаженной улыбкой на губах.

Батшеба теперь лучше знала его; он открыл ей всю свою душу, не утаив ничего, не подозревая, что он много потерял в ее глазах, уподобившись этакой большой горделивой птице, которая, лишившись своего пышного оперенья, утратила всю свою величавость. Батшеба теперь содрогалась, вспоминая свою дерзкую выходку, и всячески старалась загладить ее, не задумываясь над тем, заслуживает ли ее проступок той кары, которой она собиралась себя подвергнуть. Ее охватывал ужас при мысли, что она натворила, но в то же время в этом было что-то захватывающее. Удивительно, как легко даже самую робкую женщину может привлечь страшное, когда к этому примешивается некоторое чувство торжества.

Глава XXIV
В тот же вечер. Еловая роща

Среди многочисленных обязанностей, которые взяла на себя Батшеба, отказавшись держать управителя, был обход владенья перед сном, чтобы потом спокойно лечь спать, зная, что на ночь все остается в полном порядке. Габриэль почти каждый вечер неуклонно совершал до нее этот обход, опекая ее хозяйство с не меньшей рачительностью, чем любой специально нанятый для этого досмотрщик, но эта заботливая преданность в большинстве случаев оставалась неведомой для его хозяйки, а то, что до нее доходило, принималось как должное, без особой благодарности. Женщины вечно жалуются на мужское непостоянство, а к постоянству они относятся пренебрежительно.

Поскольку обходить дозором лучше, оставаясь невидимой, Батшеба обычно брала с собой потайной фонарь и время от времени, поднимая заслон, заглядывала во все тупики и закоулки, с хладнокровием столичного полисмена. Такое хладнокровие свидетельствовало не столько о

ее бесстрашии перед лицом опасности, сколько о полном отсутствии подозрения, что ей может что-то грозить; самое худшее, на что она могла наткнуться, — это оставленная без соломы лошадь, курица, которая не попала в курятник, или непритворенная дверь.

В этот вечер она, как всегда, обошла все дворовые службы и пошла на пастбище осмотреть загон. Здесь тишину нарушало только мерное чавканье множества ртов и шумное дыханье, вырывавшееся из невидимых ноздрей; эти звуки вдруг прерывались храпом и пыхтеньем, похожим на шум медленно раздуваемых мехов. Затем чавканье возобновлялось, и при некоторой живости воображения можно было различить там и сям розовато-белые ноздри, похожие на входы в пещеры, влажные, липкие и для непривычного человека малоприятные, если их коснуться рукой; губы под ними так и норовили ухватить какой-нибудь краешек одежды Батшебы, оказавшейся в пределах досягаемости их языка. Чуть повыше, при особенно остром зрении, можно было разглядеть темно-бурый лоб и два вытаращенных, но отнюдь не сердитых глаза, а еще выше — два белесоватых рога, изогнутых серпом, словно два ободка только родившихся меся-

цев; раздающееся время от времени степенное «мму-у» не оставляло ни тени сомнения, что все эти атрибуты представляют собой характерные и неотъемлемые черты почтенных особ Дэзи, Белоножки, Красотки, Резвухи, Пеструшки, Кареглазки и прочих достойных представительниц девонской породы, являющихся собственностью Батшебы.

Обратно, домой, Батшеба возвращалась тропинкой через рощу островерхих елок: их посадили здесь несколько лет тому назад для защиты от северного ветра; ветви их так густо переплелись вверху, что в самый ясный полдень здесь царил полумрак, на исходе дня — густой сумрак, в сумерки — мгла, как в полночь, а в полночь — сущая тьма египетская. Чтобы получить представление об этой роще, вообразите себе просторный, с низкими сводами зал, созданный самой природой; ветвистый потолок покоится на стройной колоннаде деревьев, а пол устлан мягким, коричневым ковром сухой хвои, побуревших от сырости шишек и пробивающихся кое-где пучков травы.

Когда Батшеба, возвращаясь из своего обхода, вступала в эту рощу, ей всегда становилось немножко жутко, но поскольку, выходя из дому, она не испытывала никаких особенных опасе-

ний, она не считала нужным брать кого-нибудь в провожатые. Двигаясь бесшумно и незримо, словно время, Батшеба вдруг насторожилась — ей послышалось, что кто-то идет ей навстречу, с другого конца тропинки. Да, совершенно ясно — шаги. Ее собственные сразу затихли, стали совсем беззвучны, как падающие хлопья снега. Вспомнив, что здесь через рощу ходят все, она успокоилась и решила, что это, наверно, кто-нибудь из поселян возвращается домой, но все-таки ей было неприятно, что они столкнутся в таком месте, в самой чаще, хотя всего в нескольких шагах от дома.

Шаги приближались, вот они уже совсем рядом, какая-то фигура поравнялась с ней и уже почти шагнула мимо, как вдруг что-то рвануло Батшебу за подол и точно пригвоздило ее к земле. Она пошатнулась и едва удержалась на ногах от этого внезапного рывка. Невольно раскинув руки, чтобы обрести равновесие, она уткнулась ладонью и суконную одежду с пуговицами.

— Что за чертовщина! — произнес чей-то мужской голос высоко над ее головой. — Ушиб я вас, что ли, дружище?

— Нет, — отвечала Батшеба, пытаясь шагнуть в сторону.

— Похоже, мы чем-то зацепились друг за друга?

— Да.

— Да это, кажется, женщина?

— Да.

— По-видимому, из местных дам, леди, я бы сказал.

— Это не имеет значения.

— Но я-то мужчина.

— Ах! — Батшеба снова сделала попытку шагнуть, но безо всякого успеха.

— У вас, кажется, потайной фонарь в руке, если я не ошибаюсь? — спросил мужчина.

— Да.

— Разрешите, я открою дверцу и отцеплю вас.

Рука незнакомца схватила фонарь, дверца откинулась, луч света вырвался из плена, и Батшеба с изумлением увидела, в какой она очутилась западне. Мужчина, с которым ее что-то сцепило, был военный. Он весь сверкал медью и пурпуром. Это видение среди полной тьмы было подобно трубному гласу, пронзающему мертвую тишину. Мрак, неизменно царивший здесь как genius loci[1] во все времена, был сейчас

---

[1] Примечания: 1

Местный дух *(лат.).*

побежден полностью не столько светом фонаря, сколько тем, что озарил этот свет. Это видение настолько отличалось от того, что она ожидала увидеть — ей представлялась какая-то зловещая фигура в темном, — что этот разительный контраст подействовал на нее, словно какое-то волшебное превращение. При свете фонаря сразу выяснилось, что шпора военного зацепилась за кружевную оборку ее платья. Он успел кинуть взгляд на ее лицо.

— Я сейчас отцеплю, мисс, сию секунду, — сказал он сразу изменившимся учтивым тоном.

— Ах нет, я сама, благодарю вас, — поспешно ответила она и присела, чтобы отцепить подол.

Но отцепить его было не так-то просто. Колесико шпоры за несколько секунд так обвилось крученым шелком гипюра, что надо было изрядно повозиться, прежде чем выпутать его.

Он тоже присел, а луч света из открытой дверцы фонаря, стоявшего меж ними на земле, скользил среди еловых игл, в густой траве, наподобие большого светляка. Он освещал их лица снизу и отбрасывал чуть ли не до половины рощи громадные тени мужчины и женщины; падая на стволы деревьев, тени искажались, принимая чудовищно уродливые формы, а дальше посте-

пенно сливались с темнотой и исчезали.

Он посмотрел ей прямо в глаза, когда она на секунду подняла их, но Батшеба тут же опустила взгляд, потому что не могла состязаться с этим пристально-настойчивым взглядом. Все же мельком она успела заметить, что он молод и строен и что у него три нашивки на рукаве.

Она снова потянула свой подол.

— Вы в плену, мисс, не приходится закрывать на это глаза, — насмешливо сказал он. — Я вынужден буду отсечь этот кусок подола, если вы уж так торопитесь.

— Да, пожалуйста, — беспомощно воскликнула она.

— Но в этом нет необходимости, если вы способны минутку потерпеть. — И он раскрутил и снял с колесика одну шелковую петельку. Батшеба убрала руку, чтобы не мешать ему, но он все же нечаянно или умышленно успел коснуться ее. Батшеба была возмущена, а почему — она сама не знала.

Он продолжал распутывать, но конца этому не было видно. Она снова подняла на него глаза.

— Благодарю вас за то, что вы даете мне возможность любоваться таким прелестным личиком, — бесцеремонно сказал молодой сержант.

Батшеба вспыхнула от смущения.

— Эта возможность предоставляется вам против моей воли, — сухо процедила она, стараясь сохранить чувство собственного достоинства, что плохо удавалось ей в ее пригвожденном положении.

— Вы нравитесь мне еще больше за такую отповедь, мисс, — отвечал он.

— А мне бы еще больше понравилось… я бы хотела, чтобы вы никогда не попадались мне на глаза и не ходили здесь. — Она дернула платье, и кружевная оборка на ее подоле затрещала, как ружья лилипутов.

— Я заслуживаю кару, которой вы подвергаете меня вашими словами. Но с чего бы это у такой красивой и воспитанной девушки такое отвращение к полу ее отца?

— Идите, пожалуйста, своей дорогой.

— Ого, красавица моя! И потащить вас за собой! Вы только взгляните. В жизни своей не видывал такой путаницы.

— И вам не стыдно! Вы нарочно запутали еще больше, чтобы задержать меня здесь! Да, нарочно!

— Да нет, право же, нет, — отвечал сержант с лукавой усмешкой.

— А я вам говорю, что да! — вскричала, разозлившись, Батшеба. — Я требую, чтобы вы распутали сейчас же. Ну-ка, пустите, я сама.

— Пожалуйста, мисс, конечно, разве я могу противиться. — И он вздохнул с таким явным притворством, какое надо ухитриться выразить вздохом. — Я благодарен за возможность смотреть на красивое личико, даже когда эту возможность швыряют мне, как собаке кость. Этим мгновеньям, увы, так быстро наступит конец.

Она решительно сжала губы и упорно молчала.

У нее мелькнула мысль, а что, если она рванет изо всех сил, удастся ли ей вырваться, хотя бы с риском оставить здесь кусок своего подола? Но как это ужасно! Платье, в которое она нарядилась для этого ужина, было украшением ее гардероба; из всех ее нарядов ни один так не шел к ней. Какая женщина на месте Батшебы, отнюдь не робкой от природы, а тем более когда до дома было рукой подать — стоило ей только крикнуть, сюда сбежались бы ее слуги, — пошла бы на такую жертву, чтобы избавиться от дерзкого военного.

— На все нужно время. Я вижу, вы скоро распутаете, — продолжал хладнокровно ее товарищ по несчастью.

— Ваши шутки возмущают и…

— Зачем же так жестоко!

— И оскорбляют меня!

— Я позволил себе пошутить только затем, чтобы иметь удовольствие попросить прощения у такой очаровательной женщины, что я готов сделать сию же минуту со всем смирением и почтительностью, мадам.

На это Батшеба просто не знала, что сказать.

— Много я женщин видел на своем веку, — теперь уже мечтательно, шепотом продолжал молодой человек, глядя оценивающим взглядом на ее опущенную головку, — но такой красивой, как вы, я еще не видал. Верите вы мне или нет, приятно вам это или неприятно — мне все равно.

— А кто вы такой, что можете позволить себе пренебречь мнением других?

— Я не чужой здесь. Сержант Трой к вашим услугам. Живу здесь неподалеку. А! Наконец-то распуталось, вот видите. Ваши легкие пальчики оказались проворнее моих. Ах, лучше бы это был такой мертвый узел, чтобы его никак невозможно было распутать.

Что он только позволяет себе! Она вскочила, и он тоже. Теперь у нее была только одна мысль:

как бы уйти так, чтобы это выглядело благопристойно. Держа фонарь в руке, она незаметно отступала от него боком, пока не перестала видеть красный мундир.

— Прощайте, красавица, — сказал он.

Она не ответила и, отойдя на двадцать — тридцать шагов, повернулась и опрометью кинулась в калитку.

Лидди только что пошла спать. Поднимаясь к себе, Батшеба приоткрыла ее дверь и задыхающимся голосом спросила:

— Лидди, есть у нас какой-нибудь военный в поселке, сержант… или нет, не знаю, слишком у него джентльменский вид для сержанта, и собой недурен, в красном мундире с синей выпушкой?

— Нет, мисс… Нет, что я говорю, может быть, это сержант Трой в отпуск приехал, только я не видела его. Он как-то приезжал сюда, когда его полк стоял в Кэстербридже.

— Да, так он и назвался. Усы у него, а бороды и бакенбардов нет?

— Да, да.

— Что это за человек?

— Ах, мисс, стыдно сказать, — беспутный он человек. Знаю, что способный, смышленый и тысячное состояние мог бы нажить не хуже ино-

го сквайра. Такой образованный, джентльмен. Докторским сыном числится — фамилию его носит, кажется, чего больше надо; а родом-то он — графский сын.

— А вот это куда больше. Подумать только! Да правда ли это?

— Правда. И воспитывали его как нельзя лучше, сколько лет в кэстербриджской школе учился. Все языки там изучил, говорят, будто даже по-китайски мог понимать, читал и писал; ну про это я, конечно, не знаю, много чего рассказывают. Только он свою судьбу сам загубил, записался в солдаты; правда, он и там быстро в гору пошел, не успел оглянуться — уже стал сержантом. Великое это счастье в благородной семье родиться. Будь ты хоть солдатом в строю, все равно тебя отличат. А это верно, мисс, что он домой вернулся?

— По-моему, да. Спокойной ночи, Лидди.

В конце концов, может ли беспечная юная особа в юбке долго обижаться на мужчину? Нередки случаи, когда молодая девушка склада Батшебы охотно прощает некоторую вольность в обращении; чаще всего это бывает, когда ей хочется, чтобы ее хвалили, а еще, когда она жаждет, чтобы ее покорили, — это тоже бывает, и, наконец, когда она хочет не пустого флирта, а чего-то большего,

но это уже редкий случай.

Из этих трех ощущений в Батшебе сейчас сильнее всего говорило первое, второе только примешивалось слегка. Но сверх того — был ли это просто случай или, может статься, козни лукавого, но виновник происшествия, оказавшись красивым незнакомцем, явно знавшим лучшие дни, уже успел пробудить в ней интерес.

Поэтому она никак не могла решить, следует ли ей считать себя оскорбленной или нет.

— Вот уж поистине необыкновенное происшествие, — наконец воскликнула она после долгого раздумья у себя в комнате. — И как я могла так глупо поступить — скрыться, не сказав ни слова человеку, который проявил по отношению ко мне только учтивость и внимание. — Ясно, она уже не считала оскорблением его бесцеремонное восхваление ее внешности.

Вот это-то и было роковым упущением со стороны Болдвуда — он ни разу не сказал ей, что она красива.

Глава XXV
Описывается новый знакомый

Некоторые свойства натуры и плюс к этому превратности судьбы сделали сержанта Троя существом не совсем обычного склада.

Это был человек, для которого вспоминать о прошлом казалось обременительным, а задумываться о будущем — излишним. Живя непосредственно ощущением, он устремлял свои помыслы и желания на то, что было у него перед глазами. Чувства его откликались только на настоящее. Время для него было чем-то таким мимолетным, что, не успеешь и оглянуться, оно уже мелькнуло и прошло. Мысленно переноситься в прошлое или заглядывать в будущее, эта игра воображенья, в которой слово «жаль» становится синонимом минувшего, а «осмотрительность» знаменует будущее, была чужда Трою. Для него прошлое — это было вчера, будущее — завтра, а никак не послезавтра.

В силу этого он в некотором отношении мог бы считаться счастливейшим из смертных. Ибо можно весьма убедительно доказать, что предаваться

воспоминаниям — это не столько дар, сколько болезнь, а единственное отрадное чаяние, то, что зиждется на слепой вере, это нечто нереальное, тогда как ожидание, вскормленное надеждой или какими-то другими смешанными чувствами — терпением, нетерпением, решимостью, любопытством, — сводится к непрестанному колебанию между радостью и мучением.

Сержант Трой, которому были совершенно неведомы такого рода чаяния, никогда не испытывал разочарования. Этому отрицательному выигрышу, пожалуй, можно было бы противопоставить некий неизбежно связанный с ним положительный урон — утрату некоторых тонких восприятий и ощущений. Но для человека, лишенного их, отсутствие этих свойств отнюдь не представляется лишением: в этой категории моральное или эстетическое убожество резко отличается от материального, ибо люди, страдающие им, не замечают этого, а те, кто замечает, вскоре перестают страдать. Нельзя считать лишением способность обходиться без того, чем ты никогда не обладал, и Трой вовсе не чувствовал лишения в том, чего не испытывал, зато он отлично сознавал, что испытывает многое такое, чего недостает людям умеренного склада, поэто-

му его способность чувствовать, на самом деле более ограниченная, казалась ему гораздо более богатой.

В своих отношениях с мужчинами он был более или менее честен, но с женщинами лжив, как критянин, — правило этики, рассчитанное главным образом на то, чтобы завоевать расположение милых дам с первого же момента, а то, что успех мог оказаться преходящим — это его не беспокоило, ибо относилось к будущему.

Он никогда не переступал черты, за которой веселое беспутство переходит в безобразный порок, и хотя нравственные его качества вряд ли удостаивались одобрения, их порицание нередко сопровождалось смягчающей улыбкой. Это отношение подстрекало его к бахвальству, он частенько приписывал себе чужие похождения, разумеется, не для того, чтобы воздать должное нравственному превосходству своих слушателей, но чтобы повысить свою репутацию беспутника.

Его ум и склонности, давным-давно размежевавшись по обоюдному согласию, редко влияли друг на друга; поэтому если у него иной раз и бывали благие намерения, его поступки не только не вязались с ними, но резко оттеняли их своим неожиданным контрастом. В своем беспутном

поведении сержант Трой подчинялся импульсу, а в добродетелях — трезвому размышлению, причем добродетельность его отличалась такой скромностью, что о ней чаще доводилось слышать и редко кому случалось ее наблюдать.

Трой был полон энергии, но энергия его была не столько движущего, сколько дремлющего свойства. Лишенная какой-либо самостоятельно выбранной побудительной основы, ничем не направленная, она растрачивалась на то, с чем сталкивал ее случай. Так, он иногда блистал в разговоре, — ибо это получалось непроизвольно, само собой, и оказывался далеко не на высоте в действии из-за неспособности направить и сосредоточить свои усилия. У него был живой ум и достаточно силы воли, но он был неспособен согласовать их, поэтому ум его цеплялся за пустяки, тщетно дожидаясь приказа воли, а воля, пренебрегающая умом, растрачивалась впустую. Он был хорошо образован для человека среднего класса, а для простого солдата — исключительно хорошо. Он умел поговорить и мог говорить сколько угодно. И в разговоре умел казаться таким, каким ему хотелось, а не таким, каким он был на самом деле. Так, например, он мог говорить о любви, а думать об обеде; прийти

навестить мужа, чтобы повидать жену; делать вид, что хочет вернуть долг, а намереваться занять еще.

Неотразимое действие лести, когда добиваешься успеха у женщин, это настолько распространенное мнение, что оно чуть ли не вошло в поговорку, которую произносят машинально, нимало не задумываясь над тем, какие чудовищные выводы напрашиваются из подобного утверждения. Уж не говоря о том, что, поступая согласно ему, действуют отнюдь не на пользу и не на благо объекту лести. Большинство людей держит в памяти подобные поговорки с разными другими затасканными изречениями, и только когда какая-нибудь катастрофа вдруг неожиданно вскроет их страшный смысл, тут он впервые по-настоящему доходит до их сознания. Когда такое мнение высказывают более или менее всерьез, то в подкрепление ему добавляют, что льстить надо с умом, чтобы достичь цели. К чести мужчин можно сказать — мало кому из них удавалось проверить это на опыте, и, должно быть, их счастье, что им не приходилось за это расплачиваться.

Тем не менее искусный притворщик способен вскружить голову женщине немыслимым

враньем и обрести над ней такую власть, которая может даже и погубить ее, — эту истину случалось постигнуть многим в самых непредвиденных, мучительных обстоятельствах.

И есть люди, которые хвастают тем, что они почерпнули из своего опыта и беспечно продолжают эти опыты, — иной раз с чудовищными результатами. Сержант Трой принадлежал к числу этих людей. Рассказывали, что он как-то обронил словцо насчет того, как надо обращаться с женщинами; с ними можно управиться двумя способами — либо лестью, либо руганью, говорил он. Третьего способа нет. Стоит подойти к ним по-хорошему — и ты пропащий человек.

Сей философ, прибыв в Уэзербери, не замедлил появиться на людях. Как-то недели через две после стрижки овец Батшеба, чувствуя неизъяснимое облегчение оттого, что Болдвуд уехал, пошла на сенокос и остановилась у плетня посмотреть, как работают косцы. Они двигались рядами, состоящими примерно из равного числа угловатых и округлых фигур; первые принадлежали мужчинам, вторые — женщинам в надвинутых на лоб чепцах, покрытых сверху косынками, спускавшимися им на плечи. Когген и Марк Кларк косили на ближнем лугу, и Кларк,

махая косой, что-то напевал в такт, а Джан даже и не пытался поспевать за ним. На первом лугу сено уже начали грузить. Женщины сгребали его и складывали в стоги, а мужчины подхватывали и бросали в фургон.

Внезапно за фургоном выросла какая-то ярко-алая фигура и тоже стала деловито грузить вместе с другими. Это был бравый сержант, который для собственного удовольствия пришел поработать на сенокосе; и нельзя было отрицать, что в такое страдное время он своим добровольным трудом оказывал хозяйке фермы поистине рыцарскую услугу.

Едва только Батшеба вышла на луг, Трой тотчас же увидел ее; он воткнул вилы в землю и, подхватив свой стек, пошел к ней навстречу. Батшеба вспыхнула то ли от смущения, то ли от досады, но не опустила глаз и продолжала идти прямо на него.

Глава XXVI
Сцена на краю скошенного луга

— Ах, мисс Эвердин, — сказал сержант, прикладывая руку к козырьку. — Как это так я не сообразил, что это вы, когда говорил с вами в тот вечер. А ведь если бы я только подумал, то должен бы догадаться, что Королева Хлебной биржи (правда — она ведь правда в любой час дня или ночи, а я только вчера в Кэстербридже слышал, что вас так называют!) — это вы, и не может быть никто иной. Я поспешил вам навстречу и приношу вам тысячу извинений за то, что, поддавшись своим чувствам, осмелился так откровенно выразить вам свое восхищение, не будучи с вами знаком. Но, правда, я в здешних краях не чужой, — я сержант Трой, как я вам уже говорил, на этих самых лугах я всегда, еще мальчишкой, помогал вашему дядюшке. И вот сегодня пришел поработать для вас.

— Полагаю, я должна поблагодарить вас за это, сержант Трой, — холодным топом промолвила Королева Хлебной биржи.

Сержант явно обиделся и огорчился.

— Да нет, мисс Эвердин. Зачем же думать, что это уж так обязательно.

— Очень рада, что это не так.

— А почему, если не сочтете за дерзость, позвольте спросить?

— Потому что я не хочу быть вам обязанной ни в чем.

— Боюсь, что я так навредил себе своим языком, что теперь мне уже ничто не поможет, и я обречен вечно каяться. Подумать, в какое ужасное время мы живем, — что` только не обрушивается на человека, который от чистого сердца осмелился сказать женщине, что она красива. Ведь это самое большее, что я посмел, — это вы не можете не признать, скромнее я не мог выразиться, в этом я сам признаюсь.

— Все это болтовня, без которой я отлично могла бы обойтись.

— Так, так. А по-моему, вы просто уклоняетесь от темы.

— Нет. Я только хочу сказать, что место, на котором вы стоите, для меня было бы гораздо приятнее без вас.

— А для меня ваши проклятья приятнее поцелуев любой женщины в мире, поэтому я не сдвинусь с места.

Батшеба на секунду опешила. И в то же время она чувствовала, что не может обрезать его, ведь как-никак он действительно пришел помочь на сенокосе.

— Ну хорошо, — продолжал Трой. — Я готов допустить, бывает похвала, которая граничит с дерзостью, и, может быть, в этом и есть моя вина. Но бывает обхожденье, которое явно несправедливо, и уж в этом, безусловно, повинны вы. Подумать только, простой, прямодушный человек, которого никогда не учили притворяться, высказал напрямик то, что он думает, и, может, у него вырвалось это нечаянно, а его за это карают, как нечестивца.

— Это совсем непохоже на наш с вами случай, — сказала Батшеба, поворачиваясь, чтобы уйти. — Я не позволяю незнакомым людям никакой развязности и бесцеремонности по отношению ко мне, даже если они восхваляют меня.

— А, так, значит, вас оскорбляет не самый факт, а, так сказать, форма выражения, — спокойно сказал он. — Ну что ж, мне остается с грустью удовлетвориться сознанием, что я сказал чистую правду, приятны или обидны показались вам мои слова. Или вы хотели бы, чтобы я, поглядев на вас, сказал бы своим знакомым, что вы дур-

нушка, чтобы вы при встрече с ними не боялись, что они будут глазеть на вас. Ну нет, я не способен так глупо оболгать красоту, и только затем, чтобы поощрить излишнюю скромность у такой единственной в своем роде женщины в Англии.

— Все это выдумки, то, что вы говорите, — невольно рассмеявшись его хитрой уловке, сказала Батшеба. — Вы просто на редкость изобретательны, сержант Трой. Почему вы не могли просто молча пойти своей дорогой в тот вечер — вот все, что я ставлю вам в вину.

— Потому что не мог. Половина удовольствия от любого ощущения состоит в том, что вам хочется тут же его высказать, я это и сделал. И то же самое было бы и в противном случае, — будь вы уродливой старухой, — наверно, у меня также вырвалось бы невольное восклицание.

— И давно вы страдаете такой чрезмерной впечатлительностью?

— О, с раннего детства, как только научился отличать красоту от уродства.

— Надо полагать, что это чувство различия, о котором вы говорите, не ограничивается только внешностью, а распространяется и на душевные качества?

— Ну, о душе или религии, своей или чьей бы

то ни было, я не берусь говорить. Хотя я, пожалуй, был бы неплохим христианином, если бы вы, красивые женщины, не сделали меня идолопоклонником.

Батшеба прошла вперед, чтобы скрыть невольную улыбку и предательские ямочки на щеках. Трой, помахивая стеком, двинулся за ней.

— Мисс Эвердин, вы прощаете меня?

— Не совсем.

— Почему?

— Вы говорите такие вещи…

— Я сказал, что вы красивы, и повторю это и сейчас, потому что… ну, боже ты мой, ведь это же правда. Провалиться мне на этом месте, клянусь вам чем хотите, я в жизни своей не видывал женщины красивей.

— Перестаньте, перестаньте. Я не желаю этого слушать, что это еще за клятвы! — вскричала Батшеба в полном смятении чувств.

Возмущение тем, что она слышит, боролось в ней с неудержимым желанием слушать еще и еще.

— А я опять повторяю, что вы самая обворожительная женщина. И что удивительного в том, что я так говорю? Ведь это же само собой очевидная истина. Вам просто не нравится, что

я так бурно выразил свое мнение, мисс Эвердин, и, конечно, оно малоубедительно для вас, потому что ничего не значит в ваших глазах, но оно совершенно искренне, почему же вы не можете меня простить?

— Потому что… это… это неверно, — как-то очень по-женски прошептала она.

— Ну-ну, не знаю уж, что хуже — грешить против третьей заповеди или против страшной девятой, как это делаете вы?

— Но мне кажется, это не совсем правильно, не такая уж я обворожительная, — уклончиво ответила она.

— Это вам кажется. Ну так позвольте мне, со всем уважением к вам, мисс Эвердин, сказать вам, что виной этому ваша излишняя скромность. Да не может быть, чтобы вам все этого не говорили, потому что все же это видят, другим-то вы можете поверить?

— Они так не говорят.

— Не могут не говорить.

— Во всяком случае, не говорят мне в лицо, как вы, — продолжала она, постепенно втягиваясь в разговор, который она сначала твердо намеревалась пресечь.

— Но вы знаете, что они так думают?

— Нет, то есть я слыхала, конечно, от Лидди, что обо мне говорят, но… — Она запнулась.

Сдалась… Вот что означал, в сущности, несмотря на всю его осторожность, этот наивный ответ, сдалась, сама того не подозревая, признала себя побежденной. И ничто не могло выразить это более красноречиво, чем ее беспомощная, неоконченная фраза. Легкомысленный сержант усмехнулся про себя, и, должно быть, дьявол тоже усмехнулся, высунувшись из преисподней, ибо в эту минуту решилась чья-то судьба. По лицу, по тону Батшебы можно было безошибочно сказать, что росток, который должен взломать фундамент, уже пустил корни в трещине: остальное было делом времени и естественного хода вещей.

— Вот когда правда вышла наружу! — воскликнул сержант. — Ну как может быть, чтобы молодая леди, которой все кругом восхищаются, так-таки ничего об этом не знала? Ах, мисс Эвердин, уж вы простите мою откровенность, но ведь вы, в сущности, несчастье рода человеческого!

— Как, почему? — спросила она, широко раскрывая глаза.

— Да вот так выходит. Знаете, есть такая старая народная поговорка, не бог весть какая мудрая, но для грубого солдата годится: «Коль петли

не миновать — правду нечего скрывать»; вот я вам сейчас правду и выложу, не заботясь о том, понравится она вам или нет, и не надеясь получить ваше прощение. И вы сами поймете, мисс Эвердин, каким образом ваша красота может наделать больше бед на земле, чем принести добра. — Сержант задумчиво уставился вдаль глубокомысленно-критическим взором. — Ну вот, скажем, какой-нибудь мужчина влюбляется в обыкновенную женщину, женится на ней; он доволен, ведет полезную жизнь. А вот такую женщину, как вы, жаждут заполучить сотни мужчин, глаза ваши будут пленять все новых и новых, и сколько несчастных будет терзаться неутоленной любовью, — ведь вы можете выйти замуж только за одного. Ну, скажем, человек двадцать из этого множества будут пытаться заглушить вином горечь отвергнутой любви, другие двадцать будут влачить жизнь без всяких целей, не делая попыток добиться чего-либо, потому что, кроме привязанности к вам, у них нет ничего, никаких иных стремлений; и еще двадцать, и среди них, пожалуй, и моя уязвимая персона, вечно будут ходить за вами следом, вечно стараться быть там, где можно хотя бы поглядеть на вас, и ради этого совершать любые безумства.

Мужчины ведь такие неисправимые глупцы! Ну а остальные, скажем, будут пытаться преодолеть свою страсть, кто с большим, кто с меньшим успехом. Но все это будут пришибленные люди. И не только эти девяносто девять мужчин, но и девяносто девять женщин, на которых они, может быть, женятся, тоже будут несчастны с ними. Вот вам моя притча. И вот почему я говорю, что такая очаровательная женщина, как вы, мисс Эвердин, вряд ли создана на благо рода человеческого.

Лицо красивого сержанта в то время, как он говорил, было сурово и непреклонно; он был похож на Джона Нокса, поучающего свою веселую молодую королеву. Видя, что она не отвечает, он спросил:

— Вы по-французски читаете?

— Нет. Я только начала заниматься, дошла до глаголов, и папа умер, — простодушно ответила Батшеба.

— А я почитываю, когда предоставляется возможность, что в последнее время бывает не так-то часто (у меня мать была парижанка). Так вот, есть у французов такая пословица: «Qui aime bien, châtie bien». Кто крепко любит, тот строго карает. Вы понимаете меня?

— Ах! — вырвалось у нее, и ее обычно спокой-

ный голос чуть-чуть дрогнул. — Если вы умеете сражаться хотя бы наполовину так же увлекательно, как говорите, то вы способны доставить удовольствие штыковой раной. — И, тут же заметив, какую ошибку она допустила, сделав такое признание, бедняжка Батшеба поспешила исправить ее и только еще больше запуталась. — Не думайте, впрочем, что мне доставляет удовольствие то, что вы говорите.

— Я знаю, что нет, знаю прекрасно, — отозвался Трой, и на лице его выразилась проникновенная убежденность, которая тут же сменилась горькой иронией. — Если толпы мужчин всегда готовы расточать вам любезности и восторгаться вами так, как вы этого заслуживаете, не предостерегая вас при этом должным образом, то моя грубая, откровенная правда — хвала, смешанная с порицанием, — вряд ли может доставить вам удовольствие. Может быть, я и глупец, но не такой же я самоуверенный дурак, чтобы претендовать на это.

— А мне кажется — вы все-таки самоуверенный человек, — промолвила Батшеба, глядя вбок на стебель осоки и судорожно теребя его одной рукой.

Искусная тактика сержанта повергла ее в ка-

кое-то смятение — не потому, что она принимала за чистую монету его хитрые любезности, а потому, что она растерялась от такого решительного натиска.

— Я не признался бы в этом никому другому — да и вам, собственно, не совсем признаюсь. Но, возможно, в тот вечер в моем безумном самообольщении, пожалуй, и была какая-то доля самонадеянности. Я понимал, что, высказав вам невольно свое восхищение, я лишний раз заставил вас выслушать то, что вы слышите со всех сторон, и вам это уже надоело и, конечно, не доставляет удовольствия, но я все-таки надеялся, что вы добрая и не осудите меня слишком строго за нечаянно вырвавшиеся слова, а вы осудили; я надеялся, что вы не подумаете обо мне дурно, не будете бранить меня сегодня, увидев, как я работаю, не щадя себя, чтобы сберечь ваше сено.

— Ну, не будем об этом вспоминать, может быть, вы и правда не хотели быть дерзким, высказав то, что вы думали, я верю вам, — с истинным огорчением в простоте душевной оправдывалась жестокая женщина. — И я очень благодарна вам за то, что вы помогаете на сенокосе. Но только не надо говорить со мной так, чтобы больше этого не было, и вообще не надо заговаривать со мной,

пока я сама не обращусь к вам.

— О мисс Батшеба! Это слишком жестоко!

— Нисколько! Что тут жестокого?

— Вы никогда сами не заговорите со мной; ведь я здесь недолго пробуду. Я скоро опять погружусь в унылую скуку казарменного ученья, и, возможно, наш полк отправят куда-нибудь дальше. А вы хотите лишить меня единственной невинной радости, какая только и есть в моем безотрадном существовании. Что ж, видно, великодушие нельзя считать отличительной чертой женщины.

— А когда вы уезжаете отсюда? — с интересом спросила она.

— Через месяц.

— А почему для вас такое удовольствие разговаривать со мной?

— Как вы можете спрашивать, мисс Эвердин, кому как не вам знать, что мне вменяется в вину.

— Ну, если такой пустяк для вас так много значит, то я не против, — как-то нерешительно и с сомнением в голосе ответила она. — Но как это может быть, чтобы для вас столь много значило перекинуться со мной хотя бы словом; вы только говорите так, я уверена, что вы только так говорите.

— Вы несправедливы, но не будем об этом. Вы так осчастливили меня этим знаком вашего дружеского расположения, что я готов заплатить за него любой ценой, и уж не стану обижаться на тон. Да, для меня это много значит, мисс Эвердин. Вам кажется, только глупец может дорожить тем, что ему мимоходом обронят словечко, хотя бы «здравствуйте» скажут. Возможно, я глупец. Но ведь вы никогда не были на месте мужчины, который смотрит на женщину, и эта женщина вы, мисс Эвердин.

— Ну и что же?

— А то, что вы понятия не имеете, что он испытывает, и не дай вам бог это испытать!

— Вот глупости, ну и льстец! А что же он испытывает, интересно узнать.

— Ну, коротко говоря, для него мученье думать о чем бы то ни было, видеть и слышать кого-нибудь, кроме нее, а на нее глядеть и слушать ее — тоже пытка.

— Ну, этому уж никак нельзя поверить, сержант, вы притворяетесь! — сказала Батшеба, качая головой. — Когда говорят такие красивые слова, это не может быть правдой.

— Нет, не притворяюсь, честное слово солдата.

— Но как же так может быть, почему?

— Потому что вы сводите человека с ума — вот я и лишился ума.

— Похоже на то.

— Да, так оно и есть.

— Да ведь вы видели меня всего только один раз, в тот вечер.

— Не все ли равно. Молния разит мгновенно. Я в вас влюбился сразу и сейчас влюблен.

Батшеба с любопытством смерила его взглядом с ног до головы, но не решилась поднять глаза еще, чуть-чуть выше, на уровень его глаз.

— Вы не могли в меня влюбиться и не влюблены, — холодно сказала она. — Не бывает такого внезапного чувства. И я не хочу вас больше слушать. Боже мой, который сейчас может быть час, хотела бы я знать, — мне пора идти, я и так уж сколько времени потратила с вами попусту…

Сержант взглянул на свои часы и сказал ей время.

— Как же это у вас нет часов, мисс? — спросил он.

— Сейчас при мне нет — я собираюсь купить новые.

— Нет! Они вам будут поднесены в дар. Да, да, вы должны принять их в дар, мисс Эвердин. В дар!

И прежде чем она поняла, что он собирается сделать, тяжелые золотые часы очутились в ее руке.

— Они чересчур хороши для человека моего положения, — невозмутимо сказал он. — Эти часы имеют свою историю. Нажмите пружинку и откройте заднюю крышку.

Она сделала, как он сказал.

— Что вы видите?

— Герб и надпись под ним.

— Корону с пятью зубцами, а внизу: «Cedit amor rebus» — «Любовь подчиняется обстоятельствам». Это девиз графов Северн. Эти часы принадлежали последнему лорду и были даны мужу моей матери, доктору, чтобы он носил их до моего совершеннолетия и тогда вручил мне. Это все, что досталось мне в наследство. Когда-то по этим часам вершили государственные дела — устраивались торжественные церемонии, аудиенции, пышные выезды, соблюдался сон и покой графа. Теперь — они ваши.

— Ну что вы, сержант Трой, я не могу это принять, не могу! — вскричала она, глядя на него круглыми от изумления глазами. — Золотые часы! Что вы делаете? Нельзя же быть таким выдумщиком!

— Оставьте их себе, прошу вас, оставьте, мисс Эвердин, — умолял ее молодой сумасброд. — Они станут для меня много дороже, когда будут принадлежать вам. А для моих нужд какие-нибудь простые, плебейские, будут служить не хуже. А как я подумаю, рядом с чьим сердцем будут постукивать мои старые часы, — это такое счастье! Нет, лучше не говорить. Никогда еще они не были в более достойных руках.

— Нет, правда же, я не могу их взять! — твердила Батшеба, чуть ли не плача. — Да как же можно так поступать, если вы это действительно всерьез? Отдать мне часы вашего покойного отца, да еще такие ценные часы! Нельзя быть столь безрассудным, сержант Трой!

— Я любил отца, ну и что же, а вас я люблю больше — вот потому я так и поступаю, — ответил сержант таким искренним, убежденным тоном, что вряд ли его сейчас можно было обвинить в притворстве. Он начал с шутки, но красота Батшебы, которую он сначала, пока она была спокойна, превозносил шутливо, незаметно оказывала свое действие, и, чем больше она оживлялась, тем он увлекался сильнее. И хотя это было не настолько серьезно, как казалось Батшебе, все же это было серьезнее, чем казалось ему самому.

Батшеба была так потрясена и растеряна, что, когда она заговорила, в голосе ее слышалось не только сомнение, но и обуревавшие ее чувства.

— Может ли это быть? Ну как это может быть, чтобы вы полюбили меня, и так внезапно. Вы так мало меня знаете, может быть, я на самом деле совсем не так… не так хороша, как вам кажется. Пожалуйста, возьмите их, прошу вас! Я не могу их себе оставить и не оставлю. Поверьте мне, ваша щедрость переходит всякую меру. Я никогда не сделала вам ничего доброго, зачем же вам по отношению ко мне проявлять такую доброту?

И опять — он уже совсем готов был ответить какой-то галантной фразой, но не произнес ни слова и смотрел на нее как завороженный. Сейчас, когда она стояла перед ним взволнованная, потрясенная, без тени лукавства, прелестная, как день, ее красота так точно отвечала всем тем эпитетам, которые он ей расточал по привычке, что он и сам был потрясен своей дерзостью, — как же он мог считать, что все это он просто выдумывает?

Он повторил за ней машинально «зачем?» и продолжал смотреть на нее, не сводя глаз.

— И все мои люди на поле смотрят и удивляются, что я не отхожу от вас. Нет, это ужас что

такое! — продолжала она, не замечая свершившегося с ним превращения.

— Я даже не думал сначала всерьез уговаривать вас взять эти часы, — честно сознался он, — ведь это единственное жалкое доказательство моего благородного происхождения, но теперь, честное слово, я хочу, чтобы они были ваши. Без всякого притворства, прошу вас. Не лишайте меня радости, носите их на память обо мне. Но вы так прелестны, что даже и не стараетесь казаться доброй, как все другие.

— Нет, нет, не говорите так. У меня есть причины быть осмотрительной, но я не могу вам их открыть.

— Ну что ж, пусть будет так, — сказал он наконец, уступая, и взял часы. — Я должен теперь расстаться с вами. А вы обещаете говорить со мной эти несколько недель, что я пробуду здесь?

— Ну да, конечно; а впрочем, нет, не знаю. Ах, и зачем только вы появились здесь и доставили мне столько волнений!

— Боюсь, что, расставляя силки, я, кажется, попался в них сам. Бывают такие случаи. Но вы все-таки позволите мне работать у вас на сенокосе?

— Ну что ж, пожалуй, если это вам доставляет

удовольствие.

— Благодарю вас, мисс Эвердин.

— Не за что, не за что.

— До свиданья.

Сержант поднес руку к своей сдвинутой на затылок шапке, откланялся и зашагал по полю к дальнему ряду косцов.

Батшеба была не в состоянии сейчас встретиться со своими работниками. Она сама не понимала, что с ней такое творится, — сердце ее неистово билось, лицо пылало, и она чуть ли не в слезах повернула обратно, к дому, шепча про себя:

— Ах, что я наделала! Что все это значит! Если бы только знать, есть ли хоть немножко правды в том, что он говорил.

Глава XXVII
Посадка пчел в улей

Пчелы в этом году в Уэзербери роились поздно, в самом конце июня. На другой день после встречи с Троем на сенокосе Батшеба стояла у себя в саду и провожала глазами пчелиный рой, пытаясь угадать, куда он сядет. Мало того что пчелы нынче запаздывали с роением, они и вели себя как-то очень своенравно. Иной год пчелы рой за роем садятся где-нибудь совсем низко — на смородиновые кусты, на ветви шпалерных яблонь, — и так во всю пору роения; а другой год они все так же дружно летят прямо ввысь и садятся на верхний сук какой-нибудь самой высокой старой раскидистой яблони, как бы издеваясь над всеми, кто вздумал бы подступиться к ним без лестницы или подпорок.

Так было на этот раз. Прикрыв глаза рукой от солнца, Батшеба смотрела, как пчелы летят куда-то в синюю высь, поднимаясь все выше и выше, пока наконец вся масса не остановилась над одним из таких ветвистых деревьев. И тут произошло нечто подобное тому, что, как полагают,

происходило многие тысячелетия тому назад при образовании Вселенной. Беспорядочная масса, которая сначала казалась темным разорванным облачком, теперь стала уплотняться, стягиваясь в туманный ком; прилепившись к ветке, ком на глазах становился все плотнее и плотнее и, наконец, четко выступил на свету густым черным пятном.

Все работники, и мужчины и женщины, были заняты уборкой сена, даже Лидди ушла на подмогу, и Батшеба решила попытаться, не сумеет ли она сама посадить рой в улей. Она положила в улей листья и травы, обрызганные медом, принесла лестницу, метелку, клюку, надела для защиты от пчел кожаные перчатки, соломенную шляпу с длинной вуалью, когда-то зеленой, но теперь выцветшей и ставшей табачного цвета, и стала подниматься по лестнице. Не успела она подняться на восемь-девять ступенек, как вдруг услышала где-то совсем неподалеку, в нескольких шагах от забора, знакомый голос, который начал обретать какую-то странную способность волновать ее.

— Мисс Эвердин, разрешите помочь вам. Как же можно браться одной за такое дело?

Трой уже открывал садовую калитку.

Батшеба швырнула вниз метелку, клюку и пустой улей, наспех закрутила подол юбки потуже вокруг ног и, не разбирая ступенек, сама не зная как, чуть ли не скатилась с лестницы. Трой уже был тут, когда она ступила на землю; он нагнулся поднять улей.

— Мне повезло, что я оказался здесь как раз в этот момент! — воскликнул сержант.

Батшеба не сразу совладала со своим голосом.

— Вот как! Вы хотите снять их за меня? — спросила она довольно нерешительно для такой бойкой особы; впрочем, для какой-нибудь застенчивой девушки такой вопрос сам по себе звучал довольно-таки смело.

— Хочу! Конечно хочу! — отозвался Трой. — Какая вы сегодня цветущая!

Он бросил наземь свой стек и стал ногой на ступеньку лестницы, собираясь лезть наверх.

— Но вам надо надеть перчатки и вуаль, а не то они вас искусают!

— Ах да! Я должен надеть перчатки и вуаль. Может быть, вы будете так добры и покажете мне, как они надеваются?

— А еще нужно надеть шляпу с полями, потому что в вашей шапке без полей вуаль будет слишком близко к лицу, и они смогут ужалить вас.

— Да, конечно, и шляпу с полями.

Итак, по прихоти капризницы-судьбы Батшеба сняла с себя шляпу с вуалью и надела все это на голову Трою, а он швырнул свою шапку в куст крыжовника. Затем она завязала на нем концы вуали поверх воротника и натянула ему на руки перчатки.

В этом наряде сержант Трой представлял собой такое достопримечательное зрелище, что Батшеба, несмотря на все свое смущение, не выдержала и расхохоталась.

Так рухнул еще один колышек из того частокола холодной учтивости, который держал его на расстоянии.

Батшеба смотрела снизу, как он сметал и стряхивал пчел с дерева, подставляя им другой рукой улей, чтобы они туда сыпались. Пока внимание его было поглощено этим занятием, она, воспользовавшись тем, что на нее не смотрят, успела прихорошиться. Он спустился, держа в вытянутой руке улей, за которым тянулась целая туча пчел.

— Клянусь жизнью! — промолвил Трой через закрывавшую его вуаль. — Держать этот улей на весу — всю руку разломило, хуже, чем после целой недели упражнений на эспадронах.

Когда вся процедура с посадкой роя была закончена, он подошел к Батшебе:

— Не будете ли вы так добры развязать меня и выпустить из этих пут. Я совсем задохся в этой шелковой клетке.

Пытаясь скрыть свое смущение во время столь непривычной операции развязывания тесемок у него на шее, она сказала:

— А я никогда не видела того, о чем вы говорите.

— Чего не видели?

— Упражнений на эспадронах.

— А-а! А вам хотелось бы посмотреть?

Батшеба была в нерешительности. Она много раз слышала от жителей Уэзербери, которые бывали в Кэстербридже и останавливались на жительство где-то возле казарм, какое необыкновенное, захватывающее зрелище эти упражнения. Мужчины и подростки, которые бегали глазеть на казарменный плац через щели ограды или сверху, взобравшись на стену, вернувшись домой, рассказывали, что ничего более ослепительного нельзя даже себе и представить; мундиры, галуны, сабли — все так и сверкает, точно мириады звезд, там, тут, со всех сторон, и при этом все движенья отличаются изумитель-

ной точностью.

Батшебе ужасно хотелось посмотреть, но она ответила сдержанно:

— Да, я бы с удовольствием посмотрела.

— Ну так вы посмотрите; я вам их покажу сам, все, с начала до конца.

— Не может быть! Как же вы это сделаете?

— Сейчас подумаем.

— Не с тростью же, это совсем неинтересно. Важно, чтобы была настоящая сабля.

— Да, я понимаю, но сабли-то у меня здесь нет, но, думаю, к вечеру я смогу достать. И вот что мы с вами сделаем, хорошо? — И, нагнувшись к ней, Трой сказал что-то совсем тихо, шепотом.

— О нет, нет, что вы! — вспыхнув, вскричала Батшеба. — Я очень вам благодарна, но этого я никак не могу.

— Отлично можете. Никто и знать не будет.

Она покачала головой, отнекиваясь, но уже не так решительно.

— Ну если бы я на это пошла, я, конечно, взяла бы с собой Лидди. Может быть, так и сделать?

Трой смотрел мимо нее, куда-то вдаль.

— Не знаю, зачем вам нужно ее с собой брать, — холодно сказал он.

В глазах Батшебы можно было прочесть, что

она тоже так думает, и не потому, что он так сухо ответил, а просто — само собой ясно, что Лидди тут будет лишней. Она почувствовала это еще до его слов, едва только заговорила о Лидди.

— Ну хорошо, я не возьму с собой Лидди — и я приду. Но только совсем ненадолго, — добавила она, — очень-очень ненадолго.

— Это займет всего каких-нибудь пять минут, — сказал Трой.

Глава XXVIII
Ложбина среди папоротников

За холмом, возвышавшимся против дома Батшебы, по ту сторону склона, так примерно на милю тянулась пустошь, вся заросшая в это время года высоким, густым папоротником с сочными, просвечивающими, недавно распустившимися листьями, сверкающими всеми оттенками свежей, нетронутой зелени.

В восемь часов, в этот летний вечер, когда ощетинившийся золотой шар на западе еще доставал своими длинными огненными стрелами концы папоротников, в их густой чаще послышался мягкий шорох и вслед за тем появилась Батшеба; раскинувшиеся веерами резные листья ластились к ней, обнимали ее за плечи, приникали со всех сторон. Она остановилась, повернула назад, дошла до склона холма и стала спускаться к дому, но на полдороге обернулась и, кинув последний взгляд туда, где она только что была, по-видимому, решила, что лучше все-таки уйти.

И тут она увидела вдалеке неестественно красное пятно, двигающееся вверх по склону. Оно

быстро скрылось по ту сторону холма.

Она выждала минуту, другую, представила себе, как огорчится Трой, когда поймет, что она нарушила уговор, и бросилась бегом обратно вверх по склону и снова в чащу, откуда только что ушла. Внезапно ее охватила дрожь, и она ужаснулась на самое себя, — как она могла поддаться этакой безумной затее. От учащенного дыхания грудь ее поднималась и опускалась, а глаза горели лихорадочным огнем. Но ее словно что-то заставляло идти.

Она подошла к краю оврага, заросшего со всех сторон папоротником. Трой стоял внизу и смотрел на нее.

— Я услышал, как зашелестел папоротник, когда вы пробирались через него, прежде чем увидел вас, — сказал он и, шагнув на откос, протянул ей руку, чтобы помочь спуститься.

Овраг представлял собой круглую, как блюдце, естественную ложбинку около тридцати футов диаметром вверху и совсем неглубокую — лучи заходящего солнца освещали головы сержанта и Батшебы. Человеку, стоящему посреди оврага, виден был только маленький кружок неба в круглый просвет в папоротниках: они сбегали по откосам почти до самого дна оврага и здесь

внезапно кончались. Окаймленное зеленью дно было устлано густым ковром моха, переплетенного травой и таким пружинисто-мягким, что нога уходила в него по щиколотку.

— Так вот, — сказал Трой, вынимая из ножен саблю, которая, едва только он поднял ее, сверкнула на солнце, словно лучезарный привет какого-то стремительного существа, — прежде всего, у нас имеются режущие удары: четыре правых и четыре левых; затем колющие — четыре правых и четыре левых. У пехоты, на мой взгляд, режущие, и выпад и защита много интереснее, чем наши, но они менее эффектны. У них семь режущих и три колющих. Ну вот это вам для начала. Теперь наш первый режущий выпад — это как если бы вы сеяли зерно, вот так. — Батшеба увидела как бы мелькнувшую в воздухе перевернутую радугу, и рука Троя тут же застыла неподвижно. — Второй — это как если бы вы забивали кол в землю, вот так. Третий — как серпом. Четвертый — как цепом молотят. Вот так. То же самое и левые выпады. А колющие — это так: раз, два, три, четыре — правые; раз, два, три, четыре — левые. — Он повторил их и спросил: — Хотите еще раз, сначала? Раз, два…

Она тут же прервала его:

— Нет, лучше не надо. На два и четыре это еще ничего, но первый и третий — ужас как страшно.

— Хорошо, избавлю вас от первых и третьих. Затем идет упражнение на режущие и колющие — выпады и защиту вместе. — Трой тут же проделал все это. — Затем на преследование противника. — Он показал и это. — Это все обычные приемы. У пехоты есть еще два совершенно дьявольских выпада снизу вверх. Но мы из гуманности не прибегаем к ним. Вот они — три, четыре…

— Как это бесчеловечно! Такая кровожадность!

— Да, это удары насмерть. Ну а сейчас я покажу вам нечто более интересное — это будут свободные упражнения, все выпады и режущие и колющие пехоты и кавалерии, все вместе вперемешку, и с такой молниеносной быстротой, что тут уже не думаешь о правилах, а только управляешь инстинктом, вернее, помогаешь ему. Вы мой противник, и единственная разница по сравнению с настоящей войной в том, что мой удар всякий раз будет миновать вас на волосок, на два. Но только чур не дергаться, не увертываться ни в коем случае.

— Не буду, не беспокойтесь, — не дрогнув, от-

вечала она.

Он показал ей место примерно в ярде от себя. Батшеба с ее смелой натурой уже начала входить во вкус этой игры, с удовольствием предвкушая новые, неизведанные ощущения.

Она стала туда, куда ей указал Трой, лицом к нему.

— Сейчас, чтобы проверить, хватит ли у вас смелости выдержать то, что я собираюсь проделать, я подвергну вас предварительному испытанию.

Он взмахнул саблей, и она только успела увидеть, как острие клинка, сверкнув, метнулось к ее левому боку, чуть повыше бедра, затем в ту же секунду выскочило справа, как будто меж ее ребер, по-видимому, пронзив ее насквозь. В третий раз она увидела эту же саблю не окровавленную, чистую, в руке Троя, он держал ее острием вверх (в позиции «оружие подвысь»). Все это произошло молниеносно.

— Ах! — вскрикнула она в ужасе, схватившись за бок. — Вы меня пронзили? Нет, не пронзили. Что же вы такое сделали?

— Я не коснулся вас, — невозмутимо ответил Трой. — Это просто такой прием. Сабля прошла за вашей спиной. Но вы не боитесь, нет? Потому что, если вы боитесь, я не могу этого делать. Даю вам

слово, что я не только не нанесу вам ни малейшей царапины, но даже ни разу не задену вас.

— Мне кажется, я не боюсь. Вы уверены, что не заденете меня?

— Абсолютно уверен.

— А сабля у вас очень острая?

— Да нет, только стойте неподвижно, как статуя. Начинаю.

И в тот же миг на глазах у Батшебы все преобразилось. Слепящие блики от низких закатных лучей замелькали кругом, наверху, впереди, скрыли из глаз небо, землю — и не осталось ничего, кроме этих чудесных, огненных спиралей сверкающего клинка Троя, который как будто был сразу везде и нигде. Эти огненные вспышки сопровождались каким-то гулом, похожим на свист, который тоже слышался сразу со всех сторон. Словом, Батшеба очутилась в сверкающем куполе света, наполненном свистом, словно вокруг нее сомкнулся свод небес, где кружился рой метеоров.

С тех пор как сабля с широким клинком стала у нас национальным оружием, никогда искусство владения ей не достигало такой виртуозности, как сегодня в руках Троя, и никогда еще ему не случалось быть в таком ударе, как в этот закатный

час, среди папоротников, наедине с Батшебой.

Чтобы воздать должное изумительной точности его ударов, можно без преувеличения сказать, что, если бы клинок его сабли оставлял нестираемый след всюду, где он рассекал воздух, пространство, оставшееся нетронутым, повторило бы в своих очертаниях точь-в-точь фигуру Батшебы.

За сверкающими снопами лучей этой aurora militaris Батшеба смутно различала алый рукав Троя на его вытянутой руке, от которой, словно от звенящей струны арфы, содрогался и стонал воздух, а дальше — самого Троя, почти все время лицом к ней; только изредка, при выпаде со спины, он становился к ней вполоборота, но все так же не сводил с нее глаз и, в напряженном усилии сжав губы, зорко соразмерял каждый взмах с очертаниями ее фигуры; но вот движения его стали замедляться, и она начала различать каждое в отдельности. Свист клинка прекратился, и все кончилось.

— У вас прядка волос выбилась, надо подобрать ее, — сказал он, прежде чем она успела опомниться. — Постойте-ка, я сделаю это за вас.

Серебряная дуга мелькнула справа от ее головы, и сабля опустилась, маленький локон упал

на землю.

— Молодцом держитесь! — похвалил Трой. — Даже не пошевельнулись. Для женщины просто удивительно.

— Это потому, что я не успела испугаться. Но вы же испортили мне прическу!

— А ну, еще раз!

— Нет, нет, я боюсь, правда же, я вас боюсь! — воскликнула она.

— Я не коснусь вас, не задену даже ваших волос. Я только убью гусеницу, которая сидит на вас. Итак: смирно!

В самом деле, гусеница, по-видимому сползшая с папоротника, расположилась отдохнуть на лифе ее платья. Батшеба увидела сверкнувшее острие клинка, направленное на ее грудь — и уже вонзающееся в нее. Она закрыла глаза в полной уверенности, что это конец. Потом, чувствуя, что ничего не происходит, открыла их.

— Вот она, смотрите, — сказал сержант, протягивая к ней саблю острием вверх. На самом конце острия повисла гусеница.

— Но это прямо колдовство! — вскричала потрясенная Батшеба.

— Нет, просто ловкость. Клинок был направлен вам на грудь, туда, где сидела гусеница, но вместо

того, чтобы пронзить вас, я отдернул его в какой-нибудь тысячной дюйма от вашего тела.

— Но как вы могли отсечь у меня прядь волос неотточенным лезвием?

— Неотточенным! Да эта сабля как бритва. Смотрите!

Он провел лезвием по своей ладони, потом поднес его к ее глазам и показал тоненький срезок кожи, приставший к стали.

— Но ведь вы с самого начала сказали, что она тупая и не может меня поранить.

— Я сказал так, чтобы вы стояли смирно… чтобы я мог быть спокоен за вас. Я рисковал вас задеть, если вы дернетесь, вот я и решил схитрить, чтобы избежать этого риска.

Батшеба передернулась.

— Я была на волосок от смерти и даже не подозревала этого.

— Вернее, вы двести девяносто пять раз были на полдюйма от того, чтобы быть освежеванной заживо.

— Как это жестоко с вашей стороны!

— И тем не менее вы были в полной безопасности. Мой клинок никогда не ошибается.

И Трой вложил саблю в ножны.

Взволнованная всем, что она испытала, и сама

не своя от нахлынувших на нее противоречивых чувств, Батшеба в изнеможении опустилась на мох.

— Теперь я должен проститься с вами, — тихо сказал Трой. — И я позволю себе взять вот это на память о вас.

Она увидела, как он нагнулся и подобрал в траве маленький локон, который он отсек от ее непокорных вьющихся волос; он обмотал его вокруг пальца, расстегнул на груди пуговицу мундира и бережно спрятал локон во внутренний карман.

Она не могла ни остановить его, ни удержать. Она уже была не в силах противостоять ему. Так человек, обрадовавшись живительному ветру, бросается ему навстречу и вдруг, обессилев от его бешеного натиска, чувствует, что он вот-вот задохнется.

— Я должен покинуть вас.

Он шагнул ближе. В следующее мгновенье его алый мундир мелькнул в густой листве папоротника и тут же исчез, сразу, как вспыхнувший на миг красный сигнал.

Но в краткий промежуток между этими двумя мгновениями лицо Батшебы вспыхнуло густой краской, всю ее с головы до ног обдало жаром и

все чувства ее пришли в такое смятение, что у нее потемнело в глазах. Ее словно что-то ударило, и от этого удара, словно от удара Моисеева жезла, заставившего хлынуть поток из скалы, — из глаз ее хлынул поток слез. Она почувствовала себя страшной грешницей. И это потому, что Трой, нагнувшись к ее лицу, коснулся губами ее губ. Он поцеловал ее.

Глава XXIX
Прогулка в сумерках

Теперь мы видим, что к различным свойствам характера Батшебы Эвердин примешивалось и некоторое безрассудство. Оно было, пожалуй, чуждо ее натуре. Внесенное стрелой Амура, оно вошло в ее плоть и кровь и пронизало все ее существо. Ясный разум Батшебы не позволял ей всецело подчиниться велениям женской природы, но женская природа была слишком сильна, чтобы внимать советам разума. Трудно сказать, что больше удивляет в женщине спутника ее жизни — склонность ли верить заведомо лживым похвалам или недоверие к правдивым осуждениям.

Батшеба любила Троя, как любит уверенная в себе женщина, когда она утрачивает свою уверенность. Если женщина с сильным характером безрассудно отрекается от своей силы, она становится беспомощнее самой слабой, которой не от чего отрекаться. Она беспомощна хотя бы потому, что впервые сознает свою слабость. У нее нет еще никакого опыта, и она не знает, как ей

лучше поступить.

Ей были неведомы хитрости и уловки, к которым прибегают в любви. Хотя она и была по природе общительной, ее жизнь протекала в замкнутом мирке, вдали от городской сутолоки и гула, на зеленых коврах лугов, где бродят одни коровы и шумит ветер, где мирное семейство кроликов или зайцев живет за вашей оградой, где ваши соседи — обитатели поселка и где расчетами занимаются только в рыночные дни. Ей были незнакомы условности так называемого хорошего тона, принятые в обществе, а о неписаном уставе распутников она вообще не имела никакого понятия. Если б она могла выразить словами свои смутные представления об этом предмете (чего она, впрочем, не делала), то, пожалуй, пришла бы к выводу, что скорей склонна повиноваться непосредственным побуждениям, чем голосу благоразумия. Она любила совсем по-детски, и если чувство ее и пылало летним жаром, оно было свежо как весна. Ее можно было упрекнуть лишь в том, что она не пыталась вдумчиво и осторожно разобраться в своем увлечении и не доискивалась, к чему оно приведет. Она могла призывать других на «крутой тернистый путь», но сама «свои советы быстро забывала».

Все неприглядное в личности Троя было спрятано от взоров женщины, а все привлекательное выставлено напоказ; у простодушного Оука, напротив того, недостатки так и били в глаза, а достоинства таились в глубине, как драгоценная руда в недрах земли.

Поведение Батшебы наглядно показывало, какая существует разница между любовью и уважением. Она охотно болтала с Лидди о Болдвуде, когда им заинтересовалась, но в чувстве к Трою признавалась лишь самой себе.

Габриэль приметил ее страстное увлечение и, обходя пастбища, с тревогой о нем размышлял в течение дня, а нередко и бессонными ночами. Раньше он испытывал муки неразделенной любви, но теперь стал еще сильнее терзаться, видя, что Батшебе грозит беда, и его личное горе отступило на задний план. Это подтверждало пресловутое наблюдение Гиппократа, что одна боль заглушает другую.

Только человек, питающий чистую, хотя, быть может, и безнадежную любовь, осмелится обличить в заблуждениях любимое существо, не опасаясь навлечь на себя его или ее неприязнь. Он решил потолковать со своей хозяйкой. Сперва он заведет речь о ее неподобающем, как ему

казалось, обхождении с фермером Болдвудом, который теперь в отъезде.

Однажды вечером ему представился удобный случай: Батшеба пошла прогуляться по меже среди ближних хлебных полей. В сумерках Оук, в этот день не уходивший далеко от дома, отправился по той же меже и вскоре встретил возвращающуюся с прогулки Батшебу. Она показалась ему очень печальной.

Пшеница уже высоко поднялась, межа была узенькая и напоминала глубокую ложбину среди обступившей ее чащи колосьев. Два человека не могли пройти рядом, не помяв пшеницу, и Оук посторонился, пропуская Батшебу.

— Ах, это вы, Габриэль! — сказала она. — Вы, я вижу, тоже прогуливаетесь. Добрый вечер.

— Я надумал пойти к вам навстречу, час-то уж поздний, — проговорил Габриэль.

Батшеба быстро проскользнула мимо него, а он повернул назад и зашагал за нею по пятам.

— Благодарю вас, но я не робкого десятка.

— Ясное дело, нет, но в наших местах шатаются непутевые люди.

— Я их ни разу не встречала.

С удивительной для него хитростью Оук уже собирался причислить галантного сержанта к

разряду «непутевых людей». Но тут он сообразил, что это довольно-таки неуклюжий прием и будет неучтиво с него начинать. Пришлось переменить тактику.

— Вас наверняка встретил бы один человек, да его сейчас нету, — начал Габриэль. — Это я о фермере Болдвуде. Вот я и подумал, не пойти ли мне.

— Вот как. — Она шла, не поворачивая головы. Некоторое время слышен был только шорох ее платья, задевавшего за тяжелые колосья. Потом она заговорила, и в голосе ее послышалось раздражение. — Я не совсем понимаю, почему вы сказали, что мистер Болдвуд наверняка бы меня встретил.

— Да это я, мисс, касательно вашей с ним свадьбы, ведь вы, должно быть, поженитесь. Все об этом говорят. Простите, что я так напрямик вам выложил.

— Это неправда, — отрезала она. — Никакой свадьбы не будет.

Габриэлю показалось, что теперь можно высказать без обиняков свое мнение.

— Что бы там люди ни толковали, мисс Эвердин, он всерьез ухаживает за вами, уж у меня-то верный глаз.

Батшебу так и подмывало оборвать разговор, запретив Оуку затрагивать эту тему. Но она сознавала всю шаткость своего положения и пошла на хитрость, чтобы спасти свою репутацию.

— Раз уж вы заговорили об этом, — начала она с жаром, — я постараюсь опровергнуть эти ложные слухи, которые мне крайне неприятны. Я ничего не обещала мистеру Болдвуду. Я никогда не питала к нему никаких чувств. Я отношусь к нему с уважением, и он действительно предложил мне стать его женою. Но я еще не давала ему решительного ответа. Как только он вернется, я отвечу ему, что никогда за него не выйду.

— Видно, люди здорово ошибаются.

— Вот именно.

— Еще на этих днях они говорили, что вы, мол, над ним забавляетесь, а вы поспешили доказать, что для вас это вовсе не забава. Теперь они толкуют, что это, как видно, не забава, а вы мне прямо говорите…

— …что я над ним забавляюсь — хотите вы сказать?

— Да, я полагаю, они говорят правду.

— Не совсем так. Я не забавляюсь над ним, но он мне вовсе не нужен.

Тут Оук вынужден был высказать свое мнение

о сопернике Болдвуда, и это вышло у него не совсем удачно.

— И надо же было вам, мисс, повстречаться с этим сержантом Троем!.. — вздохнул он.

Батшеба ускорила и тут же замедлила шаг.

— Почему? — вырвалось у нее.

— Он не стоит и вашего мизинца.

— Кто-нибудь поручил вам это мне сказать?

— Никто на свете.

— Тогда нам лучше не касаться сержанта Троя! — сухо бросила она. — Но все же я должна сказать, что сержант Трой — человек образованный и достоин любой женщины. Он благородного происхождения.

— То, что он по образованию и рождению выше рядовых солдат, уж никак не говорит в его пользу. Мне кажется, он катится под гору.

— Не понимаю, какое это имеет отношение к нашему разговору! Мистер Трой вовсе не катится под гору, он на голову выше других, и это говорит о его достоинствах.

— Мне думается, это человек без стыда и совести. И я честью прошу вас, мисс, не водитесь вы с ним. Послушайте меня хоть раз в жизни, единственный раз! Может, он и неплохой человек, от души желаю, чтобы так оно и было. Но если мы

толком не знаем, что он из себя представляет, то лучше обходиться с ним так, как если б он и впрямь был дурным, — ведь оно будет безопасней для вас! Ради бога, не доверяйте вы ему!

— А почему, позвольте узнать?

— Славный народ солдаты, но этот мне не по душе, — убежденно продолжал Оук. — Правда, он искусен в своем ремесле, может, потому он и возомнил о себе невесть что и сбился с пути; для соседей он — диво, а для женщин — пагуба. Заговорит он с вами, а вы ему: «Здравствуйте», — а сами отвернитесь. А как увидите его, перейдите на другую сторону. Если он пустит вам вслед какую-нибудь шуточку, прикиньтесь, будто не понимаете, в чем соль, не вздумайте улыбнуться. И при случае отзовитесь о нем перед людьми, которые наверняка передадут ему ваши слова: «Уж этот мне сумасброд», или: «Этот сержант, как его там», а можно и так: «Да он из семьи, что разорилась дотла». Не грубите ему, но покажите, что вам до него нет никакого дела, и вы живо отделаетесь от этого парня.

Пойманный на Рождестве снегирь не бьется так об оконное стекло, как забилось сердце Батшебы.

— Слышите… Слышите: я не позволю вам так о нем говорить! Никак не пойму, почему вы завели

речь о нем! — воскликнула она возмущенно. — Я знаю одно, з-з-знаю, что он глубоко порядочный человек, иной раз даже откровенный до грубости, он всегда говорит правду в глаза!

— Ого!

— Он ничуть не хуже других у нас в приходе. И он часто ходит в церковь, да, ходит!

— Боюсь, что там его никто не видывал. Я-то уж наверняка не видал.

— Это потому, что он незаметно проходит в боковую дверь старой колокольни, как только начнется служба, и сидит в темном уголке на хорах, — горячилась она. — Он сам мне говорил.

Это веское доказательство добродетели Троя поразило слух Габриэля, как тринадцатый удар расхлябанных часов. Он сразу раскусил, в чем дело, и доводы Батшебы потеряли в его глазах всякий вес.

С болью в сердце Оук убедился, что Батшеба слепо доверяет Трою. Взволнованный до глубины души, он отвечал твердым тоном, но голос его то и дело срывался, хотя он изо всех сил старался придать ему твердость:

— Вы знаете, хозяйка, что я люблю вас и по гроб жизни буду любить. Я сказал об этом только затем, чтобы вам стало ясно, что я уж никак не могу

желать вам зла, — ну и хватит! Мне не повезло в погоне за деньгами и всякими там благами, и не такой уж я дурак, чтобы домогаться вас теперь, когда я обнищал и вам не ровня. Но, Батшеба, милая моя хозяйка, прошу вас об одном: чтобы сохранить уважение рабочего люда, да и из простой жалости к почтенному человеку, который любит вас не меньше моего, — остерегайтесь вы этого солдата.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула она, задыхаясь.

— Вы для меня дороже всех моих собственных дел, дороже самой жизни! — продолжал он. — Послушайте же меня! Я старше вас на шесть лет, а мистер Болдвуд на десять лет старше меня, — подумайте же, подумайте, покуда еще не поздно, ведь вы будете за ним как за каменной стеной!

Упоминание Оука о своей любви несколько смягчило гнев, вызванный его вмешательством, но она не могла ему простить, что его заботы о ее благе были горячей его желания жениться на ней, а главное, ее возмущал пренебрежительный отзыв о Трое.

— Уезжайте отсюда куда хотите! — вскричала она; Оук не мог видеть ее бледности, но волнение выдавал дрожащий голос. — Вам не место на мо-

ей ферме! Я не желаю вас больше видеть!.. Прошу вас, уезжайте!

— Глупости! — хладнокровно возразил Оук. — Уже второй раз вы собираетесь меня рассчитать, но что выходит из того?

— Собираюсь? Вы уедете, сэр!.. Не желаю слушать ваших нотаций! Я здесь хозяйка!

— Так мне убираться? Какой еще вздор вы мне преподнесете? Вы обходитесь со мной, будто я какой-нибудь Дик, Том или Гарри, а ведь вы знаете, что еще не так давно мое положение было не хуже вашего. Ей-богу, Батшеба, вы слишком много себе позволяете! И потом, вам самой ясно, что если я уйду, то вы попадете в такие тиски, что вам ни за что из них не выбраться. Разве что вы обещаете мне взять толкового управителя, или помощника, или еще кого-нибудь. Я сразу же уйду, как только вы мне это обещаете.

— Не будет у меня никакого управителя, я стану, как раньше, сама вести хозяйство, — решительно заявила она.

— Ладно уж. Вы потом сами станете меня благодарить, что я остался у вас. Да разве женщине справиться с фермой? Но знайте, я не хочу, чтобы вы считали, что чем-то мне обязаны! Вовсе не хочу! Я просто делаю, что могу. Иной раз я говорю

себе, что был бы счастлив, как птица, что вырвалась на волю, если бы ушел от вас, — не думайте, что мне по душе быть мелкой сошкой. Не для этого я был рожден. А все-таки мне будет очень горько, коли ваше хозяйство пойдет прахом, — а ведь этому не миновать, если вы поставите на своем… До смерти не люблю выворачивать душу наизнанку, но вы так дерзко со мной обходитесь, что невольно выложишь то, что в другое время нипочем бы не сказал! Вижу, что сую нос куда не следует. Но ведь вы знаете, как дело обстоит и кто она, женщина, которую я без памяти люблю, и до того ополоумел, что забыл об учтивости.

Батшеба в глубине души уважала Оука за его суровую преданность, которую его тон доказывал убедительнее слов. Она пробормотала сквозь зубы, что он может оставаться. Потом прибавила погромче:

— А теперь уйдите отсюда! Я не приказываю вам как хозяйка, я прошу вас как женщина. Надеюсь, у вас хватит учтивости послушаться меня.

— Ясное дело, мисс Эвердин, — мягко отозвался Габриэль. Его удивило, что она попросила его удалиться, когда борьба уже кончилась и они находились в этот поздний час на уединенном холме, вдали от всякого жилья. Он остановился и

следил глазами за удалявшейся Батшебой. Вскоре ее силуэт стал смутно различим на фоне неба.

Тут он понял с отчаянием в сердце, почему она так страстно стремилась отделаться от него. Рядом с нею выросла другая фигура. Конечно, это был Трой. Оук боялся, как бы случайно не подслушать их разговора, хотя его отделяли от влюбленной пары добрых двести ярдов, — и, повернувшись, он зашагал домой.

Габриэль направился через кладбище. Проходя мимо колокольни, он вспомнил слова Батшебы о добродетельном обычае сержанта незаметно пробираться в церковь в начале службы. Сильно подозревая, что узенькой дверью, которая вела на хоры, уже давно никто не пользуется, он поднялся по наружной лестнице на верхнюю площадку и стал осматривать дверь. На северо-западе еще не погасла вечерняя заря, и в ее бледном сиянии он разглядел, что побеги плюща, перекинувшись со стены, протянулись по двери на несколько футов и сплели легкими гирляндами дощатую панель с каменным косяком. Это говорило, что дверь уже давным-давно не отворялась.

Глава XXX
Пылающие щеки и полные слез глаза

Спустя полчаса Батшеба вернулась домой и зажгла свечи. Ее лицо так и пылало от возбуждения, что, впрочем, теперь случалось с ней довольно-таки часто. В ушах у нее все еще звучали прощальные слова Троя, проводившего ее до самых дверей. Расставаясь с ней, он сообщил, что уезжает на два дня в Бат навестить своих друзей. И он снова поцеловал ее.

К чести Батшебы следует упомянуть об одном обстоятельстве, тогда еще неизвестном Оуку: хотя Трой появился в тот вечер на дороге как раз в нужный момент, они вовсе не условились заранее о свидании. Он было заикнулся о встрече, но Батшеба наотрез отказалась, и теперь она отослала Оука лишь на всякий случай, опасаясь, что он столкнется с Троем, если тот все-таки придет.

Батшеба опустилась на стул, взбудораженная и потрясенная всем пережитым. Но вдруг она вскочила на ноги, по-видимому приняв какое-то решение, и села за свой секретер.

За каких-нибудь пять минут, не отрывая пера

и без единой поправки, она настрочила письмо Болдвуду, находившемуся в окрестностях Кэстербриджа; тон послания был мягкий, но твердый, она сообщала, что серьезно обдумала его предложение, — ведь он предоставил ей время для размышлений, — и окончательно решила, что не пойдет за него замуж. Она только что сказала Оуку, что подождет, пока Болдвуд вернется домой, и тогда даст ему ответ. Но теперь Батшеба была уже не в силах ждать.

Письмо можно было отослать лишь на следующий день, но оно жгло ей руки, и, спеша от него избавиться, она встала и отправилась на кухню передать его одной из служанок.

На минуту она остановилась в коридоре. Из кухни доносились голоса, разговор шел о Батшебе и о Трое.

— Ежели он женится на ней, она наверняка откажется от фермы.

— Развеселое будет житье, только после всех радостей как бы не хлебнуть им горя, — вот оно что!

— Вот мне бы такого муженька!..

Батшеба была чересчур умна, чтобы принимать всерьез пересуды служанок, но слишком по-женски несдержанна, чтобы не отозваться

на их слова, которые следовало бы оставить без внимания. Она вихрем влетела в кухню.

— О ком это вы толкуете? — спросила она.

В смущении служанки замолкли. Потом Лидди чистосердечно призналась:

— Да мы тут говорили кое-что про вас, мисс.

— Так я и думала! Слушайте, Мэриен, Лидди и Темперенс! Я запрещаю вам делать такие предположения! Вы же знаете, что мне дела нет до мистера Троя! Я терпеть его не могу — это всякий знает. Да, — повторила своенравная девушка, — я ненавижу его!

— Мы знаем, что вы его ненавидите, — отозвалась Лидди, — да и мы тоже.

— Я страсть как его ненавижу! — выпалила Мэриен.

— Мэриен!.. До чего же ты фальшива! И у тебя хватает духу его бранить!.. — накинулась на нее Батшеба. — Еще нынче утром ты восхищалась им, превозносила его до небес! Разве не так?

— Да, мисс, но ведь и вы его нахваливали. Но он оказался сущим прохвостом, потому и опротивел вам.

— Никакой он не прохвост! Как ты смеешь мне это говорить! Я не имею права его ненавидеть, и ты не имеешь, да и никто на свете!.. Но все это

глупости! Какое мне дело до него! Решительно никакого! Он мне безразличен, я не собираюсь его защищать. Но имейте в виду, если кто-нибудь из вас скажет хоть слово против него, мигом уволю!

Она швырнула письмо на стол и устремилась в гостиную с тяжелым сердцем и глазами, полными слез, Лидди побежала за ней.

— Ах, мисс! — ласково сказала Лидди, глядя с участием на Батшебу. — Прошу прощения, мы вас не поняли. Я думала, он вам мил, но теперь вижу, что совсем даже наоборот.

— Закрой дверь, Лидди.

Лидди затворила.

— Люди вечно болтают всякий вздор, мисс, — продолжала она. — Теперь я буду вот как им отвечать: «Да разве такая леди, как мисс Эвердин, может его любить!» Так прямо и выложу!

Батшеба взорвалась:

— Ах, Лидди, какая ты простушка! И до чего ты недогадлива! Где же у тебя глаза? Или ты сама не женщина?

Светлые глаза Лидди округлились от изумления.

— Да ты прямо ослепла, Лидди! — воскликнула Батшеба в порыве острого горя. — Ах, я люблю его до безумия, до боли, до смерти! Не пугайся меня,

хоть, может, я и могу напугать невинную девушку. Подойти поближе, поближе. — Она обхватила Лидди руками за шею. — Мне надо высказать это кому-нибудь, я прямо истерзалась! Неужели ты меня не знаешь! Как же ты могла поверить, что я и впрямь от него отрекаюсь! Боже мой, какая это была гнусная ложь! Да простит мне Господь! И разве ты не знаешь, что влюбленной женщине ничего не стоит на словах отречься от своей любви? Ну а теперь уйди отсюда, мне хочется побыть одной.

Лидди направилась к двери.

— Лидди, пойди-ка сюда. Торжественно поклянись мне, что он вовсе не ветрогон, что все это лгут про него!

— Простите, мисс, разве я могу сказать, что он не такой, ежели…

— Противная девчонка! И у тебя хватает жестокости повторять их слова! У тебя не сердце, а камень!.. Но если ты или кто-нибудь другой у нас в селении или в городе посмеет его ругать… — Она вскочила и принялась порывисто шагать от камина к дверям и обратно.

— Нет, мисс. Я ничего не говорю… Я же знаю, что все это враки! — воскликнула Лидди, напуганная необычной горячностью Батшебы.

— Ты поддакиваешь мне, только чтобы мне угодить. Но знаешь, Лидди, он не может быть плохим, что бы там о нем ни судачили. Слышишь?

— Да, мисс, да.

— И ты не веришь, что он плохой?

— Уж и не знаю, что вам сказать, мисс, — растерянно пролепетала Лидди с влажными от слез глазами. — Скажи я «нет» — вы мне не поверите, скажи «да» — вы разгневаетесь на меня!

— Скажи, что ты не веришь этому, ну скажи, что не веришь!

— Я не думаю, что он уж такой плохой, как о нем толкуют.

— Он вовсе не плохой… О, как я несчастна! Как я слаба! — со стоном вырвалось у Батшебы. Казалось, она забыла о Лидди и теперь говорила сама с собой. — Лучше бы мне никогда с ним не встречаться! Любовь — всегда несчастье для женщины! Ах, зачем только Бог создал меня женщиной! И дорого же мне приходится расплачиваться за удовольствие иметь хорошенькое личико! — Но вот она пришла в себя и резко повернулась к Лидди. — Имей в виду, Лидия Смолбери, если ты кому-нибудь передашь хоть слово из того, что я сказала тебе, я никогда не буду тебе доверять, сразу разлюблю тебя и сию же минуту рассчитаю…

сию же минуту!

— Я не стану ничего выбалтывать, — ответила Лидди с видом оскорбленного достоинства, в котором было что-то детское, — но только у вас я не останусь. Как вам угодно, а я уйду после сбора урожая либо на этой неделе, а то и нынче… Кажется, я ничем не заслужила, чтобы меня разносили и кричали на меня ни с того ни с сего! — гордо заключила маленькая женщина.

— Нет, нет, Лидди, ты останешься со мной! — вскричала Батшеба, с капризной непоследовательностью переходя от высокомерного обхождения к мольбам. — Не обращай внимания на мои слова, ты же видишь, как я взволнована. Ты не служанка, ты моя подруга. Боже, боже!.. Я сама не знаю, что делаю с тех пор, как эта ужасная боль стала раздирать мою душу! До чего еще я дойду! Наверное, теперь не оберешься всяких напастей! Иной раз я думаю, что мне суждено умереть в богадельне. Кто знает, может, так оно и будет, ведь у меня нет ни одного близкого человека!

— Я больше не буду на вас обижаться и нипочем не покину вас! — громко всхлипывая, воскликнула Лидди и бросилась обнимать Батшебу.

Батшеба расцеловала девушку, и они помирились.

— Ведь я не так уж часто плачу, правда, Лидд? Но ты заставила меня прослезиться, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. — Постарайся все-таки считать его порядочным человеком, хорошо, милая Лидди?

— Постараюсь, мисс.

— Он надежный человек, хоть с виду и сумасбродный. Это лучше, чем быть, как некоторые другие, сумасбродом, но с виду надежным. Боюсь, что я именно такая. И обещай мне, Лидди, хранить тайну, слышишь, Лидди! Чтобы никто не узнал, что я плакала из-за него, это было бы для меня ужасно и повредило бы ему, бедняжке!

— Даже под страхом смерти из меня никому не вытянуть ни слова, хозяйка! По гроб жизни буду вашим другом! — горячо отвечала Лидди, и на глазах у нее блеснули слезы — не потому, что ей хотелось плакать, а просто, обладая врожденным артистическим чутьем, она, как многие женщины в таких обстоятельствах, хотела быть на высоте положения. — Мне думается, Господу Богу угодна наша дружба, а как по-вашему?

— Я тоже так думаю.

— Но, дорогая мисс, вы больше не будете грозиться и распекать меня, правда? Я даже боюсь — вот-вот вы броситесь на меня, как лев… Дума-

ется, когда вы вот так разойдетесь, вы любого мужчину за пояс заткнете!

— Да что ты! — Батшеба усмехнулась, хотя ей не понравилось, что ее можно изобразить в виде этакой амазонки. — Надеюсь, я уж не такая грубиянка и не похожа на мужчину? — продолжала она не без волнения.

— О нет, вы ничуть не смахиваете на мужчину, но вы такая сильная женщина, что иной раз можете нагнать страху. Ах, мисс, — продолжала Лидди, глубоко вздыхая и приняв скорбный вид. — Хотелось бы мне хоть вот настолечко иметь такой недостаток. Это немалая защита для бедной девушки в наши дни!

Глава XXXI
Упреки. Ярость

На другой день к вечеру Батшеба, сговорившись с Лидди, стала собираться в путь, она решила на время уехать из дому, чтобы избежать встречи с мистером Болдвудом, который вот-вот мог вернуться и прийти к ней для объяснения по поводу ее письма. Компаньонка Батшебы в знак примирения получила недельный отпуск и могла навестить сестру, муж которой с немалым успехом делал плетеные загородки и кормушки для скота; семья жила в очаровательной местности среди густых зарослей орешника, в окрестностях Иелбери. Мисс Эвердин обещала оказать им честь и погостить у них денек-другой, чтобы познакомиться с хитроумными нововведениями в изделиях этого обитателя лесов.

Наказав Габриэлю и Мэриен тщательно запереть на ночь все службы, она вышла из дому. Только что пронеслась гроза с ливнем, которая очистила воздух, омыла листву и придала ей блеск, но под деревьями было по-прежнему сухо. Живописные холмы и лощины источали напо-

енную ароматами прохладу; казалось, это было свежее, девственное дыхание самой земли; веселое щебетанье птиц придавало еще бóльшую прелесть пейзажу. Перед Батшебой в громадах туч зияли огненные пещеры самых фантастических очертаний, говорившие о близости солнца, которое в разгаре лета садилось на крайнем северо-западе.

Батшеба прошла около двух миль, наблюдая, как медленно отступает день, и размышляя о том, как часы труда мирно переходят в часы раздумий, сменяясь затем часами молитвы и сна; вдруг она увидела, что с Иелберийского холма спускается тот самый человек, от которого она так отчаянно стремилась скрыться. Болдвуд шел к ней навстречу, но поступь его странно изменилась: раньше в ней чувствовалась спокойная, сдержанная сила, и казалось, он на ходу что-то взвешивает в уме. Сейчас его походка стала вялой, словно он с трудом передвигал ноги.

Болдвуд впервые в жизни обнаружил, что женщины обладают искусством уклоняться от своих обещаний, хотя бы это и грозило гибелью другому человеку. Он крепко надеялся, что Батшеба девушка положительная, с твердым характером, далеко не такая ветреная, как другие

представительницы ее пола; он полагал, что она благоразумно изберет правильный путь и даст ему согласие, хотя и не смотрит на него сквозь радужную призму безрассудной любви. Но теперь от его былых надежд остались лишь жалкие осколки, — так в разбитом зеркале отражается изломанный образ человека. Он был в такой же мере уязвлен, как и потрясен.

Он шагал, глядя себе под ноги, и не замечал Батшебы, пока они не подошли совсем близко друг к другу. Услышав размеренный стук ее каблучков, он поднял голову. Его искаженное лицо выдавало всю глубину и силу страсти, остановленной в своем разбеге ее письмом.

— Ах, это вы, мистер Болдвуд, — пролепетала она, и лицо ее залилось краской смущения.

Тот, кто обладает способностью молча высказывать упреки, умеет находить средства, действующие сильнее слов. Глаза выражают оттенки переживаний, недоступные языку, и мертвенная бледность губ красноречивее любого рассказа. В такой сдержанности и безмолвии есть своего рода величие и терпкий привкус скорби. Во взоре Болдвуда было нечто, не передаваемое словами.

— Как! Вы меня испугались? — удивился он,

заметив, что она слегка отшатнулась в сторону.

— Зачем вы это говорите? — спросила Батшеба.

— Мне так показалось, — отвечал он. — И это меня чрезвычайно удивило: разве можно бояться человека, который питает к вам такое чувство?

Девушка овладела собой и устремила на него спокойный взгляд, выжидая, что будет дальше.

— Вы знаете, что это за чувство, — медленно продолжал Болдвуд. — Оно сильно, как смерть. Вы не можете его оборвать своим торопливым отказом.

— Ах, если бы вы не испытывали ко мне такого сильного чувства, — пролепетала она. — Вы слишком великодушны. Я, право же, этого не заслуживаю. И сейчас я не в силах вас слушать.

— Слушать меня? А что мне остается вам сказать? Вы не пойдете за меня — вот и все! Из вашего письма это яснее ясного. Нам с вами не о чем больше говорить.

Батшебе никак не удавалось найти выход из ужасающе неловкого положения. В смущении она пробормотала: «До свидания» — и двинулась дальше. Но Болдвуд быстро нагнал ее, ступая большими, тяжелыми шагами.

— Батшеба, дорогая моя… неужели вы оконча-

тельно мне отказываете?

— Да, окончательно.

— О Батшеба!.. Сжальтесь надо мной! — простонал Болдвуд. — Ради бога!.. Ах! Я дошел до такого… до последнего унижения… прошу женщину о пощаде! Но ведь эта женщина вы… вы!

Батшеба умела управлять собой. Но у нее невольно вырвались не совсем внятные слова:

— Вы не слишком-то высокого мнения о женщинах. — Она проговорила это чуть слышно, — было невыразимо печально и мучительно видеть человека, ставшего игрушкой страсти, и потеря мужского достоинства вызывала в ней инстинктивный протест.

— Вы свели меня с ума, — продолжал он. — Я потерял всякую власть над собой. И вот я умоляю вас! Ах, если б вы знали, как я вас боготворю! Нет, вам этого не понять. Но все же из простого милосердия не отталкивайте меня — ведь я так одинок!

— Как я могу вас отталкивать? Ведь вы никогда не были мне близки… — Сейчас ей стало ясно, что она никогда его не любила, и на минуту она позабыла о вызове, опрометчиво брошенном ему в тот февральский день.

— Но было время, когда я вовсе не думал о вас,

и вы первая обратили на меня внимание! Я не упрекаю вас, ведь я понимаю, что, не привлеки вы меня к себе тем шутливым письмом в Валентинов день, было бы еще хуже — я жил бы как сыч в своем холодном дупле, — хотя знакомство с вами и принесло мне несчастье. Но, повторяю, было время, когда я не знал вас и не думал о вас, — и это вы завлекли меня. Не говорите, что вы и не думали меня обнадеживать, все равно я вам не поверю!

— Да разве я вас обнадеживала! То было сущее ребячество, и я от скуки затеяла эту игру. Потом я горько раскаивалась, да, горько, даже плакала. И у вас хватает духу напоминать мне об этом?

— Я не виню вас, я скорблю об этом. Я принял всерьез то, что, по вашим словам, было шуткой. А теперь, когда я хочу услыхать от вас, что вы отказали мне в шутку, вы подтверждаете свой отказ до боли, до ужаса серьезно. Ваши желания идут вразрез с моими. Как было бы славно, если б мы оба испытывали одинаковые чувства — горячую любовь или полное равнодушие! Если бы я мог тогда предвидеть, какие мучения принесет мне ваша вздорная проделка, — я возненавидел бы вас! Но теперь я не могу вас проклинать, потому что слишком вас люблю!.. Я стал тряпкой и со-

всем раскис! Ах, Батшеба, вы первая женщина, которую я полюбил, и я так привык считать вас своей, что меня как громом поразил ваш отказ! Ведь вы мне, можно сказать, дали слово! Но я вовсе не хочу вас разжалобить, омрачить вашу душу! Какой в этом толк! Я должен все вытерпеть. Мне не станет легче, если вы будете страдать из-за меня.

— Я жалею вас… от всей души!.. — горячо сказала она.

— Не надо! Не надо меня жалеть! Ах, Батшеба! На что мне ваша жалость! Мне нужна ваша любовь! И если вы перестанете меня жалеть, как уже перестали любить, мне от этого ни тепло, ни холодно. Сокровище мое! Как нежно вы говорили со мной у зарослей осоки, возле моечной запруды, и в сарае во время стрижки овец, и еще совсем недавно, в тот дивный вечерний час у вас в гостиной! Ведь вы надеялись полюбить меня, были твердо уверены, что со временем привяжетесь ко мне?.. И все это забыто! Забыто!..

Она справилась со своим волнением, посмотрела ему в глаза спокойным ясным взглядом и сказала своим твердым, низким голосом:

— Мистер Болдвуд, я не давала вам никаких обещаний. Но неужели вы считали меня совсем

бесчувственной, когда оказали мне величайшую честь, какую оказывает женщине мужчина, объяснившись ей в любви? Естественно, что во мне пробудились какие-то чувства, ведь я не какая-нибудь бездушная кукла! То были мимолетные чувства, приятное волнение. Для большинства мужчин любовь своего рода развлечение, — и могла ли я думать, что для вас это вопрос жизни и смерти? Умоляю вас, образумьтесь и не судите так строго обо мне!

— К чему эти увещания? К чему? Мне ясно лишь одно: вы были почти моя, а теперь вы совсем не моя!.. Все изменилось, и только из-за вас, так и знайте! Раньше вы были для меня ничем, и я жил спокойно… Теперь вы опять стали ничем, — но как ужасна для меня эта ваша отчужденность! Господи! Лучше бы вы меня не завлекали! Ведь вы так безжалостно отшвырнули меня!

При всем своем мужестве Батшеба стала чувствовать, что она и впрямь «сосуд скудельный». Тщетно боролась она со своей женской слабостью, — непрошеные чувства нахлынули бурным потоком. Упреки сыпались на нее градом. Она старалась успокоиться, глядя на деревья, облака и на знакомые ей картины, но это ей не удавалось.

— Я не завлекала вас, честное слово, не завлека-

ла! — отвечала она с мужеством отчаяния. — Ну, зачем вы так на меня нападаете? Пусть я не права, но скажите это мне не так сурово. О сэр, простите меня и отнеситесь ко всему этому благодушно!

— Благодушно! Неужели одураченный человек с разбитым сердцем может проявлять благодушие? Если я проиграл, разве я стану притворяться, что я в восторге? Боже мой, до чего вы бессердечны! Если б я только знал, какую горькую участь вы мне готовите, я избегал бы вас, ни разу бы на вас не взглянул и не заговорил бы с вами. Вот я всю душу перед вами выворачиваю, но вам-то что! Вам нет дела до меня.

Молча, с подавленным видом она качала головой, словно отбрасывая упреки, какими осыпал ее этот статный, бронзовый от загара человек с головой римлянина, в расцвете сил, весь трепетавший от возбуждения.

— Дорогая моя, любимая! Сейчас я сам не знаю, что мне делать, — отказаться ли от вас в отчаянье или добиваться вас ценой любых унижений. Забудьте, что вы сказали «нет!» — и пусть все будет по-старому! Скажите, Батшеба, что вы только в шутку написали мне отказ, ну скажите же мне это!

— Это значило бы солгать и ни к чему хорошему

бы не привело. Вы приписываете мне слишком большую чувствительность. Уверяю вас, я по природе далеко не такая мягкая, как вы думаете. Я выросла среди чужих людей, испытала холод жизни и не способна к нежным чувствам.

Он возразил уже с раздражением:

— Может быть, отчасти это и правда, но вам не удастся меня убедить, мисс Эвердин! Вы совсем не такая холодная женщина, какой сейчас себя изображаете. Нет, нет! Вы не отвечаете на мое чувство вовсе не потому, что не можете полюбить. Конечно, вам хочется мне это внушить, скрыть от меня, что у вас тоже пылкое сердце. Вы способны любить, но только не меня. Я все знаю.

Ее сердце и без того учащенно билось, но тут оно заколотилось неистово, и она вся содрогнулась. Он добирается до Троя! Так он знает, что произошло? Через миг это имя сорвалось у него с губ.

— Как смел Трой посягнуть на мое сокровище! — яростно крикнул он. — Я не сделал ему никакого зла, — как же смел он завладеть вашим вниманием! Пока он не начал увиваться за вами, вы были согласны выйти за меня. При следующей же встрече вы ответили бы мне: «Да!» Попробуйте это отрицать! А ну попробуйте!

Батшеба медлила с ответом, но врожденная честность не позволила ей солгать.

— Не могу, — прошептала она.

— Конечно, не можете. А он вскружил вам голову в мое отсутствие, он ограбил меня. Почему не покорил он вас раньше? Тогда никто бы не страдал. Тогда никто не стал бы жертвою сплетен! А теперь все ухмыляются, глядя на меня… Мне кажется, даже небо и холмы смеются надо мной, и я краснею от стыда, сознавая свое безумие. Я потерял уважение людей, свое доброе имя, положение в обществе, потерял безвозвратно… Ну что ж, выходите за него! Выходите!

— Ах, сэр!.. Мистер Болдвуд!..

— Кто же вам мешает? Я отступаюсь от вас! Лучше всего мне уехать куда-нибудь подальше, спрятаться от людей и молиться день и ночь. На свою беду, я полюбил женщину. Теперь я стыжусь этого. Когда я умру, обо мне скажут: «Бедняга! Его доконала несчастная любовь!» Боже мой! Боже мой! Если бы еще никто не знал о моем позоре и я сохранил бы уважение людей! Но теперь все потеряно, он похитил у меня любимую! Бесчестный он человек! Бесчестный!

Он выкрикнул это в такой ярости, что Батшеба невольно отшатнулась от него.

— Я женщина, — прошептала она в испуге. — Не говорите со мною так.

— Вы знали, прекрасно знали, что убьете меня своей изменой! Вас ослепили медь и пурпур! Ах, Батшеба! Вот уж поистине женское безумие!

Она вспыхнула.

— Вы забываетесь! — гневно крикнула она. — Все, решительно все ополчились на меня! Как вам не совестно так нападать на женщину! Меня некому защитить. Как вы безжалостны! Что ж, издевайтесь надо мной, ругайте меня, но сколько бы вас ни было, хоть целая тысяча, — я не сдамся!

— Уж наверное вы будете судачить с ним обо мне. Похвастаетесь: «Болдвуд готов был умереть за меня!» Да, да! И вы поддались ему, хотя и знали, что он вам не пара! Он целовал вас, называл вас своей! Слышите: он целовал вас! Попробуйте-ка это отрицать!

Как бы ни страдала женщина, она всегда робеет перед страдающим мужчиной, и хотя Болдвуд отличался такой же страстной и пылкой натурой, как она, был ее двойником в мужском облике, лицо ее невольно передернулось.

— Оставьте меня, сэр! Оставьте! — прошептала она, задыхаясь. — Я для вас чужая. Пропустите

же меня.

— Попробуйте отрицать, что он целовал вас!

— Я и не буду отрицать…

— А! Так он вас целовал! — хрипло простонал он.

— Целовал, — отчеканила она с вызовом, хотя и холодея от страха. — И я не стыжусь говорить правду.

— Будь он проклят! Будь проклят! — захлебнувшись от ярости, прошептал Болдвуд. — Я не смел коснуться вашей руки, а вы позволили этому наглецу целовать вас, хотя он и не имел на это никаких прав! Силы небесные! Он целовал вас! О! Когда-нибудь он раскается, что причинил другому человеку такие страдания, и тогда — уж я знаю! — он будет томиться, и терзаться, и проклинать, и тосковать… точь-в-точь как я теперь!..

— Ах, не проклинайте его, не желайте ему зла! — воскликнула она в ужасе. — Все что угодно, только не это! О, будьте снисходительны к нему — ведь я его люблю!..

Гнев Болдвуда достиг уже такого накала, когда человек теряет способность рассуждать и разбираться в окружающем. Казалось, надвигавшийся мрак сгущался у него в глазах. Он уже не слушал ее.

— Я проучу его, клянусь честью, проучу! Вот повстречаюсь с ним и не погляжу на его мундир, отхлещу нахального юнца, который подло украл единственную мою радость!.. Будь их хоть сотни таких наглецов, всех отхлещу!.. — Внезапно голос Болдвуда сорвался, и он заговорил как-то неестественно тихо: — Ах, Батшеба, дорогая моя, вы убили меня своим кокетством! Но простите меня! Я бранил вас, запугивал, вел себя как последний грубиян, — а ведь весь грех на нем! Он наплел вам всяких небылиц и завладел вашим сердцем!.. Счастье его, что он вернулся в свой полк, что его здесь нет! Надеюсь, он не так скоро сюда нагрянет. Дай бог, чтобы он не попадался мне на глаза, иначе я не ручаюсь за себя. Батшеба, не подпускайте его близко ко мне, ни за что не подпускайте!

С минуту Болдвуд стоял с таким убитым видом, словно выдохнул душу вместе со страстными словами. Потом он повернулся и медленно зашагал прочь; вскоре его фигура растаяла в полумраке, и звук шагов потонул в глухом шелесте листвы.

Батшеба, все это время стоявшая неподвижно, как статуя, вдруг закрыла лицо руками, пытаясь осмыслить разыгравшуюся перед ней сцену. Ее пугал этот взрыв бешенства, совершенно

неожиданный у столь спокойного человека. Она считала его хладнокровным и сдержанным — и вдруг он так показал себя!

Угроз фермера приходилось опасаться в связи с одним обстоятельством, о котором было известно ей одной: ее возлюбленный через день-другой должен был вернуться в Уэзербери. Трой не поехал, как думал Болдвуд, в казармы, находившиеся довольно далеко, он попросту отправился погостить к своим знакомым в Бат, причем оставалась еще добрая неделя до конца его отпуска.

Она с тревогой размышляла о том, что если он в ближайшее время навестит ее и повстречается с Болдвудом, то не миновать яростной стычки. Она дрожала при мысли, что Трой может пострадать. От малейшей искры в душе фермера вспыхнет гнев и ревность, и он опять потеряет власть над собой. Трой начнет ядовито насмехаться, а рассерженный фермер свирепо расправится с ним.

Неопытная в жизни девушка до смерти боялась, что ее сочтут увлекающейся, и под маской беспечности скрывала от людей овладевшее ею горячее, сильное чувство. Но сейчас куда девалась ее сдержанность? Батшеба позабыла о цели своего пути и в крайнем возбуждении шагала взад и вперед по дороге, взмахивая руками, хва-

таясь за голову и глухо всхлипывая. Наконец она опустилась на кучу камней на обочине и стала размышлять. Так просидела она довольно долго. На западе, над темной линией горизонта, наплывали медно-красные облака, подобно песчаным берегам и мысам окаймлявшие прозрачный зеленоватый простор небес. Пурпурные отсветы скользили по облакам, и ее взор, как бы увлекаемый неустанным вращением земли, устремлялся на восток; там картина была совсем другая, — уже начали как-то неуверенно поблескивать звезды. Она смотрела, как они безмолвно трепещут, словно пытаясь разогнать разлитый в пространстве мрак, но все это скользило мимо ее сознания. Ее взволнованная мысль уносилась далеко, — душой она была с Троем.

Глава XXXII
Ночь. Конский топот

В селенье Уэзербери было тихо, как на кладбище: живые, объятые сном, лежали почти столь же неподвижно, как мертвецы. Часы на колокольне пробили одиннадцать. Так велико было царившее кругом безмолвие, что можно было расслышать шипенье часового механизма перед тем, как раздался первый удар, и щелканье затвора, когда бой закончился. Мертвенные металлические звуки, как всегда, глухо разносились в темноте, отражаясь от стен, всплывая к разбросанным по небу облакам, проскальзывая в их разрывы и улетая в беспредельную даль.

В старом доме Батшебы с потрескавшимися от времени стенами на этот раз ночевала одна Мэриен, — Лидди, как уже говорилось, гостила у сестры, навестить которую отправилась было Батшеба. Через несколько минут после того, как пробило одиннадцать, что-то потревожило Мэриен, и она перевернулась на другой бок. Она не могла бы сказать, что именно прервало ее сон. Мэриен тут же уснула, но вскоре пробуди-

лась с каким-то смутным беспокойством: уж не стряслось ли что-нибудь? Вскочив с кровати, она выглянула в окно. К этой стороне дома примыкал загон для скота; в сероватом полумраке Мэриен разглядела, что к пасущейся в загоне лошади приближается какая-то фигура. Человек схватил лошадь за холку и повел в угол загона. Там неясно темнел какой-то большой предмет; она догадалась, что это экипаж, так как через несколько минут, в течение которых, видимо, запрягали лошадь, услыхала на дороге топот копыт и стук легких колес.

Из всех представителей рода человеческого только женщина или цыган способны были бы неслышно, как привидение, прокрасться в загон. О женщине, конечно, не могло быть и речи в столь позднюю пору, очевидно, то был конокрад, который пронюхал, что этой ночью в доме почти никого нет. Это было тем более вероятно, что в Нижнем Уэзербери разбили табор цыгане.

Мэриен побоялась крикнуть в присутствии грабителя, но, когда он удалился, расхрабрилась. Живо накинув платье, она сбежала по скрипучим, расшатанным ступенькам, бросилась к соседнему домику и разбудила Коггена. Тот кликнул Габриэля, который по-прежнему жил у него,

и все трое устремились к загону. И в самом деле, лошадь исчезла!

— Шш! — шикнул Габриэль.

Все стали прислушиваться. В застывшем воздухе гулко разносился стук копыт, — лошадь поднималась на холм у Лонгнадла, только что миновав цыганский табор в Нижнем Уэзербери.

— Ей-ей, это наша Красотка — узнаю ее бег, — заметил Джан.

— Батюшки мои! Уж и будет же нас распекать хозяйка, как воротится домой, дурачьем обзовет! — простонала Мэриен. — Ах, зачем это не приключилось при ней, — тогда не быть бы нам в ответе!

— Мы должны его нагнать! — решительно заявил Габриэль. — Я буду за все в ответе перед мисс Эвердин. Скорей в погоню!

— Как бы не так, — возразил Когген. — Наши лошади тяжелы на ногу, все, кроме Крошки, но куда же она одна на двоих! Вот если б нам заполучить ту пару, что там, за изгородью!

— Что это за пара?

— Да болдвудовские Красавчик и Милка.

— Постойте-ка здесь, я мигом слетаю, — сказал Габриэль и побежал по склону холма к ферме Болдвуда.

— Фермера Болдвуда нету дома, — заметила Мэриен.

— Вот и хорошо, — отвечал Когген. — Я знаю, по какому делу он отлучился.

Не прошло и пяти минут, как прибежал Оук, в руке его мотались два недоуздка.

— Где вы их разыскали? — спросил Когген и, не дожидаясь ответа, перемахнул через изгородь.

— Под навесом. Я знаю, где они лежат, — на ходу бросил Габриэль. — Умеете вы, Когген, скакать без седла? Некогда седлать.

— Скачу на славу! — похвастался Джан.

— Мэриен, ложитесь спать! — крикнул Габриэль, перелезая через изгородь.

Они спрыгнули с изгороди прямо на выгон Болдвуда и спрятали от лошадей недоуздки в карман. Видя, что к ним подходят с пустыми руками, лошади и не думали сопротивляться, — их схватили за холку и ловко взнуздали. За неимением мундштука и узды, сделали из веревки импровизированную уздечку. Оук вспрыгнул прямо на спину своей лошади, а Когген взобрался на свою с бугра. Выехав за ворота, они поскакали галопом в ту сторону, куда умчался грабитель на лошади Батшебы. Они еще не знали, кому принадлежит экипаж, в который запряжена лошадь.

Через несколько минут они достигли Нижнего Уэзербери. Внимательно оглядели тенистую рощицу возле дороги. Цыган не было.

— Негодяи! — воскликнул Габриэль. — И след простыл! Куда же теперь?

— Куда? Прямо вперед, яснее ясного! — отвечал Джан.

— Что ж! Лошади у нас резвые, и мы наверняка их нагоним, — заявил Оук. — С Богом!

Впереди уже не слышно было стука копыт. Когда они выехали за пределы Уэзербери, убитая щебнем дорога стала более глинистой и мягкой, прошедший недавно дождь придал ей известную упругость, однако грязи не было. Они подскакали к перекрестку. Вдруг Когген остановил Милку и спрыгнул наземь.

— В чем дело? — спросил Габриэль.

— Стука не слыхать, так надобно разыскать ихние следы, — заявил Джан, шаря у себя в карманах. Он чиркнул спичкой и нагнулся к земле. В этих местах ливень был еще сильнее, и следы пешеходов и лошадей, оставленные до грозы, были размыты, сглажены водой и превратились в крохотные лужицы, огонек спички отражался в них, словно в человеческих зрачках. Но одни следы были совсем свежие, не заполнены водой,

и две колеи, в противоположность остальным, не превратились в маленькие канавки. По следам копыт можно было определить, каким аллюром бежала лошадь: следы были парные, с промежутками в три-четыре фута, причем отпечатки правых и левых копыт приходились друг против друга.

— Ровнехонькие! — воскликнул Джан. — По следам видать, что полный галоп. Не диво, что нам ничего не слыхать. А лошадь в упряжке, — взгляните-ка на колеи!.. Стойте! Да это наша кобыла, она самая!

— Почем вы знаете?

— Старина Джимми Гаррис подковал ее на прошлой неделе, и я распозна́ю его ковку среди тысячи других!

— Остальные цыгане, видать, отправились раньше либо другой дорогой, — заметил Оук. — Вы здесь не приметили больше никаких следов?

— Нет.

Довольно долгое время они скакали в томительном молчанье. У Коггена был с собой старинный томпаковый репетир, унаследованный от какого-то именитого предка; репетир прозвонил час. Джан зажег вторую спичку и снова начал обследовать дорогу.

— Теперь это легонький галоп, — заявил он, отбрасывая горящую спичку. — Здорово швыряет двуколку. Ясное дело, загнали кобылу спервоначалу. Ну, теперь-то уж мы их нагоним.

Вскоре они въехали в Блекморскую долину. Часы Коггена пробили два раза. Когда они вновь поглядели на дорогу, отпечатки копыт тянулись прерывистыми зигзагами, совсем как фонари вдоль улицы.

— Это рысь, я уж знаю, — сказал Габриэль.

— Перешла на рысь, — весело отозвался Когген. — Дайте срок, мы их перехватим!

Они проскакали во весь дух еще две-три мили.

— Одну минутку! — воскликнул Когген. — Посмотрим, каким ходом она брала этот пригорок. Это многое нам скажет.

Он чиркнул спичкой по своим крагам, и началось обследование.

— Урра! — вырвалось у Коггена. — Она тащилась в гору шажком — трюх, трюх! Бьюсь об заклад, еще миля-другая, и мы застукаем их!

Промчались еще три мили, все время прислушиваясь. Нельзя было уловить ни единого звука, кроме глухого шума воды, падавшей в запруду сквозь промоину в плотине, и невольно рождались мрачные мысли о том, как просто уйти из

жизни, бросившись в воду. Когда они подъехали к повороту, Габриэль соскочил с лошади. Теперь следы были единственной путеводной нитью, и приходилось тщательно их разглядывать, чтобы не смешать с другими отпечатками, только что появившимися на дороге.

— Что бы это было?.. А! Догадываюсь! — проговорил Габриэль, взглянув на Коггена, водившего спичкой над следами у самого перекрестка. Джан устал не меньше загнанных лошадей, но упорно рассматривал загадочные отпечатки. На этот раз виднелись следы только трех подков. Вместо четвертой — маленькая впадина. Так повторялось и дальше.

Он сморщил лоб и протяжно свистнул: «Фью!»

— Охромела, — сказал Оук.

— Да. Красотка охромела. На левую переднюю, — медленно добавил Когген, не сводя глаз со следов.

— Едем дальше! — воскликнул Габриэль, вскакивая на взмыленного коня.

Дорога почти повсюду была в хорошем состоянии и не уступала любому большаку, хотя это был самый обыкновенный проселок. Сделав последний поворот, они выехали на дорогу, ведущую в Бат. Когген воспрянул духом.

— Здесь мы его и сцапаем! — воскликнул он.

— Где?

— У Шертонской заставы. У этих ворот сторож такой соня, каких не сыщешь во всей округе, до самого Лондона. Звать его Дэн Рендал. Я знавал его, когда он служил еще на Кэстербриджской заставе. Лошадь охромела, да еще застава, — дело наше верное!

Теперь они ехали медленно, с большой оглядкой. Они не проронили ни слова, пока не увидели перед собой на темном фоне листвы пять белых перекладин шлагбаума, преграждавших путь.

— Тсс! Подъехали, — прошептал Габриэль.

— Сворачивайте на траву, — бросил Когген.

Какой-то темный предмет резко выделялся на самой середине белого шлагбаума. Раздавшийся оттуда крик нарушил глубокое молчание ночи:

— Эй! Эй! Откройте ворота!

Очевидно, то был уже повторный окрик, хотя до сих пор они ничего не слышали, ибо не успели они подъехать, как дверь сторожки отворилась и оттуда вышел полуодетый сторож с фонарем в руке. Лучи фонаря выхватили из мрака всю группу людей.

— Не открывайте ворот! — гаркнул Габриэль. — Он украл лошадь!

— Кто? — спросил сторож.

Габриэль взглянул на человека, сидевшего в двуколке: это была женщина… больше того, это была сама Батшеба.

При звуках его голоса она поспешно отвернулась, пряча лицо в тень. Однако Когген успел ее разглядеть.

— Да это хозяйка… Лопни мои глаза! — пробормотал он, совсем сбитый с толку.

Да, то была Батшеба, и она тотчас же прибегла к уловке, что всегда удавалось ей в критические минуты, если только ею не владела любовь, — она скрыла свое удивление под маской хладнокровия.

— Скажите, Габриэль, — невозмутимо спросила она. — Куда это вы направляетесь?

— Мы думали… — начал было Габриэль.

— Я еду в Бат, — прервала она его, обнаруживая присутствие духа, которому Габриэль мог бы сейчас позавидовать. — Мне пришлось отправиться туда по важному делу, и я не смогла навестить Лидди. Что это вы вздумали гнаться за мной?

— Мы решили, что лошадь украдена.

— Этого еще не хватало! Что за глупость! Как же вы не сообразили, что это я взяла лошадь и двуколку! Мне так и не удалось разбудить Мэри-

ен, хотя я добрых десять минут барабанила в ее окно. К счастью, я нашла ключ от каретного сарая и больше никого не стала беспокоить. Неужели же вы не догадались, что это сделала я?

— Как же нам было догадаться, мисс?

— Ну, положим, что так… Ой, да это лошади фермера Болдвуда! Великий Боже! Что же это вы наделали, какую неприятность мне причинили! Стоит леди выйти за порог, как ее начинают преследовать, словно какого-нибудь жулика.

— Да откуда же было нам знать, раз вы не изволили никого оповестить? — вырвалось у Коггена. — А по правилам общества леди не положено разъезжать в этакое неурочное время.

— Я известила вас, и вы узнали бы утром. Я написала мелом на воротах каретного сарая, что приходила за лошадью и двуколкой, никого не добудилась, уехала и скоро вернусь.

— Помилуйте, мэм, да разве нам разглядеть было в потемках?

— В самом деле, — согласилась девушка. Сперва она рассердилась, но по своей рассудительности быстро оценила исключительную преданность работников. Она прибавила с ласковыми нотками в голосе: — От души благодарю вас за ваше усердие, только напрасно вы взяли лошадей ми-

стера Болдвуда.

— Красотка охромела, мисс, — заметил Когген. — Как же вы дальше-то поедете?

— В копыте застрял камешек — только и всего. Я слезла, не доезжая заставы, и вытащила его. Благодарю вас, я хорошо умею править. К рассвету доберусь до Бата. Пожалуйста, возвращайтесь домой!

Батшеба повернула голову, и в лучах фонаря сверкнули ее быстрые яркие глаза. Выехав из ворот, двуколка канула в таинственную тень нависших ветвей. Когген и Габриэль поворотили лошадей и поскакали обратно по той же дороге, овеянные бархатным воздухом июльской ночи.

— А чудну́ю выкинула она штуку, верно, Оук? — проговорил Когген, сгорая от любопытства.

— Да, — кратко отозвался Габриэль.

— Ей за ночь нипочем не добраться до Бата.

— Слушайте, Когген, пожалуй, лучше нам помалкивать об этой ночной передряге.

— Мне тоже так думается.

— Вот и ладно. К трем часам мы будем на ферме и тихонько проберемся в дом.

Сидя в тот вечер у дороги, Батшеба долго размышляла с тревогой в сердце и наконец пришла к заключению, что существует лишь два выхода

из создавшегося отчаянного положения. Первый — не допускать Троя в Уэзербери, пока не остынет ярость Болдвуда; второй — внять увещаниям Оука и гневным обличениям Болдвуда и навсегда порвать с Троем.

Увы! Разве могла она погасить в своем сердце вспыхнувшую любовь, оттолкнуть его, заявив, что он ей не мил, что она не желает его видеть и умоляет его пробыть до конца отпуска в Бате, не появляться в Уэзербери и не встречаться с ней?

Как это было бы ужасно! Все же она допускала такой выход, позволяя себе, однако, по-девичьи помечтать о том, какая счастливая выпала бы ей доля, если бы Трой был на месте Болдвуда и стезя любви совпала со стезей долга. Потом она принималась терзаться мыслью, что Трой позабыл ее и стал возлюбленным другой. Ведь она поняла натуру Троя, и ее пугало его непостоянство; но, на беду, ее любовь не ослабевала при мысли, что он ее разлюбит, напротив, от этого он становился ей еще дороже.

Внезапно она вскочила на ноги. Она должна поскорей с ним увидеться! Она станет умолять его, чтобы он помог ей развязать этот узел! Писать ему в Бат уже было поздно, да он и не послушался бы ее!

Упустила ли Батшеба из виду тот факт, что рука возлюбленного никак не может служить опорой, когда принято решение расстаться с ним? Или же она лукавила сама с собою, с замиранием сердца помышляя о том, что, приехав для рокового объяснения, во всяком случае, сможет лишний раз с ним повидаться?

Уже совсем стемнело, было около десяти часов. Чтобы осуществить свой замысел, ей оставалось одно: отказаться от посещения Лидди в Иелбери, вернуться на ферму в Уэзербери, запрячь лошадь в двуколку и помчаться в Бат. Сперва она сильно колебалась, — путь был чрезвычайно утомительный даже для сильной лошади, и она не представляла себе, что расстояние так велико. Вдобавок рискованно было ехать девушке ночью одной.

Неужели же ей отправиться к Лидди и не вмешиваться в дальнейший ход событий? Нет, нет! Она должна действовать! Батшебой овладело лихорадочное возбуждение, и она уже не внимала гласу благоразумия. Она повернула назад, к селению.

Шла она медленно, ей не хотелось появляться в Уэзербери, пока его обитатели не лягут спать, к тому же она боялась попасться на глаза Бол-

двуду. План ее был таков: за ночь добраться до Бата, утром повидаться с сержантом Троем, пока он еще не выехал к ней, расстаться с ним навсегда, потом дать отдохнуть лошади (а самой выплакаться) и на следующий день спозаранку пуститься в обратный путь. Она надеялась, что Красотка к вечеру благополучно довезет ее до Иелбери, а оттуда она в любое время вместе с Лидди вернется в Уэзербери. Таким образом, никто не узнает, что она побывала в Бате.

Вот что задумала Батшеба. Однако она не знала местности, так как еще недавно здесь поселилась, — в действительности расстояние до Бата было чуть ли не вдвое больше, чем она воображала. Мы уже видели, как она начала осуществлять свое намерение.

Глава XXXIII
На солнцепеке. Вестник

Миновала неделя, а от Батшебы все не было вестей; на ферме все были в полном недоумении.

Но вот хозяйка уведомила Мэриен, что дела задерживают ее в Бате, но на следующей неделе она надеется вернуться домой.

Прошла еще неделя. Началась уборка овса, и все работники трудились в поте лица под ослепительно-синим небом, какое бывает в День урожая. Воздух дрожал от зноя, и к полудню тени становились совсем короткими. В комнатах тишину нарушало только жужжание тяжелых, отливавших синевой мух, а на поле слышно было, как звякают косы, когда их точат, как при каждом взмахе тяжело падают стройные, янтарно-желтые стебли овса и, сталкиваясь, шуршат усатые колосья. Косцы изнемогали от жажды и то и дело прикладывались к бутылкам и флягам с сидром. Пот ручейками стекал у них по лбу и по щекам. Земля томилась от засухи.

Косцы уже собирались передохнуть в заманчивой тени дерева, стоявшего у плетня, когда

Когген заметил небольшую фигурку в синей куртке с медными пуговицами: кто-то бежал к ним по полю.

— Кто бы это был? — спросил он.

— Дай бог, чтобы ничего не приключилось с хозяйкой, — вздохнула Мэриен, которая вместе с другими женщинами вязала овес в снопы (так было заведено на этой ферме). — Только нынче утром случилось недоброе. Пошла это я отпирать дверь, да и выронила из рук ключ, а он и разломись надвое на каменном полу. Сломать ключ — дурная примета!.. А хозяйки-то все нет как нет!..

— Да это Каин Болл, — заметил Габриэль, он оттачивал косу и на минуту прервал работу.

По договору он не был обязан помогать при уборке урожая, но месяц жатвы — горячая пора для фермера, вдобавок поля принадлежали Батшебе, и он работал вместе с другими.

— Видишь, как вырядился! — заметил Мэтью Мун. — Эти дни он пропадал из дому, потому как у него сделалась ногтоеда на пальце; вот он и говорит: работать, мол, не могу, выходит, у меня праздник!

— Везет же человеку, здорово везет! — сказал Джозеф Пурграс, распрямляя спину. Как некоторые его товарищи, он любил в знойный день

передохнуть минутку под самым незначительным предлогом, а появление Каина Болла среди недели в праздничной одежде было немаловажным событием. — Как-то разболелась у меня нога, вот я и прочитал «Путь паломника», а Марк Кларк выдолбил все четыре правила, когда у него был здоровый волдырь.

— А вот мой папаша так нарочно вывихнул себе руку, чтобы приволокнуться за девушкой, — важно изрек Джан Когген, утирая лицо рукавом рубахи и сдвигая шляпу на затылок.

Тем временем Кэйни приблизился к группе жнецов, и они увидели, что он держит в одной руке здоровенный ломоть хлеба с ветчиной, откусывая на бегу, а другая рука обмотана бинтом. Подбежав к ним, он отчаянно раскашлялся, и его рот округлился, как отверстие колокольчика.

— Ах, Кэйни, — наставительно сказал Габриэль, — сколько раз я тебе говорил, что нельзя жевать, когда бежишь во весь дух. Когда-нибудь ты здорово подавишься, непременно подавишься, Каин Болл!

— Кха-кха-кха! — отозвался Каин. — Крошка попала не в то горло. Только и всего, мистер Оук. А я ездил в Бат, потому как у меня ногтоеда на большом пальце. Да! А что я видел-то! Кха-кха!

Стоило Каину упомянуть про Бат, как работники побросали косы и вилы и обступили его. К сожалению, попавшая куда не следовало крошка не придала подпаску красноречия, а тут еще новая помеха — он принялся чихать, да так бурно, что от сотрясения выскочили из кармана большие часы и стали мотаться перед ним на цепочке, как маятник.

— Да, — продолжал он, глядя в сторону Бата, куда уносились его мысли. — Наконец-то я повидал свет… Да… Видел и нашу хозяйку… Апчхи!

— Несносный малый! — воскликнул Габриэль. — Вечно у тебя какие-то неполадки в горле, — никак от тебя толку не добьешься!

— Апчхи! Прошу прощения, мистер Оук, видите ли, я ненароком проглотил комара — вот и расчихался.

— Так тебе и надобно! У тебя вечно рот разинут, негодник ты этакий!

— Ишь, какая напасть — комар влетел в рот! — посочувствовал Мэтью Мун.

— Значит, в Бате ты видел… — подсказал Габриэль.

— Видел нашу хозяйку, — продолжал подпасок, — она с солдатом гуляла. Шли они рядышком да все ближе придвигались друг к дружке. А по-

том пошли под ручку, ну совсем как влюбленная парочка. Апчхи!.. Как влюбленная парочка… Чхи-чхи!.. Влюбленная парочка… — Тут он потерял нить рассказа и совсем задохнулся; потом стал растерянно водить глазами по полю, собираясь с мыслями. — Ну да, видел я нашу хозяйку с солдатом… Апчхи!

— Да провались ты! — вырвалось у Габриэля.

— Так уж со мной всегда бывает, не взыщите, мистер Оук, — сказал Каин Болл, с упреком глядя на Габриэля мокрыми от слез глазами.

— Пусть выпьет сидра, это смягчит ему глотку, — предложил Джан Когген. Он вынул из кармана флягу с сидром, вытащил пробку и приставил горлышко к губам Каина. Между тем Джозеф Пурграс с тревогой размышлял о том, что Каин Болл может насмерть задохнуться от кашля, тогда они так и не узнают, что дальше-то происходило в Бате.

— Что до меня, то я, как соберусь что-нибудь делать, всякий раз говорю: «Помоги, Господи», — со смиренным видом изрек Джозеф. — И тебе советую, Каин Болл, это очень помогает и наверняка спасет, а то ты, не приведи Бог, можешь и насмерть задохнуться.

Когген щедрой рукой вливал сидр в широко рас-

крытый рот Каина. Жидкость, стекая по стенкам фляги, заливалась ему за воротник, и то, что он проглатывал, попадало опять-таки не в то горло; малый опять раскашлялся и расчихался, брызги фонтаном полетели на обступивших его жнецов и на мгновение повисли в горячем воздухе, как облачко пара.

— Что за дурацкий чох! И где только тебя воспитывали, щенок ты этакий! — проворчал Когген, пряча свою флягу.

— Сидр ударил мне в нос! — завопил Кэйни, как только к нему вернулся дар речи. — Затек мне за шею и попал на больной палец, и на мои блестящие пуговицы, и на парадную куртку!

— Вот уж некстати напал на беднягу кашель! — посетовал Мэтью Мун. — Не терпится услыхать новости! Похлопайте-ка его по спине, пастух!

— Это у меня от природы, — вздохнул Каин. — Матушка сказывала, я еще мальчонкой, как расчувствуюсь, никак, бывало, не уймусь.

— Верно, верно, — поддержал его Джозеф Пурграс. — В семье Боллов все такие чувствительные. Я знавал деда парнишки — суматошный был человек, а уж такой скромный, до тонкости обходительный. Чуть что, бывало, зальется краской. Ну совсем как я, а разве я в этом виноват?

— Полноте, мистер Пурграс! — возразил Когген. — Это доказывает благородство души.

— Хе-хе! Не люблю, когда люди меня хвалят, страсть не люблю! — со смиренным видом пробормотал Джозеф Пурграс. — Но сказать по правде, у каждого от рождения свой дар. А вот я так предпочитаю скрывать свои скромные дары. Но, пожалуй, возвышенная натура все-таки приметна в человеке. Когда рождался я на свет, Создатель, может, и не поскупился на дары… Но молчок, Джозеф, молчок! Такой уж я скрытный, люди добрые, — прямо на диво! Да и к чему похвалы!.. А у меня есть Нагорная проповедь, а при ней святцы, и там немало имен смиренных мужей…

— Дед Каина был уж такая умная голова, — заметил Мэтью Мун. — Он выдумал новую яблоню, она и по сей день зовется по его имени «ранняя болл». Вы знаете этот сорт, Джан? К ранету прививают Тома Пута, а потом скороспелку. Правда, любил он посидеть в трактире с женщиной, на которую не имел законных прав. А уж был умен, что и говорить, умен.

— Ну, выкладывай, Каин, — нетерпеливо сказал Габриэль, — что же ты видел?

— Я видел, как наша хозяйка входила под руку с солдатом в какой-то парк. Там стояли скамей-

ки и росли кусты и цветы, — продолжал Кэйни уверенным тоном, смутно чувствуя, что его слова волнуют Габриэля. — И думается мне, тот солдат был сержант Трой. И просидели они там с полчаса, а то и больше, и толковали о чем-то чувствительном, и она вдруг как расплачется, да горько-горько! А как вышли они из парка, глаза у нее так и сияли, а сама она была белая, как все равно лилия, и они глаз друг с дружки не сводили, и видать было, что они меж собой поладили.

Лицо Габриэля как будто осунулось.

— Ну а еще что ты видел?

— Да всякую всячину!

— Белая, как лилия... А ты уверен, что это была она?

— Да.

— Ну а еще что?

— Большущие стеклянные окна в магазинах, а на небе громадные дождевые тучи, а за городом высоченные деревья.

— Ах ты, дубина! Чего еще наплетешь! — воскликнул Когген.

— Оставьте его в покое, — вмешался Джозеф Пурграс. — Малый хочет сказать, что в Бате небо и земля не больно-то отличаются от наших. Всем нам полезно послушать, как живут в чужих горо-

дах, дайте малому рассказать.

— А жители Бата, — продолжал Каин, — если и разводят огонь, то для потехи, потому как у них бьет из-под земли горячая вода, прямо кипяток!

— Сущая правда, — подтвердил Мэтью Мун. — Я слышал об этом и от других путешественников.

— Они ничего не пьют, кроме этой воды, — добавил Каин, — и она им уж так по вкусу, посмотрели бы вы, как они ее дуют!

— Обычай вроде как дикарский, но, думается мне, для жителей Бата это дело привычное, — ввернул Мэтью.

— А что, кушанья у них тоже из-под земли выскакивают? — спросил Когген, лукаво подмигнув.

— Нет. С едой в Бате плоховато, дело дрянь. Господь послал им питье, а еды не дал, и мне было прямо невтерпеж.

— А все-таки любопытное это место, — заметил Мун. — Верно, и народ там прелюбопытный.

— Так ты говоришь, мисс Эвердин прогуливалась с солдатом? — снова вмешался в разговор Габриэль.

— Да, и на ней было такое нарядное платье, шелковое, совсем золотое, все в черных кружевах и до того пышное, что, поставь его на землю, оно

так бы и стояло само. Прямо загляденье! И волоса у нее были на диво причесаны! Ее золотое платье и его красный мундир так и сверкали на солнце, ух, какая красота! Их было видать даже на другом конце улицы!

— А дальше что? — пробормотал Габриэль.

— А дальше я зашел к сапожнику Гриффину — подбить подметки, а потом завернул к пирожнику Риггу и спросил себе на пенни самых дешевых и самых лучших черствых хлебцев, а они оказались зеленые от плесени, хотя и не все. Вот я шел по улице, жевал хлебцы и увидал часы, да такие большущие, прямо со сковороду…

— Но при чем же тут наша хозяйка?..

— Я доберусь и до нее, коли вы не будете ко мне приставать, мистер Оук! — взмолился Кэйни. — А ежели вы будете меня будоражить, я снова раскашляюсь, и тогда уж ничего от меня не добьетесь.

— Ладно, пускай себе сказывает на свой лад, — вставил Когген.

Габриэль с отчаяньем в сердце решил набраться терпения, а Кэйни продолжал:

— И там громадные дома и даже в будни на улицах народу тьма-тьмущая, больше, чем у нас в Уэзербери во время гулянья на Троицын день. И

побывал я в больших церквах и в капеллах. А уж как замечательно молится там пастор! Да! Станет на колени и сложит руки вот этак, а золотые перстни у него на руках так и сверкают, так и слепят глаза, — да, умеет он молиться, вот и заработал их! Ах, как хотелось бы мне жить в Бате!

— Разве наш пастор Сэрдли может купить себе такие перстни! — задумчиво проговорил Мэтью Мун. — А ведь таких людей, как он, поискать днем с огнем. Думается мне, у бедняги Сэрдли нету ни одного перстня, даже самого дешевенького оловянного, либо медного. А ведь как они бы его украшали в пасмурный вечер, когда он говорит с кафедры при восковых свечах! Но их ни в жизнь не будет у бедняги! Да, что и говорить, нет правды на свете!

— Может, ему вовсе не к лицу носить перстни, — буркнул Габриэль. — Ну хватит об этом! Дальше, дальше, Кэйни!

— Да! Нынче модные пасторы носят усы и длинную бороду, — продолжал знаменитый путешественник. — Ну совсем как Моисей либо Аарон, и нам, прихожанам, сдается, будто мы и есть сыны Израиля.

— Так оно и должно быть, — откликнулся Джозеф Пурграс.

— И теперь в нашей стране две веры — Высокая церковь и Высокая капелла. Ну, думаю, не ударю лицом в грязь; вот и стал я ходить утром в Высокую церковь, а по вечерам — в Высокую капеллу.

— Молодчина! Славный ты малый! — расчувствовался Джозеф Пурграс.

— В Высокой церкви поют молитвы, и там все так и сверкает, и стены расписаны всеми цветами радуги, а в Высокой капелле говорят проповеди, и только и увидишь, что серое сукно да голые стены. А между прочим… я больше не видал мисс Эвердин.

— Что ж ты раньше-то об этом не сказал! — с досадой воскликнул Габриэль.

— Ну, — сказал Мэтью Мун, — ей не поздоровится, ежели она спутается с этим молодчиком!

— Да она и не думает с ним путаться! — с негодованием возразил Габриэль.

— Ну, да ее не проведешь, — заметил Когген. — У нее в черноволосой головке-то хватает ума — не пойдет она на такое безумство!

— Он, знаете ли, не какой-нибудь там грубиян и неуч, все науки превзошел, — не совсем уверенно сказал Мэтью. — Только по своему сумасбродству пошел он в солдаты. А девушкам-то по вкусу этакие греховодники.

— Слушай, Кэйни Болл, — не унимался Габриэль, — можешь ты поклясться самой ужасной клятвой, что женщина, которую ты видел, была мисс Эвердин?

— Кэйни Болл, ведь ты не какой-нибудь сосунок, — изрек Джозеф замогильным голосом, каким говорил в торжественных случаях, — ты понимаешь, что значит дать клятву? Так и знай, это страшное свидетельство, ты ответишь за него своей кровью, и апостол Матфей говорит: «На чью голову падет клятва, тот будет раздавлен насмерть». Ну, можешь ты теперь перед всем честным народом поклясться, как тебя просит пастух?

— Ой нет, мистер Оук! — воскликнул до смерти перепуганный Кэйни, растерянно глядя то на Джозефа, то на Габриэля. — Я готов сказать, что я сказал правду, но ни за что не скажу: «Провалиться мне в тартарары, коли это неправда».

— Кэйни! Кэйни! Да разве так можно? — сурово оборвал его Джозеф. — От тебя требуют, чтобы ты дал священную клятву, а ты бранишься, как нечестивый Семей, сын Геры, который так и сыпал проклятьями! Стыдись, парень!

— Да я и не думаю браниться! Что это вы, Джозеф Пурграс, возводите на меня напраслину!

Бедный я малый! — бормотал Кэйни, у которого уже слезы брызнули из глаз. — Могу только по всей правде сказать, что то были мисс Эвердин и сержант Трой, но коли вы заставляете меня сказать под клятвой ужасную правду, то, может, то были вовсе не они!

— Будет нам допытываться, — бросил Габриэль, вновь принимаясь за работу.

— Эх, Кэйни Болл, докатишься ты до сумы! — вздохнул Джозеф Пурграс.

Вновь заработали косами, и послышался шелест и шуршанье колосьев. Габриэль не пытался казаться веселым, но и не обнаруживал своего мрачного настроения. Однако Когген прекрасно понимал, что происходит у него в душе, и, когда они отошли в сторонку, сказал:

— Не расстраивайтесь, Габриэль. Не все ли вам равно, чья она милая, коли она не для вас.

— Я тоже так думаю, — отозвался Габриэль.

Глава XXXIV
Опять дома. Фигляр

В тот же самый день в сумерках Габриэль стоял у забора сада Коггена, опершись о калитку, и осматривал в последний раз все вокруг, перед тем как идти на отдых.

Какая-то повозка медленно тащилась по заросшему травой краю дороги. Оттуда доносились голоса двух женщин. Разговаривали они непринужденно, без всякой оглядки. Он тотчас же узнал голоса Батшебы и Лидди.

Повозка поравнялась с Габриэлем и проехала мимо него. Это была двуколка мисс Эвердин, и там сидели Лидди и ее хозяйка. Лидди расспрашивала свою спутницу о Бате, и та отвечала ей небрежно и рассеянно. Заметно было, что и Батшеба и лошадь очень устали.

Он вздохнул с облегчением, увидав, что она вернулась домой здравой и невредимой, все мрачные мысли отхлынули, и им овладела огромная радость. Неприятные известия были позабыты.

Долгое время он стоял у калитки. Наконец погасли последние отсветы вечерней зари, и на

всем пространстве небес сгустился мрак. Зайцы, осмелев, принялись скакать по холмам. Габриэль, вероятно, простоял бы еще с полчаса, но вот он заметил темную фигуру, медленно направлявшуюся в его сторону.

— Добрый вечер, Габриэль, — сказал прохожий.

То был Болдвуд.

— Добрый вечер, сэр, — отозвался Габриэль.

Через мгновенье Болдвуд исчез в темноте, а Оук тут же вошел в дом и лег спать.

Болдвуд направлялся к особняку мисс Эвердин. Подойдя к парадному, он остановился. Окна гостиной были освещены. В глубине комнаты он разглядел Батшебу. Сидя спиной к Болдвуду, она просматривала какие-то бумаги или письма. Он постучал в дверь и стал ждать. Все мускулы были у него напряжены и в висках стучало.

Болдвуд не выходил за пределы своего поместья после встречи с Батшебой на дороге, ведущей в Иелбери. Он проводил дни в безмолвии, в суровом уединении, размышляя о свойствах женской природы, приписывая всей половине рода человеческого особенности единственной женщины, с которой он столкнулся. Мало-помалу он смягчился, и им овладели добрые чувства, — это и

привело его в тот вечер к Батшебе. Он решил извиниться перед ней, попросить у нее прощения, ему было немного стыдно за свою бурную выходку. Он только что узнал, что она вернулась, и думал, что она гостила у Лидди, не подозревая о ее вылазке в Бат.

Болдвуд попросил доложить о нем мисс Эвердин. Лидди как-то недоуменно посмотрела на него, но он не обратил внимания. Она удалилась, оставив его стоять у дверей; через минуту в комнате, где находилась Батшеба, были спущены шторы. Болдвуду это показалось дурным предзнаменованием. Лидди вернулась.

— Хозяйка не может вас принять, сэр, — сказала она.

Круто повернувшись, фермер вышел из сада. Она его не простила — ясно как день! Он только что видел в гостиной девушку, любовь к которой принесла ему столько радости и страданий; он был желанным гостем в начале лета, но теперь она не допускала его к себе.

Болдвуд не спешил домой. Было больше десяти часов, когда, медленно шагая по нижней улице Уэзербери, он услышал стук колес рессорного фургона, въезжавшего в селение. Фургон циркулировал между селением и городом, на-

ходившимся к северу от него, и принадлежал одному жителю Уэзербери, перед его домом он и остановился. В свете фонаря, висевшего над дверью фургона, вспыхнул красный с золотом мундир.

— А! — сказал себе Болдвуд. — Опять явился обхаживать ее!

Трой вошел в дом извозчика, у которого он останавливался в прошлый раз, когда приезжал в свои родные места. Внезапно Болдвуд принял какое-то решение. Он устремился домой. Через десять минут он вернулся и направился к дому извозчика, по-видимому собираясь вызвать Троя. Но когда он подходил, отворилась дверь и оттуда кто-то вышел.

— До свидания, — сказал этот человек, и Болдвуд узнал голос Троя. Он удивился: не успел приехать, а уже куда-то уходит! Однако он поспешил к сержанту. В руках у Троя, по-видимому, был ковровый саквояж, тот самый, с которым он и тогда приезжал. Казалось, он этим же вечером куда-то отправляется.

Трой обогнул холм и ускорил шаги. Болдвуд приблизился к нему.

— Сержант Трой?

— Да… Я сержант Трой.

— Как видно, вы только что откуда-то прибыли.

— Да, из Бата.

— Я Уильям Болдвуд.

— Вот как.

Это было сказано таким тоном, что у Болдвуда вся кровь закипела в жилах.

— Мне надо с вами поговорить, — произнес он.

— О чем?

— О той особе, что живет здесь поблизости, а также о женщине, которую вы обидели.

— Удивляюсь вашей дерзости, — отрезал Трой и зашагал дальше.

— Постойте, — и Болдвуд загородил ему дорогу, — можете сколько угодно удивляться, но вам придется иметь со мной объяснение.

В голосе Болдвуда звучала суровая решимость; Трой смерил глазами рослую фигуру фермера и увидел у него в руке толстую дубину. Он вспомнил, что уже одиннадцатый час. Волей-неволей приходилось быть вежливым с Болдвудом.

— Хорошо, я готов вас выслушать, — произнес он, ставя саквояж на землю, — только говорите потише, а то нас могут услыхать на ферме.

— Так вот, я многое знаю про вас, знаю, как любит вас Фанни Робин. Добавлю, что во всем

селении, кроме меня и Габриэля Оука, это, по-видимому, никому не известно. Вы должны жениться на ней.

— В самом деле, должен. И право же, хотел бы, да никак не могу.

— Почему?

Трой собирался что-то выпалить, но прикусил язык.

— У меня нет для этого средств, — отвечал он.

Интонация его изменилась. Только что он говорил самым наглым и бесшабашным тоном. Теперь в его голосе звучали фальшивые нотки.

Но Болдвуд был слишком возбужден, чтобы различать интонации.

— Скажу напрямик, — продолжал он. — Я вовсе не намерен разглагольствовать о добродетели или о пороке, о женской чести или позоре, вообще оценивать ваше поведение. У меня есть к вам деловое предложение.

— Понимаю, — отозвался Трой. — Давайте-ка сядем здесь.

На другой стороне дороги у плетня лежало огромное бревно, и они уселись на него.

— Я был помолвлен с мисс Эвердин, — сказал Болдвуд, — но вот приехали вы и…

— Вы не были помолвлены, — возразил Трой.

— Можно сказать, был.

— Не появись я, возможно, она и дала бы вам согласие.

— Черт возьми, наверняка бы дала!

— Значит, еще не дала!

— Не появись вы, она наверняка, да, наверняка уже была бы теперь моей невестой. Не повстречайся вы с ней, вы, вероятно, женились бы на Фанни. Мисс Эвердин вам не ровня, и нечего вам увиваться за ней, я знаю, вы задумали на ней жениться. Итак, я прошу вас об одном: оставьте ее в покое! Женитесь на Фанни. Я сделаю так, что это вас вполне устроит.

— Как же это так?

— Я вам как следует заплачу. Я положу известную сумму на ее имя и позабочусь о том, чтобы вы с ней не знали нужды. Скажу яснее: Батшеба только играет вами; я уже сказал, что вы слишком бедны для нее. Поэтому не теряйте времени даром, — вам все равно не сделать этой блестящей партии, так сделайте завтра же скромную и честную партию. Берите свой саквояж, немедленно, этой же ночью уходите из Уэзербери и берите с собой пятьдесят фунтов. Фанни тоже получит пятьдесят и приобретет все нужное к свадьбе, скажите только мне, где она живет; а еще пятьсот

будет выплачено ей в день свадьбы.

Голос Болдвуда срывался, и чувствовалось, что почва колеблется у него под ногами и он сознает несостоятельность своей тактики и не слишком верит в успех. Это был далеко не прежний Болдвуд, степенный, уверенный в себе. Несколько месяцев назад ему показался бы ребяческой глупостью план, который он развивал сейчас. Влюбленный способен испытывать сильные чувства, недоступные человеку, у которого сердце свободно. Но у человека со свободным сердцем шире кругозор. Сильная привязанность суживает круг интересов, и хотя любовь обогащает человека переживаниями, она ограничивает его поле зрения. Это перешло все пределы у Болдвуда: не зная, что случилось с Фанни Робин и где она, не имея представления о том, какими средствами располагает Трой, он, не задумываясь, делал ему такое предложение.

— Мне больше нравится Фанни, — проговорил Трой, — и если мисс Эвердин, как вы меня уверяете, для меня недоступна, что ж, пожалуй, в моих интересах принять от вас деньги и жениться на Фанн. Но ведь она только служанка…

— Это не важно. Так вы принимаете мое предложение?

— Да.

— О! — радостно выдохнул Болдвуд. — Но скажите, Трой, если она вам больше нравится, то зачем вы затеяли эту игру и разбиваете мое счастье?

— Я больше люблю Фанни, — отвечал Трой, — но Батше… мисс Эвердин увлекла меня и на время вытеснила у меня из сердца Фанни. Теперь это прошло.

— Но разве могло ваше увлечение так быстро пройти и почему вы снова приехали сюда?

— На это есть серьезные причины. Так вы даете мне сразу пятьдесят фунтов?

— Ну да. Вот они — пятьдесят соверенов. — И Болдвуд протянул Трою небольшой сверток. Тот взял его.

— У вас уже все приготовлено заранее, — усмехнулся сержант, — вы, по-видимому, рассчитывали, что я приму деньги.

— Я думал, что вы можете их принять, — отвечал Болдвуд.

— Вы пока что получили от меня только обещание выполнить программу, а я уже получил пятьдесят фунтов!

— Я уже думал об этом, но я полагаю, вы человек чести, и я могу вам довериться. Разве это не

предусмотрительность? Я предвидел, что вам не захочется потерять пятьсот фунтов, которые вас ожидают в будущем. Вдобавок вы нажили бы себе в моем лице злейшего врага, а теперь я стану вашим другом и готов вам всячески помогать.

— Тсс! Слушайте! — прошептал Трой.

Легкое постукивание каблучков донеслось с вершины холма, на который поднималась дорога.

— Клянусь, это она, — продолжал он. — Я должен пойти ей навстречу.

— Кто она?

— Батшеба.

— Батшеба, одна на улице в такой поздний час? — в изумлении воскликнул Болдвуд, вскакивая на ноги. — Почему же вы должны ее встречать?

— Она ожидала меня сегодня вечером, и теперь мне надо с ней переговорить, а потом мы распростимся навсегда, как я вам обещал.

— Зачем, собственно, вам с нею разговаривать?

— Это не повредит. А если я не приду, она станет бродить в темноте, разыскивая меня. Вы услышите все, что я ей скажу. И это поможет вам в ваших любовных делах, когда меня не будет здесь.

— Вы говорите насмешливым тоном.

— Ничуть. Имейте в виду, если она не будет знать, что со мною, она будет все время думать обо мне. Лучше уж мне сказать ей напрямик, что я решил отказаться от нее.

— Вы обещаете, что будете говорить только об этом? Я услышу все, что вы ей скажете?

— Каждое слово. А теперь сидите смирно, держите мой саквояж и мотайте на ус все, что услышите.

Легкие шаги раздавались все ближе, временами они замирали, словно девушка к чему-то прислушивалась. Трой просвистел два такта, мелодично, на манер флейты.

— Вот у вас уже до чего дошло, — горестно прошептал Болдвуд.

— Вы же обещали молчать, — остановил его Трой.

— И снова обещаю.

Трой двинулся вперед.

— Фрэнк, дорогой, это ты? — раздался голос Батшебы.

— О боже! — простонал Болдвуд.

— Да, — отвечал Трой.

— Как ты поздно! — ласково продолжала она. — Ты приехал в фургоне? Я ждала тебя и услыхала

стук колес, когда он въезжал в селение. Но прошло много времени, и я уже не надеялась увидеть тебя, Фрэнк.

— Я не мог не прийти, — отвечал Фрэнк. — Ты же знала, что я приду.

— Да, я, конечно, ожидала, что ты придешь, — весело откликнулась она. — Знаешь, Фрэнк, к счастью, сегодня ночью у меня в доме ни души! Я спровадила всех, и никто на свете не узнает, что ты посетил обитель твоей дамы. Лидди попросила отпустить ее к дедушке, ей хотелось рассказать ему о поездке к сестре, и я позволила ей пробыть у него до завтра, — а к тому времени ты уже уйдешь.

— Великолепно! — воскликнул Трой. — Но мне надо захватить саквояж, ведь там мои ночные туфли, щетка и гребень. Беги домой, а я сейчас схожу за ним и через каких-нибудь десять минут буду у тебя в гостиной.

— Хорошо. — Она повернула назад и стала быстро подниматься на холм.

Во время этого диалога у Болдвуда нервно подергивались стиснутые губы и лоб покрылся липкой испариной. Но вот он ринулся навстречу Трою. Тот повернулся к нему и схватил саквояж.

— Что же, прикажете доложить Батшебе, что я

пришел отказаться от нее и не могу жениться на ней? — насмешливо спросил он.

— Нет, нет. Подождите минутку… Мне надо еще кое-что вам сказать… еще кое-что, — проговорил Болдвуд хриплым шепотом.

— Теперь вы видите, — продолжал Трой, — в какой я попал переплет. Быть может, я дурной человек, у меня ветер в голове, и меня вечно подмывает выкинуть что-нибудь неподобающее. Но согласитесь, я не могу жениться сразу на обеих. И у меня есть основания выбрать Фанни. Во-первых, я ее больше люблю, а во-вторых, благодаря вам я сделаю выгодную партию.

В тот же миг Болдвуд кинулся на него и схватил его за горло. Трой чувствовал, как медленно сжимаются пальцы Болдвуда. Нападение было слишком неожиданно.

— Постойте, — прохрипел он. — Вы губите ту, которая вам так дорога.

— Что вы хотите сказать? — спросил фермер.

— Дайте же мне вздохнуть! — взмолился Трой.

Болдвуд разжал пальцы.

— Ей-богу, у меня руки чешутся прикончить вас!

— И погубить ее.

— Спасти ее.

— Ну нет. Теперь я один могу ее спасти, если на ней женюсь.

Болдвуд застонал. Он нехотя отпустил горло солдата и отшвырнул его к изгороди.

— Дьявол! Как ты мучаешь меня! — крикнул он.

Трой отскочил, как мяч, от изгороди и хотел было броситься на фермера, но сдержался и проговорил беспечным тоном:

— Право же, не стоит нам меряться силами. Разве можно разрешать споры таким варварским способом! Я против насилия и потому скоро уйду из армии. Ну а теперь, когда вы осведомлены, как обстоят у нас дела с Батшебой, пожалуй, не стоит меня убивать, — так ведь?

— Не стоит вас убивать, — машинально повторил Болдвуд, повесив голову.

— Лучше уж убейте себя.

— Куда лучше…

— Я рад, что вы это поняли.

— Женитесь на ней, Трой, и забудьте, что я вам только что говорил. Это ужасно для меня, но другого выхода нет: берите Батшебу! Я отказываюсь от нее! Как сильно она вас полюбила, если так безрассудно вам отдалась! О, Батшеба, Батшеба! Несчастная вы женщина! Как жестоко

вы обмануты!

— Но как же быть с Фанни?

— Батшеба вполне обеспечена, — и будет вам, Трой, прекрасною женою! И, право же, вам следует ради нее поторопиться со свадьбой!

— Но у нее властный характер, чтобы не сказать больше, она будет мной вертеть, а с бедняжкой Фанни Робин я могу делать что хочу.

— Трой! — воскликнул с мольбою Болдвуд. — Я сделаю все что угодно для вас, только не бросайте ее, ради бога, не бросайте, Трой!

— Кого? Бедняжку Фанни?

— Нет! Батшебу Эвердин! Любите ее! Любите всем сердцем! Как вы не понимаете, что в ваших же интересах немедленно скрепить свои отношения с ней?

— А что нам еще скреплять, когда я и без того с ней связан?

Рука Болдвуда судорожно протянулась к Трою. Но он подавил в себе слепой порыв и весь поник, словно раздавленный горем.

Болдвуд продолжал:

— Но вам надо поторопиться со свадьбой! Так будет лучше для вас обоих. Вы любите друг друга и должны принять от меня помощь.

— Какую помощь?

— Я положу те же пятьсот фунтов не на имя Фанни, а на имя Батшебы, чтобы вы могли поскорее обвенчаться… Но нет. Она ничего не примет от меня. Я выплачу эту сумму вам в день свадьбы.

Трой некоторое время молчал, втайне пораженный безумным ослеплением Болдвуда, Потом спросил как бы вскользь:

— Ну а сейчас я получу что-нибудь?

— Да, если угодно. У меня нет с собой крупных денег. Я не ожидал этого. Но все мое состояние будет ваше.

Болдвуд не был похож на здравомыслящего человека и скорее напоминал какого-то лунатика, когда, вытащив холщовый мешок, служивший ему вместо кошелька, начал в нем рыться.

— У меня здесь еще двадцать один фунт, — проговорил он. — Две ассигнации и соверен. Но мне надо получить подписанную вами бумагу…

— Давайте деньги, и пойдем прямо к ней в гостиную. Я готов подписать любое соглашение, лишь бы вам угодить. Только она ничего не должна знать о наших денежных делах.

— Решительно ничего, — подхватил Болдвуд. — Вот деньги, и если вы зайдете ко мне, я напишу обязательство на остальную сумму и оговорю сроки.

— Но сперва зайдем к ней.

— Зачем же? Переночуйте у меня, а завтра утром мы отправимся к нотариусу.

— Но ведь надо же с нею посоветоваться, хотя бы сообщить ей.

— Ладно. Идем.

Они поднялись на холм к особняку Батшебы. Когда они подошли к парадному, Трой сказал:

— Подождите здесь минутку.

Он проскользнул в прихожую, оставив дверь приоткрытой.

Болдвуд ждал. Минуты через две в прихожей загорелся свет. Тут Болдвуд увидал, что на дверь наброшена цепочка. За порогом стоял Трой с подсвечником в руке.

— Неужели вы думали, что я вломлюсь в дом? — с негодованием спросил Болдвуд.

— О нет! Но осторожность никогда не мешает. Не угодно ли вам прочесть эти строки? Я посвечу вам.

Трой протянул в приоткрытую дверь сложенную газету и поднес поближе свечу.

— Вот эту заметку, — прибавил он, указывая пальцем на заголовок.

Болдвуд прочитал:

«Бракосочетания.

17-го текущего месяца в церкви Св. Амвросия в Бате преподобный Дж. Минсинг, бакалавр богословия, сочетал браком Фрэнсиса Троя, сержанта 11-го драгунского гвардейского полка, единственного сына покойного Эдварда Троя, эсквайра, доктора медицины из Уэзербери, с единственной оставшейся в живых дочерью покойного м-ра Джона Эвердина из Кэстербриджа, Батшебой».

— Как говорится, нашла коса на камень, а, Болдвуд? — бросил Трой и насмешливо расхохотался.

Болдвуд выронил из рук газету, Трой продолжал:

— За пятьдесят фунтов я должен жениться на Фанни. Отлично. За двадцать один фунт жениться не на Фанни, а на Батшебе. Превосходно! А каков финал: я уже муж Батшебы! Итак, Болдвуд, вы оказались в дураках, как всякий, кто пытается встать между мужем и женой. Еще два слова. Как я ни плох, я все же не такой негодяй, чтобы за деньги жениться или покинуть женщину. Фанни давно ушла от меня. Я даже не знаю, где

она сейчас. Я повсюду ее разыскивал. Еще словечко. Вы уверяете, что любите Батшебу, а между тем при первом же брошенном наудачу намеке поверили, что она так себя опозорила. Много ли стоит такая любовь! Теперь, когда я крепко вас проучил, берите назад ваши деньги!

— Не возьму! Не возьму! — прохрипел фермер.

— Во всяком случае, они мне не нужны! — презрительно сказал Трой. Завернув монеты в ассигнации, он швырнул их на дорогу.

Болдвуд потряс кулаком:

— Ах ты, чертов фигляр! Окаянный пес! Но я расправлюсь с тобой! Так и знай, расправлюсь!

Новый взрыв хохота. Трой захлопнул дверь и заперся на замок.

Всю эту ночь можно было видеть темную фигуру Болдвуда, скитавшегося по холмам и лощинам Уэзербери, подобно скорбной тени на мрачных берегах Ахерона.

Глава XXXV
У верхнего окна

На следующий день в ранний час, когда в первых солнечных лучах сверкает роса, разноголосое, еще робкое пение птиц разливалось в бодрящем воздухе, а блеклая голубизна небес там и сям была затянута тонкой паутиной бесплотных облачков, ничуть не омрачавших лучезарного утра. Освещение пейзажа было золотисто-желтое, тени — размытых очертаний. Листья вьющихся растений, оплетавших стены ветхого особняка, поникли, унизанные тяжелыми водяными каплями, которые, словно крохотные линзы, увеличивали находившиеся позади предметы.

Еще не пробило пяти, когда Габриэль и Когген миновали сельский перекресток, направляясь вдвоем в поля. Едва они увидели дом хозяйки, как Габриэлю показалось, что распахнулись створки одного из окон верхнего этажа. Работники как раз проходили мимо старого куста бузины, густо увешанного кистями черных ягод, и на минуту остановились в его тени.

Красивый мужчина лениво свесился из окна. Он посмотрел на восток, потом на запад, как хозяин, с утра оглядывающий свои владения. Мужчина был не кто иной, как сержант Трой. Его красная куртка была наброшена на плечи, но не застегнута, и он держался непринужденно, как солдат на отдыхе.

Первым заговорил Когген.

— Видите, она вышла за него, — спокойно заметил он, глядя на окно.

Габриэль уже все видел и теперь стоял спиной к дому; он не ответил ни слова.

— Так я и думал, что нынче мы что-нибудь да узнаем, — продолжал Когген. — Я слышал, как кто-то уже в сумерках проехал мимо нашего дома, — вы в это время были в отлучке. — Он оглянулся на Габриэля. — Силы небесные, да вы совсем побелели, Оук! Как все равно мертвец!

— Неужто? — спросил Оук со слабой улыбкой.

— Прислонитесь к воротам. Я подожду малость.

— Да, да, хорошо.

Некоторое время они стояли у ворот. Габриэль с отсутствующим видом уставился в землю. Он уносился мыслью в будущее и представлял себе, как горько на протяжении долгих лет она будет

раскаиваться в своем опрометчивом поступке. Он сразу же догадался, что они поженились. Но почему все это было обставлено с такой таинственностью? Все уже знали, что ей очень тяжело досталась поездка в Бат, так как она не рассчитала расстояния, и что она загнала лошадь, добираясь туда больше двух дней. Не в ее привычках было действовать тайком. При всех своих недостатках она была сама искренность. Неужели же она попала в ловушку? Этот брак причинил Оуку нестерпимую боль и как громом поразил его, хотя всю предыдущую неделю его мучили подозрения, что именно так окончатся ее встречи с Троем вне дома. Ее спокойное возвращение несколько рассеяло его страхи.

Едва уловимое движение кажется почти неподвижностью, но, по существу, не имеет ничего общего с состоянием неподвижности, — так и недавнее состояние Оука, питавшего слабую надежду, граничащую с отчаянием, нельзя было назвать полной безнадежностью.

Через несколько минут они двинулись дальше и приблизились к особняку. Сержант все еще смотрел из окна.

— Доброго утра, приятели! — весело крикнул он, когда они поднялись на холм.

Когген ответил на приветствие.

— Что же вы не хотите ему отвечать? — шепнул он Габриэлю. — На вашем месте я поздоровался бы с ним. Можно ни черта не вкладывать в свои слова, но надобно быть учтивым.

Габриэль и сам сообразил, что раз неизбежное совершилось, то чем лучше он примет это событие, тем приятнее будет любимой женщине.

— Доброго утра, сержант Трой, — отозвался он каким-то безжизненным голосом.

— Что за угрюмая развалина этот дом! — заметил Трой, улыбаясь.

— А ведь они, может, и не поженились, — тихонько сказал Когген. — Может, ее там и нету.

Габриэль покачал головой. Военный повернулся лицом к востоку, и солнце заиграло оранжевыми отблесками на его алой куртке.

— А по-моему, это славный старый дом, — возразил Габриэль.

— Может, оно и так. Но я чувствую себя здесь совсем как молодое вино в старой бутыли. Я считаю, что повсюду нужно сделать подъемные окна, а эти старые панели на стенах как-нибудь подновить, а то можно и совсем убрать дубовую обшивку и оклеить стены обоями.

— На мой взгляд, это было бы жалко.

— Ничуть. Один философ как-то сказал при мне, что древние строители, которые творили в эпоху расцвета искусств, не уважали творений своих предшественников — они сносили их или же перестраивали на свой лад. Почему бы и нам не поступать так же? «Творчество не уживается с охраной старины, — уверял он, — и антикварии, будь их хоть миллион, никогда не изобретут нового стиля». Я с ним вполне согласен. Мне хочется придать этому дому более современный вид, чтобы нам жилось в нем повеселей, покуда живется.

Военный обернулся и стал оглядывать обстановку комнаты, прикидывая в уме, какие бы там ввести улучшения. Габриэль и Когген двинулись дальше.

— Эй, Когген! — крикнул им вдогонку Трой, словно вспомнив что-то. — Вы не знаете, в роду мистера Болдвуда никогда не было сумасшедших?

Джан на минуту задумался.

— Помнится, я от кого-то слышал, что один его дядюшка был не совсем в себе, да не знаю, правда ли это, — отвечал он.

— Впрочем, это не имеет значения, — небрежно бросил Трой. — Так вот! На этой неделе я как-ни-

будь поработаю с вами в поле, но сперва мне надо уладить кое-какие дела. До свидания! Мы с вами, разумеется, будем по-прежнему на дружеской ноге. Я не из гордых. Никто этого не скажет про сержанта Троя. Но, видно, такая уж мне выпала судьба. Вот вам полкроны, молодцы, выпейте за мое здоровье!

Трой ловко метнул монету через огороженную лужайку, прямо к Габриэлю, но тот резко отшатнулся, покраснев от гнева. Когген ринулся вперед и поймал монету, отскочившую рикошетом от земли.

— Берите ее себе, Когген, — с презрением и даже с некоторой злобой сказал Габриэль. — А я уж обойдусь без его подачек.

— А вы не слишком задавайтесь, — глубокомысленно проговорил Когген. — Ведь если он и впрямь на ней женился, то, помяните мое слово, он купит себе отпускное свидетельство и станет нашим хозяином. Так уж лучше выказывать ему уважение, хотя бы про себя вы и обзывали его вертопрахом.

— Что ж, пожалуй, лучше помалкивать, но пресмыкаться перед ним я не стану. Не умею льстить, и если бы пришлось его ублажать, чтобы остаться на этой должности, то пропади она пропадом!

В эту минуту с ними поравнялся всадник, которого они еще издали увидели на дороге.

— Вот мистер Болдвуд, — сказал Оук. — Любопытно знать, почему это Трой задал такой вопрос.

Когген и Оук почтительно поклонились фермеру и замедлили шаги на случай, если бы он спросил их о чем-нибудь, но, видя, что ему не до них, посторонились и пропустили его.

Жестокое горе, с которым Болдвуд боролся всю ночь и все еще продолжал бороться, не слишком бросалось в глаза, только побледнело его строго очерченное лицо, вздулись жилы на лбу и на висках и залегли глубокие складки вокруг рта. Лошадь уносила его все дальше, и казалось, даже в поступи коня отражалось безысходное отчаяние всадника. На минуту Габриэль отвлекся от своего горя при виде страданий Болдвуда. Он смотрел на широкую спину фермера, который сидел, выпрямившись в седле, не поворачивая шеи и прижав локти к бокам, широкополая шляпа неподвижно держалась у него на голове. Наконец квадратная фигура Болдвуда скрылась за холмом. Того, кто знал трагедию этого человека, не так поразило бы его внезапное падение, как пугала его неподвижность. Он затаил в недрах сердца

горькую тоску, вызванную жестоким столкновением его чувства с действительностью, и как в иных случаях хохот бывает ужаснее слез, так и оцепенение сраженного горем человека было выразительнее любого крика.

Глава XXXVI
Благосостояние под угрозой. Пирушка

Поздним вечером в конце августа, когда для Батшебы были еще новы переживания замужней женщины и все еще не спадал сухой зной, на гумне Верхней уэзерберийской фермы неподвижно стоял человек, разглядывая луну и небо.

В надвигающейся ночи было что-то зловещее. Горячий южный ветер слегка колыхал верхушки деревьев, а по небу стремительно плыли вереницы облаков, причем одни сталкивались с другими под прямым углом, но все они неслись не в том направлении, в каком дул ветер, тянувший понизу. Проглядывавшая сквозь их текучую пелену луна излучала мертвенный металлический блеск. В тусклом лунном свете поля принимали мутный желтоватый оттенок и казались одноцветными, словно просвечивали сквозь цветное стекло. В этот вечер овцы плелись домой, повесив голову и хвост, крикливо суетились грачи, а лошади переступали нехотя, с опаской.

Гроза была неминуема, и, судя по некоторым приметам, она должна была сопровождаться

одним из тех затяжных ливней, какие знаменуют собой окончание засушливой летней поры. Не пройдет и двенадцати часов, как погода резко переменится, и уже нельзя будет убирать урожай.

Оук с тревогой смотрел на грузные, не покрытые брезентом стога, их было восемь, и они содержали половину урожая фермы за этот год. Но вот он направился к риге.

Сержант Трой, управлявший теперь фермой вместо жены, избрал этот вечер для ужина и танцев по случаю уборки урожая. По мере того как Оук приближался к риге, все громче раздавались звуки скрипок и тамбуринов и равномерный топот множества ног. Оук подошел к огромным дверям, одна створка была приоткрыта, и он заглянул внутрь.

Середину риги и большую нишу на одном ее конце очистили от всяких посторонних предметов, и это пространство — около двух третей всей площади — отвели для празднества, другой же конец, доверху заложенный овсом, был завешен парусиной. Стены, стропила и импровизированные люстры были украшены цветами и гирляндами зелени, а прямо против дверей воздвигнута эстрада, где стоял стол и несколько стульев. Там сидели трое скрипачей, а возле них

бесновался человек с растрепанными волосами и лицом мокрым от пота, потрясая тамбурином.

Танец окончился, и на черном дубовом полу стали выстраиваться пары в ожидании следующего.

— Теперь, мэм, с вашего разрешения, какой вам будет угодно танец? — спросила первая скрипка.

— Право же, мне безразлично, — прозвучал свежий голос Батшебы. Она стояла в глубине амбара позади стола, уставленного бокалами и мясными блюдами, и смотрела на танцующих. Возле нее, развалившись, сидел Трой.

— В таком случае, — сказал скрипач, — осмелюсь предложить «Радость солдата» — самый что ни на есть подходящий танец, потому как бравый солдат женился на хозяйке фермы. Что скажете на это, ребятки, и вы, джентльмены?

— Желаем «Радость солдата»! — грянули хором гости.

— Благодарю за любезность! — весело отозвался сержант; он подхватил под руку Батшебу, повлек ее за собой и встал с нею в первую пару. — Хотя я и купил себе свидетельство об увольнении из ее величества одиннадцатого кавалерийского драгунского полка, задумав посвятить себя здесь, на ферме, новым занятиям, но по гроб жизни

останусь солдатом!

Начался танец. Относительно достоинств «Радости солдата» не может быть, да никогда и не было, двух мнений. В музыкальных кругах Уэзербери и окрестностей уже давно отмечено, что эта мелодия, даже после сорока пяти минут оглушительного топанья, способна приводить в движение каблуки и носки куда энергичнее, чем большинство других танцев в самом начале вечера. «Радость солдата» обладает еще одной прелестью, а именно она изумительно приспособлена к вышеупомянутому тамбурину, далеко не заурядному инструменту в руках исполнителя, который умеет выявлять его высокие достоинства, сопровождая игру конвульсиями, судорогами, пляской святого Витта и дикими прыжками.

Бессмертная мелодия закончилась бесподобными раскатами контрабаса, оглушительными, словно канонада, и Габриэль наконец решился войти. Он уклонился от встречи с Батшебой и подошел поближе к эстраде, где теперь восседал Трой, поглощавший бренди с водой, между тем как все остальные пили сидр и эль. Габриэлю так и не удалось протиснуться сквозь толпу и поговорить с сержантом, и он передал через одного

из гостей, что просит Троя спуститься к нему на минутку. Сержант отвечал, что он занят.

— Тогда скажите ему, пожалуйста, — настаивал Габриэль, — я пришел сообщить, что скоро хлынет ливень и обязательно надо защитить стога.

— Мистер Трой говорит, — пришел ответ, — что никакого ливня не будет и он не намерен отрываться от своих занятий ради такой ерунды.

На беду, Оук, находясь рядом с Троем, походил на свечу, подслеповато мигающую возле яркого газового рожка; ему стало неловко, и он направился к выходу, намереваясь вернуться домой, — в этот тревожный вечер все происходившее в риге было ему не по душе. В дверях он на минуту задержался. Трой взял слово:

— Друзья мои, сегодня мы празднуем не только день урожая, — вместе с тем это наш свадебный праздник. Еще совсем недавно я имел счастье повести к алтарю вот эту леди, вашу хозяйку, но до сих пор нам не удалось отметить это событие в Уэзербери. Чтобы как следует отпраздновать и ублажить всех, я приказал принести несколько бутылей бренди и котелки с горячей водой. Бокал тройной крепости будет поднесен каждому из гостей.

Батшеба, бледная от волнения, положила ему

руку на плечо и сказала с мольбой в голосе:

— Не давай им бренди, Фрэнк! Пожалуйста, не давай! Это будет им только во вред: довольно уж они всего получили.

— И впрямь, больше нам ничего не требуется, премного благодарны! — раздались отдельные голоса.

— Чушь! — презрительно бросил сержант и внезапно повысил голос, словно его осенила какая-то мысль. — Друзья мои, давайте отошлем по домам женское сословие. Пора уж им на боковую! А мы, петушки, без них попируем на славу! Если кто из мужчин сдрейфит, пускай ищет себе на зиму работу в другом месте!

Задыхаясь от негодования, Батшеба покинула ригу, вслед за ней потянулись женщины и дети. Музыканты, понимая, что приглашение к ним не относится, прошмыгнули наружу и запрягли в свою рессорную тележку лошадь. В риге остались только Трой и мужчины, работники фермы. Соблюдая вежливость, Оук просидел еще некоторое время, потом встал и спокойно удалился, вслед ему полетели проклятия, — сержант дружески ругал его за то, что он не остался выпить грога «по второй».

Габриэль направился восвояси. Подходя к

крыльцу, он задел носком сапога и отбросил в сторону какой-то предмет, который мягко шлепнулся на землю, как раздутая кожаная перчатка боксера. То была огромная жаба, робко перебиравшаяся через дорогу. Оук поднял жабу, и ему подумалось, что, пожалуй, лучше ее убить, чтобы избавить от мучений, но, видя, что она невредима, опустил в траву. Он уразумел смысл этого знамения Великой Матери. Скоро он получил и другое указание.

Когда он зажег свет у себя в комнате, то заметил на столе узенькую блестящую полоску, — казалось, кто-то провел по дереву кисточкой, смоченной в лаке. Оук проследил глазами за извилистой линией и на другом конце стола обнаружил крупного коричневого слизняка, который забрался на ночь в комнату по причинам, известным только ему. Природа вторично предупреждала Оука, что следует ожидать дурной погоды.

Оук просидел в раздумье около часа. Все это время два черных паука из тех, что обычно живут в домах, крытых соломой, разгуливали по потолку и наконец спустились на пол. Это явление тоже что-то означало, и вот Оуку пришло в голову, что ему больше всего откроют инстинктивные повадки овец, которые он изучил в совершенстве. Он

вышел из комнаты, перебежал два-три выгона, взобрался на изгородь и заглянул в загон.

Овцы сгрудились на другом конце загона, со всех сторон обступив кусты дрока, и Оуку бросилось в глаза, что ни одна не шевельнулась и не кинулась в сторону, когда он выглянул из-за ограды. Они были до того чем-то напуганы, что даже забыли свой страх перед человеком. Но примечательнее всего было следующее: стоявшие тесной кучей овцы были все до одной обращены хвостами к той стороне горизонта, откуда ожидалась гроза. В самой середине они сбились в плотную массу, остальные сгруппировались вокруг них уже более свободными рядами; в целом отара напоминала плоеный кружевной воротник из тех, что можно заметить на портретах Ван-Дейка, над его пышной белизной, словно темная шея гиганта, поднимались кусты дрока.

Теперь опасения Габриэля окончательно подтвердились. Оук убедился, что он прав, а Трой ошибается. Все голоса природы дружно возвещали перемену погоды. Но эти немые указания имели двоякий смысл. Очевидно, следовало ожидать грозы, а после нее холодного затяжного дождя. Пресмыкающиеся, казалось, предчувствовали дождь, но не подозревали о предваряющей

его грозе, между тем как овцы предчувствовали грозу, но отнюдь не дождь, который должен был за нею последовать.

Такие резкие и сложные перемены погоды случаются далеко не часто, поэтому приходится особенно их опасаться. Оук возвратился на гумно. Там царила тишина, и темные силуэты остроконечных стогов резко выступали на фоне неба. На гумне стояло пять стогов пшеницы и три скирды ячменя. После обмолота можно было получить по тридцать четвертей пшеницы со стога и не меньше сорока четвертей ячменя со скирды. Оук прикинул в уме, какую ценность представляют эти хлеба для Батшебы (да и для всякого другого), сделав следующее простое вычисление:

5 × 30 — 150 четвертей — 500 фунтов.

3 × 40 — 120 четвертей — 250 фунтов.

Итого: 750 фунтов.

Семьсот пятьдесят фунтов, которые получат самое достойное применение, пойдут на питание для людей и животных! Можно ли допустить, чтобы эта огромная масса хлебов обесценилась больше чем вдвое из-за легкомыслия женщины?

— Ни за что! Постараюсь отвратить беду! — воскликнул Габриэль.

Таковы были доводы, которыми Оук пытался

себя убедить. Но человек даже для самого себя является чем-то вроде палимпсеста — рукописи, которая таит под видимыми строками другие, незримые. Возможно, что под надписью, имеющей утилитарный смысл, скрывалась другая, выведенная золотыми буквами: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь женщине, которая мне так дорога!»

Он снова направился к риге, надеясь, что кто-нибудь из работников поможет ему поскорей накрыть стога. Там все было тихо, и он прошел бы мимо, полагая, что пирушка закончилась, если б из замочной скважины двустворчатых дверей не пробивалась полоска слабого света, шафранно-желтого по контрасту с зеленовато-белесым лунным освещением.

Габриэль заглянул в ригу. И что же он увидел!

Свечи в самодельных люстрах догорели до самых розеток и кое-где опалили обвивавшие их листья. Большинство свечей погасло, другие же дымились, издавая зловоние, и растопленное сало капало на пол. А под столом, привалившись к стульям и друг к другу, в самых разнообразных положениях, кроме перпендикулярного, обреталась злополучные работники, — их белобрысые взъерошенные головы можно было принять за

швабры и щетки. Среди скопища тел ярко-алым пятном выделялась фигура сержанта Троя, раскинувшегося в кресле. Когген лежал навзничь, разинув рот, и заливисто храпел, ему подтягивали товарищи. Дыхание валявшихся на полу людей сливалось в глухой рокот, напоминавший гул, какой слышится, когда подъезжаешь к Лондону. Джозеф Пурграс свернулся клубком на манер ежа, словно хотел подставить воздуху наименьшую поверхность своего тела, а позади него были смутно различимы жалкие останки Уильяма Смолбери. Стаканы и бокалы все еще стояли на столе, но кувшин с водой был опрокинут, и из него вытекал крохотный ручеек, который с поразительной точностью пересекал самый центр длинного стола, и капли падали на шею бесчувственного Марка Кларка, равномерно и монотонно, подобно тому как в пещере каплет вода, стекая со сталактитов.

Габриэль уныло оглядел мертвецки пьяных людей, которые представляли собой всю рабочую наличность фермы. Ему стало ясно, что если предпринять спасение стогов этой ночью или даже на следующее утро, то придется сделать это собственными руками.

Глухое «динг-динг» раздалось из-под жилета

Коггена. Часы Джана прозвонили два.

Он подошел к неподвижно распростертому телу Мэтью Муна, который обычно покрывал в усадьбе крыши соломой, и крепко встряхнул его. Встряска не оказала ни малейшего действия.

Тогда Габриэль гаркнул ему в ухо:

— Где кровельный валек, вилы и шесты?

— Под козлами, — бездумно и машинально, как медиум, отозвался Мун.

Габриэль выпустил из рук его голову, и она упала на пол с глухим стуком, как шар. Потом он шагнул к мужу Сьюзен Толл:

— Где ключ от амбара?

Никакого ответа. Не последовало его и на вторичный вопрос. Очевидно, для супруга Сьюзен Толл ночные окрики были далеко не такой новинкой, как для Мэтью Муна. Оук с досадой опустил голову Толла на пол.

По правде сказать, этих людей нельзя было строго судить за такую печальную и безнравственную развязку веселого вечера. Сержант Трой разглагольствовал со стаканом в руке, уверяя, что выпивка скрепит их дружбу, и никто из гостей не посмел отказаться, опасаясь совершить неучтивость. Работники смолоду привыкли только к сидру или легкому элю, и не удивительно,

что они все как один в течение какого-нибудь часа пали жертвами крепких напитков.

Габриэль был весьма встревожен. Эта попойка могла дорого обойтись своенравной и очаровательной хозяйке, которая и теперь была для него воплощением всего прекрасного, желанного и недосягаемого.

Он погасил догоравшие свечи, чтобы не приключился пожар, и, махнув рукой на работников, спавших непробудным сном, затворил двери и вышел в глухую ночь. С юга ему хлынул в лицо ветер, жгучий, как дыхание, извергаемое пастью дракона, готового поглотить земной шар, а на противоположной стороне неба, с севера всплывала бесформенная громада тучи, двигавшаяся прямо против ветра. Она вырастала так неестественно быстро, что приходило на ум, будто ее поднимает над горизонтом какой-то могучий скрытый механизм. Меж тем легкие облачка умчались к юго-востоку, словно напуганные огромной тучей, — так разлетается стайка птичек, когда на них устремит взгляд какое-нибудь чудовище.

Войдя в селение, Оук запустил камешком в окно спальни Лейбена Толла, ожидая, что Сьюзен выглянет оттуда. Но за окном никто не шелохнул-

ся. Тогда он обогнул дом, вошел в заднюю дверь, которая была оставлена незапертой для Лейбена, и остановился у лестницы.

— Миссис Толл, я пришел за ключом от амбара, хочу взять покрышки для стогов! — зычно крикнул Оук.

— Это ты? — спросила спросонья миссис Сьюзен Толл.

— Да, — отвечал Габриэль.

— Ложись живей! Бездельник этакий! Шляется по ночам, человеку спать не дает!

— Я не Лейбен, а Габриэль Оук. Мне требуется ключ от амбара.

— Габриэль! Скажите на милость, зачем это вы прикинулись Лейбеном?

— Да я не прикидывался. Я думал, что вы…

— Нет, прикинулись! Что вам здесь надобно?

— Да ключ от амбара.

— Ну и берите его. Он там на гвозде. И хватает же у него духу беспокоить женщину в этакую позднюю пору, когда…

Габриэль взял ключ и ушел, не дожидаясь окончания гневной тирады. Десять минут спустя можно было видеть одинокую фигуру Оука, волочившего по гумну четыре огромных непромокаемых покрышки. Вскоре две груды

драгоценного зерна были плотно укрыты каждая двумя брезентами. Двести фунтов спасены! Но три стога пшеницы нечем было покрыть. Оук заглянул под козлы и достал оттуда вилы. Потом взобрался на третий стог и приступил к работе: он решил как можно плотнее уложить верхние снопы, придав им наклон, чтобы с них стекала вода, а промежутки между ними забить колосьями из развязанных снопов.

Работа так и спорилась. Оуку быстро удалось защитить от дождя стога пшеницы. Так они благополучно простоят неделю-другую, конечно, если не налетит ураган.

Очередь дошла до ячменя. Его можно было предохранить, только тщательно укрыв соломой. Между тем луна канула в тучи и больше не появлялась. Это был отъезд посла из враждебного государства накануне войны. Ночь казалась мертвенно-бледной, как безнадежно больной, и вот небеса испустили последний вздох, — пробежал слабый ветерок, и все стихло, словно наступила смерть. Теперь на гумне уже ничего не было слышно, кроме глухих ударов валька, забивавшего колья, да шороха соломы.

Глава XXXVII
Гроза. Вдвоем

Вспыхнул яркий свет, словно отблеск фосфоресцирующих крыльев, раскинувшихся по небу, и над головой глухо пророкотало. То было предвестие надвигающейся грозы.

Второй удар был громче, но его сопровождала сравнительно слабая молния. Габриэль увидел, что в окне спальни Батшебы зажглась свеча, и вскоре за шторами замелькала тень.

Полыхнуло в третий раз. В вышине, в необъятных просторах происходили какие-то диковинные маневры. Теперь молнии были совсем серебряные и сверкали, словно кольчуги какого-то небесного воинства. Раскаты сменились короткими ударами. С возвышения, на котором стоял Габриэль, он мог разглядеть всю местность перед собою на добрых шесть миль. Каждая изгородь, куст и дерево четко вырисовывались, словно на листе гравюры. В загоне с этой стороны паслось стадо телков, и при вспышке молнии он увидел, что они мечутся в разные стороны в диком, безумном испуге, высоко подбрасывая

копыта и хвосты и пригнув голову к земле. Стоявший невдалеке тополь был похож на чернильную кляксу на блестящем подносе. Потом все исчезло и сгустился такой мрак, что Габриэлю пришлось работать ощупью.

Оук орудовал скирдовой пикой (которую называют и кинжалом) — длинным железным стержнем с заостренным концом, блестящим от постоянного трения; он вонзил ее в стог, чтобы дать опору снопам, как вдруг голубоватый свет вспыхнул в зените и скользнул вниз, каким-то чудом не задев пику. То была четвертая яркая вспышка. Через миг раздался удар, резкий и сухой. Габриэль сообразил, что его положение не из безопасных, и спустился на землю.

До сих пор не упало еще ни капли дождя. Оук устало вытер пот со лба и снова взглянул на черные силуэты незащищенных скирд. Да стоит ли ему дорожить своей жизнью? Разве у него есть какие-нибудь надежды на будущее? А ведь эту важную, неотложную работу невозможно проделать без риска. Он решил продолжать работу, однако принял меры предосторожности. Под козлами валялась длинная цепь, какой обычно стреноживали лошадей, перед тем как выпустить на пастбище. Он взобрался на стог с цепью в руках

и, пропустив пику в звено на ее конце, сбросил вниз этот конец. Затем вбил в землю костыль, которым заканчивалась цепь. Под защитой этого импровизированного громоотвода он почувствовал себя в относительной безопасности.

Не успел Оук взяться за свои орудия, как молния вспыхнула в пятый раз, скользнув змеей с дьявольским грохотом. Она была изумрудно-зеленая, и за ней последовали оглушительные раскаты. Что же открылось ему в ее блеске? Заглянув через вершину стога, он увидел перед собой темную, явно женскую фигуру. Неужели же это Батшеба, единственная в их приходе смелая женщина? Фигура сделала шаг вперед и скрылась из глаз.

— Это вы, мэм? — бросил Габриэль в темноту.

— Кто там? — раздался голос Батшебы.

— Габриэль. Я на стогу. Укрываю его соломой.

— Ах, Габриэль, так это вы! Я пришла сюда из-за стогов. Меня разбудила гроза, и я вспомнила о зерне. Я ужасно беспокоюсь о нем, — удастся ли нам как-нибудь его спасти? Никак не могу найти мужа. Он с вами?

— Его здесь нету.

— А вы знаете, где он?

— Спит в риге.

— Он обещал мне позаботиться о стогах, — а

вот они в полном забросе. Нужна ли вам моя помощь? Лидди побоялась выйти из дому. И вдруг я нахожу вас здесь в такой поздний час! Я обязательно вам помогу!

— Вы можете подавать мне наверх снопы по одному, мэм, если только вам не боязно взбираться по лестнице в темноте, — отвечал Габриэль. — Каждая минута дорога, и в четыре руки дело пойдет быстрее. Да и не так уж темно, когда нет молний.

— Я справлюсь с этой работой, — решительно заявила Батшеба. И, взвалив на плечо сноп, поднялась до ступеньки, на которой стоял Оук, положила сноп возле пики и спустилась за следующим. Когда она взбиралась в третий раз, стог внезапно вспыхнул бронзовым блеском, как сверкающая майолика, — можно было различить каждый узелок на соломе. На откосе стога выступили два человеческих силуэта, черных, как агат. Но вот стог померк, и силуэты исчезли. На этот раз молния блеснула на востоке, за спиной Оука, а черные силуэты на стогу были тени его и Батшебы.

Грянул удар. Казалось прямо невероятным, что божественный свет породил такой дьявольский грохот.

— Как ужасно! — воскликнула она и схватила его за рукав. Габриэль повернулся и подхватил ее под руку, поддерживая на воздушном насесте. В следующий миг, когда он еще стоял спиной к стогу, опять вспыхнул яркий свет, и он увидел на стене риги как бы черный отпечаток стройного тополя, росшего на холме. То была тень дерева, упавшая туда при вспышке молнии на западе.

Вновь сверкнуло. На этот раз Батшеба стояла на земле, взваливая себе на плечо очередной сноп; ослепительный блеск и удар грома даже не заставил ее вздрогнуть, и она опять поднялась на стог со своей ношей. Четыре-пять минут кругом царило безмолвие, и снова стал слышен хруст соломы, в которую Габриэль торопливо вбивал колья. Ему подумалось, что гроза пошла уже на убыль. Но вот опять полыхнуло.

— Держитесь! — крикнул Габриэль и, сняв сноп с плеча Батшебы, снова схватил ее за руку.

Тут уж поистине разверзлись небеса. Вспышка была до того необычайна, что в первый момент они даже не осознали, как она опасна, их только поразило ее великолепие. Молнии сверкали и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге. То была настоящая пляска смерти. В воздухе появились подобия скелетов, как бы сотканные из

голубых огней, они плясали, дергались и прыгали, бешено метались по небу, перепутываясь в невообразимом сумбуре; с ними переплетались извивающиеся зеленые змеи — и все это на фоне трепещущего зарева. Со всех сторон растерзанного неба раздавались звуки, которые, скорей всего, можно было назвать воплями, хотя никакой человеческий вопль не мог бы с ними сравниться. Внезапно один из чудовищных призраков опустился на конец пики Габриэля, скользнул вдоль нее, перебежал на цепь и канул в землю. Габриэль был почти ослеплен и почувствовал, как теплая рука Батшебы дрогнула в его руке, — новое и весьма волнующее ощущение; но любовь, жизнь и все земное казалось мелким и ничтожным перед лицом разъяренных стихий.

Эти впечатления еще не отлились в отчетливую мысль, и Оук даже не успел заметить, как причудливо в блеске молний алело перо на ее шляпке, когда высокий тополь на холме, о котором уже шла речь, вдруг вспыхнул белым пламенем, и новый вопль слился с раскатами замогильных голосов. То был разряд дикой, потрясающей силы, невыносимый для слуха удар, резкий, сухой, не сопровождавшийся отголосками, похожими на грохот барабана. В ослепительном сиянии,

охватившем всю землю и необъятный купол небес, он увидел, что высокий стройный тополь расщеплен до самого корня и от него отлетела широкая лента коры. Половина дерева еще стояла, и на ней белела полоса обнажившейся древесины. Молния ударила в тополь. В воздухе распространился запах серы. Потом все смолкло и стало темно, как в преисподней.

— Мы были на волосок от смерти, — торопливо сказал Габриэль. — Вам лучше сойти на землю.

Батшеба ничего не ответила, но он улавливал учащенный ритм ее дыхания и шорох соломы — сноп за ее плечами отзывался дрожью на взволнованное биение ее сердца. Она спустилась с лестницы; после краткого колебания он последовал за ней. Мрак стал совершенно непроницаемым даже для самого острого зрения. Они молча стояли плечом к плечу у подножия стога. Батшеба, вероятно, думала только о непогоде, Оук в эту минуту — только о ней. Но вот он сказал:

— Ну теперь гроза как будто бы миновала.

— Мне тоже так кажется, — отвечала Батшеба. — Хотя еще сверкает со всех сторон, — посмотрите!

Небо было озарено негаснущим светом, — беспрестанные вспышки сливались в сплошное

сияние, — так при частых повторных ударах гонга создается впечатление непрерывного звука.

— Ничего страшного, — сказал он. — В толк не возьму, почему это нет дождя. Но слава богу — ведь это нам на руку. Я опять полезу.

— Габриэль, вы слишком добры, я не заслуживаю этого. Я останусь и буду вам помогать. Ах, если бы здесь был еще кто-нибудь!

— Они бы наверняка пришли, если бы только могли, — неуверенно проговорил Оук.

— О, я знаю решительно все! — воскликнула она и добавила с заминкой: — Все они спят в риге мертвецки пьяные, а с ними мой муж. Так оно и есть, ведь правда? Не думайте, что я робкого десятка и не умею смотреть правде в глаза.

— А может, оно и не так, — сказал Габриэль. — Пойду-ка посмотрю.

Он направился к риге, оставив ее на гумне одну. Заглянул в дверную щель. Все как и прежде: непроглядная темнота и дружный храп, рокочущий со всех сторон.

Он почувствовал на своей щеке нежное дуновение ветерка и обернулся. То было дыхание Батшебы, которая последовала за ним и смотрела в ту же щель.

Он попытался уклониться от мучительной для

обоих темы и сказал мягко:

— Если вы пойдете со мной, мисс… мэм, и малость мне поможете, то дело у нас пойдет.

Оук вернулся на гумно, взобрался на стог, сошел с лестницы, чтобы лучше работалось, и вновь принялся укрывать ячмень. Она поднялась вслед за ним, на этот раз без снопа.

— Габриэль, — заговорила она каким-то странным, взволнованным голосом.

Оук взглянул на нее. Она не проронила ни слова, пока они шли от риги. Освещенное мягким сиянием угасающих зарниц, ее бледное, словно мраморное лицо выделялось на фоне темного небосклона. Батшеба сидела почти на самой верхушке стога, подобрав под себя ноги и опираясь на верхнюю ступеньку лестницы.

— Да, хозяйка, — откликнулся он.

— Вы, наверное, подумали, когда я поскакала сломя голову в Бат, что я собиралась там обвенчаться?

— Мне так подумалось, да только не сразу… — отвечал он, озадаченный таким внезапным переходом на новую тему.

— А другие тоже так думали?

— Да.

— И вы осуждали меня за это?

— Пожалуй…

— Я так и полагала. Все же мне дорого ваше доброе мнение, и я хочу кое-что вам разъяснить. С тех пор как я вернулась, мне все время хотелось с вами поговорить, но вы так строго смотрели на меня. Ведь умри я, — а я могу скоро умереть, — будет прямо ужасно, если вы навсегда останетесь в заблуждении. Так слушайте.

Габриэль перестал шуршать соломой.

— В тот вечер я отправилась в Бат с твердым намерением порвать с мистером Троем, с которым была уже помолвлена. Но после моего приезда в Бат обстоятельства так сложились, что… что я с ним обвенчалась. Ну, теперь вы видите все это в новом свете?

— Как будто бы так.

— Пожалуй, надо мне еще кое о чем рассказать, раз уж я начала. И я полагаю, это вас не огорчит, ведь вы, конечно, никогда не воображали, что я вас люблю, и охотно поверите, что я говорю вполне искренне, без всяких задних мыслей. Так вот, я очутилась одна в незнакомом городе, и лошадь у меня охромела. И я прямо-таки не знала, что мне делать. Я слишком поздно сообразила, что пострадает моя репутация, — ведь я встречалась с ним с глазу на глаз. Но все же я

собиралась уезжать, когда он вдруг заявил, что видел в тот день женщину красивее меня и мне нечего рассчитывать на его постоянство, если я не буду ему принадлежать… Я была уязвлена и взволнована… — Она кашлянула и на минуту остановилась, как бы переводя дыхание. — И вот в порыве ревности и в смятении чувств я вышла за него, — проговорила она горячим шепотом, с отчаянием в голосе.

Габриэль не ответил ни слова.

— Его нельзя осуждать, он сказал сущую правду, что он… что он видел другую женщину, — порывисто добавила она. — А теперь я не желаю слышать от вас ни слова об этом, не смейте говорить! Мне только хотелось, чтобы вы знали этот кусочек моей жизни, о котором так неверно судят, — придет время, когда вы уже ничего не сможете узнать. Подавать вам еще?

Она спустилась с лестницы, и работа закипела. Вскоре Габриэль заметил, что движения его хозяйки, сновавшей вверх и вниз по лестнице, замедлились, и сказал с какой-то материнской нежностью:

— Мне думается, вам лучше бы пойти домой, — вы притомились. Я тут и один управлюсь. Ежели ветер не переменится, может, дождя и не будет.

— Если от меня нет толку, то я пойду, — сказала Батшеба усталым голосом. — Но как было бы ужасно, если бы вас убило!

— От вас есть толк, но я не хочу, чтобы вы уставали. Вы изрядно потрудились.

— А вы — еще лучше! — с благодарностью сказала она. — Я тронута вашей преданностью, тысячу раз вам спасибо, Габриэль! До свидания. Я знаю, что вы изо всех сил стараетесь для меня.

Она быстро скрылась в темноте; он слышал, как звякнула щеколда, когда она захлопнула за собой калитку. Он продолжал работать в глубокой задумчивости, размышляя обо всем, что она ему рассказала, и удивляясь, какие противоречия уживаются в сердце женщины: что побудило ее говорить с ним этой ночью с такой теплотой, какой она ни разу не проявляла к нему до замужества, когда свободно могла выказывать свое внимание?..

Его размышления прервал скрежет, донесшийся со стороны каретного сарая. Флюгер на крыше круто повернулся вокруг своей оси, и эта резкая перемена ветра говорила, что вот-вот хлынет губительный дождь.

Глава XXXVIII
Дождь. Встреча двух одиноких

Было пять часов утра, и уже занималась заря, окрашивая небо в желто-бурые и пепельные тона.

Температура понизилась, и началось сильное движение воздуха. Прохладные ветерки в незримом кружении обдавали лицо Оука. Ветер поднялся еще на один-два балла и заметно покрепчал. За каких-нибудь десять минут все ветры поднебесные разгулялись на просторе. На стогах пшеницы кое-где взметнулись покрышки, словно крылья фантастических птиц, и пришлось снова их натягивать, придавливая кусками железа, попавшимися под руку. Управившись с этим, Оук стал опять трудиться как каторжный, спасая ячмень. Крупная капля дождя упала на лицо, ветер завыл по всем закоулкам, деревья закачались чуть ли не от самых корней, и ветви их яростно заметались, сталкиваясь друг с другом. Вбивая колышки как можно чаще и куда попало, Оук дюйм за дюймом укрывал это внушавшее тревогу олицетворение семисот фунтов. Дождь все расхо-

дился, и вскоре Оук почувствовал, как холодные ручейки сбегают по его липкой от пота спине. Под конец он стал чем-то вроде глыбы мокрой глины, одежда его полиняла, и цветные струйки стекали с нее, образуя лужицу у подножия лестницы. Косой дождь прорезал мглистый воздух длинными текучими иглами, которые вылетали из облаков и вонзались остриями в его тело.

Внезапно Оук вспомнил, что на том самом месте восемь месяцев назад он так же отчаянно боролся с огнем, как сейчас с водой, — и все это из-за безнадежной любви ко все той же женщине. А она… Но преданный и великодушный Оук отогнал эти мысли.

Хмурым, свинцовым утром, около семи часов, Габриэль слез с последнего стога и воскликнул со вздохом облегчения:

— Дело с концом!

Он промок до нитки, был утомлен и печален, но все же усталость была сильнее печали, и его радовало сознание, что он успешно закончил важное дело.

Смутные звуки донеслись со стороны риги, он поглядел в ту сторону. Из дверей выходили поодиночке и по двое человеческие фигуры и брели, пошатываясь, со смущенным видом; толь-

ко самый передний, на котором была красная куртка, шагал, засунув руки в карманы и посвистывая. Все остальные уныло плелись за ним, и чувствовалось, что их терзает совесть; процессия эта смахивала на вереницу теней с рисунка Флаксмена, направляющихся в преисподнюю под предводительством Меркурия. Угловатые фигуры потянулись к селению, а их вождь, Трой, вошел в двери особняка. Никто из них не оглянулся в сторону гумна, — как видно, в эту минуту им не было дела до стогов.

Вскоре Оук тоже пошел домой, только другим путем. Впереди, на фоне тускло блестевшей от воды дороги, он увидел человека под зонтом, который шагал еще медленнее его. Человек обернулся и заметно вздрогнул: то был Болдвуд.

— Как вы себя чувствуете нынче, сэр? — спросил Оук.

— Да, денек серый… О, я чувствую себя хорошо, очень хорошо, благодарю вас, превосходно.

— Я рад это слышать, сэр.

Казалось, Болдвуд медленно пробуждался от сна.

— У вас усталый и больной вид, Оук, — сказал он, бегло взглянув на своего спутника.

— Я устал. А вы как-то чудно` изменились, сэр.

— Я? Ничуть не бывало: я чувствую себя вполне хорошо. Откуда вы это взяли?

— Мне показалось, что вы выглядите не таким молодцом, как раньше, вот и всё.

— Ну, так вы ошибаетесь, — бросил Болдвуд. — Здоровье у меня железное. Мне все нипочем.

— Я здорово поработал — укрывал наши стога и еле-еле успел с этим справиться. Сроду так каторжно не трудился. Ваши-то, конечно, в сохранности, сэр?

— Да-да. — Помолчав немного, Болдвуд прибавил: — А вы о чем меня спросили, Оук?

— Ваши стога уже все покрыты?

— Нет.

— Ну а большие, что на каменных подпорках?

— И они не укрыты.

— А те, что возле изгороди?

— Нет. Я забыл сказать, чтобы их укрыли соломой.

— А маленький у перелаза?

— Не укрыт и маленький у перелаза. В этом году я упустил из виду стога.

— Тогда вам не сохранить и десятой доли вашего зерна, сэр.

— Возможно, что и так.

«Упустил из виду», — медленно повторил про

себя Габриэль. Трудно передать, как трагически воспринял Оук слова фермера в этот момент. Всю ночь он трудился, сознавая, что оплошность, которую он старается исправить, явление ненормальное, исключительное и совершенно беспримерное во всей округе. И вот в это же самое время, в том же самом приходе погибает огромное количество зерна, а хозяину и горя мало. Несколько месяцев назад Болдвуду было так же невозможно забыть о своих хозяйственных делах, как матросу забыть, что он находится на корабле. Оуку подумалось, что хотя он сам тяжело пережил замужество Батшебы, но этот бедняга пережил еще тяжелее. Внезапно Болдвуд заговорил уже совсем по-другому, чувствовалось, что он жаждет излить душу.

— Оук, вы знаете не хуже моего, что мне здорово не повезло. Уж я должен в этом признаться. Я собирался прочно устроить свою жизнь, но мои планы, можно сказать, рухнули.

— Я думал, моя хозяйка выйдет за вас, — проговорил Габриэль. Будь ему известно, как глубока любовь Болдвуда, он, конечно, не стал бы касаться его дел, как решил не касаться своих собственных, крепко взяв себя в руки. — Да так оно и случается в жизни: нипочем не сбудется то,

что нам желанно, — спокойно прибавил он, как человек закаленный в испытаниях.

— Должно быть, надо мной потешается весь приход, — продолжал Болдвуд. Эти слова как-то непроизвольно вырвались у него и были сказаны вымученным, нарочито небрежным тоном.

— Ну, нет, не думаю.

— Но, уверяю вас, она и не думала играть со мной, зря об этом говорили. Мы с мисс Эвердин вовсе не были помолвлены. Люди уверяют, что были, только это неправда: она никогда не давала мне слова! — Болдвуд вдруг остановился и повернул к Оуку искаженное страданьем лицо. — Ах, Габриэль, — продолжал он, — я жалкий безумец, не знаю, что со мной творится, никак не могу справиться со своим горем… У меня еще была слабая вера в милосердие Божье, пока я не потерял эту женщину. Да, Господь Бог повелел вырасти высокому растению, чтобы я мог укрыться в его тени, — и, подобно пророку, я благодарил его и радовался. Но на следующий день он создал червя, тот подточил растение, и оно засохло, и теперь я вижу: уж лучше мне умереть.

Наступило молчание. Болдвуд опомнился, — миновал порыв откровенности, которому он поддался на несколько минут, — к нему верну-

лась его обычная сдержанность, и он зашагал дальше.

— Да, Габриэль, — закончил он с неестественной улыбкой, зловещей, как оскал черепа, — все это раздула молва, а на самом-то деле не было ничего серьезного. По временам я испытываю некоторое сожаление, но до сих пор еще ни одна женщина не забирала надо мною власти на сколько-нибудь продолжительный срок. Итак, до свидания. Надеюсь, что все это останется между нами.

Глава XXXIX
Возвращение домой. Крик

Между Кэстербриджем и Уэзербери, примерно в трех милях от города, большак проходит по Иелберийскому холму; это один из длинных крутых подъемов, какими изобилуют дороги в этой холмистой части Южного Уэссекса. Возвращаясь с рынка, фермеры и другая сельская знать, разъезжающая в двуколках, обыкновенно сходят в начале подъема и поднимаются на гору пешком.

Однажды субботним вечером в октябре месяце экипаж Батшебы медленно всползал вверх по откосу. Она неподвижно сидела на втором месте двуколки, а рядом шагал стройный, хорошо сложенный молодой человек в одежде, какую носят фермеры в базарные дни, только на редкость изящного покроя. Он не выпускал из рук вожжей и временами для развлечения щелкал лошадь по ушам кончиком кнута. То был ее муж, бывший сержант Трой, который купил себе отпускное свидетельство на деньги Батшебы и постепенно превращался в фермера, весьма независимого, самого современного пошиба. Люди консер-

вативного склада, встречаясь с ним, упорно продолжали называть его «сержантом», впрочем, он давал к этому повод, так как сохранил красиво подстриженные усики и солдатскую выправку, неразрывно связанную с мундиром.

— Да, если бы не этот проклятый дождь, я уж наверняка загреб бы две сотни, радость моя, — говорил он. — Понимаешь ли, дождь спутал все карты! Я как-то вычитал в одной книге, что в нашей стране скверная погода — это как бы само повествование, а ясные дни — лишь редкие эпизоды. Что, разве это не верно?

— Но в это время года погода всегда неустойчивая.

— Пожалуй. Но факт тот, что эти осенние скачки — прямо-таки бедствие для всех и каждого! Отроду не видывал таких скачек, как сегодняшние! Место открытое, сущий пустырь, невдалеке от прибрежных песков, и перед нами колыхалось бурое море — этакая мокрая напасть. Ветер и дождь! Великий Боже! А темнота! Было черно, как у меня в шапке, еще до начала последнего заезда. Было только пять часов, а уже нельзя было разглядеть лошадей, разве что у самого столба, не говоря о цветах жокеев. Под копытами у лошадей грязь тяжелая, как свинец, тут сам черт ногу

сломит! Лошадей, жокеев, зрителей швыряло из стороны в сторону, как корабли в шторм. Три трибуны опрокинулись, и несчастные люди выкарабкивались из-под них на четвереньках, а по соседнему полю носилась добрая дюжина шляп. Знаешь, Пимпернель сплоховала в каких-нибудь шестидесяти ярдах от столба, а я как увидел, что Политика ее обгоняет, сердце у меня так и заколотилось о ребра, уверяю тебя, радость моя!

— И выходит, Фрэнк, — печально сказала Батшеба, ее голос, такой сочный и звонкий прошлым летом, теперь стал глухим и бесцветным, — выходит, что ты потерял за месяц больше ста фунтов на этих ужасных скачках! Ах, Фрэнк, как это жестоко! Прямо безумие с твоей стороны так разбрасывать мои деньги! Нам придется отказаться от фермы — вот чем дело кончится!

— Вздор! При чем тут жестокость! Ну вот, сейчас опять забьют фонтаны! Ты верна себе!

— Обещай мне, что не поедешь в Бедмут на следующей неделе! Обещаешь? — умоляла она. У нее бурно накипали слезы, но она сдерживала их усилием воли, и глаза оставались сухими.

— А почему бы мне не поехать? Признаться, я подумывал о том, чтобы взять тебя с собой, если выпадет погожий денек.

— Ни за что! Ни за что! Я готова сделать крюк в сто миль, лишь бы объехать это место! Даже его название мне ненавистно!

— Но дело-то вовсе не в том, буду ли я присутствовать на скачках или же останусь дома. Так и знай, ставки преспокойно заносятся в книгу задолго до начала скачек. Поедем мы туда или нет в будущий понедельник — от этого дело не изменится.

— Неужели ты хочешь сказать, что уже сделал ставку и на этих скачках! — воскликнула она, с отчаянием глядя на него.

— Да ну же, не будь дурочкой! Выслушай меня! Я вижу, Батшеба, ты растеряла всю свою былую отвагу и задор, и клянусь честью, если б я знал, какое у тебя цыплячье сердце под маской смелости, я бы ни за что… уж я знаю что!

В темных глазах Батшебы можно было уловить блеск негодования, когда она после этой реплики резко отвернулась от мужа. Некоторое время она продолжала ехать молча. Несколько увядших до срока листьев сорвались с ветвей, нависавших в этом месте над дорогой, и, покружившись в воздухе, упали на землю.

На гребне холма появилась женщина. Подъем был такой крутой, что она почти поравнялась

с супругами, прежде чем они ее заметили. Трой подошел к двуколке, собираясь сесть в нее, и уже занес ногу на подножку, когда женщина прошла сзади него. Хотя сгущались сумерки и под деревьями было темно, Батшеба успела разглядеть, как бедно одета женщина и какое печальное у нее лицо.

— Скажите, пожалуйста, сэр, не знаете ли вы, в котором часу закрывается на ночь кэстербриджский Дом призрения? — обратилась она к Трою, стоявшему к ней спиной.

Трой заметно вздрогнул при звуках ее голоса, но быстро овладел собой и даже не обернулся в ее сторону.

— Не знаю, — глухо ответил он.

Услыхав эти слова, женщина подняла голову, впилась глазами в его профиль и узнала солдата, одетого фермером. На лице ее появилось какое-то сложное выражение, одновременно и радости и страдания. Она истерически вскрикнула и рухнула на землю.

— Ах, бедняжка! — воскликнула Батшеба, собираясь выпрыгнуть из двуколки.

— Сиди на месте и смотри за лошадью! — повелительно крикнул Трой, бросая ей вожжи и кнут. — Гони лошадь в гору. Я позабочусь о

женщине.

— Но я…

— Слыхала? Н-но, Крошка!

Лошадь, двуколка и Батшеба тронулись дальше.

— Скажи, ради бога, как ты здесь очутилась? Я думал, ты уехала на край света или умерла! Почему ты не писала мне? — непривычным для него ласковым тоном торопливо спрашивал Трой, поднимая женщину.

— Мне было боязно.

— Есть у тебя деньги?

— Ни гроша.

— Великий Боже! Какая досада, что я не могу тебе дать побольше! Вот возьми… Ах, да тут сущие пустяки! Это все, что у меня осталось. Понимаешь ли, у меня нет ничего, кроме того, что я получил из рук жены, и сейчас я не могу у нее попросить.

Женщина не отвечала ни слова.

— Слушай. У меня всего минута, — продолжал он. — Куда ты идешь так поздно? В кэстербриджский Дом призрения?

— Да. Я надумала пойти туда.

— Незачем тебе туда тащиться… Впрочем, постой. Да, пожалуй, только на эту ночь. Больше ничего не могу придумать… Проклятая судьба!

Переночуй там и пробудь завтрашний день. В понедельник я свободен, и утром, ровно в десять, мы встретимся с тобой за городом на Кэстербриджском мосту. Я принесу все деньги, какие удастся раздобыть. Ты ни в чем не будешь нуждаться… Уж я позабочусь об этом, Фанни. Я сниму тебе где-нибудь комнату. Ну, до свидания. Я — скотина, знаю. Но… до свидания!

Добравшись до перевала, Батшеба обернулась. Женщина уже стояла на ногах, и Батшеба видела, как она отошла от Троя и неверными шагами стала спускаться с холма, миновав верстовой столб, третий от Кэстербриджа. Трой быстро подошел к двуколке, уселся рядом с женой, взял у нее из рук вожжи и, не проронив ни слова, хлестнул лошадь и перевел ее на рысь. Он казался взволнованным.

— Ты знаешь, кто эта женщина? — спросила Батшеба, пытливо вглядываясь ему в лицо.

— Знаю, — отвечал он, смело выдерживая ее взгляд.

— Я так и думала. — И Батшеба с вызовом поглядела на него. — Кто же она?

Трой сообразил, что его откровенность не принесет пользы ни одной из этих женщин.

— Она мне чужая, — ответил он. — Я знаю ее

только в лицо.

— Как же ее зовут?

— Откуда мне это знать?

— Мне думается, ты знаешь.

— Думай что угодно! Чтоб тебе… — Фраза закончилась ловким ударом кнута, который ожег бока Крошки, после чего лошадь пустилась бешеной рысью. Больше не было сказано ни слова.

Глава XL
На Кэстербриджской дороге

Довольно долгое время женщина шла вперед. Походка ее становилась все более шаткой, и она напрягала зрение, всматриваясь в уходившую в даль пустынную дорогу, еле различимую в вечернем полумраке. Наконец она совсем ослабела и стала с трудом волочить ноги. Увидав ворота, за которыми стоял стог сена, она открыла их, опустилась на землю и сразу же забылась крепким сном.

Когда женщина пробудилась, вокруг нее темнела безлунная и беззвездная ночь. Тяжелый панцирь облаков закрывал небо, не оставляя ни единого просвета, а вдалеке над Кэстербриджем светлело зарево, которое казалось тем ярче, чем гуще был окрестный мрак. На это тусклое, мягкое сияние и устремила взгляд женщина.

— Ах, если бы мне только туда добраться! — прошептала она. — Повстречаться с ним послезавтра. Помоги мне, Господи!.. А может, к тому времени меня уже не будет в живых…

Из глубин мрака донесся звон, — часы в сосед-

ней усадьбе слабо и приглушенно пробили один раз. После полуночи бой часов как будто теряет силу и полноту звучания, переходя в жидкий фальцет.

Вслед за тем где-то далеко в темноте блеснул огонек, два огонька, которые стали быстро вырастать. По дороге катилась коляска, и вскоре она проехала мимо ворот. Вероятно, там сидели какие-нибудь запоздалые гуляки. Луч фонаря на мгновение осветил скорченную фигуру женщины, и лицо ее отчетливо выступило из тьмы. Это было молодое лицо, но уже как бы тронутое увяданием, контуры были мягкими и округлыми, как у ребенка, но отдельные черты слегка заострились и утончились.

Путница поднялась на ноги, очевидно, в ней воскресла решимость, и она стала осматриваться. Вероятно, дорога была ей знакома, она зорко оглядела изгородь, медленно проходя мимо нее. Но вот впереди что-то неясно забелело, то был второй верстовой столб. Протянув руку, она нащупала на его поверхности цифру.

— Еще два! — вздохнула женщина.

Она прислонилась к столбу, не упуская возможности хоть минутку передохнуть, потом встрепенулась и двинулась дальше. Некоторое

время она шагала довольно бодро, потом ноги у нее стали по-прежнему подкашиваться. Это произошло близ уединенной рощицы, где кучи белых щепок на усеянной листьями земле говорили о том, что днем дровосеки здесь вязали хворост и плели решетки для изгородей. Теперь нельзя было уловить ни шороха, ни вздоха ветерка, ни шелеста ветвей, и она остро чувствовала свое одиночество. Женщина заглянула через калитку, открыла ее и вошла в ограду. У самого входа лежали вязанки хвороста и валялись рассыпанные сучья и палки различной длины.

Минуту-другую странница неподвижно стояла в напряженной позе, которая означает, что движение лишь приостановилось, но не замерло совсем. У нее был вид человека, который прислушивается либо к звукам внешнего мира, либо к мыслям, проносящимся у него в голове. Внимательно приглядываясь, можно было бы заключить, что она поглощена именно последним. Более того, как вскоре обнаружилось, она изощряла свою изобретательность в той области, в какой подвизался Жаке Дроз, остроумный конструктор автоматических заменителей человеческих конечностей.

Ощупывая руками груды сучьев при слабом

свете зарева, женщина выбрала два крепких сука. Они были прямые, длиной в три-четыре фута и заканчивались развилкой в виде буквы V. Она села на землю, обломила тонкие верхние веточки, а палку прихватила с собой. Выйдя на дорогу, она подставила себе под мышки по палке на манер костылей, испробовала их прочность, потом опасливо оперлась на них всей своей тяжестью — крайне незначительной — и выбросила вперед свое тело. Женщина смастерила себе подпорки.

Костыли отвечали своему назначению. Теперь на дороге только и слышно было, что шелест шагов да постукивание палок. Путница уже давно миновала третий верстовой столб и стала напряженно вглядываться в даль дороги, словно ожидая увидеть следующий. Костыли, хотя и были ей в помощь, все же имели рабочий предел. Машина приводится в движение энергией, а сама не может ее вырабатывать, и общая сумма усилий не уменьшилась, только упор приходился теперь на туловище и на руки. Она выбилась из сил и еле-еле продвигалась вперед. Наконец она пошатнулась вбок и упала.

Она лежала на дороге, как ворох тряпья. Прошло с четверть часа. Утренний ветерок лениво потянул над равниною, и зашуршали сухие ли-

стья, всю ночь лежавшие неподвижно на земле. Женщина сделала отчаянное усилие, поднялась на колени и встала на ноги. Опершись на костыли, она попыталась сделать шаг вперед, потом другой, третий; теперь она пользовалась костылями лишь как палками. Она медленно спускалась с Меллстокского холма, пока не увидала еще один верстовой столб, а вслед за ним — чугунную ограду. Она дотащилась до первого столба ограды, ухватилась за него и начала оглядываться по сторонам.

Теперь в Кэстербридже уже были различимы отдельные огоньки. Приближалось утро, и можно было если не рассчитывать, то надеяться повстречать какую-нибудь повозку. Она стала прислушиваться. Не доносилось ни единого звука, говорившего о жизни, кроме самого заунывного и зловещего из звуков — лая лисицы, три глухих ноты раздавались каждую минуту, словно мерные удары погребального колокола.

— Меньше мили! — пробормотала женщина. — Нет, больше, — добавила она после некоторой паузы. — Отсюда миля до городской ратуши, а Дом призрения — на другом конце Кэстербриджа. Еще миля с небольшим, и я буду там. — Минуту спустя она снова заговорила: — Пять или шесть

шагов на ярд, верней, шесть. Мне надобно пройти семнадцать сот ярдов. Шестью сто — шестьсот. И еще на семнадцать. О, помоги мне, Господи!

Держась за перекладину изгороди, она продвигалась вперед, сперва хваталась одной рукой, потом другой, затем наваливалась на перекладину всем телом и подтягивала ноги.

Женщина не была склонна к монологам, но крайнее напряжение душевных сил сглаживает индивидуальные особенности у слабого, обостряя их у сильного. Она продолжала все тем же тоном:

— Мне верится, что через пять столбов я дойду до конца, и у меня достанет на это сил.

Поведение этой женщины показывает, что наполовину притворная и выдуманная вера лучше полного отсутствия веры.

Она насчитала пять столбов и задержалась у пятого.

— Я пройду еще пять, если поверю, что желанное место у пятого столба. Мне это под силу.

Миновала еще пять столбов.

— Нет, оно еще на пять дальше.

Прошла еще пять.

— И еще на пять.

Миновала и эти столбы.

— У этой вот каменной ограды кончается мой путь, — сказала она, увидав огороженную столбами насыпь, пересекавшую Фрум.

Она дотащилась до каменной ограды. Продвигалась она с неимоверным трудом, и каждый вздох, вырывавшийся у нее из груди, казался последним.

— Сейчас огляжусь, — проговорила она, опускаясь на землю. — Ну вот, я вижу, мне остается меньше, чем полмили.

Самообман, который она все время прекрасно сознавала, дал ей силы пройти полмили, что было бы невозможно, представь она себе сразу все расстояние. Эта уловка доказывала, что женщина в силу какой-то таинственной интуиции постигла парадоксальную истину: иной раз слепота вернее приводит к цели, чем предвидение, близорукость оказывается плодотворней дальновидности и для успешной борьбы скорее требуется ограниченность, чем глубокомыслие.

Последняя полумиля теперь маячила перед больной, изможденной женщиной, как некий беспощадный Джагернаут, олицетворяя полновластную бездушную необходимость. Дорога в этом месте пересекала дерновское торфяное болото, по обеим ее сторонам расстилались от-

крытые просторы. Женщина обвела глазами обширное пространство, посмотрела на огни, на самое себя, вздохнула и легла у каменного столба на краю насыпи.

Кажется, никто на свете так не изощрял свою изобретательность, как эта странница. Она отчаянно ломала голову, перебирая в уме всевозможные способы, приемы, уловки, механизмы, которые помогли бы ей преодолеть эти последние, недоступные ей восемьсот ярдов, — и тут же отвергала их как неосуществимые. Она думала о палках, колесах, собиралась ползти, даже катиться по земле. Но последние два способа передвижения потребовали бы еще больших усилий, чем простая ходьба. Под конец ее изобретательность иссякла. Ею овладела безнадежность.

— Дальше не могу… — прошептала она и закрыла глаза.

От длинной полосы тени, лежавшей на противоположном краю дороги, вдруг оторвался клочок и выступил одиноким пятном на тусклой белизне дороги. Потом беззвучно скользнул к распростертой на земле женщине.

Внезапно она почувствовала, как что-то коснулось ее руки, что-то мягкое и теплое. Она открыла глаза, и это «нечто» коснулось ее лица. Ее лизала

в щеку собака.

Это было огромное, грузное и кроткое создание; темная фигура собаки выступала на фоне низкого неба, возвышаясь на добрых два фута над головой лежащей женщины. Невозможно было определить, ньюфаундленд ли это, мастиф, ищейка или просто дворняга. Животное казалось таким необычным и загадочным и как будто не принадлежало ни к одной из общеизвестных пород. Огромный, могучий пес объединял в себе свойства, общие всем разновидностям собачьей породы. Измученной путнице померещилось, что ее ласкает сама ночь, принявшая образ черной собаки; в этом своем облике ночь не пугала ее, не сулила напастей, от нее веяло величавой грустью и благостью. Даже у самых незначительных и заурядных представителей рода человеческого в ночном мраке разыгрывается фантазия.

Опершись на локоть, женщина смотрела на собаку снизу вверх, как, бывало, раньше стоя глядела на мужчину. Когда она шевельнулась, бездомный пес почтительно отступил от нее на шаг-другой, но, видя, что его не гонят, снова лизнул ей руку.

В голове у женщины молнией пронеслось: «А вдруг собака мне поможет? Тогда я доберусь».

Она показала рукой в сторону Кэстербриджа, и собака покорно побежала в том направлении. Но, видя, что женщина не в силах следовать за ней, она вернулась назад и жалобно заскулила.

Тогда женщину осенила поистине гениальная мысль, несчастная поднялась на ноги, учащенно дыша, нагнулась над собакой, обхватила ее своими слабыми ручками и стала шептать ласковые слова. С тоскою в сердце она говорила веселым голосом, и удивительно было, что сильный нуждается в поощрении со стороны слабого, а еще удивительнее, что при крайнем унынии возможно так артистически изображать веселость. Ее друг тихонько двинулся вперед, а она мелкими шажками засеменила рядом с ним, опираясь на него всем телом. Порой она в изнеможении опускалась на землю, как это делала, когда шла на костылях и пробиралась вдоль ограды. Собака, уразумев, чего хочет женщина и как она беспомощна, бурно выражала свое отчаяние, тянула ее зубами за платье и забегала вперед. Женщина всякий раз подзывала ее к себе. Теперь бросалось в глаза, что она чутко прислушивается ко всяким звукам, опасаясь встречи с людьми. Было очевидно, что она почему-то не желает, чтобы ее застали здесь, на дороге, в таком жалком виде.

Разумеется, они продвигались вперед чрезвычайно медленно. Наконец они добрались до окраины Кэстербриджа. Городские фонари светились перед ними, как упавшие на землю Плеяды. Повернув налево, они пошли по темной пустынной дороге, обсаженной каштанами, обогнули предместье и наконец достигли желанной цели.

Перед ними высилось живописное здание. Первоначально то был просто ящик, предназначенный для жилья. Голые, без единого выступа стены выдавали убожество обитателей дома, — так очертания трупа проступают сквозь саван.

Впоследствии природа, словно оскорбленная таким уродством, приложила сюда свою руку. Густо разросшийся плющ увил доверху стены, и строение стало напоминать какое-то древнее аббатство. Вдобавок обнаружили, что из окон его фасада открывается на море крыш Кэстербриджа великолепный вид, один из самых замечательных во всем графстве. Владевший по соседству землями граф как-то заявил, что отдал бы весь свой годовой доход, лишь бы любоваться из своих окон видом, каким наслаждаются обитатели Дома призрения. Но весьма вероятно, что эти обитатели охотно отказались бы от вида ради графского годового дохода.

Каменное строение состояло из центрального корпуса и двух флигелей, над которыми торчали, как часовые, тонкие трубы, издававшие на легком ветру какой-то заунывный звук. В стене виднелась большая дверь, а возле нее висела проволока, заменявшая ручку звонка. Стоя на коленях, женщина вытянулась изо всех сил и достала рукой до проволоки. Дернула ее и упала ничком; она лежала, скорчившись, прижав голову к груди.

Было около шести часов утра. Вскоре послышался шум шагов внутри дома, который должен был стать тихой пристанью для этой истомленной души. Рядом с большой дверью отворилась маленькая, и на пороге показался мужчина. Он приметил порывисто вздымавшуюся от дыхания кучу одежды, отправился за свечой и быстро вернулся. Потом снова удалился и на этот раз пришел с двумя женщинами.

Они подняли простертую на земле странницу и помогли ей войти в дверь, которую потом за ними запер мужчина.

— Как это она попала сюда? — спросила одна из женщин.

— Господь ее знает, — ответила другая.

— Там снаружи собака… — пробормотала из-

немогающая путница. — Куда она девалась? Она помогла мне.

— Я отогнал ее камнем, — сказал мужчина.

Маленькая процессия двинулась вперед — во главе мужчина со свечой в руке, за ним две костлявые женщины, поддерживающие под руки третью, маленькую и хрупкую. Они быстро исчезли в глубине коридора.

Глава XLI
Подозрения. Посылают за Фанни

По возвращении с рынка Батшеба за весь вечер не сказала мужу почти ни слова, да и он не был расположен беседовать с ней. Состояние его было не из приятных: острое беспокойство и невозможность высказаться. Следующий день — то было воскресенье — они тоже провели в безмолвии. Батшеба ходила в церковь утром и после обеда. На другой день должны были состояться скачки в Бедмуте. Вечером Трой внезапно спросил:

— Батшеба, не можешь ли ты мне дать двадцать фунтов?

Лицо ее омрачилось.

— Двадцать фунтов? — переспросила она.

— Дело в том, что они мне нужны до зарезу.

На лице Троя легко можно было уловить непривычное для него выражение тревоги. Владевшие им весь день чувства достигли предела.

— А! Так это для завтрашних скачек?

Трой медлил с ответом. Ее ошибка была на руку человеку, который не желал, чтобы ему заглядывали в душу.

— Ну, допустим, они мне нужны для скачек, — процедил он наконец.

— Ах, Фрэнк! — воскликнула Батшеба со страстной мольбой в голосе. — Всего несколько недель назад ты меня уверял, что я тебе дороже всех твоих развлечений вместе взятых, и обещал отказаться от них ради меня! А теперь неужели ты не можешь отказаться от одного развлечения, от которого больше неприятностей, чем радости! Сделай это, Фрэнк! Пойди ко мне, я зачарую тебя словами любви, нежными взглядами, не поскуплюсь на ласки, лишь бы ты остался дома! Скажи «да» своей жене! Скажи: «Да!»

Вся нежность и мягкость, заложенные в натуре Батшебы, непроизвольно вырвались наружу, когда она домогалась его согласия. Куда девалась ее наигранная холодность, к которой она прибегала в спокойные минуты в целях самозащиты! Редкий мужчина мог бы устоять перед вкрадчивыми и полными достоинства мольбами прекрасной женщины. Батшеба слегка откинула головку и хорошо известным ему движением протянула к нему руку, выражая свои чувства красноречивее всяких слов. Не будь эта женщина его женой, Трой немедленно бы сдался, но тут он решил больше не вводить ее в заблуждение.

— Эти деньги нужны мне вовсе не для оплаты долгов по скачкам, — сказал он.

— А для чего? — спросила она. — Меня очень беспокоят эти твои таинственные обязательства, Фрэнк.

Трой колебался. Он уже не так сильно любил жену, чтобы всецело поддаться ее обаянию. Однако необходимо было соблюдать учтивость.

— Ты оскорбляешь меня своей подозрительностью, — проговорил он. — Мы совсем недавно поженились, а ты уже начинаешь меня распекать, на что это похоже!

— Я думаю, я имею право немного поворчать, раз мне приходится платить, — сказала она, капризно надувая губки.

— Вот именно. Но первое уже позади, так приступим ко второму. Шутки в сторону, Батшеба, не донимай меня, а то как бы тебе потом не пришлось кое о чем пожалеть.

Она залилась краской.

— Да я уже жалею, — быстро ответила она.

— О чем же ты жалеешь?

— О том, что мой роман кончился.

— Все романы кончаются со свадьбой.

— Зачем ты это мне говоришь? Ты ранил меня в самое сердце своей злой шуткой.

— А ты нагоняешь на меня тоску. Мне кажется, ты ненавидишь меня.

— Не тебя, а твои пороки! Да, я ненавижу их!

— Лучше бы ты постаралась исправить меня. Давай подведем баланс, — двадцать фунтов на стол, и будем друзьями!

Она вздохнула, как бы покоряясь судьбе.

— Примерно такая сумма отложена у меня на хозяйственные расходы. Если она тебе так нужна, бери ее.

— Прекрасно. Спасибо. Наверное, завтра я уеду раньше, чем ты выйдешь к завтраку.

— Тебе так уж надо уезжать? Ах, Фрэнк, было время, когда никаким друзьям не удалось бы оторвать тебя от меня! Тогда ты называл меня своей ненаглядной. А теперь тебе и дела нет, как я провожу время.

— Я должен ехать, невзирая ни на какие чувства.

С этими словами Трой взглянул на свои часы и, повинуясь какому-то безотчетному импульсу, открыл нижнюю крышку, под которой обнаружилась уютно свернувшаяся маленькая прядь волос.

В этот миг Батшеба подняла глаза, уловила его движение и заметила прядь. От боли и изумле-

ния кровь бросилась ей в лицо, и она не успела подумать, как у нее вырвалось восклицание:

— Женский локон! О, Фрэнк! Чьи же это волосы?

Он отвечал небрежно, словно желая скрыть чувство, вспыхнувшее при виде локона.

— Ну конечно твои. Чьи же еще? Я совсем позабыл про них.

— Какая бессовестная ложь, Фрэнк!

— Говорю тебе, я позабыл про них, — повторил он, повышая голос.

— Да я не о том — ведь волосы-то рыжие.

— Что за глупости!

— Ты оскорбляешь меня. Я же видела, что они рыжие. Говори, чьи они. Я хочу знать.

— Хорошо, скажу, только не шуми. Это волосы одной молодой особы, на которой я собирался жениться еще до того, как познакомился с тобой.

— В таком случае ты должен сказать мне ее имя.

— Не могу.

— Она уже замужем?

— Нет.

— Жива?

— Да.

— Она хорошенькая?

— Да.

— Удивляюсь. Разве можно быть хорошенькой при таком ужасном недостатке, как у этого несчастного создания?

— Недостаток… Какой недостаток? — живо спросил он.

— Да волосы у нее такого отвратительного цвета!

— Ого! Это мне нравится! — выпалил Трой, уже овладевший собой. — Все восхищались их золотым цветом. Одно время, правда недолго, она ходила с распущенными волосами. Замечательно красивые волосы! Прохожие оборачивались и любовались волосами этого несчастного создания.

— Фи! Будет тебе, будет! — В ее голосе зазвенели гневные нотки. — Если бы я дорожила твоей любовью, как раньше, я, пожалуй, могла бы сказать, что прохожие оборачивались и любовались моими волосами!

— Батшеба, не будь такой запальчивой и ревнивой! Ведь ты представляла себе, что такое семейная жизнь, зачем же было выходить за меня, если ты боялась такого рода случайностей?

Между тем у нее на сердце накипело возмущение, к горлу подкатился клубок, слезы

неудержимо подступили к глазам. Она стыдилась обнаруживать свое волнение, но под конец разразилась бурными упреками:

— Вот что я заслужила от тебя за всю свою любовь! Ах, когда я выходила за тебя, ты мне был дороже жизни. Я готова была умереть за тебя, честное слово, я с радостью бы умерла! А теперь ты глумишься надо мной, говоришь, что я сделала глупость, выйдя за тебя! Ну разве не жестоко попрекать меня моей ошибкой! Пусть ты невысокого мнения о моем уме, но ты не должен так безжалостно бросать мне это в лицо теперь, когда я в твоей власти!

— Что поделаешь, так уж складываются обстоятельства, — буркнул Трой. — Клянусь честью, эти женщины сведут меня в могилу!

— А зачем ты хранишь чужие волосы! Ты сожжешь их, правда, Фрэнк?

Фрэнк продолжал, делая вид, что не расслышал:

— Есть обязательства, которые для меня важней даже моих обязательств перед тобой. Кое-что надо загладить… Ты не знаешь об этих отношениях. Если ты раскаиваешься, что вступила в брак, то я и подавно.

Батшеба вся дрожала. Положив ему руку на

плечо, она проговорила скорбным и проникновенным тоном:

— Я буду раскаиваться лишь в том случае, если узнаю, что я для тебя не самая дорогая на свете. А вот ты раскаиваешься, потому что другая дороже тебе, чем я, — ведь правда?

— Не знаю. Ты это к чему?

— Ты не хочешь сжечь этот локон. Значит, ты любишь женщину, у которой такие красивые волосы, да, любишь! Как они хороши, не то что моя жалкая черная грива! Но что ж поделаешь! Разве я виновата, что так безобразна! Так люби ее на здоровье!

— Честное слово, я совершенно позабыл об этой пряди и вспомнил только сегодня, через несколько месяцев, когда случайно взглянул на нее.

— Но ты только что упомянул о каких-то «отношениях»… А потом… эта женщина, что мы тогда встретили?

— Встреча с ней и напомнила мне об этой пряди.

— Так это ее волосы?

— Ну да. Можешь радоваться, что выудила это у меня!

— А что это за отношения?

— Да ничего серьезного… Я только пошутил.

— Только пошутил! — повторила она в горестном изумлении. — Как можешь ты шутить, когда я так страдаю? Скажи мне всю правду, Фрэнк! Ты же знаешь, что я не дурочка, хотя по временам и поддаюсь женской слабости. Будь откровенен со мной! — И она посмотрела ему в лицо открытым, бесстрашным взглядом. — Кажется, я немногого прошу — только правды! Ах! Раньше мне казалось, что я буду счастлива, лишь когда меня будет обожать муж, которого я себе изберу. Ну а теперь меня осчастливит хоть капелька чувства… Да! Вот до чего дошла независимая и гордая Батшеба!

— Ради бога, не закатывай мне сцен! — раздраженно крикнул Трой, вскочил и вышел из комнаты.

Едва он ушел, Батшеба разразилась бурными рыданиями; эти сухие, не смягченные слезами рыдания разрывали ей сердце… Но она подавила их силой воли. Батшеба потерпела поражение, хотя до конца своих дней ни за что не призналась бы в этом. Ее гордость была уязвлена, — ведь она понимала, что унизила себя, выйдя замуж за человека, далеко не такого чистого душой, как она. Охваченная негодованием, она металась взад и вперед по комнате, как тигрица в клетке, все существо ее восстало, кровь бросилась ей в лицо.

До встречи с Троем Батшеба высоко ставила себя как женщину, гордилась, что ее губ не касался ни один мужчина в мире, что ее талию никогда не обнимала рука возлюбленного. А теперь она была себе ненавистна. В былое время она в душе презирала девушек, которые попадались в сети первого же смазливого парня, удостоившего их своим вниманием. Мысль о замужестве никогда не прельщала ее, как прельщала большинство окружавших ее женщин. В смятении чувств, боясь потерять любимого, она согласилась выйти за него; но даже в самые счастливые часы Батшебу не покидало сознание, что с ее стороны это скорее жертва, что брак ничуть не возвысил ее, не принес ей чести, — Батшеба бессознательно чтила Диану, хотя имя этой богини едва ли было ей известно. Как низко она пала в своих глазах: ведь раньше она держала всех мужчин на расстоянии, не поощряя их ни взглядом, ни словом, ни жестом; она не тяготилась одиночеством, гордясь своей девичьей независимостью, и воображала, что потерпит некий ущерб, если променяет скромную девическую жизнь на жизнь замужней женщины и сделается смиренной половиной какого-то неведомого целого. Ах, как могла она совершить такой безумный поступок, впрочем,

вполне благопристойный в глазах людей! О, стать бы снова той девушкой, что стояла на Норкомбском холме! Посмел ли бы тогда Трой или другой мужчина осквернить своим прикосновением хоть волос на ее голове!

На следующее утро она поднялась раньше обычного, велела оседлать коня и, как всегда, объехала свои владения. Когда она вернулась в половине девятого — то был час их завтрака, — ей сообщили, что супруг ее встал, позавтракал и уехал в Кэстербридж в двуколке, запряженной Крошкой.

После завтрака она взяла себя в руки и успокоилась — это была прежняя Батшеба! Она вышла из дому, собираясь посетить один участок фермы, над которым, как и раньше, надзирала сама, насколько ей позволяли домашние обязанности, однако всякий раз ее опережал предусмотрительный Габриэль Оук. Батшеба стала питать к нему подлинно сестринские чувства. Разумеется, временами она вспоминала, что он ее давнишний поклонник, и на минуту представляла себе, как бы ей жилось с ним; представляла себе и жизнь с Болдвудом. Но хотя Батшебе и были доступны сильные чувства, она не любила бесплодных мечтаний и лишь ненадолго отдавалась подоб-

ным раздумьям в те дни, когда Трой выказывал ей слишком большое пренебрежение.

Внезапно она увидела, что по дороге поднимается на холм какой-то мужчина, и узнала мистера Болдвуда. Батшеба мучительно покраснела и стала следить за ним взглядом. Фермер остановился довольно далеко от нее и махнул рукой Габриэлю Оуку, который шагал по тропинке через поле. Мужчины подошли друг к другу, и у них завязался, как видно, серьезный разговор.

Беседа их затянулась. Но вот к ним приблизился Джозеф Пурграс, кативший бочку яблок вверх по холму, к дому Батшебы. Болдвуд и Габриэль окликнули его, несколько минут о чем-то с ним толковали, потом они расстались, и Джозеф поспешно покатил кверху свою бочку.

Батшеба, не без любопытства наблюдавшая эту пантомиму, испытала огромное облегчение, когда Болдвуд направился к себе домой.

— Ну, что вам велели передать, Джозеф? — спросила она.

Подойдя к забору, он поставил бочку наземь и придал своей физиономии почтительное выражение, с каким подобало обращаться к леди.

— Вам больше никогда не увидать Фанни Робин, мэм, — сказал он, — поминай как звали.

— Почему?

— Потому как она померла в Доме призрения.

— Фанни умерла! Не может быть!

— Верно говорю, мэм.

— Отчего же она умерла?

— Не знаю толком, но думается мне, от слабости телосложения. Сколько я ее знал, она всегда была этакая хиленькая, тяжелая работа была ей не под силу, и она таяла, как все равно свечка. Утром стало ей худо, и как была она хилая да хворая, то к вечеру и померла. По всей законности, она нашего прихода, и мистер Болдвуд пошлет нынче к трем часам повозку; ее привезут и похоронят на нашем кладбище.

— Ни за что не допущу, чтобы это сделал мистер Болдвуд, я сама этим займусь! Фанни была служанкой моего дядюшки, и хотя она жила при мне всего несколько дней, она имеет прямое отношение ко мне. Как же это печально, — подумать только, Фанни очутилась в Доме призрения! — Батшеба уже начала понимать, что такое страдание, и говорила с искренним чувством. — Пошлите кого-нибудь к мистеру Болдвуду сказать, что миссис Трой считает своим долгом привезти тело девушки, которая долго служила у ее родных… Не следовало бы класть

ее в повозку, — надо бы раздобыть погребальные дроги.

— Вряд ли мы поспеем, мэм, так я полагаю.

— Пожалуй, да, — в раздумье проговорила она. — Когда, сказали вы, выдадут ее тело — в три часа?

— Нынче в три часа, мэм, так он сказал.

— Хорошо, тогда поезжайте вы сами. В конце концов, красивая повозка лучше безобразных дрог. Джозеф, возьмите новую рессорную повозку, синюю с красными колесами, и вымойте ее как следует. А потом, Джозеф…

— Слушаю, мэм.

— Захватите с собой невянущей зелени и цветов и потом положите на гроб. Возьмите как можно больше, пусть она утопает в цветах. Достаньте ветвей лаурестинуса, и пестрого самшита, и тиса да прихватите несколько пучков хризантем. И пусть везет ее наш старый Весельчак, кажется, она любила его.

— Будет исполнено, мэм. Мне наказали вам передать, что четверо рабочих из Дома призрения встретят меня у ворот нашего кладбища; они возьмут ее и похоронят по правилам опекунского совета, как оно положено по закону.

— Боже мой! Кэстербриджский Дом призре-

ния! Как же Фанни дошла до этого? — задумчиво проговорила Батшеба. — Жаль, что я раньше не знала. Я думала, она где-то далеко. Долго ли она там прожила?

— Всего день либо два.

— А! Так она не была постоянной его обитательницей?

— Нет. Спервоначалу она поселилась в одном городке, где стоял военный гарнизон, на том конце Уэссекса, а потом с полгода зарабатывала себе на хлеб шитьем в Мелчестере, ей давала работу одна почтенная вдова, что занимается таким делом. Слыхал я, она попала в Дом призрения в субботу утром, и люди говорят, она брела пешком всю дорогу от Мелчестера. А уж почему она ушла с работы, сказать не могу; знать не знаю, а лгать грешно. Вот и весь сказ, мэм.

— А-ах!..

Драгоценный камень, только что сверкавший розовым блеском, вдруг выбрасывает алмазно-белый луч, — но еще быстрее изменилось лицо молодой женщины, когда у нее с глубоким вздохом вырвался этот возглас.

— Скажите, она проходила по Кэстербриджской дороге? — спросила она, и в ее голосе прозвучала страстная тревога.

— Думается мне, проходила… Мэм, не кликнуть ли Лидди? Видать, вам неможется, мэм. Вы стали как все равно лилия, такая белая и слабая!

— Нет. Не надо ее звать. Пустое. Когда же она проходила через Уэзербери?

— В прошлую субботу вечером.

— Довольно, Джозеф. Можете идти.

— Слушаю, мэм.

— Джозеф, постойте минутку. Какого цвета были волосы у Фанни Робин?

— Ей-богу, хозяйка, вот сейчас, когда вы меня допрашиваете, совсем как на суде, хоть убей, не могу припомнить.

— Не важно. Ступайте и делайте то, что я вам велела… Погодите… Нет, ничего, ступайте себе.

Она отвернулась, желая скрыть от него волнение, так ярко отпечатлевшееся у нее на лице, и вошла в дом; у нее подкашивались ноги от слабости и стучало в висках. Через час она услыхала стук повозки, выезжавшей со двора, и вышла на крыльцо, с болью в сердце сознавая, что выглядит встревоженной и расстроенной. Джозеф, одетый в свою лучшую пару, уже хлестнул лошадь, собираясь отъезжать. Ветви и цветы лежали грудой в повозке, приказание ее было выполнено. Но Батшеба даже не заметила их.

— Что вы мне говорили, Джозеф, чья она была милая?

— Не знаю, мэм.

— Так-таки не знаете?

— Ей-богу, не знаю.

— А что же вы знаете?

— Знаю одно: пришла она утром, а к вечеру померла, вот и все, что я слышал от них. «Джозеф, — говорит Габриэль, — малютка Фанни Робин померла», — а сам этак строго уставился на меня. Я страсть как опечалился: «Ах, как же, — говорю, — она померла?» А Оук и говорит: «Ну, да, померла в кэстербриджском Доме призрения, и нечего там допытываться, как да почему. Пришла туда в воскресенье спозаранку, а к вечеру уже померла, — кажись, все ясно». Тут я спросил, что она, мол, делала последнее-то время, а мистер Болдвуд обернулся ко мне и перестал обивать палкой головки репьев. Тут он мне и рассказал, что она зарабатывала себе на хлеб шитьем в Мелчестере, как я уже вам докладывал, а потом ушла оттуда и проходила мимо нас в субботу вечером, уже в потемках. А потом сказал, что не мешает, мол, мне намекнуть вам касательно ее смерти, а сам ушел. Может, бедняжка потому и померла, что, понимаете ли, мэм, шла всю ночь напролет

да на ветру. Ведь люди и раньше сказывали, что она, мол, не жилица на белом свете, зимой ее уж такой бил кашель… Ну да что об этом толковать, когда ее нет в живых!

— А вы больше ничего о ней не слыхали? — Батшеба смотрела на него так пристально, что у Джозефа даже глаза забегали.

— Ничегошеньки, хозяйка, честное благородное слово, — заверил ее Джозеф. — Да у нас в приходе вряд ли кто слыхал эту новость.

— Удивляюсь, почему Габриэль сам не принес мне этого известия — он то и дело является ко мне по всяким пустякам, — проговорила она шепотом, глядя в землю.

— Может статься, у него были спешные дела, мэм, — высказал предположение Джозеф. — А иной раз он ходит сам не свой, видать, о прошлом тужит, — ведь он тоже был фермером. Да, любопытный он фрукт, а впрочем, очень даже понимающий пастух и уж такой начитанный.

— Не показалось ли вам, что у него было что-то на уме, когда он говорил вам об этом?

— Пожалуй, и впрямь что-то было, мэм. Он был уж больно пасмурный, да и фермер Болдвуд тоже.

— Благодарю вас, Джозеф. Ну теперь все. Поез-

жайте, а то вы опоздаете.

Батшеба вернулась в дом крайне удрученная. После обеда она спросила Лидди, которая уже знала о происшествии:

— Какого цвета были волосы у бедняжки Фанни Робин? Ты не знаешь? Никак не могу вспомнить, — ведь она жила при мне всего день или два.

— Они были светлые, мэм. Только она стригла их довольно коротко и прятала под чепчик, так что они не больно-то бросались в глаза. Но она распускала их при мне, как ложилась спать, — и какие же они были красивые! Ну совсем золотые!

— Ее милый был солдат, не так ли?

— Да. В одном полку с мистером Троем. Хозяин говорит, что хорошо его знал.

— Как! Мистер Трой это говорил? В связи с чем?

— Как-то раз я спросила его, не знал ли он милого Фанни. А он говорит: «Я знал этого парня, как самого себя, и любил его больше всех в полку».

— А! Он так и сказал?

— Да, и прибавил, что они с этим парнем ужас как похожи друг на друга, иной раз их даже путали, и…

— Лидди, ради бога, перестань болтать! — раздраженно воскликнула Батшеба, которой блеснула ужасная истина.

Глава XLII
Поездка Джозефа. «Оленья голова»

Территория кэстербриджского Дома призрения была обнесена стеной, которая прерывалась лишь в одном месте, где стояла высокая башенка с остроконечной крышей, покрытая таким же ковром плюща, как и фасад главного здания. Башенка не имела ни окон, ни труб, ни украшений, ни выступов. На оплетенном темно-зеленой листвой фасаде виднелась лишь небольшая дверь.

Дверь была не совсем обычная. Порог находился на высоте трех или четырех футов над землей, и сразу нельзя было догадаться, почему он сделан таким высоким; однако колеи, подходившие к башне, доказывали, что из двери что-то выносят прямо на повозку, стоящую вровень с порогом, или вносят с повозки. В общем, дверь напоминала «Ворота предателя», только окружение было иным. Как видно, ею пользовались лишь изредка, так как в трещинах каменного порога там и сям пышно разрослась трава.

Часы на богадельне, выходившей на Южную улицу, показывали без пяти минут три, когда

синяя с красными колесами рессорная повозка, полная веток и цветов, доехав до конца улицы, остановилась у башенки. Часы, спотыкаясь, вызванивали некое расхлябанное подобие «Мальбрука», когда Джозеф Пурграс дернул ручку звонка и ему велели подъехать к высокому порогу двери. Вслед за тем дверь отворилась, и оттуда медленно выдвинулся простой ильмовый гроб; двое рабочих в бумазейных куртках поставили его на повозку.

Потом один из них подошел к гробу, вынул из кармана кусок мела и нацарапал на крышке крупными буквами имя покойной и еще несколько слов. (Кажется, в наши дни проявляют больше деликатности и прибивают к гробу дощечку.) Затем рабочий укрыл гроб черным вытертым, но еще приличным покрывалом; задок повозки вдвинули на место, Пурграсу вручили свидетельство о смерти, и рабочие вошли в дверь и заперли ее за собой. Тем самым их отношения с покойной, впрочем весьма кратковременные, закончились навсегда.

Джозеф убрал гроб цветами и невянущей зеленью, разложив все, как ему было предписано, и вскоре уже было трудно угадать, что находится в повозке. Он щелкнул кнутом, и погребальные

дроги Фанни Робин, спустившись с холма, двинулись по дороге в Уэзербери.

День склонялся к вечеру. Шагавший рядом с лошадью Пурграс, поглядев направо, в направлении моря, увидел причудливые облака и клубы тумана над грядой холмов, окаймлявших с этой стороны равнину. Они медленно надвигались, разрастаясь, заволакивая на своем пути лощины и окутывая заросли жухлого сухого тростника на болотах и вдоль речных берегов. Потом их влажные губчатые тела слились вместе. Внезапно небо покрылось порослью каких-то воздушных ядовитых грибов, корни которых уходили в море, и когда лошадь, человек и покойница въехали в большой Иелберийский лес, их накрыла непроглядная пелена, сотканная незримыми руками. То было нашествие осеннего тумана, первый туман в эту осень.

Кругом сразу потемнело, словно закрылось око небес. Погасли последние отблески света, и повозка внедрилась в какое-то упругое, однообразно белесое вещество. В воздухе не чувствовалось ни малейшего движения, ни единой капли не падало на листву буков, берез и елей, обступивших с обеих сторон дорогу. Деревья стояли настороженно, словно томительно ждали, что вот-вот

налетит ветер и станет их раскачивать. Над лесом нависла жуткая глухая тишина; казалось, что колеса громко скрипят, и можно было уловить слабые шорохи, какие бывают слышны только по ночам.

Джозеф Пурграс оглядел свой скорбный груз, еле проступавший сквозь ветви цветущего лаурестинуса, потом его взгляд потонул в бездонной мгле, сгустившейся справа и слева между стволами высоких призрачных деревьев, смутно различимых в серых сумерках и не отбрасывавших теней; ему было отнюдь не весело, и хотелось, чтобы с ним был хотя бы ребенок или даже собака. Остановив лошадь, он начал прислушиваться. Ни шума шагов, ни стука колес. Но вот мертвое безмолвие нарушил резкий стук, что-то тяжелое упало с дерева и, скользнув между ветками зелени, ударилось о крышку гроба бедняжки Фанни. Туман уже осел на деревьях, и это была первая капля, сорвавшаяся с пропитанной влагой листвы. Глухой стук капли напомнил Пурграсу о неумолимой поступи смерти. Потом где-то рядом шлепнулась вторая капля, третья, четвертая. И вскоре тяжелые капли забарабанили по сухой траве, по дороге, по голове и плечам путника. Нижние ветви деревьев, сплошь унизанные кап-

лями, стали совсем седые, словно волосы старика. Ржаво-красные листья буков украсились каплями, как рыжие кудри — брильянтами.

В придорожном селении Ройтаун на опушке леса находился старинный постоялый двор под названием «Оленья голова». Оттуда было примерно полторы мили до Уэзербери; в прежние времена, когда разъезжали в дилижансах, здесь перепрягали лошадей. Теперь старые конюшни были снесены, и остался лишь постоялый двор, он стоял немного поодаль от дороги и напоминал о своем существовании проезжим вывеской, висевшей на толстом суку вяза на противоположной стороне дороги.

Путешественники, — название «турист» еще не вошло в моду, — проезжая мимо и заметив на дереве вывеску, иной раз говорили, что на картинах им намозолили глаза лесные трактиры, но им еще не доводилось видеть в натуре такой живописной вывески. Как раз у этого вяза стояла повозка, в которую забрался Габриэль Оук, когда впервые попал в Уэзербери, но в темноте он не приметил ни вывески, ни постоялого двора.

На постоялом дворе сохранились старомодные обычаи и порядки. Его завсегдатаи твердо усвоили целый ряд правил, а именно:

Стукни кружкой о стол, если хочешь еще выпить.

Крикни погромче, если тебе требуется табак.

Обращаясь к служанке, говори: «Девушка».

Хозяйку зови «мамашей» и т. д. и т. п.

Джозеф вздохнул с облегчением, когда перед ним выросла приветливая вывеска, и живо остановил лошадь, решив осуществить давно уже созревшее намерение. Мужество истощилось у него до последней капли. Поставив лошадь головой вплотную к зеленому холмику, он вошел в трактир опрокинуть кружку эля.

Он спустился в кухню постоялого двора, пол которой был на ступеньку ниже коридора, в свою очередь находившегося ступенькой ниже большой дороги. И что же узрел Джозеф, к своей несказанной радости? Два медно-красных диска — физиономии мистера Джана Коггена и мистера Марка Кларка. Почтенные обладатели самых вместительных глоток во всей округе сидели нос к носу за круглым трехногим столиком, который был обнесен железной закраиной, дабы случайно не сбросили на пол кружки и стаканы. Приятели напоминали заходящее солнце и поднимающуюся над горизонтом полную луну, умильно взирающие друг на друга.

— Ба! Да это старина Пурграс! — воскликнул Марк Кларк. — Ей-ей, твой вид, Джозеф, не делает чести харчам твоей хозяйки.

— Всю дорогу у меня была страсть какая бледная спутница, — отвечал Джозеф, невольно вздрагивая и выражая на лице покорность судьбе. — И по правде сказать, мне стало не по себе. Ей-богу, я даже позабыл вкус колбасы и запах эля, только рано поутру глотнул самую малость.

— Так выпей, Джозеф, не томи себя, — сказал Когген, протягивая ему жбан с перехватом, полный на три четверти.

Джозеф пил небольшими глотками, потом стал глотать еще медленное и наконец проговорил, опуская жбан на стол:

— А славно выпить, очень даже славно, на душе стало вроде веселей, — ведь подумать только, какое печальное дело мне препоручили!

— И впрямь выпивка — утешение для души, — отозвался Джан; видно было, что он так усвоил эту затасканную истину, что слова сами собой сорвались у него с языка; подняв кружку, Когген медленно откинул голову назад и в предвкушении блаженства зажмурил глаза, чтобы его не отвлекали окружающие предметы.

— Что ж, ехать так ехать, — вздохнул Пур-

грас. — Хоть я бы и не прочь пропустить с вами еще кружку. Но люди могут потерять ко мне доверие, ежели увидят меня здесь.

— А куда ты держишь путь, Джозеф?

— Назад, в Уэзербери. Там у меня в повозке бедняжка Фанни Робин, без четверти пять мне надобно подвезти ее к воротам кладбища.

— А! Слыхал, слыхал, заколотили, бедную, в ящик. За гроб, должно, заплатил приход. А уж за колокольный звон и за могилу платить некому.

— Приход заплатит полкроны за могилу, а шиллинг за трезвон не станет платить, потому как трезвон — это роскошь, а уж без могилы никак не обойтись. А впрочем, я так полагаю, наша хозяйка за все заплатит.

— Хороша была девушка, пригожей не видывал! А на кой тебе спешить, Джозеф? Бедняжка померла, ее не воскресишь, так почему бы тебе не посидеть с нами здесь в уюте и не распить еще по кружке?

— Я бы не прочь выпить с вами, братцы мои, самый что ни на есть малюсенький наперсточек. Но времени у меня в обрез, потому как дело — оно всегда дело.

— Валяй еще кружку! После второй силы прибудет вдвое. Становится этак тепло да славно,

работа так и спорится, все идет как по маслу. Слишком уж налегать на спиртное — плохое дело, еще угодишь в пекло к рогатому. Но ведь не всякому дано разбираться в напитках, а раз уж мы получили этакий дар, то будем пользоваться им на славу!

— Верно! — подхватил Марк Кларк. — Милостивый Господь наградил нас этим талантом, и грех зарывать его в землю. Будь неладны все эти пасторы, да псаломщики, да учителя с их чинными чаепитиями — из-за них пошли прахом добрые старые обычаи; провалиться мне на этом месте, если люди не разучились веселиться!

— Ну уж теперь мне и впрямь пора, — заявил Джозеф.

— Полно тебе, Джозеф! Что за ерунда! Бедняжка померла — так ведь? Куда же тебе спешить?

— Уж я надеюсь, что Господь не взыщет с меня за мои проступки, — сказал Джозеф, снова усаживаясь. — По правде говоря, последнее время я таки поддавался искушениям. За этот месяц я разок напился вдрызг и в воскресенье не пошел в церковь, да вчера у меня сорвалось с языка скверное слово. А ведь надобно думать о спасении души, о будущей жизни помышлять и не пристало тратить время попусту.

— Видать, ты ходишь в Капеллу, Джозеф?

— Да что ты! Ни в жизнь!

— Что до меня, — заявил Когген, — то я верный сын англиканской церкви.

— И я тоже, ей-богу, так! — воскликнул Марк Кларк.

— Неохота мне говорить о себе, нет у меня такого обычая, — продолжал Когген, обнаруживая склонность разглагольствовать о своих убеждениях, характерную для потребителей напитков из ячменя. — Скажу одно: ни разу в жизни я не преступил ни одного церковного правила: пристал, как все равно пластырь, к старинной вере, в которой рожден. Да. Вот чем хороша церковь: прихожанин может заглядывать в добрый старый трактир, и незачем ему ломать голову над всякой там премудростью. Ну а ежели тебе по вкусу ихние собрания, то изволь ходить в Капеллу и в ветер и в дождь и лезь из кожи вон. Признаться, те, что ходят в Капеллу, народ башковитый. Они навострились сочинять из головы всякие там молитвы — и о своей семье, и о тех, кто на море потерпел крушение, ну, о которых в газетах пишут.

— Навострились, что и говорить, навострились! — с воодушевлением подхватил Марк

Кларк. — А вот нам, церковникам, не обойтись без молитвенников, — оробеешь перед Господом Богом и словечко из себя не выдавишь, язык прилипнет к гортани.

— А те, что молятся в Капелле, и впрямь со всеми святыми запанибрата, — глубокомысленно изрек Джозеф.

— Да, — откликнулся Когген. — Они-то уж, как пить дать, попадут в рай. Ведь они трудятся в поте лица и заработают себе спасение. Ясное дело, нам, членам церкви, далеко до них, и вряд ли нас пустят в рай. А все-таки я терпеть не могу тех, кто отступает от старой веры, чтобы наверняка попасть в рай. По мне, это все одно что завербоваться шпионом из-за каких-то жалких фунтов. Вот что, люди добрые, как вымерз у меня в огороде картофель, ведь не кто другой, как наш пастор Сэрдли дал мне мешок на семена, а у него вряд ли оставался еще мешок для себя, да и купить было не под силу. Кабы не он, не посадить бы мне ничегошеньки. Что, по-вашему, я после этого переменю веру? Ну уж нет, буду держаться крепко за старину, а если уж мы все заблуждаемся — не беда! Погибать, так гуртом!

— Здорово сказано, очень даже здорово! — восхитился Джозеф. — А все-таки, друзья, мне пора

в путь, ей-богу, пора! Пастор Сэрдли будет ждать у кладбищенских ворот, а там на дороге у меня в повозке покойница.

— Не расстраивайся, Джозеф Пурграс! Ей-ей, пастор Сэрдли не прогневается. Он человек добрый. Сколько раз заставал меня в трактире, — а я немало потребил напитков за свою долгую и греховную жизнь, — но ведь он никогда не распекал меня за попойку. Садись.

Чем дольше сидел Джозеф Пурграс, тем меньше тревожила его мысль о возложенных на него обязанностях. Минуты неприметно скользили за минутами, и вот уже начали сгущаться вечерние тени; глаза наших собутыльников казались светящимися точками в темноте. Часы Коггена глухо пробили у него в кармане шесть раз.

В этот миг у входа в харчевню послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и появился Габриэль Оук в сопровождении трактирной служанки со свечой в руке. Он строго взглянул на физиономии гуляк, из которых одна была длинная, как дека скрипки, а две других — круглые, как сковородки, и все три — едва ли выразительнее означенных предметов. Джозеф Пурграс заморгал глазами и тихонько отодвинулся в тень.

— Честное слово, мне стыдно за вас! Какой

позор, Джозеф, какой позор! — в негодовании воскликнул Габриэль. — Когген, вы еще называетесь мужчиной, а ведете себя по-свински!

Когген тупо уставился на Оука, причем то один, то другой глаз закрывался у него по своему почину, словно они были не частью его самого, а какими-то самостоятельными, живыми и сонливыми существами.

— Будет вам хорохориться, пастух! — проговорил Марк Кларк, укоризненно глядя на свечу, по-видимому обладавшую какими-то притягательными свойствами.

— Покойницу никто не обидит, — вдруг заговорил Когген, автоматически отчеканивая слова. — Для нее уж сделали все, что положено… Ее нету с нами, и на кой человеку разрываться и спешить ради безжизненного праха, ведь он ничегошеньки не чувствует, не видит и даже не знает, что с ним делают? Будь она в живых, я первый бы ей помог. Захоти она поесть либо выпить, я сразу же выложил бы денежки. Но она померла, и спеши не спеши, ее не оживишь: она ушла от нас, и нечего на нее попусту тратить время. На кой нам торопиться? Выпейте, пастух, и будем друзьями, ведь завтра с нами может приключиться то же, что и с ней!

— Очень даже может! — подхватил с пафосом Марк Кларк и тут же отхлебнул, спеша насладиться благами жизни, пока с ним еще не случилось упомянутое событие. А Джан выразил свои мысли о завтрашнем дне в следующей песне:

За-втра! За-втра!

Нынче мир и достаток под кровом царят,

Я с душой беззаботной пирую!

Угощаю друзей – чем богат, тем и рад!

Завтра ж – пить без меня круговую!

За-втра! Зав…

— Заткнитесь, Джан! — оборвал его Оук и обернулся к Пурграсу. — Что до вас, Джозеф, то вы ведете себя просто мерзко, хоть и корчите из себя святошу! Вы напились до чертиков и не держитесь на ногах!

— Ну нет, пастух Оук, нет! Выслушайте разумное слово, пастух. Все дело в том, что на меня напала хворь, что зовется двоящийся глаз, вот вы и видите вместо меня двоих, то бишь, я вижу вместо вас двоих.

— Двоящийся глаз — скверная штука! — изрек Марк Кларк.

— Так всегда со мной случается, как засижусь в трактире, — со смиренным видом продолжал Джозеф Пурграс. — Да! Я вижу всякой твари по паре… как будто меня за святость Ной захватил с собой в ковчег… Д-д-д-да, — прибавил он, воображая себя отщепенцем и пуская слезу. — Видать, я слишком хорош для нынешней Англии, жить бы мне в Ветхом Завете с другими праведниками, тогда никто не наз-з-зывал бы меня пьянчу-чугой!..

— Будет вам разводить нюни! Совсем ополоумели!

— Ополоумел?.. Ну что ж! Обзывайте меня пьянчугой! Я приму это смиренно, я готов каяться на коленях, ей-богу, готов! Ведь я перед всяким делом говорю: «Господи, благослови!» День-деньской не сходит у меня это с языка. Видать, за этот святой обычай я и заслужил поношение! Так, значит, я ополоумел?! Да разве я позволял куражиться надо мной? Всякий раз давал сдачу, да еще как! Верно я говорю?

— Так оно и было, молодчина ты, Джозеф! — с жаром воскликнул Джан.

— Никогда я не допускал такого со мной обхождения! А вот пастух при всех моих достоинствах обозвал меня полоумным!.. Ну да бог с ним… Смерть будет для меня избавлением!..

Убедившись, что ни одному из работников нельзя доверить повозку, Габриэль, ни слова не говоря, вышел, захлопнул за собой дверь и направился к повозке, уже еле различимой в осенней мгле. Он отвернул морду лошади от холмика, который она начисто объела, поправил ветки на крышке гроба, и повозка покатилась дальше в темноте, насыщенной вредоносными испарениями.

В селении мало-помалу распространился слух, что к вечеру должны привезти и предать земле тело злополучной Фанни Робин, которая убежала в Кэстербридж и оттуда переходила из города в город, следуя за N-ским полком. Но благодаря молчаливости Болдвуда и великодушию Оука никому и в голову не приходило отождествить Троя с возлюбленным, за которым она последовала. Габриэль надеялся, что правда не выплывет наружу хотя бы в ближайшие дни; девушка скроется под землей, вырастет могильный холмик, пройдет время, об этом событии начнут забывать, и Батшеба не испытает острой боли, какую теперь причинили бы ей оскорбительные толки.

Когда Габриэль добрался до старого особняка Батшебы, чье поместье было расположено на пути к кладбищу, уже окончательно стемнело. Из

ворот вышел человек и спросил сквозь туман, висевший между ними, как облако мучной пыли:

— Это Пурграс с телом?

Габриэль узнал голос пастора.

— Я привез тело, сэр, — отозвался он.

— Я только что заходил к миссис Трой осведомиться, не известно ли ей, чем вызвана задержка. Боюсь, что сейчас слишком поздно, и уже нельзя совершить обряд погребения с должной благопристойностью. Что, свидетельство о смерти при вас?

— Нет, — отвечал Габриэль. — Я полагаю, оно у Пургграса, а он застрял в «Оленьей голове». Я забыл спросить у него.

— Ну, так это решает вопрос. Отложим похороны до завтрашнего утра. Тело можно отвезти в церковь или же оставить здесь, на ферме; а утром его возьмут носильщики. Они прождали больше часа и разошлись по домам.

У Габриэля были основания считать второе предложение пастора неприемлемым, хотя Фанни еще при жизни дядюшки Батшебы несколько лет прослужила на ферме. Он подумал о разных непредвиденных обстоятельствах: ведь эта задержка может повлечь за собой несчастные случайности! Но его воля не была законом, и он

решил узнать, как выскажется по этому поводу его хозяйка. Войдя в гостиную, он сразу заметил, что она в каком-то необычном состоянии: он прочитал в ее глазах подозрения и растерянность; как видно, ее обуревали мрачные мысли. Трой еще не возвратился. Сперва Батшеба с равнодушным видом согласилась на предложение Оука перевезти тело в церковь, но, дойдя с Габриэлем до ворот, переменила решение и захотела, чтобы покойницу внесли в дом. Оук убеждал Батшебу, что лучше оставить ее в повозке, где она лежит, укрытая цветами и зелеными листьями, только завезти повозку до утра в каретный сарай, но все его доводы были напрасны.

— Это будет жестоко и уж совсем не по-христиански, — возразила она, — если мы оставим бедняжку на ночь в каретном сарае.

— Что ж, прекрасно, — сказал пастор. — Ее похоронят завтра рано утром, я позабочусь об этом. Миссис Трой права, мы должны оказать уважение умершей. Не забудем, что хотя она совершила серьезный проступок, убежав из дома, все же она остается нашей сестрой. Будем надеяться, что Господь по своему безграничному милосердию простит ее и причислит к агнцам стада Христова.

Слова пастора, сказанные печальным и бесстрастным тоном, замерли в густом воздухе, и у Габриэля на глазах показались слезы. Батшеба, казалось, не была тронута. Мистер Сэрдли удалился, а Габриэль зажег фонарь. Он позвал на помощь еще троих мужчин, все вместе они внесли в дом бесчувственное тело изменившей своему долгу служанки и, исполняя приказание Батшебы, поставили гроб на две сдвинутые скамейки в маленькой гостиной, смежной с прихожей.

Потом все, кроме Габриэля Оука, вышли из комнаты. Он продолжал стоять в нерешительности возле гроба. Оук был до глубины души потрясен зловещей иронией обстоятельств, складывавшихся против жены Троя, и чувствовал, что не в силах предотвратить беду. Как он ни старался, какие ни предпринимал меры — случилась самое худшее. Оук представлял себе, какие последствия будут иметь события сегодняшнего дня: ведь ужасное открытие неизбежно бросит на жизнь Батшебы тень, которая лишь слегка рассеется по истечении долгих лет, но никогда не изгладится окончательно.

Оук ломал голову, как бы избавить Батшебу от грозивших ей страданий. Но вот он снова взглянул на крышку гроба и вдруг увидел наца-

рапанные на ней простые слова: «Фанни Робин и младенец». Габриэль вынул носовой платок и тщательно стер два последних слова, оставив лишь имя: «Фанни Робин». Затем он вышел из комнаты и покинул особняк, спокойно затворив за собою парадную дверь.

Глава XLIII
Месть Фанни

— Я вам еще нужна, мэм? — спросила поздним вечером Лидди, стоя в дверях со свечой в руке и глядя на Батшебу, которая сидела, печальная и одинокая, в большой гостиной возле камина, где впервые этой осенью пылал огонь.

— Сегодня ты больше не нужна, Лидди.

— Если вам угодно, мэм, я посижу, покуда вернется хозяин. Я ничуточки не боюсь Фанни, только позвольте мне сидеть у себя в комнате при свече. Она была совсем как дитя, такая безобидная, и ее дух, уж конечно, не может никому явиться.

— Нет, нет! Ступай спать. Я подожду его до двенадцати часов, и если он не приедет к этому времени, тоже лягу спать.

— Сейчас половина одиннадцатого.

— Как! Уже?

— Почему вы не подниметесь наверх, мэм?

— Почему не поднимусь? — рассеянно повторила Батшеба. — Да ведь здесь топится камин, Лидди. — И неожиданно для себя спросила

взволнованным шепотом: — Ты не слыхала каких-нибудь толков про Фанни?

Едва вырвались у нее эти слова, как на лице мелькнуло выражение непередаваемой скорби, и она залилась слезами.

— Ни единого словечка! — ответила Лидди, с удивлением глядя на плачущую хозяйку. — Отчего вы плачете, мэм? Что вас так опечалило? — Она подошла к Батшебе, в глазах ее светилось искреннее сочувствие.

— Ничего, Лидди… Ты мне больше не нужна. Я и сама не понимаю, почему за последнее время у меня так часто глаза на мокром месте, раньше этого со мной не бывало. Спокойной ночи.

Лидди вышла из гостиной и притворила за собой дверь.

Батшеба чувствовала себя одинокой и несчастной. Правда, до своего замужества она привыкла к одиночеству, но раньше ее можно было уподобить человеку, одиноко стоящему на вершине горы, а теперь она как бы находилась в одиночном заключении. За последние два дня на нее нахлынули мучительные мысли о прошлом ее мужа. Теперь в ее груди бушевали самые противоречивые чувства, и сперва ей не захотелось поставить на ночь к себе в дом тело Фанни. Но

потом она осознала, что ею владеют предрассудки, и решила превозмочь жестокий низменный инстинкт, заглушавший в ее сердце всякое сочувствие к умершей женщине, которая до нее была дорога Трою; Батшеба по-прежнему его любила, хотя ее любовь была смертельно ранена и отравлена мрачными предчувствиями.

Минут через десять снова раздался стук в дверь. Опять появилась Лидди. Сделав несколько шагов, она остановилась, немного помялась и сказала:

— Мэриен только что слышала кое-что больно чудно́е, только бьюсь об заклад, что это вранье. И мы наверняка узнаем все как было через день-другой.

— Что такое?

— Да это ничуть не касается вас, мэм. Это насчет Фанни. То самое, что вы слыхали.

— Да я ничего не слыхала.

— Видите ли, сейчас по Уэзербери пошли недобрые слухи, будто… — Лидди подошла вплотную к своей хозяйке и медленно прошептала ей на ухо окончание этой фразы, кивнув головой в сторону комнаты, где лежала Фанни.

Батшеба вздрогнула.

— Не верю этому! — воскликнула она с жаром. — Да и на крышке гроба написано только

ее имя!

— И я не верю, мэм. Да и мало кто верит. Будь это правда, уж мы наверняка что-нибудь да услыхали бы, — как по-вашему, мэм?

— Может, и услыхали бы, а может, и нет.

Батшеба отвернулась и стала смотреть на огонь в камине, чтобы Лидди не увидела ее лица. Убедившись, что хозяйка больше не расположена говорить, Лидди выскользнула из комнаты, тихонько притворила дверь и отправилась спать.

В тот вечер лицо Батшебы, не сводившей глаз с огня, могло бы вызвать беспокойство даже у постороннего человека. Батшеба и не думала торжествовать, узнав о печальной участи Фанни Робин, хотя ее можно было бы уподобить Эсфири, а соперницу — злополучной Васти, и невольно хотелось сопоставить их судьбы. Простодушная, выросшая за городом и воспитанная в старомодных правилах, Батшеба была потрясена событием, которое произвело бы лишь слабое впечатление на светскую женщину, — смертью Фанни и ее младенца (если он вправду у нее был). Когда Лидди вторично вошла в комнату, прекрасные глаза хозяйки смотрели на нее как-то безжизненно и устало. После того как девушка все выболтала и удалилась, в этих глазах отра-

зилось неимоверное страдание. Немного спустя оно перешло в апатию. Но время текло, и мысли Батшебы, вначале вялые и сумбурные, стали постепенно оживляться, разгладились мрачные складки на лбу, и выражение тревоги в глазах сменилось покоем сосредоточенного размышления.

Батшеба смутно догадывалась, что смерть Фанни связана с какой-то трагической историей, в которую замешана и она сама, хотя ни Оук, ни Болдвуд даже не допускали мысли, что она обо всем догадывается. Встреча с одинокой женщиной субботним вечером произошла без свидетелей и не вызвала никаких толков. Оук из самых лучших побуждений пытался возможно дольше сохранить в тайне все приключившееся с Фанни, но если б он знал, что Батшеба сама старается распутать этот узел, он не стал бы держать ее в томительной неизвестности, понимая, что ужасная правда только подтвердит ее подозрения.

Внезапно ей страстно захотелось поговорить с человеком, более сильным духом, чем она, и почерпнуть у него мужества, чтобы с достоинством перенести свалившееся на нее бремя мук и стоически перетерпеть гнетущие сомнения. Где бы ей

найти такого друга? Только не у себя в доме. Она куда хладнокровнее всех женщин, живущих под ее кровом. Сейчас ей хотелось одного — научиться терпеливо выжидать и воздерживаться от всяких суждений хотя бы в ближайшие часы, но некому было ее в этом наставить. Уж не пойти ли ей к Габриэлю Оуку? Нет, она этого не сделает!

«Как стойко умеет переносить Оук все трудности жизни», — подумалось ей. Казалось, Болдвуду доступны более глубокие, возвышенные и сильные чувства, чем Габриэлю, а между тем он до сих пор постиг не лучше ее ту простую науку, какой в совершенстве овладел Оук, доказывая это каждым своим движением и взглядом: он умел поступаться своими личными интересами ради интересов других людей и не ставил выше всего свое благополучие. Оук вдумчиво всматривался в происходящие события, отнюдь не считая себя их центром. Именно такой и хотелось бы ей быть! Но ведь Оука не мучает неизвестность, от которой сейчас разрывается ее сердце. Оук решительно все знает о Фанни — она уверена в этом. Если она сейчас отправится к нему и задаст лишь один краткий вопрос: «Правду ли говорят люди?» — он как человек чести обязан будет ей ответить. И она получит невыразимое облегчение. Ей не понадо-

бится давать ему объяснений. Оук так ее изучил, что его не испугает никакая ее эксцентричность.

Она накинула плащ, распахнула дверь и вышла на крыльцо. Ни один листик, ни одна ветка не шевелилась. Воздух был все еще насыщен влагой, хотя туман уже не казался таким густым, как во вторую половину дня, и капли гулко, с правильными промежутками, почти в музыкальном ритме падали с деревьев на сухие листья, устилавшие землю. Батшеба подумала, что на воздухе ей будет легче, чем дома, и, заперев дверь, зашагала вдоль по улочке, направляясь к коттеджу, в котором теперь жил в одиночестве Габриэль, перебравшийся туда из дома Коггена, где было слишком тесно. Она остановилась против коттеджа. Только в одном из окон нижнего этажа виднелся свет. Ставни не были закрыты, на окне не было ни занавесок, ни штор, — как видно, хозяин помещения не слишком-то опасался воров или любопытных взглядов. В окне она увидела Габриэля, он читал, сидя за столом. Она могла отчетливо его разглядеть, — он сидел неподвижно, подперев рукой белокурую кудрявую голову, и лишь по временам снимал нагар со свечи, стоявшей подле него. Наконец он взглянул на часы, очевидно удивился, что уже так поздно,

захлопнул книгу и встал. Она поняла, что он собирается ложиться спать, и если стучать, то надо сию же минуту.

Увы! Куда девалась ее решимость! Она почувствовала, что не в силах этого сделать. Ни за что на свете не намекнет она ему о своем горе, а тем более не станет допытываться, чем вызвана смерть Фанни. Она обречена подозревать, и догадываться, и терзаться, и все переносить в одиночку.

Подобно бездомному страннику, стояла Батшеба на краю дороги, убаюканная и зачарованная атмосферой покоя, царившей в коттедже. Как недоставало в ее доме тишины и мира! Но вот Габриэль появился в верхней комнате, поставил свечу на подоконник и… преклонил колени для молитвы. В ее смятенной, растерзанной душе так мучительно отразилась эта мирная картина, что она больше не в силах была смотреть. Нет! Не для нее такое примирение с горем! Она должна пройти до конца мучительный пагубный путь, на который вступила. С тяжелым сердцем зашагала она назад и вошла в свой дом.

Ею овладело лихорадочное возбуждение: оно пришло на смену тех чувств, какие она испытала, наблюдая Оука; в прихожей она остановилась,

глядя на дверь, за которой лежала Фанни. Она сплела пальцы рук, откинула голову назад и, прижав горячие руки ко лбу, воскликнула с истерическим стоном:

— Боже мой! Если б ты только могла, Фанни, открыть мне свою тайну!.. О, я надеюсь, я все же надеюсь, что это неправда, что вас тут не двое!.. Если б мне хоть на миг заглянуть в гроб, я узнала бы все!..

Через минуту-другую она медленно прошептала:

— И я узнаю!

Впоследствии Батшеба не могла припомнить, что происходило у нее в душе в тот памятный вечер; произнеся решительным шепотом эти слова, она стала лихорадочно действовать. Она прошла в чулан, разыскала среди хлама отвертку. Вскоре после этого она очутилась в маленькой комнате; она дрожала от волнения, глаза застилал туман, в висках мучительно стучало, но ей страстно хотелось разгадать причину смерти Фанни. Стоя у закрытого гроба той, чей окутанный тайной конец с неумолимой силой овладел всеми ее мыслями, Батшеба хриплым голосом проговорила:

— Лучше знать самое худшее, чем мучиться неизвестностью!

Она очутилась перед гробом после целого ряда поступков, совершенных в каком-то сумбурном сне; приводя в исполнение мысль, блеснувшую ей в прихожей, она взбежала вверх по лестнице, прислушиваясь к тяжелому дыханию служанок, убедилась, что они крепко спят, вновь скользнула вниз, повернула ручку двери, вошла в комнату, где стоял гроб, и стала отвинчивать крышку. Раньше она ужаснулась бы, если бы представила себе, что занимается таким делом глухой ночью в полном одиночестве, а теперь даже не испытывала особенного страха. Но какой ужас овладел ею, когда, заглянув в гроб, она получила неоспоримое доказательство вины мужа и узнала последнюю главу истории Фанни!

Голова Батшебы поникла. Глубокий вздох, долго сдерживаемый в томительном напряжении, вырвался из ее груди вместе с тихим стоном: «О-о-о!» — прозвучавшим в мертвой тишине.

Слезы ее посыпались градом на бесчувственные тела, лежавшие в гробу, — слезы весьма сложного происхождения; трудно было бы сказать, чем они вызваны, но это не были только слезы отчаяния. Их жгучее пламя словно возгорелось из холодного праха Фанни, которая силою обстоятельств была приведена сюда таким простым,

естественным и вместе с тем удивительным образом. Фанни умерла и тем самым совершила единственный поступок, который мог поднять ее из униженного состояния и даже возвеличить. Вдобавок судьба устроила сегодня их встречу, и в необузданном воображении Батшебы неудача соперницы преобразилась в успех, ее унижение — в торжество, злополучие — в могущество, а на нее, Батшебу, упал луч беспощадного света, и она предстала в жалком виде, казалось, все предметы вокруг нее злорадно усмехались.

Лицо Фанни было обрамлено золотистыми волосами, и теперь уже не оставалось сомнений в происхождении локона, хранившегося в часах Троя. Фантазия Батшебы разыгралась, и ей мерещилось, будто невинное белое личико Фанни выражает торжество, словно девушка сознает, что отплатила страданием за свои страдания со всей беспощадной суровостью Моисеева закона: «Око за око и зуб за зуб».

Батшеба стала тешить себя мыслью о смерти как о мгновенном выходе из мучительного положения; она сознавала, что недопустимо прибегать к такому ужасному средству, но еще ужаснее, думалось ей, до конца дней терпеть позор. Однако делать ставку на смерть — значило

рабски подражать сопернице; к тому же нельзя было ожидать, что смерть возвеличит ее, как возвеличила Фанни. Как всегда в минуты волнения, Батшеба металась взад и вперед по комнате, ломая руки; с губ у нее слетали бессвязные слова:

— Я ненавижу ее!.. Да нет, я не то хотела сказать... Ведь это отвратительно и грешно... И все же я, пожалуй, ее ненавижу... Да, она ненавистна мне до мозга костей, хоть в глубине души я это осуждаю... Будь она жива, я накинулась бы на нее, жестоко бы разбранила, и это было бы естественно. Но изливать злобу на покойницу — как это мерзко! О Боже, сжалься надо мной! До чего я несчастна!

Батшебу так ужаснуло ее душевное состояние, что она стала озираться по сторонам, как бы ища защиты от самой себя. Тут ей вспомнился Оук, стоящий на коленях поздним вечером, в ней заговорил инстинкт подражания, нередко появляющийся у женщин, она ухватилась за эту мысль и решила последовать его примеру. Габриэль молился, — почему бы не помолиться и ей?

Она опустилась на колени возле гроба и закрыла лицо руками. В комнате стало тихо, как в могиле. Оттого ли, что она действовала чисто машинально или по какой-нибудь другой при-

чине, но она поднялась с умиротворенной душой, сожалея, что поддалась мстительному чувству.

Желая загладить свою вину, она вынула цветы из вазы, стоявшей на окне, и стала раскладывать их вокруг головы покойницы. Батшеба знала лишь один способ проявлять внимание к усопшим — это убирать их цветами. Должно быть, прошло несколько минут. Она была вне времени и вне жизни, не сознавала, где находится и что делает. Очнулась она, услыхав стук захлопнувшихся ворот каретного сарая. Через минуту отворилась и захлопнулась парадная дверь, в прихожей послышались шаги, и в дверях появился ее муж; он остановился, глядя на нее.

Трой не сразу уразумел, в чем дело; окаменев от изумления, он созерцал эту картину, словно какую-то дьявольскую фантасмагорию. Батшеба, бледная, как покойница, вставшая из гроба, устремила на него обезумевший взгляд.

Охваченный волнением человек теряет способность связно мыслить, и пока Трой стоял, держась за ручку двери, ему даже не пришло в голову, что все это имело прямое отношение к Фанни.

Прежде всего ему смутно подумалось, что в доме кто-то умер.

— Что… такое? — растерянно спросил он.

— Уйду!.. Уйду отсюда! — твердила Батшеба, обращаясь скорей к самой себе, чем к нему. С широко раскрытыми глазами она направилась к двери, собираясь проскользнуть мимо него.

— Что случилось, скажи, ради бога! Кто умер? — допытывался Трой.

— Не могу. Пусти меня. Хочу на воздух! — твердила она.

— Нет! Оставайся здесь, слышишь? — Он схватил ее за руку, и вдруг она словно утратила силу сопротивления и впала в совершенную пассивность. Он увлек ее за собой; рука об руку, Трой и Батшеба приблизились к гробу.

На письменном столе близ гроба стояла свеча, и в ее свете отчетливо выступали застывшие черты матери и младенца. Трой взглянул, выпустил руку жены, перед ним блеснула зловещая правда, и он замер на месте.

Он стоял в таком оцепенении, что можно было подумать, что он так и не сдвинется с места. Овладевшие им противоположные чувства, сталкиваясь, парализовали друг друга, следствием чего была полная неподвижность.

— Ты ее знаешь? — спросила Батшеба, и голос ее звучал глухо, словно эхо, доносящееся из глубины пещеры.

— Знаю, — отвечал Трой.

— Это она?

— Она.

Сперва он стоял как вкопанный. Но теперь в его неподвижности уже можно было подметить признаки зарождающегося движения, подобно тому, как в глубоком мраке ночи через некоторое время глаз начинает улавливать какое-то подобие света. Он слегка подался вперед. На его лице выражение ужаса сменилось неподдельной печалью. Батшеба пристально смотрела на Троя, губы ее по-прежнему были полуоткрыты, и в глазах светилось безумие. Чем сильнее по натуре человек, тем сильней он страдает, и как ни велики были страдания Фанни, явно для нее непосильные, возможно, что она никогда не испытывала таких мук, какие переживала сейчас Батшеба.

Но вот Трой опустился на колени, по его лицу видно было, что он раскаивается и охвачен благоговением. Склонившись над телом Фанни, он нежно поцеловал ее, как целуют спящего ребенка, опасаясь его разбудить.

Не в силах этого стерпеть, Батшеба ринулась к Трою. Казалось, все чувства, обуревавшие ее с тех пор, как она познала чувство любви, слились в едином порыве. Произошел резкий, крутой

перелом; несколько минут назад она с болью размышляла о своей поруганной чести, о том, что другая стала матерью раньше нее и восторжествовала над ней. Но все было забыто, едва в ней проснулось простое, но все еще сильное чувство любви жены к мужу. Она больше не скорбела о своей разбитой жизни, ее ужасала мысль, что разорван их брак, казалось бы, такой неудачный. Она обвила руками шею Троя, и у нее вырвались сумасшедшие слова:

— Не надо! Не целуй их! О Фрэнк, я не перенесу этого! Не могу!.. Я люблю тебя крепче, чем любила она… Поцелуй же меня, Фрэнк!.. Поцелуй меня! Ты должен и меня поцеловать, Фрэнк!

В этом ребяческом проявлении горя, в этой наивной мольбе было что-то настолько неестественное и необычайное для такой независимой женщины, как Батшеба, что Трой, освободившись от ее рук, в недоумении воззрился на нее. Внезапно ему открылось, что все женщины в глубине души одинаковы, даже такие различные по характеру и внешности, как Фанни и та, что стояла рядом с ним; ему как-то не верилось, что это его гордая жена Батшеба. Казалось, дух Фанни вселился в нее. Но то было лишь мимолетное впечатление. Когда улеглось удивленье, он сурово

взглянул на Батшебу.

— Нет, я не стану тебя целовать! — заявил он, отталкивая ее.

Могла ли Батшеба стерпеть такое оскорбление? Как было ей не высказаться в такой ужасный момент, когда от человека нельзя требовать благоразумия и обдуманности! Это было вполне естественно и даже простительно. Невероятным усилием воли она обуздала кипевшие в ней чувства.

— Чем же ты объясняешь свой отказ? — спросила она со сдержанной болью, странно тихим и словно чужим голосом.

— Я должен сказать, что я скверный, черствый человек, — отвечал он.

— Ты признаешь, что эта женщина — твоя жертва, да и я тоже?

— Не язвите меня, сударыня! Эта женщина, даже мертвая, мне гораздо дороже вас, всегда была и будет дороже. Если б мне не подсунул вас сам дьявол, если б не ваша красота и проклятое кокетство, я женился бы на ней. Я ни о чем другом и не думал, пока не повстречался с вами. Ах, почему я этого не сделал! Но теперь уж поздно. Я обречен терзаться из-за этого всю жизнь! — Тут он повернулся к Фанни. — Не сердись на меня,

дорогая! — сказал он. — Перед Богом ты воистину моя жена!

Тут из груди Батшебы вырвался долгий-долгий вопль; сердце ее разрывалось от скорби и гнева. В этих старых стенах, видевших немало поколений, никогда еще не раздавался такой мучительный стон. Прозвучал приговор судьбы: «τετέλεσται»[2].

— Если она… для тебя… то что же тогда я? — сквозь слезы пролепетала Батшеба, и ужасно было видеть в таком отчаянии эту обычно сдержанную женщину.

— Ты ничто для меня… решительно ничто! — безжалостно бросил Трой. — Священник может совершить обряд, но это еще не значит, что состоялся брак. Душою я не твой.

Внезапно Батшебой овладело безумное желание: спастись отсюда, скрыться, бежать от него хоть на край света, пусть даже умереть, только не слышать этих ужасных слов! Она повернулась к дверям и выбежала из комнаты.

---

[2] Примечания: 2
Свершилось *(греч.)*.

Глава XLIV
Под деревом. Кризис

Батшеба быстро шла в темноте по дороге, не думая о том, куда и зачем она идет. Она впервые отчетливо осознала, где находится, когда очутилась перед калиткой, за которой виднелись какие-то густые заросли, а над ними — высокие дубы и березы. Присмотревшись, она припомнила, что когда-то была здесь днем; эта с виду непроходимая чаща оказалась зарослями папоротников, уже сильно пожухших. Не зная, куда себя деть, вся трепеща от возбуждения, Батшеба почему-то решила спрятаться в зарослях; она вошла в калитку и вскоре увидела наклонившееся к земле дерево; его густые ветви могли защитить от сырого тумана, и она опустилась возле него на груду листьев и стеблей. Машинально она нагребла две-три охапки, зарылась в листья, чтобы укрыться от ветра, и сомкнула веки.

Едва ли Батшеба спала в эту ночь, верней, это была легкая дремота, но когда она очнулась, то почувствовала себя освеженной, и мысли ее прояснились. Но вот ее внимание привлекли

какие-то странные звуки и движение в ветвях над головой.

Сперва послышался сиплый щебет.

Это проснулся воробей.

Затем из другого местечка: «Чью-уиз-уиз-уиз!»

То был зяблик.

Потом на изгороди: «Тинк-тинк-тинк-тинк-а-чинк!»

То была малиновка.

Над головой что-то застрекотало: «Чок-чок-чок!»

Белка.

Наконец, с дороги донеслось: «Ра-та-та! Рум-тум-тум!»

То был молодой батрак. Вскоре он поравнялся с воротами, и она узнала голос своего работника. Его пение заглушал тяжелый беспорядочный топот копыт. Выглянув из зарослей, Батшеба рассмотрела в тусклом свете нарождающегося дня пару своих коней. Они остановились на водопой у пруда по ту сторону дороги. Послышался всплеск, лошади вошли в пруд, разбрызгивая воду, и принялись пить; по временам они вскидывали голову кверху, потом снова пили, и вода сбегала у них с губ серебряными ниточками. Снова всплеск — и они вышли из пруда, повернули

назад и затрусили к ферме.

Она продолжала осматриваться. Заря только еще занималась; этим ясным прохладным утром Батшебе показались дикими ее поступки и решения, принятые сгоряча минувшей ночью. Она обнаружила у себя на коленях и в волосах множество красных и желтых листьев, упавших на нее с дерева, во время дремоты. Батшеба отряхнула платье, сбрасывая их, и множество сухих листьев, валявшихся вокруг, взлетело на воздух и закружилось в поднятом ею ветерке, «как духи, вызванные чародеем».

К востоку чаща папоротников расступалась, и предрассветное сияние привлекло взгляд Батшебы. У самых ее ног начинался склон, где густо разрослись живописные папоротники, раскинувшие во все стороны желтые перистые крылья, а внизу, в ложбине, виднелось небольшое болотце, испещренное россыпью поганок. Болотце застилал утренний туман, вредоносная, но великолепная серебряная пелена, пронизанная светом, но не совсем прозрачная, — стоявшая по ту сторону болота изгородь смутно вырисовывалась сквозь светозарную дымку. По краям пади густо разросся тростник; кое-где в лучах восходящего солнца блестели стебли касатика,

словно лезвия кос. Болото имело зловещий вид. Казалось, из недр земли, от подземных вод над влажной губительной порослью поднимались ядовитые миазмы. Поганки всевозможных видов расплодились на болотце, вырастали из прелой листвы, покрывали пни. Взгляд Батшебы рассеянно скользил то по слизистой грибнице, то по клейким шапочкам поганок. Одни были усеяны крупными пятнами, словно обрызганы артериальной кровью, другие — шафранно-желтого оттенка, третьи на тонких ножках, длинных, как макароны. Попадались и кожистые шапочки сочных коричневых тонов. Падь казалась рассадником всякой заразы, хотя и находилась по соседству с местами, дышавшими уютом и здоровьем. Батшеба поднялась, содрогаясь при мысли, что провела ночь на краю этой угрюмой топи.

Но вот на дороге снова послышались шаги. У Батшебы нервы были до крайности напряжены, она притаилась в зарослях. Вскоре появился пешеход. То был мальчишка-школьник; через плечо у него был перекинут мешочек с завтраком, а в руке книжка. Он остановился у калитки и, глядя себе под ноги, бормотал так громко, что она могла разобрать слова:

— «Боже, Боже, Боже, Боже, Боже!» Это я заучил…

«Даруй нам, даруй нам, даруй нам, даруй нам…» Это я уже знаю… «Милость твою, милость твою, милость твою, милость твою…» И это знаю…

Зубрежка продолжалась. Мальчишка, как видно, принадлежал к разряду тупиц, книжка была не что иное, как псалтырь, и таким способом он задалбливал псалмы. При самых острых пароксизмах душевной боли некий поверхностный слой сознания остается незатронутым, и подмечаются всякие мелочи; Батшебу слегка позабавил маленький зубрила, но вот и он удалился.

Тем временем оцепенение сменилось тревогой, а тревогу начали заглушать все усиливающиеся голод и жажда. Вдруг на холме с противоположной стороны болота появилась полускрытая туманом фигура и стала приближаться к Батшебе. Это была женщина; она шла, оглядываясь по сторонам, словно что-то высматривая. Обогнув слева болото, она подошла поближе, и Батшеба рассмотрела ее профиль, вырисовывавшийся на залитом солнцем небе, — волнистая линия сбегала ото лба к подбородку, без единого угла, то были знакомые, мягкие черты Лидди Смолбери.

Сердце Батшебы бурно забилось, она почувствовала благодарность, убедившись, что не совсем покинута, и вскочила на ноги.

— Ах, Лидди! — сказала она, вернее, попыталась сказать: слова только зарождались у нее на устах, звуков же не было слышно. Она потеряла голос, надышавшись за ночь тяжелым, сырым воздухом.

— Ах, мэм! Как я рада, что нашла вас! — воскликнула Лидди, разглядев Батшебу.

— Тебе не перейти через топь, — прошептала Батшеба, тщетно стараясь повысить голос, чтобы Лидди ее расслышала. Девушка, ничего не подозревая, ступила на болото.

— Мне думается, здесь можно пройти, — проговорила она.

Батшебе на всю жизнь врезалась в память эта быстро промелькнувшая картина: как Лидди пробиралась к ней по болоту в утренних лучах. Радужные пузырьки — тлетворное дыхание земли — выскакивали из-под ног девушки, ступавшей по трясине, лопались с шипением, и струйки пара улетали ввысь, к мглистым небесам. Лидди не провалилась, несмотря на опасения Батшебы.

Она благополучно добралась до противоположного края болота и заглянула в лицо молодой хозяйки, — оно было бледное, измученное, но не утратило своей красоты.

— Бедненькая! — воскликнула Лидди со слеза-

ми на глазах. — Ну успокойтесь, мэм, пожалуйста, успокойтесь. Как же это так…

— Я могу говорить только шепотом, потеряла голос, — перебила ее Батшеба. — Должно быть, мне повредила сырость здесь, на болоте. Ни о чем не спрашивай меня, Лидди. Кто тебя послал? Послал кто-нибудь?

— Никто. Увидала я, что вас нету дома, и подумала: уж не стряслась ли какая беда? Мне послышался его голос среди ночи, я и решила: тут что-то неладно…

— Он дома?

— Нет. Ушел как раз передо мной.

— Фанни уже взяли?

— Нет еще. Скоро унесут — в девять часов.

— Ну так мы пока что не пойдем домой. Не погулять ли нам в роще?

Лидди, не имевшая понятия о том, что произошло, согласилась, и они углубились в рощу.

— Лучше бы вам воротиться домой, мэм, да покушать. Здесь вы насмерть простудитесь.

— Сейчас я не пойду домой… а может, и совсем не вернусь…

— Так не принести ли мне вам чего-нибудь перекусить да что-нибудь потеплее накинуть на голову, а то вы в одной легонькой шали!

— Что ж, если хочешь, Лидди…

Лидди исчезла и спустя двадцать минут вернулась; она принесла плащ, шляпу, бутерброды с маслом, чашку и чай в небольшом фарфоровом чайнике.

— Фанни уже взяли? — спросила Батшеба.

— Нет еще, — отвечала ее спутница, наливая чай.

Батшеба закуталась в плащ, немного поела и выпила несколько глотков. Голос у нее слегка прочистился и лицо чуточку порозовело.

— Давай еще погуляем, — предложила она.

Около двух часов они бродили по роще. Батшеба односложно отвечала без умолку болтавшей Лидди, всецело поглощенная одной-единственной мыслью. Но вот она прервала девушку:

— Хотелось бы мне знать, унесли Фанни или нет.

— Я схожу посмотрю.

Девушка вернулась и сообщила, что тело только что вынесли; о Батшебе уже справлялись, но она, Лидди, ответила, что хозяйка нездорова и ее нельзя видеть.

— Так, значит, они думают, что я у себя в спальне?

— Да. — И Лидди осмелилась прибавить: —

Когда я разыскала вас, вы сказали, что, может, больше совсем не воротитесь домой, но ведь вы оставили эту мысль, мэм?

— Да. Я передумала. От мужей убегают только женщины без всякого самолюбия. Плохо, если жена умрет у себя в доме от побоев, но еще хуже ей будет, если она останется в живых только потому, что сбежала в чужой дом. Все это я обдумала нынче утром и теперь знаю, что мне предпринять. Беглая жена — обуза для родных, самой себе в тягость, имя ее у всех на языке, и на нее сыплется столько напастей, что уж лучше оставаться дома, хотя при этом рискуешь нарваться на оскорбления и побои и умереть с голода. Лидди, если ты когда-нибудь выйдешь замуж, — от чего избави тебя Бог! — ты попадешь в прескверное положение, но помни одно: ни за что не сдавайся! Держись крепко, а там пусть тебя хоть на куски изрежут! Вот как я буду теперь поступать!

— Ах, не говорите этого, хозяйка! — воскликнула Лидди, хватая ее за руку. — Но я так и знала: вы такая рассудительная и ни за что не бросите свой дом! А могу я вас спросить, что такое ужасное произошло меж вами?

— Спросить можешь, да я тебе не отвечу.

Минут через десять они вернулись домой

окольным путем и вошли через черный ход. Батшеба тихонько поднялась по лестнице в заброшенный мезонин, девушка последовала за ней.

— Лидди, — заговорила она уже повеселее, так как молодость взяла свое и надежды стали возрождаться, — теперь ты будешь моей наперсницей, — надо же кому-нибудь изливать душу, я и выбрала тебя. Так вот, на время я поселюсь здесь. Затопи камин, принеси ковер и помоги мне навести уют! А потом я хочу, чтобы вы с Мэриен притащили наверх ту колченогую кровать из маленькой комнаты, и матрац, и стол, и еще всякую всячину... Чем бы мне заняться, чтобы как-то пережить это тяжелое время?

— Подрубать носовые платочки, это очень приятное занятие, — посоветовала Лидди.

— Ах нет, нет! Я ненавижу шитье, всю жизнь ненавидела.

— Ну а вязанье?

— То же самое!

— Тогда вы можете закончить свою вышивку по канве. Там остается доделать только гвоздику и павлинов, а потом ее можно вставить в рамку под стекло и повесить рядом с рукоделиями вашей тетушки, мэм.

— Вышивание по канве — старомодное занятие

и до ужаса провинциальное. Нет, Лидди, я буду читать. Принеси-ка мне сюда книг, только не надо новых. Что-то к ним душа не лежит.

— Может, что-нибудь из старых книг вашего дядюшки, мэм?

— Да. Из тех, что мы сложили в ящики. — Чуть уловимая добродушная улыбка промелькнула у нее на лице. — Принеси «Трагедию девушки» Бомонта и Флетчера и «Невесту в трауре»... Постой, что бы еще? «Ночные размышления» и «Тщету человеческих желаний».

— А потом еще рассказ про черного человека, что зарезал свою жену Дездемону? Он страсть какой жалостный и уж так вам подойдет сейчас!

— Так, значит, Лидд, ты заглядывала без спросу в мои книги, а ведь я тебе запретила! Почему ты думаешь, что эта книга мне подойдет? Она мне ничуть не подходит.

— Но ведь другие-то подходят...

— И те не подходят — не стану я читать печальных историй. В самом деле, зачем мне их читать? Принеси-ка мне «Любовь в деревне», и «Девушку с мельницы», и «Доктора Синтаксиса», и несколько выпусков «Зрителя».

Весь этот день Батшеба и Лидди прожили в мезонине, как на осадном положении; впрочем,

эта предосторожность оказалась излишней, ибо Трой не появлялся в Уэзербери и не думал их беспокоить. До захода солнца Батшеба просидела у окна; временами она принималась читать, потом опять рассеянно следила за всем происходящим снаружи и равнодушно прислушивалась к долетавшим до нее звукам.

В тот вечер заходящее солнце было кроваво-красным, и на востоке свинцовая туча отражала последние лучи. На темном небе четко выступал освещенный западный фасад колокольни (из окон фермы была видна только эта часть церкви), и флюгер на ее шпиле, казалось, брызгал искрами. Около шести часов на лугу близ церкви, по обыкновению, собралась мужская молодежь селения играть в бары. На этом месте с незапамятных времен происходили такого рода состязания, старые воротца стояли близ кладбищенской ограды, кругом земля была вся вытоптана ногами игроков и стала гладкой, как мостовая. Русые и черноволосые головы парней мелькали то там, то здесь, рукава ослепительно белели на солнце, и порой громкий крик или дружный взрыв хохота нарушали вечернюю тишину. Они играли уже с четверть часа, как вдруг игра прервалась, парни перемахнули через ограду и, обогнув колоколь-

ню, скрылись за тисом, наполовину заслоненным березой, широко раскинувшей золотую листву, кое-где прорезанную черными линиями ветвей.

— Почему это парни вдруг бросили играть? — спросила Батшеба, когда Лидди вошла в комнату.

— Мне думается, потому что из Кэстербриджа только что приехали двое рабочих и начали ставить большой надгробный памятник, — отвечала Лидди. — Парни побежали посмотреть, кому это его ставят.

— А ты знаешь кому? — спросила Батшеба.

— Нет, — ответила Лидди.

Глава XLV
Романтизм Троя

Когда в полночь Батшеба выбежала из дому, Трой первым делом заколотил крышку гроба, чтобы никто не увидел Фанни с ребенком. Покончив с этим, он поднялся наверх, бросился, не раздеваясь, на кровать и пролежал до утра в тяжелом душевном томлении.

За последние сутки на него немилосердно сыпались удары судьбы. Минувший день сложился совсем не так, как он предполагал его провести. Если человек задумает изменить линию своего поведения, ему приходится бороться не только с собственной косностью, но и обстоятельства как будто назло складываются против него, препятствуя его исправлению.

Получив от Батшебы двадцать фунтов, он прибавил к этой сумме все, что ему удалось разыскать у себя, — семь фунтов десять шиллингов. У него в кармане было двадцать семь фунтов десять шиллингов, когда он рано утром выехал из ворот усадьбы, спеша на свидание с Фанни Робин.

Прибыв в Кэстербридж, он оставил лошадь и

двуколку на постоялом дворе; было без пяти десять, когда он добрался до моста в нижней части города и уселся на перилах. На башне пробил урочный час, но Фанни все не появлялась. Как раз в это время ее облачали в саван две прислужницы Дома призрения, причем это кроткое создание в первый и последний раз принимало услуги одевальщиц. Прошло четверть часа, потом еще полчаса. Пока Трой ждал, на него нахлынул рой воспоминаний: ведь уже вторично она не приходит на важное свидание с ним! Он поклялся в сердцах, что это будет последний раз. Прождав ее напрасно до одиннадцати часов, он успел изучить каждый лишай на поверхности камней, и монотонное журчание струй под мостом начало наводить на него тоску; наконец он спрыгнул с перил, отправился на постоялый двор за своей двуколкой и поехал на бедмудские скачки, с горьким безразличием взирая на прошлое и опрометчиво бросая вызов будущему.

К двум часам он попал на скачки, пробыл там некоторое время, затем вернулся в город и оставался там до девяти. Но образ Фанни все время преследовал его, она виделась ему такой, какой появилась перед ним в угрюмых сумерках субботнего вечера, и тут же он слышал упреки

Батшебы. Трой поклялся, что не будет играть, и сдержал свою клятву: к девяти часам вечера, когда он выехал из города, имевшаяся у него сумма уменьшилась лишь на несколько шиллингов.

Неторопливой рысцой он ехал в Уэзербери, и только теперь ему пришло в голову, что, вероятно, болезнь помешала Фанни сдержать обещание. На сей раз она никак не могла ошибиться. Он пожалел, что не остался в Кэстербридже и не навел о ней справок. Добравшись до дому, он спокойно распряг лошадь и вошел в особняк, где, как мы уже видели, его ожидал страшный удар.

Как только стало рассветать и предметы выступили из полумрака, Трой вскочил с накрытой одеялом кровати и, ничуть не беспокоясь о том, где сейчас находится Батшеба, едва ли не позабыв о ее существовании, спустился вниз и вышел из дому черным ходом. Он направился на кладбище и долго там бродил, пока не разыскал свежевырытую, еще пустую могилу, ту, что накануне выкопали для Фанни. Запомнив ее местоположение, он поспешил в Кэстербридж и по дороге лишь ненадолго остановился в раздумье на холме, где в последний раз видел Фанни живой.

Добравшись до города, Трой свернул в боковую улицу и вошел в двойные ворота, над которыми

висела вывеска со следующими словами: «Лестер. Резьба по камню и мрамору». Во дворе стояли обтесанные камни разной величины и формы с вырезанными на них надписями, где не были еще проставлены имена, ибо они предназначались для людей, пока еще не умерших.

Внешность, манера говорить и образ действий Троя так изменились и он до того был непохож на себя, что даже сам это сознавал. Приступая к покупке памятника, он вел себя как из рук вон непрактичный человек. Он не в силах был обдумывать, рассчитывать, экономить. Им овладело безудержное желание, и он стал добиваться своего, как ребенок, требующий себе игрушку.

— Мне нужен хороший памятник, — заявил он хозяину мастерской, войдя в маленькую контору, расположенную в глубине двора. — Дайте мне самый лучший, какой у вас найдется за двадцать семь фунтов.

Это были все его деньги.

— В эту сумму войдут все расходы?

— Решительно все. Вырезка надписи, перевозка в Уэзербери и установка. И я хочу получить памятник сейчас же, немедленно.

— На этой неделе мы не сможем выполнить ваш заказ.

— Мне нужен памятник немедленно.

— Если вам придется по вкусу один из тех, что имеются у нас на складе, то его можно быстро приготовить.

— Хорошо, — нетерпеливо бросил Трой. — Покажите, что у вас есть.

— Это лучшее, что имеется у нас в наличности, — сказал резчик, проведя его в сарай. — Вот, изволите видеть, мраморное надгробие, превосходно отделанное, с медальонами на соответствующие темы; вот то, что ставится в ногах, такого же рисунка, а вот и могильная плита. Одна полировка этого комплекта обошлась мне в одиннадцать фунтов. Материал лучший в своем роде, и я гарантирую вам, что он выдержит дожди и морозы и простоит добрых сто лет, без единой трещины.

— И сколько за все?

— Что ж, я могу вырезать имя и доставить памятник в Уэзербери за названную вами сумму.

— Сделайте мне это сегодня, и я сейчас же вам заплачу.

Резчик согласился, удивляясь, что так ведет себя покупатель, в одежде которого нет ни намека на траур. Вслед за этим Трой написал несколько слов, составлявших надгробную надпись, рас-

платился и ушел. Во второй половине дня он вернулся и увидал, что надпись почти готова. Он постоял во дворе, пока упаковывали памятник и погружали на повозку, проводил ее глазами, когда она выехала по направлению к Уэзербери, и наказал двум рабочим, сопровождавшим ее, узнать у церковного старосты, где находится могила особы, упомянутой в надписи.

Уже совсем стемнело, когда Трой вышел из Кэстербриджа. Неся в руках довольно тяжелую корзину, он угрюмо шагал по дороге; временами он останавливался передохнуть где-нибудь на мосту или у ворот, причем на минуту ставил свою ношу на землю. На полдороге он встретил возвращавшуюся в темноте повозку и рабочих, отвозивших памятник. Он кратко спросил, выполнена ли работа, и, получив утвердительный ответ, двинулся дальше.

Трой вошел на уэзерберийское кладбище около десяти часов вечера и тотчас же направился в тот уголок, где рано утром видел пустую могилу. Находилась она у северного фасада колокольни, и ее почти не видно было с дороги; до последнего времени это место было заброшено, там валялось множество камней да росли кусты ольшаника, но теперь его расчистили и привели в порядок для

погребений, так как на кладбище становилось уже тесно.

Здесь и был водружен памятник: стройный, белоснежный, он выступал из мрака; состоял он из двух надгробий, воздвигнутых в головах и в ногах и соединенных мраморной плитой, внутри которой виднелось заполненное землей углубление, где можно было посадить цветы.

Трой поставил корзину возле могилы и на несколько минут куда-то скрылся. Когда он вернулся, в руках у него была лопата и фонарь; Трой направил его лучи на памятник, чтобы прочесть надпись. Затем он повесил фонарь на нижнюю ветвь тиса и стал вынимать из корзины луковицы и саженцы всевозможных цветов. Там были пучки подснежников, луковицы гиацинтов и крокусов, фиалки и махровые маргаритки, которые должны были расцвести ранней весной, а для лета и осени — разноцветные гвоздики, ландыши, незабудки, луговой шафран и другие цветы.

Трой разложил цветы на траве и начал с невозмутимым видом их рассаживать. Подснежники окаймили рамкой могильную плиту, остальные цветы были размещены в углублении. Крокусы и гиацинты были рассажены рядами. Часть летних цветов он поместил в головах и в ногах, ландыши

и незабудки — над ее сердцем. Остальные цветы посадил в свободных промежутках.

Находясь в состоянии прострации, Трой не замечал, что эти романтические причуды, продиктованные раскаянием, достаточно нелепы. Унаследовав черты характера от предков, живших по обеим сторонам Ла-Манша, он проявлял в подобных обстоятельствах недостаток душевной гибкости, свойственный англичанину, наряду с типичным для француза отсутствием чувства меры и склонностью к сентиментальности.

Ночь была облачная, сырая и непроглядная. Фонарь Троя необычайно ярко освещал два старых тиса и, казалось, отбрасывал лучи в неизмеримую высоту, к темному пологу облаков. Но вот крупная капля дождя упала на руку Троя, а вслед за тем другая угодила в отверстие фонаря, свеча зашипела и погасла. Трой порядком устал, время уже близилось к полуночи, дождь все расходился, и он отложил окончательную отделку до рассвета. Он пробрался ощупью вдоль стены, перешагивая в темноте через могилы, и наконец очутился у северного фасада колокольни. Тут он вошел под портик, опустился на стоявшую там скамью и уснул.

Глава XLVI
Химера и ее проделки

Четырехугольная колокольня уэзерберийской церкви была построена в четырнадцатом веке, и над каждым из ее фасадов, обнесенных наверху парапетом, красовалось по две химеры. Из этих восьми каменных фигур в описываемый нами период времени только две выполняли свое назначение, а именно выбрасывали из пасти воду, стекавшую со свинцовой крыши. У четырех химер (по одной на каждом фасаде) пасть была забита, — прежние церковные старосты сочли их излишними, — а две химеры были разбиты и сброшены; впрочем, это не нанесло особого ущерба колокольне, ибо две уцелевшие химеры, пасть которых оставалась открытой, вполне справлялись со своей работой.

Некоторые утверждают, что самый верный критерий жизненности искусств той или иной эпохи — выразительность, какой достигают величайшие мастера этого времени в области гротеска; в отношении готического искусства это положение надо признать неоспоримым.

Уэзерберийская колокольня являла собой пример довольно раннего применения орнаментального парапета на здании приходской церкви (чего мы не встречаем на кафедральных соборах), и химеры, составляющие неотъемлемую часть парапета, здесь особенно бросались в глаза, отличаясь непревзойденной смелостью художественной манеры и оригинальностью замысла. В их уродливости была, если можно так выразиться, своего рода симметрия, характерная не столько для британского, сколько для континентального гротеска той эпохи. Все восемь химер резко отличались друг от друга. Зритель был убежден, что нет ничего на свете чудовищнее фигур, находившихся на северном фасаде, пока он не переходил на южную сторону колокольни. Из двух химер этого фасада лишь стоящая в юго-восточном углу имеет отношение к нашему рассказу. В ней было слишком много человеческого, чтобы уподобить ее дракону, слишком много сатанинского, чтобы отождествить с человеком, слишком большое сходство со зверем, чтобы сравнить с дьяволом, и недостаточное сходство с птицей, чтобы назвать ее грифоном. У этого отвратительного каменного создания была морщинистая кожа, короткие, стоявшие торчком уши, глаза, вылезавшие из

орбит, а пальцами рук оно растягивало свою пасть, как бы давая выход извергаемой ею воде. Нижний ряд зубов был стерт до основания водой, но верхний еще сохранился. Возвышаясь фута на два над стеной, в которую вросли его лапы, чудовище вот уже четыреста лет хохотало, глядя на окружающий мир, — беззвучно в сухую погоду, а в дождь с громким бульканьем и фырканьем.

Трой спал под портиком, а снаружи дождь все расходился. Внезапно химера начала плеваться. Потом из ее пасти, с высоты семидесяти футов полилась тоненькая струйка; капли мелкой дробью барабанили по земле во все учащающемся ритме. Постепенно струя утолщалась и набирала силы, вода выбрасывалась все дальше и дальше от колокольни. Когда дождь перешел в бурный, непрерывный ливень, с крыши хлынули вниз целые потоки воды.

Проследим их путь в этот отрезок времени. Текучая парабола, все более удаляясь от стены, перемахнула через покрытый лепными украшениями цоколь, через груду камней, через мраморную облицовку памятника и обрушилась прямо на середину могилы Фанни Робин.

Еще недавно низвергавшийся сверху поток падал на разбросанные кругом камни, которые

принимали натиск воды, прикрывая землю как бы щитом. Но за лето все камни были убраны, и теперь поток свободно растекался по голой земле. Уже много лет вода не выбрасывалась так далеко от колокольни, и подобная опасность не была предусмотрена. Вдобавок в этом заброшенном уголке кладбища, случалось, два-три года подряд не появлялось новых обитателей, а если кто и поселялся, то лишь бедняк, браконьер или какой-нибудь отпетый грешник.

Неуемный поток, извергаемый пастью химеры, обрушился с какой-то мстительной яростью на свежую могилу. Жирная рыжевато-бурая земля в углублении могилы размякла, пришла в движение и закипела, как шоколад. Вода все прибывала, все сильнее размывая землю, и рев образовавшегося водоворота далеко разносился в ночной темноте, заглушая несмолкаемый шум проливного дождя. Цветы, столь заботливо посаженные раскаявшимся возлюбленным Фанни, начали шевелиться и корчиться на своем ложе. Осенние фиалки медленно перевернулись головками вниз и превратились в комочки грязи. Вскоре луковицы подснежников и других цветов заплясали в бурной воде, словно овощи в кипящем котле. Цветы, растущие кустиками, были

вырваны из земли, всплыли на поверхность, и их унесло потоком.

Несмотря на неудобное положение, Трой проснулся, лишь когда было уже совсем светло. Две ночи подряд он проспал, не раздеваясь, плечи у него онемели, ноги затекли и голова была словно налита свинцом. Он вспомнил, где находится, встал, поеживаясь, взял лопату и вышел из-под портика.

Дождь уже перестал, и солнечные лучи пробивались сквозь листву, окрашенную в зеленые, бурые и желтые тона и унизанную дождевыми каплями; кругом все сверкало ослепительным блеском, напоминавшим световые эффекты пейзажей Рейсдаля и Гоббемы, все дышало непередаваемой красотой, рождающейся из сочетания воды и разноцветных красок с ярким светом. Омытый продолжительным ливнем, воздух обрел такую прозрачность, что осенние тона были столь же яркими на расстоянии, как и вблизи, и далекие поля, пересеченные колокольней, казалось, находились с ней на одном плане.

Он пошел по усыпанной гравием дорожке, огибая колокольню. Дорожка была уже не каменистая, как накануне вечером, но вся залита коричневой грязью. В одном месте он заметил

на дорожке пучок волокнистых корешков, чистеньких, вымытых добела и напоминавших клубок сухожилий. Трой поднял его: неужели же это один из посаженных им первоцветов?.. Он двинулся дальше и вдруг обнаружил луковицу, другую, третью… Без всякого сомнения, это его крокусы! С искаженным от ужаса и недоумения лицом Трой повернул за угол и увидел, что наделал поток.

Вода, заполнившая углубление могилы, уже вся впиталась в землю, и теперь там зияла дыра. Кругом вся трава и дорожка были залиты жидкой бурой грязью, уже раньше бросившейся ему в глаза; был забрызган грязью и мраморный памятник. Почти все цветы были вырваны из земли, подхвачены потоком и теперь валялись там и сям вверх корешками.

Брови Троя угрюмо нахмурились; он стиснул зубы; его сомкнутые губы подергивались, как у человека, потрясенного горем. Это странное происшествие всколыхнуло в нем самые разнообразные чувства и причинило ему острую боль. У Троя было очень выразительное лицо, и тот, кто наблюдал бы за ним сейчас, едва ли поверил бы, что это тот самый человек, который хохотал, распевал песни и нашептывал на ухо

женщинам любовный вздор. В первую минуту он был готов проклясть свою судьбу, но даже для такого примитивного бунта требовалась известная активность, а болезненная тоска, овладевшая им, парализовала его силы. Представшая перед ним картина замкнула ряд мрачных сцен предыдущих дней, как бы завершая всю панораму, и он уже не мог этого вынести. По натуре сангвиник, Трой уклонялся от тяжелых переживаний, попросту отстраняя их. Он упорно отгонял мрачные призраки, пока событие не отступало в область прошлого, утратив свою остроту. Быть может, и сажая цветы на могиле Фанни, он пытался как-то увильнуть от горя, — а теперь словно кто-то разгадал его намерения и перехитрил его.

Стоя перед обезображенной могилой, Трой едва ли не в первый раз в жизни испытал разочарование в себе самом. Человек по натуре жизнерадостный обычно чувствует, что он какой-то счастливый избранник судьбы, хотя и мало чем отличается от прочих смертных. Трою не раз приходило в голову, что ему нечего завидовать лицам, занимающим высокое положение, ведь, чтобы добиться такого положения, надо быть другим человеком, а он был вполне доволен собой. Он не сетовал на свое не совсем обычное

происхождение, на превратности судьбы, на постоянные, молниеносные перемены жизни, — он был поглощен собой, и его удел казался ему каким-то особенным. Он почему-то был уверен, что в свое время его дела сами собой наладятся и увенчаются успехом. Но в это утро его иллюзии окончательно рассеялись, и Трой внезапно возненавидел себя. Впрочем, этот перелом лишь казался внезапным. Коралловый риф долго и медленно нарастает, пока наконец не выглянет из морских волн; нередко нам только кажется, что событие вызвал последний, заключительный толчок, а на деле оно уже давно созрело и готово было совершиться.

Бедняга стоял и размышлял: куда бы ему податься? «Ты проклят навеки!» — послышался ему беспощадный приговор, когда он увидел, что погибли плоды его трудов, вдохновленных внезапной решимостью. Когда человек долгое время шел в одном направлении и выбился из сил, у него едва ли хватит энергии повернуть в другую сторону. Накануне Трой слегка попытался изменить свою жизнь, но первая же неудача обескуражила его. Сделать крутой поворот было бы трудно даже при могучей поддержке со стороны Провидения, но когда он увидал, что Провидение

не только не поощряет его вступление на новый путь, но даже глумится над его робким начинанием, — это было уже свыше его сил.

Трой медленно отошел от могилы. Он даже не попытался засыпать дыру, посадить на место цветы или хоть что-нибудь исправить. Он попросту бросил карты и раз навсегда отказался от игры. Он тихонько вышел из ворот кладбища, никем не замеченный, — в поселке все еще спали, — пересек поле, расстилавшееся позади селения, и столь же незаметно выбрался на большую дорогу. Вскоре он потерял из виду Уэзербери.

Тем временем Батшеба находилась в добровольном заточении у себя в мезонине. Дверь постоянно была на замке и отпиралась, лишь когда входила ИЛИ выходила Лидди, для которой поставили кровать в маленькой смежной комнате. Часов около десяти, во время ужина, девушка, случайно поглядев в окно, заметила за оградой кладбища огонек фонаря Троя и сообщила об этом Батшебе. Несколько минут они смотрели на огонек, недоумевая, что бы это могло быть, затем Лидди пошла спать.

Батшеба спала не слишком крепко в эту ночь. Служанка в глубоком забытьи мирно посапывала в соседней комнате, а хозяйка дома все еще смот-

рела в окно, на слабый огонек, мелькавший среди деревьев; горел он неровно, то вспыхивал, то гас, словно свет вращающегося берегового маяка, и даже не приходило в голову, что кто-то ходит взад и вперед перед ним. Батшеба просидела у окна, пока не пошел дождь и не исчез огонек; тут она легла и долго металась в постели, — в ее усталой голове проносились картины пережитой трагической ночи.

Еще до первых проблесков зари она встала, распахнула окно и вдохнула полной грудью свежий утренний воздух. Стекла были мокрые после ночного дождя — все в дрожащих слезинках; каждая слезинка ловила бледно-розовый отблеск, пробивающийся сквозь нависшую тучу на востоке, где зарождался день. Слышно было, как с деревьев мерно падают капли на груды нанесенных ветром сухих листьев, а со стороны церкви долетал какой-то необычный шум, не похожий на ритмический стук капель, — то был рокот воды, струившейся в водоем.

В восемь часов в дверь постучалась Лидди, и Батшеба впустила ее.

— Какой сильный дождь был нынче ночью, мэм, — сказала Лидди, получив от хозяйки распоряжения насчет завтрака.

— Да, очень сильный.

— Вы слыхали чудной шум на кладбище?

— Слыхала. Мне подумалось, что это, наверно, вода падает с крыши колокольни.

— Как раз это и говорит пастух, мэм. Он пошел поглядеть в чем дело.

— А! Так Габриэль был здесь нынче утром?

— Да, он только заглянул мимоходом, как бывало раньше, — последнее-то время он перестал к нам заходить. Но прежде, когда вода падала с колокольни, она барабанила по камням, а тут звук был совсем другой, — как будто кипел горшок, прямо на диво!

Будучи не в силах читать, думать или работать, Батшеба попросила Лидди остаться и позавтракать с нею. Ребячливая девушка то и дело возвращалась к недавним событиям.

— Вы не хотите пойти к церкви, мэм?

— Право, не знаю, — отвечала Батшеба.

— Я думала, вам захочется взглянуть, куда положили Фанни. Из вашего окна не видать этого места, его закрывает дерево.

Батшеба смертельно боялась встретиться с мужем.

— Что, мистер Трой ночевал дома? — осведомилась она.

— Нет, мэм. Мне думается, он поехал в Бедмут.

Бедмут! Это название сразу же вызвало образ Троя и напомнило о его поступках; но теперь их разделяло расстояние в пятнадцать миль. Ей было крайне неприятно расспрашивать Лидди о муже, и до сих пор она старательно избегала этого, но теперь уже весь дом знал, что они крепко поссорились, незачем было скрывать правду. Батшеба дошла до такого состояния, когда человек перестает считаться с общественным мнением.

— Почему ты думаешь, что он поехал туда? — спросила она.

— Нынче утром, еще до завтрака Лейбен Толл видел его на Бедмутской дороге.

Батшеба сразу же испытала облегчение, — за последние сутки она утратила свою молодую жизнерадостность, не приобретя взамен философского спокойствия зрелых лет, — и ей захотелось немного прогуляться. И вот, позавтракав, она надела шляпу и направилась к церкви. Было девять часов, люди, перекусив, уже вернулись на работу, и едва ли она могла бы кого-нибудь встретить на дороге. Зная, что Фанни похоронили в углу кладбища, предназначенном для отверженных (как говорили в приходе: «позади церкви»), в том месте, которого не было видно с дороги, она не

удержалась от искушения поглядеть на могилу, хотя испытывала какой-то неизъяснимый страх. Она не могла отделаться от мысли, что огонек, мелькавший ночью между деревьями, имеет какое-то отношение к ее сопернице.

Батшеба обогнула контрфорсы колокольни и увидела плиту с пустым углублением и надгробный памятник из мрамора с нежными прожилками, весь забрызганный грязью, ту самую картину, на которую два часа назад смотрел ушедший отсюда Трой. С другой стороны могилы стоял Габриэль. Его взор был тоже устремлен на памятник; Батшеба подошла так бесшумно, что он не заметил ее. Она не сразу разглядела имя Фанни на величавом обезображенном памятнике и оглядывалась по сторонам, разыскивая убогий холмик, какой в таких случаях насыпают над могилой. Потом она проследила глазами за взглядом Оука и прочла начальные слова надписи:

Поставлен Фрэнсисом Троем
в память дорогой его сердцу
Фанни Робин…

Тут Оук увидал Батшебу и пытливо на нее поглядел; его до крайности удивило, что памятник поставлен Троем, и ему хотелось знать, как она к этому отнесется. Но она была не слишком взвол-

нована; душевные потрясения, казалось, стали заурядным явлением в ее жизни. Она поздоровалась с Габриэлем и попросила его взять оставленную Троем лопату и засыпать углубление землей. Пока Оук исполнял ее желание, Батшеба подобрала цветы и принялась их рассаживать, расправляя корешки и разглаживая листочки с той нежной заботливостью, с какой женщины обычно обращаются с растениями, которые словно чувствуют это и хорошо принимаются. Затем она велела Оуку сказать церковному сторожу, чтобы тот отвел в сторону нависший прямо над ними свинцовый желоб под пастью химеры, во избежание в будущем подобного несчастья. Чувствуя, что у нее в сердце нет любви и осталась одна лишь горечь, вызванная инстинктивной ревностью, Батшеба нарочито проявляла великодушие; под конец она даже стерла с памятника пятна грязи, как будто ей нравились написанные на нем слова, и отправилась домой.

Глава XLVII
Происшествие у морского побережья

Трой брел по направлению к югу. У него было немало оснований искать пристанища где угодно, только не в Уэзербери: и отвращение к однообразной жизни фермера, и горестное воспоминание о той, что лежала на кладбище, и раскаяние, и неприязнь к жене. Вспоминая печальные обстоятельства кончины Фанни, он знал, что никогда не забудет этой картины и теперь ему уже невозможно жить в доме Батшебы. К трем часам дня он приблизился к гряде однообразных холмов, которая тянется вдоль берега моря, образуя барьер, отделяющий обработанную область внутри страны от сравнительно пустынной прибрежной полосы. Прямо перед ним вставал склон холма в добрую милю длиной, на который взбегала прямая белая дорога; передний и задний склоны постепенно сближались, смыкаясь на уходящей в небо вершине конуса, примерно на высоте двух миль. На всем протяжении этого унылого косогора нельзя было обнаружить в этот ослепительный день ни одно-

го живого существа. Трой взбирался на холм по крутой дороге, усталый и подавленный, — такого состояния ему уже много лет не приходилось переживать. Воздух был теплый и влажный, и вершина холма, казалось, все отступала, по мере того как он поднимался.

Наконец он добрался до перевала, и еще невиданная величавая картина вдруг поразила его, как некогда поразил взор Бальбоа открывшийся перед ним Тихий океан. Необъятное море, кое-где прочерченное легкими линиями, словно выгравированными на его стальной глади, расстилалось до самого горизонта, а справа близ порта Бедмут заходящее солнце разметало по морю свои лучи; на его блистающей, словно отполированной, поверхности медленно гасли краски. Ни в небе, ни на земле, ни на море глаз не улавливал ни малейшего движения, кроме вскипанья у ближайших скал молочно-белой пены, обрывки которой, как языки, лизали прибрежные камни.

Спустившись с холма, он очутился в небольшой бухте, окруженной скалами. Трой стряхнул уныние, решил отдохнуть и выкупаться, а потом уже идти дальше. Он разделся и бросился в воду. Трой был умелым пловцом, ему стало скучно плавать

в закрытой бухте со стоячей, как в пруду, водой и захотелось покачаться на волнах океана; он быстро проплыл между двумя огромными утесами, которые можно было назвать Геркулесовыми столбами этого миниатюрного Средиземного моря. На его беду, мимо бухты проходило течение, о котором он даже не подозревал; не представляя трудностей даже для самого легкого суденышка, оно было чревато опасностями для пловца, подхваченного им невзначай. Трой почувствовал, что его повлекло куда-то влево, а затем мощным рывком выбросило в открытое море.

Тут он вспомнил, что это за место и какая у него зловещая слава. Не один бедняга, рискнувший здесь купаться, молил Бога послать ему смерть на суше, но его мольбы, как и мольбы Гонзало, оставались безответными. Трой начал уже смутно опасаться, что и его постигнет такая же участь. Кругом не было ни одного суденышка; только вдалеке над морем вставал Бедмут, казалось равнодушно взиравший на его отчаянные усилия, а по соседству с городом неясно вырисовывалось беспорядочное сплетение снастей и мачт у входа в порт. Трой выбился из сил в бесплодных попытках проникнуть обратно в бухту и теперь от слабости держался в воде на несколько дюймов

глубже, чем обычно, стараясь дышать носом; то и дело он переворачивался на спину, плыл баттерфляем и прибегал к другим приемам, наконец он решил испробовать последнее средство — лечь на воду в слегка наклонном положении и постараться где-нибудь достичь берега, постепенно легкими толчками прорываясь сквозь течение. Это не требовало особенных усилий… Он не знал, где ему удастся выбраться на сушу, так как берег медленно и безнадежно проплывал мимо него; все же он явно приближался к оконечности длинной косы, выступавшей справа на фоне залитого солнцем неба. Взгляд пловца был прикован к этой косе, то была его последняя надежда в нашем мире, полном загадок. Внезапно что-то пронеслось мимо оконечности косы, это была шлюпка, направлявшаяся в открытое море, там сидело несколько матросов.

У Троя мгновенно воскресли силы, он решил продолжать борьбу. Загребая воду правой рукой, он стал махать левой, бить ею по воде и кричать что есть мочи. Из шлюпки можно было разглядеть его белую фигуру в уже потемневшей на востоке воде, и матросы сразу же заметили его. Повернув шлюпку, они дружно налегли на весла, и она понеслась в его сторону; через пять-шесть

минут двое матросов втащили его на корму.

Они принадлежали к экипажу брига и были посланы на берег за песком. Заметно похолодало, Трой весь продрог, и матросы дали ему кое-что из одежды. Они обещали отвезти его на берег поутру и, не теряя времени — час был уж поздний, — взяли курс на рейд, где стояло их судно.

Ночь медленно опускалась на необозримые водные просторы. Невдалеке, там, где береговая линия делала извилину, уходя к горизонту длинной темной полосой, начали загораться цепочкой желтые огоньки, возвещая о том, что здесь находится город Бедмут и на его главной улице зажигают фонари. Над водой только и слышно было что скрип весел, шлюпка летела вперед, и по мере того как сгущались сумерки, свет городских фонарей становился все ярче, их отсветы, падавшие на море, рассекали волны, как пылающие мечи. Наконец перед ними выросли смутные очертания кораблей, и через минуту они подплыли к своему судну.

Глава XLVIII
Возникают сомнения. Сомнения рассеиваются

Трой отсутствовал уже несколько дней, что слегка удивляло Батшебу, но при этом она испытывала чувство облегчения, однако ничто не могло вывести ее из состояния холодного безразличия. Она знала, что навсегда связана с Троем, не видела никакого выхода из создавшегося положения и не могла рассчитывать ни на какую случайность. Батшеба больше не думала о своей красоте и равнодушно, как бы со стороны, взирала на ожидающую ее печальную участь; будущее рисовалось ей в одних мрачных тонах. Ее юная гордость была уязвлена, но вместе с тем утихли и ее тревоги о будущем, ибо всякие опасения допускают и хороший, и дурной исход, а Батшеба уже не ждала ничего хорошего в жизни. Рано или поздно, — вероятно, не слишком поздно — ее муж вернется домой. И тогда дни их аренды Верхней фермы будут сочтены. Вначале агент по аренде поместий проявлял известное недоверие к Батшебе, преемнице Джеймса Эвердина, полагая,

что женщине, да еще такой молодой и красивой, не по силам управлять фермой; но завещание дядюшки было составлено столь необычно, перед смертью он не раз восхвалял ее хозяйственные способности, а она сама так энергично и разумно распоряжалась многочисленными отарами и стадами, неожиданно попавшими ей в руки еще до заключения арендного договора, что в ее силы поверили, и больше не возникало возражений. В последнее время она стала беспокоиться, не отразится ли как-нибудь факт ее замужества на ее юридическом положении; однако перемена фамилии, по-видимому, прошла незаметно, и ясно было лишь одно: в случае, если по ее вине или по вине мужа в январе месяце не будет внесена арендная плата, с ними не очень-то станут церемониться, да они и не заслуживают снисхождения. А если придется покинуть ферму, им не миновать нищеты.

Рухнули все ее планы на будущее. Ей несвойственно было питать необоснованные надежды; энергичная и предусмотрительная, она отличалась от легкомысленных, избалованных особ, которые никогда не расстаются с надеждами, как иной человек с часами, — если их накормят и приютят, у них сразу поднимается настроение.

Прекрасно сознавая, что она совершила роковую ошибку, Батшеба покорилась судьбе и хладнокровно ожидала развязки.

В ближайшую субботу после ухода Троя она в первый раз после замужества отправилась одна в Кэстербридж. Батшеба медленно пробиралась сквозь толпу сельских дельцов; по обыкновению, они собрались перед зданием биржи, и на них, по обыкновению, глазели горожане, думавшие при этом, что жить такой здоровой жизнью можно, лишь отказавшись от возможности стать олдерменом. Внезапно шедший за ней по пятам мужчина бросил несколько слов своему спутнику. У Батшебы слух был острый, как у дикого зверька, и она услышала все, хотя говорили у нее за спиной.

— Я разыскиваю миссис Трой. Это она?

— Да, эта молодая леди как будто и есть миссис Трой, — отвечал другой.

— Я принес ей невеселое известие. Муж ее утонул.

Словно наделенная пророческим даром, Батшеба пробормотала:

— Нет, это неправда! Не может быть!

После этого она уже ничего не говорила и не слышала. Ледяной панцирь самообладания, в

который она недавно облеклась, был внезапно разбит, чувства вырвались наружу и захлестнули ее. В глазах у нее потемнело, и она упала.

Но не на землю. Мрачный мужчина, который стоял под портиком старой биржи и следил за ней глазами, услышав возглас Батшебы, мигом бросился к ней и успел подхватить ее, когда она пошатнулась.

— Что случилось? — спросил рокового вестника Болдвуд, поддерживая Батшебу.

— Ее муж утонул на этой неделе, купаясь в Лалвиндской бухте. Береговой стражник нашел его одежду и вчера доставил ее в Бедмут.

Странный огонь вспыхнул в глазах Болдвуда, и лицо его залила краска, выдавая волнение, вызванное тайной надеждой. В этот миг все глаза были устремлены на него и на бесчувственную Батшебу. Он поднял ее на руки, бережно расправил складки ее платья, как ребенок, подобрав подбитую бурей птичку, разглаживает примятые перышки, и понес ее по улице к гостинице «Королевский щит». Пройдя под аркой в вестибюль, он потребовал отдельную комнату, и в тот момент, когда он опускал — о, как неохотно! — свою драгоценную ношу на диван, Батшеба открыла глаза. Вспомнив все, что случилось, она прошептала:

— Хочу домой!..

Болдвуд вышел из комнаты. С минуту он простоял в коридоре, собираясь с мыслями. Он был так ошеломлен, что действовал почти бессознательно, а теперь, когда ему блеснул смысл происшедшего, все уже было позади. Несколько райских, блаженных мгновений он держал ее в своих объятиях. Что из того, что она не сознавала этого? Он прижимал ее к своему сердцу, и их сердца бились рядом.

Он разыскал служанку и, послав ее к Батшебе, вышел на улицу, намереваясь выяснить все обстоятельства этого происшествия. Но ему не удалось добиться почти ничего сверх того, что он уже слышал. Тогда он велел запрячь ее лошадь в двуколку и, когда все было готово, вернулся сообщить ей об этом. Батшеба, еще бледная и слабая, уже успела послать за жителем Бедмута, принесшим эту весть, и он сообщил ей все, что было ему известно.

Теперь Батшеба вряд ли была бы в состоянии править лошадью, как правила, направляясь в город, и Болдвуд весьма деликатно предложил достать ей кучера или же отвезти ее в своем фаэтоне, где ей будет удобнее, чем в ее экипаже. Батшеба мягко отклонила его предложение, и

фермер тотчас же удалился.

Через полчаса она усилием воли овладела собой, села в двуколку и взяла в руки вожжи, — глядя со стороны, можно было подумать, что ничего не случилось. Оба выбралась из города по извилистой боковой улочке и медленно поехала по дороге, ничего не замечая вокруг. Уже сгущались сумерки, когда Батшеба добралась до дому; она молча вышла из экипажа и, бросив вожжи мальчику, поднялась наверх. Лидди встретила ее на площадке лестницы. Новости опередили Батшебу на полчаса, и Лидди вопросительно заглянула в глаза хозяйке. Батшеба не проронила ни слова.

Она вошла к себе в спальню, села у окна и долго-долго напряженно размышляла; под конец ее окутала темнота, и едва можно было различить очертания ее фигуры. Кто-то постучался в дверь и вошел в комнату.

— В чем дело, Лидди? — спросила она.

— Мне подумалось, что вам надо бы кое-что для себя достать, — нерешительно проговорила девушка.

— Что ты хочешь сказать?

— Траурное платье.

— Нет, нет, нет! — живо возразила Батшеба.

— Но ведь нужно что-нибудь сделать для бедного…

— Только не сейчас. Я считаю, что в этом нет надобности.

— Почему же, мэм?

— Потому что он жив.

— Откуда вы это знаете? — с удивлением спросила Лидди.

— Не могу сказать. Но если бы он умер, все было бы по-другому, Лидди… Я наверняка услыхала бы еще какие-нибудь подробности или нашли бы его тело, словом, было бы совсем не так, как сейчас… Я совершенно уверена, что он жив!

Батшеба твердо стояла на своем до понедельника, пока два новых обстоятельства не поколебали ее уверенность. Во-первых, она прочла краткую заметку в местной газете, где какой-то писака со всей очевидностью устанавливал факт смерти Троя, утонувшего в море; кроме того, там приводились важные показания молодого Баркера, доктора медицины из Бедмута, который в письме к редактору утверждал, что он был свидетелем несчастного случая. Он перебрался через скалу и огибал бухту, как раз когда садилось солнце. Вдруг он увидел купальщика, выплывшего из бухты и подхваченного течением, и сразу же понял, что

у бедняги мало шансов на спасение, если только он не обладает исключительной физической силой. Потом пловец скрылся за мысом, и мистер Баркер побежал по берегу в том же направлении. Но когда доктор взобрался на возвышенность, откуда открывался широкий вид на море, уже стемнело, и он больше ничего не мог разглядеть.

Во-вторых, прибыла одежда Троя, которую она должна была осмотреть и опознать, хотя это уже давно сделали люди, ознакомившиеся с письмами, найденными у него в карманах. При всем ее волнении ей было ясно, что Трой раздевался в полной уверенности, что очень скоро снова оденется, и только смерть могла помешать ему это сделать.

Батшеба спросила себя: «Если другие так уверены в его гибели, то почему же я это отрицаю?» Вдруг лицо ее вспыхнуло, — ей пришла в голову странная мысль, подсказанная еще не остывшей ревностью: Трой бросил ее и последовал за Фанни в другой мир. Что, если он покончил с собой, разыграв несчастный случай? Возможно, что дело обстоит совсем не так, как думают люди. Она вспомнила о раскаянии, проявленном Троем в ту ночь, и мысль о его самоубийстве так овладела Батшебой, что ей не пришла на ум другая

возможность, не столь трагическая, но для нее еще более страшная.

В этот вечер Батшеба долго сидела одна у догорающего камина. Почувствовав успокоение, она взяла в руки часы Троя, которые были ей возвращены вместе с другими его вещами. Она открыла крышку, как это сделал он при ней неделю назад. Там по-прежнему лежала прядка светлых волос, этот маленький фитилек, вызвавший столь сильный взрыв.

— Он принадлежал ей, и она принадлежала ему, и вот они ушли вместе, — проговорила Батшеба. — Я была для обоих чужой, — так зачем же мне хранить ее волосы? — Она взяла прядь и поднесла ее к огню. — Нет, я не сожгу их… Сохраню на память о ней, бедняжке! — вдруг прибавила она и отвела руку от камина.

Глава XLIX
Повышение Оука. Великая надежда

Поздняя осень уже переходила в зиму, и сухие листья толстым слоем покрывали торф на болотах и мох в лесах. Еще недавно Батшеба находилась в оцепенении чувств, которое, по существу, не было оцепенением, а теперь ею овладело странное спокойствие, которое нельзя было назвать безмятежностью. Пока она была убеждена, что Трой жив, она могла хладнокровно думать о его смерти, но теперь, когда могло оказаться, что она потеряла его, она сожалела об утрате. Она по-прежнему управляла фермой, получала значительные доходы, не слишком ими интересуясь, и вкладывала деньги в различные начинания только потому, что поступала так в минувшие дни. Минуло лишь несколько недель, но от прошлого ее отделяла необозримая пропасть, словно она уже умерла, но еще сохранила способность суждения и, подобно скорбящим героям известной поэмы, могла размышлять о том, каким драгоценным даром была прежде для нее жизнь.

Однако овладевшая Батшебой апатия имела благие последствия, а именно Оук был назначен управителем — шаг, на который она долго не решалась. Но поскольку он, по существу, уже давно выполнял эти обязанности, перемена, — если не говорить о прибавке жалованья, — не слишком бросалась в глаза окружающим.

Болдвуд жил в уединении и в полной бездеятельности. Значительная часть его пшеницы и весь урожай ячменя за этот год пострадали от дождя. Зерно проросло, побеги густо переплелись, и в конце концов ячмень стали выбрасывать целыми охапками свиньям. По всей округе шли толки: люди удивлялись небрежности фермера, причинившей ему такие убытки; работник Болдвуда сообщил, что о забывчивости не может быть и речи, так как подчиненные не раз осторожно напоминали Болдвуду, какая опасность грозит его зерну. Глядя, как свиньи с омерзением отворачиваются от гнилых колосьев, Болдвуд наконец опомнился и как-то вечером послал за Оуком. Навело ли его на мысль недавнее повышение Оука у Батшебы или что-либо другое, но фермер предложил Габриэлю взять на себя управление Нижней фермой наряду с фермой Батшебы, уверяя, что ему необходим помощник, именно такой

надежный человек. Несчастная звезда Габриэля, как видно, начала быстро закатываться.

Узнав об этом предложении, Батшеба, с которой Оук должен был посоветоваться, сперва довольно вяло ему возражала. Она считала, что одному человеку будет трудно управлять двумя фермами. Болдвуд, которым, как видно, руководили не столько хозяйственные, сколько личные соображения, предложил Оуку в его личное пользование коня, что позволяло быстро переезжать из одного места в другое, так как фермы находились бок о бок. Во время этих переговоров Болдвуд непосредственно не общался с Батшебой, имея дело лишь с Оуком, который служил посредником между ними. Под конец все уладилось к общему благополучию, и вот Оук, сидя на крепком низкорослом жеребце, стал ежедневно объезжать вдоль и поперек участок земли почти в две тысячи акров, с довольным видом оглядывая эти владения, как будто весь урожай принадлежал ему, меж тем как хозяйка одной половины имения и хозяин другой сидели у себя дома в угрюмом уединении.

В связи с этим весной в приходе пошли толки о том, что Габриэль Оук проворно выстилает перьями свое гнездышко.

— Что ни говори, — судачила Сьюзен Толл, — а Гэб Оук вовсю расфорсился. Три раза в неделю ходит в начищенных сапогах, по воскресеньям на нем высокая шляпа, а уж о рабочей блузе он и думать забыл. Пыжится Оук, как бентамский петух, и, глядя на него, я диву даюсь да помалкиваю.

У Батшебы Габриэль был на жалованье, и размер его не зависел от ее доходов. Но вскоре стало известно, что с Болдвудом он заключил соглашение, по которому ему причиталась известная доля прибыли, разумеется весьма скромная; все же участвовать в доходах было почетнее, чем работать по найму, эта сумма могла увеличиваться, не то что жалованье. Иные стали называть Оука скупердяем, видя, что теперь, когда положение его значительно улучшилось, он живет среди той же обстановки, все в том же коттедже, сам чистит картошку, штопает себе носки, а порой даже своими руками стирает себе белье. Но Оук проявлял какое-то вызывающее безразличие к общественному мнению, вдобавок он строго придерживался старых привычек и обычаев лишь потому, что они старые, и можно было по-разному истолковывать его поведение.

В сердце Болдвуда стала зарождаться великая надежда. Его беззаветную преданность Батшебе

можно было бы назвать любовным безумием, которое ничто на свете не могло ослабить или излечить — ни время, ни перемена обстоятельств, ни дурная или добрая молва. Лихорадочная надежда возрастала, подобно горчичному зерну, во время затишья, которое наступило, когда все пришли к убеждению, что Трой утонул. Он трепетно лелеял надежду и даже не обдумывал своих планов, опасаясь, как бы действительность не показала ему все безрассудство его мечтаний. Наконец Батшебу уговорили надеть траур, и, когда он увидел ее в церкви в таком наряде, надежда его окрепла, и он стал верить, что придет время (быть может, очень нескоро, но все же придет), когда его терпеливое ожидание будет вознаграждено. Пока еще он не задавал себе вопроса, долго ли ему придется ждать. Но он убеждал себя, что, пройдя суровую школу, Батшеба научится щадить чувства других людей, и если в будущем согласится за кого-нибудь выйти замуж, то этим избранником окажется он. В глубине души она таит к нему хорошие чувства: она раскаивается, что опрометчиво причинила ему страдания, и теперь скорей пойдет ему навстречу, чем до своего безумного увлечения, которое принесло ей столько горя. Можно будет сблизиться с нею, —

ведь у нее доброе сердце, — и завязать дружеские деловые отношения, не упуская из виду своей цели и скрывая свои страстные желания. Таковы были надежды Болдвуда.

В глазах человека зрелых лет Батшеба теперь стала, пожалуй, еще очаровательнее. Бивший из нее ключом молодой задор утих, призрак счастья быстро померк, потеряв власть над нею, и она вступила в новую фазу жизни, по-прежнему овеянная поэтической прелестью.

Когда Батшеба, прогостив два месяца в Норкомбе у престарелой тетушки, вернулась домой, пылко влюбленный и тоскующий фермер поспешил осведомиться о ней (шел, по-видимому, уже девятый месяц ее траура) и разузнать, как она к нему относится. Был разгар сенокоса, и Болдвуду удалось подойти к Лидди, помогавшей убирать урожай.

— Рад видеть вас здесь, Лидия, — галантно сказал он.

Она расплылась в улыбке, в душе удивляясь, что он так приветливо обращается к ней.

— Надеюсь, миссис Трой вернулась в добром здоровье после долгого отсутствия, — продолжал он равнодушным тоном, каким мог бы справиться о ней любой сосед.

— Она здорова, сэр.

— И, должно быть, весела?

— Да, весела.

— Вы сказали: на себя зла?

— Да нет. Я только сказала, что она, мол, весела.

— Она посвящает вас во все свои дела?

— Нет, сэр.

— Только в некоторые?

— Да, сэр.

— Миссис Трой очень вам доверяет, Лидия, и, очевидно, у нее есть на это серьезные основания.

— Доверяет, сэр. Я была с ней, когда на нее свалились все эти напасти — смерть мистера Троя и все такое прочее. И ежели она снова выйдет замуж, думается, я останусь жить при ней.

— Так она вам обещала, что ж, это вполне естественно, — сказал влюбленный стратег, у которого слова Лидди вызвали сладостную дрожь: обожаемая им особа подумывает о вторичном замужестве!

— Да нет, не то чтобы обещала. Просто мне так думается.

— Да, да, понимаю. Когда она обмолвится, что не прочь была бы выйти замуж, то вы…

— Она ни разу не заговаривала об этом, сэр, —

возразила Лидди, думая про себя, что мистер Болдвуд порядком поглупел.

— Ну конечно нет, — быстро поправился он, чувствуя, что его надежда быстро улетучивается. — Зачем вы так много захватываете граблями, Лидия? Лучше делать короткие и быстрые взмахи. Ну что ж, теперь она сама себе госпожа и хорошо сделает, если больше ни с кем себя не свяжет.

— Правда, хозяйка как-то раз сказала словно бы в шутку, что лет через шесть, пожалуй, могла бы выйти замуж.

— Через шесть лет… Говорит, что могла бы… Да она может выйти замуж хоть сейчас — это ясно всякому здравомыслящему человеку, что бы там ни говорили юристы.

— А вы справлялись у них? — наивно спросила Лидди.

— И не думал, — отвечал Болдвуд, краснея. — Лидди, вы можете в любую минуту уйти отсюда — так сказал мистер Оук. Пройдусь-ка я еще немного. До свидания.

Он удалился, сердясь на себя и испытывая стыд при мысли, что в первый раз в жизни действовал с задней мыслью. Бедняга Болдвуд умел только бить прямо в цель на манер тарана, и теперь ему было досадно, что он наговорил глупостей, а глав-

ное, так унизил себя. Зато ему удалось кое-что выяснить. Новость была остро волнующая, чуть огорчительная, но вместе с тем явно обнадеживающая. Через каких-нибудь шесть лет Батшеба наверняка сможет выйти за него! Теперь он будет уже твердо надеяться, и если она в разговоре с Лидди лишь вскользь упомянула о замужестве, все же из ее слов видно, что она допускает такую возможность.

С тех пор он уже не расставался с отрадной мечтой. Шесть лет, конечно, долгий срок, но все это время он будет жить надеждой, а как долго он пребывал в полной безнадежности! Иаков дважды служил по семь лет, чтобы добиться руки Рахили, так что значат какие-то шесть лет, когда речь идет о такой женщине, как Батшеба! Он старался убедить себя, что` ему даже приятнее дожидаться ее, чем тотчас же получить согласие. Болдвуд считал, что любит Батшебу бесконечно глубокой, крепкой, бессмертной любовью, и эта отсрочка поможет ему блестяще доказать ей всю силу своего чувства, которое она до сих пор, возможно, недооценивала. Шесть лет для него ничего не значат, — все равно что каких-нибудь шесть минут! — он совершенно не ценит своего времени, ему нужна только ее любовь! Все эти

шесть лет он будет деликатно, возвышенно за ней ухаживать, и она убедится, что она дороже ему всего на свете.

Между тем лето приходило к концу, и вот наступила неделя гринхиллской ярмарки. Эту ярмарку постоянно посещали жители Уэзербери.

Глава L
Овечья ярмарка. Трой прикасается к руке своей жены

Гринхилл был своего рода Нижним Новгородом Южного Уэссекса, и самым деловым, шумным и веселым из всех дней в году был день овечьей ярмарки. Эта ярмарка происходила всякий год на вершине холма, где довольно хорошо сохранились старинные земляные укрепления: вершину опоясывали мощная крепостная стена и ров, имевший форму вытянутого кольца. Местами стена была разрушена; с противоположных сторон в ней имелись два широких прохода, к каждому из них поднималась извилистая дорога. Окруженную стеной ровную зеленую лужайку в десять — пятнадцать акров облюбовали под ярмарку. На этой площади стояло несколько постоянных строений, но большинство посетителей предпочитало устраиваться в палатках, где они спали и ели во время своего пребывания на ярмарке.

Пастухи, направлявшиеся туда с отарами из далеких мест, выходили из дому за два-три дня, а то и за неделю до ярмарки, проделывали со

своими питомцами по десять — двенадцать миль в день и к вечеру останавливались на отдых в заранее намеченных местах, на снятых ими придорожных участках, где задавали корм овцам, постившимся с утра. Позади каждой отары шагал пастух, подвязав на спину котомку со всем необходимым на неделю, палка с крюком на конце служила ему посохом в этом паломничестве. Случалось, что в дороге некоторые овцы выбивались из сил или начинали хромать, а иной раз и ягнились. Поэтому, если отару гнали издалека, ее нередко сопровождала запряженная лошадьми повозка, куда клали ослабевших овец и везли до самой ярмарки.

Уэзерберийская ферма находилась не слишком далеко от холма, и не нужно было принимать подобных мер. Однако объединенные отары Батшебы и фермера Болдвуда были чрезвычайно многочисленны, представляли собой немалую ценность, и за ними требовался усиленный надзор, поэтому, кроме пастуха, Болдвуда и Каина Болла, их сопровождал в пути и сам Габриэль; разумеется, за ним плелся по пятам старый пес Джорджи; миновав развалины старинного города Кингсбира, они стали подниматься на плоскогорье.

В это утро, когда осеннее солнце взошло над Гринхиллом и осветило росистую лужайку на его вершине, между изгородями на дорогах, пересекающих по всем направлениям широкую равнину, заклубились неясные облачка пыли. Постепенно облачка собирались к подножию холма, и вскоре уже можно было различить отдельные отары, поднимавшиеся к вершине по извилистым дорогам. Медленно двигаясь вперед, они проходили через отверстия в крепостной стене, к которым примыкали дороги; это были бесчисленные стада, рогатые и безрогие, синие отары и красные, темно-желтые и бурые, даже зеленые и нежно-розовые, как лососина, смотря по прихоти красильщика или по обычаю фермы. Люди кричали, собаки надрывно лаяли, но тесно сгрудившиеся странницы после столь продолжительного путешествия уже довольно равнодушно воспринимали то, что обычно нагоняло на них страх, и только жалобным блеяньем выражали свое беспокойство, очутившись в необычном окружении; там и сям над морем овечьих спин поднималась высокая фигура пастуха, напоминая гигантского идола, окруженного толпой распростертых ниц почитателей.

Множество отар на ярмарке состояло из овец

южнодаунской и уэссекской рогатых пород, к последней принадлежало большинство овец Батшебы и фермера Болдвуда. Часам к девяти, ряды за рядами, эти овцы вошли на площадку; их закрученные ровными спиралями рога красиво свисали по обеим сторонам головы, под рогами прятались крохотные бело-розовые уши. Там и сям виднелись другие разновидности овечьих пород, напоминавшие леопардов богатой густой окраской. Изредка встречались представители оксфордской породы, чья шерсть слегка завивалась, как льняные волосики ребенка; она была еще более волнистой у изнеженных лейстеров, а самыми курчавыми были котсуолды. Однако живописнее всех оказалась небольшая отара эксмуров, случайно попавшая на ярмарку в этом году. Их пестрые морды и ноги, темные тяжелые рога, космы шерсти, свисающие с бурых лбов сразу бросались в глаза, нарушая однообразие собранных на ярмарку овец.

Солнце было еще невысоко, когда тысячи блеющих, задыхающихся от усталости овец разбрелись по загонам; за каждой отарой надзирала собака, привязанная в углу загона. Между загонами имелись проходы, где вскоре начали тесниться покупатели и продавцы, прибывшие

из дальних и ближних мест.

На другом конце лужайки к полудню всеобщее внимание стала привлекать совсем другая картина. Там водружали круглую палатку необычайных размеров из новой парусины. Время шло, отары переходили из рук в руки, пастухам стало легче дышать, и они начали проявлять интерес к палатке; один из них спросил рабочего, старательно затягивавшего замысловатый узел:

— Что это у вас будет такое?

— Королевский цирк будет представлять поездку Турпина в Йорк и смерть Черной Бесс, — выпалил рабочий, не поднимая глаз и продолжая трудиться над узлом.

Как только установили палатку, оркестр грянул бравурный марш, и была оглашена программа, причем снаружи на виду у всех стояла Черная Бесс, как живое доказательство (впрочем, едва ли нужное) правдивости заверений, раздававшихся с подмостков, через которые предстояло перебраться публике. Простодушные призывы так подействовали на все сердца и умы, что народ валом повалил в палатку; одними из первых появились там Джан Когген и Джозеф Пурграс, которые были свободны от работы.

— Как толкается этот нахальный верзила! — в

самый разгар давки взвизгнула шедшая впереди женщина, оглянувшись на Джана.

— Как же мне вас не толкать, когда народ напирает на меня сзади? — энергично оправдывался Когген, стараясь разглядеть этот народ, но туловище его было зажато в тиски, и он еле мог повернуть голову.

Воцарилась тишина. Потом барабан и трубы вновь оглушительно загрохотали. Толпа пришла в экстаз и рванулась вперед, снова притиснув Коггена и Пургграса к шедшим перед ними женщинам.

— Есть же такие нахалы, что издеваются над беззащитными женщинами! — опять воскликнула одна из этих особ, качавшаяся, как тростник на ветру.

— Скажите на милость, — взывал Когген к публике, нажимавшей ему на лопатки, — встречали вы когда-нибудь такую глупую женщину? Клянусь своей шкурой, люди добрые, хотел бы я выскочить из этого сырного пресса, и пусть бы эти проклятые бабы одни обжирались представлением!

— Не петушись, Джан, — шепотом умолял его Джозеф Пургграс. — А не то они натравят на нас своих мужей, и те укокошат нас, — глаза у них

так и горят, и я сразу смекнул, что это за ведьмы.

Джан придержал язык, угомонившись в угоду приятелю, и постепенно они добрались до лестницы. Пурграс оказался расплющенным, как паяц-дергунчик, и монетка в шесть пенсов (плата за вход), которую он уже с полчаса судорожно сжимал в руке, так раскалилась, что осыпанная блестками женщина в медных кольцах со стеклянными брильянтами и набеленными плечами и физиономией, взяв у него монету, тут же выронила ее, решив, что ей вздумали обжечь пальцы. Наконец все втиснулись, и палатка стала напоминать снаружи огромный мешок с картофелем — вся в волдырях и впадинах, — в парусину вдавились сотни голов, спин и локтей.

К задней стенке этой огромной палатки примыкали две небольшие палаточки — артистические уборные. Одна из них, предназначенная для мужчин, была разгорожена пополам куском парусины; в одном отделении сидел на траве, натягивая высокие сапоги, молодой человек, в котором мы сразу же признали бы сержанта Троя.

Объясним вкратце появление Троя в такой роли. Бриг, подобравший его на бедмутском рейде, должен был отправиться в плавание, но там не хватало матросов. Трой ознакомился с уставом и

нанялся. Перед отплытием была послана шлюпка в Лалвиндскую бухту; как он и предполагал, его одежды там не оказалось. Он отработал свой переезд в Соединенные Штаты и жил там на случайные заработки, переезжая из города в город и подвизаясь как преподаватель гимнастики, фехтования на шпагах и рапирах и бокса. Через несколько месяцев ему опостылела такая жизнь. У жизнерадостного по натуре Троя были барские замашки, и, пока не переводились деньги, ему нравилось жить в необычных условиях, но, когда в карманах опустело, стало невмоготу. К тому же он не расставался с мыслью, что у него опять будет домашний очаг и все удобства жизни, если он вздумает вернуться в Англию, на ферму в Уэзербери. Его очень занимал вопрос, считает ли его жена погибшим.

В конце концов он решил возвратиться в Англию. Но по мере того, как он приближался к Уэзербери, это место теряло для него притягательную силу, и он колебался, стоит ли ему забираться в свою старую нору. Высадившись в Ливерпуле, он мрачно размышлял о том, что ему могут оказать на ферме весьма недружелюбный прием. Трой был способен лишь к случайным бурным взрывам чувств, нередко причиняв-

шим ему такие же неприятности, какие бывают следствием сильных и здоровых переживаний. Батшеба была не из тех женщин, которые позволяют себя дурачить, и не из тех, что безмолвно страдают, да и уживется ли он с энергичной женой, которой, водворившись на ферме, будет обязан решительно всем — и пропитанием, и кровом? Вдобавок весьма вероятно, что его жена не справится с хозяйством и разорится, если уже не разорилась, — и тогда он будет обязан ее содержать. Что ждет их впереди? Они обречены на нищету, между ними всегда будет призрак Фанни, он станет раздражительным, а у нее разовьется язвительность. Мысль об Уэзербери вызывала у него сложное чувство — неприязни, сожаления и стыда, он со дня на день откладывал свое возвращение, и никогда бы туда не вернулся, если бы мог где-нибудь получить бесплатное содержание и квартиру.

В это время — дело было в июле, за два месяца до его появления на гринхиллской ярмарке, — он столкнулся со странствующим цирком, дававшим представления на окраине одного северного города. Трой произвел сильное впечатление на директора, объездив принадлежавшую труппе норовистую лошадь, прострелив подвешенное

яблоко из пистолета с несущегося галопом коня и совершив другие подвиги в том же духе. За эти свои таланты, которым он в значительной мере был обязан службе в драгунском гвардейском полку, Трой был принят в труппу, и, когда стали готовиться к новому представлению, ему поручили ведущую роль Турпина. Трою не слишком льстило, что его так высоко ценят в труппе, но благодаря этому ангажементу он мог еще поразмыслить несколько недель. Таким образом, как всегда беспечный, Трой, не приняв никакого решения, вместе с другими членами труппы очутился в этот день на гринхиллской ярмарке.

Неяркое осеннее солнце уже близилось к закату, когда перед палаткой разыгралась следующая сцена. Батшеба, которую привез на ярмарку чудак Пурграс, как и все прочие, читала афишу и слышала, как возвещали, что мистер Фрэнсис, всемирно прославленный наездник и объездчик лошадей, исполнит роль Турпина, — она была молода, не слишком обременена заботами, и, естественно, у нее зашевелилось любопытство. Этот балаган был самым большим и нарядным на ярмарке, и остальные, меньших размеров, теснились вокруг него, как цыплята вокруг наседки. Толпа вошла в балаган, и Болдвуд, весь день ис-

кавший случая заговорить с Батшебой, видя, что она осталась в одиночестве, приблизился к ней.

— Надеюсь, вы удачно сбыли сегодня овец, миссис Трой? — взволнованно спросил он.

— Да, благодарю вас, — отвечала Батшеба, и щеки у нее порозовели. — Мне посчастливилось продать их, как только мы поднялись на холм, так что не пришлось отводить в загон.

— И теперь вы совершенно свободны?

— Да. Только через два часа мне нужно повидать еще одного дельца, иначе я отправилась бы уже домой. Сейчас я изучала эту большую палатку и афишу. Вы никогда не видели представления: «Поездка Турпина в Йорк?» Ведь Турпин на самом деле существовал?

— О да, тут все сущая правда. Кажется, Джан Когген как-то говорил, что один его родственник близко знал Тома Кинга, приятеля Турпина.

— Имейте в виду, что Когген любит рассказывать всякие удивительные истории про своих родственников. Можно ли верить всему, что он говорит?

— Да, да, мы знаем Коггена. Но все же Турпин был на самом деле. Вероятно, вы еще не видели этого представления?

— Нет. В юности меня не пускали в такие места.

Но что там за шум! Как они кричат!

— Должно быть, Черная Бесс закончила свой номер. Кажется, я угадал, вы тоже хотели бы посмотреть это представление, миссис Трой? Если я ошибся, прошу меня извинить. Но если вы не прочь, я с удовольствием достану вам билет. — Заметив, что она колеблется, он добавил: — Сам-то я не буду смотреть — я уже видел это раньше.

Батшебе и впрямь хотелось посмотреть представление, и она только потому не поднялась на лестницу, что ей неприятно было идти одной. Она все надеялась, что появится Оук, который в таких случаях всегда оказывал ей услуги — это было его неотъемлемое право. Но Оук не появлялся, поэтому она сказала:

— Что ж, если вы сначала заглянете туда и узнаете, есть ли еще места, пожалуй, я зайду на минутку-другую.

И вот через некоторое время Батшеба появилась в палатке в сопровождении Болдвуда, который, проводив ее на «почетное» место, тотчас удалился.

Почетным сиденьем оказалась покрытая алым сукном скамья, поставленная на обрывке ковра на самом видном месте, и, к своему смущению, Батшеба обнаружила, что она единственная

«почетная» особа во всей палатке, остальные зрители все до одного стояли, тесно обступив арену, и видно было им вдвое лучше, хотя они заплатили вдвое меньше. Понятно, на Батшебу, одиноко восседавшую на алом сукне, глазели не меньше, чем на пони и на клоуна, которые проделывали на арене всевозможные трюки в ожидании появления Турпина. Делать нечего, Батшебе пришлось примириться со своим положением; она уселась с достоинством, расправив свои юбки, поскольку соседние места были не заняты, и от присутствия красивой женщины балаган стал выглядеть совсем по-новому. Через несколько минут она разглядела среди стоявших внизу перед ней жирный красный затылок Коггена, а немного дальше — постный профиль Джозефа Пургграса.

В полутемной палатке было своеобразное освещение, напоминавшее полотна Рембрандта. Светозарный прозрачный осенний день клонился к вечеру, сгущались тени, и косые желтые лучи, пробивавшиеся сквозь отверстия и швы парусины, пронизывали струями золотой пыли голубую дымку, застилавшую палатку, бросая яркие отсветы на противоположную холщовую стенку, причем казалось, будто там горят малень-

кие висячие лампы.

Заглянув в щелку палатки, чтобы ориентироваться перед выходом, Трой увидел прямо перед собой свою ничего не подозревавшую жену, которая восседала, как уже было описано, подобно королеве на турнире. Он отшатнулся назад в чрезвычайном смущении, мигом сообразив, что, несмотря на грим, резко изменивший его черты, она наверняка узнает его по голосу. За этот день ему не раз приходило в голову, что кто-нибудь из уэзерберийцев или из других его знакомых может находиться в числе зрителей и узнать его, однако он беспечно шел на риск. Но здесь присутствовала Батшеба собственной персоной, действительность опрокинула все его предположения, и ему стало ясно, что он проявил непростительное легкомыслие.

Она была так очаровательна, так красива, что его недоброжелательство к жителям Уэзербери мигом испарилось. Он никак не ожидал, что она покорит его в мгновение ока. Как ему быть? Появиться как ни в чем не бывало? Но он не мог пойти на это. Трою хотелось из тактических соображений оставаться неузнанным, вдобавок он испытывал острый стыд при мысли, что его прелестная молодая жена, которая и без того его

презирает, станет еще больше презирать его, увидев, до какого жалкого положения он докатился. Он покраснел до корней волос, подумав об этом, и ему стало до смерти досадно, что антипатия к Уэзербери заставила его колесить с цирком по всей стране.

Но Трой в трудных случаях всегда проявлял особую изворотливость. Он быстро откинул занавеску, отделявшую его уборную от другой, где переодевался директор и хозяин предприятия, и тот предстал перед ним от головы до пояса в виде некоего Тома Кинга, а от пояса до пят — в образе почтенного директора.

— Ну и чертовщина! — воскликнул Трой.

— Что такое?

— Да в публике я увидал окаянного кредитора, которого я всячески избегаю, — и стоит мне открыть рот, как он тут же сцапает меня, как черт грешную душу! Что теперь делать?

— Я считаю, что вам необходимо выступить.

— Никак не могу!

— Но ведь представление должно продолжаться.

— Объявите, что Турпин простужен, потерял голос и исполнит свою роль без слов.

Хозяин цирка покачал головой.

— Буду я играть или нет, я все равно не открою рта, — твердо заявил Трой.

— Ну, хорошо, я подумаю… Вот что я вам скажу, — проговорил директор, как видно сообразив, что в такой момент не следует обижать ведущего актера. — Я не стану их предупреждать о вашем молчании. Исполняйте свою роль и не произносите ни слова, но по временам многозначительно подмигивайте и в патетических местах грозно трясите головой — вот и все. Они и не заметят, что слова выпущены.

Трой нашел это предложение приемлемым: так как реплики Турпина отличались краткостью и было их немного, вся прелесть пьесы заключалась в бурно развивающемся действии. Итак, представление началось, и в нужный момент Черная Бесс выскочила на зеленую арену под рукоплескания зрителей. Сцена у заставы, когда в полночный час полицейские гонятся по пятам за Бесс с Турпином и заспанный сторож в ночном колпаке с кисточкой уверяет, что в ворота не проезжал ни один всадник, вызвала бурный восторг у Коггена.

— Здорово! — загремел он, и его крик разнесся по всей ярмарке, заглушив блеяние овец, а Пурграс осклабился, наслаждаясь драматиче-

ским эффектом контраста: герой только что лихо перемахнул на скаку через ворота, а его враги, представители хромоногого, медлительного правосудия, вынуждены были остановиться и ждать, пока их пропустят. Когда умирал Том Кинг, Джозеф судорожно схватил за руку Коггена и пробормотал со слезами на глазах:

— Ведь он не по-настоящему убит, Джан, — это только так!

А когда была разыграна последняя печальная сцена и труп ретивой верной Бесс должны были унести на деревянном щите двенадцать добровольцев из числа зрителей, Пурграс в неудержимом порыве ринулся вперед и предложил свои услуги.

— Будет о чем порассказать у Уоррена, Джан, услышат и наши детишки! — воскликнул он, приглашая товарища последовать его примеру.

И действительно, Джозеф с тех пор много лет рассказывал в Уэзербери тоном человека, немало перевидавшего на своем веку, как он собственной рукой касался копыта Бесс, подпирая плечом щит, на котором она лежала. Если, как утверждают некоторые мыслители, бессмертен тот, чей образ навеки запечатлен в памяти людей, то Черная Бесс обрела в этот день бессмертие (если

только раньше им не обладала).

Между тем Трой, поразмыслив, загримировался так, что стал совсем неузнаваемым, и хотя у него посасывало под ложечкой при выходе на сцену, вскоре ему стало ясно, что искусной разрисовкой лица он добился полной метаморфозы и даже Батшебе его не узнать. Все же он вздохнул с облегчением, когда пьеса окончилась.

Вечером состоялось второе представление, и балаган осветили. На сей раз Трой спокойно исполнял свою роль и даже отважился произнести несколько реплик. Но когда он заканчивал последнюю, стоя на самом краю арены, чуть не вплотную к первому ряду зрителей, то заметил на расстоянии какого-нибудь ярда мужчину, впившегося глазами в его профиль. Трой быстро отошел подальше от любопытного, узнав провороваешегося управителя Пенниуэйса, заклятого врага своей жены, который все еще околачивался в окрестностях Уэзербери.

Сперва Трой решил не обращать внимания и действовать, как подскажет необходимость. По всей вероятности, этот человек его узнал, но, может быть, и нет. Трой не без оснований опасался, что весть о его возвращении опередит его в Уэзербери и он окончательно упадет в глазах жены,

если та узнает о его теперешней профессии. К тому же, если он решит совсем не возвращаться, ему могут повредить толки о том, что он жив и обретается по соседству. Во всяком случае, необходимо узнать, как обстоят денежные дела жены, прежде чем принимать окончательное решение.

Мучаясь неизвестностью, Трой отправился на разведку. Ему пришло в голову, что было бы весьма благоразумно разыскать Пенниуэйса и попытаться завести с ним дружбу. Он подвязал густую бороду, взятую из реквизита цирка, и в таком виде отправился бродить по ярмарке. Уже стемнело, и почтенные люди закладывали свои повозки и двуколки, собираясь ехать домой.

Самый большой из балаганов с закусками был оборудован на ярмарке владельцем гостиницы из соседнего городка. Считалось, что в этом заведении можно неплохо подкрепиться и передохнуть. Хозяин Тренчер (как его фамильярно величали в местной газетке) был человек солидный и славился по всей округе своей изысканной кухней. В его палатке имелось два отделения, первого и второго класса, а в глубине первого находилось еще помещение для самой изысканной публики; оно было отгорожено стойкой с закусками, за которой суетился сам хозяин в белоснежном фартуке и на-

рукавниках; он обслуживал посетителей с таким видом, будто всю жизнь провел в этой палатке. В обители для избранных стояло несколько стульев и стол, а на нем спиртовой чайник и кофейники накладного серебра, фарфоровые чашечки и блюда с пудингами; в канделябрах горели свечи, и создавалось впечатление уюта и роскоши.

Трой стоял у входа в балаган, возле которого цыганка пекла оладьи над костром, разведенным из щепок, и продавала их по пенни за штуку. Заглядывая в палатку, он всматривался в лица посетителей, Пенниуэйса там не оказалось, но вскоре сквозь щель в занавеси он заметил Батшебу, сидевшую в отделении для привилегированной публики. Трой отошел от входа, нырнул в темноту и, обогнув палатку, остановился и начал прислушиваться. Он различал голос Батшебы, сидевшей у самой стенки, она разговаривала с каким-то мужчиной. Кровь бросилась ему в лицо: неужели она так легкомысленна, что позволяет себе флиртовать на ярмарке? Не значит ли это, что она считает его смерть совершившимся фактом? Чтобы удостовериться своими глазами, он вынул из кармана перочинный ножик и осторожно сделал в парусине два маленьких надреза крест-накрест, отогнул краешки, и получилась

дырочка величиной с облатку. Он припал глазом к отверстию и тотчас же в изумлении отпрянул: голова Батшебы находилась на расстоянии каких-нибудь двенадцати дюймов от него. Так близко было неудобно смотреть. Поэтому он проделал другую дырочку несколько пониже, в стороне, в затемненном месте позади ее стула, откуда можно было в полной безопасности за ней наблюдать.

Теперь Трой мог разглядеть все происходившее внутри. Батшеба сидела, откинувшись назад, в руке у нее была чашка, и она пила из нее маленькими глотками, а мужской голос оказался голосом Болдвуда, который, как видно, только что принес ей чай. Батшеба держала себя непринужденно и небрежно прислонилась к стенке, причем ее плечо вдавилось в парусину, и она очутилась чуть ли не в объятиях Троя, — ему пришлось даже отодвинуться, чтобы она не ощутила сквозь ткань тепло его тела.

Трой вдруг почувствовал, что в его душе проснулись чувства, которые он испытал днем во время представления. Батшеба была по-прежнему прелестна, и она принадлежала ему. Прошло несколько минут, пока он поборол овладевшее им желание ворваться в палатку и предъявить на

нее права. Потом он подумал о том, что эта гордая женщина, которая смотрела на него сверху вниз, даже когда любила, возненавидит его, узнав, что он стал странствующим актером. Если он заявит о своем существовании, ему надо во что бы то ни стало скрыть эту страницу своей жизни от обитателей Уэзербери, иначе он сделается посмешищем всего прихода. Его прозовут Турпином, и эта кличка останется за ним на всю жизнь. Безусловно, эти последние месяцы необходимо начисто вычеркнуть из жизни и лишь тогда появиться в качество ее мужа.

— Не угодно ли вам перед отъездом выпить еще чашечку, мэм? — спросил фермер Болдвуд.

— Благодарю вас, — отвечала Батшеба. — Мне надо сейчас же отправляться. Как невежливо со стороны этого человека, — он заставил себя ждать до такого позднего времени! Если бы не он, я уехала бы уже два часа назад. Мне и в голову бы не пришло сюда зайти. Ничто так не освежает, как чашка чая, но я бы не выпила, если бы вы не предложили мне.

Трой остро вглядывался в ее профиль, освещенный свечами, наблюдал игру теней на ее щеке, рассматривал извилины маленького бело-розового ушка. Она вынула кошелек и, возражая

Болдвуду, непременно хотела сама уплатить за свой чай, когда в палатку вошел Пенниуэйс. Трой вздрогнул. Черт возьми! Теперь ему вряд ли удастся спасти свою репутацию! Он только что хотел отойти от дыры, в которую подглядывал, разыскать Пенниуэйса и выяснить, узнал ли его бывший управитель, когда тот появился перед ним, и из слов этого проходимца Трою стало ясно, что он опоздал.

— Прошу прощения, мэм, — начал Пенниуэйс. — Мне надобно сообщить вам кое-что, касающееся лично вас.

— Сейчас я не могу вас выслушать, — холодно возразила она.

Чувствовалось, что этот человек ей невыносим, — и действительно, он постоянно приходил к Батшебе с какой-нибудь сплетней, надеясь вкрасться к ней в доверие, опорочив других.

— Сейчас я вам напишу, — доверительно сказал Пенниуэйс. Он наклонился над столом, вырвал листок из потрепанной записной книжки и написал закругленными буквами:

Ваш муж здесь. Я видел его.
Кто же теперь в дураках?

Сложив записку, он протянул ее Батшебе. Но

она не захотела ее читать, даже не подняла руки, чтобы взять бумажку. Тогда Пенниуэйс с наглым смешком бросил записку ей на колени и, круто повернувшись, вышел из палатки.

Хотя Трой и не мог прочесть, что написал бывший управитель, он сразу же догадался по его словам и поступку, что в записке речь шла о нем. Но ему не удавалось ничего придумать, чтобы предотвратить развязку.

— Проклятье! — прошептал он, и в темноту из его уст хлынула отборная брань, подобно отравленному потоку.

Между тем Болдвуд подхватил записку с колен Батшебы.

— Угодно ли вам ее прочесть, миссис Трой? — спросил он. — Если нет, я ее уничтожу.

— Знаете ли, — беззаботно сказала Батшеба, — пожалуй, будет нехорошо, если я ее не прочту. Но я догадываюсь, о чем он пишет. Он просит у меня рекомендации или сообщает очередную сплетню о ком-нибудь из моих работников. Он постоянно этим занимается.

Батшеба держала записку в правой руке. В этот миг Болдвуд протянул ей тарелку с бутербродами. Собираясь взять ломтик хлеба, она переложила записку в левую руку, в которой все еще держала

кошелек, и опустила руку у самой стенки палатки. Подвернулся случай спасти игру, нельзя было упустить такой козырь. Трой снова взглянул на прекрасную руку, увидел розовые кончики пальцев, голубые жилки на запястье, охваченном браслетом из кусочков коралла, — до чего все это ему знакомо! Потом с молниеносной быстротой и бесподобной ловкостью он бесшумно сунул руку под нижний край парусины, которая была недостаточно туго натянута, слегка приподнял ее, не отрывая глаза от дырки, и вынул записку из руки Батшебы, — край парусины снова упал, а Трой пустился бежать в темноте по направлению к валу и рву, усмехаясь про себя, — его позабавил крик изумления, вырвавшийся у Батшебы. Затем Трой перемахнул через вал, быстро прошел ярдов сто по дну рва, снова поднялся наверх и не спеша, как ни в чем не бывало направился к палатке. Он поставил себе целью разыскать Пенниуэйса и заставить его молчать до тех нор, пока сам не найдет нужным заявить о себе.

Трой дошел до входа в палатку и, стоя в кучке зевак, стал напряженно высматривать Пенниуэйса, не решаясь справляться о нем, чтобы не привлечь к себе внимания. Несколько человек толковали о только что имевшей место дерзкой

попытке ограбить молодую даму, сидевшую у стенки палатки. Предполагали, что жулик принял клочок бумаги в ее руке за банковый билет, — приподняв край парусины, он схватил бумажку и удрал с ней, не тронув кошелька. «Вот уж будет досадовать, как увидит свою ошибку!» — посмеивались они. Впрочем, о происшествии, видимо, мало кто знал — скрипач, игравший у входа в палатку, даже не прервал своей игры, а четверо угрюмых сгорбленных стариков с палками в руках по-прежнему исполняли под музыку шотландский танец «Майор Молли». Позади них стоял Пенниуэйс. Трой скользнул к нему, сделал знак и прошептал несколько слов, мужчины обменялись понимающим взглядом и вышли в темноту.

Глава LI
Батшеба беседует со своим провожатым

Было условлено, что, когда Батшеба поедет домой, Оук займет место Пургграса в ее экипаже и отвезет ее в Уэзербери; к вечеру у Джозефа обнаружились признаки его давнишней болезни — «двоящегося глаза», и он не мог справиться с обязанностями кучера и защитника дамы. Но Оук был так занят и ему предстояло еще столько хлопот с болдвудскими овцами, часть которых еще не была продана, что Батшеба, не говоря ни слова Оуку и вообще никому, решилась ехать домой одна (ей уже не раз случалось возвращаться одной с кэстербриджского рынка), всецело доверившись своему ангелу-хранителю. Однако, встретив случайно (как ей думалось) фермера Болдвуда в закусочной, она не смогла отказаться, когда он предложил сопровождать ее верхом. Незаметно сгустились сумерки, но Болдвуд уверял, что нечего тревожиться, так как луна взойдет через каких-нибудь полчаса.

Тотчас после происшествия в палатке она

поднялась и направилась к выходу, не на шутку испуганная и искренне благодарная своему старому поклоннику за его помощь; правда, она жалела, что нет Габриэля, с которым предпочла бы ехать, — это было бы и приятнее и приличнее, ведь он был ее управителем и слугою. Но что поделаешь! Ей ни за что не хотелось обижать Болдвуда, перед которым она чувствовала себя виноватой. Когда поднялась луна и подали двуколку, Батшеба двинулась в путь; она пересекла вершину холма и стала спускаться по извилистой дороге, которая, казалось, уходила куда-то во мрак и в небытие: луна стояла на одном уровне с ярко озаренным холмом, и впереди разверзлась черная пропасть, бескрайняя, как мир. Болдвуд вскочил на коня и поскакал вслед за Батшебой. Они спустились в низину; звуки долетали до них с вершины холма, словно голоса небожителей, а огни ярмарки казались кострами какого-то небесного лагеря. Вскоре они миновали подвыпивших гуляк, слоняющихся у подножия холма, пересекли Кингсбир и выехали на большую дорогу.

Непогрешимый инстинкт уже давно подсказал Батшебе, что фермер по-прежнему ее боготворит, и она чувствовала к нему искреннее расположение. Вечером ее огорчил его убитый вид, она

вспомнила о своем безрассудстве, и ей захотелось, как хотелось с год назад, загладить свою вину. Испытывая жалость к этому неизбывно мрачному человеку, столь постоянному в своем чувстве и немало потерпевшему из-за нее, Батшеба выказывала ему внимание, которое можно было принять за нежность, и бедняга снова стал предаваться сладостным мечтам о семилетнем служении Иакова.

Вскоре ехавший в арьергарде Болдвуд под каким-то предлогом догнал Батшебу и поскакал бок о бок с ней. Они проехали две-три мили при лунном свете, перекидываясь через колесо двуколки отрывочными фразами, — говорили о ярмарке, о хозяйстве, о незаменимости Оука и о прочих безразличных предметах, как вдруг Болдвуд спросил ее напрямик:

— Миссис Трой, вы когда-нибудь выйдете опять замуж?

Прямо и внезапно поставленный вопрос явно смутил ее, и она ответила не сразу.

— Я никогда серьезно об этом не задумывалась.

— Понимаю вас. Но ведь уж скоро год, как умер ваш супруг…

— Вы забываете, что смерть его так и не была

окончательно установлена, и возможно, что он жив. Поэтому меня едва ли можно назвать вдовой, — возразила она, хватаясь за первый пришедший ей в голову предлог.

— Вы говорите, смерть не была окончательно установлена, а между тем она доказана достаточно убедительно. Один человек видел, как он тонул. Никто из здравомыслящих людей не сомневается в его смерти, я полагаю, также и вы, мэм.

— Да, теперь я в этом не сомневаюсь, а не то поступала бы совершенно иначе, — мягко ответила она. — Вначале у меня была какая-то странная, безотчетная уверенность, что он не погиб. Потом мне приходили в голову разные объяснения. Но хотя я убеждена, что больше никогда его не увижу, я не собираюсь снова выходить замуж. Я заслуживала бы осуждения, если бы допустила такую мысль.

Некоторое время они помолчали. Теперь они ехали по глухой дороге, пересекавшей большак; слышно было только, как поскрипывает под Болдвудом седло и постукивают рессоры двуколки. Но вот Болдвуд прервал молчание:

— Помните, как я нес вас в обмороке в гостиницу «Королевский щит»? У всякого пса бывает

свой праздник, — так это был мой.

— Знаю, знаю все, — поспешно отозвалась она.

— Всю жизнь буду жалеть, что я потерял вас, что так сложились обстоятельства.

— И я тоже очень жалею, — проговорила она и тут же поправилась: — Видите ли, я жалею, что вы могли подумать, будто я…

— Я всегда с какой-то печальной радостью думаю о прошлом… Тогда я был для вас чем-то — до того, как *он* стал для вас всем, и вы были *почти* моей. Но, конечно, все это не имеет значения. Я никогда не нравился вам.

— Напротив. И к тому же я вас уважала.

— Ну а теперь?

— То же самое.

— Что же именно?

— О чем вы меня спрашиваете?

— Я нравлюсь вам или же вы просто уважаете меня?

— Не знаю, право… Никак не могу сказать. Трудно женщине говорить о своих чувствах на языке, который создали главным образом мужчины для выражения своих чувств. Я поступила с вами легкомысленно, непростительно, очень дурно. Всю жизнь буду об этом сожалеть. Если б я только могла как-нибудь загладить свою вину, я с радо-

стью бы это сделала. Но это было невозможно.

— Не браните себя, вы далеко не так виноваты, как вам кажется. Батшеба! Допустим, вы получите реальное, неоспоримое доказательство и убедитесь, что вы… что вы действительно вдова, — захотите вы тогда загладить свою вину и выйти за меня замуж?

— Не могу сказать. Сейчас, во всяком случае, нет.

— Но когда-нибудь в будущем?

— О да, когда-нибудь — это вполне возможно.

— Ну, хорошо. Вы знаете, что даже если не будет новых подтверждений, то примерно через шесть лет вы сможете вторично выйти замуж, и никто не посмеет вас осуждать?

— Да, — живо ответила она, — все это мне известно. Но об этом еще рано говорить. Шесть или семь лет. Что с нами будет за это время?

— Годы быстро промелькнут, и, когда мы оглянемся назад, это время покажется нам очень коротким, куда короче, чем кажется теперь, когда оно впереди.

— Да, да, я испытала это на своем опыте.

— Так выслушайте же меня, — горячо настаивал Болдвуд. — Если я буду ждать все это время, выйдете вы за меня? Вы сами сказали, что хотите

искупить свою вину передо мной, — пусть это и будет искуплением.

— Но, мистер Болдвуд, шесть лет…

— Вы хотите выйти замуж за кого-то другого?

— Ничуть не бывало! Мне просто неприятно сейчас говорить о таких вещах. Пожалуй, это даже непристойно, и я напрасно допустила подобный разговор. Не будем этого касаться, очень вас прошу!

— Хорошо, я не буду этого касаться, если вы требуете. Но что тут непристойного? Я человек не первой молодости и готов быть вам опорой до конца моих дней. С вашей стороны, конечно, не может быть и речи о страсти или о предосудительной торопливости, в чем, пожалуй, можно обвинить меня. Но мне ясно как день, что вы ничуть не уроните своего женского достоинства, если из чувства жалости или, как вы говорите, из желания искупить свою вину заключите со мной соглашение на много лет вперед, договор, который все уладит и осчастливит меня, хотя бы и очень нескоро. Разве в свое время вы не приблизили меня к себе? Разве вы не были почти моей? Почему бы вам не сказать мне, что вы снова приблизите меня к себе, если обстоятельства позволят? Скажите же, умоляю вас! Батшеба!

Обещайте мне, — ну что вам стоит! — что если вы снова выйдете замуж, то только за меня!

Он говорил таким взволнованным тоном, что при всем ее сочувствии ей стало страшновато. То был чисто физический страх — страх слабого пред сильным, без примеси неприязни или отвращения. Батшеба проговорила с тревогой в голосе, так как ей живо вспомнилась вспышка ярости на Иелберийской дороге и она опасалась, как бы это не повторилось.

— Как бы то ни было, я не выйду замуж ни за кого другого, пока у вас будет желание жениться на мне… Это все, что я могу сказать… Вы захватили меня врасплох…

— Скажите же напрямик, что через шесть лет вы станете моей женой! Не будем говорить о непредвиденных случайностях, с ними ничего не поделаешь. Но я уверен, что на этот раз вы сдержите свое слово.

— Вот почему я и не решаюсь вам его дать.

— Умоляю вас, дайте! Вспомните прошлое и смягчитесь!

— Ах, что же мне делать? — сказала она с тяжелым вздохом. — Я не люблю вас и сильно опасаюсь, что никогда не полюблю так, как жена должна любить мужа. Если вы знаете это, сэр,

и все же будете счастливы, получив от меня обещание выйти за вас через шесть лет, то вы оказываете мне большую честь. Я могла бы согласиться только из дружеских чувств, но если вы так высоко цените согласие женщины, которая уже не может себя уважать, как прежде, и едва ли способна любить, то я… я…

— Вы обещаете?

— …подумаю, смогу ли вскоре вам обещать.

— Но вскоре может означать и никогда?

— О нет, ничуть. В самом деле, вскоре. Ну, скажем, на Рождество.

— На Рождество! — Помолчав несколько минут, он прибавил: — Хорошо, до тех пор я не буду с вами заговаривать об этом.

Батшеба переживала необычное состояние, доказывающее, в какой мере душа является рабой тела, как велика зависимость бесплотного духа от осязаемой плоти и крови. Можно без преувеличения сказать, что она испытывала воздействие посторонней силы, которая подавляла ее волю, вынуждая дать столь необычное обещание на много лет вперед, и даже внушала ей мысль, будто она обязана это сделать. Когда прошло несколько недель после их ночной беседы и стало приближаться Рождество, она начала не на

шутку тревожиться.

Однажды у нее случайно завязался дружеский разговор с Габриэлем о ее затруднениях. Беседа принесла некоторое облегчение Батшебе, но это было безрадостное чувство, оставившее привкус горечи. Она проверяла с Оуком какие-то счета, когда за работой речь зашла о Болдвуде, и Габриэль по какому-то поводу сказал:

— Он никогда но забудет вас, мэм, никогда!

Тут непроизвольно вырвалась наружу ее тревога, она рассказала ему, какая на нее свалилась неприятность, чего домогается от нее Болдвуд и как он надеется на ее согласие.

— Как это ни печально, — мрачно сказала она, — но мне придется, на счастье иль на пагубу, все же дать ему согласие, и вот по какой причине… (Этого еще никто не знает.) Я думаю, что, если не дам ему слова, он сойдет с ума.

— Неужто так? — серьезно спросил Габриэль.

— Да, я в этом уверена, — продолжала она в порыве какой-то безудержной откровенности, — и видит Бог, это ничуть не льстит моему самолюбию, напротив, я расстроена, я потрясена до глубины души, дело в том, что судьба этого человека в моих руках. Его будущее зависит от того, как я с ним обойдусь. Ах, Габриэль, меня бросает в

дрожь при мысли о такой ответственности, — это прямо-таки ужасно!

— Что ж, мэм, могу повторить то, что я уж сказывал вам раньше, — проговорил Оук. — Он только и живет, что мечтами о вас. Но мне думается, все это не так уж страшно, как вам сдается. Вы сами знаете, он всегда был угрюмый да нелюдимый, такой уж у него нрав. Но раз уж дело так обернулось, то почему бы вам не дать ему условного обещания? На вашем месте я бы дал.

— Но хорошо ли это будет? В прошлом мне случалось поступать опрометчиво, и я знаю, что женщина, которая у всех на виду, должна быть особенно осмотрительной, чтобы сохранить уважение людей, — и я хочу, очень хочу действовать осторожно. Подумать только, шесть лет! Да за это время мы все можем умереть, и потом не исключена возможность, что вернется мистер Трой. Я все обдумала и вижу, до чего нелеп этот план! Ну разве это не безумие, Габриэль? Не могу понять, как это ему взбрело в голову! Но нет ли тут чего-нибудь неподобающего? Вы должны знать… ведь вы старше меня.

— На восемь лет старше, мэм.

— Да, на восемь лет… Ну, что же, по-вашему, это дурно?

— Пожалуй, это будет необычный сговор между мужчиной и женщиной, но, по мне, тут нет ничего дурного, — медленно проговорил Оук. — Вот только одно заставляет призадуматься: следует ли вам за него выходить, — он вам не мил… так я полагаю…

— Да, можете не сомневаться, о любви нет и речи, — отрезала она… — Я не могу полюбить никого на свете, любовь для меня уже невозможна, окончательно изжита, совершенно неприемлема и достойна презрения!

— Ну, ежели у вас нет любви, то, мне думается, не будет ничего дурного в сговоре с ним. Вот если бы вам загорелось поскорее избавиться от тяготы, какая на вас свалилась, когда пропал ваш муж, то было бы худо; но этакий спокойный сговор с человеком, которому вы хотите оказать великую милость, по мне, совсем другое дело. Тяжкий грех, я полагаю, — это домогаться брака с человеком, которого не любишь от всей души.

— Да, это так, и я готова нести расплату, — твердо сказала Батшеба. — Знаете, Габриэль, меня до сих пор мучает совесть, что я по глупому легкомыслию причинила ему такой вред. Ведь не подшути я тогда над ним, ему и в голову бы не пришло свататься за меня. Ах, если б я могла от-

купиться от него деньгами и снять грех со своей души!.. Но такой долг можно погасить только одним способом, и как честный человек я обязана это сделать, не думая о себе. Когда повеса проиграется в пух и прах, он все-таки должен расплатиться с долгами, как это ему ни трудно. Я и была таким повесой и теперь спрашиваю вас вот о чем: вы знаете, что раньше, чем через семь лет, я не поборю сомнений и не выйду замуж, да это и запрещается законом, — ведь мой муж считается только в безвестной отлучке, — так скажите по совести, имею ли я право дать обещание Болдвуду и тем самым искупить свою вину, — ведь это будет искупление? Мне ужасно неприятен брак при таких обстоятельствах, и я не хочу идти по стопам чересчур сговорчивых женщин.

— Мне думается, тут самое главное, верите ли вы, как и все мы, что ваш муж умер.

— Теперь я больше не сомневаюсь, — ведь, будь он жив, за это время он непременно бы вернулся, уж я знаю почему.

— Ну тогда по Божьему закону вы вправе думать о замужестве, как и любая вдова, через год после смерти мужа. Но почему бы вам не спросить совета мистера Сэрдли, как вам обойтись с мистером Болдвудом?

— Нет, когда мне надо что-нибудь выяснить, я обращаюсь к человеку с широким кругозором и никогда не иду к профессионалу. О судебном деле я советуюсь с пастором, о лечении — с юристом, о хозяйственном деле — с врачом, а когда речь идет о нравственности, мне важно мнение моего управителя, то есть ваше.

— Ну а о сердечных делах?

— Мое собственное.

— Боюсь, ваше рассуждение малость прихрамывает, — сказал Оук, улыбаясь своей серьезной улыбкой.

Она ничего не ответила и тут же ушла, бросив ему:

— До свидания, мистер Оук.

Она говорила с ним вполне откровенно, и ответ Габриэля ее удовлетворил, она как будто и не ждала ничего другого. Но вместе с тем в глубине своей сложной души она ощутила легкую боль разочарования, хотя ни за что не призналась бы себе в этом. Оук ни разу не высказал желания видеть ее свободной и жениться на ней, ни разу не сказал: «Я готов ждать вас, как и он». Вот что ее уязвило! Она, конечно, не стала бы внимать таким речам. О нет, ведь она сама все время утверждала, что ей не подобает помышлять о бу-

дущем. Да и Габриэль был слишком беден, чтобы говорить с ней о чувствах. А все-таки он мог бы намекнуть на свою старую любовь и мимоходом спросить как бы в шутку, не позволит ли она ему заговорить на эту тему. Это понравилось бы ей, было бы приятно, пожалуй, даже очень приятно, и уж она сумела бы этаким ласковым и безобидным тоном ответить ему: «нет». Но, услыхав такой холодный совет, которого она, впрочем, и добивалась, наша героиня весь день не могла отделаться от чувства горькой досады.

Глава LII
Пути скрещиваются

I

Наступил рождественский сочельник, и в Уэзербери только и было толков что о празднестве, которое задавал в этот вечер Болдвуд. Удивление всего прихода вызвал не званый ужин, что было не редкостью на Рождество, а тот факт, что его устраивал Болдвуд. Это известие всем показалось диким, невероятным, как если бы они услыхали, что затевается партия в крокет в одном из приделов собора или что всеми уважаемый судья выступит на подмостках. Всем было ясно, что идут приготовления к развеселому празднику. В этот день был принесен из лесу огромный пук омелы, которую и повесили в холле старого холостяка. Затем появились охапки падуба и плюща. С шести часов утра и далеко за полдень в кухне со свистом вздымалось пламя, рассыпая во все стороны искры, и котел, сковородка и трехногий горшок проступали сквозь дым в глубине очага, как Седрах, Мисах и Авденаго в печи вавилонской, а впереди на веселом огне непрерывно

жарилось мясо и приготовлялись всевозможные соусы.

Когда день стал клониться к вечеру, в большом длинном холле, из которого вела наверх лестница, зажгли камин и вынесли всю лишнюю мебель, освободив место для танцев. В этот вечер в камине должен был торжественно пылать нераспиленный ствол дерева, до того громоздкий, что его невозможно было ни принести, ни вкатить в холл, и перед началом празднества четверо мужчин втащили его и водворили на место с помощью цепей и рычагов.

Несмотря на все это, в доме не чувствовалось атмосферы беззаботного веселья. Хозяин раньше никогда не устраивал такого празднества, и теперь все совершалось как бы по принуждению. Затевались какие-то грандиозные развлечения, все делалось руками равнодушных наемников, и, казалось, в комнатах витает какая-то зловещая тень и шепчет, что все происходящее чуждо этому дому и его одинокому обитателю и не приведет к добру.

II

В это время Батшеба находилась у себя в комнате и одевалась к торжеству. По ее требованию

Лидди принесла две свечи и поставила их по обе стороны зеркала.

— Не уходи, Лидди, — сказала Батшеба с оттенком робости. — Я как-то глупо взволнована, сама не знаю почему. До чего мне не хочется идти на этот бал, но теперь уже никак не отвертишься! Я не виделась с мистером Болдвудом с осени, когда обещала встретиться с ним на Рождество и поговорить об одном важном деле, но мне и в голову не приходило, что все так обернется.

— Все-таки на вашем месте я бы пошла, — сказала Лидди, которая отправлялась вместе с ней, так как Болдвуд приглашал всех без разбора.

— Да, конечно, я должна показаться, — согласилась Батшеба. — Ведь праздник затеяли ради меня, и мне это ужасно неприятно. Смотри, не болтай, Лидди!

— Не буду, мэм. Так это все ради вас, мэм?

— Да. Я виновница торжества. Если б не я, не было бы и в помине праздника. Больше я не стану объяснять, да и нет ничего такого, что б нужно было бы объяснять. Лучше бы мне никогда не приезжать в Уэзербери!

— Грешно так говорить, разве можно желать себе чего-нибудь дурного?

— Нет, Лидди. С тех пор как я здесь, на меня так

и сыплются неприятности, и, возможно, этим вечером стрясется еще какая-нибудь беда. Принеси мне, пожалуйста, мое черное шелковое платье и посмотри, хорошо ли оно на мне сидит.

— А разве вы не снимете траур, мэм? Вы вдовеете уже четырнадцать месяцев, и в такой вечер уж можно бы надеть что-нибудь повеселее.

— А зачем? Нет, я появлюсь, как всегда, в черном, потому что, если я надену светлое платье, обо мне поднимутся разговоры и все вообразят, будто я веселюсь, а у меня на сердце камень. Не лежит у меня душа к этому празднику; но все равно, останься и помоги мне одеться.

III

В тот же час одевался и Болдвуд. Перед ним стоял портной из Кэстербриджа, примеривавший ему новый сюртук, только что доставленный из мастерской.

Болдвуд еще никогда не был так привередлив, так разборчив в отношении покроя и вообще так придирчив. Портной вертелся вокруг него, расправляя складки на талии, обдергивал рукава, приглаживал воротник, и Болдвуд впервые терпеливо сносил все эти процедуры. В былое время фермер возмущался такими тонкостями,

называя все это ребячеством, но сейчас у него не вырвалось ни философской тирады, ни резкой реплики по адресу человека, придававшего такое значение морщинке на сюртуке, как если бы речь шла о землетрясении в Южной Америке. Наконец Болдвуд заявил, что он более или менее удовлетворен, уплатил по счету, и портной вышел, разминувшись в дверях с Оуком, явившимся с ежедневным докладом.

— А, это вы, Оук, — сказал Болдвуд. — Вы, конечно, придете на вечер. Надеюсь, вы вволю повеселитесь. Я решил не жалеть ни расходов, ни трудов.

— Постараюсь прийти, сэр, хоть, может, малость запоздаю, — спокойно отвечал Габриэль. — Рад видеть в вас такую перемену.

— Да… признаюсь… нынче я в таком светлом настроении… весел, даже более чем весел… и мне даже как-то грустно при мысли, что все это не так уж прочно. Случалось, когда я был в радостном настроении и горячо надеялся, меня уже подстерегала беда; поэтому частенько я радуюсь, когда на меня находит уныние, и тревожусь, когда на сердце весело. Но все это ерунда. Сущая ерунда. Может, и в самом деле приходит мой день.

— Надеюсь, день будет долгий и ясный.

— Благодарю вас… благодарю. Но кто знает, может, у меня нет особых оснований радоваться… И все-таки я крепко надеюсь. Это уже вера, а не надежда. Думается, на этот раз я не обманусь в своих ожиданиях… Оук, у меня руки, кажется, чуточку дрожат. Не могу как следует завязать шейный платок. Не завяжете ли вы мне его? Дело в том, что последнее время я, видите ли, был не совсем здоров.

— Это очень печально, сэр.

— Пустяки! Пожалуйста, сделайте, как умеете. Может, теперь как-нибудь по-новому завязывают, Оук?

— Не знаю, сэр, — отвечал Оук, и в голосе его прозвучала печаль.

Болдвуд подошел к Габриэлю, и, пока Оук завязывал шейный платок, фермер продолжал в лихорадочном возбуждении:

— Как по-вашему, Габриэль, женщины держат свои обещания?

— Да, ежели это им не слишком трудно.

— А условное обещание?

— Не поручился бы я за этакое условное обещание, — с оттенком горечи отвечал Габриэль. — Это дырявое словечко, совсем как решето.

— Не говорите так, Габриэль. За последнее

время вы стали насмешником, отчего бы это? Мы с вами как будто поменялись ролями: я стал молодым человеком, полным надежд, а вы — разочарованным в жизни стариком. Но все-таки, как по-вашему, сдержит ли женщина обещание… то есть не обещание выйти замуж, а даст ли она слово выйти замуж через несколько лет? Ведь вы лучше меня знаете женщин, — скажите же!

— Боюсь, вы слишком высоко думаете обо мне. Но, пожалуй, женщина сдержит свое слово, коли захочет загладить какую-нибудь обиду.

— Ну, до этого дело еще не дошло, — но вскоре, может, так оно и будет, да, да, будет именно так, — вырвалось у Болдвуда. — Я делал ей предложение, и она как будто идет мне навстречу и согласна стать моей женой в отдаленном будущем, но с меня и этого достаточно. Разве я могу рассчитывать на большее? Она вообразила, что женщина может выйти замуж не раньше, чем через семь лет после кончины мужа; впрочем, она не совсем уверена в его смерти, ведь его тело так и не найдено. Может быть, она считается с законом или с религией, но она отказывается говорить об этом. И все-таки она мне обещала… дала мне понять, что сегодня состоится помолвка.

— Семь лет… — пробормотал Оук.

— Нет, нет — ничего подобного! — нетерпеливо прервал его фермер. — Пять лет, девять месяцев и несколько дней! Прошло уже около пятнадцати месяцев со дня его смерти. А разве уж так редко дают слово выйти замуж через пять с лишним лет?

— Да ведь срок очень уж долгий, как поглядишь. Не больно-то рассчитывайте на такое обещание, сэр. Вспомните, ведь вы уже один раз обманулись. Может, она говорит и от чистого сердца, но все-таки… она еще так молода!

— Обманулся? Никогда! — горячо воскликнул Болдвуд. — В тот раз она мне ничего не обещала, а потому и не нарушала своего слова! А уж если она даст мне обещание, то непременно выйдет за меня. Батшеба хозяйка своего слова.

IV

Трой сидел в уголку небольшой кэстербриджской таверны, покуривая и прихлебывая из стакана какую-то дымящуюся смесь. В дверь постучали, и вошел Пенниуэйс.

— Ну что, видели вы его? — спросил Трой, указывая ему на стул.

— Болдвуда?

— Нет, адвоката Лонга.

— Не застал его дома. Я первым делом пошел к нему.

— Какая незадача!

— Пожалуй, что так.

— Но все-таки я не понимаю, почему человек, которого считают утонувшим, хотя он и жив, должен нести какую-то ответственность! Не стану я спрашивать у юриста — ни за что!

— Не совсем так. Ежели человек меняет свое имя и все такое прочее, обманывает весь свет и свою жену, то, значит, он плут, и закон считает его самозванцем и мошенником, и на этакого самозванца и бродягу есть расправа.

— Ха-ха! Здорово сказано, Пенниуэйс! — Трой расхохотался, но тут же спросил с тревогой в голосе: — Скажите-ка мне, как вы думаете, у нее еще нет ничего такого с Болдвудом? Клянусь жизнью, ни за что этому не поверю! Но как же она должна меня ненавидеть! Удалось ли вам разузнать, не давала ли она ему каких-либо обещаний?

— Я так и не мог разузнать. Видать, он здорово в нее влюблен, а уж за нее не поручусь. До вчерашнего дня я ни слова не слыхал об этом, а потом мне сказали, что она, мол, собирается к нему нынче вечером на праздник. До нынешнего дня, говорят, она ни разу не заглядывала к нему. Сказывают,

что она ни одним словечком не перемолвилась с ним после гринхиллской ярмарки, — да мало ли что люди болтают? Знаю одно, он ей не мил, она обходится с ним сурово и даже холодно.

— Я не так уж в этом уверен… Ведь она красавица, правда, Пенниуэйс? Признайтесь, вы никогда в жизни не встречали такой прелестной, такой великолепной женщины! Клянусь честью, как увидел я ее в тот день, даже диву дался: что я за дурак, как мог я ее покинуть на такой долгий срок! Но тогда меня связывал по рукам и по ногам этот окаянный балаган, а теперь, слава богу, я с ним разделался. — Он затянулся разок-другой, потом добавил: — Какой у нее был вид, когда вы встретились с нею вчера?

— Ну, она не очень-то обратила на меня внимание, но, как мне кажется, вид у нее был неплохой. Этак мимоходом свысока взглянула на мою жалкую фигуру и тут же отвела глаза в сторону, будто я какая-нибудь коряга. Она только что сошла со своей кобылы, — приехала посмотреть, как в этом году в последний раз выжимают яблоки на сидр, — вся раскраснелась от езды, грудь у нее ходуном ходила, я уж все приметил. Да, а парни суетятся вокруг нее, орудуют с прессом и говорят: «Берегитесь, мэм, как бы вас не забрызгало соком,

а не то пропадет ваше платье». А она им: «Не обращайте на меня внимания». Тут Гэб поднес ей молодого сидра, и она стала его потягивать, да не как все люди, а через соломинку. «Лидди, говорит, принеси нам домой несколько галлонов, и я приготовлю яблочное вино». Ей-богу, сержант, я был для нее все равно что мусор в дровяном сарае.

— Надо мне самому пойти и все про нее разузнать. Непременно надо пойти. Что, Оук у нее по-прежнему всем заправляет?

— Как будто бы так. И на Нижней уэзерберийской ферме тоже. Все у него в руках.

— Ну, у таких, как он, не хватит мозгов забрать ее в руки.

— Уж этого я не знаю. Только она без него ни на шаг, а он смекнул и держит себя страсть как самостоятельно. Уж верно, есть и у нее свои слабости, да только я ни одной не приметил, черт побери!

— Эх вы, управитель! Да она на голову выше вас, и вы должны это признать: породистая лошадка… тонкая штучка. Как бы там ни было, держитесь за меня, и эта гордая богиня, великолепный образчик женского пола, моя супруга — Юнона (была такая богиня, к вашему сведению), да и никто на свете не причинит вам вреда. Но во всем этом, как видно, надо разобраться. Если сопоставить

кое-какие факты, то выходит, что это дельце как раз по мне.

V

— Какой у меня сегодня вид, Лидди? — спросила Батшеба, в последний раз оправляя платье перед зеркалом.

— Замечательный! Давно такого не было. Да, сейчас я вам скажу, когда у вас был такой же вид, — это было в тот вечер, тому уж года полтора, когда вы налетели на нас как буря и разбранили за то, что мы судачили про вас и про мистера Троя.

— Наверное, все подумают, что я решила обворожить мистера Болдвуда, — прошептала Батшеба. — Во всяком случае, будут об этом толковать. Нельзя ли немного пригладить мои волосы? Ужасно не хочется мне идти… но боюсь, он будет в отчаянии, если я не приду.

— Что ни говорите, мэм, а уж скромней не нарядишься, разве что в мешковину. У вас потому такой замечательный вид, что вы ужас как волнуетесь.

— Не знаю, что со мной творится: то на меня нападет тоска, то вдруг становится безумно весело. Хотелось бы мне всегда жить одной, как прожила

я уже больше года, ни на что не надеяться, ничего но бояться, ничему не радоваться и не тужить.

— А вдруг мистер Болдвуд предложит вам… вдруг предложит бежать с ним — что вы ответите, мэм?

— Перестань, Лидди! — оборвала ее Батшеба. — Я не потерплю таких шуток! Слышишь?

— Прошу прощения, мэм! Мы, женщины, такой вздорный народ… сорвалось с языка… Но больше не буду.

— Еще много лет не может быть и речи о моем замужестве. А если я когда-нибудь и выйду замуж, то у меня будут на то свои причины, совсем не те, какие приписываешь мне ты и все остальные. А теперь подай мне плащ, пора отправляться.

VI

— Оук, — проговорил Болдвуд, — пока вы еще не ушли, я хочу сказать вам, о чем я размышлял последнее время, — это насчет нашего с вами соглашения о вашем участии в доходах фермы. Ваша доля прибыли невелика, даже совсем незначительна, если принять во внимание, как мало я теперь вникаю в хозяйство и как много времени и внимания уделяете ему вы. Так вот, теперь, когда жизнь как будто мне улыбается, я хочу это

отметить и увеличить вашу долю. Я составлю новый договор, который будет, по-моему, более справедливым, — сейчас не время об этом говорить, мы все обсудим с вами на досуге. Я решил совершенно отстраниться от управления фермой и буду только значиться участником в этом деле, а вы все возьмете на себя. А потом, если я женюсь на ней… а я надеюсь… я чувствую, что это будет… тогда…

— Зря вы говорите об этом, сэр, — живо остановил его Оук. — Мы не знаем, что еще нас ждет. Мало ли что может с нами стрястись. Как говорится, можно поскользнуться на каждом шагу… И я советую вам… вы уж меня извините… не слишком-то на это рассчитывать.

— Знаю, знаю. Но мне потому захотелось увеличить вашу долю, что я ближе узнал вас. Оук, я, кажется, разгадал вашу тайну: ваше чувство к ней посерьезнее, чем уважение управителя к хозяйке. Но вы вели себя как настоящий мужчина, и я в некотором роде ваш счастливый соперник… и отчасти обязан вам своим счастьем… так вот мне хотелось бы показать вам, что я высоко ценю вашу преданность и знаю, чего вам стоило от нее отказаться.

— Ничего мне не надо, благодарю вас, — по-

спешно сказал Оук. — Мне уже не привыкать стать, не я первый, не я последний.

С этими словами Оук вышел. Болдвуд внушал ему беспокойство, так как он лишний раз убедился, что, поддавшись своей страсти, фермер стал совсем другим человеком.

Некоторое время Болдвуд стоял в комнате один, уже одетый и готовый к приему гостей, казалось, его больше не заботило, как он выглядит, и им овладело торжественное настроение. Он повернулся к окну и стал смотреть на темные силуэты деревьев, смутно вырисовывавшиеся в небе, наблюдая, как сумерки постепенно сгущаются, переходя в ночную темноту.

Потом он подошел к стенному шкафу, отпер его, выдвинул внутренний ящик и вынул оттуда небольшой круглый футляр величиной с коробочку из-под пилюль. Он собирался было сунуть ее в карман, но внезапно открыл. Там лежало женское кольцо, все усыпанное брильянтами и, как видно, лишь недавно купленное. Болдвуд долго не отрывал глаз от сверкающих камней, хотя по выражению его лица заметно было, что он и не думает любоваться вещицей, а мысленно представляет себе, что ждет это кольцо в будущем.

Послышался стук колес, кто-то подъехал к

парадному крыльцу. Болдвуд закрыл футляр, заботливо спрятал его в карман и вышел на площадку лестницы. В этот миг внизу лестницы появился старик, его доверенный слуга.

— Гости прибыли, сэр, куча народу, — и пешком и на лошадях.

— Сейчас спущусь. Только что подъехал экипаж… Это не миссис Трой?

— Нет, сэр, она еще не приехала.

Едва Болдвуд произнес имя Батшебы, как лицо его помрачнело, но то была лишь жалкая попытка скрыть свои переживания. Спускаясь с лестницы, он нервно барабанил пальцами по карману, выдавая свое возбуждение.

VII

— Что, неплохо я замаскировался? — спросил Пенниуэйса Трой. — Я уверен, что теперь никому меня не узнать.

Он застегивал тяжелое серое пальто допотопного покроя с капюшоном; жесткий воротник был поднят и как забор окружал шею, подпирая дорожную шапку, нахлобученную на самые уши.

Пенниуэйс снял нагар со свечи и принялся оглядывать Троя.

— Так вы надумали отправиться туда? — спро-

сил он.

— Отправиться? Ну конечно.

— А почему бы вам не написать ей? Вы таки попали в переплет, сержант. И когда вы вернетесь, то знайте — все ваши штучки выплывут наружу, а ведь они не больно-то приглядные. Ей-богу, будь я на вашем месте, я так и остался бы одиноким парнем по имени Фрэнсис. Хорошая жена — дело неплохое, но лучше не иметь никакой жены, чем иметь самую лучшую. Так я полагаю, а про меня недаром говорят, что я малый с головой.

— Ерунда! — огрызнулся Трой. — У нее куча денег, и дом, и ферма, и лошади, и всякие там удобства, а я перебиваюсь с хлеба на воду — злополучный искатель приключений! Да и о чем тут толковать! Теперь уж поздно, и я этому рад. Сегодня днем меня видели и узнали. Я вернулся бы к ней на другой же день после ярмарки, если бы вы не запугивали меня законом и не давали дурацких советов насчет развода. Но я не стану больше откладывать. И дернуло же меня удрать от нее, черт подери! Идиотская сентиментальность — вот оно что! Но кто бы мог думать, что она захочет поскорей переменить фамилию!

— А я бы сразу смекнул. Этакая скверная женщина на все способна.

— Да кто вы такой, чтобы судить о ней, Пенниуэйс!

— Ладно, вот что я вам доложу, сержант: на вашем месте я опять махнул бы за границу, туда, откуда вы приехали, — уезжайте-ка, покуда еще не поздно! Не стал бы я поднимать бучу да нарываться на оскорбления ради удовольствия жить с ней, — ведь наверняка все узнают, что вы играли в балагане, хоть вы и надеетесь, что все сохранится в тайне. Бьюсь об заклад, поднимется переполох, ежели вы нагрянете в самый разгар болдвудского праздника.

— Хм, пожалуй, да. Уж конечно, он не слишком-то мне обрадуется, если она сейчас с ним, — сказал сержант с легким смешком. — Я окажусь в роли Алонсо Смелого. Когда я войду, гости оцепенеют от страха, смолкнет смех, замрет веселье, комната осветится зловещим огнем, и черви... Брр! Какой ужас! Пенниуэйс, позвоните, чтобы принесли еще бренди, — меня вдруг затрясло, да еще как! Да, чего еще не хватает? Трости! Мне нужна трость!

Пенниуэйс оказался в затруднительном положении: Батшеба и Трой могли помириться, и не мешало обеспечить себе поддержку мужа, чтобы повыситься в глазах жены.

— Иной раз мне сдается, что она все еще любит вас, и все ж таки у нее доброе сердце, — сказал он, пытаясь выкрутиться. — Ей-ей, трудно судить по наружности. Понятно, вы сделаете по-своему и пойдете туда, сержант, ну а я готов сделать все, что вы скажете.

— А ну-ка взгляните, который час, — проговорил Трой, залпом осушив стакан. — Половина седьмого. Я пойду не торопясь и буду там около девяти.

Глава LIII
Concurritur – Horae Momento[3]

Перед домом Болдвуда в темноте топталось несколько мужчин; они глядели на двери, которые по временам распахивались, пропуская гостя или слугу, тогда золотая полоска света пробегала по земле, и снова все кругом погружалось во мрак, только слабо, как светлячок, мерцал фонарь, висевший над дверями среди зеленых ветвей.

— Сказывал парнишка, что его видели нынче днем в Кэстербридже, — проговорил вполголоса один из мужчин. — И мне верится, что это правда. Вы же знаете, его тело так и не нашли.

— Чудна́я история! — отозвался другой. — Как пить дать, она ничего не знает об этом.

— Ясное дело.

— Может, ему и не желательно, чтобы она знала.

— Ежели он в живых и околачивается здесь по соседству, уж верно, задумал что-то недоброе, — продолжал первый. — Бедняжка, она еще совсем

---

[3] Примечания: 3

«Бой начался: чрез миг выпадет смерть иль победа» *(лат.)* (*Гораций.* Сатиры, 1, 1, 7–8).

молодая. Жалко мне ее, ежели это правда. Уж он разорит ее в пух и прах.

— Ну нет, теперь он наверняка остепенится, — вставил человек, настроенный более оптимистично.

— Нужно было быть дурой, чтобы связаться с этим малым! Она такая своевольная и самостоятельная, что ее не больно-то жалко, и скорее хочется сказать: «Так ей и надо!»

— Нет, нет! Тут ты не прав! Ведь она была тогда совсем молоденькой, где же ей было раскусить этого парня! Ежели правда все, что сказывают, то для нее это уж чересчур тяжелое наказание, не заслуживает она такого… Эй, кто там?

Окрик был вызван шумом приближающихся шагов.

— Уильям Смолбери, — раздалось в ответ, и поясная фигура выступила из темноты и приблизилась к ним. — Что за тьма нынче, хоть глаз выколи! Я чуть было не шагнул мимо доски, что положена через речку, — так и бухнул бы на дно! Сроду со мной такого не случалось. А вы кто такие будете — болдвудские работники? — Пришедший вглядывался в лица мужчин.

— Да. Мы только что сошлись здесь.

— А! Узнаю: это Сэм Сэмуэй. Голос-то вроде зна-

комый. Что ж, зайдемте?

— Сейчас войдем. Скажите, Уильям, — прошептал Сэмуэй, — довелось вам слышать эти чудны`е россказни?

— Какие? Что видели сержанта Троя? Вы об этом спрашиваете, друзья? — сказал Смолбери, тоже понизив голос.

— Ну да. В Кэстербридже.

— Как же, слыхал. Лейбен Толл только что мне на ухо шепнул… А вот как будто и сам Лейбен.

Совсем близко послышались шаги.

— Лейбен?

— Он самый, — откликнулся Толл.

— Слыхал еще что-нибудь новенькое?

— Нет, — отвечал Толл, подходя к работникам. — И думается мне, лучше нам помалкивать. Ежели все это враки, то мы только зря ее взбудоражим, а уж если это окажется правдой, то незачем раньше времени ее баламутить. Дай бог, чтобы это оказалось враньем. Хотя Генери Фрей, да и другие иной раз на нее и ворчат, сам я от нее ничего, кроме добра, не видывал. Она горяча и норовиста, но все-таки она славная девушка и нипочем не солжет, хотя бы правда была ей во вред, — и я ни за что не пожелаю ей зла.

— И впрямь, она не треплет языком попусту,

как другие женщины. Да, все, что она думает про тебя дурного, сразу в лицо тебе и выложит, нет у нее никакой задней мысли.

Некоторое время они постояли в молчании, каждый был занят своими думами; из дома доносились веселые голоса. Но вот парадная дверь вновь распахнулась, оттуда вырвался свет, и хорошо знакомая фигура Болдвуда появилась в ярком проеме; дверь затворилась, и Болдвуд тихонько пошел по дорожке.

— Хозяин... — прошептал один из работников, когда он приблизился к ним. — Давайте помолчим, он скоро воротится в дом. Ему, пожалуй, будет не по вкусу, что мы топчемся здесь.

Болдвуд прошел мимо работников, не замечая их, так как они стояли на полянке в тени кустов. Он остановился, оперся на ворота и глубоко вздохнул. Они услыхали, как он сказал вполголоса:

— Дай бог, чтобы она приехала, а не то этот праздник будет для меня сущей мукой. О мое сокровище, сокровище мое! Зачем ты заставляешь меня терзаться ожиданьем!

Он говорил сам с собой, но они расслышали каждое слово. Болдвуд замолк, и снова из дома донесся шум. Через несколько минут раздался стук колес легкого экипажа, спускавшегося с

холма. Подъехав, он остановился у ворот. Болдвуд бросился к дверям, распахнул их, и в полосе света стало видно, что по дорожке идет Батшеба.

Болдвуд подавил свое волнение и сдержанно приветствовал ее; работники услыхали ее легкий смех и извинения. Он пропустил ее в дом, и дверь захлопнулась.

— Боже милостивый, мне и невдомек, что с ним плохо дело, — сказал один из работников. — Мне думалось, эта блажь давно с него соскочила.

— Плохо же ты знаешь хозяина, — заметил Сэмуэй.

— Упаси бог, чтобы он узнал, что мы все слыхали, — проговорил третий.

— Жалко, что мы сразу не сказали ему про эти толки, — продолжал первый, явно встревоженный. — Может стрястись невесть какая беда. Бедняга мистер Болдвуд, солоно ему придется! Чтоб этому Трою!.. Прости меня, Господи, за этакое пожелание! Вот уж негодяй! Ишь какие штуки преподносит разнесчастной жене! Все пошло прахом в Уэзербери с тех пор, как он сюда пожаловал. Мне даже неохота в дом заходить. Заглянем-ка сперва на минутку к Уоррену, а, друзья?

Сэмуэй, Толл и Смолбери решили завернуть

к Уоррену и вышли за ворота, а остальные направились к дому. Вскоре трое приятелей приблизились к солодовне; свернув с дороги, они прошли по фруктовому саду. Оконце светилось, как всегда. Сэмуэй немного опередил остальных. Внезапно он замер на месте и прошептал, обернувшись к спутникам:

— Тсс! Гляньте-ка!

Свет из оконца не растекался, как обычно, по увитой плющом стене, его заслонял какой-то предмет, находившийся у самого стекла. То была голова человека.

— Подойдем-ка поближе, — шепнул Сэмуэй, и они двинулись вперед на цыпочках. Теперь уже не было сомнений: это был Трой. Он стоял, прижавшись лицом к стеклу, и заглядывал в домик. Он не только подсматривал, но и с любопытством прислушивался к происходившему там разговору, — они узнали голос Оука и солодовника.

— Это он в ее честь закатил пир, разве не так? — прошамкал старик. — Хоть он и говорит, мол, праздную Рождество.

— Не знаю, право, — отозвался Оук.

— Так уж оно и есть. Дивлюсь я на фермера Болдвуда. Надо же было ему в его годы совсем потерять голову из-за женщины! А она-то и не

глядит на него.

Узнав Троя, приятели все так же бесшумно двинулись назад, шагая по фруктовому саду. Судьба Батшебы вот-вот должна была решиться: кругом только и толковали что о ней. Отойдя подальше, все трое непроизвольно остановились.

— Во мне все так и перевернулось, как я его увидал, — проговорил Толл, переводя дыхание.

— И у меня тоже, — подхватил Сэмуэй. — Как же нам теперь быть?

— Да наше ли это дело? — с сомнением пробормотал Смолбери.

— А как же не наше! Этакое дело всякого касается! — заявил Сэмуэй. — Ясно как день, хозяин сбит с толку, да и ей-то невдомек, и надобно сейчас же им сказать. Лейбен, ты лучше нас ее знаешь, пошел бы ты да потолковал с ней.

— Не гожусь я на такое дело, — взволнованно сказал Лейбен. — Мне думается, что уж если кому идти, то Уильяму. Потому как он старший.

— Не стану я в это встревать! — отрезал Смолбери. — Дело-то больно кляузное. Вот увидите, он сам к ней вот-вот нагрянет!

— Кто его знает! Ступай-ка ты, Лейбен.

— Что делать, уж пойду, — скрепя сердце согласился Толл. — А что мне сказать-то?

— Ты только вызови хозяина.

— Ну нет. Не стану я говорить с мистером Болдвудом. Ежели кому скажу, то только хозяйке.

— Делай как знаешь, — отозвался Сэмуэй.

Лейбен подошел к дверям. Когда он их распахнул, шум и гуд голосов выплеснулся наружу, как волна, набегающая на берег, — празднество происходило тут же, в холле, — и перешел в глухой рокот, едва дверь захлопнулась. Приятели напряженно ждали, глядя, как темные вершины деревьев покачиваются в небе и временами вздрагивают под легким ветерком; казалось, их интересовала эта картина, но на самом деле им было не до нее. Один из них принялся шагать взад и вперед, но вскоре остановился, почувствовав, что теперь не до прогулок.

— Думается, за это время Лейбен уже мог бы повидать хозяйку, — прервал молчание Смолбери. — Видно, она не пожелала с ним говорить.

Дверь отворилась. Из дома вышел Толл и направился к товарищам.

— Ну что? — спросили оба разом.

— Мне так и не пришлось вызвать ее, — запинаясь, пробормотал Толл. — Все стараются веселиться, да что-то у них не клеится, хотя есть все, что душе угодно. У меня, ей-богу, не хватило

духу окатить их холодной водой, хоть убей, не пойду на это!

— Знаете что, войдемте-ка мы все вместе, — мрачно сказал Сэмуэй, — может, я улучу минутку и перекинусь словечком с хозяином.

Все трое вошли в холл; это просторное помещение было убрано для приема гостей. Наконец начались танцы. Батшеба колебалась, не зная, оставаться ли ей или уйти; еще совсем недавно она была молоденькой девушкой, а теперь приходилось напускать на себя степенность, и это ее тяготило. По временам ей казалось, что никак не следовало приезжать сюда, потом ей приходило в голову, что это было бы очень жестоко с ее стороны. Наконец Батшеба выбрала нечто среднее, сказав себе, что пробудет около часа и незаметно ускользнет; с самого начала она твердо решила не танцевать, не петь и вообще не принимать участия в празднестве, оставаясь лишь зрительницей.

Когда намеченный ею час прошел в болтовне и разглядывании гостей, Батшеба шепнула Лидди, чтобы та не спешила уходить, а сама пошла одеваться в небольшую гостиную, украшенную, как и холл, падубом и плющом и ярко освещенную.

Комната была пуста, но не прошло и минуты,

как появился хозяин дома.

— Миссис Трой, надеюсь, вы не уезжаете? — сказал он. — Праздник только начинается.

— Прошу меня извинить, но я хотела бы уйти. — В голосе ее прозвучала тревога — она помнила о своем обещании и предвидела, о чем он сейчас заговорит. — Время еще не позднее, — прибавила она, — я пойду домой пешком, а Лидди и мой работник пусть возвращаются, когда им вздумается.

— Я уже давно ищу случая поговорить с вами, — сказал Болдвуд. — Вероятно, вы догадываетесь, о чем будет речь.

Батшеба молча опустила глаза.

— Вы даете мне его? — пылко спросил он.

— Что? — прошептала она.

— А, вы уклоняетесь! Я имею в виду обещание. Я не хочу вырывать его у вас и буду молчать о нашем сговоре. Только дайте мне слово! Вы же знаете, что это чисто деловое соглашение между двумя людьми, и тут нет речи о страсти. — Болдвуд сознавал, что он лжет, говоря так о себе, но он уже убедился, что иначе ему не подступиться к ней. — Обещание выйти за меня замуж через пять лет и восемь месяцев. Вы должны дать мне его!

— Чувствую, что должна, — проговорила Бат-

шеба, — ведь вы так настаиваете. Но ведь за это время я сильно изменилась… я несчастная женщина… и уже не та… не та…

— Вы по-прежнему прекрасны! — вырвалось у Болдвуда. Он сказал от чистого сердца, с глубоким убеждением, не допуская и мысли, что она могла воспринять это как грубую лесть и желание угодить ей.

Однако его слова не произвели особого впечатления, и она сказала вполголоса бесстрастным тоном, который доказывал, что она говорит правду:

— Я не испытываю никакого чувства. Я оказалась в трудном положении и, право, не знаю, как поступить, и мне не с кем посоветоваться. Но все же я даю слово, раз вы его требуете. Я смотрю на это как на уплату долга.

— Итак, вы выйдете за меня замуж через пять или шесть лет?

— Не будьте так настойчивы. Я не выйду ни за кого другого.

— Но вы должны назначить время, иначе какое же это обещание!

— Ах, я не знаю! Отпустите меня, пожалуйста! — взмолилась она, тяжело дыша. — Я боюсь поступить неправильно! Мне хотелось бы отдать

вам должное, но, если я это сделаю, я могу причинить себе вред и, может быть, нарушить заповедь. Есть основания сомневаться в его смерти, а если он жив, то я совершу ужасное преступление. Дайте мне посоветоваться с поверенным, мистер Болдвуд.

— Скажите, дорогая, эти желанные слова, и мы больше не будем касаться этого вопроса… Шесть лет блаженного жениховства, а затем свадьба… О Батшеба, скажите же! — умолял он хриплым голосом, больше не в силах разыгрывать из себя друга. — Обещайте, что вы будете моей, я заслуживаю этого, видит Бог, заслуживаю, ведь так, как я вас люблю, еще никто вас не любил! И если у меня тогда вырвались опрометчивые слова, если я так непозволительно погорячился, разговаривая с вами, то, поверьте мне, дорогая, я не хотел вас расстраивать, я был в смертельном отчаянии, Батшеба, и сам не знал, что говорю. Вы и собаку бы пожалели, если б она страдала, как я. Ах, если б вы знали о моих муках! Иной раз мне хочется от вас утаить все, что я пережил из-за вас, а иногда меня ужасает мысль, что вы никогда об этом не узнаете. Сжальтесь же надо мной и подарите мне эти крохи, ведь я готов умереть за вас!

Оборки платья, трепетавшие при свете свечей

у нее на груди, выдавали ее волнение; внезапно она залилась слезами.

— Но вы не будете… больше ничего… требовать от меня, если я скажу… через пять или шесть лет? — проговорила она сквозь рыдания, когда к ней вернулся дар речи.

— Да. Предоставим все времени.

— Хорошо. Я выйду за вас через шесть лет, начиная с сегодняшнего дня… если он не вернется и если мы будем живы, — торжественно сказала она.

— Примите же от меня в залог вот это!

Болдвуд подошел к ней совсем близко и, схватив ее руку обеими руками, прижал к своему сердцу.

— Что это? Ах, я не могу носить кольца! — воскликнула она, разглядев, что он держит в руке. — И потом, я не хочу, чтобы знали о нашей помолвке. Быть может, мы поступаем нехорошо. Да разве так совершается помолвка? Не настаивайте, мистер Болдвуд, не настаивайте!

Ей никак не удавалось вырвать у него свою руку, с досады она топнула ногой об пол, и глаза ее вновь наполнились слезами.

— Это простой залог… никаких чувств… печать, приложенная к деловому договору, — сказал он

уже спокойнее, но по-прежнему крепко сжимая ее руку. — Позвольте же мне… — И Болдвуд надел на ее палец кольцо.

— Я не могу его носить, — проговорила она, задыхаясь от рыданий. — Вы, право же, пугаете меня. Что за дикая выдумка! Отпустите, пожалуйста, меня домой!

— Только на этот вечер… Носите его только нынче вечером… сделайте мне удовольствие!

Батшеба опустилась на стул и закрыла глаза платком, а Болдвуд все еще не отпускал ее руки. Наконец она прошептала с безнадежным видом:

— Хорошо, я буду носить его сегодня, если вам так этого хочется. А теперь отпустите мою руку. Я буду, право же, буду носить его сегодня.

— Итак, начиная с сегодняшнего дня, я буду шесть лет вашим тайным счастливым женихом, а потом — свадьба?

— Пусть будет так, раз вы этого хотите, — сказала она, чувствуя, что больше не в силах сопротивляться.

Болдвуд крепко сжал ее руку, потом отпустил, и рука бессильно упала на колени.

— Теперь я счастлив, — заявил он. — Да благословит вас Господь!

Он вышел из комнаты, и через некоторое вре-

мя, когда она, по его расчетам, должна была успокоиться, послал к ней служанку. Батшеба, оправившись после недавно пережитой бурной сцены, вместе с девушкой спустилась с лестницы уже в шляпе и плаще, собираясь отправиться домой. Чтобы добраться до дверей, надо было пересечь весь холл; на минуту она остановилась на нижней ступени лестницы и в последний раз оглядела сборище.

Музыка замолкла, и танцы прекратились. В дальнем конце холла, отведенном для прислуги, несколько мужчин о чем-то перешептывались с тревожным видом. Стоявший у камина Болдвуд был так поглощен мечтами о будущем, воскресшими после полученного им обещания, что почти ничего не видел вокруг, но все же он чувствовал на себе их взгляды.

— О чем это вы беспокоитесь, друзья? — спросил он.

Один из них повернулся к нему и отвечал неуверенно:

— Да тут Лейбену кое-что довелось услыхать, только и всего, сэр.

— Новости? Кто-нибудь женился? или помолвлен? родился? или умер? — шутливым тоном спросил фермер. — Скажите-ка нам, в чем дело,

Толл? А то по вашему таинственному виду и перешептываниям можно подумать, что стряслось что-то ужасное.

— Да нет, сэр, никто не помер, — отвечал Толл.

— Жаль, что не помер… — прошептал Сэмуэй.

— О ком это вы, Сэмуэй? — уже с некоторым раздражением спросил Болдвуд. — Если у вас есть что сказать, то говорите. Если нет, начинайте следующий танец.

— Миссис Трой спустилась в холл, — обратился Сэмуэй к Толлу. — Ежели хочешь ей сказать, то говори скорей.

— Знаете вы, в чем тут дело? — спросил фермер Батшебу с другого конца холла.

— Понятия не имею, — отвечала Батшеба.

Раздался резкий стук в дверь. Один из работников тотчас же отворил и вышел наружу.

— Тут спрашивают миссис Трой, — доложил он, вернувшись.

— Я уже готова, — ответила Батшеба. — Хотя я и не велела присылать за мной.

— Это какой-то незнакомец, мэм, — сказал работник, стоявший у дверей.

— Незнакомец? — удивилась она.

— Попросите его войти, — приказал Болдвуд.

Приглашение было передано, и в дверях по-

явился Трой, лицо его было закрыто до самых глаз.

Воцарилось гробовое молчание, все уставились на вошедшего. Люди, слыхавшие, что Трой обретается по соседству, сразу его узнали, остальные находились в недоумении. Никто не обращал внимания на Батшебу. Она оперлась на перила. Мертвенно-бледная, нахмурив брови и полуоткрыв рот, она впилась глазами в пришельца.

Однако Болдвуд не узнал Троя.

— Входите, входите, незнакомец, — радушно повторял он, — и выпейте с нами рождественский кубок!

Трой прошел на середину холла, снял шапку, отвернул воротник и посмотрел Болдвуду прямо в лицо. Но даже теперь Болдвуд не узнал того, кто являлся олицетворением жестокой иронии судьбы, кто уже однажды разбил его счастье, издевался над ним, похитил его радость, а теперь снова явился его терзать. Трой рассмеялся каким-то металлическим смехом — и только тогда Болдвуд узнал его.

Трой обернулся к Батшебе. Невозможно описать состояние, в каком находилась несчастная женщина. Она опустилась на нижнюю ступеньку лестницы, губы у нее посинели и пересохли, ши-

роко раскрытыми, потемневшими глазами она смотрела на мужа, словно спрашивая себя, уж не страшная ли галлюцинация все это.

Тут Трой заговорил:

— Батшеба, я пришел за вами!

Она ничего не ответила.

— Идем со мной домой! Идем!

У Батшебы дрогнули ноги, но она не поднялась.

Трой подошел к ней.

— Идемте, сударыня! Слышите, что я сказал? — повелительно бросил он.

От камина донесся какой-то странный глухой звук, казалось долетавший из глубокого каземата. Никто бы не узнал голоса Болдвуда, так изменило его отчаяние.

— Батшеба, идите со своим мужем!

И все же она не шевельнулась. Батшеба находилась в полной прострации, хотя и не лишилась чувств. Ее состояние можно было бы назвать психической gutta serena[4], рассудок ее полностью помрачился, хотя со стороны это не было заметно.

Трой протянул руку, собираясь привлечь ее к

---

[4] Примечания: 4

Потеря зрения при отсутствии видимых изменений в глазу *(лат.).*

себе, но она резко отшатнулась. Увидав, что он внушает ей ужас, Трой со злобой схватил ее руку и сильно дернул. То ли он причинил ей боль, то ли его прикосновение было невыносимо (это так и осталось неизвестным), но она попыталась вырваться и издала короткий слабый крик.

В тот же миг раздался оглушительный выстрел, и эхо прокатилось по холлу. Все оцепенели. Внутренняя дубовая стена дрогнула от взрыва, и комната заволоклась серым дымом.

Ошеломленные гости оглянулись на хозяина. За спиной Болдвуда, у камина, как обычно на фермах, стояли ружейные козлы, рассчитанные на два ружья. Когда Батшеба вскрикнула, вырываясь из рук мужа, искаженное отчаянием лицо Болдвуда вдруг изменилось. На лбу вздулись жилы, в глазах вспыхнул огонь безумия. Он быстро повернулся, схватил ружье, взвел курок и выстрелил в Троя.

Трой упал. Мужчины стояли так близко друг от друга, что заряд дроби не успел разлететься, но пронзил Троя, как пуля. Трой издал долгий гортанный стон, скорчился, потом вытянулся, все мускулы расслабли, и он затих.

Сквозь дым было видно, что Болдвуд снова возится с ружьем. Оно было двуствольное, и ему

удалось каким-то образом привязать свой носовой платок к курку; наступив ногой на другой конец платка, он наводил на себя второе дуло. Все оцепенели от ужаса; работник Болдвуда Сэмуэй первым заметил, что затевает хозяин, и бросился к нему. Тут Болдвуд дернул за платок, и ружье снова выстрелило, но Сэмуэй успел толкнуть хозяина, и весь заряд угодил в балку на потолке.

— Что ж, все равно! — выдохнул Болдвуд. — Меня ждет другая смерть.

Он вырвался из рук Сэмуэя, подошел к Батшебе и поцеловал ей руку. Потом надел шляпу, распахнул дверь и вышел в темноту, — никому не пришло в голову его остановить.

Глава LIV
После удара

Выйдя на большую дорогу, Болдвуд повернул в сторону Кэстербриджа. Он шел ровным, твердым шагом, перебрался через Иелберийский холм, миновал безлюдную равнину, поднялся на Меллстокский холм и между одиннадцатью и двенадцатью часами пересек поросшее вереском поле и вошел в город. В этот час улицы были почти безлюдны, и в колеблющемся свете фонарей виднелись лишь ряды серых ставней на окнах лавок да белела полоса тротуара, на плитах гулко отдавались его шаги. Он свернул направо и, подойдя к тяжелому каменному зданию, остановился у сводчатых, окованных железом ворот. То был вход в тюрьму. Над воротами висел фонарь, при его свете злополучный путник разглядел ручку звонка.

Наконец отворилась дверца, и появился привратник. Болдвуд шагнул вперед и глухо проговорил несколько слов. Через некоторое время пришел еще один человек. Болдвуд вошел во двор, дверца захлопнулась за ним, и он простился

со свободой.

Весть об ужасном событии, завершившем празднество Болдвуда, уже распространилась по всей округе, вызывая смятение среди жителей Уэзербери. Из тех, кто не был в доме, Оук едва ли не первым услыхал о катастрофе; минут через пять после ухода Болдвуда он вошел в холл и увидел поистине страшную картину. Все гости женского пола сбились в кучу и жались к стенам, как овцы в бурю, а мужчины растерянно топтались, не зная, что предпринять. Между тем в Батшебе произошла резкая перемена; теперь она сидела на полу возле тела Троя, положив его голову себе на колени. Одной рукой она прижимала носовой платок к его груди, прикрывая рану, откуда не вытекло ни капли крови, а другой крепко сжимала его руку. Всеобщее смятение привело ее в себя. Временное оцепенение прошло, и проснулась энергия, как только явилась необходимость действовать. В повседневности редко можно встретить проявления душевной стойкости, которую восхваляют философы, и все были поражены мужеством Батшебы, — сейчас она проводила в жизнь свою философию, да она и всегда осуществляла то, что находила нужным. У нее в жилах текла та же кровь, что и у женщин, которые ста-

новились матерями великих людей. Такие, как она, способны породить на свет замечательных представителей рода человеческого, которых недолюбливают на званых обедах, побаиваются в учреждениях и превозносят в критические моменты истории. Трой, покоившийся на коленях у жены, теперь был центром картины.

— Габриэль, — сказала она каким-то мертвым голосом, когда он вошел, и повернула к нему лицо, которое почти нельзя было узнать — так оно осунулось и побледнело, — сейчас же поезжайте в Кэстербридж за врачом. Кажется, это бесполезно, но все-таки поезжайте. Мистер Болдвуд застрелил моего мужа.

Она рассказала о происшедшем простыми, спокойными словами, но они были сильнее любой трагической декламации и как-то отрезвили всех присутствующих. Еще ни в чем не разобравшись, уловив лишь общий смысл события, Оук выбежал из дому, оседлал коня и поскакал. Он проехал уже больше мили, когда ему пришло в голову, что лучше было бы послать с этим поручением кого-нибудь другого, а самому остаться дома. Куда девался Болдвуд? За ним нужно было следить. Уж не помешался ли он? Или произошла ссора? Как попал Трой в Уэзербери? Откуда он явился?

Чем объяснить удивительное возвращение этого человека, которого многие считали утонувшим? Он был отчасти подготовлен к встрече с Троем, так как чуть ли не у самого дома Болдвуда услыхал о его возвращении; но не успел он обдумать это известие, как его оглушила катастрофа. Во всяком случае, теперь было поздно посылать другого гонца; он продолжал скакать, поглощенный этими волнующими мыслями, и даже не заметил, как милях в трех от Кэстербриджа обогнал широкоплечего пешехода, шагавшего вдоль темной изгороди в том же направлении, куда спешил и он.

До Уэзербери было не так близко, к тому же ехать приходилось в поздний час, в темноте, и прошло более трех часов после выстрела, когда врач, мистер Олдрич, переступил порог дома Болдвуда. Оуку пришлось еще задержаться в Кэстербридже, так как необходимо было оповестить представителей власти о печальном событии; тут он узнал, что Болдвуд явился в город и сам отдал себя в руки правосудия.

Войдя в безлюдный холл, врач очутился в полной темноте. Он прошел дальше и обнаружил в кухне старика, которого и начал расспрашивать.

— Она взяла его к себе в дом, сэр, — отвечал

слуга.

— Кто взял? — спросил доктор.

— Миссис Трой. Он был уже мертвый, сэр.

Это сообщение ошеломило врача.

— Она не имела права так поступать, — заявил он. — Будет произведено следствие, и она должна была с этим подождать.

— Да, сэр. Ей так и сказывали, что лучше бы подождать, покуда все сделают, как положено по закону. А она и говорит, ей, мол, нету дела до закона и до всех следователей на свете, и она не позволит, чтобы тело ее любимого мужа валялось на полу и люди глазели на него.

Мистер Олдрич тотчас же поднялся на холм к особняку Батшебы. Прежде всего он увидел жалкую фигурку Лидди, она вся как-то съежилась и стала еще меньше за несколько часов.

— Что тут сделали? — спросил доктор.

— Не знаю, сэр, — отвечала она, всхлипывая. — Моя хозяйка все делала сама.

— Где она?

— Наверху. С ним, сэр. Когда его внесли в дом, она сказала, что ей больше не нужна помощь мужчин. А потом кликнула меня и наказала налить воды в ванну и велела мне: ложись спать, потому как у тебя совсем больной вид. Тут она

заперлась в комнате одна с ним и никого из нас не пустила к себе. Но мне подумалось: подожду-ка я в соседней комнате, может, я ей понадоблюсь. Я слышала, как она больше часу ходила взад и вперед по комнате; только один раз она вышла и спросила свечей, потому как они догорели у нее до самых подсвечников. Она велела сказать ей, когда придете вы, сэр, либо мистер Сэрдли.

Тут вошел Оук с пастором; вслед за Лидди Смолбери трое мужчин поднялись по лестнице и остановились на площадке; кругом было тихо, как в могиле. Лидди постучала, и они услышали шелест платья Батшебы, ключ повернулся в замке, и дверь отворилась. Лицо у нее было спокойное и немного суровое; она напоминала ожившую статую Мельпомены.

— Ах, мистер Олдрич, наконец-то вы приехали, — произнесла она одними губами и широко распахнула дверь. — А вот и мистер Сэрдли. Все уже сделано, и теперь кто угодно может его видеть.

Она прошла мимо них через площадку и исчезла в другой двери.

Заглянув в комнату, где царила смерть, они увидели при свете свечей, горевших на комоде, лежащую в глубине спальни длинную прямую

фигуру, закутанную в белое. Все вокруг было в полном порядке. Доктор вошел и через несколько минут вернулся на площадку, где его поджидали Оук и пастор.

— В самом деле, все сделано, как она сказала, — проговорил мистер Олдрич. — Покойник переодет и лежит, как полагается, в саване. Боже милостивый! Такая девочка! Да у нее, должно быть, душа стоика!

— Всего лишь сердце жены, — прошелестело у них за спиной. Все трое обернулись, перед ними стояла Батшеба. И тут же, словно доказывая, что до сих пор она держалась лишь силой воли, она молча опустилась на пол к их ногам. Казалось, на полу темнел лишь неясный ворох одежды. Стоило ей осознать, что больше не требуется нечеловеческого напряжения, и силы ее окончательно покинули.

Ее отнесли в смежную комнату, и медицинская помощь, уже бесполезная для Троя, оказалась весьма нужной для Батшебы, которая то и дело теряла сознание; некоторое время ее здоровье внушало серьезные опасения. Больную уложили в постель. Узнав от доктора, что она уже вне опасности, Оук удалился. Лидди дежурила в комнате Батшебы и в долгие, томительные часы этой зло-

получной ночи слышала, как стонала ее хозяйка и глухо шептала:

— Ах, это я во всем виновата!.. Разве я могу жить?.. О Боже, разве я могу жить?..

Глава LV
Март следующего года. «Батшеба Болдвуд»

Перенесемся на несколько месяцев вперед и представим себе ветреный мартовский день: ни солнца, ни мороза, ни снега. На Иелберийском холме, примерно на половине пути между Уэзербери и Кэстербриджем, там, где большая дорога проходит по самому гребню, столпилось множество людей, почти все смотрели вдаль, в северном направлении. Тут были и зеваки, и группа копьеносцев, и двое трубачей, посреди дороги стояли кареты, в одной из них восседал главный шериф. Среди зевак, которые взобрались на верх откоса, образовавшегося при прокладке дороги, было несколько мужчин и подростков из Уэзербери, в том числе Пурграс, Когген и Каин Болл.

Через полчаса в той стороне, куда были устремлены все взоры, показалось легкое облачко пыли, и вскоре дорожная карета, принадлежавшая одному из двух судей Западного округа, поднялась на холм и остановилась на вершине. Судья пересел в другую карету, трубачи, раздувая щеки,

заиграли туш; затем экипаж, копьеносцы и народ торжественной процессией двинулись к городу; одни уэзерберийцы, проводив судью, отправились домой, на работу.

— Джозеф, я видел, как ты протиснулся к самой карете, — сказал Когген, шагая по дороге. — Ухитрился ты разглядеть лицо лорда судьи?

— Ну да, — отвечал Пурграс — Я так и впился в него глазами, заглянуть ему в душу хотел, и в его глазах я увидел милосердие, верней сказать, в глазу, что был с моей стороны, — не дай бог солгать в этакую торжественную минуту!

— Что ж, будем надеяться на лучшее, — заявил Когген, — хоть покамест дела идут из рук вон плохо. А уж я не пойду на суд, да и другим, кого туда не вызывают, ходить не советую. Ему будет страсть не по себе, ежели он увидит, что на него глазеют, будто на какое-то чудище.

— Я это самое и говорил нынче утром, — заметил Джозеф. — «Явилось правосудие, и оно взвесит его преступление на своих весах, — сказал я по зрелом размышлении, — и ежели его вина перетянет, то пускай он примет кару!» Рядом стоял сосед, он и говорит: «Слушайте! Слушайте! Стоит послушать человека, что так здорово рассуждает». Но не о чем тут толковать!

Много ли я сказал? Два-три слова. А вот про иных людей говорят, что у них особый дар речи.

— Верно, Джозеф. Так вот, друзья, лучше останемся мы дома.

Все согласились с этим решением и на следующий день с трепетом ждали новостей. Однако днем было сделано открытие, которое слегка разрядило атмосферу и совершенно по-новому осветило поведение и душевное состояние Болдвуда.

Все близко знавшие его наблюдали, что, начиная с гринхиллской ярмарки и до рокового сочельника, он находился в крайне возбужденном состоянии, но никто не подозревал, что у него проявлялись симптомы душевного заболевания; только Батшебе и Оуку в известные моменты приходила мысль о его психическом расстройстве. Теперь в запертом шкафу обнаружили целый ряд необычных вещей. Несколько отрезов на дамские платья — всякие дорогие материалы, шелк, атлас, поплин и бархат тех цветов, какие, судя по стилю нарядов Батшебы, могли прийтись ей но вкусу. Две муфты — соболья и горностаевая. А главное — ящичек с драгоценностями, где находились четыре массивных золотых браслета, несколько медальонов и колец высокой пробы и

превосходной работы. Эти вещи время от времени покупались в Бате и других городах и тайком привозились домой. Все они были тщательно завернуты в бумагу, и на каждом свертке стояло «Батшеба Болдвуд», а также год и число — на шесть лет вперед.

Об этих трогательных проявлениях чувства у человека, помешавшегося от любви и тяжелых переживаний, и шла речь в солодовне Уоррена, когда Оук вернулся из Кэстербриджа с известием о приговоре. Дело было к вечеру, и лицо Оука, когда на него упали отблески печи, красноречиво обо всем поведало: Болдвуд, как от него и ожидали, признал свою вину и был приговорен к смертной казни.

Между тем все шире распространялось убеждение, что в последние месяцы Болдвуда нельзя было считать морально ответственным за его поступки. Факты, установленные еще до суда, неоспоримо это доказывали, однако на суде они не были признаны достаточно вескими, даже не нашли нужным исследовать умственные способности Болдвуда. Но теперь, когда у него стали предполагать душевное расстройство, начали припоминать необычайное множество случаев, все эти факты можно было объяснить только его

сумасшествием, — хотя бы взять проявленную им прошлым летом неслыханную небрежность в отношении хлебных стогов.

Министру внутренних дел было направлено ходатайство, где излагались факты, на основании которых, по-видимому, можно было хлопотать о пересмотре приговора. Правда, на этой бумаге, против обыкновения, не было «многочисленных подписей» жителей Кэстербриджа, так как у Болдвуда почти не имелось друзей из числа лавочников. Лавочники считали, что человек, покупающий все необходимое у себя в деревне, подрывает благосостояние целого края, ибо Господь создал села, дабы поставлять городам покупателей, и такой человек, естественно, плохо разбирается в десяти заповедях. В роли просителей выступило несколько сострадательных людей, принявших, быть может, слишком близко к сердцу недавно обнаруженные факты; после этого ходатайства стали собирать свидетельские показания, и можно было надеяться, что с точки зрения моральной ответственности преступление будет рассматриваться не как преднамеренное убийство, а как проступок, совершенный в состоянии умопомешательства.

В Уэзербери с тревогой и напряжением ждали

результатов ходатайства. Приговор должны были привести в исполнение в субботу в восемь часов утра, через две недели после суда, а в пятницу к вечеру еще не было получено ответа. Как раз в это время Габриэль вышел из здания кэстербриджской тюрьмы, куда он ходил прощаться с Болдвудом, и свернул на боковую улицу, чтобы не проходить через центр города. Миновав последний дом, он услыхал стук молотков, поднял голову и оглянулся назад. Над трубами домов вставало здание тюрьмы, ярко освещенное заходящим солнцем; перед входной аркой двигались какие-то фигуры. Это плотники устанавливали вертикально столб на обнесенной перилами площадке. Оук быстро отвел глаза и ускорил шаг.

Уже стемнело, когда он добрался до Уэзербери. Чуть ли не половина поселян была на ногах, все ожидали его.

— Ничего нового, — устало проговорил Габриэль. — Боюсь, что уже нету надежды. Я пробыл с ним больше двух часов.

— Так вы думаете, он и впрямь был не в своем уме, когда сделал такое? — спросил Смолбери.

— Сказать по правде, я так не думаю, — отвечал Оук. — Но об этом потолкуем после. Что с хозяйкой? Никаких перемен за нынешний день?

— Никаких.

— Она внизу?

— Нет. А ведь она уже начала было поправляться. Ну а теперь все насмарку, — у нее почти такой же вид, как на Рождество. То и дело спрашивает, не вернулись ли вы, не слыхать ли чего нового, — так что мы устаем отвечать. Пойти сказать, что вы пришли?

— Нет, — отвечал Оук. — Есть еще слабая надежда, но я больше не мог оставаться в городе, повидался с ним и отправился домой… Вот Лейбен… Лейбен здесь?

— Здесь, — отвечал Толл.

— Я уговорился, что поздно вечером вы съездите в город. Отправляйтесь в девять часов и ждите там известий; вы воротитесь часам к двенадцати. Ежели ничего не будет получено к одиннадцати часам, то, говорят, больше не остается надежды.

— Я все-таки надеюсь, что его помилуют, — сказала Лидди. — А если нет, она тоже помешается. Бедняжка! До чего она страдает! Ну как ее не пожалеть!

— Что, она сильно переменилась? — спросил Когген.

— Если вы не видели бедненькой хозяйки с Рождества, то вам ее нипочем не узнать, — от-

вечала Лидди. — Глаза у нее такие печальные, ну совсем другая женщина. Еще два года назад она была этакой веселой, резвой девушкой, — а теперь что с нею сталось!

Лейбен поскакал в город, и часов до одиннадцати поселяне бродили взад и вперед по кэстербриджской дороге, ожидая его возвращения, среди них был Оук и почти все работники Батшебы. Габриэль, высоко ценивший достоинства фермера, от всей души желал, чтобы Болдвуду даровали жизнь, хотя в глубине его сознания гнездилась мысль, что он должен умереть. Наконец, когда все уже утомились, издали донесся топот коня.

Раздался глухо стук копыт.
Все ближе, громче он звучит.
Во весь опор гонец летит.

— Сейчас мы узнаем, что бы там ни было, — сказал Когген.

Стоявшие на насыпи спустились на дорогу — и всадник врезался в группу людей.

— Это вы, Лейбен? — спросил Габриэль.

— Я… Получено… Он не умрет. Заменено заключением на срок, какой будет угоден ее величеству.

— Урра! — гаркнул Когген от избытка чувств. — Бог все-таки сильней дьявола!

Глава LVI
Красавица в одиночестве. После всего

С наступлением весны Батшеба начала оживать. Прострация, в какой она находилась после изнурительной лихорадки, стала заметно ослабевать, когда окончательно рассеялась всякая неопределенность.

Но большую часть времени она оставалась в одиночестве, сидела дома или в лучшем случае выходила в сад. Она избегала людей, даже Лидди, ни с кем не была откровенна и не искала сочувствия.

Однако лето шло вперед, она стала все больше времени проводить на свежем воздухе и начала по необходимости вникать в хозяйственные дела, хотя никогда не выезжала, как прежде, на место работ и сама ничем не распоряжалась. Однажды в августе, в пятницу вечером, она решила немного прогуляться по дороге и вошла в селение — в первый раз после рокового события, случившегося на Рождество. В ее лице не было ни кровинки, глубокий траур подчеркивал мраморную бледность, которая казалась прямо сверхъестественной.

Дойдя до лавки, находившейся на краю селения почти против кладбища, Батшеба услышала голоса, доносившиеся из церкви, и догадалась, что там происходит спевка. Она перешла через дорогу, открыла калитку и вошла на кладбище. Окна в церкви были расположены так высоко, что стоявшие внутри певчие никак не могли ее увидеть. Она тихонько проскользнула в тот уголок кладбища, где в свое время трудился Трой, сажая цветы на могиле Фанни Робин, и остановилась у мраморного надгробия.

Когда она прочла всю надпись до конца, взгляд ее оживился, и какое-то тихое удовлетворение разлилось по ее лицу. Сперва шли слова самого Троя:

Поставлен Фрэнсисом Троем
в память дорогой его сердцу
Фанни Робин,
умершей 9 октября 18…
в возрасте 20 лет.

Под ними стояла свежевысеченная надпись:

В той же могиле покоятся останки
Фрэнсиса Троя,
умершего 24 декабря 18…

в возрасте 26 лет.

Пока она стояла, читая и размышляя, из церкви долетели звуки органа. Она обогнула храм, легкими шагами вошла под портик и стала слушать. Двери были заперты, певчие разучивали новый гимн. В душе Батшебы вдруг пробудились чувства, которые долгое время она считала умершими. Высокие, приглушенные голоса детей четко выводили слова, непонятные им и не доходившие до их сознания.

Веди, блаженный свет, сквозь мрак земной,

Веди меня!..

Батшеба, как и большинство женщин, всегда до известной степени поддавалась настроению. Клубок подкатился у нее к горлу, слезы подступили к глазам, и она почувствовала, что сейчас заплачет. И вот слезы полились, полились безудержно, и одна слеза упала на каменную скамью возле нее. Заплакав, сама не зная отчего, она уже не могла остановиться из-за нахлынувших на нее слишком знакомых мыслей. Она отдала бы все в мире, чтобы стать такой, как эти дети, не вникавшие в смысл гимна, невинные существа, которым

не приходилось переживать подобных чувств. Все окрашенные страстью сцены ее недавнего прошлого в эту минуту ожили перед нею, даже картины, в которых не участвовало чувство, теперь ее волновали. И все же горе пришло к ней скорее как щедрый дар, чем как бич, карающий за былое.

Батшеба сидела, закрыв лицо руками, и не заметила человека, который неспешно вошел под портик; увидев ее, он сделал движение, как бы собираясь удалиться, потом остановился и стал на нее смотреть. Некоторое время Батшеба не поднимала головы, а когда поглядела вокруг, лицо у нее было мокрое, а глаза затуманены слезами.

— Мистер Оук, — воскликнула она в замешательстве. — Вы давно здесь?

— Только что пришел, мэм, — почтительно отвечал Оук.

— Вы идете в храм? — спросила Батшеба, и тотчас же из церкви донеслось, словно из суфлерской будки:

Я возлюбил веселье, и гордыня
Владела мной. Забудь об этом ныне!..

— Да, — ответил Оук. — Я, видите ли, пою в хоре партию басов. Пою уже несколько месяцев.

— Вот как. А я и не знала. В таком случае я уйду.

Я потерял предмет любви своей, —

пели дети.

— Я не хочу вас прогонять, хозяйка. Пожалуй, нынче я не пойду на спевку.

— Да нет, вы меня вовсе не гоните.

Они стояли друг против друга в замешательстве. Батшеба попыталась незаметно вытереть слезы с пылающего лица.

Но Оук сказал:

— Я не видел вас… то бишь не говорил с вами уже очень давно… — И тут же, опасаясь пробудить в ней горестные воспоминания, переменил тему: — Вы тоже хотели зайти в церковь?

— Нет, — отвечала она, — я пришла сюда одна взглянуть на памятник: так ли вырезали надпись, как я хотела. Мистер Оук, не будем говорить о том, что у нас обоих сейчас на уме.

— А они сделали надпись, как вам хотелось? — спросил Оук.

— Да. Пойдемте, посмотрите сами, если вы еще не видели.

Они пошли вместе к могиле и прочитали надпись.

— Уже восемь месяцев! — прошептал Габриэль, взглянув на дату. — Мне сдается, все это было вчера.

— А мне — будто это случилось много лет назад и будто все эти долгие годы я пролежала в могиле. Ну а теперь я пойду домой, мистер Оук.

Оук направился вслед за ней.

— Я все собираюсь с вами поговорить, — начал он неуверенным тоном. — Об одном деле. Если позволите, я, пожалуй, сейчас скажу.

— Ну конечно.

— Дело в том, что вскорости мне, пожалуй, придется отказаться от управления вашей фермой, миссис Трой. Видите ли, я подумываю о том, чтобы уехать из Англии… понятно, не сейчас, а будущей весной.

— Уехать из Англии! — воскликнула она в изумлении, огорченная до глубины души. — Что такое, Габриэль? Почему вы это задумали?

— Мне думается… так оно будет лучше, — запинаясь, сказал Оук. — Калифорния — вот место, где мне хотелось бы попытать счастья.

— Но ведь все говорят, что вы возьмете в аренду ферму бедного мистера Болдвуда?

— Мне предоставили на это право, но покамест еще ничего не решено, и, должно быть, я от

этого отступлюсь. Я доработаю там этот год как управитель, а потом передам ферму опекунам — только и всего.

— Что же я буду делать без вас? Ах, Габриэль, мне кажется, вам не следует уезжать. Вы так долго прожили у меня… были со мной и в счастливые времена, и в тяжелые… Мы с вами такие старые друзья, и, право же, это нехорошо с вашей стороны. Я думала, что, если вы даже арендуете ту ферму, вы все-таки будете немного присматривать за моей. И вдруг вы уезжаете!

— Да я охотно бы присматривал…

— И вы уезжаете как раз теперь, когда я в таком беспомощном положении!

— Вот в этом-то и загвоздка, — уныло проговорил Габриэль. — Как раз через эту самую беспомощность мне и приходится уезжать. До свидания, мэм, — добавил он, явно желая положить конец разговору. И он зашагал по дорожке, уходя с кладбища. Она за ним не последовала.

Батшеба направилась домой, обдумывая печальное известие. Эта новость огорчила ее, но не была смертельным ударом, пожалуй, даже она была ей на пользу, ибо отвлекла от непрестанно обуревавших ее мрачных мыслей. Теперь она стала часто думать об Оуке, который начал ее

избегать; тут ей вспомнилось несколько случаев, имевших место за последнее время, довольно-таки заурядных, но в совокупности доказывавших явное нежелание Оука общаться с ней. Под конец она с душевной болью осознала, что ее старинный приверженец отступился от нее и собирается бежать. Человек, всегда веривший в Батшебу и ратовавший за нее, когда все были против, в конце концов устал, ему, как и всем остальным, надоело возиться с нею, и он решил предоставить ей одной бороться с жизнью.

Прошло три недели; Батшеба все больше убеждалась, что Оук перестал проявлять к ней интерес. Она заметила, что, заходя в маленькую гостиную или контору, где велось счетоводство по ферме, он не поджидает ее и не оставляет посланий, как он это делал во время ее добровольного заточения; Оук не заглядывал туда, когда мог ее застать, и являлся в самое неурочное время, когда она никак не могла оказаться в этой части дома. Если ему нужно было получить распоряжения, он присылал кого-нибудь или же оставлял краткую записку без обращения и без подписи, и ей приходилось отвечать в таком же официальном тоне. Бедная Батшеба начала испытывать острое, мучительное чувство обиды, видя, что ее

презирают.

В таких грустных размышлениях уныло прошла осень и наступило Рождество, — закончился год законного вдовства Батшебы и два с четвертью года ее одинокой жизни. Заглядывая себе в сердце, она с крайним изумлением обнаружила, что ее больше не волнуют мысли о происшествии, которое должно было бы особенно вспоминаться в эти дни, — о катастрофе в холле Болдвуда; напротив, ее терзает сознание, что все неизвестно почему отвернулись от нее, и во главе враждебной клики стоит Оук. В этот день, возвращаясь из церкви, она оглядывалась по сторонам, надеясь, что ее, как прежде, поджидает на дорожке Оук, чей бас бесстрастно звучал с хоров, раскатываясь по всей церкви. Вот он идет, как всегда, по дорожке позади нее. Но, увидав, что Батшеба обернулась, он отвел глаза, а когда вышел за ограду, то, уклоняясь от встречи, направился в противоположную сторону и скрылся из виду.

На следующее утро она получила сокрушительный удар, которого, впрочем, давно ожидала. В письме он официально ее уведомлял, что не будет возобновлять с ней договора в день благовещения.

Батшеба сидела и горько плакала над этим

письмом. Ее приводила в уныние и ранила мысль, что Габриэль вдруг исцелился от своей безнадежной любви и так резко это высказал, — а ведь она считала, что имеет какие-то права на его привязанность. Вдобавок ей было страшно думать, что теперь придется опять рассчитывать только на самое себя; ей казалось, что будет не по силам ездить на рынок, торговаться и продавать. После смерти Троя Оук бывал вместо нее на всех базарах и ярмарках и вел ее дела наряду со своими. Что же теперь ей предпринять? Какой ужасающе печальной становилась ее жизнь!

В тот вечер Батшеба испытывала подлинное отчаяние и острую потребность в сострадании и дружеском участии, оплакивая утрату единственного преданного друга. И вот она надела шляпку и плащ и направилась к домику Оука. Солнце только что зашло, и дорогу освещал бледно-желтый, как первоцвет, месяц, народившийся всего несколько дней назад.

Окно ярко светилось, но в комнате никого не было видно. Она взволнованно постучала, и тут же ей пришло в голову, что, пожалуй, ей, одинокой женщине, не пристало посещать жившего в одиночестве холостяка; впрочем, он ее управитель, она всегда может зайти к нему по делу, и

в этом нет ничего предосудительного. Габриэль отворил дверь, и свет месяца упал на его бледный лоб.

— Мистер Оук… — глухо проговорила Батшеба.

— Да, я Оук, — отвечал Габриэль. — С кем имею честь… Ах, что я за дурень, не узнал вас, хозяйка!

— Да я скоро уже не буду вашей хозяйкой, так ведь, Габриэль? — с горечью сказала она.

— Да нет… Я думаю… Но входите, мэм. Ах, я сейчас зажгу лампу, — растерянно бормотал Оук.

— Не надо. Не беспокойтесь из-за меня.

— Ко мне редко приходят в гости леди, и боюсь, у меня нет никаких удобств. Не угодно ли вам сесть? Вот стул, а вот другой. К сожалению, стулья у меня простые и сиденья деревянные, довольно-таки жесткие. Но я… собираюсь завести новые. — И Оук пододвинул ей два или три стула.

— Ну что вы! Они достаточно удобные.

И вот она уселась, уселся и он, и пляшущие отсветы камина скользили по их лицам и по старой мебели,

…отполированной годами,
Ему служившей много лет[5].

---

[5] Примечания: 5
У. Барнс. Уок Хилл. *(Примеч. автора.)*

Вся домашняя утварь Оука поблескивала, бросая по сторонам танцующие блики. Этих людей, достаточно хорошо знавших друг друга, изумляло, что, встретившись в новом месте и при необычных обстоятельствах, они испытывают такую неловкость и скованность. Встречаясь на поле или у нее в доме, они не проявляли ни малейшего смущения. Но теперь, когда Оук стал самостоятельным хозяином, их жизни, казалось, отодвинулись в прошлое, к тем давно минувшим дням, когда они были едва знакомы.

— Вы, наверно, удивляетесь, что я пришла к вам… но…

— Что вы, ничуть.

— Но мне показалось, Габриэль, что, может быть, я вас обидела и потому вы уходите от меня. Это очень меня огорчило, вот почему я и пришла.

— Обидели меня? Неужто вы могли меня обидеть, Батшеба?

— Так я не обидела вас! — радостно воскликнула она. — Но в таком случае почему же вы уходите?

— Видите ли, я раздумал уезжать за границу. И вообще, знай я, что такая затея вам не по душе, я живо выбросил бы это из головы, — искренне

ответил он. — Я уже договорился об аренде на ферму в Нижнем Уэзербери, и с Благовещения она перейдет в мои руки. Вы знаете, одно время я получал долю дохода с этой фермы. При всем том я вел бы и ваши дела, если бы не пошли толки про нас с вами.

— Что такое? — изумленно спросила Батшеба. — Толки про нас с вами? Какие же?

— Не могу вам сказать.

— Мне думается, вам следовало бы сказать. Вы уже не раз читали мне мораль, почему же теперь боитесь выступить в такой роли?

— На этот раз вы не сделали никакой оплошности. Сказать по правде, люди толкуют, будто я тут все разнюхиваю, рассчитываю заполучить ферму бедняги Болдвуда и задумал в один прекрасный день прибрать вас к рукам.

— Прибрать меня к рукам? Что это значит?

— Да, попросту говоря, жениться на вас. Вы сами просили меня вам сказать, так не браните же меня!

Оук ожидал, что, услыхав это, Батшеба придет в ужас, как если б над ухом у нее выпалила пушка, однако вид у нее был ничуть не испуганный.

— Жениться на мне? Я и не подозревала, что речь идет об этом, — спокойно сказала она. —

Это слишком нелепо… слишком рано… об этом думать!

— Ну, понятно, это слишком нелепо. Да я и не помышляю ни о чем подобном, думается, вы сами знаете. Разумеется, у меня и в уме не было жениться на вас. Вы же сами сказали, что это слишком нелепо.

— С-с-слишком рано — вот что я сказала.

— Прошу прощения, но я должен вас поправить — вы изволили сказать: слишком нелепо.

— Я тоже прошу прощения, — возразила она со слезами на глазах. — Я сказала: слишком рано… Это, конечно, не важно… ничуть не важно… Но я хотела сказать одно: слишком рано… Только и всего, мистер Оук, и вы должны мне поверить!

Габриэль долго всматривался в ее лицо, но при слабом свете камина ему почти ничего не удалось разглядеть.

— Батшеба, — сказал он с нежностью и недоумением и шагнул ближе. — Если бы мне знать только одно: позволите ли вы мне любить вас, добиваться вас и в конце концов на вас жениться… Если бы мне это знать!

— Но вы никогда этого не узнаете! — прошептала она.

— Почему?

— Да потому, что никогда не спрашиваете.

— Ах! Ах! — радостно засмеялся Габриэль. — Родная моя!..

— Зачем вы послали мне сегодня утром это скверное письмо? — перебила она его. — Это доказывает, что вы ничуточки не любите меня и готовы были меня покинуть, как все остальные. Это было прямо бесчеловечно с вашей стороны! Ведь я была вашей первой и единственной любимой, а вы — моим первым поклонником. Уж я вам этого не забуду!

— Ах, Батшеба, ну можно ли так обижать человека! — сказал он, и радостная улыбка не покидала его лица. — Вы же знаете, как оно было: я, холостяк, вел дела такой привлекательной молодой женщины, и мне ох как солоно приходилось! Ведь люди знали, какие у меня к вам чувства, а тут еще принялись распускать про нас сплетни, — вот мне и подумалось, что это может бросить на вас тень… Никому невдомек, сколько я из-за этого перетерпел да перемучился!

— И это все?

— Все.

— Ах, как я рада, что пришла к вам! — с чувством благодарности воскликнула она, вставая. — Я стала куда больше думать о вас с тех пор, как

вообразила, что вы больше не хотите меня видеть. Но мне пора уходить, а то меня хватятся... А знаете, Габриэль, — с легким смехом добавила она, когда они направились к дверям, — ведь можно подумать, что я приходила к вам свататься, — какой ужас!

— Что ж, так оно и должно быть, — отвечал Оук. — Я проплясал под вашу дудку немало миль и немало лет, чудесная моя Батшеба, и грешно было бы вам не заглянуть ко мне разочек.

Он проводил ее до самого дома, по дороге рассказывая ей, на каких условиях берет в аренду Нижнюю ферму. Они очень мало говорили о своих чувствах. Такие испытанные друзья, очевидно, не нуждались в пышных фразах и пылких излияниях. Столь глубокая, прочная привязанность возникает (правда, в редких случаях), когда двое людей, встретившихся в жизни, сперва поворачиваются друг к другу самыми трудными сторонами характера и лишь со временем обнаруживают лучшие свои черты; поэтому романтика постепенно прорастает сквозь толщу суровой прозаической действительности. Такое прекрасное чувство — camaraderie[6] обычно

---

[6] Примечания: 6
Товарищество *(фр.).*

зарождается на почве общих интересов и стремлений и, к сожалению, редко примешивается к любви представителей разных полов, потому что мужчина и женщина объединяются не для совместного труда, а для удовольствий. Но если счастливое стечение обстоятельств позволяет развиться подобному чувству, то лишь такая сложная любовь бывает сильна как смерть, — любовь, которую не загасить никаким водам, не затопить никаким потокам, любовь, в сравнении с которой страсть, обычно присваивающая себе это имя, — лишь быстро рассеивающийся дым.

Глава LVII
Туманный вечер и такое же утро. Заключение

— Пусть наша свадьба будет самой скромной, незаметной и простой.

Это сказала Батшеба Оуку однажды вечером, через некоторое время после события, описанного в предыдущей главе, — и он просидел добрый час, размышляя о том, как ему выполнить в точности ее пожелание.

— Разрешение… Да, надобно получить разрешение на брак без оглашения, — сказал он себе наконец. — Значит, первым делом разрешение.

Через несколько дней в Кэстербридже темным вечером Оук выходил неслышным шагом из дома судьи. На обратном пути он услыхал чьи-то тяжелые шаги и, обогнав шедшего впереди человека, обнаружил, что это Когген. Они шагали вместе до самого селения, пока не поравнялись с узеньким переулочком, проходившим позади церкви, где стоял коттедж Лейбена Толла; тот недавно сделался приходским причетником и по воскресеньям все еще испытывал смертельный

страх, произнося суровые слова псалмов, которые никто не смел повторять за ним.

— Ну, до свидания, Когген, — сказал Оук. — Мне сюда.

— Да ну! — удивленно воскликнул Когген. — Что же такое нынче стряслось, осмелюсь вас спросить, мистер Оук?

Оуку подумалось, что с его стороны будет некрасиво, если он не расскажет Коггену все как есть, ведь Джан был верен ему и надежен как сталь все годы, когда он страдал по Батшебе, и он сказал:

— Умеете вы хранить тайну, Когген?

— Неужто вы не знаете? Небось я не раз вам это доказывал.

— Знаю, знаю. Так вот, мы с хозяйкой собираемся обвенчаться завтра утром.

— Силы Небесные! А ведь, по правде сказать, мне иной раз кое-что приходило на ум, да, приходило. Но держать все в тайности! Ну, да дело не мое. Желаю вам с ней всяческого счастья!

— Спасибо, Когген. Уверяю вас, такая молчанка мне вовсе не по душе, да и ей тоже, но справлять веселую свадьбу не больно-то пристало, вы сами знаете почему. Батшебе уж очень не хочется, чтобы в церковь набился весь приход глазеть на нее, — она боится этого и очень тревожит-

ся, — вот я и стараюсь все так устроить, чтобы ей угодить.

— Понимаю, и мне думается, это правильно. А вы сейчас к причетнику?

— Да. Может, и вы пойдете со мной?

— Боюсь только, как бы наши труды не пропали даром, — заметил Когген, шагая рядом с ним. — Старуха Лейбена Толла за полчаса раструбит об этом по всему приходу.

— Ей-богу, раструбит! А ведь мне и невдомек! — Оук остановился. — А все же мне надобно с вечера его предупредить, — ведь работает он далеко и уходит из дому спозаранку.

— Слушайте, как надо взяться за дело, — сказал Когген. — Я постучусь и вызову Лейбена на улицу: надобно, мол, с ним потолковать, а вы стойте в сторонке. Он выйдет, вы ему все и выложите. Ей нипочем не догадаться, зачем он мне понадобился, а для отвода глаз я заброшу словечко-другое про хозяйственные дела.

План был одобрен, Когген смело шагнул вперед и постучал в дверь миссис Толл. Она открыла сама.

— Мне надобно кое о чем потолковать с Лейбеном.

— Его нет дома и не будет до одиннадцати. Как

только он кончил работу, пришлось ему отлучиться в Иелбери. Можете говорить со мной — я за него.

— Пожалуй, что нет. Постойте минутку. — И Когген завернул за угол дома посоветоваться с Оуком.

— Кто это с вами? — осведомилась миссис Толл.

— Да так, один приятель, — отвечал Когген.

— Скажите, что хозяйка наказала ему ждать ее у церковных дверей завтра в десять утра, — шепотом произнес Оук. — Чтобы он обязательно пришел да оделся по-праздничному.

— Праздничное платье выдаст нас с головой, — заметил Когген.

— Ничего не поделаешь, — сказал Оук. — Втолкуйте же ей это.

Когген добросовестно исполнил поручение.

— Что бы там ни было, дождь либо вёдро, снег либо ветер, он все одно должен прийти, — добавил от себя Джан. — Дело страсть какое важное. Видите ли, ему придется засвидетельствовать ее подпись на бумаге, — тут она с одним фермером заключает договор на долгие годы. Я выложил вам все как есть, матушка Толл, оно бы и не следовало, да уж больно я люблю вас, хотя и без-

надежно.

Сказав это, Когген повернулся и быстро ушел, — ей так и не удалось забросать его вопросами. Приятели заглянули к священнику, но никто не обратил на это внимания. Затем Габриэль возвратился домой и занялся приготовлениями к завтрашнему дню.

— Лидди, — сказала Батшеба, ложась спать в этот вечер, — разбуди меня завтра в семь часов, в случае если я просплю.

— Да вы всегда просыпаетесь еще до этого, мэм.

— Да, но завтра мне предстоит важное дело — я потом тебе все расскажу, — и я должна встать пораньше.

Однако Батшеба проснулась в четыре часа, и, как ни старалась, ей больше не удалось уснуть. Около шести она потеряла терпение и стала себя уверять, что ее часы ночью остановились. Она пошла и постучала в дверь Лидди, и ей не без труда удалось разбудить девушку.

— Но, кажется, это я должна была вас разбудить? — недоумевала Лидди. — А ведь еще нет и шести.

— Конечно, есть. Что это ты выдумываешь, Лидди? Я знаю, что уже больше семи часов. При-

ходи ко мне поскорей; я хочу, чтобы ты меня как следует причесала.

Когда Лидди вошла в комнату Батшебы, хозяйка уже ждала ее. Девушка никак не могла понять, зачем такая спешка.

— Что такое стряслось, мэм? — спросила она.

— Так и быть, я скажу тебе. — И Батшеба посмотрела на нее с лукавой улыбкой в сияющих глазах. — Фермер Оук придет ко мне сегодня обедать.

— Фермер Оук? И больше никого?.. Вы будете обедать вдвоем?

— Да.

— Но, пожалуй, это будет неосторожно, мэм, ведь и без того идут всякие толки, — опасливо сказала ее приятельница. — Доброе имя женщины такая хрупкая вещь…

Батшеба расхохоталась, щеки у нее вспыхнули, и она шепнула Лидди на ухо несколько слов, хотя они были в комнате одни. Лидди вытаращила глаза и воскликнула:

— Батюшки мои! Вот так новости! У меня сердце так и затрепыхалось!

— А у меня вот-вот выпрыгнет! — сказала Батшеба. — Да теперь уж ничего не поделаешь.

Утро было сырое, неприветливое. Тем не менее

без двадцати десять Оук вышел из дому и

Поднялся на холм крутой;
Он шел твердой стопой
За невестой своей молодой, —

и постучал в дверь Батшебы. Спустя десять минут можно было видеть, как два зонта — один большой, другой поменьше — появились из этих же дверей и поплыли в тумане по дороге по направлению к церкви. Расстояние было невелико — не более четверти мили, и благоразумная чета решила, что нет смысла ехать в экипаже. Постороннему наблюдателю пришлось бы подойти чуть ли не вплотную, чтобы разглядеть под зонтами Оука и Батшебу, которые первый раз в жизни шли рука об руку, — Оук в длинном, до колен, сюртуке, а Батшеба в плаще, спускавшемся до самых галош. Несмотря на будничную одежду, Батшеба выглядела помолодевшей:

Как роза, снова ставшая бутоном…

Душевное спокойствие вернуло ей здоровый румянец, по просьбе Габриэля этим утром она уложила волосы так, как носила их несколько лет назад, когда стояла на Норкомбском холме, и теперь казалась ему поразительно похожей на

чарующую девушку его мечтаний; впрочем, не приходилось удивляться, — ведь ей было всего двадцать три — двадцать четыре года! В церкви их поджидали Толл, Лидди и пастор, — церемония была быстро совершена.

В тот же день вечером они спокойно сидели за чаем в гостиной Батшебы, — решено было, что фермер Оук поселится здесь, ведь у него не имелось ни свободных денег, ни дома, ни обстановки, достойной его супруги (хотя он и был на пути к богатству), а Батшеба всем этим обладала.

Батшеба разливала чай, когда их оглушил пушечный выстрел, за ним последовал невообразимый грохот труб, раздавшийся у самого дома.

— Так оно и есть! — воскликнул, смеясь, Оук. — Я уже догадался, что наши молодцы что-то затевают, — стоило только на них взглянуть!

Он взял свечу и спустился на крыльцо, за ним пошла Батшеба, накинув на голову шаль. Свет упал на группу мужчин, стоявших перед домом на усыпанной гравием площадке. Как только они увидели новобрачных, все дружно гаркнули: «Урра!» — и в тот же миг где-то на заднем плане опять выпалила пушка, а вслед за ней загремела весьма неблагозвучная музыка — можно было различить барабан, тамбурин, кларнет, серпент,

гобой, виолончель и контрабас, — то были реликвии, уцелевшие от некогда знаменитого, неподражаемого уэзерберийского оркестра, почтенные, источенные червями инструменты, на которых некогда играли предки теперешних музыкантов, прославляя победы герцога Мальборо. Доиграв туш, исполнители двинулись вперед и подошли к крыльцу.

— Это все подстроили наши весельчаки, Марк Кларк и Джан, — сказал Оук. — Заходите, друзья, закусите и выпейте со мной и с моею женой.

— Только не нынче, — отказался мистер Кларк, проявляя высокую самоотверженность. — Премного благодарны, но мы заглянем к вам как-нибудь в другой раз. А все-таки мы решили не упустить случая и выразить в этот день свою радость. Ежели вам угодно послать к Уоррену какого-нибудь питья, то будет очень здорово. Желаем долгих лет и счастья приятелю Оуку и его пригожей суженой!

— Благодарю! Благодарю вас всех! — сказал Оук. — Сейчас же пошлю к Уоррену глоточек и кусочек. Мне так и подумалось, что старые друзья, пожалуй, что-нибудь да устроят в нашу честь, и я только что сказал об этом моей жене.

— Ей-богу, — шутливо обратился Когген к това-

рищам, — этот человек на диво быстро научился говорить «моя жена», ведь его женатой жизни без году неделя. Что скажете, друзья?

— Сроду не слыхал, чтобы человек, женатый добрых двадцать лет, так привычно выговаривал «моя жена», — вставил Джекоб Смолбери. — Можно было бы подумать, что Оук и впрямь так давно женат, будь это сказано малость похолодней, ну да холодности тут трудно ожидать.

— Ничего, все придет в свое время, — подмигнул Джан.

Тут Оук засмеялся, а Батшеба улыбнулась (теперь она почти никогда не смеялась), и друзья их стали прощаться.

— Да, вот оно как обернулось! — весело промолвил Джозеф Пурграс, когда они тронулись в путь. — Желаю ему жить с ней да радоваться. Хотя нынче я раза два чуть было не сказал вместе с пророком Осией, — ведь у меня вечно на языке слова Священного Писания, ничего не поделаешь, привычка — вторая натура: «Ефраим стал служить идолам, — отступитесь от него!» Но раз уж так оно получилось, — а ведь ее мог бы и невесть кто подцепить, — то за все благодарение Богу!

В краю лесов

Глава I

Если досужему путешественнику захочется по старой памяти или из каких-либо других соображений пройти заброшенным трактом по почти меридиональной линии от Бристоля к южному побережью Англии, то с середины пути он окажется в краю обширных лесов, иногда перемежающихся яблоневыми садами. Здесь деревья — будь то лесные или плодовые — ломают черту придорожных изгородей, бросая на них узоры света и тени, непринужденно протягивают свои горизонтальные ветви над дорогой, словно бесплотный воздух служит им достаточной опорой. В одном месте с холма, на который взбирается тракт, открывается вид на самый большой из здешних лесов, разделенный трактом надвое подобно тому, как густые волосы разделяются светлой линией пробора. Место это пустынное.

Вид заброшенной дороги выражает одиночество гораздо острее, нежели безлюдные долы и холмы, а ее могильная тишина намного выразительнее тишины озер и болот. Вероятно, причиной этому невольное сравнение того, что есть, с тем, что могло бы быть, поэтому шагнуть

из-за ограды на белеющую дорогу и на миг задержаться среди ее пустоты — значит внезапно сменить простое отсутствие людей на ощущение заброшенности.

Именно здесь в сгущающихся сумерках зимнего дня и стоял человек, оказавшийся на дороге описанным выше образом. Он только что перелез через изгородь и, нимало не будучи «избранным сосудом» для лирических переживаний, все же на миг ощутил себя более одиноким, чем за минуту до этого.

Взглянув на весьма щеголеватую одежду незнакомца, можно было заключить, что это не местный житель, да и по лицу его было видно, что направление дороги ему намного важнее, чем мрачная красота пейзажа, пение ветерка или вызванная к жизни воображением зыбкая процессия призраков в старинных каретах. Его не волновал ни труд ушедших поколений, проложивших дорогу на холм, ни бесчисленные путники, утрамбовавшие ее, ни слезы, ее окропившие, ибо времени, отпущенного ему судьбой, хватало лишь для сугубо практических нужд.

Он посмотрел на север, потом на юг и машинально потыкал землю своей тростью. Лицо незнакомца при более пристальном взгляде

подтверждало то, о чем свидетельствовал его щеголеватый костюм. Оно выражало ни на чем не основанное самодовольство. Ничто не озаряло это лицо, и не только мудрец, но и простой наблюдатель увидел бы в его выражении полную подчиненность немногочисленным правилам и привычкам и незыблемую в них веру.

Кругом не было — да, казалось, и не будет — никого, кто мог бы указать ему дорогу. Однако вскоре послышался негромкий скрип колес и размеренный постук подков, и в седловинке между деревьями и вершиной холма замаячил одноконный фургон. Вглядевшись, незнакомец сказал себе с некоторым облегчением:

— Это миссис Доллери — она-то мне и поможет.

В фургоне было несколько пассажиров, главным образом женщин. Подождав, когда фургон приблизился, путник поднял трость, и сидевшая на козлах женщина натянула вожжи.

— Миссис Доллери, я тут полчаса ищу дорогу на Малый Хинток, — сказал он. — Я раз десять бывал в Большом Хинтоке и в Хинток-хаусе, но эта деревушка просто куда-то запропастилась. Не поможете, а?

Миссис Доллери заверила его, что поможет:

она сама направляется в Большой Хинток и будет проезжать мимо Малого — это совсем рядом, вверх по тропинке в сторону от дороги, на которую они сейчас свернут.

— Впрочем, — продолжала миссис Доллери, — это такая неприметная деревушка, что вы, городской житель, сами днем с огнем не найдете, ежели заранее не знаете, где она. Боже! Да я бы за деньги не стала там жить! То ли дело Большой Хинток! Тут есть все, что душе угодно.

Он вскарабкался на козлы и свесил ноги так, что лошадь порой задевала их хвостом.

Для знавших эти места фургон миссис Доллери был скорее движимой принадлежностью тракта, чем посторонним предметом, оказавшимся на пути. Ее кляча, чья грива жесткостью и цветом напоминала вереск, а ноги и тело были изувечены упряжью и многолетним тяжким трудом, появлялась на этой дороге почти ежедневно в течение двух десятков лет, хотя полагалось бы ей пастись где-нибудь на восточной равнине, а не тащиться здесь, ибо когда-то это была ладная породистая лошадь. Да и править ею было не так уж легко: коротковатая сбруя все время сползала набок, и хвост не был должным образом пропущен через подхвостник. Лошадь знала каждый

малейший уклон дороги на протяжении всех семи или восьми миль от Хинтока до Шертон-Аббаса — торгового городка, куда лежал ее обычный путь, знала так хорошо, как может знать разве что землемер, вооруженный нивелиром.

Черный квадратный кузов фургона покачивался на ходу; от него над головой возницы торчал крюк, за который иногда цепляли вожжи; тогда они свисали с плеч лошади, как оковы. Где-то около оси болталась цепь, единственным назначением которой было греметь на ходу.

По дороге миссис Доллери по многу раз приходилось слезать с козел, поэтому она для соблюдения приличия надевала под платье короткие гамаши, особенно в ветреную погоду; на голове ее был не чепчик, а фетровая шляпа, обмотанная платком, ибо у миссис Доллери частенько болели уши. В задней стенке кузова имелось застекленное окошечко, которое хозяйка протирала носовым платком каждый рыночный день перед отправкой в город. Шагая позади фургона, можно было увидеть сквозь стекло квадратный кусочек окрестностей и небосвода, но их то и дело заслоняли профили пассажиров, шевеливших губами и кивавших головами в оживленной дорожной беседе, блаженно не ведая, что их ужимки и

гримасы как нельзя лучше видны постороннему глазу.

Для них час дороги домой с рынка был счастливым, если не счастливейшим, часом недели. Усевшись поудобнее, они забывали о горестях бытия и с умиротворенными улыбками рассуждали о жизни, вспоминая происшествия минувшего дня.

Пассажиры тесно сдвинулись в задней части фургона и, пока незнакомец толковал с хозяйкой, принялись обсуждать его, благо скрип колес заглушал их слова.

— Это парикмахер Перкомб — тот, у которого восковая кукла в окне на Эбби-стрит, — сказал кто-то. — Хотела бы я знать, что ему надобно в наших краях. Он ведь не бродячий цирюльник, а настоящий парикмахер. Он даже убрал вывеску, потому что это неблагородно!

Они прислушивались к его словам, но мистер Перкомб, казалось, не собирался удовлетворять их любопытство, хотя все время кивал и что-то говорил, но вдохновлявший пассажиров общий разговор прервался с его появлением.

Так они ехали, пока не свернули на еле заметную крутую тропинку, с вершины которой можно было различить в полумиле направо во впадине

сады и огороды, словно срезанные с поверхности лесного края. Оттуда в сторожком молчании подымались высокие столбы дыма; воображение могло проследить за дымами до незыблемых камней очага, обвешанного гирляндами копченых окороков. Это было одно из тех отдаленных мест, где обычно бывает больше раздумий, чем действия, и больше пассивности, чем раздумий; рассуждения здесь строятся на зыбких основаниях и приводят к фантастическим выводам; тем не менее здесь, как и во всех подобных местах, от нагнетания страстей и тесной взаимосвязи коренных обитателей порой разыгрываются драмы истинно софокловского величия.

Это и был Малый Хинток, который разыскивал парикмахер. Сгущавшаяся ночь постепенно поглощала дым, вырывавшийся из труб, но местоположение маленького уединенного мирка выдавали несколько слабых огоньков, неверно мерцавших сквозь безлиственные ветви, среди которых устроились на ночлег пичуги, похожие в потемках на шары из перьев.

От проезжей тропинки ответвлялась тропинка поуже; тут парикмахер сошел, ибо миссис Доллери направлялась в Большой Хинток, чье превосходство над презренным Малым Хинтоком

не слишком явствовало из сравнения тропинок, ведущих в эти деревни, но такова уж прихоть судьбы.

— Там поселился очень умный и ученый молодой доктор. Говорят, он в союзе с дьяволом. И больных у него нет, а выбрал он это место потому, что это самая середина нашего края, — сообщила парикмахеру одна из пассажирок, надеясь хоть напоследок узнать цель его путешествия.

Но он не сказал ни слова и углубился во мрак, с осторожностью ступая по скользким опавшим листьям, почти скрывавшим от глаз дорогу и улицу деревушки. С наступлением темноты посторонние тут не ходили, и большинство обитателей Малого Хинтока считали оконные занавески излишеством, именно поэтому мистер Перкомб мог заглядывать в окна почти каждого дома, очевидно, стараясь угадать местожительство того или тех, кого разыскивал.

Его интересовали дома поменьше, и он равнодушно прошел мимо нескольких домов, чьи размеры, возраст и службы свидетельствовали о том, что и в этих глухих местах жили или живут люди, занимающие достаточно высокое положение в обществе. Запах яблочных выжимок и шипение забродившего сидра, доносившиеся из

дворов, говорили о недавних трудах обитателей и соединялись с запахом гниения от волглой листвы под ногами.

Так он прошел пол-улицы. Дом у высокого дерева излучал необычное сияние: зарево, вырывавшееся из печной трубы, превращало дым в мерцающее облако. Увиденное в окне заставило парикмахера решительно остановиться и всмотреться внимательнее. Дом был великоват для деревенского; сквозь приоткрытую наружную дверь длинная лента света падала в ночь. Сонные осенние мотыльки то и дело влетали в узкую полосу лучей и тут же пропадали во тьме.

Глава II

В доме, распространявшем это приветливое сияние, он увидел девушку в огромном кожаном переднике. Она сидела на плетеном стуле и работала при ярком пламени полыхавшего очага. В правой руке она держала секач, на левую была надета непомерно большая кожаная рукавица. Девушка с поразительной ловкостью обстругивала ветки, изготовляя кровельный прут. Слева от нее находилась кладка гладких ровных прутьев, справа — гора обрезков, которыми и поддерживалось пламя в печи, а перед ней аккуратной стопой лежал готовый кровельный материал. Она брала ветку, критически окидывала ее взглядом, ловкими ударами отсекала боковые отростки и заостряла ее с обоих концов, придавая им сходство с треугольным концом штыка.

В случае надобности она могла бы зажечь и свечу в медном подсвечнике, который стоял близ нее на скамейке — из тех, на которые ставят гробы. Чтобы придать ей сходство со столиком, на скамейку набили круглую сосновую доску, белизна которой странно оттеняла черный резной дуб подставки. Былое общественное положение оби-

тателей дома распознавалось по этому предмету с той же точностью, с какой дом дворянина узнают по висящим в нем старым щитам и шлемам. Когда-то каждый зажиточный крестьянин, чьи права на землю значились в бумагах поместного суда или были по крайней мере неоспоримее, чем у простого арендатора, считал необходимым приобрести пару таких скамей для гробов своих близких. Однако в последних поколениях мысль cui bono (кому это нужно?) вытеснила привязанность к старому обычаю, и скамьи для гробов теперь часто использовали так, как мы это только что описали.

Девушка на мгновение отложила в сторону секач и осмотрела отнюдь не жесткую и не грубую ладонь правой руки, которая, в отличие от левой, не была защищена рукавицей.

Ладонь была красная и в водяных мозолях: стругание веток явно не относилось к числу ее привычных занятий. Как у множества людей физического труда, в очертаниях руки этой девушки не было ничего подтверждавшего расхожее мнение, что происхождение человека — от высокого до самого низкого — неизменно сказывается на форме руки. Лишь волей случая пришлось ей готовить кровельный прут, и пальцы, обхватившие

тяжелую ясеневую рукоятку, могли бы уверенно вести перо по бумаге или трогать струны, будь они приучены к этому в должное время.

Лицо ее было исполнено той одухотворенности, которая рождается одиночеством. Взгляды множества людей словно стирают с лица индивидуальность, обкатывают его, как волна камень. Но в тихих водах уединенной жизни каждое чувство и мысль распускаются с той откровенностью, какую можно увидеть разве что на лице ребенка. Лет ей было не более девятнадцати-двадцати, однако необходимость рано задумываться над жизнью придала очертаниям ее почти детского лица преждевременную законченность. Эта девушка не претендовала на красоту, но одно бросалось в глаза сразу — волосы, густые и непослушные до неукротимости. В зареве очага они казались темно-коричневыми, однако при свете дня выяснилось бы, что их истинный цвет — редкий и роскошный оттенок каштанового.

От этого дара, поднесенного временем своей жертве, и не мог отвести взгляда пришелец, а пальцы его правой руки машинально поигрывали ножницами, что были засунуты в жилет и на чьем блестящем металле слабо горел отсвет пламени из очага. Мысленно парикмахер уподо-

бил девушку за работой великолепному полотну позднего Возрождения. Волосы ее были выписаны ярко и отчетливо, лицо же, плечи, руки и вся фигура, будучи скоплением маловажных деталей, терялись в тени.

Не колеблясь более, он постучал в дверь и вошел в комнату. Песок, которым был посыпан пол, захрустел под его ногами, девушка оглянулась и, побледнев, воскликнула:

— Ах, мистер Перкомб, как вы меня напугали!

— Закрывай дверь плотнее — и не напугаешься.

— Не могу, — сказала она, — печь дымит. Мистер Перкомб, когда вы не у себя в парикмахерской, у вас такой забавный вид — ну точь-в-точь канарейка на боярышнике. Вы ведь сюда не из-за меня пришли, не из-за того…

— Нет, я как раз пришел из-за этого самого. — Он коснулся ее головы своей тростью, и девушка содрогнулась. — Ты согласна? — продолжил он. — Мне надо знать это сейчас же. Дама скоро уедет, а на работу мне нужно время.

— Не торопите меня, прошу вас. Я уж думала, что вы забыли. Я не могу расстаться с ними — нет, нет!

— Послушай, Марти, — сказал парикмахер,

присаживаясь на столик, сделанный из скамейки. — Сколько тебе платят за этот прут?

— Тсс! Отец наверху не спит. Он не знает, что я делаю работу за него.

— Так сколько тебе за это платят? — повторил вопрос парикмахер, понизив голос.

— Восемнадцать пенсов за тысячу, — неохотно ответила она.

— А для кого ты их делаешь?

— Для мистера Мелбери, лесоторговца, что живет тут неподалеку.

— Сколько же ты их можешь сделать за день?

— За день и полночи — три связки. Это полторы тысячи.

— Два шиллинга с четвертью. — Парикмахер помолчал, вычисляя ту наименьшую сумму, которой можно было бы победить сопротивление бедности и женскую любовь к красоте. — Взгляни-ка, вот соверен — золотой соверен, почти новенький. — Он держал монету между указательным и большим пальцами. — Это ровно столько, сколько ты получаешь за полторы недели мужского труда. Соверен твой, если ты позволишь состричь то, чего у тебя и так слишком много.

Грудь девушки вздымалась.

— Почему эта дама не обратилась к кому-нибудь другому? Может, другой девушке это было бы безразлично. Почему именно ко мне? — воскликнула Марти.

— Глупышка, да потому, что у тебя волосы точь-в-точь как у нее, а этого не добьешься никакой краской. Ты ведь мне не откажешь — я же нарочно приехал сюда из Шертона.

— Я… я не продам их ни вам, ни кому другому.

— Послушай. — Он придвинулся поближе к ней. — Дама очень богата, ей не жалко прибавить несколько шиллингов — беру это на себя, я дам тебе соверен и два шиллинга, только чтобы не возвращаться с пустыми руками.

— Нет-нет-нет! — волнуясь, заговорила она. — Вы искуситель, мистер Перкомб. Вы как дьявол, искушающий доктора Фаустуса, из книжки! Я не хочу ваших денег, я не согласна! Зачем вы пришли? Когда вы привели меня в парикмахерскую и начали уговаривать, я сразу сказала, что ни за что не продам свои волосы! — Она говорила горячо и решительно.

— Марти, послушай меня внимательно. Твои волосы крайне нужны этой даме. Между нами говоря, лучше б ты с ними рассталась. Худо тебе будет, если ты ей не удружишь.

— Худо? А кто она такая?

Парикмахер молчал, и девушка повторила вопрос.

— Я не имею права говорить. Но она скоро уедет за границу, так не все ли тебе равно?

— Она хочет взять с собой за границу мои волосы?

Перкомб кивнул, и девушка, задумчиво посмотрев на него, сказала:

— Парикмахер Перкомб, я знаю, кто эта дама. Это миссис Чармонд из Хинток-хауса.

— Пока это мой секрет. Отдай волосы, и я тебе его открою.

— Не отдам, пока не узнаю правду. Это миссис Чармонд?

Парикмахер понизил голос:

— Ну… да, она. Вы в церкви сидели почти рядом, и она заметила, что у тебя волосы точь-в-точь как у нее. Вот ей и взбрело на ум купить их. Но она наденет шиньон не раньше, чем окажется за границей, а там никто не заметит перемены. Мне поручено сделать шиньон. Я бы не потащился на край света, если б меня не послала такая важная особа. Теперь учти: она откажется от моих услуг, если узнает, что я выболтал ее тайну, — и поклянись, что ничего никому не скажешь. Иначе мне

несдобровать.

— Я и не собираюсь ничего говорить, — сухо ответила Марти. — Но мои волосы принадлежат мне, и я с ними ни за что не расстанусь.

— Я тебе все рассказал, а ты мне отказываешь. Это нечестно! — воскликнул уязвленный парикмахер. — Рассуди, Марти, ты с ней в одном приходе, живешь в доме, которым она владеет, твой отец болен, и ему не захочется покидать эти стены. Тебе бы следовало ее уважить. Я говорю это как друг. Я ведь не требую ответа сейчас же. Завтра по дороге на рынок загляни ко мне. Когда все хорошенько обдумаешь, ты без колебаний отдашь то, что мне нужно.

— Мне вам нечего больше сказать, — прежним тоном ответила девушка.

Парикмахер понял, что дальше убеждать ее словами бесполезно.

— Я знаю, что на тебя можно положиться, — сказал он. — Я оставлю здесь эти соверены для красоты, чтобы ты могла на них как следует полюбоваться. Завтра принесешь мне свои волосы или вернешь золотые. — Он поставил монеты ребром за рамку небольшого зеркала. — Хочу надеяться, что ты принесешь волосы — так будет лучше и для тебя и для меня. Я и сам думаю, что

она могла бы обойтись без твоей помощи, да уж раз она вбила себе это в голову, то приходится ей потакать. Если вздумаешь срезать их сама, то постарайся не перепутать пряди. Вот как это делается…

— Я не буду, — ответила она кратко и безразлично. — Я сама хочу быть красивой. Даме нужны мои волосы, чтобы привлечь нового поклонника. Говорят, она разбила немало сердец.

— Боже, удивительно, как ты догадлива, Марти, — сказал парикмахер. — Знающие люди говорят, что у нее и вправду есть на примете один иностранный джентльмен. Как бы то ни было, помни мою просьбу.

— Пусть завлекает любовников без моей помощи.

Перкомб, стоявший уже в дверях, вернулся, положил свою трость на подставку для гроба и взглянул девушке прямо в лицо.

— Марти Саут, — сказал он нарочито отчетливо, у тебя у самой есть любовник, поэтому ты не хочешь расставаться с волосами!

Она покраснела, но это был тот румянец, который только подчеркивает красоту. Натянув желтую кожаную рукавицу на левую руку, в правую она взяла секач, повернулась спиной к

посетителю и вновь упрямо углубилась в работу. Некоторое время он смотрел на нее, затем пошел к дверям и, еще раз оглянувшись, переступил порог.

Несколько минут Марти продолжала работать, затем решительно отложила секач, встала и направилась к двери в глубине комнаты, за которой открывались добела выскобленные ступеньки. Поднявшись по лестнице, она на цыпочках приблизилась к двери спальни и, не открывая ее, спросила:

— Отец, тебе ничего не надо?

Слабый голос ответил, что ничего не надо, и добавил:

— Если бы не это дерево, я к утру был бы совсем здоров!

— Опять дерево — вечно это дерево! Успокойся, отец! Ты же знаешь, что оно не может тебе повредить.

— С кем ты там разговаривала?

— Заходил человек из Шертона — ничего важного, — заверила она старика. — Отец, может миссис Чармонд выгнать нас из дому, если захочет?

— Выгнать? Нет. Никто не может выгнать нас, пока моя бедная душа не расстанется с телом.

Я арендовал дом пожизненно, как и Джон Уинтерборн. Дом перейдет к ней, когда я умру, не раньше. — Голос старика прозвучал разумно и внятно. — Пока меня не убьет это дерево, — продолжал он плаксиво.

— Полно, ты ведь знаешь, что это чепуха. — Она не стала продолжать разговор и спустилась по лестнице вниз. — В таком случае слава богу, — сказала она себе. — Мое у меня и останется.

Глава III

Дом за домом огни деревушки гасли, и вот в темноте их осталось всего два. Один из них светился в большом доме на склоне холма — о нем мы пока умолчим, — другой — в окне Марти Саут. Однако, когда часы пробили десять, она встала и задернула окно плотной холщовой занавеской. Тогда снаружи показалось, что свет погас и в ее доме. Только дверь у нее, как и у многих соседей, оставалась приоткрытой из-за дыма, наполнявшего комнату, но, чтобы свет не падал на улицу, она занавесила холстиной и дверь. Марти была из тех, кто предпочитает скрывать от соседей трудности, и не хотела показывать, что ей приходится засиживаться допоздна; лишь по невнятному треску ветвей случайный прохожий мог догадаться, что в этом доме не спят.

Пробило одиннадцать, двенадцать, потом час; груда кровельного прута росла, увеличивалась и куча обрезков. Наконец свет на холме погас, а она все работала. Ночь за окном стала еще холодней, девушка начала зябнуть и, чтобы спастись от ветра, отгородилась от двери большим голубым зонтиком. Два соверена выглядывали

из-за рамочки зеркала, словно пара подстерегающих желтых глаз. Переводя дыхание, Марти на мгновение отрывалась от работы и задерживалась взглядом на монетах, но тут же отводила глаза и касалась пальцами прядей, словно желая удостовериться, что они целы и невредимы. Когда пробило три, она встала и присоединила последнюю вязанку к тем, что уже были сложены у стены.

Накинув на плечи красный шерстяной платок, она открыла дверь. Необъятная ночь встретила ее на пороге; за его гранью словно разверзлась вселенская пустота, предшествовавшая сотворению мира, Гиннунг-гэп[7] из легенд ее предков датчан. Мрак показался Марти особенно непроглядным, так как глаза ее только что были обращены к пламени очага, на улице же не горело ни одного фонаря, который мог бы смягчить переход от света комнаты ко тьме ночи. Ленивый ветерок доносил из леса неподалеку скрип трущихся друг о друга веток с уснувшими птицами, доносил превращенную в звуки печаль деревьев, уханье сов, глухое трепыханье крыльев лесного голубя,

[7] Примечания: 7

Гиннунг-гэп — в древнескандинавской мифологии «зияющая пропасть» между царством холода и царством огня, хаос, из которого возник мир. — *Здесь и далее примеч. перев.*

неловко устроившегося на ночлег.

Но глаза ее скоро привыкли к темноте. Она взяла две вязанки прутьев и, определяя путь по темным зубчатым вершинам деревьев, вырисовывавшимся на более светлом небе, отнесла их под длинный сарай, окруженный ковром из опавших листьев, который был в сотне ярдов от дома. Ночь — очень странное существо: в четырех стенах побуждает человека к губительному самоанализу и вселяет недоверие к себе, и та же ночь под открытым небом гонит душевную тревогу, представляя ее недостойной внимания. Ночь умиротворила Марти Саут, и ее движения стали спокойней и уверенней. Опустив вязанки наземь, она возвратилась в дом за следующими двумя и так перетаскала в сарай все плоды своего труда.

Это строение было каретным сараем главного из местных дельцов, мистера Мелбери, лесоторговца и поставщика всевозможных изделий из дерева; на мистера Мелбери и работал отец Марти, получая за труды сдельно. Сарай принадлежал к многочисленным службам, беспорядочно разбросанным вокруг дома мистера Мелбери, столь же беспорядочного и неуклюжего строения, чьи непропорционально длинные трубы различа-

лись даже теперь. В сарае находилось четыре по старинке сколоченных фургона; они раздавались вширь и закруглялись у основания и в концах, странным образом напоминая достопочтенные и неуклюжие корабли Трафальгарского боя[8]. Один был нагружен кормушками для ягнят, другой — штакетником, третий — древесным углем, четвертый, возле которого Марти сложила прутья, наполовину заполнен такими же вязанками.

Она помедлила там с успокоительным чувством довольства от выполненной нелегкой работы, как вдруг услышала из-за изгороди взволнованный женский голос:

— Джордж! — И через мгновение опять: — Джордж! Иди в дом! Что ты там делаешь?

Каретный сарай примыкал к саду лесоторговца, и, прежде чем Марти успела шевельнуться, в сад с черного крыльца спустилась пожилая женщина, прикрыв пламя свечи рукой, отчего темнота сгустилась и скрыла лицо девушки. Перед женщиной вырисовывалась фигура мужчины — костюм его был в страшном беспорядке.

---

[8] Примечания: 8

Трафальгарский бой — морское сражение у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании (1805), в котором английский флот под командованием адмирала Нельсона нанес сокрушительное поражение франко-испанской эскадре.

Пламя осветило гладко выбритого, худощавого, ссутуленного человека с маленьким нервным ртом. Он ходил по дорожке, уставившись в землю. Марти узнала своего хозяина мистера Мелбери и его жену. Это была вторая миссис Мелбери, ибо первая умерла вскоре после рождения единственной дочери лесоторговца.

— Что толку зря валяться в постели, — сказал он, беспокойно расхаживая взад-вперед. — Не спится. Все думаю о девочке, и от этих дум нет спасенья. — Потом добавил, что никак не поймет, отчего она не пишет (Марти поняла, что он имеет в виду свою дочь). — Наверно, она захворала — не иначе как захворала, — повторял он.

— Ну что ты, Джордж. Ничего там с ней не случилось, — заверила его жена и начала убеждать, что ночью все кажется особенно мрачным, что нечего поддаваться дурным мыслям, что, только настанет утро, все страхи растают, как призраки.

— Грейс жива-здорова, как мы с тобой, — говорила она.

Мелбери возражал, что ей всего не понять, что ему виднее.

Грейс не пишет, но это лишь одна из причин его тревоги. Если бы не дочь, он бы так не беспокоился из-за денежных дел. Ведь о ней некому

позаботиться, кроме отца, вот он и хочет, чтобы после его смерти Грейс была надежно защищена от бедности.

Миссис Мелбери отвечала, что Грейс, без сомнения, сделает хорошую партию, а значит, не все ли равно, получит она сотней фунтов больше или меньше.

Муж согласился, что так думать вполне естественно, тем не менее миссис Мелбери не права: ему есть отчего тревожиться.

— Я уже обдумал ее будущее, — сказал он, — она выйдет замуж за небогатого человека.

— Ты хочешь, чтобы она сделала невыгодную партию? — Жена была озадачена.

— В некотором роде да, — ответил Мелбери. — Она должна выйти замуж за одного человека, а так как у него нет больших денег, то это можно назвать, как назвала ты. Может быть, я на это и не решусь, а даже если решусь, может, оно для нее не очень-то хорошо обернется. Я хочу ее выдать за Джайлса Уинтерборна.

Его собеседница повторила имя и, подумав, сказала:

— Что ж, прекрасно. Он готов целовать следы ее ног; только он не из тех, кто показывает свои чувства.

Марти Саут была так поражена, что теперь не могла уйти отсюда.

Лесоторговец подтвердил, что сам прекрасно все знает. Уинтерборн давно влюблен в его дочь; именно поэтому он и решил соединить их в браке. И он знает, что его дочь не будет против. Никаких препятствий к женитьбе нет, и не это его беспокоит. Дело в том, что он дал дочери такое хорошее образование, что она теперь выше всех девушек в округе, и поэтому, в сущности, неразумно отдать ее за такого человека.

— Это-то я и хотела сказать, — проговорила миссис Мелбери.

— Вот теперь, Люси, ты понимаешь меня, — с чувством заключил лесоторговец. — В этом-то вся беда. Я поклялся, что позволю ей выйти за него, что сделаю из нее превосходную жену, дам ей самое лучшее образование. И хочу сдержать свое слово. Я дал эту клятву, потому что причинил его отцу ужасное зло, и оно тяготило мою совесть до тех пор, пока я не увидел, как она нравится Джайлсу. Тогда-то я и понял, что сумею загладить свою вину.

— Ты причинил зло его отцу? — спросила миссис Мелбери.

— Да, ужасное зло, — ответил муж.

— Не думай об этом хоть ночью, — сказала она. — Пойдем домой.

— Нет-нет, у меня голова горит. На воздухе мне лучше. Я скоро приду.

Помолчав, он сказал отчетливо, так что Марти расслышала каждое слово, что его первую жену, мать Грейс, когда-то любил отец Уинтерборна, но он, Мелбери, отбил ее самым нечестным образом.

Голос Мелбери звучал невесело. Он причинил несчастье сопернику, и, хотя тот позднее женился на матери Джайлса, брак этот был не по любви. Мелбери прибавил, что впоследствии нечестный поступок его угнетал, но со временем, когда дети подросли и вроде бы привязались друг к другу, он дал себе слово загладить свою вину, позволив дочери выйти замуж за Джайлса, и более того: решил дать дочери самое лучшее образование, чтобы искупление было полнее.

— И слова я не нарушу, — заключил он.

— Так в чем же дело? — спросила миссис Мелбери.

— Вот что меня мучит, — сказал он. — Я понимаю, что хочу искупить свою вину за счет дочери, и не могу отделаться от этой мысли. Я часто прихожу сюда и смотрю.

— На что? — спросила жена.

Он взял у нее свечу, наклонился и отодвинул кусок черепицы, который лежал на дорожке.

— Вот след ее ботинка: она пробежала тут за день до отъезда — а было это столько месяцев назад. Когда она уехала, я прикрыл его, и сейчас вот все прихожу сюда, смотрю на него и спрашиваю: почему она должна жертвовать собой за мои грехи и выходить замуж за бедняка?

— Это совсем не жертва, — сказала жена. — Он ее любит, он честный, порядочный человек. Если она не против, так чего еще желать?

— Я ничего особенного и не желаю. Но ведь ей может представиться столько счастливых случаев. Скажем, я слышал, что миссис Чармонд ищет образованную молодую девицу в компаньонки — или как это там называется — для поездки за границу. Грейс для нее — находка.

— Как знать. Лучше уж держаться за то, что есть.

— Верно, верно, — сказал Мелбери, — должно быть, ты права. Надо бы их поженить поскорее и разделаться с прошлым раз и навсегда. — И, не сводя глаз со следа, он вдруг проговорил: — А что, если она сейчас при смерти? Что, если ей больше никогда не ходить по этой дорожке?

— Будь спокоен, она скоро напишет. Пошли, нечего тут ломать себе голову, — сказала жена.

Он согласился, но прибавил, что поделать с собой ничего не может.

— Напишет она или не напишет, я через два-три дня съезжу за ней. — Он прикрыл след черепицей и первым вошел в дом.

Чувствительность, заставлявшая Мелбери оберегать след на дорожке, надо думать, была ему немалой помехой в жизни. Природа правит людьми, никоим образом не принимая в расчет подобные чувства, и, когда на старости лет их сердца не защищены от бурь, они «страдают под ударами грома и молний» не меньше, чем слабые лютики[9].

Марти медленно зашагала домой, и мысли ее занимало не горе мистера Мелбери, а собственное.

— Так вот в чем дело, — говорила она себе, — Джайлс Уинтерборн не для меня. Что ж, чем меньше я буду думать о нем, тем лучше.

Она вернулась домой. Соверены по-прежнему выглядывали из-за рамки зеркала. Удерживая слезы, она достала ножницы и стала сосредоточенно и беспощадно обрезать свои прекрасные

---

[9] Примечания: 9

Цитата из стихотворения английского поэта У. Вордсворта (1770–1850) «Лютики».

длинные волосы и раскладывать их прядь к пряди, как показывал парикмахер. На добела выскобленной крышке столика, сделанного из подставки для гроба, они лежали, словно волнистые длинные водоросли на светлом каменистом дне прозрачного ручья.

Из жалости к себе она не отважилась повернуться к зеркалу, зная, что оттуда на нее глянет обезображенное лицо, а это было бы невыносимо; она боялась собственного отражения не меньше, чем богиня ее предков Сиф, когда волосы ее похитил зловредный Локи[10]. Покончив с волосами, Марти завернула их в пакет, потом выгребла из очага головешки и легла спать, не забыв поставить возле себя будильник, сооруженный из горящей свечи и нитки с подвязанным камешком.

Однако эта предосторожность оказалась излишней. Промаявшись без сна часов до пяти, Марти услышала, что воробьи, проснувшиеся в длинных ходах под крытой ветвями крышей, уже спешат к выходам под застреху; тогда она тоже

---

[10] Примечания: 10

Сиф — в древнескандинавской мифологии — жена Тора, бога грома; *Локи* — бог огня, носитель зла и разрушения, строивший козни другим богам; согласно легенде, он похитил золотые волосы Сиф и боги принудили его дать ей новые волосы, которые черные эльфы выковали из чистого золота.

встала и спустилась на нижний этаж.

Было еще темно, но она стала ходить по дому и что-то делать с машинальностью, которой у хозяек отмечено начало очередного дня. Среди хлопот она услышала громыхание фургонов мистера Мелбери, лишний раз подтверждавшее, что дневные труды уже начались.

Марти бросила несколько прутьев на еще горячие угли очага, и они весело вспыхнули, отчего на стену упала сильно уменьшившаяся тень ее головы. Кто-то в это время подошел к дверям дома.

— Вы не спите? — спросил хорошо знакомый ей голос.

— Нет, мистер Уинтерборн, — ответила Марти, натягивая на голову большой чепец, полностью скрывший опустошительную работу ножниц. — Входите!

Дверь распахнулась, и на рогожку у входа ступил человек, равно не похожий ни на юного влюбленного, ни на зрелого дельца. Взгляд его изобличал скрытность, очертания губ — сдержанность. Он держал фонарь на длинной проволочной ручке, который, раскачиваясь, отбрасывал узорчатые блики на еще темные стены.

Уинтерборн объяснил, что зашел по пути сказать, чтобы ее отец не спешил с работой, пока

нездоров. Мистер Мелбери подождет еще неделю, а сегодня они поедут в город налегке.

— Работа готова, — сказала Марти. — Она в сарае.

— Готова? — повторил он. — Значит, ваш отец не так уж болен и может работать?

Марти ответила уклончиво и добавила:

— Если вам по пути, я вам ее покажу.

Они вышли из дому и пошли рядом. Свет из отверстий для воздуха в крышке фонаря огромными кругами отражался в тумане над головой и, казалось, доставал до низкого полога небес. Им нечего было сообщить друг другу, и они молчали. Трудно представить себе более обособленных, замкнутых людей, чем эти двое, шагавшие рядом в безлюдный предрассветный час, когда тени в природе и душе становятся особенно темными. И все же, если подумать, их уединенная прогулка входила крохотной крупицей в повседневные дела, занимавшие человечество от Белого моря до мыса Горн.

Они дошли до сарая, и Марти указала на связки прутьев. Уинтерборн молча взглянул на них, а потом на нее.

— Марти, мне кажется… — начал он, покачав головой.

— Что?

— Что это вы сами сделали всю работу.

— Никому не говорите об этом, мистер Уинтерборн, прошу вас, — взмолилась она. — Если мистер Мелбери узнает, что это сделала я, то не примет работу.

— Как вам удалось? Это же надо уметь.

— Уметь! — сказала она. — Да я научилась за два часа.

— Не волнуйтесь. — Уинтерборн опустил фонарь и осмотрел аккуратно обструганные прутья. — Марти, — сказал он со сдержанным восхищением, — ваш отец с сорокалетним опытом не сделал бы лучше. Для кровли они слишком ровные, могут пойти и на мебель. Я вас не выдам. Покажите-ка мне ваши руки!

Он говорил доброжелательно, тихо и строго. Увидев, что Марти как будто не хочет выполнить его просьбу, он сам взял ее руку и рассмотрел как свою собственную. Все пальцы были в волдырях.

— Со временем загрубеют, — сказала она. — Если отец не поправится, мне придется работать самой. Дайте-ка я помогу вам их погрузить.

Она склонилась над вязанками, но Уинтерборн, не сказав ни слова, поставил фонарь на землю, поднял Марти на руки, перенес в сторону и начал

сам укладывать вязанки в фургон.

— Лучше уж это сделаю я, — сказал он. — Да и люди сейчас сюда придут. Что случилось, Марти? Что с вашей головой? Господи, да она стала вдвое меньше!

Сердце ее так билось, что она не могла выговорить ни слова, но потом наконец, уставившись в землю, простонала:

— Ну, я себя изуродовала — вот и все!

— Нисколько, — ответил он. — Я понял — вы остригли волосы.

— Ах, зачем об этом говорить!

— Но дайте я посмотрю.

— Ни за что! — И Марти убежала в сумрак медлительного рассвета.

Уинтерборн не пытался ее догонять. Добежав до крыльца родительского дома, Марти оглянулась. Работники мистера Мелбери уже грузили вязанки в фургоны, и на таком расстоянии казалось, что их фонари окружены серыми кругами, какие ложатся вокруг утомленных глаз. Пока запрягали лошадей, Марти помедлила на пороге, а затем вошла в дом.

Глава IV

В воздухе уже явственно ощущалось наступление утра, и вскоре на свет появился пасмурный зимний день, как мертворожденный ребенок. Деревня проснулась более часа назад: в это время года крестьяне встают до рассвета. Еще ни одна птица не вынула головы из-под крыла, а в деревне зажглись два десятка огней в двух десятках спален, распахнулись двадцать пар ставней, и двадцать пар глаз взглянули на небо, чтобы определить, какая сегодня будет погода.

Совы, ловившие мышей в сараях, кролики, объедавшие деревья в садах, и горностаи, пившие кровь кроликов, заслышав, что соседи их — люди — уже шевелятся, благоразумно попрятались до следующей ночи.

При свете дня обозначилась вся усадьба мистера Мелбери. Она представляла собой четырехугольник, с трех сторон заставленный разного рода постройками; центральной и самой большой из них был жилой дом. Открытой стороной четырехугольник выходил на улицу.

Поместительный дом глядел на прохожих с чувством собственного достоинства; и он, и его

одряхлевшие соседи своим видом указывали на то, что Малый Хинток некогда играл куда более важную роль; о том же свидетельствовало и старинное его наименование: Хинток Сент-Осмонд. Дом Мелбери был не старинный, но достаточно старый, хотя и не запущенный особняк; старость его не была почтенной, он не поседел, а просто слинял с лица; фасад его смотрел на вас из начала Георгианской эпохи, еще свежей в памяти, и поэтому пробуждал воспоминания куда живее, чем древние и величественные сооружения, взывающие к нам из туманных далей Средневековья. Сравнивая этот дом с непритязательными современными постройками, можно было представить себе лица, одежду, страсти, добрые и недобрые чувства прапрадедов и прапрабабок, которые первыми смотрели в эти прямоугольные окна и стояли под этой сводчатой дверью. Если как следует вслушаться, в таком доме можно услышать отзвуки чьих-то странных судеб, не то что в древнем замке или монастыре, где давно уже смолкло самое эхо.

Фасад, обращенный к саду, в общем сохранил свой первоначальный вид, здесь были дверь и крыльцо. Однако главный вход в дом находился со стороны четырехугольного двора, обращен-

ного к улице; двор был некогда рассчитан на то, чтобы по нему могла проехать и развернуться карета; сейчас же вся середина его была завалена фашинником, бревнами, брусьями и тому подобными предметами. От улицы его отделяла грязная, поросшая мхом стена с воротами, навешенными на покосившиеся столбы с круглыми белыми шарами.

В длинной постройке по левую руку изготавливали кровельный материал, пилили бревна на доски, сколачивали кормушки и занимались разного рода плотницкой работой. Напротив располагались сараи, в один из которых ночью Марти сложила свою работу.

Здесь-то и остался Уинтерборн после внезапного ее бегства, желая проследить, чтобы все фургоны были нагружены как следует. Уинтерборн был связан с семейством Мелбери многими узами. Их объединяли не только сентиментальные воспоминания о том, что первая миссис Мелбери любила его отца: тетка Уинтерборна много лет назад вышла замуж за единственного брата лесоторговца и вместе с ним уехала из Англии. Этого брака было вполне достаточно для того, чтобы поставить Уинтерборна на одну ступеньку общественной лестницы с семейством

Мелбери. В таких обособленных деревнях, как Малый Хинток, соседи связаны узами родства не менее тесно, чем европейские династии, и во всей деревне едва ли можно было найти два дома, не состоящих между собой в родстве.

Благодаря этому обстоятельству между мистером Мелбери и Уинтерборном существовали некие дружеские взаимоотношения, основанные на своего рода неписаном законе, по которому оба считали своим долгом идти на взаимные уступки и все решать по справедливости. У лесоторговца Мелбери самой страдной порой были зима и весна. Уинтерборн занимался садоводством и приготовлением сидра и отправлял свой товар на рынок в осеннюю пору, поэтому, когда яблоки начинали падать, Мелбери давал ему лошадей, фургоны и даже работников. В свою очередь, Уинтерборн, как мы уже видели, помогал Мелбери в холодное время года, когда спрос на товары лесоторговца особенно возрастал.

Уинтерборн уже собирался уйти из сарая, когда к нему прибежал мальчик из дома и сказал, что мистер Мелбери хочет его видеть и просит подождать. Уинтерборн направился в длинный сарай напротив, где уже трудились несколько человек; двое из них были сезонники из Уайтхарт-Лейна,

неизменно появлявшиеся в пору заготовки кровельного материала, а когда работа кончалась, тихо исчезавшие до следующего сезона.

Чего-чего, а топлива в Малом Хинтоке было в избытке, так что в сарае весело полыхали щепки и стружки, и свет их еще соперничал со светом дня. В полых тенях под крышей виднелись бесцветные и безвольные побеги плюща, которые, пробравшись между черепицами, теперь тщетно искали опоры; из-за отсутствия солнечного света листья на них были мелкие и хилые; плющ же, росший на свету, с такой силой давил снизу вверх на застрехи, что, казалось, готов был приподнять саму крышу.

Кроме уже упомянутых сезонников, в сарае находились: живший неподалеку столяр Джон Апджон, пильщики — старый Тимоти Тенге и молодой Тимоти Тенге, фермер Баутри, промышлявший изготовлением сидра, у огня грел руки старый Роберт Кридл, работник Уинтерборна. Их привлек весело разгоревшийся огонь, и они зашли в сарай, хотя не имели в нем решительно никакого дела. Отдельного описания никто из них не заслуживает, разве что Кридл. Чтобы всесторонне изобразить его, пришлось бы начать с воспоминаний о войне, ибо из-под холщового

халата у него выглядывал ворот видавшего виды солдатского мундира с чужого плеча; продолжить воспоминаниями об охоте, чтобы включить в картину высоченные сапоги, купленные по случаю, и закончить воспоминаниями о путешествиях и кораблекрушениях, ибо в кармане он носил складной нож — подарок моряка, бывавшего в разного рода переделках. Жизнь самого Кридла была лишена событий, и он хранил эти памятки войны, охоты и приключений, нимало не задумываясь над тем, какие мысли они способны вызвать у стороннего наблюдателя.

Пока руки заняты, думы обычно далеки от предметов труда, и побасенки, истории и семейные хроники, которые мастера своего дела рассказывают за работой, настолько богаты подробностями, что пересказать их просто нет возможности.

Увидев, что мистера Мелбери еще нет, Уинтерборн вышел на улицу, и беседа, прерванная его приходом, потекла вновь, в лад каплям сгустившегося тумана, которые монотонно струились с ветвей.

В сарае обсуждался вечный неразрешимый вопрос: свойства характера миссис Чармонд, владелицы окрестных рощ и лесов.

— Шурин мне говорил, а уж он-то знает, — рассказывал Кридл, — что она сидит за обедом в таком платье, что считай, что голая. Когда только ее увидел, он сказал себе: «Мерзкая баба, ты ходишь в церковь, стоишь на коленях и делаешь вид, что святей тебя и на свете нет, а сама обсчитываешь арендаторов на медяки, как последний торгаш, да и хлеб Господень ешь только что не нагишом!» Кто знает: может, она уже образумилась, — а в общем, не все ли равно, что там делается с тех пор, как мой шурин оттуда сбежал.

— И она это вытворяла еще при муже?

— Не знаю… Навряд ли, нрав у него не такой. М-да! — От малоприятных мыслей Кридл склонял голову ниже и ниже, на глазах его появились слезы: — Это был крепкий орешек! «Пусть ангелы небесные сойдут просить за тебя, — сказал он мне, — но ты все равно не останешься здесь ни днем дольше!» Да, он мог сказать что угодно, да и кощунствовать был мастак. Ну ладно, надо снести все эти вязанки домой и завтра с божьей помощью взяться за дело.

В сарай вошла старуха, служанка мистера Мелбери, постоянно сновавшая по двору между домом и сараем. Сейчас она пришла за растопкой. Когда она прислуживала в гостиной или спальне,

лицо ее изображало униженность и угодливость, когда же появлялась в сарае или вообще на людях, на нем было выражение суровости и надменности.

— А, бабушка Оливер! — приветствовал ее Джон Апджон. — Сердце радуется при виде такой шустрой, юркой старушки. Еще бы, после пятидесяти каждый год можно считать за два! Однако сегодня ты растопила печь поздновато — дым у тебя пошел в четверть восьмого по моему будильнику. Так-то, бабушка Оливер!

— Ты такой недомерок, Джон, что люди просто не замечают твоего ехидства. При твоем росточке ни одна женщина не обратит на тебя внимания, хоть плюй на нее огнем и серой. Бери, — сказала она, протягивая одному из работников прут, на который был надет длинный кусок кровяной колбасы, — это тебе на завтрак; если хочешь чаю, зайди в дом.

— Что-то мистер Мелбери сегодня запаздывает, — сказал молодой Тимоти Тенге.

— Да. Сегодня и рассвело поздно, — ответила миссис Оливер. — Даже сейчас так темно, что невозможно отличить босяка от джентльмена или Джона от метлы. Кажется, к тому же хозяин сегодня плохо спал: все тревожится за дочку.

Я-то знаю, что почем: сама целое ведро слез выплакала.

Когда старуха ушла, Кридл сказал:

— Он с ума сойдет, если дочка скоро ему не напишет. Да, ученье надежней, чем дома да земля. Только держать девку в школе, когда она уже вымахала выше мамаши, это просто судьбу искушать.

— Кажется, и дня не прошло, как она тут с куклами возилась, — сказал молодой Тимоти Тенге.

— Я еще помню ее мать, — сказал столяр. — Она всегда была такая тоненькая, хрупкая; пальчики нежные, холодные: дотронется — как ветерок. А когда ей привили оспу — так ей хоть бы что. Это было как раз тогда, когда я выходил из подмастерьев… И долго же я в них ходил. Я работал у мастера шесть лет и триста четырнадцать дней.

Столяр произнес число дней с таким выражением, словно оно было более важно, чем число лет.

— Она раньше дружила с отцом мистера Уинтерборна, — сказал старый Тимоти Тенге. — Мистер Мелбери ее отбил. Она была совсем дитя и, чуть что, плакала в три ручья. Мистер Мелбери переносил ее через все лужи, как куколку, чтобы не запачкалась. Если он продержит дочку в пансионе так долго, она будет такая же нежная, как

ее мать. А вот и хозяин.

Несколькими минутами раньше Уинтерборн увидел, как мистер Мелбери выходит из дому. В руке у него было вскрытое письмо. Он шагал прямо к Уинтерборну. Тревога минувшей ночи совершенно исчезла с его лица.

— Я, Джайлс, никак не мог понять, отчего это она не едет и не пишет, пока вот не получил от нее письма. «Клифтон, среда. Дорогой отец, — пишет она, — я приеду домой завтра (это значит сегодня), вот и решила, что не стоит извещать об этом заранее». Вот плутовка: она, видите ли, решила! Послушай, Джайлс, поскольку ты уж сегодня везешь в Шертон свои яблони, то давай встретимся все там и вернемся домой втроем.

Он обращался к Уинтерборну радостно и энергично: это был совсем не тот человек, которого Марти видела в темный предрассветный час. Так уж заведено, что даже самые мрачные люди легче поддаются оживлению, нежели унынию; душа все же легче, чем беды, и всегда всплывает над их океаном[11].

Обычно медлительный Уинтерборн согласился сразу и даже с некоторой поспешностью. По-види-

---

[11] Примечания: 11

У. Шекспир (1564–1616). Гамлет. Акт III, сцена 1.

мому, у Марти были все основания пожертвовать волосами, коль скоро она дорожила ими для привлечения Джайлса. Что же до лесоторговца, то он прямо вел дело к браку дочери и Уинтерборна. В этом он видел свой непременный долг и старался как можно лучше его исполнить.

В сопровождении Уинтерборна Мелбери направился к сараю, и тогда-то шаги его были услышаны работниками.

— Ну, работнички, — сказал он, кивая им, — прохладненькое нынче утро.

— Вот именно, сэр, — энергично ответил Кридл; он все никак не мог решиться уйти и засесть за работу, а потому испытывал необходимость вести себя поразвязней. — Кто знает: может, это самое прохладное утро за всю осень.

— Я слышал, вы тут удивлялись, с чего я так долго держу дочь в пансионе, — заговорил мистер Мелбери, поднимая глаза от письма, которое перечитывал у огня; он повернулся со своей обычной резкостью и язвительно вопросил: — Ну? Я же слыхал. Ладно, хоть это вас не слишком касается, я объясню вам. Когда я был мальчишкой, другой мальчишка, сын священника, спросил меня при товарищах: «Кто тащил кого вокруг стен чего?» — и я ответил, что, когда жена Сэма

Баррета родила, он носил ее в кресле вокруг церкви. Мальчишки стали надо мной издеваться, и я просто сгорел со стыда. Ночью я проплакал всю подушку насквозь, но потом подумал: «Смейтесь надо мной: отец меня ничему не выучил, мне так и жить — но зато над моими детьми никто смеяться не сможет, чего бы мне это ни стоило». Слава богу, мы не голодали, пока моя дочь училась. А теперь она такая ученая, что сама учила других в пансионе. Пусть теперь посмеются: сама миссис Чармонд знает не больше, чем моя Грейс.

Уязвленная гордость пробивалась в мистере Мелбери сквозь маску деланного безразличия, и работники не нашлись, что ему ответить. Уинтерборн слушал его с интересом, но молча: все время стоял у огня, пошевеливая угли прутом.

— Так мы встречаемся, Джайлс? — продолжал Мелбери, словно освобождаясь от дум. — Ну а что нового было вчера в Шотсфорде, мистер Баутри?

— Что ж, Шотсфорд — это Шотсфорд: без денег там не накормят, — а кружечку настоящего и за деньги не купишь… Но, как говорится, поезжай за тридевять земель и там услышишь о собственном доме. Как будто наш новый сосед доктор, как его там, ну тот странный джентльмен, который все время читает, — будто бы он продал душу

нечистому.

— Бог его разберет, — пробормотал лесоторговец; новость его не заинтересовала, однако слова Баутри напомнили о некоем уговоре. — Я как раз сегодня утром договаривался о встрече с одним джентльменом, а мне придется ехать в Шертон-Аббас встречать дочку.

— Интересно, сколько доктор получил за свою душу, — сказал старый Тимоти Тенге.

— Это все только бабьи россказни, — продолжал Баутри. — Говорят, что он разыскивал книги не то по какой-то тайной науке, не то по черной магии, и, чтобы никто в округе не прознал про это, выписал их прямо из Лондона, а не из Шертона. Посылку же по ошибке принесли к священнику, а того не было дома. Жена возьми и раскрой ее, а когда почитала их и поняла, что ее муж — еретик и погубит детишек, с ней сделался обморок. Но тут он пришел и сказал, что ничего такого не знает, и догадался, что книги посланы этому самому мистеру Фитцпирсу, поэтому написал на посылке «Остерегайтесь!» — и отправил ее с пономарем.

— Должно быть, занятный малый, — высказался столяр.

— Должно быть, — подтвердил старый Тимоти Тенге.

— Чепуха! — решительно сказал мистер Мелбери. — Этот джентльмен просто любит науки, философию, поэзию и тому подобное; ему здесь скучно, вот он и пристрастился к чтению.

— М-да, — сказал старый Тимоти Тенге, — странно, что все доктора чем хуже, тем лучше. Я хочу сказать, что, если услышишь о них такое, можно поставить десять к одному, что они вылечат вас, как никто.

— Это верно, — с чувством подтвердил Баутри. — Кто как, а если со мной что случится, я теперь пойду не к старому Джонсу, а прямо к этому. В прошлый раз старый Джонс прописал мне такое лекарство, что я и вкуса его не почувствовал.

Как знающий человек, мистер Мелбери не прислушивался к подобным суждениям, тем более что его занимали мысли о деловом свидании, про которое он чуть было не позабыл. Он прохаживался взад-вперед по сараю и глядел себе под ноги, как обычно бывало с ним в минуты нерешительности. Руки и ноги у него были прямые, почти негнущиеся — следствие тяжелой физической работы, ибо в молодости он начинал лесорубом, а в люди выбился только благодаря трудолюбию и выносливости. Он мог бы порассказать о каждом

ушибе, о каждом вывихе: это он заработал, когда один нес домой на левом плече длинное бревно от Татком-Боттома; это — когда на лесоповале его ударил по ноге вяз; другую ногу он растянул, корчуя пень. Изнуренный тяжелым трудом, он едва дотягивал до ночи, но на следующее утро вставал как ни в чем не бывало: усталость проходила и, казалось, никогда не вернется, и, уверенный в непобедимой силе молодости, вновь возвращался к трудам. Но годы предательски копили болезни, и на склоне лет Мелбери поразили ревматизм, подагра и судороги, в которых он безошибочно узнавал то или иное происшествие, от которого своевременно не предостерегся.

Бабушка Оливер позвала Мелбери завтракать, и он ушел. На кухне, где во избежание лишних хлопот хозяева завтракали в зимнее время, он уселся у очага и долго глядел на голубоватые блики, плясавшие на побеленной стене, которую слегка желтил свет из окна.

— Прямо не знаю, что делать, — сказал он наконец жене. — Совсем забыл, что в двенадцать я должен встретиться с управляющим миссис Чармонд в Круглом лесу, а мне еще надо съездить за Грейс.

— За ней может съездить Джайлс. Это даже

поможет им лучше сдружиться.

— Можно и так, только мне хотелось бы съездить самому. До сих пор я всегда сам встречал ее. Так приятно приехать в Шертон и ждать ее! Она может еще и расстроиться, если я ее не встречу.

— Ты сам расстроился, а за нее не беспокойся: ее встретит Джайлс, — сухо сказала миссис Мелбери.

— Ладно… пошлю его.

Спокойствие миссис Мелбери действовало убедительней, чем горячность, которая не привела бы ни к чему. Вторая жена лесоторговца отличалась уравновешенностью; она нянчила Грейс, когда мать той была смертельно больна, и успела привязать к себе девочку. Когда матери не стало, Мелбери, опасаясь, что единственная женщина, которая может позаботиться о его дочери, вдруг покинет их, уговорил кроткую Люси выйти за него замуж. Эта сделка — а это была отчасти сделка — оказалась удачной: Грейс было хорошо, да и сам мистер Мелбери не раскаивался.

Он возвратился в сарай и, увидев Джайлса, сообщил ему о своем намерении.

— Она приедет не раньше пяти: ты успеешь закончить дела и встретить ее, — сказал Мелбери. — Возьми зеленую двуколку, на ней ты

доедешь скорее, и вам не придется возвращаться в потемках. За вещами можно послать фургон.

Не подозревая, что лесоторговец стремится загладить свою вину, Уинтерборн счел все это счастливой случайностью; он еще более мистера Мелбери торопился сбыть саженцы до приезда Грейс, поэтому был готов отправиться в путь сейчас же.

Мистер Мелбери позаботился о том, чтобы выезд имел достойный вид. Колеса двуколки, которые в зимнее время мыли редко, ибо их тут же залепляла дорожная грязь, были сегодня надраены до блеска. Сбрую начистили ваксой, и, когда уже была запряжена старая белая лошадь, а Уинтерборн сидел на козлах, готовый тронуться в путь, мистер Мелбери вышел с сапожной щеткой и собственноручно обмахнул сверху желтые копыта лошади.

— Видишь ли, Джайлс, — приговаривал он, — она ведь из новомодной школы, и простые домашние вещи могут ей не понравиться. Женский глаз приметлив. Мы тут живем в стороне ото всего и не замечаем нашу грязь, а она только что из города и сразу все углядит.

— Углядит, — подтвердил Джайлс.

— И будет нас презирать.

— Не будет.

— Верно, верно, это я только так сказал. Она очень хорошая и не будет нас презирать. Но ведь она столько знает, да еще с последнего приезда столького навидалась, что надо уж постараться, чтобы мы ей понравились. Она не была у нас целый год, потому что летом ездила за границу; я на все иду — только бы ей было лучше. Понятно, мы ей покажемся мелкими поначалу — конечно, только поначалу.

Мистер Мелбери старался делать вид, что осуждает собственную незначительность, но его интонации выдавали гордость: еще бы, разве это возвышенное, утонченное существо не было его безраздельной собственностью? Иные чувства испытывал Джайлс: его терзали сомнения, он больше не ждал ничего хорошего, ибо все слова мистера Мелбери относились непосредственно и к нему, — поэтому неодобрительным взглядом окинул свой костюм.

В сезон посадок Джайлс обычно возил на рынок яблоньку как образец и рекламу своего дела. Эту яблоньку, сегодня привязанную к двуколке, придется отдать кому-нибудь в городе, чтобы она не смущала взгляда возвращающейся домой мисс Грейс Мелбери.

Двуколка тронулась; веточки яблоньки затрепетали; мистер Мелбери скрылся за дверью, но не успела двуколка исчезнуть из виду, как он выбежал на улицу и прокричал:

— Эй, Джайлс! — Задыхаясь, он нагнал Уинтерборна и вручил ему несколько пледов. — Вдруг вечером похолодает. Она, может быть, захочет укутаться во что-нибудь теплое. И еще, Джайлс, — добавил он, когда молодой человек уложил пледы и натянул вожжи, — объясни ей, что я бы, конечно, приехал сам, но у меня важное дело с управляющим миссис Чармонд. Не забудь.

Он стоял и смотрел на дорогу, по которой удалялась двуколка с Уинтерборном и, как с ним часто бывало в минуты волнения, отрывисто бормотал:

— Ну вот, теперь, может, они столкуются — и делу конец! Жалко отдавать такую дочь за него… Черт знает как жалко… И все же надо… ради его отца.

Глава V

По дороге в Шертон-Аббас Уинтерборн не испытывал ни воодушевления, ни подавленности. Займись он рефлексией, к которой все больше склоняются влюбленные наших дней, он, вероятнее всего, почувствовал бы гордость, признав за собой редкое достоинство — способность в трудные минуты сдерживать чувства и не терять здравого смысла. Но ни о чем подобном он не задумывался. Не размышлял он и над тем очевидным обстоятельством, что хоть и питал самые теплые и искренние чувства к Грейс Мелбери, но рабом ее никоим образом не был. Тут надо вспомнить, что он не видел ее целый год.

Выезжая на длинный плоский тракт, утоптанный в те времена, когда путешествовать означало ходить пешком, Уинтерборн заметил перед собой съежившуюся фигурку в деревянных башмаках. Весь вид решительно шагавшей и занятой своими мыслями девушки ясно говорил, что идет она по делу, а не ради удовольствия. Нагнав ее, он узнал Марти Саут.

«Клик-клик-клик», — стучали деревянные башмаки, но девушка не оборачивалась, поскольку

давно уже догадывалась, что приближающейся повозкой правит Джайлс. Ей было не по себе, но, зная, что от встречи не уклониться, она только сжала задрожавшие губы и, чтобы не выдать себя, зашагала еще решительнее.

— Марти, отчего вы в деревяшках? Дорога, правда, грязная, но обочины ведь сухие.

— Оттого что берегу ботинки.

— Но идти двенадцать миль в деревяшках — вы же собьете ноги. Ну-ка влезайте сюда.

Подумав, Марти сняла башмаки, постучала ими о колесо, чтобы вытряхнуть набившиеся камешки, и уселась в двуколку перед подрагивавшей яблонькой. В дорогу она надела большой чепец, скрывший отсутствие волос так искусно, что ее внешность почти не пострадала. Впрочем, Джайлс все видел и прекрасно понимал, в чем дело, так как подобная купля-продажа в этих краях совершалась хоть и нечасто, но не впервые. Он не подозревал только, что проданное сокровище совсем рядом, в каких-нибудь двух футах от него. Длинные каштановые пряди Марти лежали у нее в корзинке в пакете из оберточной бумаги, который она не могла никому доверить ради сохранения тайны.

Неуверенным голосом Джайлс осведомился о

здоровье мистера Саута.

— Отцу лучше, — ответила Марти, — через день-два сможет работать. Да он бы давно был на ногах, если бы не дерево. Ему все кажется, что его вот-вот придавит наше дерево.

— Вы, должно быть, поняли, отчего я нечасто справляюсь о вашем отце, — продолжал Уинтерборн.

— Кажется, да.

— Вы думаете, дело в домах?

Марти кивнула.

— Поймите меня, Марти, я в самом деле беспокоюсь о вашем отце, а не о домах, которые потеряю, если он умрет. Хотя дома, конечно, не шутка — от них идет половина моих доходов… Как нелепо, что дома сдаются пожизненно: из-за этого возникают такие сложные отношения!

— После смерти отца они перейдут к миссис Чармонд?

— Да.

«Как и мои волосы», — подумала Марти. Так, разговаривая, они подъехали к городу, но Марти не могла позволить себе проехать рядом с Джайлсом по улице.

— Это право принадлежит другой, — сказала она с шутливым вызовом, надевая деревянные

башмаки. — Хотела б я знать, о чем вы сейчас думаете! Спасибо, что подвезли на такой красивой двуколке. До свидания.

Он слегка покраснел, покачал головой и въехал в город. Его путь лежал мимо церквей, мимо аббатства и других зданий, которые этим ясным светлым утром обладали четкостью линий первоначального замысла, словно на несколько мгновений перед нашим равнодушным веком вспыхнула мечта их строителя, какого-нибудь Виларса или другого средневекового зодчего, так и не познавшего славы. В прозрачном воздухе это видение предстало перед Джайлсом, но он не был способен понять его и равнодушно свернул во двор трактира.

Марти, шедшая той же дорогой, спешила в парикмахерскую мистера Перкомба. Он был главным лицом в своей профессии на весь Шертон-Аббас. К его клиентуре принадлежали боковые отпрыски знатных родов, поневоле скромно живущие в небольших особнячках этого старинного города, местное духовенство и прочие знатные персоны. Для некоторых из них он изготавливал парики, но и те, кто не прибегал к его услугам при жизни, неизбежно попадали в его руки после смерти для последнего туалета. В силу этих обсто-

ятельств на его доме не было вывески, сам же он именовал себя аристократическим куафером.

Тем не менее эта деятельность не давала ему возможности прокормить семью, а ведь дети должны быть сыты, поэтому во дворе лицом к переулку на его доме висела обычная вывеска обычной цирюльни, которая ничего общего не имела с солидным салоном, выходившим на главную улицу. Здесь субботними вечерами с семи до десяти он без передышки взимал по два пенса с работников окрестных ферм, стекавшихся к нему толпами. Так он и жил.

Марти, разумеется, вошла в салон со стороны улицы и молча вручила ему пакет.

— Спасибо, — сказал обрадованный парикмахер. — Я совсем было отчаялся после того, что услышал от тебя вчера вечером.

При упоминании о вчерашнем разговоре она отвернулась, чтобы скрыть стоявшие в глазах слезы.

— Ни слова о том, что я тебе сказал, — проговорил он шепотом, так как в салоне были посетители. — Впрочем, я вижу, что на тебя можно положиться.

Исполнив это мучительное обязательство, Марти безразлично зашагала по другим делам, а

разделавшись с ними часам к четырем, на обратном пути вновь оказалась на рыночной площади, где нельзя было не заметить Уинтерборна. Каждый год в эту пору осени он стоял на площади со своей яблонькой, которая высоко поднимала над толпой ветви и наводила людей на благую мысль о садах среди тесных зданий. Когда Марти в последний раз взглянула на Джайлса, он стоял в стороне и сжимал деревцо как древко знамени, но сам смотрел в землю и не старался выставить свой товар напоказ. Его торговля как сидром, так и саженцами обычно шла не слишком успешно, ибо если он заговаривал с покупателем, никогда не старался расхвалить свой товар, а это, разумеется, не служило к пользе дела.

В это самое мгновение Джайлс тоже поднял глаза, только взгляд его обратился в другую сторону, и лицо вспыхнуло от радости и удивления. Обернувшись, Марти увидела стройную юную особу, в которой признала мисс Грейс Мелбери, впрочем, лучше одетую и более изысканную, чем в прежние времена. Яблонька словно пригвоздила Джайлса к месту; не в силах шагнуть, он свободной рукой снял шляпу и растерянно смотрел, как Грейс на цыпочках пробирается к нему по грязи.

Марти догадалась, что столь ранний приезд мисс Мелбери был неожиданностью для Джайлса и что он не готов к встрече. Мелбери говорил ему, что Грейс прибудет не раньше пяти, и весь день перед ним маячил этот срок. И вот оказывается, что она уже здесь и в его приготовлениях нет смысла. Джайлс нахмурился, видя, что ей пришлось самой разыскивать его и что она чувствует неловкость от встречи на рыночной площади под десятифутовой яблонькой. Сняв перчатки, нарочно купленные в дорогу, Грейс протянула Уинтерборну белую руку с розовыми пальчиками. Рукопожатие, осененное яблонькой, являло собой зрелище, какого не знали улицы Шертон-Аббаса.

В выражении лица Грейс и словах приветствия была вполне объяснимая сдержанность. Действительно, по сравнению с фермерами Джайлс Уинтерборн был недурно одет и неплохо воспитан, но рядом с Грейс Мелбери выглядел деревенщиной. В задумчивой тишине Малого Хинтока ему порой приходило в голову, что внешние, малосущественные свойства человека — скажем, форма и цвет шляпы, покрой пиджака, фасон ботинок или случайный взгляд, жест, поза — могут сильно повлиять на мнение женщины

о мужчине. И сейчас его обычное скептическое отношение к себе и окружающему миру удержали Джайлса от каких-либо проявлений радости. Грейс мгновенно почувствовала, что ей следует быть суровой и этим наказать его нерешительность.

Отдав яблоньку первому встречному, охотно принявшему обременительный подарок, Уинтерборн тут же направился с Грейс к трактиру, где остановился утром. Марти шагнула было вперед, чтобы поклониться мисс Мелбери, но удержалась и отступила за ближайший фургон.

«Зачем я им?» — подумала она, критически оглядывая спутницу Уинтерборна.

Описать Грейс Мелбери в эту минуту, да и в любое другое время, весьма затруднительно. С высшей точки зрения описать человека вообще невозможно: как-никак в нем сосредоточена целая вселенная, — но в данном случае, даже не призывая на помощь философию, придется признать, что едва ли когда-нибудь попытка оценить женщину по ее внешности бывала менее успешной. Попросту говоря, Грейс Мелбери в иные минуты казалась очаровательной, в иные — нет: все зависело от ее настроения и состояния здоровья.

Впрочем, если говорить только о внешности, Грейс была блондинка с чистым, скорее бледным, нежели румяным, лицом и тонкой гибкой фигурой. В ее глазах читалось стремление узнать, что думает собеседник, прежде чем высказать свое мнение, а возможно, и посмотреть, как поступят другие, прежде чем самой решиться на поступок. В очерке ее тонких нежных губ, по-видимому, едва привыкших сдерживать чувства, была мягкость, скрывавшая заметное в ее чертах болезненное самомнение. Работая над портретом Грейс, живописец, наверное, написал бы ее красивые брови праутовской или ван-дейковской коричневой.

В платье Грейс тоже не было ничего особенно примечательного, разве что для шертонских глаз покрой его выдавался своей новизной. Будь это платье даже экстравагантно — что бы это прибавило к нашему портрету? Ничто не говорит о личности женщины меньше, чем ткань, цвет, покрой ее одежды, ибо они от нее не зависят: женщина едва успевает бросить на них одобрительный взгляд, когда ей укажут, какой надо носить фасон и цвет, потому что где-то за нее уже решили, что сейчас надо одеваться так, а не иначе.

Бегло взглянув на Грейс, люди замечали ничтожно мало — главным образом то, что не было ею самой. Переменчивая и неуловимая, она имела мало общего с образом, представшим перед глазами шертонцев; она оставалась загадкой, и разгадать ее сущность можно было, лишь соединив все случайно подмеченные движения и взгляды, а на такое постоянное участливое внимание способна только любовь.

Воспользовавшись тем, что Грейс и Уинтерборн задержались в городе, Марти Саут поспешила домой: ей хотелось уклониться от встречи с ними в дороге, чтобы не помешать их приятному уединению. Она шагала так торопливо, что проделала треть пути, когда обнаружила, что в быстро сгущавшихся сумерках ее нагоняет повозка. Взбираясь на холм, она ясно различила очертания двуколки у поворота в низине: головы ехавших в ней, казалось, слегка наклонялись друг к другу, как вожжи сближают непослушных коней, — и прибавила шагу.

Между ними, однако, оказался еще один экипаж — очевидно, двухместная карета, ехавшая в том же направлении с зажженными фонарями. Когда карета нагнала девушку — а на это потребовалось немало времени, ибо Марти шагала

быстро, — было уже совсем темно, и за ярким светом фонарей не удавалось разглядеть, кто сидит внутри.

Марти еще раньше подумала, что, если не отставать от кареты, быть может, удастся избежать унизительной встречи с Грейс и Уинтерборном, поэтому, когда на долгом подъеме карета поравнялась с ней, она зашагала рядом с колесами, ярко освещаемая светом ближайшего фонаря. Чуть-чуть отстав, она заметила, что карета вдруг остановилась, и, к изумлению Марти, кучер через плечо спросил, не надо ли ее подвезти. Самое странное было то, что кучер пригласил ее, несомненно, не по своему желанию.

Марти с радостью согласилась; после целой ночи трудов и дня на ногах ее одолевала усталость. Взобравшись на козлы рядом с кучером, она молча радовалась такой удаче. Кучер был огромен и суров с виду, и Марти долго не решалась к нему обратиться, но наконец проговорила:

— Кто это так любезно пригласил меня?

— Миссис Чармонд, — величественно ответил ее сосед.

Марти взволновало это имя, столь тесно связанное с переживаниями минувшей ночи, и она прошептала:

— И карета ее?

— Да, она сама в ней едет.

Марти подумала, что миссис Чармонд узнала ее в свете фонаря по стриженой голове — лицо Марти упорно отворачивала — и догадалась, по чьему желанию острижена эта голова.

Марти была недалека от истины. Из окна кареты смотрело уже не очень молодое красивое лицо с блестящими глазами, в которых был виден ум, странный и непостижимый; впрочем, сердце этой женщины, не чуждое внезапным порывам, воспламенялось порой безудержной страстью. Вот и сейчас, узнав девушку, миссис Чармонд поддалась движению души, очевидно, испытывая радость при виде Марти, внешность которой свидетельствовала об успехе парикмахера.

— Удивительно, что она тебя пригласила, — важно произнес кучер. — Я такого что-то не припомню, она деревенских обычно не замечает.

Марти промолчала. Несколько раз она оглядывалась в надежде увидеть возвышенное существо, которое, как верно заметил кучер, редко спускалось с облаков и снисходило к дольним крестьянам, однако леди не было видно. Она поискала глазами мисс Мелбери с Уинтерборном.

Их лошадь временами чуть не тыкалась мордой в задок кареты миссис Чармонд, но они ни разу не попытались выехать вперед и оказались на свободной дороге, лишь когда карета свернула к воротам парка. Здесь карета остановилась, и в тишине, наступившей перед открытием ворот, Марти услышала негромкий гортанный звук, нежный, как ветерок.

— Что это? — прошептала она.

— Хозяйка зевнула, — ответил кучер.

— С чего это она?

— Да с того, что она привыкла к удивительной, прекрасной жизни, а здесь ей скучно, поэтому она снова уедет.

— Такая богатая, все может, и вдруг зевать! — пробормотала девушка. — Выходит, жизнь у нее не счастливей моей.

Когда Марти слезла с козел, свет фонаря опять упал на нее, и нежный голос из отъезжавшей кареты произнес:

— До свидания.

— До свидания, сударыня, — сказала Марти. Ей опять не удалось разглядеть лица миссис Чармонд, второй из двух женщин, весь день занимавших ее мысли.

Глава VI

Тем временем на той же дороге Уинтерборн и Грейс Мелбери предавались своим мыслям и чувствам.

При выезде из города со всех сторон к ним обращались любопытные взгляды; молодые люди думали, что Уинтерборн неплохо устроился, и гадали о его отношениях с мисс Мелбери. Один Уинтерборн ничего не подозревал. В своих хлопотах он не замечал ни толпы любопытных, ни наряда Грейс и не догадывался, какое зрелище представляют они вдвоем на фоне шертонского пейзажа.

До отъезда они успели обменяться несколькими короткими фразами. Грейс никак не могла взять в толк, что, кроме Джайлса, ее никто не встретит, и все время находилась в некотором замешательстве. Когда город остался позади, Джайлс заговорил:

— Смотрите, как странно выглядит браунлейская ферма: все дома и сараи перенесены из низины на холм.

Грейс согласилась, что ферма и впрямь выглядит странно, хотя, промолчи он, ничего бы не

заметила.

— В этом году паслен так уродился, что они не знали, куда его девать, — продолжал Джайлс, кивая в сторону сада, где высились груды неубранных яблок.

— Да, — сказала она, поглядев на другой сад.

— Да нет, вы не туда смотрите, это же не паслен, а яблони! Разве вы забыли, как выглядит паслен?

— Боюсь, что да, к тому же сейчас темно.

Уинтерборн замолк. Он видел, что Грейс охладела к увлечениям и познаниям детства. Может быть, она так же охладела и к нему, мелькнуло у него.

Так или иначе, но в то время как перед его глазами вставали яблони, сараи и фермы, перед нею разворачивались иные, далекие видения, столь же простые и невинные, но совсем иные — широкая лужайка в фешенебельном пригороде веселого города, вечнозеленая листва при свете заходящего солнца, под которой резвятся, щебечут, смеются от полноты счастья прекрасные девушки в изысканных голубых, коричневых, алых, черных и белых платьях, а из открытых окон дома льются звуки арфы и фортепиано. К родителям этих девушек Джайлс обратился бы не

иначе, как с почтительным «сэр» или «мэм» — поженски проницательная Грейс Мелбери не могла этого не сознавать. Она судила с высоты своих двадцати лет, и, на ее взгляд, скромные фермы не могли идти ни в какое сравнение с рисовавшейся ей картиной. Хотя Джайлс и провел всю жизнь в уединении лесного края, он все же сообразил, что завел разговор на слишком низкую тему, поэтому решил заговорить о самом главном.

— Помните, когда-то давным-давно мы дали друг другу одну клятву. Я часто о ней думаю. Я хочу сказать, что если и сейчас, когда вам двадцать, а мне двадцать пять, мы все еще любим друг друга…

— Это была просто детская болтовня.

— Ах вот оно что! — вырвалось у Джайлса.

— Я хочу сказать, что мы были тогда детьми, — деликатно поправилась Грейс. Прямота его слов показывала, что он мало переменился.

— Прошу прощения, меня послал встретить вас мистер Мелбери.

— Я поняла. И очень рада этому.

От этих слов он, казалось, успокоился.

— Мы тогда возвращались с пикника, — продолжал он, — все набились в крытый фургон вашего отца, как овцы на аукционе, а мы с вами

сидели сзади. Темнело, и я кое-что сказал вам — точных слов я не помню, — но вы мне позволили обнять вас за талию, но тут ваш отец — он сидел на передке — вдруг перестал толковать с фермером Болленом и начал раскуривать трубку. Я отдернул руку, но огонь вспыхнул ярко, кое-кто нас увидел, и все стали смеяться. А ваш отец, вместо того чтобы рассердиться, подобрел и даже как будто обрадовался. Вы уже позабыли об этом?

Нет, теперь, когда он упомянул, при каких обстоятельствах это произошло, она, признаться, все вспомнила.

— Но боже, я была тогда совсем маленькая!

— Что вы, мисс Мелбери, разве так можно! Маленькая! Вы сами знаете, что это не так.

Грейс тотчас объявила, что ей не хочется спорить с дорогим старым другом, и эти слова слетели с ее губ с уклончивостью, в которой всегда есть что-то утешительное. Те времена кажутся ей такими далекими, продолжала она, что если тогда она была подростком, то теперь, должно быть, совсем старуха.

— Вы когда-нибудь пытались взглянуть на жизнь с философской, общей точки зрения? — спросила она.

— Трудно сказать, — ответил Джайлс; его глаза

различили впереди темное пятно — это была карета.

— Я думаю, иногда полезно рассматривать себя как лодку, плывущую по потоку среди других лодок, и размышлять о том, как всем избежать крушения, а не только о том, как спасти себя самого, — продолжала она. — Хотите, я расскажу вам о Бате, или Челтнеме, или о городах на континенте — я там была летом?

— Конечно хочу.

И она принялась описывать города и людей в тех же словах, в каких бы их описала любая другая женщина в Англии любому собеседнику: до того в ее рассказе не было ничего личного, свойственного ей одной, — а закончив, весело сказала:

— А теперь расскажите, что произошло в Хинтоке в мое отсутствие.

«Она готова говорить о чем угодно, только не о нас двоих», — подумал Джайлс.

В самом деле, образование и воспитание так сильно изощрили ум мисс Мелбери, что она научилась без запинки болтать о чем угодно, умалчивая о том, что знала лучше всего и что ей было интересней всего на свете, — о себе самой.

Не успел Уинтерборн довести до конца свой

бесхитростный рассказ, как они нагнали карету, уже некоторое время маячившую перед их глазами. Мисс Мелбери спросила, чей это экипаж.

Уинтерборн, давно заметивший карету, ни разу не взглянул на нее внимательно, а сейчас, всмотревшись, узнал карету миссис Чармонд.

Она катила легко и плавно и, видимо, вызывала у Грейс куда большую симпатию, чем отцовская двуколка, в которой ее везли домой.

— Коли на то пошло, эти мили мы пролетим так, что держись, — сказал Уинтерборн, угадав ее мысли, и в подтверждение словам хлестнул лошадь. Старая кобыла мистера Мелбери чуть не ткнулась носом в задок ослепительного экипажа миссис Чармонд.

— Там на козлах рядом с кучером Марти Саут, — сказал Уинтерборн, увидев знакомое платье.

— Бедная Марти! Надо сегодня же пригласить ее зайти. Как это она там оказалась?

— Не знаю. Но это очень странно.

Так несколько человек, чьи судьбы тесно переплелись, ехали вместе по одной дороге, пока Уинтерборн не свернул на Малый Хинток, где чуть ли не первым на их пути был дом лесоторговца. Падавший из окон свет выхватывал из темноты белые цветы лаурестина и бликами

ложился на блестящие листья лаврового дуба. Отчетливо виднелись комнаты, в гостиной огонь камина отражался в стекле картин и книжного шкафа, а на кухне огонь очага плясал на донышках сковородок и кастрюль.

— Погодите минутку, я хочу полюбоваться родными местами, — попросила Грейс.

На кухне готовился обед. Обычно Мелбери обедал в час, но сегодня отложил трапезу до приезда дочери. Старый шаткий вертел, укрепленный на тагане, поворачивался при помощи проволоки, протянутой через блок на потолке к камню, висевшему в углу кухни, и в руках бабушки Оливер гремел, как мельничный жернов.

Огромная тень головы миссис Мелбери падала на стену и потолок гостиной, но, прежде чем Грейс удалось наглядеться на дом, ее присутствие обнаружили, и отец с мачехой поспешили навстречу.

Семейство Мелбери относилось к той породе людей, что не любят выставлять напоказ сильные чувства, — свойство, обычное у деревенских жителей и резко отличающее их от обитателей городов. По виду ничего не значащие слова надежно скрыли истинные переживания, и встреча Грейс с родными на посторонний взгляд была

спокойной и сдержанной. Правда, вводя Грейс в дом, отец так забылся, что совсем упустил из виду Джайлса, так же как, кстати, о нем не подумала и сама Грейс. Молча въехав во двор, Уинтерборн вызвал из сарая приставленного к лошадям человека, который все свободное время проводил в бесконечных пересудах с другими работниками. Джайлсу хотелось войти в дом, и он вернулся к дверям.

Семейство было уже в гостиной, но об Уинтерборне никто так и не вспомнил. По-прежнему там горел один камин, озаряя лицо и руки Грейс, отчего они казались удивительно прекрасными и гладкими, особенно рядом с лицом и руками отца и миссис Мелбери; свет проникал и сквозь завитки волос на висках, как солнечные лучи сквозь листву. Глядя на дочь, отец изумлялся, как сильно она повзрослела и переменилась за время отсутствия.

Уинтерборн все это видел, но, не зная, входить ему или нет, стоял и машинально водил пальцами по полустертым буквам на косяке — инициалам прежних обитателей дома, тех, кто в нем жил и умирал.

Нет, решил он, на сегодня хватит, он не станет входить: они забыли о нем, о том, что он привез

Грейс домой, — и все-таки его задевало, что Мелбери, так настойчиво желавший, чтобы именно он съездил за дочерью, вдруг отнесся к нему с таким пренебрежением.

Джайлс медленно зашагал по тропинке домой, и у поворота, за которым пропадала из виду усадьба лесоторговца, в последний раз оглянулся. Потом он постарался вообразить, что говорит в эту минуту Грейс, и, усмехнувшись, подумал: «Ясно, что не обо мне!» Он посмотрел в другую сторону и увидел одинокую кровлю и трубу над убогим домиком Марти и представил себе, как в эту самую минуту она в одиночку сражается с прутьями, горшками и мисками.

Тем временем в доме лесоторговца шел оживленный разговор, к теме которого Джайлс Уинтерборн, как он правильно понял сам, не имел никакого отношения. Одной из причин было то обстоятельство, что мистер Мелбери неожиданно для себя увидел, что дочь его вполне взрослая женщина, и так изумился этому открытию, что образ Джайлса, о котором он все же не мог позабыть совсем, отодвинулся куда-то в самые дальние уголки его сознания. Другой причиной был утренний разговор с управляющим миссис Чармонд, при котором несколько минут

присутствовала сама леди. Она давно продала Мелбери лес на корню, а сейчас, когда пришло время рубки, предоставила ему почти полную свободу действий. Как раз об этом и шла беседа в гостиной, в то время как Уинтерборн предавался размышлениям на улице; Мелбери был счастлив, что внес ясность в свои отношения с божеством окрестных рощ и лесов, и эта ясность уравновешивала неопределенность в его мыслях касательно Уинтерборна.

— Она мне вполне доверяет, — говорил Мелбери, — я могу теперь валить, пилить, рубить все, что мне нужно, любое дерево в ее лесах, сам могу назначать цену и вести дела. Видит бог, на ее месте я так бы не поступил. Однако ее доверие может весьма пригодиться… Хорошо бы, ей по душе пришлись наши края, тогда бы она жила здесь круглый год.

— Да дело не в том, что миссис Чармонд так тебе доверяет. Просто она терпеть не может наш Хинток, — заметила миссис Мелбери.

После обеда Грейс взяла свечу и отправилась бродить по комнатам старого дома, в котором чувствовала себя сейчас почти чужой. Каждый уголок, каждый предмет вызывали воспоминание и что-то меняли в нем. Потолки оказались

ниже, чем ей помнилось по другим приездам, при взгляде на стены бросались в глаза все их неровности и старомодность обоев. Ее собственная спальня выглядела и роднее и незнакомее, чем при отъезде. Обитавшие в ней привычные вещицы смотрели на нее с беспомощной неподвижностью, словно в отсутствие хозяйки не раз пытались сдвинуться с места, да так и не сумели. Над столиком, где горела свеча, когда Грейс зачитывалась в постели до полуночи, на потолке виднелся бурый круг копоти. Она не знала, что отец принял особые меры, чтобы этот круг не исчез во время уборок.

Завершив обход своего бесполезно просторного дома, Грейс почувствовала усталость от дня, проведенного в пути, и легла, как только ее оставили отец с мачехой, заходившие осведомиться, удобно ли ей и горит ли камин. Но стоило Грейс оказаться в постели, как сонливость словно рукой сняло, и она пожалела, что улеглась так рано. От нечего делать она прислушалась к старым знакомым звукам, доносившимся с первого этажа, потом стала смотреть в окно. Ставня была открыта, как она любила в детстве, и на фоне неба обрисовывались неясные вершины деревьев на соседнем холме. Ниже границы света и

мрака за ходившими под ветром ветвями мерцал единственный крохотный огонек. Судя по местоположению, он горел в окне дома на склоне холма. Когда Грейс приезжала сюда в последний раз, дом пустовал. «Любопытно, кто там живет теперь», — подумала она.

Однако дальше этой мысли она не пошла, продолжая лениво глядеть на огонек, как вдруг поняла, что он постепенно меняет цвет. Вот он стал сапфирово-синим, вот фиолетовым и, наконец, красным.

Грейс начало разбирать любопытство, она села в постели и стала внимательно следить за огоньком. Подобное явление привлекло бы к себе внимание где угодно, но в Хинтоке, как понимала Грейс, его можно было принять за чудо. В этом краю лесов почти все, что доступно глазу днем или ночью, до сих пор было непосредственно связано с чередованием времен года, и вдруг появляется нечто иное, выбивающееся из их размеренного хода, чужое, неведомое.

Грейс слышала, что на первом этаже готовятся ко сну: отец ходил по дому и запирал двери на засовы. Потом запели ступеньки — отец и мачеха прошли к себе мимо ее комнаты. Последней поднялась наверх бабушка Оливер.

Грейс выскользнула из постели, пробежала до двери и, отодвинув засов, окликнула старуху:

— Бабушка, я не сплю. Зайдите ко мне на минутку.

Через мгновение Грейс уже лежала под одеялом, а старуха, погасив свою свечу, уселась на край постели.

— Что это за свет там на холме? — спросила Грейс.

Миссис Оливер взглянула в окно и сказала:

— Ах, тот. Это у доктора. Он все время что-нибудь вытворяет. Вы, должно быть, еще не знаете, что у нас поселился доктор по имени мистер Фитцпирс.

Грейс подтвердила, что не знает.

— Так вот, мисс, поселился и хочет обзавестись тут практикой. Я-то его хорошо знаю, потому что в свободное время хожу к нему мыть полы — с позволения вашего батюшки. У доктора на весь дом один слуга-мальчишка, а сам он холостяк. Я-то его хорошо знаю, он иногда говорит со мной совсем как с родной матерью.

— Неужели?

— Да, именно так. Я его как-то спросила, отчего он поселился в нашем безлюдье. А он говорит мне: «Бабушка, дело простое. Я отметил на кар-

те, где на севере кончается практика доктора Джонса, на юге — мистера Тейлора, на востоке — маленького Джимми Грина, а на западе еще чья-то. Потом взял циркуль и нашел середину: эта середина и есть Малый Хинток. И вот я тут…» Бедняга!

— Отчего же бедняга?

— Он мне раз сказал: «Я, бабушка, здесь три месяца, и хоть в обоих Хинтоках с окрестностями немало народу и хоть, говорят, выгодно практиковать в мелких разбросанных деревнях, у меня пациентов что-то маловато. К тому же общества никакого нет, и я прямо с ума схожу от скуки». Сказал и зевнул. Я бы, говорит, «давно свихнулся, кабы не книги да ла-лаборатория и все такое. Я, мол, бабушка, создан для более высокой жизни». И опять принялся зевать.

— А он правда создан для более высокой жизни? Я хочу сказать, он умный человек?

— Ну нет, какое там умный! Уж перелом, верно, залечит и где болит нащупает, особенно если подсказать, но ох уж эти молодые люди! Доживи они до моих годов — сами увидят, какими умниками были в двадцать пять лет! А еще у него есть философие, настоящее философие, послушали б вы, что он мелет! Раз он мне говорит: «Бабушка, с

вашего позволения, все есть ничто. Во всем мире есть только я и не-я». И еще говорит, что руки у человека не свободнее, чем стрелки на часах. Да, все чудные мысли, а глазами глядит куда-то вдаль, точно на Полярную звезду.

— Он, верно, скоро уедет отсюда.

— Да не думаю.

Грейс не спросила почему, заметив, что бабушка колеблется, сказать или не сказать. Наконец старуха не выдержала:

— Только не говорите отцу и матери, мисс, и я открою вам тайну.

Грейс пообещала.

— Он меня хочет купить, потому и не уедет.

— Купить вас? Каким образом?

— Да не душу — тело, когда я помру. Раз как-то я у него убираю, а он и говорит: «Бабушка, у вас огромный головной мозг, а у женщины мозг обычно на четыре унции легче, чем у мужчины». И вот — хи-хи! — стал он меня ублажать, десять фунтов пообещал, чтобы, когда помру, получить мою натомию. А у меня никогошеньки не осталось, и никто плакать по мне не будет, вот я и подумала, что уж лучше я после смерти удружу ближнему. Ну, я и сказала ему, что подумаю да, скорее всего, соглашусь и возьму у него десять фунтов. Только,

мисс, никому ни слова, это тайна. Денежки мне очень пригодятся, а кому от этого худо?

— Разумеется. Только, бабушка, как вы могли на такое пойти! Уж лучше бы я этого не знала!

— Уж лучше бы, это верно, раз оно вам так не по душе, мисс. Да вы не тревожьтесь. Господи — хи-хи! — я еще поманежу его не год, не два!

— Надеюсь. Я даже уверена.

Тут девушка задумалась так глубоко, что беседа сама собой прекратилась, и бабушка Оливер, взяв свечу, пожелала мисс Мелбери доброй ночи. Грейс не сводила глаз с далекого мерцающего огонька, вокруг которого сейчас роились ее неясные раздумья и мечты. Она пыталась в воображении нарисовать образ философа, таившегося за полночным огоньком. Странно, что, вернувшись из огромного мира в Малый Хинток, она нашла в этом заброшенном уголке средоточие передовых идей и поступков, чуждых окружающей жизни и тем похожих на редкое тропическое растение, попавшее в деревенскую живую изгородь. Странное пристанище нашли здесь химические опыты, анатомические исследования и метафизические умозаключения.

Так она размышляла, соединяя предполагаемые занятия человека, который зажег огонек,

с его воображаемыми чертами, но вот ее веки сомкнулись и она уснула.

Глава VII

Всю ночь Грейс Мелбери снился то таинственный доктор-алхимик, то скелет бабушки Оливер, то лицо Джайлса Уинтерборна. Когда она проснулась, стояло ясное утро. Дул северный ветер, вполне приемлемый как компромисс между режущим восточным и промозглым западным. Грейс выглянула за окно в сторону давешнего огонька и сквозь деревья различила далекие очертания дома, в котором поселился доктор. Почему-то при ясном и трезвом свете дня в ней угас интерес к этому незнакомому нелюдимому джентльмену, который так тревожил ее во мраке ночи своей личностью и занятиями, и за туалетом Грейс забыла о нем совершенно.

Меж тем Уинтерборн, хотя и обнадеженный мистером Мелбери, все же был обеспокоен поведением его дочери. Обычно сдержанный, он сегодня поминутно взглядывал на двери дома лесоторговца, ожидая, чтобы оттуда кто-нибудь появился. И вскоре из дому действительно вышли двое: сам мистер Мелбери и Грейс. Они свернули к лесу, и Джайлс, подумав, отправился за ними, и вскоре все трое оказались под сенью деревьев.

В окрестностях Хинтока было много защищенных от ветра низинок, в которых листва деревьев держалась намного дольше, чем на открытых вершинах холмов, поэтому, хоть по сезону ветви и обнажались, местами глазам представала пестрая смесь времен года: кое-где в лощинах пылающий остролист возвышался рядом с едва тронутым желтизной дубом или орешником и зарослями куманики, листва которой маслянисто зеленела, как в августе. Для Грейс это была хорошо знакомая особенность родных мест, вновь увиденная старая картина.

В эту пору особенно остро воспринимается перемена, которую лес каждый раз претерпевает, вступая в зимние месяцы. В прекрасном проступает нечто странное, острые углы занимают место волнистых линий и сквозящих светом поверхностей, и на полотне природы этот внезапный скачок от изысканного к примитивному можно сравнить разве что с шагом назад от передовой живописной школы к рисункам туземцев каких-нибудь тихоокеанских островков.

Уинтерборн ступал, не сводя глаз с двух фигур, двигавшихся впереди него по многоцветному лесу.

Соседи на любом расстоянии тотчас узнавали

мистера Мелбери по длинным ногам, затянутым у лодыжек гетрами, легкой хромоте и привычке уходить в себя, чтобы внезапно, тряхнув головой, с возгласом «м-да!» пробудиться к реальности. Даже белки и птицы, казалось, знали его. Иногда с тропинки сбегала белка и пряталась за стволом от взгляда мистера Мелбери и его дочери, как будто посмеиваясь: «Хо-хо, ты всего-навсего лесоторговец, и у тебя даже нет ружья!»

Они бесшумно ступали по коврам звездчатого мха, шли по шуршащим насыпям листьев, огибали стволы с торчащими корнями, покрытыми мхом и оттого похожими на руки в зеленых перчатках, пробирались сквозь старые вязы и ясени. В развилках деревьев скапливались целые озерца воды, в дождливую погоду они переполнялись и зелеными каскадами выплескивались на ствол. С совсем старых деревьев свисали гроздья древесной губки, похожие на человеческие легкие. Здесь, как, впрочем, и всюду, Несбывшиеся Мечты определяли самый строй жизни и обнаруживали себя не менее ясно, чем в приниженной толпе обитателей городских трущоб. Листва потеряла форму, плавные линии изломаны, в кронах зияют провалы, лишайник высасывает из стволов соки, плющ удушает молодые побеги.

Они вошли в буковую рощу, где под кронами ничего не росло; на молодых ветках еще удержались кое-где листья с лихорадочным румянцем, которые металлически позванивали под ветерком, совсем как железная листва сказочного Ярнвидского леса. Джайлсу удавалось не терять из виду Мелбери и Грейс, пока за деревьями виднелось светлое пятно ее платья, но вот они скрылись из глаз, и Джайлсу пришлось довериться только слуху. Это было нетрудно, так как на всем протяжении их пути с деревьев то и дело взлетали дикие голуби, ударяясь о ветки с такой силой, что непонятно, как они не ломали себе крылья. Ориентируясь по птичьему шуму, Джайлс вскоре вышел к ступенькам, ведущим через живую изгородь.

Стоило ли идти дальше? Взглянув на влажную, утоптанную перед ступеньками почву, он увидел рядом с большими четкими следами легкие отпечатки ботинок явно не местного пошива: Уинтерборн без труда узнавал изделия местных сапожников, шивших обувь по старинке. Легких следов было достаточно для того, чтобы подбодриться и продолжить путь.

Вид леса теперь изменился. Молодые деревья у корня были догола объедены кроликами, там и

тут сквозь подлесок белели кучи свежих щепок и еще не потемневшие срезы на пнях. В этом году была большая рубка леса, о которой лишний раз напомнили донесшиеся до него звуки.

Услышав отрывистый мужской голос, Джайлс вспомнил, что именно на сегодня назначены торги леса и фашинника. Конечно, Мелбери должен быть здесь. Сообразив, что и ему нужно несколько вязанок прутьев, Уинтерборн вышел на поляну, где шел торг.

Покупатели толпились вокруг аукциониста, а когда он умолкал, переходили за ним от одной партии леса к другой наподобие учеников Аристотелевой школы, следовавших за философом по тенистым ликейским рощам. Все это были лесоторговцы, мелкие землевладельцы, арендаторы, крестьяне и прочий люд — главным образом обитатели этого лесистого края. Они щеголяли друг перед другом тростями, в которых запечатлелись самые неожиданные причуды леса. Чаще всего трость являла собой подобие штопора из белого или черного боярышника — эту форму ему придавала мучительница жимолость, обвивавшая и искривлявшая молодые побеги, — так, по слухам, китайцы, бинтуя грудных детей, превращают их в чудовищные живые игрушки. Две женщины

в мужских куртках поверх платьев возили за толпой тележку с бочонком пива, которым они наполняли рога, ходившие по рукам вместе с хлебом и сыром, что они доставали из корзины.

Аукционист орудовал своей тростью как молотком, отстукивая сделку по первому попавшемуся предмету, будь то темя вертевшегося поблизости мальчишки или плечо зеваки, у которого только и было дела, что хлебнуть пива. Это могло бы позабавить зрителей, если бы не строгая неподвижность на лице аукциониста, словно говорившая, что эксцентричность его поступков — не каприз фантазии, а следствие совершенной поглощенности делом.

Мистер Мелбери стоял чуть в стороне от ликейской толпы, и Грейс опиралась на его руку. Среди старомодных платьев странно выделялся ее элегантный наряд, и рядом с ним знакомая красота деревьев приобретала новую прелесть: казалось, они требовали, чтобы и в их одеянии появилось что-то модное, современное. Грейс наблюдала за торгами с интересом — в ней пробудились старые воспоминания.

Уинтерборн подошел и встал рядом; лесоторговец громко называл цену. Грейс молча улыбалась. Чтобы как-то оправдать свое присутствие, Уин-

терборн вступил в торги, хотя лес и фашинник были ему совсем не нужны; при этом он был так рассеян, что доносившийся до него голос аукциониста казался ему одним из обычных звуков леса. Упало несколько снежинок, и встревоженная этой приметой надвигающейся зимы малиновка, понимая, что людское вторжение ей ничем не грозит, уселась на груду продававшегося фашинника и уставилась прямо в лицо аукционисту, поглядывая, правда, не упадет ли какая крошка из корзины с бутербродами. Стоя чуть позади Грейс, Уинтерборн следил за снежинками, которые падали ей то на локон, то на плечо, то на край шляпки; от рассеянности он назначал одну цену нелепее другой и, когда аукционист, кивнув в его сторону, произносил: «Ваше, мистер Уинтерборн», — не имел понятия, что купил: прутья, жерди или бревна.

Ему было досадно, что отец Грейс как будто вовсе забыл о вчерашнем и сегодня не отпускает ее ни на шаг, хотя сам говорил об их помолвке как о решенном деле. С такими чувствами он бродил за толпой взад и вперед, пока шел аукцион, ни с кем не вступая в разговоры. Наконец торг закрылся, и лишь тогда Джайлс осознал размеры своих приобретений. Сотни жердей и стволов

числились за ним, а между тем ему нужно было от силы несколько вязанок прутьев, чтобы работник Роберт Кридл быстрей разводил огонь.

Теперь, когда аукцион кончился, Джайлс решился заговорить с лесоторговцем, однако Мелбери был холоден и краток, Грейс тоже казалась недовольной и смотрела на него укоризненно. Только тут до него дошло, что он, не желая того, перебил у Мелбери лес и взял как раз то, что заранее облюбовал лесоторговец. Обронив всего несколько слов, отец и дочь направились в обратный путь.

Терзаемый мукой раскаяния, Джайлс стоял на поляне до тех пор, пока все не разошлись по домам. Он видел, как Мелбери, не оборачиваясь, шагал рядом с дочерью. Позади них на просеке показалась какая-то дама верхом, ехала в ту же сторону, что и Мелбери, и скоро их нагнала. Лесоторговец снял шляпу, дама остановилась. Издалека было видно, что между ними завязалась беседа. Во всаднице — не столько по очертаниям фигуры, сколько по ливрее грума — Джайлс угадал миссис Чармонд.

Собеседники долго не трогались с места и, казалось, успели много сказать друг другу. А когда наконец Мелбери и Грейс снова зашагали по

просеке, в их поступи появилась некая легкость.

Тогда отправился домой и Уинтерборн. Не желая допустить, чтобы из-за какого-то недоразумения в его отношениях с Мелбери появилась холодность, он пошел к нему в тот же вечер. У ворот ему бросилось в глаза, что окно одной из спален ярко освещено. В нем он увидел Грейс, зажигавшую свечи; в правой руке она держала тоненькую свечку, левую прижимала к груди; она задумчиво следила за каждым фитильком, словно видя в разгорающемся пламени жизнь, которая вступает в пору расцвета. Недоумевая, что бы могла означать эта иллюминация, Джайлс вошел в дом и увидел мистера и миссис Мелбери в состоянии сдержанного возбуждения, о причине которого мог только гадать.

— Простите мое поведение на аукционе, — сказал Джайлс. — Просто не соображал, что делаю. Я пришел сказать, что вы можете взять любую партию леса из того, что я купил.

— Полно, полно! — ответил лесоторговец, махнув рукой. — Тут столько забот, что я об этом давно позабыл. Нам сейчас приходится думать совсем о другом, так что не беспокойся.

Лесоторговца, по-видимому, занимали соображения более возвышенные, нежели лесные

торги, и озадаченный Джайлс перевел взгляд на миссис Мелбери.

— Грейс приглашена назавтра в Хинток-хаус, — услышал он. — Сейчас она примеряет платья. Ей, должно быть, нужна моя помощь. — С этими словами миссис Мелбери вышла из комнаты.

Нет ничего удивительнее, чем язык, временами обретающий совершенную независимость. Мистер Мелбери понимал, что бахвалится. Он всегда осуждал зазнайство, особенно в беседах с Джайлсом, однако, когда разговор касался его Грейс, рассудок немедленно покидал министерство речи.

Уинтерборн выслушал новость с удивлением, радостью и некоторой опаской. Он повторил слова миссис Мелбери.

— Да, — подтвердил гордый отец, без стеснения раскрывая то, что все равно не в силах был удержать в тайне. — Сегодня по дороге с аукциона мы встретили миссис Чармонд — она выезжала верхом. Сначала мы потолковали о делах, а потом она разговорилась с Грейс. Удивительно, как она оценила Грейс за какие-нибудь пять минут. Этакие чудеса делает образование! Они сразу сошлись. Миссис Чармонд, понятно, изумилась, что такая штучка — ха-ха! — вышла из моего дома, и

в конце концов пригласила дочку к себе. Сейчас мисс Грейс как раз перебирает всякие платья, кружева — надо ведь одеться к лицу. — Так как Джайлс не отвечал, Мелбери предложил: — Я сейчас позову ее сюда.

— Нет-нет, не надо. Она же занята, — быстро возразил Уинтерборн.

Почувствовав, что вся его речь была предназначена для Уинтерборна и ничего не значила для него самого, Мелбери тотчас раскаялся. Выражение его лица изменилось, и, делая над собой усилие, он тихо проговорил:

— Что до меня, Джайлс, то она твоя.

— Да-да, спасибо… но я думаю, раз насчет леса все улажено, уж не буду ей мешать. Зайду как-нибудь в другой раз.

Выйдя на улицу, он опять взглянул в окно спальни. Грейс, освещенная таким множеством свечей, что никакая мелочь туалета не могла ускользнуть от ее критического взгляда, стояла перед большим зеркалом в раме, которое недавно подарил ей отец. В шляпке, мантилье и перчатках она смотрела через плечо в зеркало, удостоверяясь, все ли в порядке. Лицо ее выражало ликование, столь понятное в юной девушке, которую завтра ждет праздник близкого знакомства с личностью

новой, интересной и могущественной.

Глава VIII

Предвкушение восхитительного визита, заставившее Грейс Мелбери накануне при шести свечах изучать свой наряд, теперь наполняло ее радостью так, что она ног под собой не чуяла. Как светляк озаряет ночью траву, так все кругом — и воздух, и окрестные леса — озаряло сознание того, что и вблизи родного крова ее сумели оценить по достоинству. Чувства, готовые излиться в любое мгновение, переполняли ее до краев.

С четверть часа она шла по роще, потом миновала живую изгородь, поднялась на холм и с вышины его в узкой лощине увидела наконец Хинток-хаус. Назвать углубление, в котором находилось поместье, низиной, пожалуй, несправедливо: вернее было бы сказать, что это овраг — впрочем, достаточно живописный и даже привлекательный. С того места, где стояла Грейс, легко было попасть камешком в облепленные птичьими гнездами трубы дома. За высоким зубчатым парапетом в серой свинцовой крыше отчетливо виднелись желоба, водостоки, квадраты верхних окон и даже буквы и контуры подошв, для забавы выцарапанные на мягком свинце

праздными людьми.

Фасад дома украшали переплеты обычных для поместья елизаветинских окон с навесами, облицованными местным камнем густого табачного цвета. Каменные стены, там, где они не были увиты другими ползучими растениями, сплошь покрывал лишайник всевозможных оттенков; ближе к цоколю он делался все ярче и пышнее, пока на земле не сливался со мхом.

За домом по склону начинался густой лес, так что корни деревьев приходились выше уровня печных труб. Склон напротив, где стояла Грейс, зарос буйной травой, среди которой виднелось одно-два дерева. Кругом лежали овцы, жевали траву и мирно созерцали окна спальни. Местоположение дома, пагубное для человека, оказалось как нельзя более благоприятным для растительности: обитателям поместья то и дело приходилось прорежать разросшийся плющ и подстригать деревья и кустарники. Дом этот был построен еще в те времена, когда человек не пугался сырости, когда, строя жилище, искал укрытие лишь от бурных стихий, не принимая в расчет те, что подтачивают жизнь исподволь, но теперь, расположенный в овраге Хинток-хаус, явно непригодный для людей, был словно призван

служить наглядным напоминанием их физического упадка. Никакие ухищрения архитекторов не сделали бы Хинток-хаус суше и здоровее, самое яростное невежество было бы бессильно разрушить его красоту и живописность. Растения чувствовали себя здесь как нельзя лучше: этот уголок мог бы вдохновить живописца и поэта тихой жизни, если бы, впрочем, не изнурил их своей атмосферой, — но человеку общительному захотелось бы немедленно бежать отсюда. Извилистой тропинкой Грейс спустилась по зеленому откосу на огибавшую холм дорогу. Снаружи дом был знаком ей с детства, но она никогда не видела его изнутри, а возможность узнать с новой стороны нечто давно знакомое всегда живо нас занимает. Войдя в дом, она ощутила трепет, но тут же вспомнила, что миссис Чармонд, вероятно, одна. Обычно в приезды и отъезды владелицу Хинток-хауса сопровождала родственница, которую считали ее теткой, однако совсем недавно дамы расстались — как говорят, повздорив, — и миссис Чармонд оказалась в печальном одиночестве. Надо полагать, уединение не было ей по вкусу. — Не этим ли объясняется ее неожиданный интерес к Грейс?

Когда доложили о мисс Мелбери, миссис Чар-

монд, как раз находившаяся в галерее близ вестибюля, увидела гостью сквозь стеклянную дверь. С улыбкой она пошла навстречу девушке и сказала, что рада ее видеть.

— Ах вот что привлекло ваше внимание! — продолжала она, заметив, что Грейс смотрит на странные предметы, развешанные по стенам. — Это, видите ли, капканы для браконьеров. Мой муж был знаток этого дела: скупал капканы и самострелы со всей округи и разузнавал их истории — какой из них кому раздробил ногу, какой убил кого насмерть. Я помню, вон тот самострел лесник поставил на пути известного браконьера, но по забывчивости пошел той самой дорогой и, получив весь заряд, умер от раны. Им здесь не место, но я все не распоряжусь, чтобы их убрали. — И шутливо добавила: — Ловушки в доме, где живет женщина… Это могут понять превратно.

Грейс принужденно улыбнулась: мало знакомая с этой стороной женского опыта, она не испытывала к ней особого любопытства.

— Без сомнения, они очень интересны как памятники варварских времен, к счастью, минувших, — сказала Грейс, задумчиво глядя на орудия пытки самых причудливых очертаний: одни с полукруглыми челюстями, другие с пря-

моугольными, — но почти все с ощеренными острыми, длинными зубами; те же, что были без зубьев, походили на старческие пустые десны.

— Впрочем, это не стоит принимать слишком всерьез, — проговорила миссис Чармонд, томно склонив голову, и пригласила Грейс в комнаты.

После того как хозяйка — с безразличием на лице: то ли врожденным, то ли навеянным здешней скукой, — показала гостье все, что могло ее заинтересовать: гобелены, резьбу по дереву, слоновую кость и миниатюры, — был подан ранний чай.

— Сделайте одолжение, разлейте его, — обратилась к Грейс миссис Чармонд, откинувшись в кресле и прикрыв рукой лоб. Голос ее был еле слышен, а миндалевидные глаза, глаза ангелов с полотен раннего итальянского Возрождения, еще более удлинились. В облике миссис Чармонд была та вкрадчивая мягкость, которую мы чаще всего встречаем у женщин иного типа, более смуглых и флегматичных; томной улыбкой эти женщины говорят мужчинам больше, чем словами, скорее чаруют, чем завлекают, им свойственно не обуздывать поток, а умело в нем лавировать.

— Здесь я удивительно бездеятельна, — говорила миссис Чармонд. — Временами мне кажется,

что я рождена жить, ничего не делая: ничего-ничего, — только парить, как, знаете, иногда мы парим во снах. Впрочем, не может быть, чтобы таково было мое предназначение: я должна гнать от себя эти нелепые фантазии.

— Право, жаль, что здесь вы тоскуете, — это так грустно! О, если бы я могла вам помочь — могла сделать вас счастливой!

Голос Грейс звучал так сочувственно, так дружелюбно, что в разговоре с ней обычно раскрывались даже самые замкнутые натуры.

— Вы меня очень тронули, — сказала миссис Чармонд, — но не преувеличивайте серьезности моей апатии. Просто на меня угнетающе действуют эти места, и я решила уехать за границу — надолго. Обычно со мной путешествует родственница, но сейчас это невозможно. — Бросив на Грейс оценивающий взгляд, она, казалось, испытала удовлетворение и продолжила: — Меня нередко влечет занести на бумагу свои мысли о встречах, городах, времени. Я хотела бы написать новое «Сентиментальное путешествие»[12], но в одиночку у меня не хватит энергии. Когда я путешествую по югу Европы, меня переполняют

[12] Примечания: 12

Роман английского писателя Л. Стерна (1713–1768) «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768).

мысли и чувства, но разложить письменные принадлежности, взять в руки холодное стальное перо, систематически изложить свои впечатления на гладкой холодной бумаге — нет, это выше моих сил. И я подумала, что, будь подле меня приятный человек, я бы просто могла диктовать мысли, которые приходят мне в голову. А вчера при встрече с вами меня как раз осенило, что вы бы мне очень подошли. Что вы об этом думаете? Если вы не против, то могли бы читать мне иногда вслух. Подумайте, прошу вас, и посоветуйтесь с родителями.

— О, разумеется, — тотчас ответила Грейс. — Я почти уверена, что они будут очень рады.

— Вы получили прекрасное образование — я слышала об этом. Общество столь умной девушки оказало бы мне честь.

Покраснев, Грейс со скромностью отвергла это утверждение.

— Вы, очевидно, не оставляете занятий и в Малом Хинтоке?

— О нет. Правда, кое-кто и в Малом Хинтоке не забывает о занятиях…

— Как? Неужели еще есть просвещенные люди в этой глуши?

— Сюда недавно приехал доктор, и, я слышала,

он много читает. Поздней ночью я иногда вижу сквозь деревья свет в его окне.

— Ах да, доктор. Мне как будто говорили о нем. Странное он выбрал место.

— Говорят, в Малом Хинтоке хорошая практика. Но его интересы, кажется, простираются дальше медицины. Он изучает теологию, метафизику и многие другие предметы.

— Как его зовут?

— Фитцпирс. Должно быть, это старинный род из Бакбери-Фитцпирс — в нескольких милях отсюда.

— Я ничего не слышала о Фитцпирсах, да и вообще мало знаю здешние места. До замужества мне не приходилось бывать в этом графстве. — Миссис Чармонд не проявила любопытства к истории рода Фитцпирс. Сколько бы обаяния ни таила в себе древность фамилии, она, привыкшая к путешествиям, смене стран, лиц и впечатлений, давно устала гордиться своей родословной и интересоваться чужими, чем резко отличалась от своих соседей. — Гораздо важнее знать, что он за человек, а не каков его род, раз он собирается нас лечить. Вы его видели?

Грейс его не видела, но сообщила, что, кажется, он не стар.

— Он женат?

— Насколько мне известно, нет.

— Что ж, надеюсь, он сможет быть нам полезен. Непременно познакомлюсь с ним, когда вернусь из-за границы. Весьма удобно иметь по соседству врача, если, конечно, он толков. Иногда меня пробирает дрожь при мысли, что в этой глуши за врачом можно послать разве что в Шертон, а это так далеко. Вероятно, побывав на курортах, вы смотрите на Хинток совсем другими глазами.

— Да, это так. Но здесь мой дом. У него есть и свои достоинства, и свои недостатки. — Говоря это, Грейс думала не столько об одиночестве, сколько о сопутствующих ему обстоятельствах.

Они поговорили еще немного. В обществе такой собеседницы Грейс чувствовала себя непринужденно, а миссис Чармонд, как дама светская, прекрасно понимала, что покровительственный тон мог бы лишь уронить, а не утвердить ее в глазах неглупой девушки, которая все схватывает на лету. Одержимая мыслью во что бы то ни стало извлечь пользу из приятного знакомства, подвернувшегося так кстати, она не жалела усилий на то, чтобы с первого же шага завоевать доверие Грейс.

Гостья уже уходила, когда случайно обе они

оказались рядом у зеркала, которое, словно нарочно, отразив их, подчеркнуло сходство и различие черт. Из беспристрастного стекла глянули два привлекательных лица, но в облике Грейс было нечто, от чего миссис Чармонд вдруг стала казаться старше своих лет. Есть лица, внезапно выгадывающие от сближения, есть несовместимо разные, так что одно убивает или безжалостно калечит другое. Увы, это был как раз последний случай. Миссис Чармонд, впав в задумчивость, отвечала на слова гостьи рассеянно. Однако она попрощалась со своей юной знакомой самым дружелюбным образом и пообещала прислать за ней, как только все будет готово для того дела, о котором она просила Грейс подумать.

Добравшись почти до самой вершины холма, Грейс оглянулась и увидела, что миссис Чармонд еще стоит в дверях, задумчиво смотря ей вслед.

Всю ночь после разговора с Мелбери Уинтерборна не отпускала мысль о предстоящем визите Грейс в Хинток-хаус. Отчего он не вызвался проводить ее хотя бы до середины пути? Что-то ему подсказывало, что в подобном случае Грейс едва ли обрадуется его обществу.

Он окончательно утвердился в этой мысли, когда утром из своего сада увидел, с какой очаро-

вательной гордостью шествует Грейс в Хинток-хаус. «Не случится ли так, — подумал он, — что отец, честолюбиво мечтавший просветить и образовать ум дочери так, как это и не снилось односельчанам, окончательно оторвет Грейс от деревенской жизни, которая еще недавно была для нее вместилищем целой вселенной?»

И все же Мелбери позволил ему добиваться расположения дочери, а раз так, надо поторопить события. Положим, она не сочтет его ровней; что ж, он не станет преследовать ее домогательствами. Однако, не сделав попытки, стоит ли решать, что она отвергнет его ухаживания? Все дело в том, как скорее направить события к развязке.

Обдумывая это так и этак, он наконец решил, что не худо бы устроить у себя рождественский вечер и как почетных гостей пригласить Грейс и ее родителей.

Ход его мыслей был прерван внезапным стуком в калитку. Спустившись по тропинке, Джайлс выглянул за ограду: перед ним стояла Марти Саут, одетая для работы.

— Где же вы, мистер Уинтерборн? Я жду, а вас все нет и нет. Вот и подумала, не поискать ли вас, — проговорила она.

— О господи, как же я мог! — огорчился Джайлс,

вспомнив, что накануне намеревался собственноручно рассадить тысячу елочек на вырубленном участке леса. У него был удивительный дар — посаженные им деревья неизменно принимались. Со стороны казалось: всего-то и дела, что копнуть, но между ним и елочкой, дубком или буком словно был сговор — корешки в несколько дней завладевали почвой. А когда те же деревца сажал поденщик, то, как бы точно ни повторял все приемы Джайлса, четверть саженцев неминуемо погибала к августу следующего года.

Уинтерборн всегда испытывал радость от этой работы и потому брался за посадки даже на тех участках леса, в которых не был сам заинтересован, как это и было сейчас. Марти, поневоле соглашавшейся на всякую работу, обычно отводилась несложная обязанность придерживать саженец, пока Уинтерборн засыпает корни.

Джайлс немедленно отправился вслед за Марти, радуясь тому, что место посадок находится близ дороги, по которой Грейс будет возвращаться из Хинток-хауса.

— Марти, вы простужены, — заметил он вдруг. — У вас, должно быть, стынет голова после стрижки.

— По правде говоря, у меня голова просто рас-

калывается от боли.

— Неужели?

— Да, ломит от простуды, и на глаза давит, да еще с горя внутри все изныло. Но я подумала, вдруг вы меня ждете и сердитесь, что меня нет, поэтому и пришла.

Ямки были вырыты заранее, и Джайлс с Марти не мешкая принялись за работу. Чуткими, как у фокусника, пальцами он, словно лаская, расправлял корни саженца, и их тончайшие нежные волокна, казалось, сами ложились в землю наивернейшим образом. Бо`льшую часть деревьев он обращал корнями к юго-западу, объясняя, что, если лет через сорок оттуда принесется ураган, им понадобится опора как раз с той стороны.

— Они точно вздыхают, когда мы опускаем их в землю, а когда лежат, то совсем не дышат, — сказала Марти.

— Разве? — удивился Джайлс. — Я никогда не замечал.

Марти погрузила в ямку корни елочки и подняла палец. Тотчас послышался тихий вздох. Теперь эти вздохи будут слышаться день и ночь и не прекратятся до тех пор, пока не срубят взрослое дерево, — вероятно, к тому времени ни Джайлса, ни Марти уже не будет на свете.

— Мне иногда кажется, — продолжала девушка, — что эти деревья вздыхают потому, что им грустно начинать жизнь всерьез, совсем как нам.

— Совсем как нам? — переспросил Джайлс, взглянув на нее укоризненно. — Вам не пристали подобные мысли, Марти.

Вместо ответа она потянулась за новым саженцем. Большую часть дня они проработали, не произнеся ни слова, и при этом Уинтерборн так размечтался о своем рождественском вечере, что едва ли сознавал присутствие Марти. По роду этой работы один все время орудует лопатой, а другой только придерживает деревце, поэтому Джайлс разогрелся от движения, а Марти совсем застыла, но, с окоченевшими руками, посиневшими щеками и разыгравшейся простудой, работала, не отставая от Уинтерборна. Когда он разогнулся, она спросила:

— Мистер Уинтерборн, можно я пробегусь по просеке, а то у меня ноги замерзли.

— О, ради бога, разумеется! — воскликнул он, вспомнив о ее существовании. — А я как раз подумал, какой сегодня теплый день для зимы. Да вы вконец простужены, Марти. Незачем было затевать это дело со стрижкой. Впрочем, так вам

и надо. Ну-ка бегите скорее домой.

— Нет, спасибо, я только пробегусь по просеке.

— Вам вообще незачем было сегодня выходить.

— Мне хотелось закончить…

— Марти, говорю вам, идите домой, — повторил он тоном, не допускающим возражения. — Я подопру саженцы палкой и прекрасно обойдусь без вас.

Марти молча пошла прочь, но через несколько шагов оглянулась. Джайлс подбежал к ней.

— Марти, я был груб, но для вашего же блага, вы это знаете. Впрочем, согрейтесь, как вам хочется, мне все равно.

Когда Марти скрылась из виду, ему показалось, что сквозь ветви остролиста, окаймлявшего дорогу, он различил мелькание женского платья. Это была Грейс, возвращавшаяся наконец от миссис Чармонд. Выпустив из рук саженец, Джайлс готов был уже ринуться к ней сквозь остролистовую изгородь, когда внезапно обнаружил присутствие другого мужчины. Незнакомец, привлекательный джентльмен лет двадцати шести — двадцати восьми, стоял за изгородью с противоположной стороны и рассматривал в монокль ничего не подозревавшую Грейс. Заметив Уинтерборна, он выронил монокль, так что он звякнул о слегу,

ограждавшую живую изгородь, и зашагал прочь. Джайлс тотчас догадался, что это был мистер Фитцпирс. Когда тот скрылся из глаз, Уинтерборн раздвинул кусты и вышел на дорогу, оказавшись лицом к лицу с объектом двойного наблюдения.

Глава IX

— Я услышала шум в кустах еще до того, как увидела вас, — сказала Грейс. — Сначала подумала: это какой-то страшный зверь, — потом: браконьер, и наконец: нет, это друг!

Слегка улыбаясь, Джайлс смотрел на нее и раздумывал, но не о ее словах, а о том, стоит ли ей говорить, что за ней наблюдали. «Не стоит», — решил он.

— Вы были в Хинток-хаусе? Впрочем, незачем спрашивать.

В самом деле, лицо мисс Мелбери выражало ту степень восторга, в какой человек перестает замечать подробности окружающего мира и едва сознает самого себя.

— Почему незачем?

— Потому что у вас сейчас лицо, какое, наверно, было у Моисея, когда он спустился с Синая[13].

— Как вам не стыдно кощунствовать, Джайлс Уинтерборн! — покраснев, возмутилась Грейс.

— А зачем вы обожествляете эту породу людей? Впрочем, не сердитесь: я не хотел вас задеть. Как

---

[13] Примечания: 13
По библейской легенде, Моисею на горе Синай явился Бог.

вам показались Хинток-хаус и хозяйка?

— О, они чудесные. Ведь я с детства не была в усадьбе. Тогда ее, помнится, еще сдавали — до того как она перешла к покойному супругу миссис Чармонд. А миссис Чармонд просто обворожительна!

Тут взгляд Грейс застыл в созерцании обворожительной миссис Чармонд, чей образ, материализованный силой воображения, казалось, вот-вот зареет в воздухе между Грейс и Уинтерборном.

— Она пробыла здесь всего пару месяцев, но не хочет оставаться дольше; она говорит, скучно, а в доме зимой сыро, — собирается за границу и, представьте себе, приглашает меня с собой.

Лицо Джайлса окаменело.

— Вот как? Зачем? Впрочем, я напрасно вас задерживаю. Эй, Роберт! — крикнул он появившейся в отдалении растрепанной фигуре. — Поработай за меня, я сейчас вернусь.

— Слушаюсь, сэр, слушаюсь.

— Дело в том, — пояснила Грейс, когда они продолжили путь вдвоем, — что у миссис Чармонд есть очаровательная склонность записывать путевые впечатления: как Александр Дюма, и

Мери[14], и Стерн, и другие. Только самой ей это очень утомительно. — И Грейс посвятила Джайлса в замысел миссис Чармонд. — Я нахожу, что стиль Мери подойдет ей лучше всего: его перу свойственна та же мягкость, полнота чувства и великолепие, что и у миссис Чармонд, — задумчиво добавила Грейс.

— Неужели! — с шутливым благоговением отозвался Уинтерборн. — Вы и впредь будете расточать свою ученость, мисс Грейс Мелбери?

— О, я не хотела, — с раскаянием сказала она, заглядывая ему в глаза. — Что до меня лично, то я французских книг не терплю. Я люблю наш милый старый Хинток и его жителей в сто раз больше, чем весь континент. Но самый замысел миссис Чармонд — разве он не прелестен?

— Затея неплохая, — смягчился Уинтерборн, — но вы ведь опять нас покинете.

— Совсем ненадолго. Мы возвратимся в мае.

— Ну что ж, мисс Мелбери, пусть решит ваш отец.

Уинтерборн проводил Грейс почти до калитки. У него не повернулся язык пригласить ее на рождественский вечер, хотя он только о том и

---

[14] Примечания: 14

Мери Жозеф (1798–1866) — французский писатель, автор множества романов, пьес, стихов и, в частности, заметок о путешествиях.

думал весь день, дожидаясь ее у дороги, — такой убогой и неуклюжей показалась ему мысль о домашней вечеринке, по-деревенски старомодной и простодушной по сравнению с возвышенным складом речей и помыслов Грейс. Едва за ней затворилась дверь, Уинтерборн побрел обратно, не в силах отделаться от предчувствия, что затея с вечеринкой вряд ли приведет к чему-нибудь путному. Сегодняшний визит Грейс в поместье не сулил ему ничего доброго. Девушка, которая вхожа в Хинток-хаус, на дружеской ноге с его хозяйкой, и говорит-то как она, и одевается не хуже, — такая девушка не пойдет за него, простого фермера, сажающего елочки, как бы хорошо он это ни делал.

«И все же сердце у нее доброе, — думал он, вспоминая ее слова о Хинтоке. — Надо поговорить с ней начистоту, а там будь что будет».

Добравшись до участка с посадками, он обнаружил, что Марти уже там, и, отпустив Кридла, молча принялся за работу.

— Как вы думаете, Марти, — наконец проговорил он, глядя на ее вытянутую окоченевшую руку с багровыми следами царапин, — допустим, вы знаете человека и хотите, чтобы он лучше вас понял, поможет рождественская вечеринка

ускорить дело? Выйдет из нее толк?

— Какая вечеринка, с танцами?

— Надо думать, с танцами.

— А он будет с ней танцевать?

— Пожалуй… да.

— Тогда что-нибудь да выйдет — хорошее или плохое.

— Чему быть, того не миновать, — заключил Уинтерборн, словно про себя, хотя произнес эти слова вслух. И так как день был уже на исходе, добавил: — Вот что, Марти, завтра я пришлю работника, он закончит посадки. А мне придется заняться другими делами.

Марти не спрашивала какими, ибо видела, как он провожал Грейс Мелбери. Она взглянула на запад: небо на закате полыхало, как гигантская плавильня, в которой рождались новые миры. На фоне пламенеющего неба, отчетливо чернея каждым сучком, торчала безлистная ветка, на которой темными силуэтами вырисовывались три фазана, устроившихся на ночлег.

— Завтра будет ясно, — сказала Марти, внимательно глядя на птиц, и в ее зрачках горел киноварный отблеск заката. — Фазаны уселись почти с краю сука. Если бы шло к ненастью, они бы прижались к стволу. Им ведь, кроме погоды,

не о чем думать, правда, мистер Уинтерборн? Им, должно быть, полегче, чем нам.

— Должно быть, полегче, — повторил Джайлс.

Прежде чем взяться за приготовления, Уинтерборн в тот же вечер направился к лесоторговцу. Нет, он не льстил себе особыми надеждами, но все же хотел знать наверняка, почтит ли его Мелбери своим присутствием. Однако, провозившись с силками для кроликов, объедавших деревья, он вышел из дому довольно поздно — свет луны, пробираясь сквозь ветви, уже ложился неровными лоскутами на крыши и стены домов. Мелбери как раз подходил к воротам, намереваясь проведать кого-то в деревне, но, увидев Уинтерборна, охотно отложил свое дело и стал расхаживать с ним взад-вперед по дорожке.

Униженно сознавая, что занимает в Хинтоке куда более скромное положение, чем Мелбери, молодой человек остерегался прямо объявить свои намерения, поэтому скромно сказал:

— Не могли бы вы с миссис и мисс Мелбери заглянуть ко мне послезавтра на часок?.. Я хочу сказать, если у вас не найдется других спешных дел.

Мелбери заколебался:

— Прямо не знаю, что сказать. Погоди до зав-

тра: я спрошу женщин. Что до меня, я-то к тебе со всей охотой, да ведь кто его знает, что там у Грейс в голове. Шутка ли, столько лет прожить с образованными людьми, да еще тут миссис Чармонд… Ладно, спрошу. А пока большего не скажу, не знаю.

Расставшись с Джайлсом, лесоторговец зашагал своей дорогой. Он был уверен, что, какие бы чувства ни испытывала Грейс к Уинтерборну, она не ослушается отцовской воли, но он-то как раз склонялся к тому, что ей не стоит принимать приглашение. Оказавшись у церкви, он заколебался, идти ли дальше кладбищем или вдоль церковной ограды. По неизвестной причине он выбрал первое.

Лунный свет слабо озарял могилы, тропинку и фасад церкви. Внезапно сбавив шаг, Мелбери свернул в сторону и, ступая по траве, подошел к могильной плите. «Здесь покоится Джон Уинтерборн», — значилось на ней; ниже стояли даты рождения и смерти. Это была могила отца Джайлса.

Лесоторговец коснулся надгробия ладонью, и черты его смягчились.

— Не кори меня, Джон, — сказал он. — Я своему слову хозяин и вину перед тобой заглажу.

В тот же вечер, возвратившись домой и застав Грейс и миссис Мелбери за шитьем у камина, он решительно сказал:

— Джайлс приглашает нас к себе на часок послезавтра. Я думаю, раз зовут, надо пойти.

Возражений не последовало, и наутро, как было уговорено, к Джайлсу послали сказать, что его приглашение принято.

То ли от желания быть ненавязчивым, то ли просто по забывчивости Уинтерборн не оговорил времени визита, поэтому Мелбери, не предполагая у Джайлса других гостей, исходил из собственных удобств. Случилось же так, что он в этот день управился с делами раньше обычного, и задолго до наступления сумерек семейство уже было готово к выходу. Как бы показывая, что приглашение малозначительно, все трое шли по улице не спеша, точно прогуливаясь без видимой цели или собираясь ненароком заглянуть к соседу на чашку чая.

В то же самое время в доме Уинтерборна царила суматоха. Около шести замышлялось устроить чаепитие, а ближе к одиннадцати — добрый веселый ужин. Как холостяк и человек неизбалованный, Джайлс взял часть хлопот на себя, а другую возложил на вездесущего Роберта Кридла,

незаменимого во всех домашних делах, от уборки постели до ловли кротов на хозяйском поле. Кридл бессменно служил Уинтерборнам еще с тех времен, когда хозяйство возглавлял отец Джайлса, а сам Джайлс был озорным мальчуганом.

Джайлс и Кридл отличались известной медлительностью, поэтому в изображаемый момент хлопоты их были в полном разгаре, тем более что гостей ждали никак не ранее шести. Сам хозяин с засученными рукавами орудовал в кухне у печи, то подбрасывая сухие ветки боярышника, то ворошa полыхающие поленья огромной кочергой, похожей на адские вилы Вельзевула; пот струился по его разгоряченному лицу, глаза сверкали, боярышник трещал и сыпал искрами. Кридл в ожидании, пока раскалится плита, суетился у стола, заставленного противнями с яблочными пирогами, и напоследок сверху приглаживал тесто скалкой. Рядом на огне кипела большая кастрюля, а в открытую дверь кухни виднелся мальчишка, который, усевшись на каминную решетку, начищал щипцы для снимания нагара. Подсвечники дожидались своей очереди на каминной конфорке, куда их поставили, чтобы растопить пристывшее сало.

Мимоходом взглянув в окно, Кридл остолбе-

нел: к дому в праздничном костюме шествовал лесоторговец, за ним в лучшем шелковом платье — миссис Мелбери и, наконец, Грейс в том самом привезенном с континента наряде, который она надевала по случаю визита к миссис Чармонд. Не дойдя до двери, все трое остановились: их внимание привлекли яркие отсветы огня, лежавшие на лицах Джайлса и работника и на кухонной утвари.

— Боже милостивый, да они уже тут! — всполошился Кридл.

— Как, не может быть! — воскликнул ошеломленный Джайлс и, обернувшись, увидел, что мальчишка уже восторженно приветствует вошедших, размахивая дымящим подсвечником.

Делать нечего: растерянный Уинтерборн поспешил навстречу гостям.

— Дорогой Джайлс, мы не слишком рано? — озабоченно спросила миссис Мелбери.

— Нисколько, я очень рад. Что же вы не заходите? — Джайлс был в замешательстве.

— Да у тебя настоящий пир! — грозно проговорил мистер Мелбери, оглядываясь и тыча палкой в сторону кухни.

Джайлс замялся.

— Что ж, надо думать, ты и музыкантов из

Большого Хинтока позвал, и танцы будут?

— Я сказал троим, чтобы зашли, если выберут время, — скромно подтвердил Джайлс.

— Так какого же ты дьявола прямо не сказал про эту затею? Если ты сам толком не говоришь, откуда же нам знать, что у тебя на уме? Ну, теперь что прикажешь делать: заходить или, может, назад вернуться, подождать, пока ты тут управишься?

— Заходите, пожалуйста, присаживайтесь, виноват, виноват, мне только несколько минут, я мигом все улажу. Надо быть порасторопней, конечно. — Обычно сдержанный, Уинтерборн не мог скрыть волнения.

— Мы сами виноваты, что поспешили, — проворчал мистер Мелбери. — Да не держи ты нас в гостиной, веди прямо на кухню. Коли уж так вышло, надо тебе помочь. Ну-ка, хозяйка, давай надевай фартук, берись за дело. Я займусь печью, а ты, Джайлс, иди разделывай уток. — Его взгляд с беспощадной быстротой устремился в дальний угол неуклюжей кухни, где висели вышеозначенные птицы.

— А я помогу испечь пирог, — весело добавила Грейс.

— Этого только не хватало! — недовольно отозвался Мелбери. — Оставь-ка пироги нам с

мачехой, на кухне тебе не место.

— Да-да, я этого не допущу, Грейс, — спохватился огорченный Уинтерборн.

— Нечего спорить, пирогами займусь я, — решительно сказала миссис Мелбери. Сняв шелковый шарф, она повесила его на крюк, аккуратно засучила до плеч рукава и отобрала у Джайлса передник. Пока отец с мачехой помогали Уинтерборну управиться со стряпней, Грейс праздно бродила по кухне, блуждая взглядом по убогой обстановке. Перехватывая временами этот взгляд, Джайлс не видел в нем ничего, кроме жалости, но эта жалость колола его больнее, чем презрение.

Пока гости разбирались в хозяйских кастрюлях, сковородах и припасах, Кридл, улучив минуту, подкараулил Джайлса у колодца и хрипло прошептал ему в самое ухо:

— Вот это переплет, хозяин! Кто бы мог подумать, что нелегкая принесет их в такую рань!

Удрученный взгляд Уинтерборна говорил больше, чем слова, хотя он изо всех сил старался казаться спокойным.

— У тебя сельдерей чищен? — спросил он вместо ответа.

— Позабыл, как есть позабыл. И что за напасть такая, никак я про него не упомню. Ты мне хоть

что дай, хоть золотом осыпь, все равно не упомню. Только я тебе вот что скажу и от своего не отступлю: сельдерей как ни чисть, если по нему скребком не пройтись, он все одно будет грязный.

— Хватит, хватит болтать. Пойди лучше позаботься о гостях, — оборвал его Джайлс, но через минуту, вернувшись с кореньями из огорода, застал Кридла все с тем же трагическим выражением на лице.

— Будь вы женаты, хозяин, такой истории с нами бы не приключилось, — заверил он Джайлса.

Наконец все было улажено, жар в печи полыхал, оставалось только ждать, когда поспеет ужин. Перебравшись из кухни в гостиную, миссис и мистер Мелбери, теперь уже гостями, удобно в ней расположились, хотя здесь было далеко не так тепло и уютно, как в кухне. Начали появляться другие приглашенные, среди прочих — фермер Баутри и столяр, и вскоре чаепитие пошло полным ходом.

Грейс была так ровна и приветлива, так снисходительна к хозяйственным просчетам Джайлса, что он невольно заподозрил, не видит ли она огрехов больше, чем открыто его взгляду. Сочувственная улыбка на ее лице, не исчезавшая с

самого прихода, не оставляла в нем на этот счет никаких сомнений.

— Надо полагать, вам давно не приходилось видеть такой неразберихи? — спросил Джайлс, улучив минуту.

— Может быть, но мне это даже нравится. Так приятно убедиться, что в старом добром Хинтоке ничего не изменилось. Правда, стулья, по-моему, не стоило мазать, а в остальном все превосходно.

— Мазать? Чем мазать?

— Не знаю. Я хочу сказать, что они пачкают платье. Впрочем, это не так важно, оно все равно неновое.

Тут только до Джайлса дошло, что переусердствовавший Кридл натер мебель для блеска политурой и не вытер насухо, чтобы не портить эффекта. Извинившись, Джайлс тут же сделал Кридлу выговор, но было поздно: он видел, что в этот вечер против него ополчилась сама судьба.

Глава X

Настало время ужина. Он был сервирован на снежно-белой скатерти с топорщившимися четкими складками — ни дать ни взять как на «Тайной вечере» кисти фламандского художника. Кридл и мальчишка, его подопечный, с поразительным проворством сновали из кухни в гостиную, сменяя блюда. Желая польстить наставнику, мальчишка наедине с ним без устали восхищался его умом и талантами.

— А правда, мистер Кридл, что вас в ополчении научили всему на свете?

— Как неправда, правда. Чего я там только не навидался. Конечно, сегодня-то мне Джайлс помог, без его подмоги мне бы такого лоска не навести. Я его Джайлсом зову, даром что он мне хозяин. Надо бы величать его как положено, да мы с его родителем как родные братья росли, ну совсем как от одних отца-матери.

— А правда, мистер Кридл, что вы историю всю насквозь знаете?

— Как не знать. Что ни случалось: сражения, мор или там казни — все помню. А в нашем приходе сколько почтенных людей на моей памяти

перемерло. Вот, опять им подавай чистые тарелки: старые для пудинга нехороши, видите ли. Нет чтоб поставить их кверху дном, как раньше бывало…

Тем временем Уинтерборн, едва ли сознавая происходящее, восседал в гостиной во главе пиршественного стола. Сраженный неудачей, унизившей его в глазах Грейс, он в рассеянности поедал хлеб кусок за куском и снимал нагар со свечей так часто, что их мигающие фитильки утопали в растопленном сале. За пудингом последовала печеная утка: Кридл внес ее прямо на треногой жаровне, высоко поднял в воздух и с плеском вывалил на блюдо, предупреждающе воскликнув:

— Осторожно, леди и джентльмены!

Грейс вздрогнула, заморгала и прижала к лицу носовой платок.

— Боже милостивый! Что ты наделал, Кридл! — гневно закричал Джайлс, вскочив как ужаленный.

— Да я что: без гостей так делали, — ну я и хотел опять… — громким шепотом начал Кридл.

— Ладно тебе, — оборвал его Джайлс и поспешил выразить надежду, что масло не попало Грейс в глаза.

— Нет-нет, пустяки, — успокоила она его. — Мне только слегка брызнуло в лицо.

— Поцелуй — и все как рукой снимет, — галантно заметил мистер Баутри.

Грейс вспыхнула.

— Ничего, обойдется, — быстро вступил лесоторговец, — беда невелика. — Но лицо его вразрез со словами говорило: «Этого надо было ожидать».

Джайлс и сам был не рад своей затее: что говорить, Грейс совсем не место среди этих людей. И зачем было приглашать Баутри со столяром? Но кого же тогда звать, если других приятелей у него нет, а без гостей дом выглядел бы совсем пусто и неуютно. Нет, не такой виделась ему в мечтах эта рождественская вечеринка: прочие гости должны были только заполнить пустоту, отдав первенство семейству Мелбери, а вышло так, что они вылезли вперед, оттеснив Мелбери на задний план.

После ужина сели за карты. Баутри со столяром мигом завладели новой колодой и, облюбовав в углу отдельный столик со свечой, принялись за свою нескончаемую игру. Всюду, куда бы эти двое ни являлись, они тотчас с видом важной задумчивости садились продолжить прерванную игру,

при которой мелок поминутно переходил из рук в руки. Остальным гостям поневоле пришлось довольствоваться вынутой из комода старой колодой, заигранной еще бабушкой Джайлса. Посредине карт были темные сальные пятна — отпечаток азартных пальцев нескольких поколений игроков, давно сошедших в могилу, — от времени короли и дамы приобрели унылый вид и смотрели не царственными особами, а обездоленными изгнанниками, ютящимися под случайным кровом. Чинное молчание за общим столом изредка нарушали доносившиеся из угла рифмованные прибаутки фермера Баутри или столяра:

Попомни, друг, мои слова,
Что тут всего лишь тридцать два!

Их сопровождал скрип мела по столу, вслед за этим слышалось новое восклицание, перебранка, и карты сдавались заново. Лесоторговец уже не скрывал своих чувств: на вопрос Джайлса, не скучно ли ему и его семейству, он с самодовольной миной похвалил вечеринку, заверив его покровительственным тоном:

— Не бойся, все идет как по маслу. Экие славные у тебя бокалы. Не знал, не знал, что у тебя в

хозяйстве столько добра. Люси, — обратился он к жене, — надо бы и нам такие завести.

Окончив игру, он, как хозяин, стал спиной к камину и свысока, точно вещь, оглядев что-то говорившего ему Уинтерборна, заметил:

— Ладная у тебя куртка, Джайлс. И я бы не прочь в такой ходить, да не знаю, где взять. Ну, мне за тобой не угнаться.

Заждавшиеся музыканты из Большого Хинтока выступили вперед и заиграли. Начались танцы. Грейс сделала несколько па и сбилась — за годы разлуки с Хинтоком совсем забыла фигуры деревенских танцев. Джайлс почувствовал, что все пропало, а Грейс, глядя на движущиеся в старинном ритме пары, припоминала себя в светлом зале просторного дома среди прелестных воздушных подруг, точно эльфы порхавших в облачке легкого муслина. Сейчас, должно быть, они далеко: в местах, ничуть не похожих на Малый Хинток.

Какая-то незнакомая Грейс женщина, взяв со стола карты, предложила ей погадать. Грейс согласилась, и женщина сбивчиво и несвязно, извиняясь, что давно уж не пробовала гадать, что-то ей напророчила.

Стоя рядом, мистер Мелбери презрительно

комментировал:

— Да что ей гадать? Ее судьбу люди ученые, не тебе чета, предсказали. Знаешь, как они называются? Френологи. А это что за гадание? Столько лет поживешь среди умных людей, разве в Хинтоке чему удивишься?

Наконец подошло время расходиться по домам. Когда семейство Мелбери откланялось, игроки в углу еще не поднимали голов от карт, успев исчеркать мелом весь столик красного дерева. Ночь была погожая, дорога недальняя, и все трое Мелбери решили прогуляться пешком.

— Хороший парень Джайлс, ничего не скажешь, — сказал мистер Мелбери, выйдя на аллею под своды деревьев, среди которых, точно вкрапленные в узор ветвей, ярко светились звезды.

— Очень хороший, — подтвердила Грейс таким тоном, точно хотела уверить собеседников, что Джайлс ничуть не упал в ее глазах.

Выйдя на прогалину, откуда днем был виден дом доктора, они заметили свет в одном из его окон, хотя было уже далеко за полночь.

— Еще не ложился, — заметила миссис Мелбери.

— Важная работа, стало быть, — отозвался лесоторговец.

— А со стороны подумаешь: нет у человека забот, так хоть поспит вволю. Днем-то его, почитай, и не видит никто.

После событий минувшего вечера особенно приятно было отвести душу разговором об образе жизни мистера Фитцпирса.

— Что странного, что никто его не видит? Какой интерес такому человеку жить в нашей глуши? Ну да, надо думать, он у нас не задержится.

Тут мистер Мелбери снова припомнил Джайлсову вечеринку, и, пользуясь тем, что Грейс ушла чуть вперед, доверительно сказал:

— Что ни говори, а эта жизнь не по ней. Не к тому она приучена. Вот ведь, ничего наперед не угадаешь: думал, пусть учится, по заграницам ездит, вернется — будет Джайлсу хорошая жена, а вышло, что он ей не пара. Черт знает какая досада! А что делать? Придется ей за него идти, придется…

При этих словах за их спиной раздался топот, и два голоса, принадлежавшие неразлучным картежникам, во всю глотку завопили на мотив военного марша:

Так пусть она,
Так пусть она

Отправится ко всем чертям!

— Вот, смотри, с кем нас позвали, — с негодованием сказал Мелбери, оборачиваясь назад. — Нам, старикам, что: нас от того не убудет, — но Грейс каково… о ней-то он не подумал.

Тем временем обсуждаемый на все лады Уинтерборн бродил по дому, откуда только что убрались последние гости, и с тоской взирал на царивший всюду беспорядок. На кухне он застал Роберта Кридла: о чем-то размышляя, тот сосредоточенно смотрел на догоравшие в печи угольки.

— Ты, верно, притомился за день, Роберт, ложись-ка спать.

— Да что там, Джайлс… я хотел сказать — хозяин. Хорошо посидеть, когда все дела переделаны.

Думая о своем, Уинтерборн взял кочергу и, наморщив лоб, стал ворошить золу, пока широкий под не стал похож на опаленную зноем Сахару, усеянную огненно-красными камнями.

— Ну что, по-твоему, вечер удался? — спросил он наконец.

— Угощение вышло на славу, это точно. И выпивка удалась, тут меня не проведешь — бочки, какую ни возьми, все гудят. Да, выпивка такая, что лучше не выдумаешь. Крепче меда я во всю жизнь не пробовал. И наливка вишневая хороша.

И сидра игристее никто не выгоняет, а уж как я его настоял на спирту да на пряностях, так о том и не говорю. А яичный флип вышел такой, что хоть сквозь муслин цеди — ни пятнышка не останется. Такой флип кого хочешь развеселит, сам король от него запляшет. Тем, не спорю, небось не все по нраву пришлось. — Он кивнул в сторону дома Мелбери.

— Да, боюсь, что тут-то мы и оскандалились.

— Ну, коли так, значит судьба. И как эту улитку угораздило прямо ей в тарелку попасть…

— Какую еще улитку?

— Да обыкновенную. Я, когда тарелку ее выносил, гляжу — с самого края улиточка, маленькая такая, лежит. Откуда, думаю, ей там взяться? Должно, с зеленью попала.

— Это еще что за новости? А в зелень она как попала?

— Чего не знаю, того не знаю. Только не иначе там она и была.

— Но, черт возьми, Роберт, там-то ее и не должно быть!

— Это как сказать. Где же еще улитке быть, как не в огороде? Улитки всегда в огороде живут. Я уж знаю, меня не проведешь. Что улитки, что гусеницы — к капусте так и льнут. Эту тварь, как

ни старайся, от капусты не отвадишь.

— Но она хоть была не живая? — содрогнулся Джайлс, подумав о Грейс.

— Ну, это нет. Вареная, вот те крест, вареная. Боже избави, чтоб у Роберта Кридла да в стряпне живая улитка! Ах ты, господи, эта тварь-то мелкая и родилась на капусте, и весь век на капусте, и другого пропитания не знает. И чем она сама не капуста? Но молодая леди какова: сидит, все молчком, — другая бы разговор завела, приятно побеседовала: откуда, мол, улитка взялась, — а то все как сычи сидели, не знали, о чем говорить.

— Что ж, значит, всему конец, — пробормотал Джайлс, тряхнув головой, склоненной над тлеющими углями, и сильнее нахмурившись. — Она, Роберт, привыкла не к такому обхождению: ей надо, чтоб были лакеи, чтоб все блестело. Мы перед ней деревенщина неотесанная.

— А коли так, пусть поищет себе другого. Нечего было забивать голову науками, заноситься невесть куда. А то еще скажу: незачем было холостому джентльмену устраивать такой пир, но уж если устраивать, так для тех, кто тебе ровня.

— Ты прав, — с горьким вздохом ответил Джайлс и отправился спать.

Глава XI

— Какая досада… Боже, какая досада, — повторял наутро Мелбери, пользуясь тем, что Грейс еще не спускалась к завтраку.

Но что было делать: отказав Уинтерборну, он изменит слову, разрушит замысел, который до сих пор вынашивал, да и сейчас невольно помогал его осуществлению. Как бы то ни было, все должно решиться в ближайшее время, и надо заранее обдумать, как себя вести.

Того, что есть, не спрячешь: за год Грейс переменилась неузнаваемо, — и теперь, вложив столько денег в ее образование, он чувствовал, что не в силах, просто не в силах отдать ее за Джайлса, который до гроба будет возиться с яблоками и торговать сидром. Этой женитьбе надо помешать, хотя бы и против желания самой Грейс.

— Конечно, они поженятся, коли ты прямо не скажешь ей, что никто ее не неволит, — заметила ему миссис Мелбери. — А то смотри: она тут поживет, обвыкнет, подумает, что и в Хинтоке неплохо живется, и с Джайлсом тоже стерпится-слюбится, в доме у него наведет порядок — приданое ведь за ней немалое. Это она только поначалу,

с непривычки дичится. Я, думаешь, верила, что приживусь в Хинтоке? А вот время прошло, и освоилась. Раньше казалось: пол каменный такой холодный, и совы по ночам ухают — страх, а теперь все ничего: и в глуши люди живут.

— Ты права. Пройдет время, и Грейс будет под стать нам, деревенским. И делать все станет как мы, и разговаривать так же, еще спасибо скажет, что сосватали за Джайлса. Но мне-то каково думать, что это я своими руками тяну ее вниз, к старой жизни, когда ей впору жить во дворце, когда я себя не щадил, чтоб ее над всеми возвысить. Каково мне теперь знать, что руки у нее загрубеют — а сейчас пальчики такие нежные, — и ходить она начнет вразвалку да враскачку, как фермерша…

— Ну, такого с ней не будет, — решительно возразила жена.

Когда Грейс сошла наконец к завтраку, отец встретил ее недовольным ворчанием — не то что ему казалось предосудительной привычка долго спать по утрам, но его испугала нарисованная им перспектива.

— Ты мог ворчать на меня, когда я была девочкой — ответила Грейс, и губы ее дрогнули, — а теперь я взрослая и могу жить своим умом… Но

дело не в этом, дело совсем в другом… — И, не договорив, она выбежала из комнаты на улицу.

Мелбери огорчился. Взаимное недовольство отца и дочери было вызвано не друг другом, а сцеплением причин и следствий, не ведающим ни правых, ни виноватых, которого обычно не улавливает и не постигает человеческий ум. Мелбери нагнал дочь уже за домом. Она бесцельно брела по покрытой белой изморозью поляне, где стаями по двадцать-тридцать птиц разгуливали скворцы, а за ними, охорашиваясь на солнце, наблюдало семейство воробьев, уютно устроившихся на цоколе кухонной трубы.

— Вернись позавтракай, дочка, — проговорил он просительно. — А про Джайлса думай сама и поступай как захочешь: я со всем согласен.

— Но мы же помолвлены, папа. Рано или поздно мне придется стать его женой, — ведь ты дал ему слово.

По этому ответу Мелбери заподозрил, что Грейс не вполне равнодушна к Джайлсу, что в глубине души у нее еще, может быть, сохраняется детская привязанность к нему, позднее заглушенная новыми впечатлениями, но счел преждевременным расхолаживать дочь.

— Вот и ладно, — сказал он. — Нам еще не сейчас

расставаться, так что пойди покуда позавтракай. Расскажи-ка лучше, как была в Хинток-хаусе. Понравилось тебе там?

— Да, там было прекрасно.

— Не то что у Джайлса?

Грейс не ответила, но, зная ее, он догадался, что в молчании ее скрывался упрек за жестокое сопоставление.

— А в какой день, ты говоришь, тебя ждет миссис Чармонд?

— Скорее всего, во вторник, но она обещала накануне меня известить.

С этими словами отец и дочь вернулись к прерванному завтраку.

Долгожданный вторник настал, но приглашения не последовало, не было его и в среду. Через две недели стало окончательно ясно, что миссис Чармонд раздумала принимать Грейс под свое покровительство.

Мелбери терялся в догадках. Миссис Чармонд виделась с Грейс дважды: в лесу и у себя, в Хинток-хаусе, — и в том, что оценила ее, у него не было сомнений. После этого не случилось ничего нового, кроме вечеринки у Джайлса. Конечно, по всей округе в эти две недели только и было разговоров, что о его щедром гостеприимстве и о

Грейс, — кто же не видит ее необыкновенных достоинств! Наверно, эти деревенские толки успели дойти до миссис Чармонд, и ей не понравилось, что Грейс водит знакомство с простолюдинами.

Уверившись в правильности этого хода мыслей, мистер Мелбери совсем упустил из виду, что женщины могут менять решения по множеству других причин и, наконец, просто из прихоти. Он знал, что Грейс привлекательна, но забыл, что миссис Чармонд тоже притязает на красоту. В простоте душевной он полагал, что привлекательная женщина одинаково располагает к себе всех людей.

Теперь он был непоколебимо убежден, что в неудаче Грейс — самой серьезной неудаче, как он ее расценивал, — повинен один Джайлс со своей никчемной деревенской пирушкой, и твердил себе: «Экая досада! Хочу успокоить совесть, а на деле гублю дочь».

Через несколько дней утром, когда семейство Мелбери сидело за завтраком, предаваясь все тем же тревожным раздумьям, окно вдруг закрыла странная тень. Подняв глаза от тарелки, они увидели за окном Джайлса верхом на лошади: пригнувшись и вытянув шею, всадник, видимо, давно уже старался привлечь к себе внимание.

— Вот и он… на новой лошади! — воскликнула Грейс, по-видимому первой заметившая его старания.

Если бы Джайлс мог разглядеть их лица сквозь старые двойные стекла, то прочитал бы на них всю сумятицу чувств, все, что было сейчас у них на уме. По счастью, он ничего не увидел. Сияя и радостно улыбаясь без видимой причины, он был занят какой-то своей тайной мыслью. Семейство вышло ему навстречу: Грейс — встревоженная и хмурая, Мелбери — рассеянный и задумчивый, миссис Мелбери — искренне заинтересованная зрелищем.

— Ну-ка покажите, что у вас за лошадь, — обратилась она к Джайлсу.

Не в силах скрыть, что ему льстит внимание, Джайлс поспешил объяснить, что уже проскакал на ней милю-две, испытывая на резвость. Отчаянно стараясь выглядеть безразличным, хотя его распирала радость, он добавил:

— Я ее купил потому, что она приучена держать в седле даму.

Мистер Мелбери нимало не оживился.

— А она смирная? — поинтересовалась миссис Мелбери.

Уинтерборн заверил ее, что лошадь смирная.

— Я все разузнал. Ей двадцать пять лет, она очень понятливая.

— Ладно, давай слезай и заходи в дом, — не церемонясь, оборвал его Мелбери, и Джайлс послушно спешился.

Появление Уинтерборна верхом на лошади явилось следствием неустанных двухнедельных раздумий. Свою неудачу с вечеринкой Джайлс перенес стоически, но, не исчерпав вполне запаса энтузиазма, в один прекрасный день он купил на шертонском рынке упомянутую кобылу, много лет служившую дочерям священника из соседского прихода. По уверениям, лошадь годилась и для поездок верхом: все равно, джентльмену или леди, — а при нужде и в упряжку, и для полевых работ. В кротком животном Джайлсу почудилось спасительное средство утвердить свою пошатнувшуюся репутацию в доме Мелбери и представить себя как человека солидного, способного позаботиться о будущем Грейс.

Сама она этим утром смотрела на Уинтерборна с особым чувством, которое доводится испытать только женщине. Выразить это чувство, это душевное состояние обычными словами — значит произнести нечто несовместимое, как, скажем, сочетание «невещественность вещества». Говоря

попросту, Грейс испытывала щемящую жалость к человеку, с которым накануне была излишне холодна. Обычная невозмутимость Уинтерборна в этот день уступила место одушевлению, которое окрасило его щеки и придало блеск глазам. Миссис Мелбери предложила ему сесть с ними за стол, и он с радостью согласился. Чуть-чуть проницательности, и он бы заметил, что хозяева уже кончают завтракать, что чайник сипит на плите, а стало быть, надо долить воды и подбросить дров, что надо сызнова уставлять стол едой, но Джайлс ничего такого не видел, помышляя только о том, как угодить предмету своих чаяний, а потому не знал, сколько выпил чаю, не понимал, что завтрак затянулся сверх обычного и что хозяевам давно пора приняться за дневные дела.

Он подробно излагал комическую историю своей покупки, во время рассказа мрачно кося вбок, как бывало с ним во всех случаях, когда он пытался поведать что-то забавное.

Только собрался он завершить описание торгов, как Грейс встала из-за стола:

— Мне пора, мистер Уинтерборн, я должна помочь маме по хозяйству.

— Что? — переспросил он, взглянув на нее.

Грейс повторила, слегка покраснев от нелов-

кости. Мгновенно осознав несуразность своего положения, Джайлс вскочил и, сказав: «Да-да, разумеется», — скороговоркой попрощался и выбежал вон.

Но странное дело: вопреки всему, ему удалось отвоевать свои позиции в доме Мелбери. Время работало на него, и мистер Мелбери с тоской замечал, что Грейс постепенно осваивается с простым укладом домашней жизни. Так поначалу нам кажутся чуждыми и непривычными лица близких после долгой разлуки, но встречи учащаются, и мы снова видим перед собой милые знакомые черты.

В общем, мистер Мелбери роптал на судьбу за то, что ему приходится жертвовать дочерью, выпестованной с таким трудом. В дальнем уголке его души таилась надежда, что, прежде чем чаша весов окончательно склонится в пользу Уинтерборна, вмешается случай и выручит его так, что и совесть останется чиста, и Грейс убережется от грубой и низкой жизни.

Его точила мысль, что миссис Чармонд утратила интерес к Грейс так же внезапно, как и проявила, и эта мысль поддерживала в нем уверенность, что всему виной Уинтерборн со своей вечеринкой, вынудившей Грейс проявить снис-

ходительность и к нему, и к его окружению.

Однако события не спешили. Но вот, подобно тому, как бондарь легким постукиванием то справа, то слева подгоняет обруч к нужному месту, несколькими незначительными обстоятельствами твердо определились все изгибы жизненного пути Грейс Мелбери.

Глава XII

Стоял ясный осенний день. Мисс Мелбери отправилась на утреннюю прогулку, и, как всегда, заботливый отец вызвался ей в попутчики. От дуновений свежего утреннего ветерка, пробиравшегося сквозь сеть обнаженных ветвей, ерошились, задевая друг друга, мелкие листочки плюща, обвивавшего деревья. Грейс с упоением вдыхала родной воздух. Дойдя до опушки леса, клином выходившего на пустое осеннее поле, они остановились, оглядывая окрестности. Вдруг из-за деревьев прямо на них выбежала лиса с поджатым хвостом, покорная, как домашняя кошка, и тихо скрылась в пожелтевших папоротниках.

— Где-то рядом охота, — заметил Мелбери, проводив зверя взглядом.

Действительно, вскоре в отдалении показалась стая гончих, беспорядочно рыскавших вправо и влево, видимо, потеряв след. За ними возникли и разгоряченные всадники. В замешательстве они оглядывались кругом, недоумевая, куда могла подеваться их жертва. Через минуту к пешеходам подскакал, задыхаясь от возбуждения, фермер и, окликнув Грейс, чуть опередившую отца, спро-

сил, не пробегала ли мимо них лисица.

— Пробегала, — ответила Грейс. — Совсем недавно, в ту сторону. — И она показала рукой.

— И ты не кликнула собак?

— Нет.

— Так какого же черта… не могла сама, надоумила бы старого хрыча! — И фермер пустил лошадь галопом.

Грейс растерялась и, взглянув на отца, увидела, что тот побагровел от гнева.

— Как он посмел… — выговорил он наконец, не в силах скрыть, что уязвлен до глубины души таким обращением с дочерью. — Распустил язык, невежа. Разве так разговаривают с дамой? Увалень деревенский! Думает, с образованной, воспитанной девушкой можно говорить как со скотницей. Шведам да татарам шутки такие шутить позволительно. А я чуть не сотню фунтов в год на тебя тратил, чтоб ты училась, чтоб выше их всех взлетела, всем показала, какая у меня дочь. Дело простое, ясно, почему так вышло: потому что я шел рядом. Будь это не я, а какой-нибудь помещик в черном сюртуке или пастор, этот грубиян по-другому бы заговорил.

— Зачем ты так, папа. Не наговаривай на себя понапрасну.

— Не спорь, так оно и есть, как я говорю. Каков мужчина, такова и женщина; по нему судят, а не по ней. Если женщину видят рядом с джентльменом, ее всегда примут за леди, а если она водится с деревенщиной, всякий подумает, что и сама она немногого стоит. Ну нет, я не позволю, чтобы с тобой так обходились, уберегу хоть не тебя, так твоих детей. Ты будешь выходить на прогулку с видным мужем — не мне чета, — да поможет тебе Господь!

— Поверь мне, отец, — с волнением возразила Грейс, — меня это ничуть не задело. Мне не нужно другого уважения, чем то, что мне оказывают.

«Иметь дочь тревожно и хлопотливо», — сказал, кажется, Менандр[15] или кто-то еще из греков. К Мелбери это относилось в полной мере, ибо он обожал свою дочь. Что до Грейс, то ею все больше овладевало беспокойство: если ее не влекла мысль смиренно посвятить свои дни Джайлсу, то еще меньше ей хотелось служить предметом честолюбивых устремлений отца.

— Ты не откажешься от должного уважения, коли будешь знать, что этим угодишь отцу, — настаивал Мелбери.

---

[15] Примечания: 15

Менандр (342–292 до н. э.) — древнегреческий поэт-комедиограф.

Грейс не сопротивлялась. Против ее воли доводы отца запали в душу.

Уже подходя к дому, он сказал:

— Слушай, Грейс, я тебе обещаю, чего бы мне это ни стоило, что я жизни не пожалею, а выдам тебя за джентльмена. Сегодня я видел, какая цена женщине, если рядом с ней нет достойного человека.

Он тяжело дышал, ветерок подхватывал его дыхание и уносил прочь, точно укоряя за несправедливые суждения. Грейс прямо взглянула на отца:

— А как же мистер Уинтерборн? Дело не во мне, то есть не в моих чувствах, но ведь ты дал ему слово…

Лесоторговец нахмурился:

— Не знаю, не знаю… Об этом рано еще говорить. Поживем — увидим.

В тот же вечер отец позвал Грейс к себе в кабинет. Это было небольшое уютное помещение рядом с гостиной, некогда служившее пекарней, о чем говорила печная кладка в стене. Мелбери приспособил его для своих нужд, устроив в печи сейф, где хранил деловые бумаги. Сейчас дверца сейфа была распахнута, и из замочной скважины торчал ключ.

— Садись, Грейс, побудь со мной, — сказал ей отец, указывая на стул. — Я хочу тебе кое-что показать, это тебя позабавит. — И он выложил перед ней кипу бумаг.

— А что это такое? — спросила Грейс.

— Разное — акции, купчие. — Он разворачивал их одну за другой. — Каждая стоит больших денег. Вот это, скажем, дорожные акции. Поверишь ли, что такой клочок бумаги стоит двести фунтов?

— Мне бы в голову не пришло.

— А это так и есть. Вот это трехпроцентные бумаги на разные суммы, а здесь, смотри, акции порта Бриди. У меня там большие дела, там грузят мой лес. Остальное разбери сама, посмотри, что понравится. Тебе интересно будет.

— Хорошо. Я непременно как-нибудь их посмотрю, — сказала Грейс вставая.

— Вздор говоришь, смотри сейчас. Тебе надо знать в этом толк. Молодая образованная девушка вроде тебя должна кое-что смыслить в денежных делах. Ну как, не приведи бог, останешься вдовой со всеми мужними бумагами на руках — как ты тогда разберешься с капиталом?

— Не надо, папа. Капитал… Это слишком громкое слово.

— Ничего не громкое. У меня, хочешь знать,

немалый капитал. Вот видишь пергамент? Это мои дома в Шертон-Аббасе.

— Да, но… — Она заколебалась, но, взглянув на огонь, все-таки договорила: —…если твой уговор с Уинтерборном останется в силе, мне придется скромно жить среди скромных людей.

— Этому не бывать! — воскликнул Мелбери, и на сей раз в его голосе прозвучал не минутный порыв, но твердая решимость. — Вспомни, ты сама говорила, что у миссис Чармонд ты чувствовала себя как дома, когда она тебе показывала всякие красивые вещицы и усадила пить чай в гостиной. Что, разве не правда?

— Правда, — подтвердила Грейс.

— Значит, я верно сказал.

— Видишь ли, так мне показалось в тот день, сейчас я в этом меньше уверена.

— Не-ет, тогда ты все правильно поняла, а сейчас запуталась. Тогда ты душой и телом была еще не с нами, а с образованными людьми, потому ты и повела себя с миссис Чармонд как равная с равной. А теперь ты к нам притерпелась и забываешь, где твое настоящее место. Так вот: делай, что я тебе говорю, посмотри бумаги и прикинь, какое в один прекрасный день получишь наследство. Сама знаешь: все, что есть, твоим будет,

больше мне некому оставлять. Эх, если к твоему образованию да воспитанию прибавить столько бумаг, а может, еще столько же за достойным человеком, вот тогда всякому проходимцу неповадно будет язык распускать.

Грейс подчинилась и стала одну за другой просматривать бумаги, стоившие, как ей сказал отец, больших денег. Целью его было пробудить в ней честолюбие — утренняя перебранка в лесу оказалась последним доводом против его прежних благих намерений.

Грейс всей душой восставала против того, чтобы на ней сосредоточились тщеславные планы отца: слишком тяжелым бременем ложились они на нее, — но не сама ли она навлекла на себя эту беду своей вовсе не деревенской внешностью и манерами? «Если бы я вернулась домой в затрапезном платье, если бы говорила как они, то могла бы этого избежать», — думала она. Но еще больше, чем это двусмысленное положение, ее удручали последствия, которыми оно было чревато.

По настоянию отца ей пришлось просмотреть и приходную книгу, и счета. Среди них, заложенный где-то в конце, ей попался счет за ее одежду, пансион и учение.

— Значит, я тоже обхожусь недешево? Не дешевле, чем лошади, телеги и фураж? — спросила она с виноватым видом.

— В это незачем было заглядывать. Мне надо только, чтобы ты знала о моих делах. А что ты стоишь недешево, так в том беды нет. И от тебя выгода будет куда больше.

— Не говори обо мне так! — взмолилась Грейс. — Я же не движимость.

— Движимость! Все ученые слова. Да ладно, ладно, я не против, тебе пристало говорить по-ученому, хотя ты мне и перечишь, — добродушно закончил Мелбери, с гордостью оглядывая дочь.

Наступило время ужина, как о том возвестила бабушка Оливер, и между прочим сообщила:

— А хозяйка-то Хинток-хауса нас покидает. Говорят, завтра поутру отправляется в дальние края на всю зиму. А у меня в горле так и хрипит: разрази меня гром, если мне не хочется побежать за ней следом.

Когда старуха вышла из комнаты, Мелбери с горечью сказал:

— Выходит дело, дружбе вашей конец. Теперь нечего и мечтать, что она тебя повезет с собой: не придется тебе описывать ее путешествия.

Грейс промолчала.

— Что ни говори, — сердито продолжил Мелбери, — а во всем виноват Уинтерборн со своей дурацкой затеей. Так вот, слушай меня — обещай, что не будешь с ним видеться без моего ведома.

— Я и так с ним не вижусь.

— Вот и отлично. А то мне вся эта история совсем не нравится. Обижать я его не хочу, но твое благо мне дороже, так-то. Да сама смекни: разве такой девушке, как ты, воспитанной, деликатной, пристало жить с неотесанным фермером?

Грейс вздохнула, и в этом вздохе слышалось одновременно и сочувствие к Джайлсу, и покорность непостижимой воле обстоятельств.

В это самое время за воротами напротив дома Мелбери старший Тимоти Тенге, встретив на дороге Кридла, вел с ним разговор о том же злополучном Уинтерборне.

Справляясь у Кридла, не слышно ли чего новенького, пильщик выражал лицом попеременно то радость в предвкушении новостей, то озабоченность в ожидании неприятностей, которыми эти новости были чреваты.

— Бедняга Марти Саут и так одна как перст, да еще вот-вот лишится отца. Ведь совсем было оправился старик, а теперь, говорят, опять худо, кожа да кости… А что ты думаешь, сосед Кридл,

если старик отправится к праотцам, не навредит ли это твоему хозяину Уинтерборну?

— Что я, пророк израильский, — ответствовал Кридл. — А если правду сказать, так еще как навредит. Я еще вчера своим худым умишком раскинул, и так прикидывал, и эдак. И я тебе вот что скажу — все дома мистера Уинтерборна висят на волоске: помрет Саут, и все дома без никакого перейдут к ней в ручки, в Хинток-хаус. Я ему говорил, да только все слова на ветер.

Глава XIII

Кридл говорил правду. Жизнь — хрупкая жизнь одного человека, — законом назначенная отмерять срок аренды, держалась сейчас на волоске, а вместе с ней — будущее Джайлса Уинтерборна. Домишко Саутов, его собственный дом и арендованные еще его отцом полдюжины домов, принадлежавших различным семьям на протяжении последней сотни лет, — все они должны были с кончиной старика слиться в одном обширном владении.

И подумать только: всего каких-нибудь два месяца назад на пятидесятипятилетнего отца Марти, суетливого и беспокойного, никто не обращал внимания, жизнь его была далека от злобы дня, волновавшей соседей, и обещала продлиться еще по меньшей мере четверть века.

Утром следующего дня Джайлс Уинтерборн бродил по своему саду, размышляя о горьких превратностях судьбы. Странное чувство не отпускало его: ему казалось, что дорожки сада, грядки с капустой, яблони, дом, винный подвал, давильня, конюшни, флюгер — все бежит от него куда-то прочь, как рисованные картинки в вол-

шебном фонаре. Он давно знал о болезни Джона Саута, но как-то ни разу всерьез не подумал, чем это грозит ему в будущем. Справляться о здоровье больного, когда в дело замешан корыстный интерес, казалось ему еще безжалостнее, чем избегать разговора, поэтому он взял себе за правило обходить домик Марти стороной.

Джайлс все еще бродил по саду, когда кто-то его окликнул. Это оказалась Марти, прибежавшая к нему за помощью в таком отчаянии, что даже забыла прикрыть свою стриженую голову.

— Отец совсем измучился, мистер Уинтерборн. Вы знаете, о чем я говорю. Его изводит это высокое дерево перед окном. Ему все мерещится, что оно вот-вот рухнет и раздавит его и меня. Вы не могли бы забежать к нам на минутку? Может, вы его успокоите, меня он совсем перестал слушать.

Джайлс отправился за Марти и, войдя в дом, поднялся к старику наверх. Джон Саут сидел в кресле у кровати, обложенный со всех сторон подушками, и не отрываясь смотрел на высокий вяз за окном.

— А, сосед Уинтерборн, — встретил он Джайлса. — Если бы моя смерть была в убыток мне одному, я бы не роптал: моей жизни какая теперь цена, — да за вас досадно. Вы еще человек

молодой, у вас вся жизнь впереди. Подвел я вас: собрался помирать в пятьдесят пять лет, точно назло. Только я бы еще за себя постоял: знаю, что постоял, — кабы не это вот дерево. Сведет оно меня в могилу. Как ветер подует, так жду беды: все думаю — сейчас рухнет, и нас всех в лепешку. И это в вашем-то доме! Ну как оно меня вправду убьет — что вы тогда скажете?

— Вы обо мне не тревожьтесь. О себе лучше подумайте, — успокоил его Джайлс.

Он посмотрел на вяз, с которого не сводил взгляда старый лесоруб. Огромное дерево — Джайлс знал его с детства — отстояло на две трети своей высоты от жилища Саутов. В ненастную погоду под порывами ветра оно гнулось и скрипело, как вот сейчас, и это обычное явление породило в старике ставшую неотвязной мысль, что вяз каждое мгновение может рухнуть и задавить его насмерть. Не внимая никаким уговорам, он целыми днями просиживал у окна, устремив беспокойный взгляд на дерево и вслушиваясь в унылые грегорианские хоралы, которые исторгал из него ветер. Не телесный недуг, а именно этот страх с несомненностью для окружающих подтачивал здоровье Джона Саута.

Под ветром раскачивалась вершина старого

вяза, и послушно раскачивалась за ней голова старика.

— Я еще мальчишкой был, подумывал, а не срубить ли мне его: хорошая выйдет жердь для бельевой веревки, и когда постарше стал, все собирался его срубить, да так и не собрался. Вот и стоит оно, разрослось. Это мой враг, смерть моя. Мог я тогда, мальчишкой, подумать, что этакое деревцо вон как вымахает и меня в могилу сведет?

— Да не тревожьтесь, ничего такого не случится, — наперебой утешали его Марти и Уинтерборн, думая про себя, что дерево в самом деле сведет его в могилу, хоть и не так, как ему это представляется.

— Вот что можно сделать, — вдруг сообразил Уинтерборн. — Я сегодня же обобью нижние сучья, тогда оно не будет так скрипеть под ветром.

— Она не позволит, — прошептал Саут, — эта чужая женщина… Что ей до наших забот, она не разрешит.

— О ком вы, о миссис Чармонд? Да она, поверьте мне, знать не знает об этом дереве. К тому же я не собираюсь рубить ее собственность, я только обобью нижние ветви. Тут не о чем беспокоиться.

Днем Уинтерборн, как обещал, зашел к Саутам,

достал из хозяйского сарая топор, с помощью лестницы взобрался на вяз и стал рубить, или, по местному выражению, «обивать», нижние ветви. Под ударами топора они сотрясались, потом обламывались и с треском валились вниз, на живую изгородь. Обрубив нижний ярус, Джайлс поднялся чуть выше по перекладинам лестницы и приступил к следующему. Дойдя до верхней перекладины, он вскарабкался по сучьям еще выше, обрубая их за собой и оставляя внизу оголенный ствол.

Могучие ветви вяза поддавались медленно. День постепенно клонился к вечеру, часам к четырем опустился туман. По временам, отрываясь от работы, Джайлс заглядывал в верхнее окно дома, откуда в слабом отсвете камина на него не моргая смотрел старик, крепко сжимая ладонями ручки кресла.

Странная мысль, неожиданно посетившая Джайлса, заставила его на мгновение прервать работу. Он самовольно распоряжался собственностью лица, которому окончание срока аренды только на руку. Имеет ли он право, зная это, продолжать работу? Но, с другой стороны, он старается не из корысти, а для того, чтобы спасти жизнь другому человеку. Разве это не служит

оправданием его самоуправства?

Обдумывая, как ему быть, он случайно взглянул вниз и увидел, что в его сторону движется неясная в тумане фигура. Грейс, догадался он. Должно быть, она вышла прогуляться до наступления темноты, воспользовавшись часом затишья. Приготовившись окликнуть ее, он ждал, пока она подойдет ближе.

Грейс тоже заметила его издалека, но, помня о наказе отца, решила дать ему понять, что не одобряет его ухаживаний. Ее детская привязанность к Джайлсу с возвращением домой не превратилась в страстное чувство, которое одно могло бы ее подвигнуть на бунт против отца. Решив, что Грейс его не видит, Уинтерборн первый окликнул ее:

— Мисс Мелбери!

Грейс подняла голову. Снизу она хорошо видела Джайлса, различая не только выражение его глаз, но даже блестящие, отшлифованные ходьбой гвоздики на башмаках, но не отозвалась и, опустив голову, молча прошла мимо.

Уинтерборн нахмурился, недоумевая, что бы могло значить такое поведение, пожал плечами и снова взялся за топор. Грейс, успев отойти всего на несколько шагов, остановилась у калитки и, прислонившись к ней, с тоской прошептала:

— Что же мне теперь делать?

Туман быстро сгущался, и Грейс ничего не оставалось, как повернуть назад и снова пройти под злополучным вязом. Уинтерборн, заметив ее приближение, решил не отступать и позвал:

— Грейс, выслушайте меня!

Она опять не ответила и, покачав головой, прошла мимо, но, зайдя за изгородь, остановилась и оглянулась.

Она никому не хотела причинять зла, но если дело идет к тому, чтобы рвать отношения, то лучше сделать это сразу, не оттягивая, размышляла она. Словно угадав, о чем она думает, Джайлс отвернулся и стал с силой рубить сук, за ним другой, карабкаясь по стволу все выше, как будто желая совсем оторваться от земли. Забравшись достаточно высоко, он продолжал работу в непроглядном тумане, так что снизу Джайлс казался темным пятном на светло-сером фоне неба, и только стук топора и треск обрушивавшихся ветвей выдавали его присутствие.

Нет, это был неверный поступок, лучше всего вести себя просто и искренне. И Грейс Мелбери в который раз направилась к вязу. Не замечаемая Джайлсом, она долго стояла, глядя вверх и откладывая тягостную минуту, когда ей придется

положить конец его надеждам.

— Джайлс… Мистер Уинтерборн, — выговорила она наконец.

Голос ее потерялся в тумане, и Джайлс ее не услышал.

— Мистер Уинтерборн! — повторила она уже громче, и на этот раз он остановил работу и перегнулся вниз.

— Мое молчание не случайно, — проговорила она дрожащим голосом. — Отец сказал, что лучше нам больше об этом не думать… о том, что мы помолвлены… что он обещал… словом, вы понимаете. Я думаю, что он прав. Но, Джайлс, мы останемся друзьями, вы знаете, мы ведь почти родственники.

— Ну что же, — ответил он, словно нисколько не удивившись; голос его звучал слабо и доносился как будто издалека. — Мне нечего вам возразить… Я бы хотел обдумать сказанное.

Волнуясь, она продолжила:

— Если бы дело было во мне одной, я бы за вас вышла… наверно… со временем. Но, я думаю, отец прав: это было бы неразумно.

Вместо ответа он откинулся назад, прислонившись спиной к стволу и опершись локтем на развилину сука, опустил голову на руку. Грейс

стояла внизу и смотрела на него до тех пор, пока туман и темнота не скрыли его из виду.

Грейс вздохнула и, почувствовав, что горло ее сжалось, быстро зашагала прочь. Сердце ее разрывалось на части, глаза застилали слезы. Неизвестно, что сталось бы с дочерним послушанием Грейс, которое она только что выказала с такой решимостью, если бы Джайлс нагнал ее в эту минуту, вместо того чтобы хранить трагическую неподвижность. Если женщины говорят правду, что им никогда так не хочется навеки связать свою судьбу с мужчиной, как через пять минут после решительного «нет», то не исключена возможность, что, прояви Уинтерборн большую настойчивость, все могло бы повернуться иначе. Но он предпочел безмолвно застыть в окутавшей его пелене тумана, и Грейс ничего другого не оставалось, как повернуться и уйти прочь.

Местность, казалось, опустела. Свет из окна Саутов, едва пробиваясь сквозь туман, не достигал вяза. Минуло еще четверть часа, и вокруг воцарилась кромешная тьма. Джайлс не двигался.

Но вот дерево затрепетало, издав подобие вздоха. Джайлс очнулся и почти бесшумно соскользнул по стволу вниз. Он уже обдумал, как

ему поступить, и, положив на место лестницу и топор, отправился прямо домой. Главное теперь — не подавать вида, что он угнетен происшедшим, как не подавал вида, что боится потерять аренду. Он лег спать в обычное время. Две беды разом не всегда оказываются вдвое тяжелее, чем одна. Так и в этом случае — неурядицы с арендой, которых в другое время с лихвой хватило бы на то, чтобы лишить его сна на всю ночь, оттеснились на задний план неудачей в любовных делах. Сегодняшние слова Грейс означали не временную беду, но прощание навеки, хоть это и не сразу дошло до его сознания. Утром следующего дня он был по-прежнему суров и мрачен: светлая грусть, приходящая на смену щемящей скорби об утраченном, еще не родилась в его душе.

В то утро дожидалась отправки в город за много миль от Малого Хинтока большая партия дубового леса. Гордые стволы срубили в лесу, где они сотни лет то безмолвно обнажались, то вновь покрывались листвой, и, как рабов, цепями приковали к тяжелой подводе с огромными красными колесами, запряженной четверкой самых сильных битюгов в хозяйстве Мелбери.

К их сбруям в тот день были подвешены колокольчики, всего шестнадцать на упряжку,

расположенные по дуге двумя октавами, так что самый высокий тон приходился у оглобли справа от коренника, а самый низкий — на две октавы ниже, у оглобли слева от пристяжной. Мелбери одним из последних в лесном краю держался старого обычая привешивать лошадям колокольчики: здесь, в Малом Хинтоке, где дороги не стали шире со времен застав и поборов, они еще могли сослужить возчикам добрую службу. Немало встречных подвод выручил за многие годы их предупреждающий перезвон, тем более что, наперечет зная все колокольчики в округе, возчики за версту могли определить, свой или чужой едет им навстречу.

Вчерашний туман еще окутывал лес плотной пеленой, через которую с трудом пробивались лучи утреннего солнца. Видя, что туман не редеет, а груз нешуточный и дорога извилистая, Уинтерборн взялся сам сопровождать подводу до поворота на большой тракт, как не раз поступал в подобных случаях.

Подвода тяжело прогрохотала по дороге, сотрясая фундаменты ближних домов и оглашая окрестности мелодичным перезвоном колокольчиков, выехала из долины и начала спускаться к тракту, скрежеща ободьями о камень и высекая

искры, грозившие поджечь палую листву по обочинам.

Тут, на спуске, и приключилось одно из тех дорожных происшествий, которые призван был предотвратить предупреждающий звон колокольчиков. Внезапно перед самой упряжкой из тумана вынырнули два бледно светивших фонаря и показалась крытая карета, приближения которой никто не расслышал за грохотом подводы. Позади кареты смутно угадывался возок с вещами.

Пройдя вперед, Уинтерборн услышал, как кучер требует, чтобы они завернули. Возчик отвечал, что это невозможно.

— Отвяжи пристяжных и заворачивай, — настаивал кучер.

— Вам проще отъехать назад, чем нам, — вмешался Уинтерборн. — У нас как-никак пять тонн леса.

— А у меня карета и возок с вещами.

Уинтерборн согласился, что возок усложняет дело.

— И все же вам проще подать назад, чем нам. Что же вы раньше зевали — наши колокольчики гремят на полмили.

— А вы что, фонарей не видели?

— Какие фонари в таком тумане!

— Ладно, хватит, нам время дорого, — высокомерно заключил кучер. — Небось тащитесь в какую-нибудь деревеньку по соседству, а мы едем прямиком в Италию.

— Не слезая с козел, — съязвил Уинтерборн.

Пререкания продолжались до тех пор, пока из кареты не послышался голос, спросивший, в чем дело. Голос принадлежал даме.

Кучер поспешно доложил, и Джайлс услышал, как дама приказала лакею потребовать, чтобы ей уступили дорогу.

Лакей явился, но Уинтерборн отослал его назад, присовокупив к извинениям отказ выполнить требование и мотивируя его тем, что в таких обстоятельствах легкому экипажу отъехать куда проще, чем тяжелогруженой подводе. Не будь вчерашнего объяснения с Грейс Мелбери, поколебавшего его веру в слабый пол, он бы, вероятно, вел себя с большей любезностью, но его словно преследовал злой рок.

Ничто не могло сдвинуть его с места, и карете пришлось вместе с возком ехать вспять до разъезда, нарочно устроенного на случай подобных встреч. Там мимо посрамленных экипажей, как назло скосившихся к обочине, с торжествующим

грохотом проехала подвода, опережаемая триумфальным звоном шестнадцати колокольчиков, кстати сказать, мало согласовавшимся с настроением Джайлса Уинтерборна.

Поравнявшись с неподвижной каретой, Джайлс услышал, как изнутри раздался тихий голос:

— Кто этот грубиян? Не Мелбери?

Голос был такой беззащитно-женский, что Джайлс почувствовал угрызения совести.

— Нет, мэм, ему до Мелбери далеко. Это молодой парень из Малого Хинтока, Джайлс Уинтерборн.

Карета тронулась.

— Ну, мистер Уинтерборн, — сказал возчик, покачав головой, — это же была она сама… миссис Чармонд! Кто бы мог подумать! Какое у нее может быть тут дело, что она разъезжает спозаранку? В Италию, дескать, едем… Может, и впрямь в Италию. Я слыхал, она собиралась за границу, — видать, не по ней наши зимы.

Происшествие огорчило Уинтерборна, тем более что мистер Мелбери, всегда преклонявшийся перед Хинток-хаусом, первым осудит его поведение, если узнает о случившемся. Ничего не ответив возчику, он проводил подводу до тракта и зашагал назад, намереваясь по дороге домой заглянуть к Саутам — проведать, не полегчало ли

старику со вчерашнего дня.

Как раз в это время, несмотря на ранний час, Мелбери послал Грейс, давно уже не опаздывавшую к семейному завтраку, справиться о здоровье старого Саута. Марти встретила ее в дверях. Не успели они поздороваться, как на дороге показалась разделавшаяся с препятствиями карета миссис Чармонд. Девушки проводили ее глазами. Профиль миссис Чармонд ясно различался в занимавшемся свете дня: она смотрела прямо перед собой, откинув голову с пышно рассыпавшимися по плечам локонами.

— Какая она сегодня красивая! — проговорила Грейс, в великодушном восторге позабыв о нанесенной ей обиде. — Как к лицу ей эта прическа. Никогда не видела прически красивее!

— Я тоже, мисс, — сухо отозвалась Марти, рассеянно проводя рукой по голове.

Грейс с сожалением провожала глазами удалявшуюся карету с возком, пока оба экипажа не скрылись из виду. Узнав от Марти, что старому Сауту не стало лучше, она уже собралась идти назад, когда к калитке подошел Уинтерборн. Однако, завидев в дверях Грейс, он повернулся и пошел к себе переждать, пока она уйдет.

Глава XIV

Встреча с каретами не выходила у Уинтерборна из головы и заставляла его призадуматься над тем, что после смерти Саута к помещице немедленно перейдут числившиеся за стариком дома и службы в обоих Хинтоках. О чем думали люди былых времен, изобретая такие немыслимые условия аренды? Что заставило его хинтокских предков обменять свою собственность на пожизненное пользование чужой? Джайлс не покладая рук трудился в унаследованном им хозяйстве и мог теперь только дивиться беспечности отца, не застраховавшего себя от последствий кончины Саута.

С этими мыслями Уинтерборн после завтрака поднялся наверх, свернул постель и извлек из-под матраца плоский полотняный мешочек. В таких мешочках под матрацами фермеры обычно хранят бумаги. Джайлс сел на край кровати и просмотрел арендные права, в которые не заглядывал со смерти отца. Это были обычные договоры на аренду в течение трех жизней, по которым кто-то из Саутов лет пятьдесят назад уступил свои права владельцу поместья в обмен

на ремонт обветшавших строений. Большинство этих бумаг отец Уинтерборна получил от своей матери, урожденной Саут.

К пергаменту одного из договоров было подшито письмо, прежде не попадавшееся Джайлсу на глаза. На нем стояла давняя дата, почерк принадлежал какому-нибудь поверенному или посреднику, внизу красовалась подпись арендатора. Письмо гласило, что в любое время до истечения последней из упомянутых жизней мистер Джайлс Уинтерборн-старший имеет право, уплатив ничтожную сумму, приписать свою жизнь, равно как и жизнь своего сына, к условиям аренды. Уступка эта делалась в силу согласия Уинтерборна-старшего снести дом, который стоял у крутого поворота узкой дороги и мешал движению.

Дом этот сломали давным-давно. Непонятно, отчего отец Джайлса не воспользовался своим правом и не вписал в бумаги себя и сына. Скорее всего, причиной была его смерть, ибо Уинтерборн-старший не принадлежал к тем людям, которые легко расстаются с собственностью.

Пока последний из Саутов был еще жив, Джайлс, вероятно, мог утвердиться в правах, упущенных его отцом. Эта возможность немало

его обрадовала, ибо от домовладения зависело слишком многое. Разве не сомнительность его арендных прав в Большом и Малом Хинтоках мешала Мелбери отдать за него Грейс? Уинтерборн решил не откладывать дела в долгий ящик, тем более что для продления аренды требовалось внести небольшую сумму, которую он мог собрать без труда. Однако замысел этот нельзя было осуществить в один день, поэтому он во второй раз отправился к Саутам узнать, помогла ли вчерашняя рубка сучьев.

Марти встретила его в дверях.

— Ну как, Марти… — начал он, но по ее лицу понял, что дела не так хороши, как он надеялся.

— Увы, ваши труды пропали зря, — сказала Марти. — Отец говорит, что дерево стало еще выше.

Уинтерборн оглянулся. Обнажившийся ствол и впрямь подчеркивал высоту дерева.

— Когда утром увидел, что вы сделали, он совсем обезумел от страха, — продолжала Марти. — Он твердит, что дерево теперь падет на нас, как «меч Господень и Гидеонов»[16].

— М-да. Могу я чем-нибудь помочь? — спросил

---

[16] Примечания: 16
Библия. Книга Судей, гл. 7.

Джайлс.

— Доктор сказал, что дерево надо срубить.

— Так к вам приходил доктор?

— Я его не звала. Это миссис Чармонд перед отъездом узнала, что отец болен, и распорядилась, чтобы доктор посещал нас за ее счет.

— Очень любезно с ее стороны. Значит, доктор считает, что дерево надо срубить. Но мы же не можем срубить его без ведома миссис Чармонд.

Джайлс поднялся наверх. Старый Саут сидел в кресле, не сводя глаз с удлинившегося ствола. К несчастью, ветер, разогнавший туман, принялся раскачивать дерево, и взгляд старика неотступно следовал за мятущимися ветвями.

Послышались шаги — мужские, но необычно легкие.

— Это опять доктор Фитцпирс, — сказала Марти и вышла ему навстречу.

Вскоре заскрипели ступеньки.

Мистер Фитцпирс вошел к больному именно так, как в подобных случаях входят доктора, особенно когда им случается входить в убогое крестьянское жилище, то есть глядя на пациента с той преувеличенной деловитостью, которая ясно говорит, что врач со времени своего последнего посещения почти совсем забыл о больном и

его болезни. Он кивнул Уинтерборну, с которым был шапочно знаком, и, припоминая, чем болен Саут, направился к его креслу.

Фитцпирс был строен и, пожалуй, даже красив. Его темные выразительные глаза излучали свет, свидетельствовавший не то об энергии, не то о восприимчивости, а может, о том и другом сразу. Взгляд их не был быстрым, легким и трезвым, который бодро скользит по поверхности, не проникая вглубь, однако только в поступках выявилось бы, чем была эта глубина: свойством натуры или случайной художественной особенностью его облика.

Лицо его было скорее мягко, чем сурово, скорее привлекательно, чем надменно, скорее бледно, нежели румяно. Не слишком взыскательный скульптор мог бы увековечить в мраморе его нос. Это был обыкновенный прямой нос, лишенный признаков властолюбия. Классическим линиям его губ недоставало определенности. Тем не менее то ли по понимающему и сочувственному выражению лица его, то ли по неторопливости манер, то ли по приверженности к глубокомысленным фразам можно было заключить, что это скорее философ, нежели денди или праздный гуляка. Такому впечатлению способствовало и

отсутствие брелоков и других побрякушек на его костюме, более элегантном, чем это обычно бывает у сельских врачей.

Придирчивые великосветские судьи, узнав о докторе, пожалуй, обвинили бы его в том, что у него скорее чересчур много идей, нежели чересчур мало, и, пожалуй, сочли бы его бесплодным мечтателем или страстным приверженцем какого-нибудь *лжеучения*. Что бы там ни было, мы еще убедимся, что он представлял собой редкостное для Малого Хинтока сочетание врача и джентльмена, невесть откуда свалившееся в эту деревню.

— Это необыкновенный случай, — обратился он к Уинтерборну, осмотрев больного и по его речам, виду и пульсу удостоверившись, что навязчивая идея только окрепла. — Сойдемте вниз, я хочу вам кое-что сказать.

Они спустились по лестнице, и доктор продолжил:

— Дерево надо срубить — иначе я не отвечаю за жизнь больного.

— Дерево принадлежит миссис Чармонд, и для рубки необходимо ее разрешение, — сказал Джайлс. — Миссис Чармонд уехала — придется поговорить с управляющим.

— О, так ли важно, чье это дерево: что значит дерево рядом с человеческой жизнью! Срубите его! Я пока не имею чести знать миссис Чармонд, но все же готов взять риск на себя.

— Это же строевой лес, — возразил Джайлс, который, разумеется, был бы менее щепетилен, если бы дело не затрагивало его собственных интересов. — Прежде чем срубить дерево, на нем ставят отметку: или сама миссис Чармонд, или управляющий.

— Так давайте учредим новые порядки! Как давно он страдает? — спросил доктор у Марти.

— Много недель, сэр. Ему кажется, что это дерево — злой дух, что оно околдовало его. Он говорит, что они ровесники, что оно все понимает — как человек, что, когда он родился, дерево проросло, чтобы сделать его своим рабом. Такое в Хинтоке уже бывало.

Сверху послышался голос Саута:

— Ах как оно клонится! Оно упадет на нас! Упадет! Прикончит мою бедную жизнь — а от нее зависит столько домов. Ох! Ох!

— И так все время, — сказала Марти. — Он смотрит только в окно и ворчит, когда я задергиваю занавески.

— Так срубите дерево и не думайте о миссис

Чармонд! — воскликнул Фитцпирс. — Только сделать это надо вечером, в темноте, или рано утром, когда он спит. Иначе, когда дерево будет падать, он может перепугаться насмерть. Не раздергивайте занавески, пока я не приду. А я объясню ему, что все беды позади, и покажу, что дерева больше нет.

Сказав это, доктор ушел, а Марти и Джайлс решили дождаться вечера. Когда смерклось и окно было занавешено, Уинтерборн послал двоих лесорубов за поперечной пилой, и угрожавшее человеку высокое дерево подрезали у основания. Джайлс не стал его валить, опасаясь, что оно может задеть дом, и лишь на следующее утро, когда старик еще спал, вместе с работниками осторожно пригнул макушкой прочь от дома Саутов. Такую работу нелегко выполнить без шума, но все закончилось благополучно, и вяз — ровесник старого Саута вытянулся во всю длину по земле. Теперь самый неловкий или ленивый прохожий мог поставить ногу на верхние развилки ствола, куда прежде забирались лишь отчаянные смельчаки; теперь можно было вблизи рассмотреть недоступные некогда гнезда, а на ветвях, где раньше сидели лишь птицы, теперь мог отдохнуть всякий, кому не лень.

Когда совсем рассвело, явился доктор, и Уинтерборн последовал за ним к больному. Марти сообщила, что отец уже одет и готов занять свое обычное место в кресле. Войдя, они помогли усадить его, и старик тотчас начал жаловаться на дерево, которое угрожает его жизни и, следовательно, домовладению Уинтерборна.

Доктор сделал знак Джайлсу, и тот раздернул пестрые полотняные занавески.

— Дерева больше нет, сэр, — сказал мистер Фитцпирс.

Как только увидел на месте знакомого ветвистого великана квадрат чистого неба, старик вскочил на ноги, глаза его закатились, и он рухнул навзничь. На лице его проступила голубоватая белизна.

Перепуганные, мужчины перенесли его на кровать, и едва он пришел в сознание, как с губ его сорвался шепот:

— Где оно? Где оно? Где?..

Казалось, весь он оцепенел. Ошеломленные доктор и Джайлс старались помочь ему как могли, но безуспешно. До вечера они хлопотали вокруг него, но спасти не сумели. Старик промучился целый день и умер на заходе солнца.

— Черт возьми, ведь это я его угробил! — про-

бормотал Фитцпирс.

Глава XV

Мелбери сильно растревожила весть о смерти старика: не находя себе места, он все утро бродил по комнатам, раздумывая о случившемся. Искренне опечаленный, он испытывал беспокойство при мысли, что беда свалилась на Уинтерборна сразу после того, как столь решительно была расторгнута его помолвка с Грейс.

Мелбери негодовал на обстоятельства, наславшие на Джайлса эту вторую беду: он достаточно проучен той первой, которую сам навлек на себя.

— Как сейчас помню, когда к отцу Джайлса перешли эти дома, я ему сказал, что не надо вкладывать все деньги в собственность, которая может ухнуть в любой день, — с жаром говорил Мелбери. — Да разве он меня слушал? А теперь Джайлсу за это расплачиваться.

— Бедный Джайлс, — пробормотала Грейс.

— И знаешь, Грейс, между нами говоря, я сам себе удивляюсь. Получилось так, как будто я мог все предвидеть заранее. Мне от души жалко Джайлса, но разве не кстати ты от него избавилась! Не откажи мы ему тогда, сейчас бы у нас не хватило духу. Да-да, это очень кстати. Я ему

как другу всегда помогу, но уж зятем моим ему не бывать.

Он не знал, что именно тщетность упований бедного Уинтерборна трогала сердце Грейс, пробуждая в нем куда большее участие, чем во все минувшие годы.

Тем временем Джайлс сидел один в уже не принадлежавшем ему старом знакомом доме, спокойно и невесело обдумывая свое положение. Маятник настенных часов, временами касаясь стенки футляра, производил глухой барабанный стук. Через окно Джайлс видел, что Кридл бросил работу в саду, видимо, считая, что им уж не придется воспользоваться плодами следующего урожая.

Уинтерборн снова просмотрел арендные права и приложенное к ним письмо. Так и есть, он потерял свою собственность лишь по нелепой случайности, которой было легко избежать, знай он истинное положение дел. Если исходить из буквы закона, время для спасения упущено, но, может быть, узнав об обстоятельствах смерти Саута, помещица не будет оспаривать морального права Джайлса продлить аренду до конца жизни.

В груди у него защемило, когда он подумал,

что, несмотря на письменные обязательства и гарантии, решение его судьбы целиком зависит от прихоти женщины, карету которой он отказался пропустить на узкой дороге.

Так он сидел и размышлял, когда у дверей послышались шаги и в комнату вошел Мелбери, всем видом своим выражая сочувствие. Уинтерборн поздоровался с ним и опять стал перебирать пергаменты. Мелбери сел и начал:

— Как все это нелепо. Мне очень жаль тебя. Что собираешься делать?

Джайлс рассказал, что упустил возможность продлить срок аренды.

— Вот не повезло! И почему об этом раньше никто не подумал? Что ж, теперь нет другого пути, кроме как написать обо всем миссис Чармонд. Может, она смилостивится.

— Да не хотелось бы, — пробормотал Джайлс.

— Без этого не обойдешься, — уверил его Мелбери.

Он привел такие неоспоримые доводы, что Джайлс дал себя убедить и, написав письмо, отправил его в Хинток-хаус. Он знал, что почту оттуда немедленно пересылают хозяйке.

Мелбери ушел домой уверенный, что оказал Джайлсу благодеяние, которым почти полностью

загладил свою недавнюю вину, и Уинтерборн остался в одиночестве ожидать ответа от божества, распоряжавшегося судьбами обитателей Хинтока. К этому времени вся деревня знала о случившемся и, как большая семья, дружно ждала, что будет дальше.

Все думали об Уинтерборне, о Марти совсем забыли. Если бы кто-нибудь заглянул к ней лунным вечером перед похоронами, то обнаружил бы, что она одна в доме с покойником. Спальня Марти была перед самой лестницей, поэтому туда и перенесли гроб с телом отца. Лунный свет обрисовывал профиль Саута, облагороженный высочайшим присутствием смерти, и чуть дальше — лицо дочери, лежавшей на кровати в почти том же суровом покое, что и отец, — покое безвинной души, которой нечего больше терять на свете, кроме не столь уж ценной жизни.

Саута похоронили, прошла неделя, Уинтерборн ждал ответа от миссис Чармонд. Мелбери не сомневался в успехе, тем более что Уинтерборн промолчал о той злосчастной дорожной встрече с миссис Чармонд, когда по ее голосу понял, что сильнее не мог оскорбить владелицу Хинток-хауса.

Почтальон обычно проходил мимо мастерской

Мелбери вскоре после того, как там собирались работники. Раньше в свободные дни Уинтерборн захаживал туда пособить, но теперь каждое утро выходил на тенистую дорогу к тому повороту, откуда издалека мог увидеть ссутулившуюся под ношей фигуру почтальона. Грейс была полна нетерпения: больше, чем ее отец, и, может быть, больше, чем сам Уинтерборн, — и под тем или иным предлогом каждое утро заглядывала в мастерскую, где тоже дожидались письма.

Ждал его и Фитцпирс, из дому не выходил, и на душе у него было смутно: опытный врач подтвердил то, о чем он начал догадываться сам, только если бы дерево не срубили, старик, несмотря на жалобы, мог бы прожить еще лет двадцать.

Одиннадцать раз Уинтерборн выходил к повороту и во влажных серых сумерках зимнего рассвета не отрываясь смотрел на пустынный откос, по которому в определенное время спускался сгорбленный почтальон, но письма все не было. Лишь на двенадцатый день почтальон издалека помахал Уинтерборну конвертом. Не распечатывая письма, Джайлс понес его в мастерскую, работники окружили его, в открытую дверь заглянула Грейс.

Ответ был составлен не самой миссис Чармонд,

а ее поверенным в Шертоне; просмотрев его, Уинтерборн поднял глаза на работников и сказал:

— Конец!

Все ахнули.

— Миссис Чармонд поручила поверенному сообщить, что не считает возможным нарушить естественный ход событий, тем более что дома эти она хочет снести, — тихо пояснил он.

— Вот это да! — сказал кто-то.

Уинтерборн отвернулся и, ни к кому не обращаясь, с сердцем проговорил:

— Пусть сносит — черт с ней!

Кридл, на лице которого изобразилась вся скорбь мира, сказал Джайлсу:

— Это все тот проклятый призрак, это он погубил вас, хозяин!

Уинтерборн устыдился своей несдержанности и решил впредь держать себя в руках. До самой последней минуты в нем теплилась надежда, что, если все разрешится благополучно, Мелбери отдаст за него дочь. Теперь попросту бессмысленно мечтать о женитьбе, думал он, не подозревая, что одного приданого Грейс хватило бы им обоим на долгую безбедную жизнь.

С этого дня он погрузился в молчание. Впрочем, как бы мало ни говорило молчание посторонним,

для друзей оно было красноречивее всяких слов. Так фермер безошибочно определяет время суток по мельчайшим переменам в природе, которых без особой надобности не заметит тот, кто привык слушать размеренный постук часов. Не так ли и мы смотрим на молчащего друга? Пока мы слышим его речь, перемены в выражении его лица, игра морщинок на лбу ускользают от нашего внимания, но вот он умолк, и нам сразу стали ясны его мысли и чувства.

То же самое случилось с Уинтерборном. Он молчал, и, видя его молчащим, соседи понимали, как ему тяжело.

Мистер Мелбери не находил себе места: беда Уинтерборна терзала его совесть едва ли не больше, чем совесть его дочери. Если бы дела Уинтерборна уладились, лесоторговец с легким сердцем твердил бы каждый день, что не отдаст за него дочь, но теперь не отваживался об этом заговорить. Его тешила надежда, что Джайлс по доброй воле отречется от Грейс и помолвка сама собой отойдет в область преданий. Хотя Джайлс отчасти смирился с решением ее родителей, все же мог бы доставить им немало хлопот, если бы попытался склонить Грейс в свою пользу. Поэтому, встретившись с ним однажды на улице,

Мелбери постарался выказать одновременно и дружелюбие, и холодность, чтобы посмотреть, как поведет себя Джайлс.

Было ясно, что тот оставил все надежды.

— Хорошо, что я встретил вас, мистер Мелбери, — тихо проговорил Джайлс, безуспешно стараясь выглядеть деловитым. — Боюсь, что мне не под силу теперь держать лошадь. Не хочется ее продавать, и, если вы позволите, я бы подарил ее мисс Мелбери. Лошадь смирная, не испугает.

Мистер Мелбери растрогался:

— Этак ты совсем разоришься. Лучше сделаем так: Грейс получит лошадь, а я возмещу тебе все расходы.

О других условиях Мелбери слышать не хотел, и Уинтерборну пришлось подчиниться. Они находились вблизи от дома Мелбери, и лесоторговец настоял, чтобы Джайлс зашел к нему, благо Грейс не было дома.

Усадив Уинтерборна, Мелбери объявил, что хочет с ним серьезно потолковать. Откровенно и по-дружески он изложил Джайлсу свои соображения. Не хотелось бы отталкивать человека, попавшего в беду, сказал он, но как же Уинтерборн может теперь жениться на его дочери, когда ему некуда привести жену.

Джайлс не спорил, но ему хотелось услышать, что скажет сама Грейс, и он ушел от прямого ответа. Вскоре он откланялся и пошел домой, чтобы собраться с мыслями и наедине с собой решить, стоит ли ему искать встречи с Грейс.

Вечером, когда он сидел, погруженный в раздумья, ему вдруг почудилось, что снаружи что-то царапнуло стену. В ветреную погоду это могли быть колючие ветки шиповника, росшего вблизи дома, но сегодня ветра не было. Взяв свечу, Джайлс вышел на улицу. Никого. Он повернулся, чтобы войти в дом, и при свете свечи увидел на беленой стене нацарапанный углем стишок:

О Джайлс, ты потерял свой дом
И Грейс не будешь женихом.

Уинтерборн возвратился в комнату. Он догадывался, кто написал стишок, хотя утверждать наверное не осмеливался. Да не так уж это было существенно, поскольку там все правда. Сомнения разрешились, ему незачем видеть Грейс. Он сел за стол и написал Мелбери письмо, в котором сообщал, что его положение вынуждает его целиком разделить мнение Мелбери о давнем обещании его и его дочери и что настоящим он объявляет это обещание недействительным и

освобождает Мелбери и его дочь от каких-либо обязательств.

Запечатав конверт, Джайлс почувствовал желание поскорее от него избавиться. Не раздумывая, он направился к дому Мелбери. Было уже очень поздно, и в доме все спали. На цыпочках подойдя к крыльцу, Джайлс просунул письмо под дверь и удалился так же неслышно, как и пришел.

На следующее утро Мелбери встал первым. «Точно гора с плеч свалилась, — подумал он, прочитав письмо. — Весьма достойно с его стороны, весьма достойно. Я не брошу его в беде, а дочь выдам за ровню».

В то утро Грейс разминулась с отцом: она вышла погулять, он задержался в мастерской. Как обычно, ее путь проходил мимо дома Уинтерборна. Белый фасад озаряло солнце, и черная надпись тотчас бросилась ей в глаза. Прочитав стишок, Грейс густо покраснела. Джайлс и Кридл о чем-то разговаривали на огороде. Обугленный прут, которым был нацарапан стишок, лежал тут же, у фундамента. Понимая, что Уинтерборн сейчас ее заметит, она подбежала к стене и, переправив вторую строчку, без оглядки поспешила домой. Прочитав: «Но Грейс ты будешь женихом», — Джайлс мог подумать что угодно.

Можно с уверенностью утверждать, что Грейс, мягкой от природы, Уинтерборн внушал теперь куда более теплое чувство и даже нежность, чем во все те годы, когда считался ее женихом. С тех пор как с ним произошло несчастье, его простоватость, так грубо выпяченная сравнением с обществом, в котором она вращалась вне Малого Хинтока, отступила в тень, его великодушие вновь пробудило в ней былую романтическую привязанность. Приобретя со времени отрочества новые понятия и навыки, Грейс убереглась от честолюбия и, предоставленная самой себе, скорее всего, с легкой душой отдала бы руку и сердце Джайлсу. Сейчас ее чувства были так растревожены, что, прочитав стишок, она не удержалась от необдуманного поступка.

Дома она в молчании села за завтрак, и, едва мачеха вышла, проговорила:

— Я решила не разрывать помолвку с Джайлсом — пока, а там будет видно.

Мелбери не поверил своим ушам.

— Вздор, — решительно сказал он. — Ты не знаешь, что говоришь. Вот, почитай.

И он протянул ей конверт.

Она молча прочла письмо. Видел ли Уинтерборн, как она переделывала стишок? Откуда ей

знать? Что бы там ни было, отказ есть отказ, и следует покориться судьбе.

Как ни странно, Уинтерборн так и не заметил присутствия Грейс у своего дома. Несколькими часами позже он оттаскивал срубленное дерево от дома покойного Саута, и в дверях показалась Марти, из-за черного платья казавшаяся совсем девочкой, худенькой, маленькой. Приблизившись к ней, Джайлс спросил:

— Марти, зачем вы это написали на стене? Это же вы сделали.

— Затем, что это правда. Я хотела тут же стереть, клянусь, но вы вышли и я убежала.

— Вы напророчили мне одно, а потом переправили на другое. Такие предсказания немногого стоят.

— Я ничего не переправляла.

— Как же так!

— Честное слово.

— И все же там переправлено. Подите убедитесь.

Марти пошла к его дому и прочла, что, хоть Джайлс и потерял свой дом, он все же будет женихом Грейс. Изумленная, Марти вернулась к Уинтерборну и сказала:

— Это не я. Кто это написал там такую чушь?

— Правда, кто?

— Я все стерла, потому что не стало ни склада ни лада.

— Зря вы встреваете в чужие дела. Я ведь вас не просил. По мне, раз написано, пусть остается.

— Это, наверно, какой-нибудь мальчишка, — пробормотала Марти.

Это предположение показалось Джайлсу правдоподобным, и Грейс Мелбери осталась вне подозрений. Не сказав ей ни слова, он перестал думать о происшествии.

Хотя Уинтерборн еще жил в своем доме, судьба его перестала привлекать внимание окружающих, как это часто бывает с людьми, утратившими богатство и уважение. Не сомневаясь, что Джайлс видел, как она переправляла стишок, Грейс ждала от него ответного шага. Украдкой выказанная верность, как утлая ладья, сгинула, не выдержав встречи с первым препятствием.

Глава XVI

Доктор Фитцпирс жил на склоне холма, в доме куда скромнее и меньше, чем у лесоторговца. Дом Мелбери, по всей вероятности, был некогда центром небольшого имения Малый Хинток, границы которого стерлись, ибо вся окрестность ныне влилась во владения миссис Чармонд. Сам Мелбери ничего не подозревал, но многие — особенно приходский священник — считали, что владельцами Малого Хинтока были предки Мелбери, так как эта фамилия часто упоминалась в документах о купле-продаже земель, относившихся ко временам Гражданской войны.

Дом, где жил Фитцпирс, как мы уже говорили, был невелик, похож на крестьянский и к тому же недавней постройки, а принадлежал удалившемуся на покой фермеру и его жене, которые по прибытии доктора в деревню уступили ему передние комнаты и перебрались поближе к кухне, а заодно взяли на себя все домашние хлопоты о квартиранте, за что в назначенные дни с благодарностью принимали известную мзду.

Дом и сад своей симметричностью напоминали создания голландских архитекторов времен

Вильгельма и Марии. Островерхую живую изгородь делили пополам ворота, обрамленные аркой из высокого кустарника; от ворот прямая буксовая аллейка вела вверх по склону к крыльцу, расположенному в середине четырехоконного фасада. Справа и слева от дорожки рядами росли крыжовник, смородина, малина, клубника и скромные цветы. Перед крыльцом красовались два правильных буксовых шара, похожих на школьные глобусы. За крышей виднелись кроны яблонь, росших выше по склону, а еще выше — деревья рощи, поднимавшейся до гребня холма.

Точно против ворот в дальней части сада находилась калитка, от которой тянулась тропинка в поле. Калитку недавно покрасили, так что к ее липкой поверхности еще прилипали мошки. Сидя в гостиной, доктор рассеянно наблюдал за редкими прохожими. Будучи философом, он заметил, что характер путников забавно выражается в том, как они распахивают перед собой калитку.

Действия мужчин не отличались разнообразием: они толкали калитку и быстро проходили. Другое дело женщины — для них липкое крашеное дерево было неприятной преградой на пути, опасностью или даже ловушкой.

Первой привлекла его внимание рослая женщина с нечесаными волосами, в подоткнутой юбке. Не глядя она взялась за калитку и нажала плечом, но перепачкала рукав и разразилась потоком проклятий, присела и стала с причитаниями вытирать кофту о траву.

Доктор рассмеялся.

Следующей была коротко стриженная девушка, в которой доктор признал дочь своего покойного пациента, лесоруба Саута. При виде ее черного траурного чепца доктора кольнуло воспоминание, что именно его совет срубить дерево привел к кончине ее отца и разорению Уинтерборна. Девушка шагала не спеша, погруженная в свои мысли, ничего не подозревая, схватилась за белую штакетину, измазавшись в краске. Фитцпирс с сожалением подумал, что девушка бедная и, должно быть, запачкала свое единственное черное платье. Она осмотрела рукав, казалось, не слишком удивившись, счистила краску и, не меняя выражения лица, двинулась дальше.

Вскоре на лужайке перед изгородью показалась особа совершенно иного рода. Изящная поступь ее говорила о городском воспитании, твердая походка — о деревенском происхождении. Судя по всему, девушка сознавала, что привлекательна,

но это не мешало ей сохранять обаяние непосредственности, по-видимому, благодаря склонности уходить в собственные мысли. Вот она подошла к калитке, сейчас коснется перчаткой крашеного дерева. Это представилось Фитцпирсу чуть ли не самоубийством. Он бросился искать шляпу, не нашел, опять взглянул в окно и увидел, что опоздал. Девушка осмотрела преграду и, подняв с земли прутик, ткнула им калитку. Калитка распахнулась.

Фитцпирс продолжал внимательно наблюдать за девушкой, пока та не скрылась из виду. Это была та самая юная дама, которую он однажды повстречал на прогулке. Но кто она? Откуда это выразительное лицо? Все прочие хинтокские девушки отталкивали его своей деревенской грубостью. Но эта особа была совсем другого склада, и доктор решил, что она не из местных.

Точно то же он подумал, увидев ее впервые, но сейчас, поразмыслив, заключил, что, раз в окрестностях не появилось ни одной новой кареты, девушка не могла быть приезжей. Должно быть, она живет в Хинток-хаусе. Не сама ли это миссис Чармонд, о которой он столько слышал, или в крайнем случае ее гостья? От этих мыслей на душе у доктора полегчало.

Фитцпирс попытался читать и раскрыл начатое сочинение немецкого метафизика. Доктор любил подобные книги, ибо не был человеком практическим и мир идеальный предпочитал реальному, а открытие принципов — их применению. Юная дама не выходила у него из головы. Он мог бы пойти за ней следом, но, не будучи человеком действия, предпочел следовать за ней в мыслях. И все же, выйдя к вечеру погулять, Фитцпирс невольно направился в сторону Хинток-хауса, не подозревая, что днем туда же ходила Грейс, которую с утра занимали мысли о миссис Чармонд. Грейс дошла до вершины холма, откуда открывался вид на усадьбу, и возвратилась домой окольным путем.

Фитцпирс тоже взобрался на холм и взглянул вниз: ставни были закрыты, из одной трубы поднимался дым. Самый вид усадьбы говорил о том, что миссис Чармонд уехала, а в доме никто не живет. Сообразив, что виденная им юная дама не могла быть той миссис Чармонд, о которой он столько слышал, доктор ощутил смутное разочарование. Равнодушно отвернувшись от опустевшей усадьбы, как от тела, покинутого душой, он зашагал назад.

Поздно вечером Фитцпирса вызвали к больно-

му, жившему за две мили. Как и большинство молодых сельских врачей, Фитцпирс не мог похвастаться, что разъезжает по вызовам в лакированном кабриолете со слугой: довольствовался обычной двуколкой и сам управлялся с лошадью — то привязывал ее у жилища больного к столбу, штакетине или крюку, то давал мальчишке пенни, чтобы тот подержал ее под уздцы на время визита. Иногда ему приходилось подолгу утешать пациента, и тогда мальчишке медяк доставался недешево.

Унылые ночные поездки в одиночестве случались довольно часто, ибо роды в отдаленных и труднодоступных местах происходили, как правило, именно ночью. Будучи человеком городским, доктор боялся одиночества в темном ночном лесу. Править лошадью он толком не умел, и нередко ему приходило в голову, что, случись с ним в лесной чащобе несчастье, он погибнет от одного сознания своего одиночества, поэтому он обычно предлагал подвезти любому крестьянину или даже мальчишке, лишь бы приобрести чье-то общество и воспользоваться затем мелкой услугой вроде открывания ворот.

Когда этой ночью доктор выезжал из деревни, свет его фонаря упал на Уинтерборна, праздно

разгуливавшего у дороги, словно у него не было никакой цели в жизни. О лучшем попутчике не приходилось мечтать, и Фитцпирс не раздумывая спросил, не хочет ли тот прокатиться по лесу в такую славную ночь.

Джайлса несколько удивила эта любезность, однако он не возразил и уселся в двуколку рядом с Фитцпирсом.

Над ними раскинулась черная сеть ветвей, наброшенная на звездное небо: все деревья походили друг на друга, и ни одно не походило на соседнее. Почти касаясь головой низких ветвей, они время от времени замечали на них причудливые тени, похожие на головастиков. Джайлс объяснил, что это фазаны, устроившиеся на ночлег, а порой доносившиеся до них раскаты ружейных выстрелов, подтверждали, что не ему одному ведомо, что представляют собой тени на сучьях.

Наконец доктор решился задать Джайлсу занимавший его вопрос:

— Что это за юная дама живет в наших краях?.. Она очаровательна… знаете, в белом боа, в перчатках с белой выпушкой…

Уинтерборн уже раз видел, как доктор тайно наблюдал за Грейс, да и по описанию сразу понял,

о ком идет речь, но, мрачный и настороженный от природы и к тому же подавленный своей бедой, предпочел ответить уклончиво:

— На днях я видел юную даму: беседовала с миссис Чармонд. Должно быть, та самая.

Фитцпирс сделал из этого вывод, что Уинтерборн не видел, как он рассматривал Грейс из-за кустов, и сказал:

— Эта девушка, должно быть, настоящая дама. Едва ли она живет в Хинтоке постоянно, иначе я бы ее заприметил. Да она и не похожа на деревенскую.

— Она не живет в Хинток-хаусе?

— Нет, там никто не живет.

— Может, она гостит в деревне или у кого-нибудь из фермеров?

— Маловероятно. Она совсем не такого рода. — И Фитцпирс начал вслух декламировать, полагая, видимо, что с Джайлсом можно не считаться:

Она своим сияньем залила
Дотоле бездыханный и пустой
Простор земли – сама легка, светла,
Как облачко с рассветною росой,
Спешащее дорогой голубой
Пустыню влагой одарить. Она

Взрастала тут, в стране моей родной,
И для меня была подобьем сна,
Который после бурь дарует тишина[17].

Уинтерборн догадывался, что эти стихи сочинил не Фитцпирс, но и чужие строки ясно говорили о том, что доктор очарован его бывшей невестой. Сердце у Джайлса заныло.

— Вы, кажется, здорово влюбились в нее, сэр, — проговорил он, упрямо избегая называть Грейс по имени.

— Нет-нет… дело не в этом. Когда человек живет в одиночестве, как я здесь, чувства копятся в нем, как электричество в лейденской банке. Любовь — понятие субъективное, это сама сущность человека, ipsa hominis essentia, как говорил великий философ Спиноза; это радость, которой мы озаряем любой подходящий объект в поле нашего зрения, — точно так же многоцветие радуги одинаково озаряет дуб, ясень или вяз. Поэтому, если бы вместо этой юной дамы передо мной появилась другая, я испытал бы к ней тот же интерес и процитировал бы ту же строфу из Шелли.

---

[17] Примечания: 17
П. Б. Шелли (1792–1822). Восстание Ислама. Песнь II, строфа 23.

Все мы несчастные жертвы обстоятельств!

— Так или иначе, в наших краях это называется «влюбиться», — повторил Уинтерборн.

— Вы отчасти правы, только заметьте, что влюблен я в собственный вымысел, а на самом деле я никого не люблю.

— Скажите, сэр, а что, такое отношение к людям входит в обязанности сельского врача? — спросил Уинтерборн, прибегая к Сократовой иронии.

Лицо его было так простодушно, что Фитцпирс с готовностью ответил:

— Нет, нисколько. Сказать по правде, сельским врачом быть не так уж трудно: пропишешь старушке горькую микстуру — чем горше, тем лучше; вскроешь череп; побудешь при родах для порядка — люди тут такие здоровые, что и без врача обойдутся. А ставить опыты, заниматься исследованиями в этих условиях невозможно, хотя, впрочем, я кое-что пробовал сделать.

Джайлс не стал оспаривать взгляды доктора; его поразило странное сходство между Фитцпирсом и Грейс: оба, разговорившись, так увлекались своими суждениями, что забывали, насколько эти суждения должны быть чужды ему, Джайлсу.

Лишь на обратном пути доктор вернулся к разговору о Грейс. Они остановились у придо-

рожного трактира, выпили бренди и сидру, а когда снова тронулись в путь, приободренный выпивкой Фитцпирс проговорил:

— Да, хотел бы я знать, кто эта юная дама.

— А не все ли равно? Она же только дерево, на которое падает ваша радуга.

— Ха-ха-ха! Верно.

— Вы не женаты, сэр?

— Нет, и не собираюсь. Надеюсь, меня хватит на большее, чем женитьба и жизнь до гроба в Хинтоке. Вообще-то, врачу жениться неплохо, и иногда об этом даже приятно подумать, особенно когда за окном завывает ветер и дождь и ветви стучат по крыше. Верно ли говорят, что после смерти Саута вы потеряли все?

— Да. Больше, чем все.

Они выехали на главную улицу Хинтока, если главной улицей можно назвать участок дороги, на три четверти окаймленный рощами и садами. Одним из первых на их пути был дом Мелбери. Из окна спальни на улицу падал свет. Сейчас все раскроется, подумал Уинтерборн. Зачем он пытался скрыть от Фитцпирса, что знает Грейс? «Кто удержит ветер рукой? Кто принесет воду в

подоле?»[18] Лучше бы он откровенно ответил на расспросы доктора — все равно шила в мешке не утаишь. Двуколка поравнялась с домом, и в окне вырисовалась фигура Грейс, задергивавшей занавески.

— Так вот она! — воскликнул Фитцпирс. — Как она туда попала?

— Нет ничего проще. Это ее дом. Она дочь мистера Мелбери.

— Не может быть! Откуда у него такая дочь?

Уинтерборн сухо рассмеялся:

— Деньги сделают все, было бы из чего. Отдайте неглупую и смазливую хинтокскую девушку в хорошую школу, и она сойдет за настоящую даму.

— Это верно, — пробормотал разочарованный доктор. — Мне и в голову не приходило, что она дочь Мелбери.

— И это ее принижает в ваших глазах. — Голос Уинтерборна дрогнул.

— Ну нет, — сказал доктор с чувством. — Нисколько не принижает. Я потрясен. Черт возьми! Я за ней приударю. Она ведь очаровательна!

— Не для меня, — сказал Уинтерборн.

По уклончивым репликам молчаливого Уин-

---

[18] Примечания: 18

Парафраза библейского текста: «Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду?» (Книга притчей Соломоновых, гл. 30.)

терборна доктор Фитцпирс заключил, что тот недолюбливает мисс Мелбери за высокомерие. Не потому ли он не хотел сказать ее имени? Этот вывод, впрочем, не помешал ему восхищаться Грейс Мелбери.

Глава XVII

Грейс стояла в окне, задергивая занавески, потому что в доме случилась беда — слегла никогда доселе не хворавшая бабушка Оливер. Как и всем очень здоровым людям, мысль о болезни была ей почти так же непереносима, как мысль о самой смерти. Она хлопотала по дому, пока не свалилась: один-единственный день болезни сделал ее другим человеком, ничто в ней не напоминало бойкую бабушку Оливер, командовавшую на дворе и в мастерской. Ей было худо, и все же она упрямо не соглашалась видеть врача, Фитцпирса.

Джайлс и доктор заметили Грейс в окне комнаты, где лежала бабушка Оливер. Грейс укладывалась спать, когда ей сказали, что бабушка просит ее зайти.

Грейс поставила свечу на стул возле постели больной, и профиль старушки четкой тенью обозначился на беленой стене; ее большая голова казалась еще больше из-за юбки, тюрбаном обкрученной вокруг головы. Грейс немного прибрала в комнате и подошла к бабушке.

— Вот и я. Давайте, пока не очень поздно, по-

шлем за доктором.

— Я не хочу, — объявила бабушка Оливер.

— Тогда кто-то должен посидеть с вами.

— Я этого не вынесу. Нет! Я вас позвала, мисс Грейс, чтобы сказать об одном деле. Милая мисс Грейс, я ведь взяла у доктора деньги!

— Какие деньги?

— Да те десять фунтов.

Грейс ничего не понимала.

— Он же дал мне десять фунтов за голову, потому что у меня большой мозг. Я взяла деньги и, не подумав, подписала бумагу. Я вам не сказала, что все решено, — вы тогда так испугались. Так вот, я хорошенько размыслила и поняла, что не надо мне было с ним соглашаться. Теперь все время только об этом и думаю. Джон Саут помер, потому что боялся дерева, а я помру, потому что боюсь доктора… Я уж хотела просить его смилостивиться, да духу не хватило.

— Почему же?

— Да я потратила… больше двух фунтов. Я места себе не нахожу и дрожу от страха, что поставила на бумаге святой крест. Помру, как Саут.

— Попросите его, и он сожжет эту бумагу, я уверена. Не стоит о ней думать.

— Сказать по правде, я уже просила, мисс. Он

только рассмеялся, как бес, и сказал: «У вас, бабушка, такой отличный мозг, что науке без него не обойтись, К тому же вы и денежки получили». Только ничего не говорите мистеру Мелбери!

— Хорошо. Я дам вам деньги, и вы их вернете.

Бабушка Оливер покачала головой.

— Даже если мне хватит сил дойти до него, он не согласится. И что ему далась голова несчастной старухи, когда вокруг ходит столько народу! Я же знаю, он скажет: «Вы одна, ни родных, ни близких, не все ли вам равно, что с вами будет, когда душа расстанется с телом?» Прямо покоя лишилась! Вы бы ахнули, кабы знали, как он за мной во сне гоняется. И как я тогда с ним сговорилась — ума не приложу! Я всегда была такая отчаянная… Вот если б кто попросил за меня!

— Миссис Мелбери с радостью вам поможет.

— М-да. Он и слушать ее не станет. Тут надо кого-нибудь помоложе.

Грейс испугалась:

— Вы думаете, что он это сделает для меня?

— Еще как сделает!

— Я к нему ни за что не пойду. Да я с ним и не знакома.

— Будь я молоденькой и хорошенькой, — продолжала лукавая бабушка Оливер, — я бы

радовалась, что могу помочь старым косточкам спастись от язычника и успокоиться в христианской могилке. Всю жизнь себя не жалела, а чуть захворала, так от меня норовят избавиться.

— Как вам не стыдно, бабушка Оливер! Вы говорите так потому, что больны. Я знаю. Поверьте, вам рано думать о смерти. Вы же сами мне говорили, что заставите его подождать еще много лет.

— Так ведь шутишь, пока есть силы, и на старости лет шутишь, а как сляжешь — тут не до шуток; когда смерть рядом, всякая мелочь гробит.

— Мне очень не хочется ходить к нему, бабушка Оливер, — со слезами на глазах проговорила Грейс, сдаваясь. — Но так и быть, я схожу — пусть вам полегчает.

На следующее утро Грейс против воли направилась к доктору. Ей было особенно не по себе от слов бабушки Оливер, что ее хорошенькое лицо произведет на Фитцпирса нужное впечатление, поэтому, вопреки здравому смыслу, надела густую вуаль, которая скрывала ее черты и могла свести на нет все благие намерения.

Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о странном и зловещем поручении бабушки Оливер, и она приняла все меры предосторожности. Она

вышла из дому в сад, зная, что не встретит там никого из домочадцев. Тихонько открывая калитку, Грейс подумала, что погода не благоприятствует ей. В воздухе оттепель брала верх над ночными заморозками, крупные капли срывались с ветвей, затопляя грядки, на которых из-за избытка влаги ничего не росло, и все же из года в год с упорством обреченных на грядках сажали и сеяли овощи. Мох, покрывавший широкую гравийную террасу, был залит водой. Грейс остановилась в нерешительности, но, вспомнив, как за бабушкой Оливер во сне гоняется доктор с ланцетом, она подумала, что старушке грозит участь Саута, и напрямик зашагала по слякоти.

Необычность поручения и рассказ бабушки Оливер о страшном договоре превращали Фитцпирса в человека таинственного и притягательного. Грейс слыхала, что доктор молод, но самая цель ее посещения изгоняла из сознания мысли о его возрасте и положении. Глядя на него глазами бабушки Оливер, Грейс видела в нем безжалостного Юпитера, требующего человеческих жертв. В иных обстоятельствах она избегала бы с ним знакомства, но в маленькой деревушке это знакомство было неотвратимым, поэтому в их сегодняшней встрече едва ли было что-нибудь

предосудительное.

Вряд ли следует говорить, что представление мисс Мелбери о Фитцпирсе как о бессердечном, прямолинейном, неумолимом ученом не вполне соответствовало действительности. У реального доктора Фитцпирса было слишком много увлечений, чтобы добиться славы в науке или хотя бы приобрести изрядную практику в сельском краю, который теперь был полем его деятельности. За год он ухитрялся побывать под всеми знаками интеллектуального зодиака: то под Овном месяц увлекался алхимией, то под Тельцом упивался поэзией, месяц проводил под Близнецами астрологии и астрономии, потом его знаком был Рак немецкой романтики и метафизики. Справедливости ради заметим, что он, между прочим, занимался и тем, что непосредственно относилось к его профессии: именно в месяц пристрастия к анатомии он заключил с бабушкой Оливер договор, о котором та поведала своей молодой хозяйке.

Как можно понять из разговора с Уинтерборном, доктор в последнее время с жаром углубился в философию. Быть может, его аналитический и непрактичный современный ум чувствовал себя особенно легко и уверенно в области

отвлеченных понятий. Хотя у Фитцпирса не было определенных целей, склад его ума все же заслуживал похвалы: он был пытливым исследователем, несмотря на то что видный издалека свет его полуночной лампы чаще озарял книги о чувствах и страстях, чем научные сочинения и препараты.

Как бы ни увлекался доктор музами или мыслителями, одиночество хинтокской жизни уже начало накладывать отпечаток на его впечатлительную натуру. Зима в деревне, в уединенном доме, без общества бывает терпима, приятна и даже восхитительна при определенных условиях, которых не может быть у врача, ибо он попадает в деревню по воле случая. Эти условия заключаются в старых воспоминаниях, которыми человек биографически — если угодно, исторически — связан с каждым одушевленным и неодушевленным предметом в поле его зрения. Так жили Уинтерборн, Мелбери, Грейс: знали все о тех, кто в минувшие дни ступал по унылым полям, кто плугом взрывал пласты весенней земли и взрастил деревья на соседнем холме; о тех, чьи кони и охотничьи собаки выскочили однажды из подлеска напротив; о птицах, гнездящихся в придорожном кустарнике; о драмах любви, рев-

ности, мести и разочарования, разыгравшихся в деревенских домах, в помещичьей усадьбе, на улице, в лесах и лугах. Местность может быть красивой, величественной, полезной для здоровья, удобной для жизни, но, если она не населена воспоминаниями, она неизбежно становится в тягость тому, кто в ней поселился, лишившись общения с подобными себе.

Старик в одиночестве, вероятно, начнет мечтать об идеальном друге и попадет в объятия мошенника, прикинувшегося другом. Об идеальном друге будет мечтать и молодой человек, но волнение в крови заставит его возмечтать об идеальной подруге, и, в конце концов, шелест женского платья, звуки девичьего голоса, появление стройной фигуры зажгут в нем то пламя, от которого слепнут глаза.

Узнав, кто такая Грейс Мелбери, доктор в иных обстоятельствах тотчас позабыл бы о ней, а если не позабыл, то отнесся бы к ней совершенно иначе. Он бы не лелеял в душе ее неземной образ, но мысленно играл им, как игрушкой. Это было в его натуре. Но в деревне он не мог позволить себе подобную бесцеремонность. Он перестал почтительно боготворить Грейс, но не мог не думать о ней всерьез.

Он продолжал грезить о невозможном и в мечтах заходил так далеко, что рисовал себе беседы и целые сцены с Грейс, в которых она оказывалась таинственной миссис Чармонд, владелицей Хинток-хауса, и, отвергая всех кавалеров, благожелательно принимала его ухаживания. Намечтавшись вдоволь, Фитцпирс говорил себе: «Что ж, Грейс не миссис Чармонд, но она милая, чудная, исключительная девушка».

Тем утром он по обыкновению завтракал в одиночестве. Снежинки нехотя и без цели плавали в воздухе, отчего темный лес, высветляясь, казался серым. В почте не оказалось ни одного письма, лишь медицинский вестник и еженедельная газета.

В такую погоду он целые дни проводил у камина с книгой, а вечером, ощущая прилив энергии, зажигал лампу и, подыскав себе увлекательное занятие, просиживал далеко за полночь. Но сегодня все было иначе. Развившаяся в деревенской глуши поглощенность собой впервые сменилась в нем интересом к чему-то находившемуся за пределами дома. Вынашивая коварные планы, он бродил от окна к окну и чувствовал, что самое невыносимое одиночество наступает, когда предмет мечтаний не где-то вдали, а рядом.

Время тянулось медленно, за окном шел полудождь-полуснег — предвестник ярких не по сезону дней вроде тех, что стояли в середине зимы. Местному уроженцу капризы природы дали бы обильную пищу для размышлений. Он заметил бы, что некстати проклюнувшиеся почки на деревьях залепил мокрый снег, что гнезда, до срока свитые нетерпеливыми птицами, затоплены талой водой. Но все это были приметы чуждого доктору мира, и, внезапно утратив интерес к привычным грезам, он ощутил невыразимую скуку.

Надолго ли мисс Мелбери в Хинтоке? Погода не располагает к случайной встрече на улице: чтобы познакомиться с ней, нужно исключительное стечение обстоятельств. Ясно одно: знакомство должно произойти как бы невзначай и ограничиться легким ухаживанием, ибо высокое призвание в один прекрасный день, несомненно, уведет его к иным сферам бытия.

С такими беспорядочными мыслями он прилег на кушетку, изголовье которой, как во многих старых домах, защищал от сквозняка полог. Он пытался читать, но, так как ночью бодрствовал до трех часов, книга выскользнула у него из рук и он задремал.

Глава XVIII

В это время к дому, где жил доктор, подошла Грейс, робея при мысли о странной цели своего визита. По врожденной деликатности она никогда не умела громко оповещать о своем приходе, но сегодня ее стук в дверь прозвучал как-то особенно тихо, однако хлопотавшая по хозяйству жена фермера его расслышала. Заглянув в комнату доктора и никого не обнаружив, она предположила, что он где-то поблизости, и вызвалась его поискать. По ее приглашению Грейс вошла в комнату и присела на стул у двери.

Как только дверь за хозяйкой затворилась, Грейс огляделась и вздрогнула: на кушетке перед ней возлежал красивый молодой человек в позе, напоминавшей мраморное изваяние усопшего на гробницах пятнадцатого века, с той лишь разницей, что руки его не были молитвенно сложены. Грейс поняла, что это и есть доктор. Она не решалась прервать его сон и встала, чтобы дернуть бронзовую сонетку на широкой ленте у камина и вызвать хозяйку, но, вспомнив, что та с минуты на минуту должна вернуться, оставила свое намерение и в замешательстве взглянула на

погруженного в сон философа.

Глаза молодого человека были закрыты, отчего свет, исходивший от него, померк, лишив его облик той выразительности, которая отличала его в часы бодрствования. Но сон, погрузив во мрак телесную оболочку, взамен придал всей фигуре спящего таинственное очарование, неотразимое для восприимчивых натур, к которым, без сомнения, относилась и Грейс. Насколько она могла судить в таких обстоятельствах, перед ней находился молодой человек, каких в здешних местах не видали. Людей подобной породы, впрочем куда грубее, ей случалось видеть лишь вдали от Хинтока, да и то на расстоянии.

Не понимая, куда могла запропаститься хозяйка, которой давно пора было обнаружить свою ошибку, Грейс снова сделала шаг к звонку. В зеркале она различала отражение спящего, и каков был ее ужас, когда она обнаружила, что глаза его широко раскрыты и с удивлением устремлены на нее. Застигнутой врасплох Грейс едва достало сил, чтобы обернуться и взглянуть уже не на отражение, а на оригинал. Доктор спал, как и за минуту до этого.

Ошеломленная загадочным поведением доктора, Грейс тотчас забыла о цели своего визита.

Бросившись к дверям, она бесшумно открыла и закрыла их за собой и, незамеченная, выбежала из дому. Только достигнув калитки и оказавшись на дороге, она обрела присутствие духа. Здесь, за кустарником изгороди, ее не могли увидеть, и она остановилась, чтобы собраться с мыслями.

«Кап-кап-кап» — барабанил дождь по зонту, и капли гулко шлепались наземь. Она вышла из дому в ненастье, потому что взялась за серьезное дело, и вот все губит нелепый испуг из-за обстоятельства, которому незачем было придавать значение.

Как бы мало шума ни произвело ее бегство, оно все же потревожило Фитцпирса, и он приподнялся. Разгадка увиденного Грейс в зеркале была чрезвычайно проста: доктор в самом деле на миг приоткрыл глаза, но тут же сон снова одолел его, так что сам он не мог бы сказать, чем было виденное им: сном или явью. Ему казалось, что из комнаты минуту назад кто-то вышел, да и тождество прелестного облика во сне и только что исчезнувшей посетительницы не вызывало сомнений.

Взглянув через несколько мгновений в окно, выходившее к изгороди и гравийной дорожке, обсаженной буком, он увидел, что калитка

приотворяется и в сад входит девушка его грез. Грейс действительно решила вернуться и снова попытать удачи. Но как странно, подумал он: она входит, а не уходит. Не было ли и впрямь ее первое явление сном? Грейс неуверенно продвигалась вперед, так низко опустив зонтик, что ему не удавалось рассмотреть ее лица, но у того места, где кончался малинник и начинались грядки клубники, замешкалась.

В тревоге, что гостья опять от него ускользнет, Фитцпирс бросился ей навстречу. Гадая о цели ее посещения, он невыносимо боялся ее спугнуть.

— Прошу прощения, мисс Мелбери, — начал он. — Я заметил вас в окно и побоялся, что вы сочтете, будто меня нет дома… если только вы идете ко мне.

— Я могу изложить свое дело в двух словах, — ответила Грейс. — Я не буду к вам заходить.

— Нет-нет, как можно? Зайдите, прошу вас. По крайней мере поднимемся на крыльцо.

Уступив, Грейс взошла на крыльцо, остановилась, и Фитцпирс закрыл ее зонт.

— У меня к вам небольшое дело… скорее просьба, — сказала она. — Тяжело заболела служанка моего отца — вы ее знаете.

— Очень печально. Я тотчас же зайду к вам и

осмотрю ее.

— Нет, этого как раз не нужно.

— Вот как!

— Да, таково ее желание. Ваш визит только повредит ей, может быть — даже убьет. У меня к вам дело не совсем обычного и тягостного свойства. Видите ли, она чрезвычайно подавлена своим злосчастным обещанием касательно… ее тела после смерти.

— А, так это бабушка Оливер, старуха с великолепной головой. Тяжело заболела, говорите?

— Да, и очень, очень удручена своей опрометчивостью. Пожалуйста, вот я принесла назад деньги… прошу вас, верните бумагу, которую она подписала. — Грейс вынула из перчатки две пятифунтовые банкноты.

Не отвечая и не глядя на деньги, Фитцпирс думал только о том, что нежданно-негаданно оказался лицом к лицу с Грейс. Крыльцо было узкое, а дождь припустил, и, сбегая по навесу, струйки стекали по стеблям вьюнка и падали на подол плаща и юбку Грейс.

— Вы совсем вымокнете. Прошу вас, войдите в дом, — попросил он. — Я не могу позволить, чтобы вы тут оставались.

За парадной дверью другая дверь сразу вела

в гостиную, и, распахнув ее, он жестом пригласил Грейс войти. Она попыталась, но не смогла противиться мольбе, выражавшейся в его лице и манерах, и, страдая от своей покорности, проскользнула мимо него в комнату, задев в узком проходе рукав его куртки.

Он вошел вслед за ней, притворил дверь — Грейс почему-то надеялась, что дверь останется открытой, — и, предложив ей стул, сам сел напротив. От этих простых действий ей стало еще тревожнее: должно быть, она не успела оправиться от того первого потрясения, когда увидела в зеркале раскрытые глаза доктора. Что, если он тогда не спал, а лишь притворялся с какой-то ему одному ведомой целью?

Она снова протянула деньги. Он очнулся от долгого созерцания ожившего произведения искусства и почтительно склонился, вслушиваясь в ее слова.

— Могу ли я надеяться, что вы отступитесь и откажетесь от обязательства, которое несчастная бабушка Оливер подписала по недомыслию?

— Сделайте одолжение. Только позвольте мне остаться при своем мнении касательно ее недомыслия. Бабушка Оливер — мудрая старуха, и в этом деле тоже рассудила здраво. Вы полагаете,

что в нашем договоре есть что-то дьявольское, не правда ли, мисс Мелбери? Но припомните, что в былые времена самые прославленные наши врачи заключали именно такие соглашения.

— Дьявольское?.. Нет, скорее странное.

— Странное — может быть, но ведь предмет странен не по сути своей, а лишь по отношению к внешним объектам, в данном случае к стороннему наблюдателю.

Подойдя к секретеру, он после недолгих поисков вынул оттуда сложенный лист бумаги и, развернув, протянул его Грейс. Внизу с краю выделялся жирный чернильный крест, выведенный рукой бабушки Оливер. Грейс вложила листок в карман, и от сердца у нее отлегло.

Так как Фитцпирс все еще не взял денег, половину которых Грейс доложила из собственного кошелька, она подвинула их поближе к нему.

— О нет, не нужно. Зачем разорять старуху? — поспешно возразил он. — Не так удивительно то, что врач заручается объектом для вскрытия, как то, что подобное соглашение могло привести к нашему знакомству.

— Боюсь, мое поведение показалось вам необычным и вы сочли меня неучтивой. Простите, я не имела в виду вас обидеть.

— Нет-нет, нимало! — снова возразил он, глядя на нее с прежним изумлением. — Меня поразило иное. — Он колебался, продолжить ли мысль. — Накануне я просидел далеко за полночь, — наконец отважился он, — и оттого с полчаса назад задремал вон на той кушетке. Я забылся всего на несколько минут — и вообразите: мне пригрезилось, что вы стоите здесь, в комнате.

Признаться или нет? Грейс покраснела.

— Подумайте, — продолжал Фитцпирс, вполне уверившись, что это был сон, — как много мне пришлось о вас думать, прежде чем вы явились мне в сновидении.

Она почувствовала, что это не было притворством.

— Мне снилось, что вы стоите вот тут, — он протянул руку к камину, — но я видел не самое вас, а ваше отражение в зеркале. Что за чу́дное видение, подумал я. Такое бывает раз в жизни — замысел воплотился, Природа и Мысль слились в своем изначальном единстве! Видите ли, прошлой ночью я как раз читал философа-трансценденталиста и, вероятно, проникшись его идеализмом, перестал разделять сон и явь. Я готов был заплакать, когда проснулся и обнаружил, что вы являлись мне во времени, но, увы, не

в пространстве!

В этом словоизлиянии проскальзывала театральность, хотя в целом она была чужда Фитцпирсу. Нередко, забывшись, человек дает волю чувствам, и тогда их внешнее проявление нелегко бывает отличить от краснобайства. Истина тонет в потоке громких фраз и, как злосчастное следствие этого, неузнанная, бывает отвергнута вместе с шелухой аффектации.

Грейс, впрочем, плохо разбиралась в свойствах человеческой природы и восхищалась силой чувств, не раздумывая о форме их выражения. Слова «чу́дное видение» смутили ее, скромность помешала ей трезво оценить речь Фитцпирса.

— А не могло быть так, — вдруг спросил он, — что вы наяву посетили меня?

— Признаться, я уже была здесь однажды, — еле выговорила Грейс. — Хозяйка пошла вас искать, но долго не возвращалась, и я ушла.

— Значит, вы видели, как я спал, — пробормотал доктор; в голосе его слышалось унижение.

— Да, если, впрочем, вы меня не обманывали.

— Обманывал?

— Я увидела в зеркале, что вы лежите с открытыми глазами, но, когда оглянулась, глаза были закрыты, и я подумала, что вы, может быть, меня

обманываете.

— Никогда, — порывисто возразил Фитцпирс, — никогда я не мог бы вас обмануть.

Обладай она даром предвидения, какой насмешкой прозвучала бы эта благородная речь. Он никогда не мог бы ее обмануть! Однако они не умели глядеть на год вперед, и фраза возымела свое действие.

Грейс с беспокойством подумывала, что пора бы прервать разговор, но обаяние доктора мешало ей подняться со стула. Она медлила, как неопытная актриса, которая, проговорив все реплики, не знает, как уйти со сцены. На помощь ей пришла спасительная мысль о бабушке Оливер.

— Мне не терпится рассказать старушке о вашем благородстве, — сказала она. — Она испытает от этого большое облегчение.

— У бабушки Оливер — и нервное расстройство, как удивительно! — говорил доктор, следуя за Грейс к двери. — Погодите минуту, вас это, вероятно, заинтересует.

С этими словами он распахнул дверь в другом конце коридора, и Грейс увидела стоящий на столе микроскоп.

— Взгляните сюда, пожалуйста, это покажется вам достойным внимания, — повторил он.

Посмотрев в окуляр, она увидела светлый кружок, покрытый необычайным узором клеток.

— Как вы думаете, что это? — спросил Фитцпирс.

Грейс не знала.

— Это срез с мозга старого Джона Саута. Я его исследую.

Она вздрогнула и отпрянула: впрочем, не от отвращения, а от неожиданности, удивившись, как он сюда попал. Фитцпирс рассмеялся.

— Теперь вы меня знаете, — сказал он. — Я пытаюсь одновременно познать и физиологию, и трансцендентальную философию, мир материальный и идеальный, с тем чтобы, если это возможно, определить между ними границу. Вас это отталкивает?

— Вы ошибаетесь, мистер Фитцпирс. — Грейс не кривила душой. — Это вовсе не так. Я не раз видела ночью свет в вашем окне, и знаю, как серьезно вы работаете. Ваш труд не кажется мне предосудительным, я восхищаюсь вами!

Лицо ее было так очаровательно, так серьезно и искренне, что впечатлительный Фитцпирс от души проклял разделявший их стол. Видно это было по его глазам или нет, но Грейс, оторвавшись от микроскопа, поспешно выбежала под дождь.

Глава XIX

Вместо того чтобы довершить исследование мозга Саута, который, при всей важности этого органа, под микроскопом выглядел не так уж интересно, Фитцпирс откинулся в кресле и задумался. Он думал, что Грейс еще прелестнее из-за того, что легко поддается его влиянию, хотя это влияние скорее тревожит ее, нежели очаровывает. Фитцпирс был в должной мере ученым, готовым ревностно доискиваться сути физических явлений, но в еще большей мере — мечтателем и идеалистом. Он верил, что за несовершенным прячется совершенное, что незаурядное скрывается в гуще обыденного, что, как бы точно ни повторялись условия опыта, результат окажется всегда новым и непредсказуемым. Он усматривал в себе личность с неограниченными возможностями потому только, что это его личность (хотя в тех же обстоятельствах тысячи ему подобных кончали ничем), и был уверен, что открыл в Хинтоке совершенно исключительное существо, предназначенное для него одного.

Фитцпирс обладал привычкой разговаривать с собой вслух, какая обычно встречается у мечтате-

лей более преклонного возраста: расхаживал по комнате, стараясь ступать на самые яркие цветы в узоре ковра, и бормотал себе под нос:

— Пока я в Хинтоке, эта удивительная девушка будет озарять мою жизнь светом, и — что самое замечательное — наши отношения будут исключительно духовного свойства. Мы разного круга, иная близость между нами невозможна. Как она ни прелестна, брак с ней был бы безумием. Одна мысль о нем убила бы всю одухотворенность нашей дружбы. Да и вообще в практической жизни у меня есть другие цели.

Фитцпирс рассчитывал со временем жениться на женщине, равной ему происхождением, но гораздо более богатой. Однако в настоящем его помыслы сосредоточились на Грейс Мелбери, в которой он видел скорее некое духовное явление, чем существо из плоти и крови, явление, которое годится на то, чтобы оживить его бытие и развеять однообразие и скуку деревенской жизни.

Увидев Грейс, но еще не обменявшись с ней ни словом, он от праздности вознамерился приволокнуться за хорошенькой дочкой лесоторговца, но теперь, узнав ее ближе, устыдился прежних поползновений. Близость с такой девушкой не может принять вульгарный оборот, она сулит

высокое духовное общение и сопричастность миру идей. Не имея причин наведываться в дом ее отца, он понимал, что дружба их будет питаться случайными встречами у дороги, в лесу, на пути в церковь или из церкви, где-то возле ее дома.

Как он и предполагал, мимолетные свидания стали событиями в их жизни. Но в деревенской глуши минутные встречи, часто повторяясь, порождают интерес и даже близость между людьми. Их близость росла так же незаметно для глаза, как растут почки на деревьях. Нельзя было установить, в какой день они стали друзьями, и все же понимание тонкой нитью уже связывало двух людей, еще зимой бывших чужими друг другу.

Весна началась неожиданно: давно набухшие почки распустились за одну теплую ночь. Казалось, слышно, как деревья наливаются соком. Откуда ни возьмись явились позднеапрельские цветы с таким видом, будто они здесь век, хотя еще позавчера их не было и следа. В лужах барахтались птицы. Домоседы говорили, что слышали соловья, на что гуляки с презрением отвечали, что слышали его две недели назад.

Практика у молодого доктора была менее обширной, чем у его лондонских коллег, и оставляла время для частых прогулок по лесу. Да и то

сказать, врачебной деятельности он отдавался отнюдь не с тем усердием, которое служит залогом широкой известности. Однажды он задумчиво бродил с книгой в руках по дубраве. День был погожий, повсюду в природе кипела деятельность, и человеку созерцательному перед ее лицом невольно хотелось поежиться от неловкости за свою праздность. Вдруг издали донесся странный звук, словно кряканье утки; обычный в лесном краю, этот звук был новостью для Фитцпирса.

Продвигаясь вглубь леса, доктор вскоре догадался, откуда исходил звук. Как обычно, в это время года в лесу заготовляли кору. Лезвия топоров с треском отдирали ее от липкой поверхности ствола. Корой торговал Мелбери, отец Грейс, он мог находиться поблизости, и, привлеченный этим соображением больше, чем интересом к самому зрелищу, доктор ускорил шаги. Подойдя ближе, он узнал среди работников обоих Тимоти Тенге — старшего и младшего — и Роберта Кридла, которого, по всей вероятности, прислал на подмогу Уинтерборн; рядом хлопотала Марти Саут.

Первым на обреченное дерево набрасывался Кридл. Маленьким топориком он ловко обрубал ветки и счищал наросты мха, покрывавшего

ствол на фут-два от земли, — операция, которую можно уподобить «малому туалету» приговоренного к казни. Вслед за тем дерево обдирали на высоту человеческого роста. Если благородное создание природы может выглядеть нелепо, то это был как раз тот случай: голенастый дуб стоял, словно стыдясь самого себя, пока его не подрубали под корень, после чего отец и сын Тенге с поперечной пилой довершали дело. Едва дерево оказывалось на земле, работники набрасывались на него как саранча и в мгновение ока очищали от коры весь ствол и нижние ветви. Марти Саут поставили обдирать макушку. Затерявшись, как птица среди веток с набухшими почками, она тщательно выполняла работу, на которую у мужчин не хватало сноровки и терпения. При жизни дуба вершина его поднималась над лесом, улавливая лучи встающего и заходящего солнца и свет луны, в то время как нижние ярусы сучьев окутывала густая тьма.

— Ваш топорик, видно, лучше, чем у других, — заметил наблюдавший за Марти Фитцпирс.

— Что вы, сэр, — ответила она, показав заточенную конскую кость, которая была посажена на черенок. — Просто у других не хватает терпения на мелкую работу, их время стоит дороже,

чем мое.

Рядом на поляне был сложен просторный шалаш, и перед ним на костре весело посвистывал чайник. Фитцпирс устроился в шалаше с книгой, иногда отрываясь от чтения, чтобы бросить взгляд на разыгрывавшуюся перед ним сцену. На минуту у него мелькнула мысль, что он может поселиться здесь навсегда и, женившись на Грейс Мелбери, слиться с лесной жизнью. Да и зачем гнаться за неизвестным? Тихое счастье приобретается лишь ценой отказа от дальних планов и устремлений; мысли местных жителей не выходят за пределы хинтокских лесов — отчего бы ему не уподобиться им? Небольшая практика среди окружающих людей могла бы стать венцом его желаний.

Тем временем Марти Саут, покончив со вздрагивавшими от ее прикосновения мелкими ветками, вышла из-за поверженного дуба и принялась заваривать чай, а когда все было готово, созвала работников. Фитцпирс, подчинясь настроению, подсел к ним. Он медлил уйти и только тогда понял скрытую причину своего промедления, когда до слуха сидевших у костра донесся легкий скрип повозки и кто-то из работников сказал:

— Сам едет.

Оглянувшись, все увидели приближающуюся двуколку Мелбери с налипшим на колеса податливым мхом.

Лесоторговец вел лошадь под уздцы и, поминутно оглядываясь, предупреждал сидевшую сзади дочь, когда и где пригнуть голову, чтобы не задеть за свисающие ветки. Он задержался у того места, где только что была прервана работа, беглым взглядом окинул груду коры и направился к работникам. Встреченный громкими возгласами, он согласился выпить с ними чаю и привязал лошадь к соседнему дереву. Грейс отказалась принять участие в чаепитии; не сходя с места, она задумчиво смотрела на лучи солнца, пробивавшиеся тонкими нитями сквозь остролист, перемежавшийся с дубняком.

Подойдя ближе к шалашу, Мелбери заметил среди сидевших доктора и с радостью принял его приглашение усесться рядом с ним на бревно.

— Черт возьми, кто бы мог подумать, что вы окажетесь в таком месте! — воскликнул он, довольный неожиданной встречей. — Хотел бы я знать, разглядела ли дочка, что вы тут сидите — рукой подать? Наверно, нет.

Он вытянул голову в сторону двуколки: Грейс смотрела вдаль.

— Она на нас и не глядит. Ну да ладно, бог с ней.

Грейс и в самом деле не подозревала о соседстве Фитцпирса. Ее мысли были далеки от того, что открывалось ее взгляду: она думала о дружбе с миссис Чармонд, которую утратила, едва успев обрести, о причудливом нраве этой женщины, о тех дальних краях, где она окружена сейчас совсем иными людьми, с которыми Грейс надеялась свести знакомство через посредство своей покровительницы. Она мечтала, что летом, вернувшись в Хинток, хозяйка поместья, быть может, захочет возобновить дружбу, так резко прерванную в прошлый приезд.

Мелбери, сидя у костра, пересказывал старые истории о лесорубах, обращаясь к Фитцпирсу и как бы призывая в свидетели работников, знавших эти истории назубок. Когда он умолк, Марти поднялась со словами: «Я, пожалуй, отнесу чаю мисс Грейс», — но в эту минуту послышался звон сбруи. Оглянувшись, Мелбери увидел, что лошадь забеспокоилась и задергалась, а испуганная Грейс не решается позвать на помощь. Мелбери вскочил, но Фитцпирс его опередил, и, пока отец обуздывал лошадь, доктор помог Грейс слезть с двуколки. Она так растерялась при виде Фитц-

пирса, что не догадалась спрыгнуть наземь сама, позволив ему чуть ли не перенести на руках. Он выпустил ее не прежде, чем она коснулась ногами земли, и осведомился, не испугалась ли она.

— Нет, не очень, — сказала Грейс, переводя дух. — Это неопасно. Другое дело, если бы лошадь понесла под деревьями — там можно расшибить голову о сучья.

— Это могло вам угрожать, так что тревога как нельзя более оправданна.

Говоря это, он подразумевал растерянность, которую, как ему показалось, он прочитал на ее лице, не зная, что виной тому был отнюдь не испуг, а его внезапное появление. Как и в прежние встречи, когда он наклонялся к ней ближе обычного, на нее нашло неожиданное желание заплакать. Управившись с лошадью и увидев, что Грейс цела и невредима, Мелбери вернулся к работникам. Тотчас взяв себя в руки, Грейс последовала за ним вместе с Фитцпирсом и, подойдя к костру, весело заявила:

— Не думала я принимать участие в вашем пикнике, да, видно, судьба.

Марти нашла ей место поудобнее, и Грейс уселась в кружке, прислушиваясь к Фитцпирсу, который выспрашивал у ее отца и работников

предания об их отцах и дедах, о превратностях лесной жизни, о таинственных видениях, которые можно объяснить только вмешательством сверхъестественных сил, о белых и черных ведьмах. Он выслушал непременную историю о двух братьях, которые сразились друг с другом и пали, после чего их души поселились в Хинток-хаусе и жили там, пока священник не заговорил их и не загнал в болото в этом самом лесу, откуда они каждый раз под Новый год по старому стилю кочетами скачут к прежнему жилищу. Недаром пословица говорит: «Новый год придет, кочетом запоет».

Время бежало легко и незаметно. Дым от голых веток, наваленных в костер, тянулся к небу, заволакивая солнце, а за его синеватым пологом вздымались, как обнаженные руки, ветви простертых на земле деревьев. Запах древесного сока мешался с запахом горящих веток, разбросанные вокруг куски коры причудливо поблескивали липкой светлой изнанкой. Общество доктора тешило тщеславие Мелбери. Как хозяин у этого костра, он готов был еще долго длить удовольствие встречи, но Грейс, постоянно ловившая на себе взгляды Фитцпирса, поднялась, давая понять, что время вышло, и Мелбери послушно

поплелся за ней к двуколке.

Нарочно медля, доктор подсадил Грейс, рассудив, что, приняв ее недавно с двуколки, впредь обеспечил себе право на подобные любезности.

— Вы сейчас чуть не расплакались, отчего? — спросил он тихо.

— Не знаю, — ответила она и не солгала.

Мелбери уселся с другой стороны, и двуколка тронулась, бесшумно круша колесами нежные узорчатые мхи, гиацинты, баранчики и образки вместе с другими редкими и заурядными растениями, и с треском переламывая сучки, лежавшие поперек дороги. Их путь домой шел вершиной высокого холма, справа от которого простиралась обширная долина, обликом и испарениями земли отличавшаяся ото всей хинтокской округи. Это был край сидра, отделенный от лесного края гребнем холма. Воздух в этой яблочной долине синел, как сапфир, — воздуха такой синевы больше не встретишь нигде. Понизу стелились сады, охваченные пламенем неистового цветения, несколько буйно расцветших яблонь взбежали по холму почти до самой дороги. Облокотившись на калитку, за которой спускалась вниз тропа, спиной к дороге стоял человек и так самозабвенно любовался цветущими садами, что не заметил

проехавшей мимо двуколки.

— Это был Джайлс, — сказал Мелбери, когда они отъехали от него на порядочное расстояние.

— Неужели! Бедный Джайлс, — сказала Грейс.

— Это цветение означает для него тяжкую работу осенью. Если не нападет какая порча, урожай будет на славу.

Между тем в лесу работники, засидевшись у костра, собрались на вечер глядя по домам, благо условия сдельщины позволяли им самим устанавливать время работы. Складывая свежую кору рядами для просушки, они мало-помалу отдалились от шалаша и с наступлением сумерек отправились восвояси.

Фитцпирсу не хотелось уходить. Он снова раскрыл книгу, хотя не мог уже разобрать в ней ни слова, и так сидел у замирающего костра, вряд ли подозревая, что работники разошлись по домам. Погруженный в мечты и раздумья, он, казалось, объял ими весь край лесов; никакой шорох, никакое движение не нарушало его совершенного слияния с окрестной природой. Он снова подумал, что ради этого покоя стоит пожертвовать честолюбивыми планами. Зачем биться над разработкой новых идей, если можно зажить здесь своим домом в тиши и довольстве на славный

старинный лад. Между тем лес кругом темнел, погружаясь в сумерки; уже робкая пташка, осмелев с наступлением вечерней поры, неудержимо разливалась на соседнем кусте.

Глаз различал только светлый на фоне леса полукруг поляны. Дойдя взглядом до ее края, Фитцпирс увидел, что оттуда в его сторону движется человек. Затаившись в тени шалаша, доктор пережидал, пока прохожий его минует. Скоро из темноты проступили очертания женской фигуры: низко наклонив голову, женщина брела по следам двуколки, как будто что-то выискивая на земле. Фитцпирса осенило, что это Грейс, и через мгновение его догадка подтвердилась.

Да, она действительно что-то искала, обходя поваленные деревья, белевшие во тьме своей наготой. Вот она подошла к груде золы и, увидев в ней мерцавший уголек-другой, взяла прут и разворошила костер. Ветки ярко запылали, из темноты выступило освещенное лицо Фитцпирса, сидевшего точно на том же месте, где она его оставила несколько часов назад.

Грейс вздрогнула и даже вскрикнула: мысли о докторе не покидали ее, но меньше всего она ожидала снова встретить его в лесу. Фитцпирс подошел к ней.

— Я ужасно вас напугал, — проговорил он. — Мне надо было вас окликнуть, но я никак не думал, что это вы. Я здесь сижу с вашего ухода.

Он поддерживал ее рукой, словно боясь, что она лишится чувств. Поняв, в чем дело, Грейс мягко высвободилась и объяснила, зачем она вернулась. То ли у двуколки, то ли у костра она обронила кошелек.

— Сейчас мы его разыщем, — сказал Фитцпирс.

Он подбросил в костер охапку прошлогодних листьев, отчего пламя взметнулось ввысь, а окрестные тени внезапно сгустились, мгновенно превратив вечер в ночь. При свете костра они долго обшаривали на четвереньках поляну, пока наконец Фитцпирс не поднял голову от земли.

— Мы всегда встречаемся при странных обстоятельствах, — сказал он, опершись на локоть. — Хотел бы я знать, нет ли за этим тайного смысла.

— Разумеется, нет, — поспешно проговорила Грейс, выпрямляясь. — Прошу вас, не надо об этом.

— Надеюсь, в кошельке было не много денег, — сказал Фитцпирс, неохотно вставая и стряхивая с брюк налипшие листья.

— Совсем пустяки. Мне жалко не денег, а кошелька, это подарок. В Хинтоке деньги нужны не

больше, чем Робинзону на необитаемом острове, — здесь почти не на что их тратить.

Они уже оставили поиски, когда Фитцпирс увидел, что у его ног что-то лежит.

— Вот он, — сказал Фитцпирс. — Теперь ни вашему отцу, ни матери, ни подруге, ни поклоннику не придется досадовать на вашу рассеянность.

— Знал бы он, где я сейчас…

— Поклонник? — лукаво спросил Фитцпирс.

— Не знаю, можно ли его назвать этим словом, — простодушно ответила Грейс. — Поклонник — это что-то легкомысленное, поверхностное. А этот человек совсем не таков.

— Он обладатель всех основополагающих добродетелей.

— Может быть… Только я не могла бы их перечислить.

— Зато ими обладаете вы, а это гораздо лучше. Шлейермахер[19] учит, что основополагающими добродетелями являются самообладание, настойчивость, мудрость и любовь. Лучшего перечня добродетелей мне не приходилось встречать.

— Боюсь, что у бедного… — Она чуть было не сказала «Уинтерборна», подумав о том, что у пода-

---

[19] Примечания: 19

Шлейермахер Фридрих (1768–1834) — немецкий философ, теолог и проповедник.

ривщего ей кошелек Джайлса было не слишком много настойчивости, хотя вдоволь хватало трех других добродетелей, но вовремя сдержалась и умолкла.

Полупризнание Грейс перевернуло Фитцпирса. Мгновенно утратив чувство превосходства, он взглянул на нее глазами истинно влюбленного.

— Мисс Мелбери, — сказал он внезапно, — признайтесь: я угадал, что тот добродетельный человек, о котором вы упомянули… словом, что вы его отвергли.

Грейс пришлось признать это.

— Это не праздное любопытство. Боже избави, чтобы я посягал на чужую святыню. Но, дорогая мисс Мелбери, теперь, когда его нет, могу я приблизиться к вам?

— Я… я ничего вам не скажу! — воскликнула она. — Сейчас он мне ближе, чем раньше. Когда отвергаешь человека, потом чувствуешь к нему жалость.

Эта новая помеха лишь возвысила Грейс в глазах доктора: любовь его перешла в обожание.

— Скажите хоть слово, прошу вас, — взмолился он, теряя голову.

— Не настаивайте… Уже поздно, мне надо домой.

— Да, конечно, — отозвался Фитцпирс, но не двинулся с места.

Ей показалось неловко уйти так сразу, и они молча стояли рядом еще некоторое время. Тишину нарушили две птицы: не то устраиваясь на ночлег, не то свивая гнездо, они вступили в отчаянную распрю, мешавшую им воспользоваться крыльями, и с размаху шлепнулись в горячую золу костра, но тут же разлетелись в разные стороны.

— Вот так кончается то, что зовут любовью, — произнес чей-то голос.

Это была Марти Саут: стояла, запрокинув голову, в надежде увидеть упорхнувших птиц. Внезапно обнаружив перед собою Грейс, она невольно воскликнула:

— Ах, мисс Мелбери! Я засмотрелась на голубей и не заметила вас. А вот и мистер Уинтерборн! — прибавила она робко, взглянув на стоявшего в тени Фитцпирса.

— Марти, — прервала ее Грейс, — проводите меня домой, пожалуйста! Пойдемте, прошу вас. — Не мешкая, она схватила девушку за руку и быстро потащила прочь от шалаша.

Они удалялись от призрачных рук поваленных голых деревьев, от леса, от надранной коры, от

Фитцпирса, ото всего — тропинкой через перелесок, где между стволами проглядывали бледные пучки примулы.

— Я и не знала, что мистер Уинтерборн там, — нарушила молчание Марти уже возле самого дома Мелбери.

— Его там не было, — сказала Грейс.

— Но, мисс Мелбери, я сама его видела.

— Нет, это был не он. Джайлс Уинтерборн мне не нужен.

Глава XX

Воздушный узор ветвей над Хинтоком заслонили тяжелые непроницаемые купы листьев, и лес стал казаться внушительнее и обширнее. Его ветви отбрасывали на дорогу и на лица проходивших по ней деревенских девушек зеленые тени, бахромчатым краем нависали над садом Мелбери и в дождливую погоду роняли в него крупные капли, оставлявшие оспины вдоль всего засеянного участка, пока Мелбери не пришел к выводу, что хорошему огороду на таком месте не бывать. Два дерева, скрипевшие всю зиму, затихли, однако этот зловещий звук достойно сменили жалобы козодоя. Солнце множеством мелких звездочек вспыхивало среди листвы, лишь в полдень открыто показываясь из-за деревьев прямо над головами хинтокских обитателей.

Таким оно предстало и в канун Иванова дня, но пробило девять и по земле пролегли таинственные тени, которые местами сгущались, пугая прохожих неожиданными очертаниями. Среди стволов и ветвей мерещились странные лица и фигуры, созданные игрой угасающего дня; листья ясеня, точно зрачки, мерцали в полутьме,

а бледное небо выглядывало из-за стволов то закутанным в белое призраком, то раздвоенным змеиным жалом. Так было до восхода луны. Но едва ночное светило глянуло вниз с небесной выси и всем полным ликом засияло окрестным лужайкам и полянам, как шум голосов нарушил привычный покой позднего часа.

Услышав возгласы, доносившиеся с опушки леса рядом с владениями Мелбери, Фитцпирс выглянул за калитку — теперь он чаще смотрел на дорогу, чем в книги, — вообразив, что это Грейс переговаривается с кем-то на улице. Отныне он был безраздельно предан Грейс Мелбери, не будучи, впрочем, уверен, что она платит ему тем же. На сей раз идее удалось воплотиться в материальном объекте, думал он, в порыве влюбленности уверив себя, что ему выпал тот самый случай, который он до сих пор считал невозможным. Однако за калиткой он увидел не Грейс, а стайку деревенских девушек: одни чинно, другие в приступе необузданного веселья, они направлялись куда-то в сторону леса. Потихоньку спросив у вышедшей в сад хозяйки, что они затевают, доктор узнал, что сегодня канун Иванова дня и девушки собираются гадать на суженых. Заявив, что это кощунство, которое она,

со своей стороны, осуждает, хозяйка вернулась в дом и улеглась спать.

Раскурив сигару, доктор последовал за девушками. На прогалине между домами Мелбери и Саутов они свернули, но Фитцпирс быстро нашел их по голосам, как ни старались они говорить приглушенно.

Меж тем многие жители Малого Хинтока проведали о ночной затее девушек и тоже украдкой последовали за ними в лес. Мисс Мелбери еще днем узнала о предстоящем гадании от Марти Саут и, будучи всего лишь молодой девушкой, загорелась посмотреть, чем кончится дело. Луна светила так ярко, а ночь была так тиха, что Грейс без труда убедила выйти с ней миссис Мелбери, и в сопровождении Марти они отправились вслед за остальными.

Подходя к дому Уинтерборна, они услышали стук молотка. Это последняя ночь Уинтерборна под родительским кровом, объяснила Марти. Все сроки истекли, Джайлс перетаскивает вниз шкафы и кровати, чтобы с зарей покинуть дом. Встреча с миссис Чармонд обошлась ему дорого.

Вскоре Марти отозвала бабушка Оливер, которая в таких делах была моложе молодых, и Грейс с миссис Мелбери пришлось самим разыскивать

место, избранное дщерьми Хинтока для тайного действа, которое, вопреки их желаниям, стало явным. Грейс с мачехой остановились у ясеня, а неподалеку, в тени дуба, притаился Фитцпирс, внимательно рассматривая их обеих, озаренных полной луной.

Он наблюдал за ней молча, не замеченный никем, кроме Марти и бабушки Оливер. Подойдя к ясеню с другой, теневой стороны, они тихонько переговаривались.

— Попомни мое слово, быть им вместе, коли они на Иванову ночь в лес явились, — шептала бабушка Оливер, кивая на Фитцпирса и Грейс. — Уж верно, он скоро заполучит не мои косточки, а ее живехонькую. Она собой, нечего сказать, видная леди и достойная, а все мне сдается, что она ему не пара. Ему бы жену вроде миссис Чармонд, а с мисс Грейс хватило бы Уинтерборна.

Марти промолчала: в эту минуту девушки, среди которых немало было из Большого Хинтока, вышли на поляну, собираясь приступить к гаданию. Близилась полночь.

— Как что покажется, бежим домой со всех ног, — сказала одна из них, явно начиная трусить.

Остальные согласились, не подозревая, что в

окрестных кустах засело не менее дюжины односельчан.

— Зря мы это затеяли, — сказала другая девушка. — Хватило бы завтра в полдень вырыть ямку да послушать, какое будет ремесло у жениха. А то накликаем нечистую силу.

Однако отступать было поздно, и девушки неровной цепью двинулись меж стволов вглубь леса. Насколько могли уловить подслушивавшие, волхвование, к которому собирались приступить девушки, заключалось в сеянии конопли, пригоршню которой каждая захватила из дому. Посматривая то направо, то налево, девушки заметили мисс Мелбери: она единственная из соглядатаев не пряталась и в ярком свете луны как зачарованная следила за их приготовлениями. Все, что делали девушки, было совсем не похоже на ее жизнь последних лет: она чувствовала себя так, словно попала столетия на два назад. Светлое платье делало ее слишком заметной. Девушки пошушукались, и одна из них, здоровенная девица, помолвленная с Тимоти Тенге-младшим, подбежав к ней, пригласила ее присоединиться к остальным. Грейс, взволнованная, согласилась и пошла за ними, но чуть в стороне.

Теперь до соглядатаев не доносилось ничего,

кроме слабого шороха листвы.

— А чего ты не пошла? — снова зашептала бабушка Оливер. — Попытала бы счастья, как все.

— Я в это не верю, — коротко ответила Марти.

— Господи, да тут полприхода! Глупые девки, раззвонили на весь свет. А вон и мистер Уинтерборн подоспел с Кридлом. Что ж, Марти, иной раз и нам не грех помочь Провидению. Поди-ка скажи ему, чтобы встал за кустами у подножия холма. Мисс Грейс небось туда побежит — может, попадет ему в руки. Как только полночь пробьет, они пустятся домой как зайцы. Я этакие дела не раз видывала.

— Стоит ли? — неохотно проговорила Марти.

— Иди-иди, он тебе будет век благодарен.

— Не надо мне такой благодарности.

Поразмыслив, она все же исполнила поручение, а бабушка Оливер удовлетворенно отметила, что Джайлс медленно спускается к кустистой лощинке, которой должна была пробежать Грейс.

Миссис Мелбери, успевшая тем временем заметить всех присутствующих, разглядела этот маневр и недолго думая решила повернуть дело по-своему, ибо, в отличие от мужа, с некоторых пор догадывалась, что доктор голову потерял из-за Грейс. Подойдя к Фитцпирсу, она шепнула:

— Подите туда, где стоит мистер Уинтерборн. — И многозначительно прибавила: — Она побежит назад куда быстрее, чем шла вперед, — девушки все пугливы.

Фитцпирс был не из тех, кому надо напоминать дважды. Он пересек лощинку и встал позади Уинтерборна. Догадываясь о намерениях друг друга, соперники молчали, ибо Фитцпирс считал ниже своего достоинства тягаться с простолюдином, а тот, в свою очередь, получив отставку, не находил нужным церемониться с Фитцпирсом.

Бабушка Оливер не заметила маневра Фитцпирса и, желая пособить Джайлсу, послала Марти Саут вперед, наказав следовать за Грейс по пятам и выгнать ее куда надо, если той вдруг вздумается побежать в другую сторону. Бедная Марти, обреченная жертвовать собой ради чужого счастья, послушно пошла вперед и молча остановилась у того места, куда должна была выбежать Грейс и другие легкомысленные девицы.

Тишину нарушил глухой звук — часы на колокольне в Большом Хинтоке начали бить полночь. Вмиг часть леса, куда скрылись девушки, огласилась хлопаньем крыльев вспугнутых птиц, затем оттуда выскочили несколько зайцев или кроликов, и наконец послышался хруст сухих веток

и топот, выдававший приближение беглянок, а вскоре замелькали среди деревьев их юбки. Державшаяся поначалу в стороне мисс Мелбери была теперь одной из первых. Поддавшись общему веселью, она бежала прямо на Марти, стоявшую неподвижно, как дорожный указатель, и, пробежав мимо, устремилась к роковому кусту. Марти подоспела как раз вовремя, чтобы увидеть развязку. Обежав Уинтерборна, который из самолюбия остался на месте, Фитцпирс решился на то, о чем не смел бы помыслить, если бы не сообщничество миссис Мелбери и не ударивший в голову хмель Ивановой ночи. Простерев руки к метнувшейся на него белой фигуре, он схватил ее, как птицу.

— Ах! — воскликнула Грейс в испуге.

— Вы в моих руках, дорогая, — проговорил Фитцпирс. — Право победителя: я не отпущу вас, пока мы живы!

Обессиленная, она поникла в его руках, лишь через несколько мгновений оправившись от своей внезапной беспомощности. Приглушенные возгласы и шум борьбы, доносившиеся из зарослей папоротника, свидетельствовали о том, что другие девушки тоже попали в засаду. В отличие от них Грейс не вскрикивала и не вырывалась,

лишь, дрожа от волнения, тихо попросила:

— Пустите меня, мистер Фитцпирс.

— Пущу, — со смехом пообещал он, — пущу, как только вы успокоитесь.

Переждав еще мгновение, она тихо, но твердо отвела его руки и скользнула на тропинку. Щеки у нее пылали, но луна делала это не слишком заметным, хотя этого было достаточно, чтобы между Грейс и доктором установились новые отношения.

Как было сказано, у других девушек дела шли иначе. Они вырывались и, задыхаясь, хихикали, обретая свободу лишь после отчаянной борьбы. Расставшись с Грейс, Фитцпирс еще долго прислушивался к этой возне, стоя все у того же куста, где поймал Грейс и откуда ушел Уинтерборн. Вдруг по склону на него выбежала стройная молодая женщина с обнаженными руками. Завидев Фитцпирса, она игриво и с вызовом бросила ему:

— Эй, Тим, поцелуй меня, коли поймаешь!

Фитцпирс узнал ее — Сьюк Дэмсон, самая отчаянная девица в деревне, которая попросту приняла его в темноте за своего возлюбленного. Поддавшись минуте, он решил воспользоваться ее ошибкой и, едва она бросилась бежать, помчался вдогонку.

Она мчалась по лесу, то появляясь на свету, то исчезая в тени, поминутно оглядываясь через плечо и посылая ему воздушные поцелуи, но все время так ловко увертывалась от него, что ни разу не подпустила на опасное расстояние. Так они бегали, петляя по лесу, пока голоса вокруг не замерли окончательно. Разгоряченный погоней, Фитцпирс совсем было отчаялся догнать девицу, когда вдруг, подзадоривая его, она подбежала к изгороди и перемахнула на другую сторону. За изгородью картина переменилась: впереди расстилался заваленный сохнущим сеном луг, над которым высоко в небе сияла полная луна.

Фитцпирс мгновенно сообразил, что, выбежав на открытое место, она оказалась в его власти, и решительно рванул за ней вслед. Она пробежала еще несколько шагов по лугу и вдруг исчезла, точно провалилась сквозь землю. «Зарылась в копну», — догадался Фитцпирс. Он был так возбужден, что не мог позволить ей легко его одурачить. Подбежав ближе, он стал раскидывать копну за копной, а когда он, раззадоренный и недоумевающий, остановился, чтобы перевести дух, услышал звук воздушного поцелуя, и где-то возле него тоненький голосок пропел строчку из популярной в этих краях песни:

Убежище было обнаружено.

— Так это не Тим! — проговорила она, закрывая лицо руками.

Не обращая внимания на ее робкое сопротивление, Фитцпирс крепко поцеловал ее и с размаху опустился на соседнюю копну, с трудом переводя дух после погони.

— За кого ты меня приняла? — спросил он.

— За моего кавалера Тима Тенге, — ответила девушка.

— А ты и вправду подумала, что это он?

— Сначала так и подумала.

— А потом поняла?

— Потом поняла.

— И ты очень огорчилась, что это не он?

— Нет, — лукаво ответила она.

Фитцпирс оставил расспросы. Сьюк была очень хороша при свете луны. Бледные лучи светила скрадывали все царапины, все ссадины, заметные днем на руках и лицах деревенских девушек. Тишину нарушал только хриплый насмешливый голос козодоя, доносившийся с опушки леса. Никакой другой звук не достигал их слуха, ибо пора соловьев прошла, а до Хинтока было не менее двух миль. Перед ними раскинулся сенокос,

уходивший вдали в легкий зыбкий туман.

Глава XXI

Когда девушки толпой бросились по лесу, Уинтерборн остановил одну из них и спросил, чего они испугались.

Задыхаясь от бега и волнения, она ухитрилась торжественно объявить, что увидели они совсем не то, чего ожидали, и что она зареклась участвовать в нечестивых затеях.

— За нами погнался Сатана с песочными часами! Страх!

Решив проверить ее слова, Джайлс направился туда, откуда убежали девушки. Постояв там несколько минут, он услышал шуршание сухой листвы под чьими-то медленными шагами и, выглянув за свисавшую с ветвей перепутанную сеть жимолости, увидел на полянке невысокого плотного мужчину в черном костюме. Через руку у него было переброшено летнее пальто, в той же руке он держал цилиндр (очевидно, его девицы и приняли за песочные часы), если только они видели именно его. Движением свободной руки он словно сопровождал невысказанные слова. Лунный свет озарял его волосы и высокий лоб, какие чаще встречаются на старинных

гравюрах и полотнах, чем в повседневной жизни. Его необычная внешность, странные жесты (словно актер репетирует роль) и неподходящие для встречи время и место могли легко вселить трепет в сердца наткнувшихся на него дщерей Хинтока.

Он остановился и огляделся, словно не понимая, где находится, но не заметил слившегося с листвой Уинтерборна. Джайлс вышел на поляну, и, подняв руку, джентльмен направился прямо к нему.

— Я заблудился, — сказал незнакомец. — Не поможете ли вы мне выбраться на дорогу?

Он отер со лба пот, выступивший скорее от волнения, чем от физического усилия.

— Тракт совсем рядом, — сказал Джайлс.

— Зачем мне тракт? — нетерпеливо воскликнул джентльмен. — Я иду от тракта. Мне нужен Хинток-хаус. Как к нему выйти?

— Туда ведет тропинка, но вам будет трудно ее найти. Пойдемте, провожу.

— Буду вам весьма признателен. Я остановился на пару дней в шертонской гостинице, и после обеда решил прогуляться пешком. Вот уж не думал, что это так далеко.

— Отсюда до Хинток-хауса будет с милю.

Они тронулись в путь. Тропинка была узкой, и Джайлсу приходилось, опережая спутника, отводить колючие ветки и предупреждать:

— Берегите глаза, сэр!

В ответ на это джентльмен ронял рассеянно:

— Да-да.

Так они шли и шли, и легкие тени листвы нервно подрагивали на их лицах. Наконец незнакомец спросил:

— Далеко еще?

— Не очень, — ответил Уинтерборн. — Лес выходит клином к самой усадьбе. Но, насколько я знаю, миссис Чармонд уехала.

— Вы ошибаетесь, — быстро возразил незнакомец. — Миссис Чармонд была в отъезде, но сейчас уже возвратилась.

Джайлс не стал возражать, хотя был уверен в обратном.

— Вы здешний? — спросил незнакомец.

— Да.

— Счастливец, у вас есть дом. Это то, о чем я могу только мечтать.

— Вы, вероятно, из дальних краев?

— Я с юга Европы.

— Да что вы, сэр! Вы, наверно, итальянец, или испанец, или француз?

— Ни то, ни другое, ни третье.

Наступило молчание. Джайлс не задавал вопросов, и, испытывая потребность отплатить любезностью за услугу, джентльмен добровольно пояснил:

— Я американец, из Южной Каролины, но сейчас постоянно живу в Италии. Когда Юг потерпел поражение, я покинул родину и с тех пор ни разу там не был.

Больше он о себе ничего не сказал. Они вышли на опушку и, миновав пересекавший луга забор, увидели в низине безмолвные бледные трубы над крышей усадьбы.

— Вы не знаете, который час? — спросил джентльмен. — У меня остановились часы.

— Что-нибудь между двенадцатью и часом, — ответил Джайлс.

— А я-то думал, не больше десяти! — воскликнул озадаченный незнакомец. — Боже мой!

Он попросил Джайлса не провожать его дальше и протянул ему золотой размером с соверен. К удивлению незнакомца, Джайлс отказался от денег, и тот, опустив монету обратно в карман, проговорил с запинкой:

— Я хотел заплатить вам, чтобы вы никому не рассказывали о нашей встрече. Вы обещаете

мне?

Джайлс с готовностью обещал молчать, потом стоял и смотрел, как незнакомец спускается по склону холма. Сойдя вниз, тот неуверенно оглянулся. Джайлс понял, что ему пора уходить, и направился лесом в Хинток.

Он догадывался, что взволнованный, опечаленный джентльмен был тем давним и страстным воздыхателем миссис Чармонд, о котором столько говорили в деревне и который, по слухам, не пользовался ее расположением.

Однако догадка его не подтвердилась ничем, кроме рассказа о полуночном госте, который переполошил оставшихся в Хинток-хаусе слуг и, узнав, что миссис Чармонд вернулась из-за границы, но сейчас находится в Лондоне, ушел с проклятиями неизвестно куда, не оставив даже визитной карточки.

Принесшие эту весть служанки божились, что, прежде чем разразиться бранью, он трижды вздохнул, но другие очевидцы этого не подтвердили. Тем не менее на следующий день из шертонской гостиницы в наемном экипаже отбыл соответствующий их описанию джентльмен.

Глава XXII

С Ивановой ночи прошла неделя. Яркое солнце светило над пышной листвой, когда в дверь Фитцпирса постучался посетитель, а потом в коридоре послышался знакомый голос. Это был Мелбери. Он отказывался войти в гостиную, чтобы не наследить пыльными сапогами, но доктор настаивал и гостю пришлось покориться.

Не глядя ни вправо, ни влево, да, пожалуй, не глядя и на самого Фитцпирса, он положил шляпу на стул и, сосредоточенно уставившись в пол, начал:

— Я пришел к вам, доктор, чтобы поговорить о деле, которое меня весьма беспокоит. У меня дочь Грейс — как вы, вероятно, слыхали, единственная дочь. Так вот, в Иванову ночь ей хотелось посмотреть на причуды хинтокских девушек, и она вышла в легких туфельках. Ходила досветла по росе и теперь кашляет: часто, сухо, — и мне это очень не нравится. Я подумал, не отправить ли ее к морю: может, там полегчает…

— Послать к морю! — У Фитцпирса вытянулось лицо.

— Вот именно. И я хотел у вас спросить, какое

место посоветуете.

Лесоторговец нанес визит как раз в тот момент, когда охваченный влюбленностью Фитцпирс пришел к выводу, что дня не может прожить без Грейс. Он живо помнил, как благодаря уловке, на которую отважился с благословения ночи и лунного света, она попала в его объятия и приникла к его груди. И вдруг ее хотят куда-то отправить! С горделивыми планами можно повременить. Разницу в происхождении в наши дни заменяет общность культуры и вкусов. Волны желаний уносили его дальше и дальше.

— Как странно, как удивительно, что вы пришли сегодня ко мне поговорить о мисс Мелбери, — проговорил доктор. — Я каждый день собираюсь зайти к вам по той же причине.

— Вы тоже заметили, что ее здоровье…

— Я не заметил ничего опасного, она совершенно здорова. Но, мистер Мелбери, мне посчастливилось несколько раз видеть вашу дочь. Я бесконечно преклоняюсь перед мисс Грейс и хочу просить вас позволить мне поближе с ней познакомиться… посещать ее.

Мелбери глядел в пол и не видел, как растерялся Фитцпирс, испугавшись, что поспешное изъявление чувств повредит его планам.

— Вы хотите… вы хотите с ней познакомиться? — выговорил Мелбери после долгого молчания; чувства его прорывались наружу.

— Да, — ответил Фитцпирс.

— Вы хотите поближе ее узнать? Я должен понимать так, что вы намереваетесь жениться на ней?

— Да, — ответил доктор. — Я хочу поближе ее узнать, хочу, чтобы вы принимали меня как жениха, и если мы подойдем друг другу, то непременно поженимся.

Лесоторговец был так ошеломлен, что дрожащей рукой отставил в сторону трость.

— Ваши слова застигли меня врасплох, — проговорил он срывающимся голосом. — То есть в том, что моя дочь привлекла внимание джентльмена, нет ничего неожиданного, но мне в голову не приходило, что это будете вы. — Ком в горле мешал ему говорить. — Я всегда знал, что моя Грейс поднимется высоко, даже сказал себе: «Чего бы мне это ни стоило, я дам ей хорошее образование», — что и сделал, хотя жена опасалась, что я из года в год попусту сорю деньгами. Я-то знал, что деньги не пропадут. «Расходы на такую смышленую девочку окупятся сторицей», — сказал я ей.

— Я счастлив, что вы согласны, — сказал Фитцпирс, почти сожалея, что разрешение видеть Грейс досталось ему так легко.

— Если она не прочь, я, конечно, согласен. Да и то сказать, — признался лесоторговец, — для меня это большая честь, да и ей в заслугу, что она привлекла внимание человека с высоким положением и из хорошей семьи. Тот охотник и не подозревает, как он в ней ошибался. Что ж, берите ее — и в добрый час, сэр!

— Я постараюсь добиться ее расположения.

— Да-да. И я думаю, вас она не отвергнет. Конечно же, не отвергнет.

— Надеюсь. Теперь я буду у вас частым гостем.

— Милости прошу. Но все-таки как же быть с ее кашлем? Может, ей все-таки поехать к морю? Совсем забыл, зачем я у вас.

— Уверяю вас, кашель ее от легкой простуды, — сказал Фитцпирс, — так что нет необходимости обрекать ее на одиночество у моря.

Слова его не убедили Мелбери, который не знал, стоит ли следовать врачебным советам лица, заинтересованного в том, чтобы его дочь никуда не уезжала. Доктор понял ход его мыслей и, искренне опасаясь потерять Грейс хотя бы на время, взволнованно заверил лесоторговца:

— Если я добьюсь у нее успеха, то сам отвезу к морю на месяц-другой после женитьбы, а я надеюсь, что мы поженимся до холодов. Это гораздо лучше, чем отпускать ее одну.

Мелбери обрадовало его предложение. Вряд ли отсрочка угрожала здоровью дочери: погода стояла теплая, да и причина была нешуточная. Спохватившись, он встал и сказал Фитцпирсу:

— Не буду отнимать у вас драгоценного времени, доктор. Я пойду. Много вам обязан. Вы теперь будете часто видеться и сами посмотрите, как у нее со здоровьем.

— Поверьте мне, она совершенно здорова, — сказал Фитцпирс, который виделся с Грейс гораздо чаще, чем полагал ее отец.

После ухода Мелбери Фитцпирс стал перебирать свои мысли и чувства подобно человеку, нырнувшему за жемчужиной и оказавшемуся в среде, ни плотность, ни температура которой ему не известны. Однако жребий брошен, а Грейс — прекраснейшая из смертных.

Что касается Мелбери, то весь обратный путь его мучили сказанные им перед уходом слова. Он считал, что, расчувствовавшись, говорил глупо, неблаговоспитанно и недостойно общества образованного человека, ничтожность врачебной

практики которого с лихвой окупалась былым величием его рода. Он вел себя необдуманно. Слова его выразили чувства по поводу намерений Фитцпирса, но это были неудачные слова. Глядя в землю, он при каждом шаге водружал трость, словно это было древко знамени. Так он дошел до дому и, проходя через двор, машинально заглянул в мастерскую. Кто-то из работников спросил его о спицах для колес.

— Что? — переспросил Мелбери, уставившись на него.

Тот повторил вопрос, но Мелбери, так ничего и не ответив, повернулся и направился к дому.

Время для поденщиков мало что значило, и они лениво уставились на дверь, закрывшуюся за ним.

— Интересно, что его так гвоздит? — проговорил Тенге-старший. — Не иначе, что-нибудь с дочкой. Когда у тебя, Джон Апджон, подрастет дочка, которая будет стоить тебе таких денег, у тебя воскресные башмаки и те скрипеть перестанут! Твое счастье, что у тебя росту недостанет поднять такую дочку. М-да, будь у него дюжина дочерей, он поступал бы разумнее. Не далее как в прошлое воскресенье гляжу — идут, подходят к луже, так он ее взял и перенес, как игрушечку.

Завел бы дюжину — сами бы по лужам шлепали.

Тем временем Мелбери вошел в дом, уставясь перед собой, словно ему предстало видение, и, не снимая шляпы, уселся куда попало.

— Люси, свершилось, — сказал он жене. — Да, все, как я ожидал. На что надеялся, то и вышло. Она этого добилась — да еще как. Где она? Где Грейс?

— У себя, наверху. Что случилось?

И мистер Мелбери изложил случившееся со всей связностью, на которую был способен в такую минуту, без конца повторяя:

— Я же тебе говорил: такая красавица в девках не засидится, даже в нашей глуши. Но где же Грейс? Позови ее! Нет, постой. Гре-е-ейс!

Грейс появилась лишь через несколько минут, ибо любящий отец приучил ее ни при каких обстоятельствах никуда не спешить.

— Что случилось, папа? — спросила она с улыбкой.

— Лентяйка ты моя, что ты только наделала! Ты же дома всего шесть месяцев! Нет чтобы привязаться к людям нашего круга — ей надо смущать умы людей просвещеннейших.

Привыкшая угадывать на лету смысл отцовских обиняков, Грейс на сей раз решительно

ничего не понимала.

— Ну да, ты, конечно, не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь, хотя, по-моему, женщины такое и через двойной забор разглядят. Так и быть уж, скажу тебе. Ты подцепила доктора на крючок, теперь он будет ходить к тебе как жених.

— Нет, только подумай, милая. Какая удача! — проговорила миссис Мелбери.

— Как жених! Но я ведь этого не хотела! — воскликнула Грейс.

— Чего тут, хотеть — не хотеть! Все вышло само собой… М-да, он вел себя в высшей степени достойно и просил моего согласия. Не сомневаюсь, ты знаешь, как его встретить. Тебе же не надо говорить, чтобы ты ему не мешала.

— Не мешала жениться на мне?

— Вот именно. Для чего же еще ты училась?

Грейс посмотрела в окно, потом на камин, но восторга на лице ее не изображалось.

— Отчего это все так вдруг? — спросила она капризно. — Разве вам не важно знать мое мнение?

— Очень важно. Но ты сама понимаешь, как все замечательно.

Грейс задумалась, но ничего не ответила.

— Ты же вернешься в то общество, которого тут лишена, — продолжал отец. — Я думаю, долго в Хинтоке он не выдержит.

Грейс согласилась, что замужество сулит ей некоторые возможности, но было ясно, что, хотя присутствие Фитцпирса чаровало, почти гипнотизировало ее, хотя его неожиданный поступок в лесу порядочно смутил ее чувства, она никогда не думала о нем как о предназначенном судьбой супруге.

— Не знаю, что и сказать, — проговорила она. — Я слыхала, он очень умен.

— Он молодчина, он будет ходить к тебе в гости.

Предчувствие, что она не сможет противиться его ухаживаниям, странно всколыхнуло ее чувства.

— Но, отец, ты же помнишь, еще совсем недавно Джайлс…

— Выкинь его из головы. Он же сам от тебя отказался.

Она не умела выражать чувства с той непосредственностью, с какой ее отец высказывал свои мнения, хотя ее обучали красноречию, а его нет. Появление Фитцпирса возбуждало ее как глоток вина, погружало в непонятную стихию,

в которой она не была над собой властна, но Фитцпирс уходил, и она испытывала что-то вроде угрызений совести, особенно когда вспоминала безмолвную, саркастическую усмешку Уинтерборна… Она не находила слов, чтобы объяснить это отцу и мачехе.

Случилось так, что в тот же день Фитцпирса вызвали на собрание медицинского общества, поэтому визиты его начались не сразу. Грейс получила от него письмо с сожалением по поводу вынужденной отлучки. С виду письмо было элегантно, стиль его отличался утонченностью; со дня возвращения в Хинток подобные письма приходили к Грейс разве от школьной подруги, да и та писала до чрезвычайности редко, ибо школьные подруги весьма уважали чины и звания, и стоило Грейс исчезнуть из виду, как они перестали думать о дочери лесоторговца. Письмо не могло не обрадовать Грейс, и, получив его, она несколько часов бродила в задумчивости по окрестностям.

Тем же вечером отец сказал ей:

— А почему бы тебе не сесть и не написать ответ? В мое время молодежь отвечала на письма без промедления.

Грейс ответила, что на это письмо ответа не

полагается.

— Тебе лучше знать, — заключил отец, долго еще сомневался, правильно ли она поступила, не слишком ли легкомысленно относится к своему счастью.

Уважение Мелбери к Фитцпирсу основывалось отнюдь не на профессиональной репутации доктора, которая немногого стоила, но на громком имени Фитцпирсов, некогда игравших важную роль в графстве. У старомодных людей в деревнях еще сохраняется безотчетное доверие к отпрыскам древнего рода независимо от их нынешнего положения и личных достоинств. Это доверие в высшей степени было присуще лесоторговцу: человек, искавший руки его дочери, происходил из семьи, о величии которой он слышал еще от деда, из семьи, имя которой стало названием соседней деревни. Разве может выйти что-либо дурное из такого союза?

— Дело надо довести до конца, — сказал Мелбери жене. — Грейс понимает, что все это для ее же счастья, но, поскольку еще молода, ей не повредит совет старших.

Глава XXIII

Именно поэтому Мелбери и пригласил дочь прогуляться — так он поступал всегда, когда хотел сказать собеседнику что-то важное. Дорога привела их на вершину одного из холмов, отделявших лесной край от яблоневого; отсюда весной они любовались пышным цветением садов, которые теперь были густо-зелеными. Живо вспомнив, как она проезжала тут на двуколке, Грейс заметила:

— Кажется, в этом году урожай на яблоки будет большой — как и ждали. Джайлс, наверно, уже готовится делать сидр?

Не для таких разговоров отец привел ее сюда, поэтому вместо ответа поднял руку и указал ей на густую зелень вдали:

— Видишь то место, где яблони переваливают через холм? Там много веков назад находилось поместье Фитцпирсов, а сейчас — деревня Бакбери-Фитцпирс. Великолепное было имение, великолепное!

— Но сейчас ведь они им не владеют.

— Увы! Слава и величие умирают так же, как ничтожность и глупость. Кажется, нынче наш

доктор и незамужняя дама — не знаю, где она живет, — единственные потомки Фитцпирсов. Ты должна быть счастлива, что будешь носить такую прославленную фамилию, ведь приобщишься к истории.

— Но разве наш род в Хинтоке не такой же древний, как их в Бакбери? Ты же мне говорил, что наша фамилия все время встречается в старинных бумагах.

— Да, как фамилия йоменов, арендаторов и тому подобных. Согласись, что фамилия Фитцпирс куда лучше. Ты будешь вести высокую умственную жизнь, к которой привыкла в последние годы; практика у доктора тут небольшая, но он, конечно, наберется сил и вскоре переедет в большой город, заведет модную карету, и ты перезнакомишься со множеством дам из самого высшего общества. Если тогда встретишь меня на улице, можешь смело проехать мимо и отвернуться. Я и мечтать не буду, чтобы ты говорила со мной, — разве в каком-нибудь неприметном безлюдном уголке, чтобы встреча со мной не унизила тебя ни в чьих глазах. Теперь и думать не смей о соседе Джайлсе. Мы с ним друзья, но тебе он не ровня. Он живет простой, грубой жизнью, и жена его должна жить так же, ему под стать.

Отцовские уговоры подействовали. Вольная распоряжаться своим временем, Грейс, воспользовавшись погожим днем незадолго до возвращения Фитцпирса, решила посетить долину, где находилась деревня Бакбери-Фитцпирс. Оставив работника с лошадью и двуколкой у трактира, она направилась к развалинам замка, видневшимся невдалеке, не сомневаясь, что это и есть былая твердыня рода Фитцпирсов.

Развалины выглядели убого и состояли в основном из сводов нижнего этажа, которые покоились на низких толстых колоннах с узорчатыми капителями. Две-три получше сохранившиеся комнаты какой-то фермер превратил в загон для телят, и те шуршали теперь соломой, покрывавшей каменный пол, и лизали стены с диковинными норманнскими орнаментами, лоснившимися от сырости. Грейс подумала, что даже это примитивное искусство не заслуживает подобного небрежения, и впервые род Фитцпирсов предстал перед ее воображением в грустном романтическом свете.

Пора было ехать домой, и она вернулась к двуколке, раздумывая об увиденном. Ее глубоко поразила неожиданная мысль, что человек столь современных воззрений на науку и ис-

кусство может быть кровно связан с руинами столь отдаленных времен. Эта связь еще больше увеличила заинтересованность Грейс умом и положением доктора, и она устрашилась: и без того, оказываясь рядом с ней, он производил на нее непостижимое действие.

Весь обратный путь она пребывала в возбуждении, вызванном не любовью, а скорее страхом перед надвигавшейся опасностью.

Меж тем отец ее тоже готовился к встрече с Фитцпирсом. В доме хранилась старая книга по медицине, изданная в конце прошлого века, и, чтобы не ударить лицом в грязь, Мелбери после рабочего дня раскладывал эту книгу на коленях и читал о Галене, Гиппократе и Герофиле[20], о догматиках, эмпириках и герметиках, соперничавших между собой в истории медицины. Потом он перешел к классификации болезней и способам их излечения, подробно изложенным в этом достойном сочинении. Мелбери опасался, что трактат его устарел и что ему не удастся должным образом поддерживать беседу с доктором, без

[20] Примечания: 20

Гален Клавдий (ок. 130 — ок. 200 до н. э.) — древнеримский врач и естествоиспытатель; *Гиппократ* (ок. 460 — ок. 377 до н. э.) — величайший врач Древней Греции, один из основоположников научной медицины; *Герофил* (ок. 300 до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач и анатом.

сомнения, находящимся в курсе самоновейших открытий.

Наконец Фитцпирс приехал и прислал слугу сообщить, что зайдет немедленно. На приведение дома в порядок оставались считаные минуты, поэтому уборка в гостиной Мелбери напоминала уборку в приемной Толмача, при которой бедный Пилигрим чуть не задохнулся от пыли[21]. Наведя порядок, миссис Мелбери уселась в кресло, сложила руки и стала ждать. Муж ее беспокойно расхаживал по двору, наведывался в комнаты и, пробормотав: «Да-да», — опять выходил из дому.

В пятом часу Фитцпирс привязал лошадь к крюку перед парадными дверьми, вошел в гостиную, но, увидев только миссис Мелбери, счел это за дурное предзнаменование. Лишь лицезрея Грейс, он мог поддерживать в себе пламя, заставившее его пойти на такое отчаянное предприятие, но ее не было, и он испытал желание убраться восвояси.

Он сидел и рассеянно произносил слова, какие, по его мнению, подходили моменту и были понятны хозяйке деревенского дома, но вот на лестнице послышался шелест платья и Грейс спу-

[21] Примечания: 21

Здесь упоминается эпизод из аллегорического романа «Путь паломника» (1677) английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).

стилась в гостиную. Фитцпирс был растерян не менее, чем она. Девушка вызывала в нем самые искренние чувства, но он не мог отделаться от мысли, что решается на плохо обдуманный шаг.

Мистер Мелбери задержался в мастерской и не успел вовремя надеть жилет и парадный пиджак, но, не желая, чтобы его долго ждали, вошел в гостиную, на ходу застегивая пуговицы.

Фитцпирс заметил, что это смутило щепетильную Грейс и что мистер Мелбери в его присутствии держится неестественно. На кухне у бабушки Оливер внезапно появилась необходимость шуметь сверх обычного, так что беседе в гостиной сопутствовали гул и плеск, доносившиеся из-за открытой двери.

Стоило в разговоре за чаем возникнуть непринужденности, как мистер Мелбери выступал с обстоятельными вымученными речами на отдаленные темы, словно боялся, как бы Фитцпирс не начал критически размышлять о предмете, что привел его сюда. Сказать по правде, напряжение и неловкость мистера Мелбери были вполне извинительны, ибо он вплотную подошел к осуществлению заветной мечты. Если бы телесная оболочка не заслоняла души, на месте мистера Мелбери трепетало бы жалкое существо с широко

раскрытыми глазами и сжатыми губами, в ужасе ожидающее исхода. Будущее его счастье было в тем большей опасности, что отеческие заботы его распространялись не на обширное семейство, но на единственную дочь, занимавшую столь необычное положение в жизни.

Фитцпирс сидел в гостях не более часа, но и этого времени хватило, чтобы его зыбкие неопределенные чувства к Грейс окрепли и окончательно утвердились. Вряд ли в ответ на его тихую просьбу она стала бы провожать его до дверей, если бы мачеха деловито не подтвердила:

— Разумеется, Грейс, проводи мистера Фитцпирса.

Родители остались в комнате, а Грейс послушно пошла за гостем. Когда молодые люди оказались одни в обширной прихожей с кирпичным полом, влюбленный доктор заставил Грейс взять его под руку. Так они дошли до дверей, где он быстро поцеловал ее.

Грейс вздрогнула и отшатнулась, краска бросилась ей в лицо: она вряд ли ожидала, что дело может зайти так далеко. Отъезжая от крыльца, Фитцпирс послал ей воздушный поцелуй и помахал рукой Мелбери, глядевшему в окно. Счастливый отец ответил ему широким взмахом

руки и довольной улыбкой.

Присутствие доктора всегда пьянило Грейс, но на сей раз опьянение улетучилось вместе с его уходом. Она плохо помнила о событиях минувшего часа, но смутно подозревала, что произошло нечто вроде помолвки с этим красивым, настойчивым, неотразимым доктором.

За первым визитом последовали другие, и так продолжалось все лето. Поток рассуждений, доводов, увещеваний увлекал Грейс, и, надо признать, она порой охотно им поддавалась. Горделивые мечты свойственны каждой женщине и, если она удерживает себя в определенных границах, не сулят ничего дурного. Что же касается Грейс, то она получила такое воспитание и образование, что ей как нельзя более очевидны были преимущества брака с таким человеком, как Фитцпирс. Ее не слишком интересовали его настоящие или будущие доходы, зато необыкновенно увлекала возможность богатой внутренней жизни, утонченного духовного общения. Именно это, а не житейская мысль о выгодном замужестве, и заставило ее в конце концов поплыть по течению и покориться той власти, какую имел над ней доктор Фитцпирс.

Не обладая особой проницательностью, можно

было с уверенностью заключить, что если Грейс и не питает в обычном смысле любви к доктору, то со временем эта любовь непременно придет.

Однажды, прогуливаясь под вечер, они забрели довольно далеко и, чтобы возвратиться домой до сумерек, прошли короткой дорогой по аллее у Хинток-хауса. Дом был необитаем и смотрел слепыми закрытыми окнами на поросший кустарником склон. Грейс устала, и они присели на низкий каменный подоконник, который еще хранил тепло солнечных лучей, лившихся на него весь день.

— Пожалуй, этот дом подошел бы нам, Грейс, дорогая, как вы думаете? — проговорил Фитцпирс, рассеянно озирая старинный фасад.

— О да, — ответила Грейс, хотя такая мысль никогда не приходила ей в голову, и прибавила в задумчивости, ибо не в силах была забыть, как по непонятной причине утратила драгоценное расположение хозяйки поместья: — Она еще путешествует.

— О ком это вы? Ах, понял, о миссис Чармонд. Знаете, моя милая, я одно время думал, будто это вы здесь живете.

— Не может быть! — воскликнула Грейс. — Как вы могли такое подумать?

Он рассказал ей историю своего заблуждения, умолчав о том, как был разочарован, узнав правду, и продолжил:

— Ну, это пустяки! Я хотел поговорить с вами о более существенном деле. Мне не хотелось бы венчаться в здешней ужасной церквушке, чтобы вся деревня глазела на нас, а пастор бубнил непонятно что. Надеюсь, вы понимаете мои чувства?

— Но где же тогда? В городе?

— Нет. Совсем не надо венчаться. Давайте запишемся в мэрии. Это проще, спокойнее и во всех отношениях удобнее.

Грейс была не на шутку озадачена.

— Но как же я выйду замуж не в церкви и без всех моих дорогих друзей?

— Включая йомена Уинтерборна.

— А почему бы и нет? Между нами всерьез ничего ведь не было.

— Видите ли, моя дорогая, я против венчания в церкви с колокольным звоном потому, что об этом начнут судачить по всей округе. А огласка может нам повредить: я, между прочим, собираюсь купить практику в Бедмуте, что всего милях в двадцати отсюда. Судите сами: не лучше ли будет, если никто там не узнает, откуда вы родом и кто ваши родители. Если удастся избежать лишней

огласки, ваша красота, ваше образование и манеры доставят вам уважение любого общества.

— Но разве нельзя обвенчаться в церкви без шума? — с мольбой в голосе спросила Грейс.

— Не вижу в этом необходимости, — раздраженно заявил Фитцпирс. — Брак — это гражданский договор, и чем проще его заключают, тем лучше. Не ходят же люди в церковь, когда покупают дом или составляют завещание.

— Эдрид, какие ужасные вещи вы говорите!

— Простите, я не хотел вас обидеть, но мы говорили с вашим отцом и он со мной согласился. Отчего же вы против?

Грейс уже не возражала, полагая, что в данном случае чувства должны подчиниться голосу благоразумия: если только планы Фитцпирса считать благоразумными, — и все же на сердце у нее было тяжело.

Глава XXIV

Он проводил ее до дому. Когда зыбкие тени в отдалении скрыли его фигуру, Грейс почудилось, что этот человек вряд ли имеет к ней какое-нибудь отношение. Он настолько превосходил ее умом и знатностью, был так далек от привычного круга ее мыслей, что представлялся ей скорее повелителем, чем ровней, защитником и дорогим другом.

Неожиданное пожелание доктора ошеломило ее, его взгляды на брак оскорбили ее чувства, день свадьбы был близок и неотвратим, и Грейс всю ночь не могла сомкнуть глаз. Она поднялась, когда первые ласточки начали выбираться из гнезд под застрехой, села на пол у окна и выглянула за штору. На улице уже обозначился день, хотя было еще темновато и утренние голоса звучали вяло и неуверенно. Солнце обещало не скоро проглянуть над погруженной в тени долиной. Из сараев и мастерских еще не доносилось ни звука. Недвижный рассветный час придавал почти гипнотическое оцепенение стволам деревьев, дороге, двору и строениям. Их беспомощная неподвижность словно была исполнена тихой

задумчивости, плохо вязавшейся с беспокойными мыслями, обуревавшими Грейс. За дорогой виднелись крыши домов и макушки деревьев, за крышами и садами ниже леса на гребне холма сквозь вьюнки белела грубая штукатурка дома, в котором жил ее будущий муж. Ставни были закрыты, окна его спальни плотно занавешены шторами, из покрытых щербинами труб не вздымалось ни прядки дыма.

Вдруг что-то нарушило спокойствие. Дверь дома на холме тихо открылась, и на крыльце показалась девушка, закутанная в большую шаль, из-под которой виднелся белый подол длинного просторного платья. Серая рука, высунувшаяся из сеней, поправила шаль на плечах девушки и исчезла. Дверь затворилась.

Девушка быстро спускалась по тропинке, обсаженной буксом, между смородиной и малиной. Фигура и походка ее выдали. Это была Сьюк Дэмсон, нареченная простодушного Тима Тенге-младшего. У подножия сада живая изгородь скрыла ее по плечи, лишь по быстрому мельканию головы можно было догадаться, что девушка торопится домой.

Грейс узнала или, по крайней мере, была уверена, что узнала на серой руке, высовывавшейся

из-за двери, рукав того самого халата, который был на Фитцпирсе в день ее памятного посещения. Лицо ее залила краска. Она собиралась одеться и пройтись поутру под прохладной зеленой сенью деревьев, теперь же села на край кровати и погрузилась в задумчивость. Она не замечала, как идет время, и ей показалось, что домашние кухонные шумы начались сразу, хотя, сойдя вниз, неожиданно для себя обнаружила, что солнце уже завладело кронами деревьев и что с минуты, когда она выглянула в окно, прошло по крайней мере часа три.

Она принялась искать отца и наконец нашла его на огороде, где он проверял, хороша ли картошка. Услышав ее шаги, он выпрямился и, потянувшись, сказал:

— Доброе утро, Грейси. Поздравляю. Сегодня ровно месяц до свадьбы!

Она ничего не ответила и, не подобрав подола, направилась к отцу между рядами росистой ботвы.

— Сегодня утром — с рассвета — я думала о своем положении, — возбужденно заговорила она, едва удерживаясь на ногах от дрожи. — Я поняла, что мое положение ложно. Я не хочу выходить замуж за мистера Фитцпирса. Я вообще

не хочу замуж, но если надо, то уж лучше выйду за Джайлса Уинтерборна.

Мелбери побледнел, на лице его обозначились жесткость и неумолимость; пока они шли с огорода, он не проронил ни слова. Грейс не видела никогда отца в таком бешенстве.

— Слушай меня, — сказал он наконец, — бывает, что есть время женщине подумать и передумать, а бывает, что уже поздно, если только она дорожит отцовской честью и правилами приличия. Так теперь поздно — слышишь? Я не хочу сказать, что ты непременно обязана выходить за него. Только знай, что, коли ты ему откажешь, я буду навек опозорен, стану стыдиться своей дочери и не смогу ждать от тебя ничего хорошего. Что ты понимаешь в жизни? Куда тебе рассуждать, что лучше, что хуже? Ты неблагодарная дочь, Грейс. Я вижу, ты где-то видала Джайлса и он задурил тебе голову. В этом-то все и дело!

— Отец, отец, ты не прав! Джайлс тут ни при чем, тут такое, о чем я тебе не могу рассказать…

— Что ж, выставляй меня на посмешище, гони Фитцпирса, делай что хочешь!

— Но кто же знает о нашей помолвке? Как может тебя опозорить разрыв?

Мелбери неохотно признался, что рассказал о

помолвке тем-то и тем-то, и Грейс поняла, что зуд тщеславия заставил его похвалиться выданьем дочери буквально всему Хинтоку. Она уныло побрела к беседке, видневшейся в кустах лавровишни. Отец шел за ней следом.

— Это все из-за Джайлса Уинтерборна, — твердил он, укоризненно глядя на дочь.

— Вовсе нет. Ты ведь сам когда-то хотел, чтобы я вышла за Джайлса. — Грейс была близка к отчаянию. — Вовсе не из-за Джайлса, а из-за мистера Фитцпирса.

— Стало быть, у вас размолвка? Знаешь, милые бранятся, только тешатся.

— Дело в одной женщине…

— Ах вот оно что! Ты ревнуешь. Старая история. Не спорь со мной. Посиди-ка здесь, а я пришлю к тебе Фитцпирса. Я его только что видел — он курил перед своим домом.

Он быстро вышел за ворота и зашагал по дорожке. Грейс, не в силах оставаться в беседке, вылезла сквозь брешь в ограде и углубилась в рощу. Ее было видно издалека: между большими редкими деревьями без подлеска двигалось хрупкое, как сильфида, существо, на которое солнце и листва роняли золотистые и зеленоватые блики. Неожиданно за ее спиной послышался шорох

шагов по сухой листве, и, оглянувшись, она увидела приближающегося Фитцпирса, доброго и свежего, как само утро.

Взгляд его изображал скорее любопытство, чем любовь. Но Грейс была так хороша в зеленом лесном царстве, щеки ее так чудно алели, простое легкое платье и плавные движения придавали ей такую неотразимую прелесть, что в глазах его вспыхнуло восхищение.

— Дорогая моя, что случилось? Ваш отец сказал, что вы на меня дуетесь да еще и ревнуете. Ха-ха-ха! Будто в этой глуши у вас может быть иная соперница, кроме великой природы! Вы же сами об этом знаете!

— Ревную? Нет, совсем не ревную, — грустно проговорила Грейс. — Мой отец ошибается, сударь. Видно, я чересчур горячо говорила о нашем с вами супружестве, и он не понял, что я имела в виду.

— Значит, что-то все же случилось? — Он пристально взглянул ей в глаза и привлек к себе.

Она отпрянула, и поцелуя не получилось.

— Что же произошло? — уже серьезно спросил он, обескураженный неудачей.

— Мистер Фитцпирс, мне пора домой, я еще не завтракала.

— Подождите, — настаивал он, глядя на нее в упор. — Скажите мне все, прошу вас.

На его стороне было преимущество сильного, но Грейс ответила, подчиняясь не столько силе, сколько убеждению, что молчать нечестно.

— Я видела в окно… — проговорила она неуверенно. — Потом расскажу. Мне пора. Я еще не завтракала.

Фитцпирс вдруг понял, что она имеет в виду.

— Да ведь и я не завтракал, — оживленно заговорил он. — Я сегодня встал поздно. Меня разбудили посреди ночи… вернее сказать — на рассвете. Чуть забрезжило, является какая-то девица из деревни — не знаю ее имени… прибежала между четырьмя и пятью, говорит, спасения нет от зубной боли. Звонка ее никто не услышал, тогда она стала кидать камешки в мое окно, пока не разбудила. Я накинул халат и вышел к ней. Стоит вся в слезах и молит выдрать ей злополучный зуб. Я говорю: не надо, она — ни в какую. Так и вытащил: чистенький, ни пятнышка, мог бы прослужить ей еще лет пятьдесят, — а она завернула его в носовой платочек и ушла, предовольная.

Это было так правдоподобно, так исчерпывающе объясняло все! Не зная о том, что случилось в лесу Ивановой ночью, Грейс решила, что ее

подозрения беспочвенны и недостойны, и с бесхитростностью чистой души немедленно уверилась в правдивости его слов. На душе у нее стало необычайно легко. Как раз в эту минуту кустарник, окаймлявший сад, зашевелился, и на тенистую лужайку вышел ее отец.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил он весело.

— Да-да, — ответил Фитцпирс, не сводя глаз со стыдливо потупившейся Грейс.

— Скажите мне, что вы по-прежнему хотите стать мужем и женой, и я на радостях прибавлю вам две сотни. Ей-богу, — объявил Мелбери.

Фитцпирс взял Грейс за руку:

— Мы так и скажем, верно ведь, дорогая?

Избавившись от подозрений, Грейс затрепетала от радости и благоговейной готовности проявить великодушие, но, оставаясь женщиной, тут же захотела добиться ответной уступки за свое согласие.

— Если мы обвенчаемся в церкви, то да, — сказала она подчеркнуто спокойно. — А если нет, то нет.

Тут пришел черед Фитцпирса проявлять благородство.

— Да будет так, — сказал он с улыбкой. — В

святую церковь мы пойдем, и это будет благо.

И они направились домой втроем. Грейс с задумчивым лицом шла посередине, чувствуя, как полегчало у нее на душе от объяснения Фитцпирса и сознания, что она все-таки будет венчаться в церкви.

«Пусть будет так, — говорила она себе. — А там, Бог милостив, все обойдется».

С этой минуты она уже не пыталась идти наперекор судьбе, а Фитцпирс не отходил от нее ни на шаг, парализуя ее волю и вынуждая безропотно подчиняться каждому его слову. Страсть его не потухала, а несколько сот фунтов золотом, назначенные в приданое, представлялись ему недурным приложением к хорошенькому личику и отчасти заглушали опасения, что он погубит карьеру, вступив в брачный союз с дочерью простого лесоторговца.

День свадьбы приближался медленно, но неотвратимо. Порой Грейс изнывала от прежних сомнений, и тогда ей казалось, что время сжимается и само пространство сужается вокруг нее, а порой она снова становилась жизнерадостна и весела. День следовал за днем. Один-два плотника еще захаживали в мастерскую отца в этот нерабочий сезон, что-то пилили, строгали, сбивали,

каждое утро отпирали и каждый вечер запирали за собой дверь, ужинали, подолгу простаивали у ворот, вдыхая свежий воздух и обмениваясь новостями из внешнего мира, которые докатывались до Малого Хинтока и замирали в нем, как обессилевшая волна докатывается до самого дальнего грота самой глубокой бухты, но однако ни одна из новостей не затрагивала свадебных приготовлений в доме по соседству. День этот близок, думала Грейс, так близок, что не успеют молодые побеги окрепнуть, не успеет листва пожелтеть, а она уже станет женой Фитцпирса. Все кругом выглядело как обычно; заезжему постороннему человеку и в голову не пришло бы, что здесь, в Хинтоке, есть женщина, чья судьба решится в один из этих августовских дней.

Лишь посвященным было дано знать, что приготовления быстро продвигаются к концу. В отдаленном модном курорте Сэндборне в них участвовало немало разных людей, которые слыхом не слыхивали о Грейс, никогда ее не видели и не знали, хотя тому, что создавалось их руками, суждено было облечь ее в тот день, когда сердце ее забьется если не счастьем, то хотя бы новым волнением, не испытанным ни в один из дней ее прежней жизни.

Почему фургон миссис Доллери, всегда ходивший напрямик к Большому Хинтоку, одним прекрасным субботним вечером вдруг завернул на главную улицу Малого Хинтока и остановился у ворот дома Мелбери? Вечерний свет позолотил большую плоскую, тщательно перевязанную картонку, которую с немалыми предосторожностями извлекли из-под черного верха экипажа. Картонка едва ли была тяжела, если миссис Доллери собственноручно внесла ее в дом. Тим Тенге, столяр, Баутри, Сьюк Дэмсон и еще кто-то понимающе переглянулись и обменялись замечаниями. Мелбери стоял с видом человека, не снисходящего до таких домашних пустяков, как прибытие дамской картонки. Если же говорить правду, он сразу угадал ее содержимое и приятно взволновался этим доказательством того, что все, слава богу, идет своим чередом. Все время, что миссис Доллери оставалась в доме, то есть довольно долго, ибо она была исполнена сознанием важности своей миссии, Мелбери пережидал в сарае, но едва она, умолкнув, получила вознаграждение и удалилась, как он вошел в дом и увидел то самое, что ожидал: жену и дочь, в восхищении склоненных над подвенечным платьем, прибывшим от лучшего портного вышеупомянутого курорта

Сэндборна.

* * *

Все эти недели о Джайлсе Уинтерборне не было ни слуху ни духу. Потеряв аренду в Хинтоке, он распродал часть мебели, а остальное — несколько вещей, дорогих как воспоминания или необходимых в работе, — оставил у соседа, сам же уехал. Поговаривали, что он запустил дела, не показывается в церкви, что в воскресенье кто-то видел, как он в грязных башмаках, растянувшись под деревом и опершись на локоть, насмешливо поглядывал на прохожих. Впрочем, добавляли, что он собирается вернуться в Хинток, когда начнут гнать сидр, забрать от соседа давильню, чтобы разъезжать с ней из деревни в деревню.

Однако краткий промежуток, отделявший Грейс от дня свадьбы, все уменьшался. Не раз просыпалось в ней некое подобие радости — радости от мысли, что это будет ее час; более того, она даже испытывала гордость, что она, образованная девушка, станет женой просвещенного человека. Это счастливый случай, который нечасто выпадает девушкам в ее положении: девушкам, которым родители, открыв ценность образования, привили новые вкусы, но отнюдь

не предоставили возможность удовлетворить их в своем кругу. Однако какая пропасть была между этой холодной гордостью и мечтами ее юности, в которых она рисовалась себе радостно шагавшей к алтарю в пурпурном сиянии, в ореоле любви, без дурных предчувствий и со всем юным пылом как должное принимавшей «уважение тысяч сердец и любовь одного».

Тогда, в грезах, все было ясно; сейчас оставалось что-то недосказанное. Отчаяние посещало ее редко, странная покорность судьбе, казалось, овладела ею, и она испытывала мучительную потребность в человеке, которому могла бы излить все, что копилось у нее в душе.

Этот день был теперь так близок и огромен, что ее чуткий слух уже улавливал его звуки, перешептывание односельчан на паперти и тонкий перезвон трех колоколов хинтокской церкви. Голоса становились все громче и громче, звон колоколов все настойчивее. Она проснулась: вот оно, это утро.

Пять часов спустя она стала женой Фитцпирса.

Глава XXV

Главная гостиница Шертон-Аббаса представляла собой трактир с въездной аркой, через которую, согнувшись в три погибели, кучера провозили постояльцев во двор к благоустроенным номерам, выходившим на задний фасад. Окна, смотревшие на улицу и забранные решеткой, едва пропускали свет и упирались в стены соседних домов. Вероятно, поэтому самым роскошным номером гостиницы считался тот, что выходил окнами на задний двор: из него открывался вид на фруктовые сады, отягощенные алыми и золотыми плодами, без конца и без края раскинувшиеся в мерцающем лиловатом мареве дня. Стояла ранняя осень.

Когда от яблок, алых, как закат,
К земле обильной сучья приникают,
И груши грузно на ветру дрожат,
И сливы синью взоры привлекают[22].

---

[22] Примечания: 22
Чаттертон Томас (1752–1770). «Песня менестреля» (1777).

Пейзаж и в самом деле мог показаться тем чудным краем, что виделся в мечтах юному Чаттертону.

В этом номере и сидела сейчас молодая женщина, которую звали Грейс Мелбери вплоть до того дня, как перст судьбы коснулся ее и превратил в миссис Фитцпирс. После свадьбы прошло два месяца. Фитцпирс отправился полюбоваться аббатством при свете заходящего солнца, а Грейс осталась в одиночестве, слишком утомленная, чтобы сопровождать его на прогулке. Их долгое свадебное путешествие, продолжавшееся восемь недель, подошло к концу, и тем же вечером они собирались отбыть в Хинток.

Во дворе, за которым начинались сады, глазам Грейс предстала обычная для этого времени года картина. Несколько человек хлопотали возле перевозной мельницы и давильни: одни подносили в плетеных корзинах яблоки, другие их перемалывали, третьи выжимали. Всей работой заправлял молодой фермер степенной наружности, по всем признакам — хозяин давильни. Черты его лица были Грейс хорошо знакомы. Повесив куртку на гвоздь у сарая, он закатал рукава рубашки выше локтей, чтобы не испачкать их яблочной массой, которую он закладывал в сетку

из конского волоса. Кусочки кожуры пристали к полям его шляпы, должно быть, брызнув из прорвавшейся сетки, а коричневые ошметки засохшей яблочной кашицы покрывали до локтей его сильные красивые руки.

Грейс сразу догадалась, как он сюда попал. Дальше, вглубь яблоневого края, чуть не каждый фермер имел в хозяйстве собственную давильню и готовил сидр своими силами, но здесь, на границе владений Помоны[23], где сады соперничали с лесами, обзаведение столь громоздким оборудованием едва ли могло окупить себя. Здесь-то и открывалось широкое поле деятельности для бродячего сидродела. Его давильня и весь завод размещались не в сарае, а на колесах, и с парой лошадей, всеми приспособлениями, чанами, трубами и ситами да еще одним-двумя работниками он переезжал с места на место, выручая этим хлопотным делом изрядные деньги, особенно в урожайный год.

Сады по окраинам городка ломились от плодов. Яблоки лежали по дворам в телегах, корзинах, сваленные в кучи, и неподвижный голубоватый воздух осени был напоен тяжелым и сладким

---

[23] Примечания: 23

Помона — в римской мифологии богиня плодов.

духом яблочного брожения. Выжимки лепешками сушились на топливо под желтым осенним солнцем. Нынешний урожайный год принес несметное изобилие скороспелых яблок и опадышей, не годившихся в лежку даже на малый срок, поэтому в корзинах и дрожащей воронке мельницы Грейс увидела образчики самых разных сортов — аниса, коричной, папировки, грушовки и других добрых знакомых всеядной юношеской поры.

Грейс с интересом наблюдала за хозяином давильни, и с губ ее сорвался легкий вздох. Может быть, ей вспомнился тот день, когда совсем еще недавно друг ее детства по просьбе отца встречал ее в этом самом городе, застенчивый и полный надежд, поверивший в обещание, скорее подразумевавшееся, чем данное всерьез. А может быть, ей вспомнилось время уже давнее, детство, когда ее губы просили у него поцелуя, о котором он еще не помышлял. Как бы то ни было, все это дело прошлое. Она чувствовала свое превосходство над ним тогда и чувствует сейчас.

«Отчего он не обернется?» — думала Грейс, стоя у открытого окна. Она не знала, что днем их приезд вызвал оживление в гостинице и привлек внимание Джайлса; увидев ее въезжающей под

арку, он густо покраснел, отвернулся и с удвоенным рвением принялся за работу. Неразлучный с ним Роберт Кридл, прослышав от конюха, что доктор Фитцпирс с молодой женой остановились в гостинице, стал многозначительно покачивать головой и шумно вздыхать, отрываясь от рычага яблочного пресса.

— Какого черта ты вздыхаешь? — не вытерпел наконец Уинтерборн.

— Эх, хозяин, все мысли… мысли не дают покоя! Пятьсот подвод выдержанного теса, да к тому же пятьсот фунтов добрых денежек, да каменный дом — там бы дюжина семей поместилась, — да еще доля в лошадях и повозках — все разом пропало, а из-за того, что упустили ее, когда она была вашей по праву!

— Ах ты, господи, да ты меня с ума сведешь, Кридл! — в сердцах проговорил Джайлс. — Замолчи, ради бога.

На этом разговор во дворе оборвался. Тем временем Грейс, невольная виновница этих потерь, еще стояла у окна. Она была изысканно одета, занимала лучший номер гостиницы, ее долгое свадебное путешествие отличалось разнообразием и даже роскошью, ибо там, где речь шла об удовольствиях, Фитцпирс был решительно

не способен на экономию. Рядом со всем этим Джайлс и окружающие его люди казались ей сейчас убогими и будничными, их мир был так далек от ее собственного, что она не могла понять, какой внутренний смысл находила в нем еще недавно.

— Нет, я никогда бы не стала его женой, — произнесла она, покачав головой. — Папа был прав. Эта жизнь слишком груба для меня. — И она взглянула на украшавшие ее белые тонкие пальцы кольца с сапфиром и опалом — подарок Фитцпирса.

Джайлс по-прежнему стоял спиной к окну, и, ощущая некоторую гордость своим положением — вполне извинительную в молодой неопытной женщине, которая полагает, что удачно вышла замуж, — Грейс с мягкой улыбкой окликнула Джайлса:

— Мистер Уинтерборн!

Джайлс, казалось, не слышал.

— Мистер Уинтерборн! — повторила она.

Он снова не услышал, хотя тот, кто стоял рядом и видел его лицо, мог бы в этом усомниться. Смущенная громким звуком своего голоса, Грейс окликнула его в третий раз:

— Мистер Уинтерборн, вы забыли мой го-

лос? — И, ожидая ответа, вновь приветливо улыбнулась.

Он повернулся, не выразив удивления, и решительно подошел к окну.

— Зачем вы меня зовете? — спросил он против ожидания сурово; лицо его было бледно. — Вам мало того, что я выбиваюсь из сил, чтобы заработать себе на хлеб, пока вы тут сидите в довольстве, вам еще надо бередить мои раны.

Она вспыхнула, в растерянности не зная, что сказать, но не рассердилась, ибо знала, чем вызван его гнев.

— Я не хотела вас обидеть, простите, — сказала она кротко. — Поверьте, у меня не было на уме ничего дурного. Просто, увидев вас тут, рядом, я не могла удержаться, чтобы вас не окликнуть.

Сердце его готово было выпрыгнуть из груди, глаза застилали слезы — так растрогали его эти ласковые слова, произнесенные знакомым голосом. Потупившись, он заверил ее, что ничуть не сердится, и неуклюже, сдавленным голосом спросил, довольна ли она своим путешествием и много ли повидала интересного. Она рассказала ему о нескольких местах, в которых успела побывать, а он слушал ее, пока ему не пришлось вернуться к рычагам давильни.

Забыть ее голос! Разве в его словах прозвучало бы столько горечи, если бы он забыл этот голос! Сгоряча он сурово упрекнул ее, но, опомнившись, стал думать о ней с нежностью, ибо видел, что она была права, отвергнув его, свою же верность он считал недостойной внимания. Он мог бы сказать о себе словами современного поэта[24]:

Коль я забуду,
Пусть реки позабудут море,
Коль я забуду,
Любовь свою забуду в горе, —
Да буду я гнуснее всех,
Да буду воплощенный грех,
Коль я забуду.
Коль ты забудешь,
Ни в чем тебя не упрекну я,
Коль ты забудешь,
«Будь счастлива», – тебе шепну я,
Я буду лишь тобою жить,
Я буду лишь тебе служить,

---

[24] Примечания: 24

Имеется в виду друг автора, известный английский критик и историк литературы Эдмунд Госсе (1849–1928), выпустивший в то время сборник стихов «Книга сердца». «Коль я забуду…» — несколько сокращенное стихотворение Госсе «Два взгляда».

Хоть ты забудешь.

Слезы выступили у нее на глазах при мысли, что она могла бы не напоминать ему о том, чего он сам не мог позабыть; она уверяла себя, что не ее воля, а неумолимый ход событий разрушил их детские мечты. Встреча со старым другом неожиданно отняла у нее ту ликующую гордость, с которой она растворяла окно. Грейс не понимала, отчего вдруг ей сделалось так грустно. Произошло же это единственно оттого, что жестокость ее не была достаточно безоглядной. «Если надо действовать ножом — не раздумывайте», — говорят великие хирурги. Для собственного спокойствия Грейс следовало бы или ни во что не ставить Уинтерборна, или обращаться с ним как с равным. Теперь же, закрывая окно, она испытывала невыразимую, можно сказать — опасную, жалость к своему отвергнутому жениху.

Вскоре вернулся Фитцпирс и сообщил ей, что видел великолепный закат.

— А я его и не заметила, — вздохнула Грейс и поглядела во двор. — Зато я видела одного нашего знакомого.

Фитцпирс тоже посмотрел в окно и сказал, что никого не узнает.

— Да там же мистер Уинтерборн, у давильни.

Он ведь подрабатывает на сидре.

— Ах тот, деревенский, — равнодушно проговорил Фитцпирс.

— Не говори так про мистера Уинтерборна, — упрекнула Грейс мужа. — Правда, я только что подумала, что никогда не могла бы выйти за него, но я его уважаю и буду уважать.

— Ради бога, любовь моя. Я же говорю, что я человек злой и надменный и тщеславно горжусь своим обветшавшим родом. Более того: сказать по правде, мне кажется, будто я принадлежу к совсем другой породе людей, чем те бедняки, что трудятся во дворе.

— И к другой, чем я. Я же одной с ними крови.

У Фитцпирса был вид пробудившегося ото сна: если он нашел верные слова для выражения своих чувств, было в самом деле противоестественно, что женщина из племени, работающего под окном, стоит рядом с ним и является его женой. Во время путешествия она ни разу не уступила ему в высоте мыслей, безошибочности вкуса и изяществе манер, и он почти позабыл, что, решив жениться на ней, почитал свои жизненные принципы поруганными.

— Одной крови? Но образование и воспитание превратили тебя в совсем иного человека, — ска-

зал он скорее для себя, чем для Грейс.

— Мне бы не хотелось так думать, — пробормотала она с тоской. — Кажется, ты недооцениваешь Джайлса Уинтерборна. Не забывай, что мы были неразлучны, пока меня не послали учиться, поэтому я не могу так уж сильно от него отличаться. По крайней мере, я так считаю. Без сомнения, это большой недостаток. Надеюсь, ты примиришься с этим, Эдрид.

Фитцпирс обещал, и, так как время близилось к вечеру, они стали собираться в дорогу, чтобы засветло добраться до Хинтока, и менее чем через полчаса тронулись в путь. Меж тем работа во дворе прекратилась, и тишину нарушало лишь шлепанье капель из-под до отказа завинченного пресса да гуденье запоздалой осы, которая так охмелела, что не заметила наступления сумерек. Грейс радовалась, что скоро окажется дома, в краю лесов; Фитцпирс молча сидел с ней рядом. Его невыразимо угнетала мысль, что путешествие подошло к концу и теперь вновь придется остаться один на один с неприкрытой наготой деревенской жизни.

— Ты все молчишь, Эдрид, — нарушила молчание Грейс. — Разве ты не рад, что мы едем домой? Я так рада!

— У тебя тут друзья. У меня никого.

— Но ведь мои друзья — твои друзья.

— М-да, ты права.

Разговор оборвался; они уже ехали по главной улице Хинтока. Еще до отъезда было решено, что они, хотя бы на первых порах, поживут в просторном доме Мелбери, пустовавший флигель которого отдавался в их распоряжение. За время отсутствия новобрачных его привели в порядок, побелили, покрасили, оклеили обоями. Лесоторговец не пожалел сил, чтобы по возвращении новобрачные устроились как можно удобнее и уютнее. В довершение всего Мелбери распорядился, чтобы на первом этаже большую комнату с отдельным выходом превратили в приемную, к дверям которой с улицы привинтили бронзовую табличку с именем доктора: единственно ради украшения, ибо лесному краю на много миль в окрестностях было отлично известно место жительства каждого его обитателя.

Мелбери и его супруга приветствовали прибывших с чувством, их домочадцы — с почтением. Первым делом Грейс и Фитцпирс осмотрели свои комнаты, к которым вел коридор по левую руку от лестницы. Комнаты эти отделялись от остального дома дверью, навешенной по особому

указанию Мелбери. В камине весело полыхал огонь, хотя до холодов было еще далеко. Фитцпирс объявил, что не голоден, ибо они недавно обедали в Шертон-Аббасе, и что хочет пройтись до своего прежнего жилища узнать, как шли дела у его заместителя.

Выйдя из дома Мелбери, он оглянулся. Жить под этой крышей означало желанную экономию денег, а плохо было то, что все в этом доме будет напоминать ему, чей он зять. Он направился к домику на холме. Его заместитель был в отлучке, и Фитцпирс разговорился со своей недавней хозяйкой.

— Что хорошего слышно, миссис Кокс? — спросил он с деланым оживлением.

Хозяйку немало огорчала потеря выгодного жильца, и у нее не оставалось надежды хоть как-то восполнить упущенное, ибо где-где, а в Хинтоке приезжих не бывало, поэтому она недовольно пробормотала:

— Не хочу я и говорить об этом, особенно вам, сэр.

— Уж расскажите, миссис Кокс, мне можно.

— Да люди все удивляются вашей женитьбе, доктор Фитцпирс. Они-то считали, что вы столько превзошли в науке, и вдруг женитесь на дочке

Мелбери, такой же хинтокской, как и я.

— Пусть говорят, что хотят, — сказал Фитцпирс, не подавая виду, что ее слова пронзили его в самое сердце. — Что еще нового?

— Возвратилась сама.

— Кто?

— Миссис Чармонд.

— Да ну! — Фитцпирс был заинтригован. — Я никогда ее не видел.

— Зато она вас видала, сэр.

— Не может быть!

— Все может. Она вас видела не то в гостинице, не то на улице, когда вы путешествовали, и что-то про вас сказала, а ее горничная, мисс Эллис, объяснила ей, что это ваше свадебное путешествие с дочкой мистера Мелбери, и тогда она на это ответила, что вы могли бы жениться поудачнее. «Боюсь, он испортит себе карьеру», — сказала она.

Фитцпирс не пожелал продолжать беседу с неприветливой хозяйкой и быстрыми шагами направился домой. Тихонько поднявшись по лестнице в выделенную им гостиную, где, уходя, оставил жену, он увидел, что камин еще горел, но в комнате было темно. Он заглянул в столовую, однако стол для ужина не был накрыт. Он пошел

дальше, но тут с первого этажа, из гостиной лесоторговца, донесся гул голосов, в котором легко распознавался голос Грейс.

Не заходя туда, он с порога взглянул в комнату и обнаружил веселое общество соседей и знакомых, среди которых узнал молочника, фермера Баутри, кузнеца из Большого Хинтока, бочара, столяра, акцизного чиновника и их жен. Все они наперебой расточали комплименты миссис Фитцпирс и поздравляли новобрачных с возвращением. Забыв о том, что она теперь дома и что муж ее важный человек, разрумянившаяся от удовольствия Грейс охотно принимала изъявления их дружбы.

Фитцпирсу эта сцена показалась отвратительной. Хозяин дома отсутствовал, но миссис, заметив зятя, поспешила ему навстречу.

— Тут разнесся слух о вашем приезде, и вот все пожаловали к нам. Мы подумали, что неловко не пригласить гостей к ужину, и Грейс решила, что по случаю возвращения вы отужинаете вместе с нами.

Грейс тоже его заметила.

— Правда, мило, что они меня так поздравляют, — растроганно сказала она, подходя к мужу. — Нехорошо было бы не ответить на их

любезность и запереться у себя.

— О, разумеется… разумеется, — пробормотал Фитцпирс и с героической улыбкой мученика присоединился к обществу.

Как только гости уселись за стол, появился хозяин дома и сразу приметил, что зять охотно уклонился бы от участия в столь многолюдном собрании. Отозвав жену в сторону, он выговорил ей за поспешное приглашение. Миссис Мелбери ответила ему в оправдание, что Грейс сама одобрила эту затею, и любящий отец не нашелся что возразить. Фитцпирс к этому времени успел уже совершенно освоиться со своими добродушными сотрапезниками, которые, широко расставив локти, пили, ели, шутили и хохотали. Поддавшись общему веселью, он вынужден был под конец признаться себе, что этот ужин отнюдь не самый тягостный в его жизни.

И все же мгновениями, точно таинственные письмена на стене, перед ним возникали будто бы сказанные миссис Чармонд слова о том, что он погубил свою будущность[25]. Мысли тотчас уносили его прочь от веселой трапезы, в негодо-

[25] Примечания: 25

По библейской легенде, вавилонский царь Валтасар во время пира увидел на стене таинственные письмена, возвещавшие гибель его царства (Книга пророка Даниила, гл. 5).

вании он задавал себе вопрос, вправе ли миссис Чармонд или кто-либо другой совать нос в его дела, но, поразмыслив, приходил к заключению, что владелица Хинток-хауса проявляет вполне естественный интерес к судьбе приходского врача. Стакан грога избавил его от неприятных раздумий. Находившая на него временами мрачность не укрылась, однако, от взгляда Грейс и старого Мелбери, поэтому оба они облегченно вздохнули, когда один из гостей заявил, что время позднее и пора расходиться по домам. При этих словах Мелбери проворно поднялся с места, словно его подбросило пружиной, и через десять минут в доме не осталось никого, кроме хозяев.

— Послушай, Грейс, — обратился к жене Фитцпирс, едва они остались вдвоем в своей комнате, — мы провели приятный вечер, все было очень мило. Но давай все же договоримся, какого образа жизни нам следует здесь придерживаться. Пусть нам предстоит жить в этом доме, но это не значит, что мы должны общаться со всеми, кто посещает твоих родителей. Говоря по правде, мне это непереносимо.

Поначалу Грейс неприятно поразило его отвращение к тому самому доброму старому укладу деревенской жизни, к которому он выказывал

столько интереса в пору ухаживания, но спустя мгновение она согласилась.

— Мы должны вести себя так, словно мы квартиранты, то есть совершенно независимо, как если бы мы жили в наемном доме, — продолжал Фитцпирс.

— Да-да, Эдрид, я понимаю, мы должны вести себя именно так.

— Но ты в мое отсутствие собрала этих людей и даже не подумала о том, каково это мне.

— Ты прав. Мне следовало дождаться тебя. — Она вздохнула. — Но они явились так неожиданно, вот я и подумала, что поступаю как лучше.

На этом их разговор оборвался. Назавтра Фитцпирс отправился в свой первый по приезде обход больных. Со свойственной ему приметливостью, а может быть, мнительностью, он тотчас почувствовал, что односельчане перестали видеть в нем таинственного, непостижимого джентльмена, которому дарованы безграничные возможности. Теперь он был для них просто партнером мистера Мелбери, в известной мере таким же деревенским жителем, как они сами. В обитателях Хинтока крепко держалось врожденное почтение к аристократам, и едва они узнали, что Фитцпирс родом из бакберийских Фитцпирсов,

как тотчас стали при встрече с ним касаться шляпы и оказывать ему всяческие знаки уважения и услуги — все то, чего Мелбери не удавалось добиться никакой ценой. Теперь, предав древность рода женитьбой, Фитцпирс утратил в их глазах былой ореол, стал просто деревенским врачом, не более, заслуживающим того же обращения, что и старый Джонс, на которого они посматривали сверху вниз.

Он и раньше не мог похвастаться обширной практикой, теперь же число его пациентов сильно поубавилось. В довершение всего из попечительского совета пришла бумага с жалобой на его заместителя, который отказал в помощи бедняку. Уязвленный, Фитцпирс заявил о своей отставке.

Недели через две после приезда он вбежал в комнату Грейс в необычном возбуждении и объявил:

— Мне предлагают практику в Бедмуте, ту самую, о которой я вел переговоры. Для этого требуется внести восемьсот фунтов. Я думаю, твой отец не откажется их ссудить. Тогда мы уехали бы отсюда навсегда.

Вопрос этот обсуждался и прежде, так что Грейс не была застигнута врасплох. Но не успела она

ответить, как в дверь дома постучали, и бабушка Оливер поспешила доложить, что доктора Фитцпирса срочно вызывают в Хинток-хаус к миссис Чармонд, карета которой перевернулась.

— Ну это уже кое-что, — проговорил Фитцпирс с заинтересованностью, которую вряд ли сумел бы объяснить, и добавил про себя: «У меня всегда было предчувствие, что я познакомлюсь с этой загадочной женщиной».

Когда он уходил, Грейс пожелала ему доброй ночи и прибавила:

— Я, наверно, буду уже спать к твоему возвращению.

— Покойной ночи, — рассеянно ответил он и стал спускаться по лестнице.

Впервые со дня свадьбы он ушел из дома, не поцеловав жену.

Глава XXVI

Уинтерборн покинул свой дом. Его теперь редко видели в Хинтоке: он, возможно, и совсем бы не появлялся в деревне, если бы не деловые отношения с Мелбери, в усадьбе которого он оставил сидровый аппарат, ибо своего дома у него больше не было.

Возвращаясь однажды под вечер в лесную хижину, где теперь жил, он заглянул в Хинток и не увидел знакомой островерхой, из бурого камыша крыши отцовского дома, как, впрочем, и самого дома — его снесли по распоряжению управляющего. У Уинтерборна болезненно сжалось сердце, когда он увидел пустырь на месте родного дома. Поужинав в своей хижине, он в сумерки вернулся в Малый Хинток и долго бродил по земле, на которой родился.

Снова и снова возвращался он сюда по вечерам. Даже в темноте он мог различить бывшие границы комнат, легко находил угол кухни, где стояла печь, в которой он пек в детстве яблоки и картошку, отливал грузила и выжигал инициалы на своих и чужих предметах. Яблони в саду были все целы, даже самые старые: стояли, покосив-

шись на северо-восток, — их погнул сильнейший шторм, разразившийся в ноябре 1824 года, когда выбросило на берег Чесильской отмели большое парусное судно. Сейчас эти яблони еще и прогнулись под тяжестью спелых плодов. Висевшие на ветках яблоки ударяли Джайлса по голове, а невидимые в густой траве с хрустом раздавливались под ногами. Их теперь некому было собирать.

В один из таких вечеров Уинтерборн сидел, прислонившись к наклоненному стволу яблони, погруженный в раздумья, устремив взгляд туда, где прежде на небе чернел островерхий силуэт крыши с трубами, а теперь одна за одной загорались неяркие звезды. Пустота на месте старого дома, еще недавно неуклюже выдвигавшегося на дорогу, была теперь особенно заметна.

В вечерней тишине вдруг послышался скрип колес и дробный стук копыт, и скоро на фоне чистого закатного неба обрисовалась коляска, приближавшаяся туда, где дорога в объезд старого дома делала крюк. Коляской правила женщина, сидевшая на высоких козлах, грум ехал на запятках.

Внезапно раздался громкий треск и тотчас за тем легкий испуганный возглас. Уинтерборн вскочил на ноги и бросился на дорогу: коляска

опрокинулась на бок; женщина сидела на груде обломков — все, что осталось от родного очага Джайлса; грум держал лошадей под уздцы. Коляска принадлежала миссис Чармонд, а потерпевшей была сама хозяйка Хинток-хауса.

На вопрос Уинтерборна, не ушиблась ли она, миссис Чармонд невнятно ответила, что не знает. Что до остального, то урон был не так велик. Экипаж тотчас поставили на колеса, затем водворили туда миссис Чармонд, но вожжи на этот раз взял грум. Оказалось, что миссис Чармонд, введенная в заблуждение образовавшейся на месте дома пустотой, пустила лошадь прямо на развалины.

— Домой! Скорее домой! — нетерпеливо приказала миссис Чармонд.

Но не проехали они и ста шагов, как до Уинтерборна донеслись — вечер был тихий — слова, сказанные миссис Чармонд груму:

— Стой! Вернись и скажи этому человеку, пусть позовет ко мне доктора. Я чувствую, что ушиблась гораздо сильнее, чем мне показалось в первую минуту.

Уинтерборн усмехнулся: звать доктора, по его мнению, особой надобности не было, — но, выслушав грума, тотчас отправился за доктором. Передав просьбу миссис Чармонд, Уинтерборн

отступил в тень, не сводя глаз с дома Мелбери. Он видел, как Фитцпирс ушел, видел в освещенном окне сидевшую за столом Грейс. Так он постоял несколько минут, потом зашагал прочь, слившись с черными деревьями.

Фитцпирс незамедлительно прибыл в Хинтокхаус, чьи двери отворились перед ним впервые. Вопреки ожиданию, он не заметил той тревожной суеты, какая бывает в доме, когда с хозяином несчастье. Его провели наверх по лестнице в уютную, обставленную в чисто женском вкусе комнату, где в мягком свете затененной абажуром лампы полулежала на софе красивая молодая женщина, предусмотрительно приняв позу, не грозившую ее высокой, уложенной в виде короны прическе. Роскошные золотисто-каштановые волосы составляли приятный контраст с малиновым пеньюаром; левая рука, обнаженная почти до плеча, была небрежно откинута; в правой миссис Чармонд держала папиросу, выпуская изящно очерченным ртом ленивые струйки дыма.

Взглянув на миссис Чармонд, доктор невольно подосадовал, оттого что, предвидя тяжелый случай, захватил с собой чуть не всю свою аптечку. Но досада тут же сменилась иным чувством:

хотя он никогда прежде здесь не бывал, а миссис Чармонд видел впервые, вся обстановка, эта женщина, его собственное состояние — все показалось ему до странности знакомым. Могло ли такое быть? Уж не видел ли он все это когда-нибудь во сне?

Миссис Чармонд не шевельнулась, а только подняла на Фитцпирса глаза, когда он подошел к софе. Она посмотрела на него исподлобья, и Фитцпирс заметил, как по ее красивому лицу пополз румянец. Она поспешно отвела от него свой глубокий, проникновенный взгляд и рассеянно поднесла к губам папиросу.

На мгновение он забыл, зачем здесь, но тут же, поборов наваждение, выразил пострадавшей сочувствие, приличествующее в таких случаях, и стал расспрашивать с профессиональной обстоятельностью, как произошло несчастье и что миссис Чармонд себе повредила.

— Вы должны мне это сказать: я за тем вас и пригласила, — проговорила миссис Чармонд тоном едва уловимого высокомерия. — Я вам верю, ибо наслышана про вашу ученость, которую вы приобрели неусыпным трудом.

— Постараюсь сделать все, чтобы оправдать ваше лестное обо мне мнение, — сказал молодой

человек, поклонившись. — И это будет тем легче, что падение, как я успел заметить, не причинило, к счастью, большого вреда.

— Я сильно ушиблась.

— Да, конечно, — не возражал Фитцпирс, но, осмотрев миссис Чармонд, окончательно убедился, что пациентка совсем не пострадала, и искренне изумился про себя, зачем его позвали, ибо миссис Чармонд отнюдь не производила впечатления слабонервной женщины.

— Вы должны немного полежать и попить микстуры, которую я пришлю.

— Да, вот еще что! — воскликнула миссис Чармонд. — Я совсем забыла. — И она показала доктору маленькую царапину на полной обнаженной руке. — Заклейте, пожалуйста, пластырем.

Фитцпирс повиновался.

— А теперь, доктор, — сказала миссис Чармонд, — перед тем как уйти, ответьте мне на один вопрос. Садитесь вот на эту скамеечку, поближе ко мне. И переставьте, пожалуйста, свечи на маленький столик. Вы курите? Да? А я еще только учусь. Берите папиросы. Вот вам спички. — Она бросила Фитцпирсу коробок.

Фитцпирс поймал коробок и, закурив, стал рассматривать миссис Чармонд, лицо которой от

перестановки свечей стало хорошо видно.

— Как вы думаете, сколько лет прошло с тех пор, как мы с вами встречались последний раз? — спросила она, не отступая от принятого тона едва заметного превосходства и глядя на Фитцпирса с той застенчивостью, какая опаснее всякого кокетства.

— Вы говорите, мы с вами встречались?

Миссис Чармонд кивнула.

— Я видела вас недавно в Лондоне. Вы поднимались по лестнице, как я догадываюсь, со своей молодой женой. И я сразу узнала вас, хотя последний раз мы виделись, когда я была еще почти ребенком. Помните Гейдельберг, английскую семью, любившую дальние прогулки…

— И молоденькую девушку, — подхватил Фитцпирс, — с огромной золотисто-каштановой косой. Помню, точно это было вчера. Как-то, гуляя на Грейт-Террас, она потеряла носовой платок и вечером пошла его искать. «Позвольте мне пойти», — сказал я. «Не надо, — ответила она. — Это далеко. Бог с ним». Мы долго гуляли в тот вечер и разговаривали. На другое утро я пошел на Грейт-Террас и нашел его в траве — крохотный, мокрый от росы комочек кружев с вышитым в одном уголке именем Фелис. Он и сейчас у меня

в глазах! Я поднял его и…

— Что же вы сделали?

— Поцеловал, — с некоторым смущением проговорил Фитцпирс.

— Но вы видели меня всего один раз, и то в сумерки!

— Так что же! Я тогда был молод, вот и прижал его к губам. Я решил воспользоваться счастливым случаем и в тот же день зайти к вам в отель, но полил дождь и я пошел к вам назавтра. Увы, вас я не застал. Вы уехали.

— Да, — вздохнула миссис Чармонд. — Моя мать понимала, что красота дочери — единственное ее богатство, и не могла позволить, чтобы дочь ее — совсем еще дитя — влюбилась в студента, у которого ни гроша за душой. Она увезла меня в Баден. Это было очень давно, и я могу вам признаться теперь, что, знай я тогда ваше имя, я бы написала вам. Но я узнала его только месяц назад в Лондоне, когда вы прошли мимо меня по лестнице. Моя горничная сказала: «Это мистер Фитцпирс».

— Боже мой! — воскликнул Фитцпирс. — Вы возвращаете меня в дни моей юности. Вечерняя прогулка, утро, роса на траве, крошечный кружевной комочек. Когда я понял, что потерял вас,

свет померк у меня в глазах. Я пошел туда, где мы гуляли вечером, бросился на траву и заплакал — я ведь был тогда совсем мальчишка. Я не знал, кто вы, не знал вашего имени, но я не мог, не мог забыть звук вашего голоса!

— И вы долго помнили его?

— Много-много дней!

— Дней! Только дней! О сердце мужчины!

— Но, прекрасная госпожа, я видел вас всего один или два раза. Моей любви не суждено было стать цветком. Это был бутон: розовый, свежий, полный жизни, но всего лишь бутон. Зачаток огромной любви. Она так и не достигла поры цветения.

— Возможно, это даже лучше.

— Возможно. Но подумайте, как бессилен человек перед судьбой. Люди разлучили нас, а мы все-таки встретились. Много воды с тех пор утекло, многое переменилось. Вы стали богаты. Не изменилось одно — я по-прежнему беден. И не только это. Судя по вашему последнему замечанию, вам удалось одержать победу над необузданными желаниями юности. Мне удалось.

— Вы заблуждаетесь. — Голос миссис Чармонд дрожал от сдерживаемых чувств. — Вы не знаете

моей жизни. Она не могла способствовать таким победам. Да я и не верю, что люди сильных страстей способны обуздать свои чувства. И чем старше они, тем менее над собою властны. Излечиваются они разве что к ста годам. Что до меня, то я буду рабой страстей и в семьдесят лет, если, конечно, доживу до той поры.

Фитцпирс смотрел на миссис Чармонд с нескрываемым восхищением. Удивительная, необыкновенная женщина!

— Как вы правы! — воскликнул он. — Но в ваших словах печаль. Почему?

— Я здесь всегда печальна, — многозначительно понизив тон, проговорила миссис Чармонд.

— Тогда позвольте спросить, зачем вы приехали сюда?

— Так хотел мужчина. Женщину весь ее век, точно утлую ладью, носит по волнам мужских прихотей. Я надеюсь, что мое уныние не передалось вам. Хинток имеет странную особенность: когда я живу здесь, сердце мое как запечатанный сосуд — чувства переполняют его, а исхода им нет. И я часто бегу отсюда куда глаза глядят. Иначе я бы умерла.

— В городе, надо полагать, есть интересное общество. Разумеется, для тех, кто в него вхож.

— По всей вероятности. Но беда в том, что соседи в провинции нетерпимы к взглядам и вкусам, отличным от их собственных. Одни мои знакомые считают меня вольнодумной, другие — католичкой. Когда я без должного почтения говорю о погоде или видах на урожай, они приходят в ужас от такого кощунства.

Леди Чармонд замолчала и долго в задумчивости смотрела на огонь свечей.

— Вы хотите, чтобы я оставил вас? — прервал молчание Фитцпирс.

— Пожалуй!

— Тогда прикажите мне уйти.

— А вы не можете уйти без моего приказания?

— Будь моя воля, я бы слушался только своих чувств.

— И что бы вы сделали? Вы боитесь, что я рассержусь?

— Да.

— Не бойтесь. А теперь ступайте. И приходите завтра проведать больную. Мне было очень приятно возобновить наше знакомство. Я испытываю к вам искреннее расположение.

— Если бы это зависело от меня, мы бы стали друзьями на всю жизнь.

— Надеюсь, так и будет.

Фитцпирс спускался по лестнице в полном недоумении: зачем миссис Чармонд позвала его к себе? Было ли это следствием естественной тревоги о своем здоровье или ей просто хотелось воскресить прошлое, для чего несчастный случай послужил отличным предлогом?

Когда Фитцпирс вышел из дома, была уже ночь, слабо освещенная мерцанием звезд. Он стал думать о Хинток-хаусе. Как странно: он не раз приходил сюда в отсутствие хозяйки и с непонятным любопытством смотрел на этот дом, а еще до знакомства с Грейс почему-то решил, что она живет именно здесь, — словом, Хинток-хаус в иные минуты казался ему связанным с существом, имевшим прямое отношение к его жизни.

Краткая встреча с миссис Чармонд в те далекие дни действительно пробудила в нем нежные чувства, но знакомство было так мимолетно, что, если бы не этот визит, он никогда бы, вероятно, и не вспомнил о нем. Однако сегодняшнее свидание при несколько романтических обстоятельствах сделало то, что давнее, полузабытое чувство вспыхнуло в нем с необычайной силой.

Войдя в Малый Хинток, он вдруг заметил, что смотрит на окружающее не глазами жителя маленькой деревушки и зятя лесоторговца, а

скорее глазами владельца Хинток-хауса. Он отворил двери своего дома. Все семейство спало. Поднимаясь по лестнице, он слышал храп отца Грейс, доносившийся с его половины, а свернув в коридор, ведущий в их комнаты, почувствовал вдруг, как у него тоскливо заныло сердце.

В спальне горел огонь. Грейс, хотя и лежала в постели, но еще не спала. Из-за полога послышался ее нежный голос:

— Что, миссис Чармонд сильно ушиблась, а, Эдрид?

Фитцпирс совсем забыл, зачем его звали в Хинток-хаус.

Секунду он изумленно смотрел на Грейс, но тут же спохватился.

— Нет, — ответил он, когда смысл вопроса дошел до него. — Переломов нет, только ушибы. Но завтра придется опять идти туда.

Поинтересовавшись еще немного здоровьем миссис Чармонд, Грейс сказала:

— Миссис Чармонд спрашивала обо мне?

— Да, кажется. Не помню.

— А ты не можешь вспомнить, какими точно словами она говорила обо мне?

— Не могу.

— Значит, она почти совсем ничего не говорила

обо мне, — разочарованно протянула Грейс.

— Почти ничего.

— Зато ты, наверное, много обо мне рассказывал? — Грейс простодушно ожидала комплимента.

— Ну конечно, милая, — ласковым тоном проговорил Фитцпирс, едва ли понимая, что говорит: такое сильное впечатление произвела на него миссис Чармонд.

Глава XXVII

Мистер Фитцпирс посетил Хинток-хаус и на второй, и на третий день. Миссис Чармонд, как и в первый его визит, полулежала на софе, и вид ее ясно говорил, что выздоравливать она не спешит. Оба раза Фитцпирс внимательно осмотрел царапину, точно это была глубокая рана.

К вящему своему удовольствию, он обнаружил у миссис Чармонд на виске легкую ссадину и наклеил на это весьма заметное место черный пластырь вместо розового, чтобы рассеять у прислуги всякие сомнения насчет его визитов, если таковые успели появиться.

— Ой, больно, — воскликнула миссис Чармонд, когда Фитцпирс в одно из своих посещений стал осторожно отдирать с ее руки пластырь.

Царапина поджила и затянулась корочкой цвета неспелой черной смородины, которая вот-вот готова была отпасть.

— Одну минутку, я подышу на пластырь. — С этими словами Фитцпирс поднес к губам руку миссис Чармонд. Она не протестовала. — Вы сами просили заклеить царапину, — сказал он, с легкостью отлепляя пластырь.

— Да, я помню, — ответила миссис Чармонд. — А теперь взгляните, пожалуйста, цела ли у меня на виске голубая жилка. Я ударилась как раз виском. Будь рана поглубже, я бы истекла кровью.

Фитцпирс нагнулся так низко, что его теплое дыхание коснулось ее щеки. Их взгляды встретились. Глаза миссис Чармонд были темные, бездонные и таинственные, как межзвездное пространство. Она быстро отвернулась.

— О нет, нет! Только не это! — воскликнула она. — Я не могу с вами кокетничать. Наша бедная, краткая, почти детская влюбленность вспыхнула и угасла очень давно, и не надо воскрешать ее. Мы должны договориться об этом в самом начале нашей возобновившейся дружбы.

— Кокетничать! Но ведь и для меня это не игра. Ничего не изменилось с того дня, как я встретил вас в Гейдельберге. Возможно, я тогда глупо себя вел. Возможно, глупо веду себя и теперь. Но разве я могу забыть тот счастливый миг, когда волей судьбы я оказался в поле вашего зрения. Ах, эти воспоминания прошлого! Как далеко уносят они мое воображение!

— Да, как знать, что было бы, если бы моя мать не увезла меня тогда в Баден, — прошептала миссис Чармонд, следя взглядом за далекой вер-

хушкой дерева, качаемой ветром.

— Мы встретились бы еще раз.

— А потом?

— Огонь разгорелся бы сильнее. Как все было бы, я не могу сказать, но я знаю одно: все кончилось бы страданием и болью сердца.

— Почему?

— Печальный конец уготован любви самой природой. Вот почему.

— Не говорите так! — запротестовала миссис Чармонд. — Не губите мою мечту! Мы ведь только воображаем, что могло быть. — Последние слова миссис Чармонд произнесла полушепотом, надув обиженно губы. — Позвольте мне хотя бы думать, что если бы вы любили меня искренне и глубоко, то никогда бы не разлюбили.

— Что ж, думайте, если это утешает вас. Мысль приятна и ни к чему не обязывает.

Миссис Чармонд несколько секунд размышляла над последними словами Фитцпирса, потом спросила:

— Вы что-нибудь слыхали обо мне в эти годы?

— Ничего не слыхал.

— Это хорошо. Мне, как и вам, пришлось испытать немало. Может, я когда-нибудь и расскажу вам о себе. Только не сейчас. И никогда не проси-

те меня об этом.

Таким образом, два-три дня, проведенные на романтических берегах Неккара, где началось их трогательное знакомство, превратились с расстояния лет в годы нежной дружбы, и на этой благодатной почве выросли воздушные замки упоительных фантазий, овеянных печалью невозможного и порождающих надежды, волнующие и прекрасные, коих не надо ни доказывать, ни отвергать.

Имя Грейс ни разу не было упомянуто между ними, но слух о предстоящем отъезде Фитцпирса из Малого Хинтока каким-то образом достиг ушей миссис Чармонд.

— Доктор, вы покидаете нас! — воскликнула однажды миссис Чармонд. Ее огромные темные глаза, нежный голос укоряли Фитцпирса мягко, но весьма чувствительно. — Да-да, вы уезжаете отсюда! — Она в страстном порыве соскочила с софы. — Не отрицайте, вы купили практику в Бедмуте. И я не виню вас. Образованному человеку, стремящемуся быть в курсе новейших открытий, жить в Хинтоке невыносимо. Тем более когда ничто и никто его здесь не держит. Вы правы. Уезжайте.

— Да я еще не купил эту практику, а только веду

переговоры. И если мое теперешнее настроение не изменится, я никуда не уеду отсюда.

— Но вас тяготит Хинток и все его обитатели — кроме тех, конечно, кого вы берете с собой.

Фитцпирс стал было горячо возражать, но миссис Чармонд свела разговор к пустому кокетству, которое маскировало, однако, недюжинные страсти. Сильные, изменчивые, они тлели в ее душе до поры до времени, как жар в раскаленных углях под слоем пепла, и вспышка была всякий раз внезапной.

Если можно одним словом определить характер человека, то миссис Чармонд была сама непоследовательность. Она была женщиной взбалмошной, не боялась опасных положений, обожала мистификации — в жизни, в любви, в истории… Справедливость, однако, требует заметить, что ей нечего было особенно стыдиться в прошлом, хотя и гордиться тоже было нечем. Честные умы Хинтока ничего не знали о ее прошлом, и она редко в их присутствии пускалась в воспоминания. Ее слуги и арендаторы, со свойственной зависимому классу поразительной способностью миновать острые углы в характере своего господина, жили под ее своенравным правлением куда более благополучно, чем если

бы у нее был ровный и спокойный характер.

Что касается намерения Фитцпирса купить практику в Бедмуте и уехать из Хинтока, то его переговоры зашли гораздо дальше, чем он пытался это представить миссис Чармонд. Вопрос должен был решиться окончательно в ближайшие сутки. Вечером того дня, когда виделся с миссис Чармонд, он вышел из дому и зашагал по аллее, с обеих сторон которой тянулась живая изгородь, серебристая от дикого ломоноса, именуемого в тех краях «белый бородач» по его виду в более позднее время года.

Вечером Фитцпирс должен был послать в Бедмут письмо, которое окончательно уладило бы вопрос о покупке практики. Но мог ли он уехать теперь, после всего, что произошло между ним и миссис Чармонд? Деревья, холмы, трава, листья — все ожило и заиграло нежными красками с тех пор, как он познакомился с хозяйкой Хинток-хауса, узнал ее душу, а главное — почувствовал ее расположение к себе. У него были все основания бежать отсюда — он опять займет подобающее место в обществе, которое покинул, в поисках уединения, под влиянием гнева, вызванного воображаемой обидой. Его жена, видевшая все неудобства их жизни в Малом Хинтоке, радостно

ожидала переезда. Оставалось сделать последний шаг. Разум говорил Фитцпирсу, что уезжать необходимо, а сердце протестовало.

Подавив вздох, Фитцпирс вошел в дом и торопливо написал письмо, в котором окончательно отказывался от практики в Бедмуте. Почта уже побывала в Малом Хинтоке, и Фитцпирс послал одного из слуг Мелбери догнать почтовый фургон на соседней развилке, чтобы письмо пошло в тот же день.

Нарочный скоро вернулся и, встретив Фитцпирса в аллее, сказал, что письмо отправлено. Фитцпирс повернул к дому и, пока шел, размышлял над происходящим. Почему он поддался этому безрассудному порыву, зачем губит мечты о будущем, свои и Грейс? Причина, побудившая его отказаться от практики в Бедмуте, была такая же прекрасная, такая же фантастическая и мимолетная, как краски закатного неба. Он был всего-навсего домашний врач миссис Чармонд, а жена его арендовала ее землю. Каким веским доводом оказалась сердечная склонность в дни холостяцкой жизни Фитцпирса, когда он решал, уехать ли ему из Малого Хинтока! Но тогда дело шло к женитьбе, а матримониальные побуждения — весьма почтенная вещь!

— Отец сказал, что ты послал письмо в Бедмут! — воскликнула Грейс, вышедшая встретить мужа. На быстро темнеющем небе одиноко горела вечерняя звезда. — Ты решился наконец заплатить, сколько они просят? Слава богу, это неприятное дело окончено. Когда мы едем, Эдрид?

— Я передумал, — ответил Фитцпирс. — Семьсот пятьдесят фунтов — слишком дорого для нас. И я отказался. Подождем более подходящего случая… Боюсь, что делец из меня никудышный!

Последние слова он сказал, устыдившись на мгновение величайшей глупости своего поступка. Глядя в глаза жены, ясные и правдивые, он вдруг испытал угрызения совести.

Грейс была расстроена в тот вечер. Она любила дом, где прошло ее детство, и не гналась за удовольствиями света, но видела, что мужа гнетет жизнь в этом глухом углу, и ради него искренне хотела уехать отсюда.

Дня через три Фитцпирс опять пошел к миссис Чармонд. С самого утра было ветрено, то и дело начинал накрапывать дождь, стуча каплями, точно пригоршнями зерна, по стеклам и стенам домиков Малого Хинтока. Фитцпирс шел глухой частью парка, где росли старые вязы и дубы. На

их коре, бугорчатой и морщинистой, как лицо столетней колдуньи, темнели пятна влаги, сочившейся из старых ран, а внизу, у самой земли, изумрудно зеленели наросты лишайника. Это были могучие деревья, чьи стволы не сгибались под напором самых сильных ветров, а только раскачивали ветвями. Над их густыми, еще зелеными кронами — осень уже позолотила листву других деревьев — торчали, как оленьи рога, голые черные сучья.

Миссис Чармонд приняла Фитцпирса не то в будуаре, не то в маленькой гостиной во втором этаже. Хотя на дворе был день и холода еще не настали, окна были наглухо завешены шторами, горели свечи и лампа под красным абажуром, ярко пылал камин.

— Почему топится камин и горят свечи? — спросил Фитцпирс.

Миссис Чармонд сидела в кресле, отвернувшись.

— О, мир за окнами так уныл, — прошептала она. — Небо в трауре, потоки слез льются по окнам. Сегодня ночью по стеклу скрипела улитка. Печальный звук. Я проплакала все утро, не осушая глаз. И я не хочу, чтобы вы видели мое заплаканное лицо. Скажите, доктор, зачем нам

даны мятежные сердца и пламенные желания, когда приходится жить в этом мире? Почему смерть одна дарит то, что у жизни приходится вымаливать, — покой?[26] Ответьте мне, доктор.

— Чтобы ответить на ваш вопрос, милая Фелис, нужно вкусить еще от одного древа познания.

— Когда родник страстей иссякает, душа моя наполняется страхом, и мне кажется, что я скоро умру. О, свет так жесток, так неумолим к тому, чье сердце из воска, а не из камня. Я боюсь людей, они сурово карают за каждый неверный шаг. Законы, правила, твердят они, созданы для того, чтобы человек стал совершенен. Какое мне дело до чужого совершенства? И ради него я должна жертвовать всем, что дорого моему сердцу!

— Что вас так расстроило сегодня? — тихо спросил Фитцпирс, садясь рядом с миссис Чармонд. Он подумал, что сплин ее объясняется единственно сидением взаперти, но ничего не сказал.

— Мои мысли, доктор. Вы не должны больше приходить ко мне. Люди начинают говорить, что моя болезнь — притворство. Не приходите больше. Только не сердитесь на меня. — Миссис Чармонд порывисто вскочила с кресла и, схва-

---

[26] Примечания: 26
Парафраза строки из элегии П. Б. Шелли «Адонаис» (строфа 21).

тив Фитцпирса за руку, умоляюще взглянула на него. — Это необходимо. Так будет лучше для вас и для меня.

— Но что плохого мы сделали? — спросил, помрачнев, Фитцпирс.

— Мы не сделали ничего плохого, доктор. Но оттого, вероятно, и эти мысли. А впрочем, все суета… Я решила уехать в Миддлтон-Эби. Это недалеко от Шотсфорда. Там живет тетка моего мужа. Я еще в Лондоне обещала навестить ее и не могу нарушить слова. Так будет лучше. Я уеду, и все забудется. А вы когда насовсем покидаете Хинток с вашей милой женой?

— Я отказался от практики в Бедмуте. Я полюбил эти места и не хочу уезжать отсюда.

— Отказались? — изумилась миссис Чармонд, недоверчиво глядя на Фитцпирса. — Но вы погубили себя. Боже мой, что я наделала!

— Ничего, кроме того, что собрались уезжать.

— Да, но я уезжаю недалеко и ненадолго, всего на месяц-другой в Миддлтон-Эби. Но, может статься, я обрету там душевный покой и вернусь в Хинток преображенной. Вы будете приходить ко мне в гости с вашей прелестной женой, и мы с ней станем друзьями. О, как легко родятся в уединении праздные мысли и чувства! С

завтрашнего дня я перестану быть на вашем попечении, доктор. Я так хочу... И все-таки я рада, что вы остаетесь в Хинтоке, если, конечно, это не повредит вашему будущему.

Но едва Фитцпирс ушел, глаза миссис Чармонд потухли, с губ слетела полупечальная-полуигривая улыбка. Сердце ее налила свинцовая тяжесть. Она опять погрузилась в уныние, не имея сил шевельнуть пальцем; губы ее задрожали, закрытые глаза увлажнились.

Обратные шаги Фитцпирса испугали ее, и она быстро подняла голову.

— Я вернулся сказать вам, что вечер обещает быть теплым. Отдерните шторы, потушите лампу и свечи — за окном такое яркое солнце. Позвольте, я помогу вам.

— Пожалуйста, если вам не трудно.

Он отдернул шторы, и в комнату хлынули закатные лучи неяркого осеннего солнца. Красный огонь лампы и желтое пламя двух свечей стали почти невидимы.

— Можно подойти к вам? — спросил Фитцпирс: миссис Чардмонд сидела к нему спиной.

— Нет.

— Почему?

— Я плачу и не хочу, чтобы вы видели мое лицо,

когда на него падает свет.

Секунду он стоял в нерешительности, сожалея, что отдернул шторы и солнечный свет рассеял розовый альковный полумрак.

— Тогда я пойду…

— Идите, — сказала она, протягивая ему руку, а другой промокнув глаза платком.

— Можно я буду писать вам?

— Нет-нет! — воскликнула она и прибавила голосом кроткого благоразумия: — Вы не должны мне писать. Не надо.

— Ну что же, до свидания. — С этими словами Фитцпирс ушел.

Вечером, когда одевала хозяйку к обеду, служанка с самым невинным видом то и дело наводила разговор на женитьбу Фитцпирса:

— Люди говорят, что миссис Фитцпирс любила когда-то мистера Уинтерборна.

— Почему же она не вышла за него замуж?

— Да потому, что, говорят, он в одночасье лишился дома и всего, что имел.

— Как это могло случиться?

— У него кончился срок аренды, а ваш управляющий не стал ее продлевать, хотя, говорят, у мистера Уинтерборна были все права. Он остался без крова, и помолвка расстроилась. Так люди

говорят, мадам.

Самые разнообразные чувства охватили миссис Чармонд, и она стала горько упрекать себя. «Отказав этому бедному человеку в его законном притязании, я тем самым обрекла на гибель мою воскресшую любовь, — говорила она себе. — Кто бы мог подумать, что простое распоряжение по хозяйству нанесет впоследствии такую глубокую рану моему сердцу. И вот теперь меня ожидает печальная зима, зима горьких сожалений, сердечных мук и неисполнимых желаний. А весной я забуду его. О, я рада, что уезжаю».

Миссис Чармонд вышла из комнаты и, вздохнув, пошла вниз. Секунду она задержалась на площадке и взглянула в окно, выходящее на зеленый холм перед домом. Было еще довольно светло. Прямо перед ней, на середине крутого, поросшего травой склона маячила фигура старого Тимоти Тенге. Он возвращался домой и, чтобы сократить путь, двинулся прямо вверх по лужайке, где не было тропы и ходить запрещалось. Остановившись, чтобы взять понюшку табаку, он вдруг встретился глазами с миссис Чармонд, бросился было вверх, поскользнулся и покатился, как бочка, вниз наперегонки с табакеркой.

Необъяснимая, вспыхнувшая от безделья без-

надежная любовь к Фитцпирсу, меланхолия, вызванная нервическим расстройством, еще не просохшие слезы — все это вдруг сменилось безудержным смехом. Миссис Чармонд закатилась, глядя на Тенге; казалось, все мрачное уныние предшествующего часа вылилось в этом пароксизме смеха. Она едва справилась с собой, только войдя в столовую, но и здесь, в присутствии слуг, плечи ее то и дело вздрагивали, когда она вспоминала комическую фигуру Тенге, а глаза увлажнялись то ли от сдерживаемого смеха, то ли от недавней печали.

Она решила больше не предаваться унынию. Выпила два бокала шампанского, потом еще немного, весь вечер развлекалась пением романсов, а потом, поднимаясь в спальню, сказала себе:

«Однако надо что-то сделать для этого бедного Уинтерборна».

Глава XXVIII

Прошла неделя, и миссис Чармонд покинула Хинток-хаус. Миддлтон-Эби, место ее уединения, находился милях в десяти от Хинтока по большаку и немного ближе, если добираться верховыми и пешеходными тропами.

А спустя некоторое время Грейс заметила, что муж ее стал беспокоен и как будто избегает ее. Он был вежлив, и только, — так держатся со знакомыми. За обедом он, казалось, не слышал ни одного ее слова. Ее маленькие заботы больше не интересовали его, тестя он почти не замечал. Было ясно, что его внимание поглощено чем-то не имеющим отношения к ее жизни, — чем, она не могла сказать: возможно, опытами или чтением медицинских книг.

Надежда, что он опять погружен в научные занятия, как было до женитьбы, когда огонек в его окне до глубокой ночи служил путнику маяком, покоилась на том малозначительном факте, что он теперь поздно ложился спать.

Однажды она встретила своего мужа на холме Хайстоу, недалеко от Малого Хинтока. Он стоял, облокотившись на калитку, ту самую, возле

которой некогда стоял Уинтерборн. От калитки круто вниз сбегала тропа, ведущая напрямик в долину Черного Вереска, тянувшуюся отсюда на много миль. Фитцпирс задумчиво смотрел вдаль. Грейс подошла неслышно, и он не заметил ее. Приблизившись, Грейс увидела, что губы ее мужа беззвучно шевелятся, точно взгляду его представлялось волнующее зрелище.

— Что ты увидел там? — окликнула Грейс мужа.

Фитцпирс вздрогнул от неожиданности.

— Я смотрю на свое старое пепелище. Вон там находилась когда-то старинная усадьба Сукбери. Только и остается теперь, что смотреть, — ответил он.

Грейс показалось, что он смотрит несколько правее того места, которое было колыбелью и усыпальницей его родовитых предков, но ничего не сказала, а, взяв под руку, пошла с ним домой. Почти всю дорогу оба молчали. Грейс не знала, что взгляд его был устремлен в сторону Миддлтон-Эби.

— Тебе нужна будет сегодня Любимая? — спросила Грейс, наконец прерывая молчание.

Фитцпирс последние дни постоянно выезжал на Любимой, немолодой светло-серой кобыле, по-

даренной Грейс Уинтерборном. Подарок оказался превосходным: Любимая была послушна и почти по-человечьи умна, к тому же молодой задор у нее давно угас. Фитцпирс был неважный ездок и ценил эти ее качества.

— Да, — ответил он. — Но я поеду не в коляске, а верхом… Надо привыкать к седлу. Верховые тропы короче.

Любовью к верховой езде Фитцпирс воспылал всего неделю назад. Пока миссис Чармонд жила в Хинток-хаусе, он предпочитал ездить в коляске.

Спустя несколько дней Фитцпирс отправился верхом навестить больного, живущего в вышеназванной долине Черного Вереска. Выехал он около пяти часов пополудни и к ужину не вернулся; когда Грейс ложилась спать, мужа все не было.

Грейс не очень встревожилась, хотя знала, что самый дальний его пациент жил милях в пяти-шести от Малого Хинтока. Фитцпирс вернулся, когда часы пробили час, и в спальню вошел неслышными шагами, точно боялся разбудить Грейс.

На другое утро Грейс поднялась гораздо раньше мужа. Во дворе шел разговор о кобыле, на которой Фитцпирс накануне ездил к больному; человек,

ходивший за лошадьми, клялся, что ночью на Любимой не иначе как черти верхом катались. Придя утром в конюшню, он сразу смекнул, что дело неладно, — такой загнанный вид был у Любимой. И то правда, что ночью доктор сам поставил ее в конюшню, так что уход был, конечно, не тот, но если он и впрямь ездил не дальше долины Черного Вереска, то без нечистого тут не обошлось. Небывалое происшествие с Любимой в изложении конюха послужило зачином: истории о ведьмах, охочих до верховой езды, так и посыпались одна другой удивительнее.

Грейс вернулась в дом и, проходя переднюю, увидела пальто мужа, небрежно брошенное им ночью на стул. Из нагрудного кармана торчал билет миддлтонской дорожной заставы, а до Миддлтона и обратно, если ехать верхом, было ни много ни мало двадцать пять миль.

Грейс в тот же день навела справки и узнала, что миссис Чармонд живет сейчас в Миддлтон-Эби. Сопоставив эти два факта, Грейс сделала некий вывод, показавшийся ей самой весьма странным.

Спустя несколько дней Фитцпирс опять отправился в тот же час и к тому же пациенту в долину Черного Вереска. Грейс знала теперь, что этот

пациент — предлог и что муж ее ездит к миссис Чармонд.

Грейс удивило то, как равнодушно отнеслась она к своему открытию. Ей было неприятно, но ревности она не почувствовала. И это объяснило ей истинную природу ее отношения к мужу. До замужества она питала к Фитцпирсу благоговейную почтительность, какую мы испытываем в присутствии высшего существа. В ее чувстве не было тогда ни капли нежной привязанности влюбленного сердца. Фитцпирс был осенен для нее ореолом таинственности: таинственным было его прошлое, характер научных занятий, профессия, взгляды. Когда это идеальное представление рассыпалось под действием ежедневного домашнего общения и она увидела перед собой обыкновенного человека, ничем не отличающегося от других обитателей Хинтока, то понадобилось иное, новое основание для долгой и верной любви — доброжелательное взаимопонимание, когда обоюдные слабости становятся залогом прочного союза. Фитцпирс же не обладал ни прямодушием, ни искренностью, а вторая любовь между супругами может родиться только при наличии этих свойств. Вот почему Грейс с холодной сдержанностью смотрела сейчас на

то, как выводят и приготовляют Любимую для поездки.

— Я пойду с тобой до холма, если ты не очень спешишь, — сказала Грейс, не испытывая, однако, большого желания отпускать мужа.

— Конечно, время у меня есть, — ответил Фитцпирс.

Он взял Любимую под уздцы и пошел рядом с Грейс, проявляя все признаки нетерпения. Так они дошли до поворота на шоссе, миновали заставу и стали подниматься к Догбери-хилл и Хайстоу. Скоро они были у калитки, возле которой десять дней назад Фитцпирс стоял, облокотившись на перекладину, и где Грейс нашла его. Грейс остановилась, Фитцпирс попрощался с ней ласково, даже нежно, и Грейс заметила, что глаза у него усталые.

— Зачем ты едешь сегодня вечером? — спросила она. — Ты ведь уже был там подряд два вечера.

— Я должен ехать, — ответил он почти с досадой. — Не жди меня.

С этими словами Фитцпирс вскочил в седло и, миновав калитку, которую Грейс открыла для него, поскакал вниз по крутой верховой тропе в долину. Любимая, несмотря на возраст, была еще резвой лошадкой.

С верхушки холма Грейс долго смотрела вслед мужу. Заходящее солнце за ее спиной ярко осветило его удалявшуюся фигуру, как только тень холма осталась позади. Несмотря на недостойное поведение мужа, она сказала себе, что будет любить его, если он останется ей верен, будет, чего бы ей это ни стоило. Но подобные решения слишком дорого обходятся сердцу, и ему все труднее становится любить.

Светло-серая масть Любимой заметно выделялась на буроватой зелени вереска. Хотя Уинтерборн с такой трогательной заботливостью выбирал Любимую для Грейс, она так ни разу и не прокатилась на умном и спокойном животном. Фитцпирсу же она пришлась по вкусу, особенно теперь, когда он стал ездить в седле. Фитцпирс, подобно многим людям его характера, презирая в душе Мелбери, не гнушался его деньгами и не стеснялся брать для своих прогулок лошадь, принадлежавшую его дочери.

Итак, очарованный доктор продолжал свой путь по долине, а вокруг него пылал яркими красками осенний пейзаж: краснобокие яблоки, ягоды, листва — все блестело, как лаковое, в закатных лучах. Земля в том году поражала изобилием, а сейчас был апогей ее щедрот. В

самых бедных садах под тяжестью гроздей гнулись боярышник и черная смородина; желуди хрустели под ногами, лопнувшие каштаны соблазнительно обнажали желто-рыжее нутро, точно выставленные напоказ рачительной хозяйской рукой на ярмарке. Среди этого изобилия, однако, попадались подточенные червем плоды — точь-в-точь как семья Грейс. И она спросила себя, есть ли во всей Вселенной хоть один мир, где бы в плодах не заводилась червоточина, а в любви — печаль.

Тангейзер[27] ее тем временем удалялся; его неспешный конь долго оставлял всадника в поле зрения Грейс. Если бы она могла слышать сейчас голос Фитцпирса, то услыхала бы, как он шепчет:

> *Путеводная звезда моей мечты,*
>
> *Как мотылька огонь, влечешь меня к себе…*

Но картина была для нее немой. Скоро он пересек долину, поднялся на высокое меловое плато справа, круто обрывавшееся к долине, и поскакал по его краю; меловое плато, поросшее вереском, и

---

[27] Примечания: 27

Тангейзер (ок. 1205–1270) — немецкий поэт-миннезингер, герой множества легенд и романтических произведений.

яблоневая долина являли собой такой разительный контраст, что плато, казалось, только вчера возникло посреди этой обширной равнины.

Фитцпирс скакал по самому краю пустынной, невозделанной земли; малиновый закат медленно угасал, и Грейс еще долго следила взглядом за светлым пятнышком на его фоне: точь-в-точь картина Ваувермана[28], только сильно уменьшенная, порождение его прихотливой фантазии. Наконец всадник с лошадью скрылись из вида.

Так довелось Грейс увидеть собственную лошадь, купленную для нее человеком, истинно любившим ее, в верности которого нельзя было усомниться, уносящей ее мужа в объятия вновь обретенного идола. Размышляя над превратностями судьбы, уготованными женам и лошадям, она вдруг заметила внизу, в долине, приближавшихся к ней путников, которых до той минуты скрывала густая придорожная поросль. Это был не кто иной, как Джайлс Уинтерборн со своим помощником Робертом Кридлом. Два фургона везли сидровый аппарат и все к нему необходимое. Они поднимались все выше и выше по

[28] Примечания: 28

Вауверман Филипс (1619–1668) — голландский художник; мастерски изображал сцены охоты, кавалерийские сражения, всадников на фоне живописных пейзажей.

склону, луч солнца то и дело ярко вспыхивал на лезвиях сидровых лопаток, которые под действием яблочной кислоты отполировались до зеркального блеска. Грейс спустилась на дорогу и поравнялась с Джайлсом. Лошади, только что преодолев подъем, остановились передохнуть.

— Здравствуйте, Джайлс, — приветливо сказала Грейс, повинуясь внезапному порыву.

— Вы вышли погулять, миссис Фитцпирс? — сдержанно спросил Уинтерборн. — Погода очень хорошая.

— Нет, я возвращаюсь домой, — ответила Грейс.

Фургоны тронулись, Кридл — следом, а Уинтерборн с Грейс немного отстали.

Родной брат Осени[29], пахнущий осенним лесом, шел сейчас рядом с Грейс: на его загорелом лице под цвет спелой пшеницы синели, как васильки, глаза. На шляпе блестели спелые семечки яблок. Штаны и рукава рубахи забрызганы сидром. Пальцы склеил сладкий яблочный сок. Весь он источал аромат сидра, который таит в себе неизъяснимое очарование для тех,

---

[29] Примечания: 29

Образ брата Осени, возможно, навеян известным стихотворением английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821) «Ода к осени», в котором осень предстает в облике крестьянской девушки.

кто родился и вырос среди садов. Сердце Грейс отряхнуло недавнюю печаль и воспрянуло, как ветка, освободившаяся от спелых плодов: таким целительным было это обращение к безыскусной природе. Деликатные манеры, подобающие жене ученого доктора, чопорность, воспитанная в фешенебельной школе, — все это вдруг слетело с Грейс, и она опять стала простодушной деревенской девушкой, живущей по велению сердца.

Природа не скупится, подумала она. Не успела она оплакать потерю Эдрида, как другой мужчина, олицетворение рыцарского благородства, возник перед ней посланцем родной земли, готовый служить ей до конца. Устыдившись вдруг своих мыслей и пряча смущение, Грейс спросила Джайлса, не встретил ли он ее мужа.

— Встретил, — сказал Уинтерборн после некоторого колебания.

— Где вы встретили его?

— Около гостиницы Ревеллера. Мы идем из Миддлтон-Эби. Я там работал эту неделю.

— Разве у них нет своего сидрового пресса?

— Есть, но его сейчас чинят.

— Я думаю… я слыхала, что миссис Чармонд гостит в Миддлтон-Эби.

— Да, я видел ее два-три раза в окне, когда про-

езжал мимо.

Грейс минуту помолчала, потом спросила:

— А мистер Фитцпирс ехал в Миддлтон-Эби?

— Да… он ехал туда верхом на Любимой.

Грейс ничего не ответила, а Уинтерборн прибавил, смягчившись:

— Вы знаете, почему так назвали лошадь?

— Да, конечно, — поспешно ответила Грейс.

Беседуя таким образом, они обошли холм, и им открылась вся западная часть неба, охваченная пожаром вечерней зари. Огненно-красные отроги гор, золотые аркады, сталактиты и сталагмиты из чистого топаза громоздились, образуя феерическую картину. Выше, вторым ярусом, стлались тонкие перистые облака, а еще выше светились бездонные глубины небесной лазури.

Грейс упивалась блаженной минутой, забыв недавнюю горькую обиду, забыв расстояние, которое разделяло ее и Джайлса. Томление по бесхитростной жизни поселян переполнило сердце. По лицу пробежал отсвет волновавших ее чувств. Уинтерборн не отрывал глаз от Грейс, взгляд его скользнул по цветку, приколотому на ее груди. Как во сне, он протянул руку и нежно погладил цветок. Грейс отпрянула.

— Что вы делаете, Джайлс Уинтерборн? — вос-

кликнула она в изумленном негодовании.

Сообразив, однако, что никакими последствиями этот жест не грозит, она решила, что можно, пожалуй, обойтись и без нравоучений, и мягко сказала:

— Вы должны помнить, Джайлс, что теперь наши отношения не те, что были прежде, и то, что вы сейчас сделали, другие бы назвали вольностью.

Эти слова точно обожгли Джайлса: как он мог забыться до такой степени! Краска стыда и гнева на себя проступила даже сквозь загар.

— Я не знаю, что со мной случилось! — воскликнул он с горячностью. — Я никогда не позволял себе ничего подобного.

В глазах его заблестели слезы.

— Не расстраивайтесь так, Джайлс! Я обошлась с вами слишком строго.

— Этого бы не случилось, если бы на днях я не был свидетелем точно такой же сцены в Миддлтоне, — прибавил Уинтерборн после некоторого раздумья.

— А кто были ее участники?

— Не спрашивайте меня об этом.

Грейс пристально посмотрела на него и сказала с видимым безразличием:

— Я и так знаю. Это был мой муж с миссис Чармонд. Встретив меня, вы по ассоциации вспомнили ту сцену… Знаете что, Джайлс, расскажите мне все! Пожалуйста! Хотя нет, я не желаю ничего знать. Давайте лучше говорить о другом. И по старой дружбе не рассказывайте ничего моему отцу.

Они подошли к месту, где дороги их расходились. Уинтерборн продолжил путь дальше по большаку, вдоль опушки леса, а Грейс отворила калитку и исчезла за деревьями.

Глава XXIX

Грейс шла по мягкой, заросшей травой верховой тропе, по обеим сторонам которой тянулись заросли орешника, отягченного спелыми гроздьями по два, три, четыре ореха в каждой. Дойдя до перепутья, где тропа пересекала под прямым углом другую, точно такую же, Грейс в нескольких шагах увидела дородную Сьюк Дэмсон, простоволосую, без чепца и с высоко подоткнутой юбкой, остановилась. Пригибая высокие ветви, девица срывала орехи, с быстротой молнии разгрызала их и съедала, а ее возлюбленный Тим Тенге был занят тем же приятным делом неподалеку.

«Щелк-щелк-щелк» — раздавалось каждые две-три секунды. Мысль Грейс вдруг повернула в неожиданном направлении: ей вспомнилось вдруг, как муж рвал Сьюзин больной зуб. Грейс подошла к сборщикам орехов и, преодолев неприятное чувство, заговорила с девицей:

— Добрый вечер, Сьюзин.

— Добрый вечер, мисс Мелбери, — ответила та, щелкнув орехом.

— Ты хотела сказать «миссис Фитцпирс», — поправила ее Грейс.

— Ах да, мадам… миссис Фитцпирс, — сказала та с насмешливой почтительностью, удивившей Грейс.

Опасаясь, что разговор на том и кончится, Грейс продолжила:

— Береги зубы, Сьюк. Знаешь, как они от орехов болят.

— Мне боль неведома. У меня никогда не болели ни зубы, ни уши, ни, слава тебе господи, голова! — не переставая щелкать, рассмеялась девица.

— И тебе никогда никто зубы не рвал?

— Смотрите сами, мадам.

Сьюк раскрыла свой розовый рот и показала два нетронутых ряда великолепных белых зубов.

— Значит, все зубы у тебя целы?

— Все.

— Тем лучше для твоего желудка, — сказала изменившимся голосом миссис Фитцпирс и, быстро повернувшись, пошла прочь, подумав: «Бедный Тимоти Тенге, какую ложку дегтя могла бы я влить сейчас в бочку меда, если бы захотела».

Когда таким образом характер Фитцпирса открылся Грейс с этой неожиданной стороны, она даже испугалась, не испытав мук ревности, какие жена должна испытывать в подобных об-

стоятельствах. Не было в ее душе и мстительного гнева против соперницы, предписанного обычаем и моралью, а почувствовала она лишь то, что брак ее был ужасной ошибкой. Покорившись воле отца, она предала самое себя. Предчувствия не напрасно посылаются людям. Грейс вспомнила, как вышла тогда на рассвете из дому и заметила женскую фигуру, выскользнувшую из дверей Фитцпирса. Она должна была внять голосу благоразумия и наотрез отказать ему. О, как правдиво звучал тогда рассказ ее нареченного о том, как бедняжка Сьюк умоляла его вырвать больной зуб, терзавший ее хуже лютого зверя. В его рассказе была даже смешная подробность: впопыхах он вырвал у Сьюк отличный коренной зуб, без единого изъяна!

Остаток пути Грейс проделала как в тумане, размышляя над сложностью своего положения. Если верить речам Фитцпирса, которые он расточал перед ней до свадьбы, он действительно любил ее, но вместе с тем он питал какие-то чувства и к Сьюк. Теперь, видно, происходило то же, и он опять любил сразу двоих — миссис Чармонд и ее, свою жену: ведь время от времени он по-прежнему бывал с ней ласков, даже нежен. Но тогда каким же искусным лицемером он был!

Эта мысль была самой горькой: из нее вытекало, что Фитцпирс мог и не любить ее, и, значит, единственной причиной, побудившей его предложить ей руку и сердце, было ее небольшое состояние.

Но Грейс ошибалась: любовь таких, как Фитцпирс, терпит раздвоение чувств. Как-то в разговоре (не с Грейс, конечно) Фитцпирс заметил, что однажды он пылал страстью сразу к пяти особам прекрасного пола. Если это правда, то любовь его отличалась от истинного чувства тем, чем отличается примитивный организм от высокоразвитого: последнему расчленение приносит смерть, первому — многократное возрождение. Фитцпирс любил Грейс, искренне любил — хотя и на свой собственный, эгоистический лад, — и продолжал любить до сих пор. Такое любвеобилие, однако, было недоступно пониманию Грейс.

О бедной Сьюк Дэмсон Грейс больше не думала: ее время давно отошло.

«Если он не любит меня, — гордо сказала себе Грейс, — то и я не буду его любить».

И хотя это были только слова, они были грозным предзнаменованием для Фитцпирса, ибо сердце ее действительно было готово перестать любить. Самое отсутствие ревности, благодаря чему Фитцпирс так легко мог отлучаться из дому

и за что в душе благодарил Бога, было куда более опасно для семейного благополучия (хотя об этом не подозревали ни муж, ни жена), чем докучливая бдительность ревнивой жены.

Грейс провела неспокойную ночь. Крыло дома, где она жила с мужем, никогда еще не было таким пустынным и печальным. Сон не шел к ней. Грейс встала, оделась и спустилась вниз. Отец, всегда спавший очень чутко, услыхал ее шаги и вышел на лестницу.

— Это ты, Грейс? — спросил он. — Что случилось?

— Ничего. Просто мне что-то не спится. Эдрид задержался у больного в долине Черного Вереска.

— Где-где задержался? Сегодня вечером я встретил хозяина той фермы. Жена его поправляется. Доктор навещал их днем.

— Ну тогда он задержался еще где-нибудь, — сказала Грейс. — Не обращай на меня внимания. Иди спать. А Эдрид скоро вернется. Я жду его к часу.

Грейс вернулась в спальню, задремала было, проснулась, снова задремала. В прошлый раз Фитцпирс вернулся в час, теперь уже давно пробило два и три, а его все не было. На рассвете

Грейс услыхала за окном разговор и какой-то шум. Время от времени щели ставней озарялись огнем фонаря. Отец предупреждал ее, что встанет рано, чтобы снарядить возы с плетнями на дальнюю ярмарку. Выглянув из окна, она увидела отца и работников, суетившихся вокруг возов, и среди них щепенника: он укладывал свой товар — ставцы, миски, пробки, ложки, сырные чаны, воронки — на телеги отца, который каждый год отвозил его по дружбе на ярмарку.

В другой раз эта сцена развлекла бы ее, но сейчас ей не давала покоя тревога о муже: было уже около пяти часов утра, а он все не возвращался. Она знала, что он не мог задержаться в Миддлтон-Эби позже десяти часов, каким бы сильным ни было его увлечение. По-видимому, и там его посещения были в глазах окружающих простыми визитами доктора. От Миддлтона до Хинтока всего два часа верховой езды. Значит, с ним что-то случилось. Грейс очень беспокоилась — ведь и вчера, и позавчера он вернулся поздно.

Грейс оделась, спустилась вниз и вышла во двор; в таинственной серой мгле, возвещавшей близость дня, желтые лучи фонарей теряли теплоту красок, а лица мужчин казались бледными и усталыми. Увидев дочь, Мелбери, не зная, что

подумать, бросился к ней.

— Эдрид не вернулся, — проговорила она. — И у меня есть основания думать, что он уехал не к постели больного. Две предыдущие ночи он тоже мало спал. Я пойду к дальней калитке, посмотрю, не случилось ли что.

— Я пойду с тобой.

Грейс стала умолять отца не ходить с ней: это далеко, он устанет, но Мелбери настоял на своем, ибо он подметил в лице дочери, кроме естественного беспокойства, какое-то особенно мрачное, упрямое выражение, не на шутку встревожившее его. Сказав работникам, что скоро вернется, он пошел вместе с Грейс. Выйдя проселком на тракт, они скоро достигли холма, с которого Грейс смотрела накануне вслед удалявшемуся мужу. Поднявшись несколько по косогору, отец с дочерью остановились под старым, уже наполовину сухим дубом, дуплистым и в белых наростах лишайника, чьи могучие корни, как когти, вцепились в землю. Прохладный предутренний ветерок овевал их, на его струях слетали вниз, на траву, светло-зеленые парашютики, срывавшиеся, как птенцы из гнезда, с веток соседней липы. Редеющая мгла окутывала долину, таинственную и нереальную в этот час; восток был задернут

голубовато-серым занавесом, отороченным по краю розовой бахромой. Фитцпирса не было ни видно, ни слышно.

— Что мы здесь стоим, — сказал ее отец. — Он мог вернуться десятком других дорог… Гляди, что это? Следы Любимой! Они совсем сухие и ведут к дому. Он, должно быть, давно вернулся. Просто ты не видела его.

— Нет, он не возвращался.

Отец с дочерью заспешили домой. Войдя во двор, они увидели, что возчики, покинув телеги, столпились у ворот конюшни, ведущих в стойло Любимой.

— Что случилось? — воскликнула испуганно Грейс.

— Ничего страшного, госпожа. Все хорошо, что хорошо кончается, — успокоил ее старик Тимоти Тенге.

— Я слыхал, что такие вещи иногда приключаются. Правда, не с господами, а с нашим братом.

Мелбери с дочерью вошли в конюшню и увидели в стойле светлый круп Любимой и Фитцпирса, который, сидя в седле, крепко спал. Кобыла жевала сено, хотя мундштук мешал ей; поводья, выпавшие из рук спящего, свисали с ее шеи.

Грейс приблизилась к мужу и коснулась его

руки. Он не проснулся, тогда она потрясла его, и Фитцпирс вздрогнул, зашевелился, открыл глаза и воскликнул:

— Фелис… Ах, это ты, Грейс! Я не разглядел в темноте. Что это? Да я в седле!

— Да, — ответила Грейс. — Как ты здесь очутился?

Фитцпирс собрался с мыслями.

— Видишь ли, — начал он неуверенно, слезая с лошади, — когда я возвращался, было уже поздно, и мне очень хотелось спать. Доехав до Святого источника, я увидел, что кобыла воротит морду к воде. Я понял, что она хочет пить, и пустил ее к источнику. Любимая пила, пила и все не могла остановиться. Тем временем часы на церкви в Ньюленд-Бэктон пробили полночь. Я помню, что насчитал ровно двенадцать ударов. Но больше решительно ничего не помню.

— Если бы не Любимая, — проговорил Мелбери, — он сломал бы себе шею.

— Чудо, истинное чудо. До чего смирная лошадка! Привезла домой спящего седока, живого, здорового, да еще в самую полночь, — удивился Джон Апджон. — Как же не чудо: бывает, конечно, подвыпивший парень заснет верхом и целую милю так во сне и проскачет. А тут ведь десять

миль, не одна! И вернулся целехонек. Вот уж действительно повезло! Ведь мог бы утонуть или расшибиться насмерть. А то на дереве повеситься, как Авессалом[30]. Благородный был джентльмен, священник сказывал, вам под стать.

— Истинная правда, — почтительно проговорил старый Тимоти, — от донышка шляпы до подметок никакого в нем изъяна не было.

— А то еще могло бы оторвать руку или ногу, и никто во всей округе не взялся бы приладить ее обратно.

Пока окружающие расписывали столь красочно возможный исход дела, Фитцпирс спешился и, опершись на руку Грейс, побрел на негнущихся ногах на свет божий. Мелбери остался в конюшне. У Любимой был не только измученный вид, но и все бока залеплены грязью. Меж тем вокруг Хинтока везде было сухо, кроме дальней низины, где глинистая почва долго не просыхала. Мелбери смотрел, как постепенно бока кобылы под скребками становились чистыми, и сопоставлял в уме чужеземное происхождение грязи с именем,

---

[30] Примечания: 30

Авессалом — персонаж из Библии, сын царя Давида, славившийся своей красотой. Восстав против отца, Авессалом потерпел поражение и пытался спастись бегством. Но его мул вбежал под ветви большого дуба, и Авессалом, запутавшись своими длинными волосами в ветвях, «повис между небом и землей» (Вторая Книга Царств, гл. 18).

которое доктор пробормотал, едва очнувшись, когда Грейс коснулась его руки. Фелис. Кто такая Фелис? Да ведь это миссис Чармонд, а она, как было известно Мелбери, жила сейчас в Миддлтоне.

Мелбери не ошибся: именно этой женщиной была полна еще не вполне воспрявшая ото сна душа Фитцпирса.

Он заново переживал каждую минуту недавнего свидания: на зеленой лужайке перед домом при свете звезд взбалмошная, капризная женщина умоляла его не приезжать больше, но интонации ее голоса говорили другое, приказывали не повиноваться. «Что вы здесь делаете? Почему преследуете меня? Другая принадлежит вам. Если кто-нибудь увидит, что вы лезете через забор, вас поймают, как вора!» Потом, уступая его настойчивости, Фелис в бурных выражениях призналась, что уехала в Миддлтон не столько затем, чтобы ухаживать за больной, сколько гонимая стыдом и страхом перед собственной слабостью, с которой она не в силах бороться, живя в двух шагах от дома Фитцпирса. Фитцпирс торжествовал, несмотря на то что положение его было по меньшей мере затруднительным. Наконец-то он одержал настоящую, хотя и очень запоздалую, победу над этой красавицей. Любовь его была лю-

бовью конгривовской Милламанты, для которой особая прелесть любви заключалась в сознании того, что «сердце, из-за которого кровоточат другие сердца, кровоточит из-за меня»[31].

Все утро Мелбери не находил себе места: его спокойная уверенность в том, что дома все благополучно, была грубо поколеблена. Правда, он замечал последнее время, что Грейс все чаще ищет его общества, помогает мачехе печь хлеб, стряпать обед, забросив свое гнездо. Казалось, собственный очаг перестал быть для нее средоточием жизни; она походила сейчас на слабую пчелиную матку, улетевшую было со своим роем, но скоро вернувшуюся в родной улей. Однако до этого случая значение происходящего как-то ускользало от него.

Что-то неладное творилось в его семье. Мелбери вдруг бросило в дрожь при мысли, что он один виноват в несчастье дочери, ради которой он жил, ради которой пошел на все неудобства — Фитцпирсу была отдана лучшая часть дома, — только бы она всегда была рядом. Сомневаться не приходилось: не помешай он естественному ходу событий, Грейс стала бы женой Уинтерборна, и

---

[31] Примечания: 31

У. Конгрива (1670–1729). Путь светской жизни. Акт III, сцена 3.

таким образом осуществилась бы его заветная мечта. И он загладил бы свою вину перед старым другом.

То, что Фитцпирс позволил себе хотя бы на минуту увлечься другой женщиной, поразило и опечалило Мелбери. В своем простодушии он не представлял себе, что мужчина, связанный узами брака, может нарушить супружескую верность. Мелбери посчитал бы неслыханной дерзостью поведение зятя, который осмелился столь высоко замахнуться: возмечтал, так сказать, сорвать покрывало Изиды с самой миссис Чармонд, — если бы не подозрение, что она сама его поощряла. Что могли он и его Грейс, почти еще дитя, противопоставить любви этих двух искушенных людей света, опытных в сердечных делах, имеющих в своем распоряжении богатый арсенал кокетства. Мелбери чувствовал себя дикарем, вооруженным луком и стрелами против современного смертоносного оружия.

Грейс вышла из дому, когда утро уже кончалось. Деревня опустела, все уехали на ярмарку. Фитцпирс, чувствуя себя разбитым после ночи, проведенной в седле, лег спать. Грейс пошла на конюшню. Взглянув на Любимую, она не могла не подумать, что, подарив ей такую умную и

спокойную лошадь, Джайлс Уинтерборн спас тем самым жизнь ее мужа. Эта мысль несколько времени занимала ее, пока она не услышала за спиной шаги отца.

По его лицу, которое искажала сейчас нервная судорога, по взгляду, полному тревоги, Грейс тотчас поняла, что отец догадался, какая беда постигла ее семью.

— Он, кажется, задержался вчера вечером? — спросил Мелбери.

— Да, очень трудный случай в долине Черного Вереска, — спокойно ответила Грейс.

— Все равно он должен был остаться дома.

— Он не мог.

Мелбери отвернулся, не в силах видеть такого унижения дочери: ни слова лжи не слетало прежде с ее губ, а теперь она обманывала его.

В ту ночь тяжкая забота не давала Мелбери сомкнуть глаз.

— Мне не заснуть сегодня, — наконец прошептал он, зажег свечу и вышел из комнаты. — Что я наделал! Что я наделал! Бедняжка Грейс! — сказал он проснувшейся в испуге жене. — Ведь я дал слово выдать дочь замуж за сына человека, которому нанес когда-то обиду. Помнишь, я рассказывал тебе об этом накануне возвращения

Грейс? Почему я не сделал того, что должен был сделать! На что только польстился?

— Не терзайся так, Джордж, — возразила жена. — Я не верю, что все так уж плохо. Вряд ли миссис Чармонд поощряет его. Других мужчин она, может, и завлекала, но какая ей корысть завлекать Фитцпирса? Скорее всего, она в самом деле больна и не хочет звать другого доктора.

— Грейс так любила украшать свое гнездышко, — продолжал Мелбери, оставив без внимания слова жены. — То повесит новую занавеску, то переставит мебель. А теперь ее словно подменили.

— Ты что-нибудь знаешь о прошлом миссис Чармонд? Это могло бы многое объяснить. Она приехала сюда пять или шесть лет назад как жена старого Чармонда. А до тех пор никто ничего о ней не слыхал. Почему бы тебе не навести справки? А пока самое лучшее подождать. Еще успеешь наплакаться, если будет из-за чего. Глупо отчаиваться раньше времени.

В словах жены был здравый смысл, и Мелбери, надеясь на лучшее, решил не предпринимать пока никаких шагов, а тем временем порасспрашивать о прошлом миссис Чармонд, но минутами им вновь овладевало отчаяние.

Глава XXX

Если бы Мелбери и стал расспрашивать Грейс, она все равно ничего бы не сказала ему, поэтому решил пока наблюдать молча.

Сознание того, что его любимой дочерью пренебрегают, произвело разительную перемену в Мелбери. Никто не бывает так хитер и находчив, как простодушный крестьянин, вдруг заметивший, что его простотой злоупотребляют. Почтительная доверчивость к зятю сменилась кошачьей подозрительностью — это мешало ему заниматься делами и омрачало душу.

Он знал, что женщина, отданная мужчине до конца своих дней, чаще всего безропотно принимает судьбу, приспосабливаясь по возможности и не пытаясь искать помощи у других, но только теперь впервые задумался, почему это так. А что, если случай необыкновенный, рассуждал он. Ведь Грейс не такая, как все, и положение у нее исключительное: она оказалась между двумя ступенями общества, и в Хинтоке у нее нет ни одной близкой души, поэтому пренебрежение мужа для нее во сто крат тяжелее, чем для какой-нибудь другой женщины. И он решил — умно ли, нет ли

— начать сражение за счастье дочери, и пусть другие отцы осудят его.

Тем временем миссис Чармонд воротилась домой. Возвращение ее прошло незаметно, и Хинток-хаус не подавал признаков жизни. Зябкая осень приближалась к концу. С каждым днем в садах и огородах становилось все более пусто и голо; нежные листья и стебли овощей побило первыми заморозками и трепало на ветру, как вылинявшие лоскуты; всю осень лес не спеша ронял листья, а теперь они падали торопливо и густо; все оттенки золотого цвета, еще недавно шуршавшие над головой, теперь побуревшей массой лежали под ногами: тысячи жухлых, скрученных в трубочку листьев, готовых предаться тлению. Миссис Чармонд жила в эту осень в уединенной усадьбе одна, без компаньонки, что мало приличествовало вдове ее лет и с ее красотой; не уехала она и за границу на зиму, как в прежние годы. Эти два обстоятельства наводили на кое-какие размышления. Что касается Фитцпирса, единственным нарушением его привычек был отказ от ночных занятий: в окнах его нового жилища не светился допоздна огонек, как бывало прежде, когда он жил один.

Если миссис Чармонд и Фитцпирс встречались,

то так умно и осторожно, что даже бдительный Мелбери не замечал этого. В посещениях доктора нет ничего предосудительного, и Фитцпирс раздругой навестил Хинток-хаус. Что происходило во время этих визитов, известно было только доктору и его пациентке, но скоро Мелбери получил возможность убедиться, что миссис Чармонд находится под чьим-то сильным влиянием.

Наступила зима. По утрам и вечерам стали кричать совы, опять появились стаи лесных голубей. Однажды в феврале, по прошествии приблизительно полугода со времени женитьбы Фитцпирса, Мелбери возвращался пешком из Большого Хинтока и вдруг впереди увидел знакомую фигуру зятя. Мелбери догнал бы его, но тот свернул в одну из просек, которая никуда не вела, а привлекала путника живописными поворотами, петляя между деревьями. В тот же миг впереди показался маленький плетеный экипаж, в котором миссис Чармонд обычно объезжала поместье; она была одна, без грума. Не заметив Мелбери, а возможно, и Фитцпирса, она свернула на ту же самую живописную тропу. Мелбери, не раздумывая, пошел следом и скоро нагнал миссис Чармонд, несмотря на болезни и уже немалый возраст. Экипаж остановился, миссис Чармонд

сидела в коляске, небрежно откинув руку на спинку сиденья, рядом стоял Фитцпирс.

Они молча глядели друг на друга, на губах Фелис играла кокетливая и вместе мрачная улыбка. Фитцпирс взял ее руку, миссис Чармонд оставалась безучастной, только глаза ее выразительно смотрели на доктора. Он украдкой расстегнул перчатку и стал стягивать ее, выворачивая наизнанку и обнажая запястье. Потом поднес к губам пальчики миссис Чармонд, а она все сидела не двигаясь и смотрела на Фитцпирса, как смотрела бы на муху, севшую на платье.

— Как объяснить это непослушание, сэр? — наконец нарушила она молчание.

— Но я во всем послушен вам, — ответил Фитцпирс.

— Тогда идите своей дорогой и пустите меня.

Она вырвала руку и хлестнула лошадь кнутом. Экипаж покатил, а Фитцпирс остался стоять где стоял.

Первым побуждением Мелбери было выйти из укрытия и отчитать зятя, но здравый смысл подсказал ему, что этого делать нельзя. Самое простое средство не самое лучшее. Сцена, которой он был свидетель, сама по себе не говорила еще ни о чем, но за ней могло скрываться многое. Фитцпирс,

возможно, был сейчас в таком состоянии духа, что вмешательство могло только вконец все испортить. И еще он подумал, что если уж объясняться, так с самой миссис Чармонд. В полном расстройстве чувств побрел Мелбери домой; он чуть не плакал, ибо сердце его становилось как воск, когда дело касалось любимой дочери.

Замечательный пример проницательности, рожденной любовью, являл сейчас собой Мелбери. Ни самообладание Грейс, ни ее полный достоинства разговор, ни спокойное лицо не обманывали отца: он видел, что происходит в душе дочери, как бы ни старалась она скрыть свои чувства от постороннего глаза.

Семейная жизнь Грейс становилась все тягостнее. Фитцпирс последние дни был особенно мрачен и раздражителен; раздражение его выливалось в коротких монологах непременно в присутствии Грейс. Как-то утром, когда за окном было серо и сумрачно, а ночью дул ветер, Фитцпирс стоял у окна и смотрел, как работники Мелбери тащат через двор большой сук, сломанный ветром. Все кругом было тусклое и озябшее.

— Боже мой! — воскликнул Фитцпирс, стоя у окна в шлафроке. — И это жизнь! — Он не знал, проснулась ли Грейс, но не пожелал удостове-

риться и не повернул головы. — Идиот! Сам себе подрезал крылья! А какая была блестящая возможность взлететь! Да, сделанного не воротишь. Но ведь я так страстно желал этого. Почему я так глупо устроен, что прозреваю слишком поздно? Я полюбил…

Грейс шевельнулась. Он подумал, что она слышала последние слова, и огорчился, хотя мог бы говорить тише.

Он ожидал за завтраком неприятного разговора, но Грейс была только более молчалива, чем обычно. И Фитцпирс тотчас стал раскаиваться, что причинил жене боль, ибо приписал ее молчание своей несдержанности, но ошибался: ни слова его, ни действия не были причиной ее уныния. Она не слышала его утренних сетований.

Над ее домом нависла более серьезная беда, чем крушение честолюбивых замыслов мужа.

Грейс сделала открытие, которое ей с ее прямодушием показалось чудовищным: заглянув в свое сердце, увидела, что ее детская влюбленность в Джайлса ярко разгорелась, ибо у нее было теперь иное понятие о великом и ничтожном в жизни. Простые манеры Уинтерборна не раздражали больше ее утонченного вкуса, недостаток так называемой «культуры» не оскорблял ее

образованности, деревенское платье стало радовать глаз, а внешняя грубоватость восхищала. Замужество показало ей, что рафинированный интеллект легко уживается с самыми низменными свойствами души. Она почувствовала отвращение к тому, что прежде считала таким важным. Честным, добрым, верным и мужественным мог быть теперь в ее глазах только простой человек, и такой человек был с самого детства рядом с ней.

И еще в сердце Грейс никогда не угасала жалость к Джайлсу: она жалела его, потому что причинила ему зло, потому что в мирских делах он был неудачник и еще потому, что, подобно другу Гамлета, «который и в страданиях не страждет»[32], испытал такие невзгоды, что стал почти что святым. Вот какие мысли, а не случайно брошенная мужем фраза, повергли Грейс в молчаливое уныние.

Оставив Фитцпирса в лесу, Мелбери пошел к дому и увидел в окне гостиной дочь, которая выглядела так, точно ей нечего было делать, не о чем заботиться. Мелбери остановился и, пристально глядя на нее, окликнул:

---

[32] Примечания: 32

У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 2.

— Грейс.

— Что, отец? — отозвалась она.

— Ждешь любимого мужа? — спросил он тоном, в котором прозвучала и жалость, и вместе с тем сарказм.

— Нет, не жду. У него сегодня много больных.

Мелбери подошел к окну:

— Грейс, зачем ты это говоришь? Ведь ты хорошо знаешь… Ладно, спускайся вниз, погуляем в саду.

Он отпер калитку в увитой плющом изгороди и стал ждать. Видимое безразличие Грейс беспокоило его. Уж лучше бы она в порыве ревности бросилась в Хинток-хаус и, позабыв приличия, устроила сцену Фелис Чармонд, вцепилась бы в нее unguibus et rostro[33], обвинив, пусть даже без достаточных оснований, в том, что она украла у нее мужа. Подобная буря только бы разрядила атмосферу надвигавшейся грозы.

Минуты через две появилась Грейс, и они вышли в сад.

— Тебе, как и мне, хорошо известно, что твоему супружескому счастью грозит беда, а ты делаешь вид, что все прекрасно. Ты думаешь, я не вижу

---

[33] Примечания: 33
Когтями и клювом *(лат.)*.

постоянной тревоги в твоих глазах? По-моему, ты ведешь себя неправильно. Нельзя оставаться безучастной. Надо что-то делать.

— Я ничего не делаю, потому что моей беде нечем помочь.

Мелбери готов был забросать ее вопросами: ревнует ли она, испытывает ли возмущение? Но природная деликатность удержала, и он лишь заметил укоризненно:

— Ты какая-то вялая, должен тебе сказать: замкнулась в себе.

— Я такая, какая есть, отец, — отрезала Грейс.

Мелбери посмотрел на дочь и вдруг вспомнил, как за несколько дней до свадьбы она спросила его, не лучше ли будет, если она выйдет замуж за Уинтерборна, и подумал, уж не полюбила ли его Грейс теперь, когда он потерян для нее навсегда.

— Что ты хочешь, чтобы я сделала? — спросила Грейс тихо.

Мелбери очнулся от горьких воспоминаний:

— Я бы хотел, чтобы ты пошла к миссис Чармонд.

— Пойти к миссис Чармонд? Зачем?

— Затем, — прости меня за мою прямоту, — чтобы просить, умолять ее во имя вашей женской солидарности вернуть тебе мужа. Твое семейное

счастье зависит от нее. Это я знаю наверняка.

Грейс вспыхнула при этих словах отца, юбки ее громко зашуршали, коснувшись цветочного ящика, точно и они выражали негодование.

— И не подумаю! Я не могу, отец, — возмутилась Грейс.

— Разве ты не хочешь снова стать счастливой? — удивился Мелбери, явно озабоченный происходящим больше, чем его дочь.

— Я не хочу еще больших унижений. Раз уж мне суждено страдать, я буду страдать молча.

— Но, Грейс, ты еще очень молода и не понимаешь, как далеко может зайти дело. Посмотри, что уже произошло. Из-за миссис Чармонд твой муж отказался от практики в Бедмуте. И хотя это еще не бог весть какая беда, но лучше бы и ее не было. Миссис Чармонд поступает так не из злого умысла, а по легкомыслию, и одно только слово, сказанное вовремя, может избавить тебя от больших неприятностей.

— Когда-то я любила ее, — дрогнувшим голосом проговорила Грейс, — а она и не подумала обо мне. Я не люблю ее больше. И пусть она делает что хочет, мне все равно.

— Нельзя так говорить, Грейс. Тебе было многое дано. Ты хорошо воспитана и образованна, стала

женой ученого человека из очень хорошей семьи и должна быть счастлива.

— Нет, я не могу быть счастлива. Как бы я хотела, чтобы ничего этого не было! Зачем только меня учили в закрытой школе? Как бы я хотела быть такой, как Марти Саут! Я ненавижу господскую жизнь. Если бы я могла, как Марти, резать в лесу ветки для плетней!

— Кто тебе внушил эти мысли? — спросил потрясенный отец.

— Образование принесло мне только страдания и невзгоды. Зачем, ну зачем ты послал меня учиться в эту школу? Отсюда все зло. Если бы я жила дома, то вышла бы замуж…

Грейс оборвала себя на полуслове и замолчала, и Мелбери, увидев, что она едва сдерживает слезы, совсем расстроился.

— Что ты говоришь? Ты хотела бы жить здесь, в Хинтоке? Остаться деревенской девчонкой и ничему не учиться?

— Да, я никогда не была счастлива вдали от дома. У меня всегда болело сердце, когда ты отвозил меня в город после каникул. Какие это были горькие дни, когда я в январе возвращалась в школу, а вы оставались дома, среди лесов, такие счастливые! Я часто спрашивала себя, почему

должна все это терпеть. В школе девочки относились ко мне презрительно, потому что знали: мои родители небогатые и незнатные.

Бедного Мелбери очень обидела строптивость и неблагодарность дочери. Он уже давно с горечью понял, что нельзя было мешать юным сердцам, что должен был помочь Грейс понять, кого она любит в действительности, и выдать замуж за Уинтерборна, как он раньше и хотел, но менее всего Мелбери ожидал, что дочь страдает из-за того, что ее воспитали как благородную даму. Скольких денег и какого труда стоило ему это воспитание!

— Ну что же, — проговорил он уныло. — Не хочешь идти к миссис Чармонд — не ходи. Я не собираюсь принуждать тебя.

Мелбери не мог ума приложить, как отвратить беду от дочери. Целыми днями сидел он у очага, погруженный в невеселые думы, и рядом с ним на камине стоял кувшин сидра с рогом, надетым на горлышко. Всю неделю сочинял он послание главному обидчику, несколько раз переделывал, а потом вдруг скомкал его и бросил.

Глава XXXI

Февраль сменился мартом, и дровосеки стали возвращаться домой засветло. Весной по Большому и Малому Хинтоку поползли слухи о неурядицах в доме Мелбери.

Слухи основывались на догадках, ибо никто не знал истинного положения дел. Факты не утоляли любопытства, но намекали на существование определенных отношений между местным доктором и его высокородной пациенткой и одновременно затемняли их, и это вызывало всеобщие толки и пересуды. Вряд ли кто ожидал, что хинтокцы поведут себя, как добрые горожане из Ковентри[34], и будут мирно заниматься своими садами и рубкой леса в разгар столь захватывающих событий.

Как ни странно, слухи почти ничего не преувеличивали. Семье Грейс действительно угрожала беда, древняя как мир, поразившая не одну се-

---

[34] Примечания: 34

Имеется в виду средневековая легенда о леди Годиве, которая просила своего мужа графа Ковентри освободить жителей города от тяжелого налога. Граф согласился отменить налог при условии, если Годива среди бела дня объедет весь город обнаженная верхом на коне. Леди Годива выполнила жестокое условие, а жители Ковентри в этот час заперлись в домах и отвернулись от окон.

мью, — беда, которая исторгла плач Ариадны[35], явилась причиной ослушания Васти[36] и гибели Эми Дадли[37]. Действительно, были встречи, случайные и умышленные, тайная переписка, внезапные угрызения совести с одной стороны, дурные предчувствия — с другой. Таким бурным было душевное состояние этой заблудшей пары, что оно заглушало доводы здравого смысла. Решив следовать одним путем, они тут же сбивались на другой; гордая неприступность вдруг сменялась постыдным падением; ни один отчаянный шаг не был сделан намеренно и с расчетом; все совершалось вопреки рассудку.

Этого Мелбери ожидал и боялся, не ожидал он другого: что дело так скоро получит огласку. Что теперь предпринять? Самому идти к миссис Чармонд, раз уж Грейс так непреклонна? Он вспомнил про Уинтерборна и решил поговорить с ним, чувствуя настоятельную потребность по-

---

[35] Примечания: 35

Ариадна — героиня греческого мифа, дочь критского царя Миноса; помогла афинскому герою Тесею выбраться из лабиринта с помощью клубка нитей и была покинута им на острове Наксос.

[36] Примечания: 36

Васти — по библейской легенде, персидский царь Артаксеркс за непослушание отверг свою жену Васти и избрал в жены Эсфирь.

[37] Примечания: 37

Эми Дадли — героиня романа В. Скотта (1771–1832) «Кенилворт» (1821), убитая по приказу своего мужа графа Лестера.

советоваться с другом. Он совсем утратил веру в собственную рассудительность, на которую столько лет твердо полагался; теперь же его способность здраво рассуждать, как неверный друг, сбросивший маску, предстала перед ним ханжой и лгуньей. Он боялся даже высказать предположение о погоде, о том, который теперь час, или о видах на урожай — так сильно не доверял себе.

Одним промозглым весенним днем отправился он на поиски Джайлса. Лес точно покрылся холодной испариной, на каждом голом сучке и веточке висела прозрачная капля; низко стелилось тусклое, бесцветное небо; деревья расступались перед Мелбери, как серые бесплотные призраки, чья земная жизнь давно окончена. Мелбери последнее время редко видел Уинтерборна, однако знал, что тот живет в одинокой хижине за границей имения миссис Чармонд, но в пределах лесного края. Тощие ноги лесоторговца меряли сырую блеклую землю, взгляд скользил по мертвым прошлогодним листьям, и с уст время от времени срывалось односложное «да!» в ответ на горькие размышления.

Вдруг внимание его привлек тонкий сизый дымок, вьющийся в кустах, вскоре стали слышны голоса и стук топоров, и, повернув на дымок,

Мелбери чуть не столкнулся с Уинтерборном.

Мало кто знал, что Джайлс был сильно болен этой зимой; сейчас же, после долгих месяцев недомогания и вынужденного досуга, он волей случая стал одним из самых занятых людей в округе. Часто бывает, что, потеряв из виду друга, с которым стряслась беда, мы думаем найти его несчастным и чуть ли не голодающим, а находим вполне преуспевающим. Уинтерборн менее всего помышлял о выгодном деле, когда ему вдруг предложили большой заказ на поделку плетней. Он купил участок орешника и теперь трудился не покладая рук.

Не зря, видно, в этих краях орешник называют коричником — в разрывах тумана проглядывал чистейший светло-коричневый тон. Уинтерборн, нагнувшись, переплетал длинными прутьями вбитые в землю колья. Рядом, как алтарь Каина, возвышалась кладь уже готовых плетней, ощерившаяся во все стороны остроконечными кольями. Неподалеку работали нанятые Уинтерборном поденщики. Срубленный кустарник правильными рядами лежал на земле, в двух шагах от вырубки виднелся навес, под которым неярко горел костер. Его дым и привлек Мелбери. Воздух был такой влажный, что дым стелился

понизу, тяжело уползая в кусты.

Понаблюдав немного за работой, Мелбери подошел ближе и коротко спросил Уинтерборна, чем он занят. В голосе его прозвучало откровенное изумление, как это Джайлс так быстро оправился после разрыва с Грейс и даже затеял такое большое дело. Мелбери был явно взволнован: они давно не встречались с Уинтерборном. Замужество Грейс положило конец их старой дружбе.

Уинтерборн так же коротко ответил, продолжая работу и не поднимая глаз на Мелбери.

— Ты, наверное, к апрелю уже все кончишь? — спросил Мелбери.

— Да, пожалуй, — ответил Уинтерборн, ударом топорика расколов последнее слово надвое.

Опять помолчали. Мелбери невесело наблюдал, как ловко ходит топор в руках Уинтерборна; отлетавшие щепки то и дело ударяли гостя то по ногам, то по жилету, но он, казалось, ничего не замечал.

— Да, Джайлс, ты должен был стать моим зятем и компаньоном, — начал наконец старик. — Куда как было бы лучше и для нее, и для меня.

Уинтерборн понял, что его старого друга что-то гнетет, и, отшвырнув в сторону прут, который уже начал вплетать, с поспешностью спросил,

здорова ли Грейс.

— Здорова-то здорова, — ответил Мелбери и опять замолчал, а потом вдруг повернулся и зашагал прочь, не имея сил продолжать разговор.

Уинтерборн велел одному из дровосеков прибрать на ночь инструменты и пошел вслед за Мелбери.

— Мне не позволительно быть слишком любопытным, — сказал он, — особенно с тех пор, как наши отношения изменились. — Но, надеюсь, в вашем семействе все обстоит благополучно?

— Нет, — ответил Мелбери. — Нет!

Он остановился и ударил ладонью гладкий ствол молоденького ясеня.

— Если бы вместо этого ясеня была его щека! — воскликнул Мелбери. — Слишком уж я был добр к нему!

— Вот оно что, — сказал Уинтерборн. — Подождите, Мелбери. У меня в золе греется эль. Посидим, попьем эля и поговорим обо всем.

С этими словами Уинтерборн взял старика за руку — тот не сопротивлялся — и повел к огню под навес.

Дровосеки ушли. Джайлс вынул из золы кружку эля, и оба по очереди отпили.

— Джайлс, она должна была стать твоей, —

повторил Мелбери. — Я сейчас объясню тебе почему. Объясню впервые.

И Мелбери, точно исповедь приносила ему облегчение, стал рассказывать Уинтерборну о том, как он отбил у его отца невесту, совершив поступок, который в любом другом случае считался бы жестоким и бесчестным, — солгал. Всю жизнь мучился Мелбери сознанием вины перед Уинтерборном-отцом и решил искупить ее, отдав свою дочь Грейс замуж за Уинтерборна-сына, но дьявол в образе Фитцпирса попутал его и он нарушил данную себе клятву.

— Я был высокого мнения об этом человеке! Кто бы мог подумать, что он окажется таким ничтожным и слабым. Она должна была принадлежать тебе. И вот наказание.

Мелбери, поглощенный собственной кровной заботой, с бессознательной жестокостью терзал едва зажившую рану Уинтерборна, который сохранял полное самообладание, слушая старого друга, и даже попытался было успокоить его, заметив, что все, в конце концов, сделалось как лучше для Грейс.

— Она не была бы со мной счастлива, — глухим, бесстрастным голосом проговорил молодой человек, глубоко пряча свои истинные чувства. — Я

недостаточно образован. Во мне нет того лоску, и я не мог бы ей дать тонкого обхождения, умного разговора — словом, всего, что ей нужно.

— Ах какая чепуха! — воскликнул в простоте душевной старик. — Это все не так, Джайлс. Она на днях сказала мне, что ненавидит светское обращение и все такое. Так что, оказывается, все мои заботы были напрасны, а деньги, потраченные на школу, просто, можно сказать, выброшены на ветер. Она хочет быть такой, как Марти Саут. Нет, ты только подумай, о чем она мечтает! Хотя, может быть, она и права. Она любит тебя, Джайлс, в глубине своего сердца. Она и сейчас, бедняжка, любит тебя.

Если бы Мелбери знал, в какой огонь он так опрометчиво подлил масла, то, наверное, не прибавил бы последних слов. Уинтерборн долго молчал. Тьма сгустилась вокруг них. Однообразный стук капель стал чаще, и туман стал сеяться мелким дождем.

— Она никогда не думала обо мне, — медленно выговорил Уинтерборн, помешивая палкой тлеющие угли.

— Думала и сейчас думает, говорю тебе, — упрямо стоял на своем Мелбери. — Однако что теперь толковать об этом! Я пришел, чтобы посовето-

ваться с тобой, как лучше поправить беду. Я тут задумал один смелый ход: пойти прямо к миссис Чармонд. Грейс не хочет с ней говорить, так уж, видно, придется мне самому. Ведь все от нее зависит. Он не отстанет от нее, пока ей не надоест морочить его глупую бедную голову, набитую всякими романтическими бреднями. А надоест ей, когда пройдет каприз. Не слыхал ли ты чего о ее жизни до поселения в Хинтоке?

— Она была, надо думать, в свое время покорительницей сердец, — отвечал Джайлс все с той же бесстрастностью, не отрывая глаз от раскаленных углей. — Она из тех женщин, что играют с огнем, не любя, и любят не только мужа. До того как стать миссис Чармонд, она была, правда недолго, драматической актрисой.

— Вот что! Но как ты хорошо осведомлен о ней. А еще что ты о ней знаешь?

— Мистер Чармонд был очень богат: торговал в Шотландии железом и лет на двадцать-тридцать старше жены. Женившись, он отошел от дел, приехал сюда и купил Хинток-хаус.

— Да-да, все это я знаю, а вот остального не знал. Нет, видно, ничего из моей затеи не выйдет. Можно ли требовать добродетельного поведения от женщины, привыкшей к свободной любви и

погрязшей в страстях. Спасибо тебе, Джайлс, за твой рассказ. Но моя задача кажется мне теперь еще труднее, раз миссис Чармонд принадлежит к ненадежному племени лицедеев.

Последовало долгое молчание. Оба мрачно смотрели на дым, поднимавшийся к навесу, сквозь щели которого время от времени падали тяжелые капли и громко шипели на горячих углях. Уинтерборн не был другом миссис Чармонд, но он был справедливый человек, и не в его характере было выносить приговор, основываясь только на слухах.

— У нее, говорят, доброе сердце, — прибавил он. — Так что, возможно, вы и не зря к ней пойдете.

— Да, я пойду к ней, — сказал, поднимаясь, Мелбери. — К добру или худу, но я повидаю миссис Чармонд.

Глава XXXII

На другое утро, в девять часов, Мелбери, облачившись в лоснящийся, тонкого черного сукна костюм со складками от долгого хранения и пахнущий камфорой, отправился, не мешкая, в Хинток-хаус. Исполнению его намерения способствовало отсутствие зятя, который на несколько дней отправился в Лондон для встречи с коллегами, — так, по крайней мере, он сам объяснил цель своей поездки.

Мелбери не сказал ни жене, ни дочери, куда идет, из опасения, что они могут отговорить его от столь рискованного предприятия, и вышел из дому незамеченный. Он выбрал именно этот час, полагая, что сразу после завтрака застанет миссис Чармонд одну и успеет поговорить с ней до прихода первых посетителей. Задумчиво шагая вперед, вышел он на просеку, отделявшую Хинток-хаус от леса, принадлежавшего Малому Хинтоку. Место было открытое, и Уинтерборн, работавший с подручными в зарослях орешника на соседнем холме, тотчас заметил лесоторговца. Зная, куда тот идет, молодой человек чуть не бегом бросился с холма, чтобы не упустить его.

— Я долго думал о нашем разговоре, — начал он, — и мне кажется, лучше повременить с этим визитом в Хинток-хаус.

Но Мелбери даже не остановился. Решение его было бесповоротно — он во что бы то ни стало повидает сегодня миссис Чармонд.

И все то время, пока Мелбери не скрылся из вида, Уинтерборн стоял и печально смотрел ему вслед.

Мелбери очень скоро дошел до дома миссис Чармонд и позвонил в колокольчик с черного хода. Тотчас на пороге появился слуга и сказал ему, что миссис Чармонд еще не выходила, о чем Мелбери должен был и сам догадаться, принадлежи он к другому кругу. Мелбери ответил, что подождет. Тогда слуга по-соседски доверительно сообщил ему, что госпожа, кажется, еще спит.

— Ничего, — повторил Мелбери, — я подожду. Похожу пока во дворе.

Поглощенный предстоящим визитом, он не был расположен к праздному разговору.

Но ему не пришлось долго мерять шагами вымощенный каменными плитами двор. Он устал, вошел в дом и опустился на стул в маленькой прихожей: отсюда он краем глаза видел ведущий в кухню коридор и весело порхающих служа-

нок в белых чепцах. Они уже прослышали о его приходе и, думая, что он еще во дворе, громко судачили о возможных причинах его появления в Хинток-хаусе. Они удивлялись его смелости, ибо, хотя досужие языки Малого Хинтока обвиняли во всем Фитцпирса, домочадцы Хинток-хауса главным источником зла считали свою хозяйку.

Мелбери сидел, обхватив обеими руками набалдашник своей любимой суковатой палки, которую он помнил еще деревцем. Он почти ничего не видел вокруг: несчастье его дочери застило ему свет, предметы и явления окружающего мира едва просвечивали сквозь горестную пелену последних событий, точно окрестный пейзаж сквозь густо окрашенные картины витража.

Так он прождал час, два. Он чувствовал, что бледнеет и что у него кружится голова. Вошел дворецкий и предложил ему выпить стакан вина.

— Нет-нет, — отказался Мелбери, поднимаясь со стула. — Госпожа скоро выйдет?

— Она кончает завтракать, господин Мелбери, — ответил дворецкий. — Я как раз иду наверх доложить о вас.

— А вы еще не докладывали?

— Нет, конечно, — ответил дворецкий. — Вы

пришли слишком рано.

Наконец зазвонил звонок. Миссис Чармонд была готова принять посетителя. Когда Мелбери вошел в маленькую приемную, там никого еще не было, но в ту же минуту на парадной лестнице послышались легкие шаги, и наконец явилась сама хозяйка Хинток-хауса.

В этот утренний час миссис Чармонд выглядела, пожалуй, несколько старше своих лет. Она была то, что называется «тридцатилетняя женщина», хотя в действительности ей было лет двадцать семь — двадцать восемь. Но красота ее уже достигла расцвета, если не начала блекнуть.

В комнате было нетоплено, и миссис Чармонд куталась в большую наброшенную на плечи шаль. Она и не подозревала, что Мелбери могло привести сюда что-то иное, чем торговля лесом. Фелис одна во всем приходе находилась в неведении относительно слухов, ожививших однообразное течение деревенской жизни. Не они были причиной уныния, которое порой овладевало ею. Она понимала, что ее увлечение Фитцпирсом может обернуться большой бедой.

— Садитесь, пожалуйста, мистер Мелбери. Вы ведь уже почти что закончили с порубкой тех деревьев, что купили в этом году? Остались, ка-

жется, только дубы?

— Да-да, — рассеянно подтвердил Мелбери, думая о другом.

Он стоял, опираясь на свою палку, и миссис Чармонд тоже осталась стоять.

— Миссис Чармонд, — начал лесоторговец, — я пришел к вам по более важному, по крайней мере для меня, делу, чем рубка леса. Если моя речь покажется вам грубой, то виной тому моя неотесанность, а не отсутствие уважения к вам.

Миссис Чармонд нахмурилась: она вдруг поняла, куда клонит Мелбери. Все грубое, неизящное в жизни, в том числе и открытое проявление чувств, было противно ее утонченной натуре, и, услышав первые слова Мелбери, она сильно расстроилась и коротко спросила:

— В чем дело?

— Я старик, — продолжал Мелбери. — На склоне лет Господь наградил меня ребенком. Я очень любил ее мать, но она рано покинула нас. И единственное, что у меня осталось, — это моя дочь. Дороже у меня ничего нет. В ней вся моя жизнь. Ради нее я и женился второй раз на простой крестьянке, ее няне, которая любит ее как родная мать. Когда девочка подросла и пришло время ее учить, я сказал себе, что буду есть один

хлеб, но дочь моя будет воспитываться в самой лучшей школе. Я не мог спокойно думать о ее будущем замужестве. Мысль, что придет чужой мужчина и уведет ее, была для меня равносильна смерти. Но нельзя противиться законам природы. Я понимал, что моя дочь может быть счастлива только в своем доме, у своего очага. Тогда и мне будет легче умирать. И я решил все устроить сам. В молодости я нанес обиду своему другу, который давно уже умер, и, чтобы искупить вину, решил отдать свою дочь, свое бесценное сокровище, его сыну. Молодые люди нравились друг другу, но я стал сомневаться, будет ли моя дочь счастлива. Он был беден, а она воспитана как благородная дама, появился другой мужчина, моя дочь приглянулась ему. Он был образован, хорошо воспитан — словом, во всех отношениях ей ровня. И мне показалось, что в его доме моя дочь будет счастлива. Я не препятствовал ей, и она вышла замуж. Но, мадам, в основе всех моих расчетов крылась роковая ошибка. Этот благородный джентльмен, в котором я так был уверен, оказался слабохарактерным и ветреным человеком, и это грозит большой бедой моей дочери. Он встретил на своем пути вас, остальное вам известно… Я пришел не затем, чтобы требовать

чего-то или угрожать. Я пришел как отец, глубоко встревоженный за судьбу своего единственного чада. Умоляю вас, пощадите мою дочь, не отвращайте от нее сердце мужа. Запретите ему видеть вас, напомните о его долге. Вы имеете над ним такую власть, что это будет нетрудно. И я уверен, что все у них наладится. Вы от этого не потеряете ничего, ваша стезя пролегает гораздо выше стези простого доктора, а благодарность — мою и моей дочери — за ваше доброе отношение нельзя будет описать никакими словами.

В первую минуту миссис Чармонд пришла в сильнейшее негодование. Ее бросило в жар, потом в холод.

— Оставьте меня, оставьте! — воскликнула она, но Мелбери точно не слышал ее, и мало-помалу смысл его речи стал доходить до нее.

Когда же он умолк, она спросила, задыхаясь от волнения:

— Но отчего вы так плохо думаете обо мне? Кто вам сказал, что я посягаю на счастье вашей дочери? Кто-то распространяет ужасные слухи, а я в полном неведении.

— Но, мадам, — Мелбери простодушно взглянул в глаза миссис Чармонд, — вы знаете правду лучше, чем я.

Черты лица миссис Чармонд вдруг чуть заострились, и первый раз на ее красивом лице стала заметна тончайшая пленка пудры.

— Оставьте меня, — проговорила она, выказывая слабость, близкую к обмороку, свидетельствующую о нечистой совести. — Это так неожиданно. Вы проникли сюда обманным путем.

— Небо свидетель, мадам, это не так. Я никого не обманывал. Я был уверен, что вы знаете, зачем я пришел. Эти слухи и…

— Но я ничего не знаю. Какие слухи? Расскажите мне, ради бога!

— Разве могу я вам рассказать это? Да и не так важно, что говорят. Важно, что есть на самом деле. А это-то вам известно. Дыму без огня не бывает. Простите старика за грубость. Ведь я пришел сюда затем, чтобы просить вас, умолять стать другом моей дочери. Когда-то она любила вас, мадам, и вы любили ее. Но потом почему-то забыли о ней. Это ранило нежное сердце моей дочери. Я вам не указ, вы стоите высоко над всеми нами. Но если бы вы знали, каково ее положение, вы бы не стали причинять ей зла.

— Но я не причиняла ей зла… я…

Глаза их встретились. Все красноречие Мелбери пропало бы втуне, если бы не упоминание о

том, что Грейс любила когда-то миссис Чармонд.

— О, Мелбери! — воскликнула миссис Чармонд. — Как я несчастна! И это все вы! Как могли вы прийти ко мне с такими речами! Ах как все ужасно! Уходите, умоляю вас, уходите.

— Я ухожу. Но вы хорошо обо всем подумайте, — глухо проговорил Мелбери.

Оставшись одна, миссис Чармонд бросилась в кресло в углу комнаты и залилась слезами. Душу ее терзали не только досада и уязвленное самолюбие, но и более благородные чувства.

Переменчивой натуре миссис Чармонд были свойственны бурные периоды ураганов и наводнений. Но до разговора с Мелбери она и не подозревала, до какой степени ее душа опять во власти безумия: под действием его она переставала трезво мыслить, теряла чувство собственного достоинства, становилась одним слепым порывом и живым воплощением страсти.

Миссис Чармонд чувствовала себя пленницей могущественных чар, точно чья-то бархатная длань крепко держала ее. Очнувшись, она вдруг увидела себя во мраке глубокой ночи, среди опустошения, оставленного ураганом.

Пока она сидела в кресле, сжавшись в комок, потрясенная разговором с Мелбери, наступил

час второго завтрака, пробило полдень, но она не замечала времени. Вошел слуга и доложил о приходе незнакомого господина, не пожелавшего назваться.

Фелис знала, кто это: один из многочисленных воздыхателей, которому она мимолетно улыбнулась, путешествуя за границей. Но видеть его сейчас ей было невыносимо.

— Меня ни для кого нет дома! — сказала она слуге.

Больше о посетителе не было слышно. Немного погодя, надеясь энергичной ходьбой восстановить душевное равновесие, миссис Чармонд надела шляпу и мантилью и отправилась гулять. Пошла по тропинке, ведущей по косогору в лес. Она не любила лес, но только здесь могла бродить часами никем не замеченной.

Глава XXXIII

В тот день много волнений было пережито всеми участниками описываемых событий. Грейс обнаружила отсутствие отца только за обедом, который в Хинтоке подавался в час дня, и узнала, что, никому ничего не сказав, он ушел утром из дому и до сих пор не возвращался. Поразмыслив немного над этим и кое-что уточнив, она догадалась, куда отец направил свои стопы.

Мужа не было дома, отец все не возвращался. Из Хинток-хауса Мелбери отправился в Шертон, надеясь, что дела хоть немного развлекут и успокоят его, но Грейс не знала об этом. Опасаясь, как бы визит отца к миссис Чармонд, вследствие неровности его характера, а также подверженности гневным вспышкам, не усугубил беды, Грейс в три часа пополудни вышла из дому и отправилась не спеша по лесной дороге в сторону Хинток-хауса, предполагая, что отец вернется именно этим путем. Стена деревьев по бокам дороги и сплетение голых ветвей над головой надежно защищали путника от внешнего мира ветров. Грейс все шла и шла, под ногами у нее хрустел сухой валежник. Скоро высокие дере-

вья остались позади, и она вступила в молодую рощу, где Уинтерборн с дровосеками вырубал подлесок.

Если бы Джайлс был поглощен только делом, то не заметил бы Грейс, но с самого утра, после неудачной попытки отговорить Мелбери идти в Хинток-хаус, пребывал в состоянии сильнейшего беспокойства: вчерашний разговор с лесоторговцем не шел у него из головы, так что появление Грейс произвело на него действие, какое не произвело бы появление самого Мелбери с новостями.

Грейс давно уже не видела своего бывшего возлюбленного, но, вспомнив, что нашептывало ей сердце последние дни, не могла сейчас спокойно и просто смотреть на него.

— Я только ищу своего отца, — сказала она, точно оправдываясь.

— Я тоже хотел пойти поискать его, — ответил Джайлс. — Но, по-моему, искать его надо подальше отсюда.

— Значит, вы знали, Джайлс, что он пойдет в Хинток-хаус? — спросила Грейс, посмотрев на Уинтерборна большими кроткими встревоженными глазами. — А он говорил вам, зачем туда собрался?

Уинтерборн нерешительно взглянул на Грейс

и в двух словах рассказал о вчерашнем разговоре с Мелбери и о том, что дружба их восстановлена. Остальное Грейс поняла без слов и воскликнула:

— Как я рада, что вы снова друзья!

Они стояли друг против друга, глядя один другому в глаза, взволнованные и растерянные. Грейс с болью душевной смотрела на груды хвороста, на дровосеков, и сердце ее исходило любовью к тихой, уединенной жизни среди лесов, с которой ей придется, если дома все наладится, расстаться навсегда.

Неподалеку, на краю росчисти, Марти Саут обстругивала прутья для вечерней работы. Уинтерборн и миссис Фитцпирс, смущенные присутствием друг друга, молча смотрели на нее. Из-за деревьев вдруг появилась дама в темной меховой мантилье и черной шляпке, кокетливо повязанной белой вуалью. Подойдя к Марти, дама окликнула ее. Девушка, обернувшись, поклонилась, и дама о чем-то заговорила с ней. Это была миссис Чармонд.

Находясь в сильном нервном возбуждении, миссис Чармонд шла сегодня гораздо быстрее, чем обычно. Даже выкуренная папироса не успокоила ее. Дойдя до зарослей орешника, она несколько времени рассеянно наблюдала за Мар-

ти, потом бросила папироску и подошла ближе. «Тук-тук-тук» — стучала маленьким топориком Марти, увлекшись делом и не замечая миссис Чармонд, пока та не заговорила.

— Кто вон та молодая леди, что разговаривает с дровосеком? — спросила миссис Чармонд.

— Миссис Фитцпирс, мадам, — ответила Марти.

— Миссис Фитцпирс! — воскликнула миссис Чармонд чуть ли не в испуге, не узнав Грейс на таком расстоянии. — А с кем она разговаривает?

— С мистером Уинтерборном.

Краска залила лицо Марти, и миссис Чармонд не преминула заметить это.

— Ты с ним помолвлена? — спросила она ласково.

— Нет, мадам, — ответила Марти. — Это она когда-то была с ним помолвлена, и, по-моему…

Но Марти не смогла бы выразить словами сложный ход своих мыслей, выказывающий необычную для ее лет и жизненного опыта проницательность. Марти поняла, какая опасность для чистых сердец таится в этих встречах, явившихся следствием пренебрежения Фитцпирса к жене. Миссис Чармонд, однако, чуть ли не сверхъестественным чутьем, которое появляется у женщин

в подобных обстоятельствах, угадала, что хотела сказать Марти. И вид этой пары, вступившей на опасный путь и разбившей тем самым надежды бедной Марти, еще более укрепил миссис Чармонд в ее благородном намерении, родившемся под действием разговора с лесоторговцем.

Полная самых прекрасных чувств, она простилась с Марти и пошла, переступая через пеньки срубленного орешника, к тому месту, где стояли Уинтерборн и Грейс. Они заметила приближение миссис Чармонд, и Уинтерборн сказал:

— Она идет сюда. Это хороший знак. Она не любит меня, так что я лучше уйду.

И он отошел туда, где работал до прихода Грейс, а грозная соперница Грейс приблизилась к ней, и две женщины оглядели друг друга с головы до пят.

— Дорогая… миссис Фитцпирс! — воскликнула миссис Чармонд, волнуясь так сильно, что у нее прерывался голос. — Я столько времени не видела вас!

С этими словами она неуверенно протянула руку, а Грейс замерла, точно дикое животное, впервые увидевшее зеркало или иной не менее удивительный продукт цивилизации. Неужели это миссис Чармонд так приветливо говорит с

ней? Нет, Грейс решительно не понимала, что такое жизнь.

— Я хотела бы поговорить с вами, — сказала миссис Чармонд без дальнейших обиняков, ибо Грейс посмотрела на нее так, что у нее мурашки побежали по коже. — Вы не могли бы сейчас пойти со мной туда, где мы будем совсем одни? — прибавила она.

Едва преодолевая отвращение, Грейс кивнула и, точно подчиняясь заведенной пружине, углубилась вместе с миссис Чармонд в чащу леса. Они шли и шли, зашли гораздо дальше того, чем предполагала миссис Чармонд, но язык не повиновался ей, и она шла молча.

— Я виделась с вашим отцом, — наконец начала она. — И… и я очень расстроена тем, что он мне сказал.

— А что он сказал вам? Он не посвятил меня в свои планы, когда пошел к вам.

— Зачем повторять то, что вам и без того известно.

— В самом деле, зачем? — с горечью переспросила Грейс. — Зачем повторять то, о чем мы обе сейчас думаем?

— Миссис Фитцпирс, ваш муж, мистер Фитцпирс…

И в тот самый миг, как с уст ее сорвалось это опасное имя, по лицу ее вдруг пробежало жалкое и несчастное выражение, которое, как вспышка молнии, озарило то, чем было до краев полно ее сердце. Так мимолетно было это выражение, что никто, кроме очень чуткой женщины — а таковой как раз и была Грейс, — не уловил бы его значения.

— Так вы действительно его любите! — воскликнула Грейс в несказанном удивлении.

— Что вы сказали, милочка?

— Боже мой, — продолжала Грейс, — а я-то до сих пор думала, что для вас это просто злое кокетство, что вы только забавляетесь от нечего делать — богатая леди с бедным сельским доктором, — а в глубине души презираете его вместе с той, которая ему принадлежит. Но теперь я вижу, что вы любите его, любите безумно, и я перестала вас ненавидеть, как ненавидела раньше… Да, — продолжала миссис Фитцпирс, и голос ее задрожал от волнения, — если это не забава, а настоящее чувство, то во мне больше жалости к вам, чем презрения, потому что вы страдаете больше всех!

Миссис Чармонд была взволнована не менее Грейс.

— Я не должна была бы пускаться с вами в объяснения: это унизительно, — но я любила вас когда-то и только ради тех дней попытаюсь объяснить, как глубоко вы заблуждаетесь!

Смущение миссис Чармонд было вызвано главным образом тем неожиданным и досадным фактом, что простая девчонка, еще вчера ребенок, вдруг одержала над ней такую победу, эмоциональную и духовную.

— Я не люблю его! — с отчаянием выговорила миссис Чармонд эту противоречащую истине фразу. — С моей стороны это всего лишь любезность. Я была с ним более приветлива, чем обычно принято с докторами. Я была так одинока, и мы беседовали, я от нечего делать иногда флиртовала с ним. И я очень сожалею, что эта ребяческая игра, основанная на чисто дружеском расположении, обернулась таким досадным недоразумением. Кто бы мог ожидать? Но люди в этих местах так неискушенны!

— Нет-нет, это любовь, — возразила Грейс, качая головой. — К чему все слова, вы любите его! Я вижу по вашему лицу, что в этой истории с моим мужем сердце ваше не дало ходу привычке. Последние пять-шесть месяцев вы вели себя недостойно, но по крайней мере были искренни,

и это обезоруживает меня!

— Я была неискренна, если уж вы предпочитаете это слово. Я играла им, и я не люблю его!

— Вы играли другими, но его вы полюбили, как не любили раньше никого, — упрямо стояла на своем Грейс.

— Ну хорошо, не буду спорить, — сказала миссис Чармонд, невесело усмехнувшись. — Что же, дитя мое, вы хотите упрекнуть меня за это?

— Нет, — великодушно ответила Грейс, — любите его сколько угодно, я не возражаю. Только, позвольте заметить, вы избрали нелегкий путь: мне будет легче. Вы скоро наскучите ему — таков он уж есть, вы ведь не знаете его так, как я! И вы еще горько пожалеете, что встретились с ним!

Миссис Чармонд побледнела и почувствовала дурноту, услыхав это пророчество. Грейс, которую все считали воплощенной кротостью, вдруг оказалась куда более твердой, чем ее соперница.

— Вы все выдумываете, глупая жестокая девчонка! — вспыхнула миссис Чармонд. — Ничего, кроме приятельских отношений, между нами нет, ничего! Самое ближайшее будущее докажет это. Я немедленно прикажу не принимать его больше. И мне это не составит труда, поскольку ничем не грозит ни моему сердцу, ни имени.

— Сомневаюсь, чтобы вы решились больше не принимать его, — сухо сказала Грейс, пригибая тонкую ветку орешника, и прибавила, резко отпустив: — Я не питаю к вам зла, не то что вы ко мне. До нашего разговора я презирала вас за бессмысленную жестокость, теперь же жалею за слабость, за то, что любовь ваша так несчастливо направлена. Когда Эдрид уходит из дому, чтобы повидать вас в урочные и неурочные часы, когда в полночь скакал верхом через лес и вересковую пустошь, рискуя жизнью, весь облепленный грязью, только бы одним глазком взглянуть на вас, я называла его глупцом, жалкой игрушкой в руках закоренелой кокетки. Я думала, то, что представляет собой трагедию для меня, для вас комедия, а теперь вижу, что ваше положение так же трагично, а может быть, и более, чем мое: что если я просто огорчена, то вы страдаете, что если я познала разочарование, то вы отчаяние. Силы мои укрепит здравое размышление, а вам да поможет Бог!

— То, что вы говорите, — бред, и я даже не подумаю возражать вам, — сказала миссис Чармонд, изо всех сил пытаясь сохранить приличествующее ее положению достоинство. — Моим оправданием будут мои поступки. В том кругу,

о котором вы не имеете понятия, дружба между мужчиной и женщиной вещь обыкновенная, и вам бы с вашим отцом пристало относиться ко мне с большим почтением, а лучше всего совсем оставить меня в покое. Я не хочу вас больше ни видеть, ни слышать, мадам.

Грейс кивнула, миссис Чармонд высокомерно отвернулась, обе пошли в разные стороны, и скоро тени деревьев и сгущающиеся сумерки поглотили их удалявшиеся фигурки.

Возбужденные разговором, они шли по лесу, не замечая направления, петляя между деревьями. Звуки топора давно умолкли в отдалении, их заглушило не только расстояние: в этот вечерний час дровосеки уже вернулись домой.

Грейс шла, не думая, что может заблудиться, а лес становился все гуще, его пересекали теперь только узкие тропы, затененные косматыми ветвями. Она не была в этой самой глухой части с детства и ничего не узнавала кругом: старые деревья, прежде служившие вехами, все были срублены или повалены бурей; кустарник, прежде мелкий и редкий, теперь разросся выше головы. И Грейс скоро поняла, что плутает. Быстро темнело, завывал ветер, ей стало страшно, и она чуть не бегом пошла наугад, сворачивая то

вправо, то влево.

Тьма сгущалась, ветер шумел сильнее, а Грейс все еще ничего не узнавала вокруг. Нигде не светился среди деревьев огонек, не слышались голоса, хотя Грейс блуждала в лесу уже более часа и стала уставать. Она сердилась на собственную глупость: ведь если бы не сворачивала, то давно вышла бы к какой-нибудь отдаленной деревушке, а она вместо того все петляла и петляла по лесу, выбиваясь из сил. Неужели придется ночевать в лесу? Мысль эта не на шутку встревожила Грейс.

Не зная, что делать, Грейс остановилась в изнеможении, как вдруг в свисте и завывании ветра ей почудилось шуршание шагов по листьям, более тяжелых, чем шаг кролика или иного лесного обитателя «с трепещущим сердцем». Первым ее чувством был страх, но она тут же решила, что, кто бы ни был этот любитель ночных прогулок, он не обидит ее. А может даже, это кто-нибудь из домашних ищет ее, и Грейс не очень громко крикнула:

— А-у!

На крик ее тотчас кто-то откликнулся, Грейс побежала на голос и скоро между деревьями увидела чей-то смутный силуэт, быстро приближавшийся к ней. Только чуть ли не в объятиях

предполагаемого спасителя Грейс узнала по фигуре и белой вуали на шляпке ту, с которой недавно рассталась: это была миссис Чармонд.

— Я заблудилась! — воскликнула она. — О, это вы? Я так рада встретить здесь хоть кого-нибудь! С той минуты, как мы расстались, я хожу и хожу по лесу и уже умираю от усталости и страха.

— Я тоже, — сказала Грейс. — Что же мы… что же нам теперь делать?

— А вы не бросите меня здесь? — спросила испуганно миссис Чармонд.

— Конечно нет. Вы очень устали?

— Очень, совсем из сил выбилась. И ноги у меня все исцарапаны.

Грейс подумала немного, потом сказала:

— Пожалуй, самое лучшее — отдохнуть с полчаса. Давайте сядем под каким-нибудь деревом, земля ведь совсем сухая. А потом опять пойдем. Если мы не будем сворачивать, то обязательно выйдем на какую-нибудь дорогу, так и доберемся к утру до жилья.

Отыскав большой куст, надежно защищавший от ветра, они устроили подобие гнездышка в сухих прошлогодних зарослях папоротника и сели отдыхать, стараясь держаться на расстоянии друг от друга.

Разгоряченные быстрой ходьбой, они не сразу почувствовали холод мартовской ночи. Первой стала ежиться Грейс, которая, по причине легкомыслия, свойственного здоровой юности, была одета совсем легко, по-весеннему, тогда как миссис Чармонд еще не рассталась с зимней меховой накидкой. Но, посидев без движения, и она стала зябнуть не меньше Грейс. Обе чувствовали, как холод просачивается к ним сквозь листья, которые касались плеч и спины. Скоро стал слышен шорох дождя по листьям, но у них в убежище пока было сухо.

— Если мы прижмемся друг к дружке, — сказала миссис Чармонд, — нам будет теплее… но, — прибавила она неуверенно, — вы ведь ни за что на свете не сядете рядом со мной?

— Почему?

— Потому что… вы знаете почему.

— Конечно, сяду. Я ведь не чувствую к вам неприязни.

Миссис Чармонд и Грейс сели поближе, и в этой кромешной тьме, усталые и несчастные, сделали то, чего бы в других обстоятельствах не сделали никогда, — обнявшись, крепко прижались друг к другу. Теплый мех накидки миссис Чармонд грел замерзшее лицо Грейс. Они сидели так тесно, что

каждая чувствовала дыхание другой, а над их головами раскачивались черные деревья и пели заунывную похоронную песню.

Прошло несколько томительных минут, и миссис Чармонд прошептала, тяжело вздохнув:

— Ах, я так несчастна!

— Просто вам страшно, — сказала Грейс. — Но бояться нечего. Я очень хорошо знаю этот лес.

— Я боюсь не леса, мне страшно совсем по другой причине.

Миссис Чармонд все теснее прижималась к Грейс, и скоро ее щека коснулась холодной щеки соперницы. Грейс слышала, как дыхание ее становится все чаще, прерывистей, точно она была не в силах больше бороться с нахлынувшими чувствами.

— Когда мы расстались, — продолжала Фелис, — я стала жалеть о том, что была неискренна с вами. Я должна была рассказать вам все. Должна, — прошептала она срывающимся голосом.

Для этой экзальтированной женщины высшим удовольствием было отдаться на волю чувств; именно поэтому она позволила себе увлечься Фитцпирсом, поэтому готова была сейчас, предвкушая сладостную боль признания, открыть сердце его жене.

— Я сказала вам, что могу легко и без страданий отказаться от него, что он был для меня забавой от нечего делать. Это неправда: я говорила это, чтобы обмануть вас! Я могу отказаться от него только ценой величайших страданий, но самое ужасное заключается в том, что, если бы и хотела расстаться с ним, я бы по собственной воле не смогла этого сделать.

— Почему? Потому что вы так сильно любите его?

Фелис Чармонд молча кивнула.

— Я знаю, что была права! — с чувством воскликнула Грейс и прибавила немного погодя нравоучительным тоном: — Но это не должно быть препятствием! Боритесь, и одержите над собой победу.

— Ах, вы так наивны, так наивны! — проговорила Фелис. — Вы думаете, что если сумели разгадать под маской равнодушия мое истинное к нему отношение, то способны постигнуть и самые запутанные, самые невероятные ситуации. Но при всей вашей проницательности жизнь может оказаться гораздо сложнее. Я не могу расстаться с ним до тех пор, пока он первый от меня не откажется.

— Но вы выше его во всех отношениях, так что

должны сделать первый шаг.

— Ах! Неужели мне придется все сказать прямо, простодушное вы дитя? Да, по всей вероятности. Я не прощу себе, что, узнав ваше бесхитростное сердце, не открылась вам до конца!

Сказав это, она прошептала на ухо Грейс несколько слов и разразилась неистовыми рыданиями.

Грейс резко откинула полу меховой накидки и вскочила на ноги.

— Великий боже! — воскликнула она как громом пораженная, ибо услышанное далеко превзошло все самые смелые ее предположения. — Вы его любовница? Это невероятно! Этого не может быть!

Грейс повернулась, готовая бежать отсюда, но рыдания Фелис были так безутешны; лес заволокла непроницаемая тьма; холодные уста ветра целовали ее щеки, еще теплые от меховой накидки миссис Чармонд; к тому же она не знала, куда идти. Первый порыв гнева прошел, и она нагнулась к распростертой у ее ног сопернице.

— Вы отдохнули? — спросила она голосом женщины, вдруг постаревшей на десять лет.

Миссис Чармонд, ничего не ответив, поднялась на ноги.

— Вы хотите бросить меня здесь? — проговорила она в отчаянии. — О, какую я совершила глупость!

— Нет, — коротко ответила Грейс. — Я не брошу вас. Но мы должны спешить. Нам предстоит нелегкий путь. Думайте только о том, как бы нам держаться одного направления.

Они шли, храня полное молчание, раздвигая руками намокшие ветки, скользя по сырым корням, но стараясь не сворачивать в сторону. Грейс совсем выбилась из сил, ее спутница тоже едва волочила ноги, когда вдруг они вышли на пустынный большак, тот самый, где однажды человек из Шертона ожидал фургон миссис Доллери. Грейс огляделась по сторонам и тотчас узнала место.

— Как мы могли сюда попасть, — сказала она с холодной вежливостью, — не представляю себе. Мы описали полукруг, в центре которого Малый Хинток. Заросли орешника как раз в противоположной стороне. Теперь пойдем прямо по большаку.

Кое-как дотащились они до проселка, свернули, оставили позади дорогу на Малый Хинток и наконец добрались до хинтокского парка.

— Дальше я не пойду, — тем же бесстрастным тоном произнесла Грейс. — Ваш дом совсем близ-

ко отсюда.

Миссис Чармонд остановилась; она была в полной прострации; казалось, она только сейчас поняла ужасный смысл своего признания.

— Повинуясь непреодолимому желанию снять со своей души бремя, я рассказала вам то, что всякий человек в здравом уме хранил бы в глубочайшей тайне до самой смерти, — сказала она. — Сделанного не воротишь. Предадим все забвению или вы объявите мне войну?

— Предадим забвению, разумеется, — проговорила Грейс горестно. — Разве может бороться с вами такое несчастное и беспомощное существо, как я?

— Я сделаю все, чтобы больше не видеть его. Я его рабыня, но я все-таки постараюсь.

У Грейс было доброе сердце, но тут она не преминула уколоть соперницу.

— Не надо так убиваться, — сказала она, не тая презрения. — Можете видеться с ним сколько угодно, я позволяю вам.

Если бы признание Фелис не ужаснуло ее чудовищностью греха, а больно ранило, она не стала бы говорить этих слов, но любви к Фитцпирсу уже почти не было в ее сердце.

Они расстались, и Грейс в глубокой задумчи-

вости побрела домой. Проходя мимо хижины Марти, она увидела в окно, что девушка что-то пишет за столом. Это необычное для Марти занятие удивило Грейс, и она спросила себя, кому и о чем Марти может писать. По дороге ей попались люди, посланные Мелбери на поиски дочери, а дома она застала настоящий переполох. Она объяснила, что заблудилась в лесу, и ее унылый вид был приписан усталости.

Если бы она знала, что писала Марти, изумлению ее не было бы границ.

Слухи о миссис Чармонд и докторе, взволновавшие добрых хинтокцев, дошли наконец и до Марти, и она сочиняла письмо Фитцпирсу, в котором объясняла, что большая часть роскошной косы миссис Чармонд принадлежит автору письма, а не той, чью голову коса украшает. Это был единственный козырь Марти, и она пошла им, не имея понятия об ухищрениях моды и веря по простоте душевной, что это открытие может нанести смертельный удар по чувствам мужчины.

Глава XXXIV

Фитцпирс возвращался из Лондона в начале апреля, через несколько дней после ночного разговора Грейс с миссис Чармонд. Он подъезжал к Хинтоку в карете, которую нанял в Шертон-Аббасе. Взгляд у него был невеселый, черты брюзгливого лица выражали беспокойство. Он производил впечатление человека, считающего свое появление на свет не такой уж большой удачей.

Положение его было и впрямь незавидное, но ему с его впечатлительностью оно казалось и вовсе безвыходным. Его практика последнее время все уменьшалась и теперь грозила сойти на нет. Старый доктор Джонс беззастенчиво перехватывал пациентов у самой его двери. Фитцпирс хорошо знал главную причину своей непопулярности, но так уж противоречиво устроен человек, что источником еще одной его заботы было как раз лекарство от первой, а именно — письмо Фелис Чармонд, в котором она умоляла его больше не приходить и писала еще, что решила немедленно покинуть Хинток и уехать в Италию, чтобы расстаться с Фитцпирсом навсегда.

Начало апреля было той скучной порой для жителя лесного края, когда зимняя рубка леса пришла к концу, а заготовка коры еще не начиналась. Эта бездеятельная пора совпадала со временем наибольшей активности в жизни самого леса: внутри каждого куста, каждого дерева соки с такой силой устремлялись вверх, точно кто-то качал их гидравлическим насосом.

Уинтерборн закончил работу, и роща с ореховым подлеском была пустынна. Смеркалось; деревья стояли голые и притихшие — соловьям петь еще недели через две. «Отец месяцев» — апрель — был в самой своей неприглядной поре: изголодавшийся, тощий и скрюченный, он то и дело мелькал среди голых ветвей, составляя компанию Фитцпирсу.

Вернувшись домой, Фитцпирс прошел прямо в гостиную жены, но там было пусто, камин не топлен. Он не писал о дне приезда, однако очень изумился, увидев, что его не ждут.

Спустившись на половину тестя и спросив у миссис Мелбери, где Грейс, он, к еще большему удивлению, узнал, что она уехала три дня назад навестить подругу в Шотсфорд-форум, а сегодня утром пришло известие, что Грейс сильно занемогла, и Мелбери тотчас отправился за дочерью.

Фитцпирс пошел на свою половину. Маленькая гостиная, в тот вечер освещенная единственной свечой, не стала уютнее с появлением бабушки Оливер. Бросив охапку дров в камин, она стала выгребать золу, греметь щипцами и кочергой, стараясь, видно, как-нибудь скрасить одиночество вернувшегося хозяина. Фитцпирс, не подозревавший о признании, сделанном в лесу, подумал, что Грейс следовало бы быть более внимательной и посвящать мужа в свои планы, а не бросать дом, когда вздумается. Он подошел к окну — шторы еще не были спущены — и рассеянно поглядел на узкий серп убывающей луны, потом на дым, поднимавшийся над крышей домика Сьюк Дэмсон, которая в этот час обычно разжигала очаг, чтобы приготовить ужин.

Вдруг снаружи до него долетел разговор. Кто-то из дворни, остановив проходивших мимо дровосеков, громко рассказывал, перегнувшись через забор, последние деревенские новости: ухо доктора уловило, что упомянули миссис Чармонд.

— Бабушка, не греми так сильно решеткой, — сказал Фитцпирс и раскрыл окно.

Бабушка Оливер, стоя на коленях, выпрямилась с поленом в руках и укоризненно глянула в спину хозяина.

— Она опять едет в чужие края. Ни с того ни с сего взяла вдруг и собралась. Последние дни она была как сама не своя: лицо мрачное, точно ее горе какое гложет. Чужая она здесь, в Хинтоке: до сих пор дуба от вяза отличить не может. Мне дела нет, что он чей-то там муж: лично мне она ничего плохого не сделала.

— Значит, едет, говоришь? А ведь кое для кого отъезд ее будет великим счастьем.

Камин разгорелся, и Фитцпирс сел к огню, объятый тоскливым одиночеством, как последний листок на дереве поздней осенью.

«Лицо мрачное, точно ее горе какое гложет», — звучали в душе Фитцпирса только что услышанные слова. Бедная, бедная Фелис! Как, должно быть, она страдает сейчас, как болит ее прелестная головка, как тягостно на сердце. Если бы не злые языки, не ее твердая решимость порвать их далеко зашедшее знакомство, она бы непременно послала за ним: ей необходим сейчас доктор. Одна в пустом доме, она, должно быть, вся исстрадалась и, возможно, уже жалеет, что запретила ему приходить.

Чувствуя, что он не может больше находиться в этой мрачной комнате в ожидании ужина, который готовили внизу, Фитцпирс оделся для

верховой езды, спустился во двор, подождал у ворот конюшни, пока оседлают Любимую, и поскакал в Хинток-хаус. Он пошел бы пешком, если бы не чувствовал себя таким разбитым после долгого путешествия. Когда он подъехал к домику Марти Саут — путь его лежал мимо ее дверей, — та, завидев его, сошла с крыльца и протянула ему письмо. Фитцпирс, не останавливаясь, склонился в седле, взял конверт и спросил через плечо, от кого послание.

Марти, подумав секунду, сказала решительно:

— От меня.

Это было то самое письмо, в котором Марти раскрывала тайну великолепной косы миссис Чармонд, приложив в доказательство прядь собственных волос, которые уже значительно отросли. Рука Марти дрожала, когда она протягивала Фитцпирсу это яблоко раздора, на которое она возлагала такие большие надежды.

Сумерки быстро сгущались, и Фитцпирс не смог тотчас прочесть послание Марти, хотя оно и возбудило его любопытство. Он опустил письмо в карман, да и забыл о нем, увлеченный мыслями о предстоящем свидании. Напрасно Марти рисовала себе самые унизительные для миссис Чармонд сцены. Письмо так и осталось нераспечатанным.

Фитцпирс очень скоро доехал до усадьбы. Под сенью темных дубов, охранявших ворота, он натянул поводья и задумался. В его появлении у миссис Чармонд ввиду ее нездоровья не было ничего предосудительного, но все-таки, решил он, будет лучше, если дальше пойти пешком. Если миссис Чармонд не одна, то он, приблизившись к дому неслышно, сможет уйти незамеченным. Фитцпирс спешился, привязал Любимую к нижней ветке дуба и пошел к дому.

Тем временем Мелбери вернулся из Шотсфорд-форума. Большой четырехугольный двор лесоторговца отделяла от затененной деревьями дороги увитая плющом стена, в которой по обоим концам были ворота, выкрашенные в белый цвет. Так случилось, что в тот момент, когда Фитцпирс выезжал из одних ворот, направляясь в Хинтокхаус, Мелбери подъезжал к другим. Фитцпирс, повернув направо, ехал не оборачиваясь и не видел, как Мелбери приближался к дому, зато тот заметил зятя.

— Как Грейс? — спросила жена, едва он вступил в дом.

Лицо у Мелбери было чернее тучи.

— Плохо. Вид ее испугал меня, и я стал звать ее домой. Разве можно оставлять ее в таком состоя-

нии у чужих людей? После долгих уговоров она наконец согласилась вернуться. К сожалению, я поехал туда верхом, но мне удалось нанять отличную карету, очень легкую на ходу, так что часа через два Грейс будет уже дома. Сам я поспешил вперед, чтобы предупредить тебя о ее приезде. Надо привести в порядок ее комнаты. А что муж ее, кажется, уже вернулся?

— Да, вернулся, — ответила миссис Мелбери и тут же посетовала: — А ты подумал, во сколько обойдется карета от самого Шотсфорда?

— Во сколько бы ни обошлась! — сердито возразил лесоторговец. — Я решил сегодня же привезти Грейс домой, чего бы мне это ни стоило. И что это ей вздумалось уехать, ума не приложу! Она делает все, чтобы разладить дело, а не наладить.

Грейс не рассказала отцу о прогулке по лесу с миссис Чармонд и о признании, прошептанном на ухо.

— Раз Эдрид вернулся, — продолжал Мелбери, — то должен был подождать меня, чтобы справиться о здоровье жены, хотя бы ради приличия. Я видел, как он выезжал со двора. Куда это он собрался?

Миссис Мелбери ответила, что у нее нет сомнений относительно того, куда их зять поскакал

тотчас по возвращении.

Муж ничего не сказал, но его приводило в отчаяние то, что Фитцпирс не остался дома и не поехал встречать больную жену, как должен был поступить, а отправился бог знает куда, чем нанес Грейс еще одну обиду. Старик вышел из дому. Лошадь его еще не была расседлана, он велел Апджону подтянуть подпруги, вскочил в седло и отправился вслед за Фитцпирсом.

Доскакав до усадьбы миссис Чармонд, Мелбери, взбешенный неслыханным поведением зятя, пришел в такую ярость, что готов был прибегнуть к самым крутым мерам. Силой или уговором, но он приведет сегодня Эдрида Фитцпирса домой, потому что, решил он, хуже, чем есть, не будет, хотя и припомнил поговорку, что на всякую беду есть худшая. Въехав в парк через ворота, он поскакал по мягкому дерну чуть ли не следом за лошадью Фитцпирса и вскоре достиг дубов, под которыми остановился его зять. В темных кустах что-то неясно белело, это была Любимая, привязанная к одному из дубов Фитцпирсом.

— Вот ведь негодяй! Побоялся подъехать к дому открыто! — воскликнул Мелбери и, последовав примеру зятя, спешился, привязал коня к соседнему дереву и двинулся к дому пешком.

Он решил довести расследование до конца и не стесняться пустяками, поэтому без колебания отворил дверь, пренебрегши колотушкой, и неслышно вошел в дом.

Большой квадратный холл с дубовыми полами, лестничным маршем и стенами, обшитыми дубовыми панелями, был слабо освещен тусклой лампой, свисавшей с поперечной балки на потолке. В холле никого не было. Мелбери прошел в коридор и прислушался у двери, которая, как он знал, вела в гостиную, но там было совсем тихо. Тогда он повернул ручку: гостиная оказалась пуста. В камине горел небольшой огонь — единственное освещение комнаты, — и его отблески весело плясали на покрытой позолотой мебели, которая своим музейным изяществом менее всего подходила к тяжеловесной простоте дома. Хозяйка, по всей вероятности, сама обставляла эту гостиную, чтобы смягчить многовековую угрюмость родовой английской усадьбы. Разочарованный тем, что не встретил зятя с первых шагов, Мелбери вошел в столовую, в которой не горели ни свечи, ни камин. Холод нетопленого помещения говорил о том, что миссис Чармонд сегодня здесь не обедала.

Настроение Мелбери к этому времени несколь-

ко смягчилось. Все вокруг было так мирно, так безобидно и покойно, что он не испытывал больше желания вступать в ссору ни с Фитцпирсом, ни с кем бы то ни было другим. Видя это чинное благолепие, он скорее почувствовал, чем сообразил, что там, где так покойно и прилично, не могут твориться те гнусные деяния, которые он подозревал. Ему вдруг пришло в голову, что, будь даже подозрения его справедливы, его внезапное, если не беззаконное, вторжение в чужой дом может обернуться позором и унижением не только для его обитателей, но и для них с Грейс. Если разразится скандал, то больше всех пострадает, конечно, его дочь. И Мелбери решил, что будет вести себя более разумно и поговорит с зятем наедине, как поговорил уже с миссис Чармонд.

Неслышно, как и вошел, Мелбери поспешно ретировался. Проходя мимо гостиной, он услышал сквозь потрескивание поленьев в камине какой-то легкий шум и, тихонько приоткрыв дверь, увидел, как через противоположную высокую стеклянную дверь выходят наружу две фигуры: в женщине он узнал хозяйку дома, в мужчине — своего зятя. Мгновение спустя они исчезли за дверями, слившись с темнотой парка.

Мелбери вернулся в холл, вышел во двор через

парадную дверь и, обогнув дом, оказался возле террасы, прилегавшей к гостиной. Он подошел как раз вовремя: остановившись у ограды, отделяющей газон от парка, Фитцпирс и миссис Чармонд нежно прощались.

Расставшись с возлюбленным, миссис Чармонд тотчас поспешила в дом, а Фитцпирс зашагал вглубь парка и исчез среди деревьев.

Мелбери подождал, пока миссис Чармонд вернется в гостиную, и пошел за Фитцпирсом. Он сегодня выскажет этому красавчику все, что о нем думает, а то и задаст хорошую трепку, если будет введен в искушение.

Но, углубившись в черноту дубравы, Мелбери не нашел Фитцпирса, не было видно и его собственного коня Блоссома. Пробираясь с осторожностью вперед, он различил в темноте светлый круп Любимой, которая все еще стояла под деревом по соседству с тем, к которому был привязан Блоссом. На секунду Мелбери подумал, что Блоссом, молодой и сильный конь, сорвался с привязи и убежал, но, прислушавшись, уловил невдалеке ровный топот его копыт и скрип седла: значит, Блоссом нес на себе всадника. Дойдя до маленькой калитки в ограде парка, он встретил крестьянина, у которого спросил, не видел ли

тот всадника на сером коне, крестьянин ответил, что ему только что попался навстречу доктор Фитцпирс, ехавший куда-то верхом.

Мелбери догадался, что произошло: Фитцпирс по ошибке сел не на ту лошадь, — промах вполне объяснимый, если принять во внимание непроглядную темень дубравы и неумение Фитцпирса распознать лошадь по статям и масти. (При свете дня было хорошо заметно, что Блоссом гораздо темнее Любимой.)

Мелбери поспешил обратно, сел на Любимую и поскакал вслед за Фитцпирсом — самое лучшее, что он мог придумать в таком положении.

Въехав в лес, он поскакал по дороге, извивавшейся между деревьями; ее глубокие колеи в мягком лиственном покрове были проложены фургонами лесорубов, изъездившими лес вдоль и поперек в поисках новых мест вырубки. Скоро Мелбери различил впереди, в том месте, где дорога огибала высокий каштан, круп своего коня и натянул поводья, надеясь догнать Фитцпирса; Любимая прибавила шаг.

Приблизившись, Мелбери увидел, что конь без седока. Почуяв хозяина, Блоссом радостно махнул хвостом и галопом поскакал в сторону дома. «Что-то, видно, произошло», — подумал лесоторговец.

Доехав до каштана, он спешился, осмотрелся и в двух шагах от тропы увидел лежавшего на земле Фитцпирса.

— Помогите, помогите! — воскликнул тот, почувствовав прикосновение чьей-то руки. — Меня сбросила моя лошадь… но, к счастью, я, кажется, только ушибся.

Поскольку при таких обстоятельствах прочитать зятю приготовленной нотации не мог, а дружеское сочувствие считал лицемерием, Мелбери почел за лучшее совсем не разговаривать. Молча приподняв и осмотрев его, тесть, слегка оглушенный, понял, что зять цел и невредим. Случившееся объяснялось очень просто: Фитцпирс думал, что возвращается домой на Любимой, известной кротостью нрава, тогда как под ним был торопившийся в конюшню молодой резвый конь.

Мелбери, как путешественник старой закалки, всегда брал с собой в поездки, превышающие десять миль, дорожную фляжку с ромом: она и сейчас все еще оттопыривала его карман, поскольку он только что вернулся из Шотсфорд-форума. Он влил в рот Фитцпирсу немного рому, и тот мгновенно очнулся. Мелбери поднял его на ноги, не зная, что делать дальше: зять не мог

пройти и двух шагов, а вторая лошадь была далеко.

С большим трудом удалось ему взгромоздить его на круп Любимой, сам он сел позади и, придерживая пострадавшего одной рукой, неспешно направился в усадьбу.

Глава XXXV

Любимая шла мерным, осторожным шагом через рощу, где недавно работал Уинтерборн. Орешник остался позади, началась дубрава, где земля суше и жестче, и скоро въехали в Маршкомскую долину, глухую и темную, заросшую высоким кустарником: место, по слухам, нечистое.

К Фитцпирсу постепенно вернулись силы, но — поскольку у него с утра маковой росинки во рту не было: завтракал рано и наспех, еще в Лондоне, а из дому уехал, не дождавшись ужина: так его встревожило состояние Фелис, — старый ром, которым попотчевал его Мелбери, ударил в голову, и язык развязался. Фитцпирс принялся бессвязно жаловаться на судьбу, не подозревая, чья рука вызволила его из беды, да и теперь еще поддерживала:

— Я сегодня проделал немалый путь… вернулся из Лондона. Вот где общаешься с равными себе. Я ведь живу здесь, в Хинтоке, нет, даже в Малом Хинтоке! И меня тут ни в грош не ставят. На расстоянии десяти миль от Хинтока нет ни одной души, которая бы понимала меня… ни

одной… Скажу тебе, отец, не хвалясь — прости, не знаю, как тебя звать, — я человек высокообразованный. Знаю несколько языков. Знаменитые поэты — мои друзья. Проскачи хоть пятьдесят миль, не встретишь ни одного, кто бы прочитал столько ученых книг, сколько прочитал я… Так что во всем Уэссексе никто не может сравниться со мной по учености… А я должен прозябать в обществе каких-то торговцев в этой жалкой дыре, в Хинтоке!

— Ну и ну, — поразился Мелбери.

Прервав свои излияния, Фитцпирс с решительностью пьяного выпрямился, резко откинувшись назад — до этой минуты он, согнувшись, полулежал на спине лошади, и с такой силой толкнул Мелбери в грудь, что тот едва не выпустил поводья.

— Здесь мне цены не знают! — воскликнул доктор и прибавил, смягчая голос: — Все, кроме одной. Восторженная душа и прелестная женщина: умна, прекрасна, добра и притом богата. Послушай, старик, очень уж ты своими когтями впился в мой бок. А когти твои что у орла, который терзал печень Про… Пру… ну, того, на горе

Кавказа…[38] Нет, никто здесь меня не ценит, говорю тебе, кроме нее!.. Господи! Какой я несчастный человек! Она была бы моей, она стала бы носить мое имя, но, увы, этому не бывать! Я женился на неровне. Так унизиться! И как же горько я теперь раскаиваюсь.

Положение Мелбери, физическое и моральное, становилось довольно-таки затруднительным. Объясняться с Фитцпирсом было сейчас бесполезно: падение и ром произвели некоторую сумятицу в его голове, — и Мелбери ехал молча, удерживая своего спутника твердой, но отнюдь не сострадательной рукой.

— Ты делаешь мне больно, отец! — взвыл Фитцпирс. — Нет, я очень тебе признателен за доброту, но все же полегче. Знаешь, не ценят меня здесь. Говоря между нами, я теряю практику. А почему? Потому что знаю, кто здесь лучше всех по уму, красоте и положению. Я не называю имен, так что в болтливости меня упрекнуть нельзя. Но я потерял ее… потерял, так сказать, перед лицом закона. Если бы я был свободен, то она бы не отказала мне: так далеко зашли наши отношения, — а

[38] Примечания: 38

Имеется в виду герой греческого мифа титан Прометей, похитивший с Олимпа огонь. По велению Зевса Прометей был прикован к скале Кавказских гор, где могучий орел клевал его печень.

с ее богатством (вообще-то, за ее богатством я не гонюсь) я бы смог удовлетворить наконец мое благородное честолюбие, каковой возможности у меня до сих пор не было и, наверное, никогда, никогда уже не будет.

Мелбери, в чьи ребра стучало сердце самого злого его врага и чья душа горела от негодования, решился спросить хриплым от ненависти голосом, почему тот не надеется осуществить свои честолюбивые помыслы.

— Потому что я не свободен, — ответил не сразу Фитцпирс. — Другая держит меня так крепко, как ты сейчас своей рукой… Я, конечно, не жалуюсь, наоборот: очень благодарен тебе… Где это мы едем? До дому еще далеко? До дому! И это мой дом, когда я мог бы назвать своим совсем другой дом! — И Фитцпирс пьяно махнул рукой в сторону Хинток-хауса. — Если бы я подождал всего каких-то два месяца… Если бы я первой увидел ее…

При этих словах Мелбери хорошенько тряхнул зятя.

— Что это ты делаешь? — продолжал Фитцпирс. — Сиди смирно или ссади меня. Так вот, всего каких-то два месяца — и я лишился ее. Вот почему я в таком отчаянии. Все для меня потеряно теперь в этом мире, все… Если, конечно, судьба

не сжалится надо мной и с той, другой, что-нибудь не приключится. Она, в общем-то, милая, но если бы с ней что случилось — а я слыхал, что она захворала, — то я получил бы свободу, а с ней счастье и блестящее будущее!

Это было последнее, что сказал Фитцпирс, сидя на лошади впереди разъяренного лесоторговца. Не в силах дольше сдерживать себя, Мелбери перестал поддерживать зятя и освободившейся рукой схватил за шиворот.

— Ты бессердечный негодяй! И это после всего, что мы сделали для тебя! — воскликнул Мелбери, у которого от возмущения дрожали губы. — Ведь ты живешь на ее деньги, в ее доме! Подумай, что ты мне сказал сейчас, мне, Джорджу Мелбери, ее отцу!

Эти слова сопровождались энергичным взмахом руки, и злосчастный молодой человек полетел головой вперед на дорогу, рухнув на кучу листьев, которая лежала здесь с зимы. Любимая прошла несколько шагов и остановилась.

— Господи, прости меня! — прошептал Мелбери, раскаиваясь в содеянном. — Он слишком долго испытывал мое терпение, и я, наверное, убил его.

Мелбери повернулся в седле посмотреть, куда

упал Фитцпирс, и, к своему удивлению, увидел, как тот поспешно поднялся на ноги, точно совсем не ушибся, и быстро зашагал в лес. Скоро шаги его стихли в густой чаще.

— Если бы не охапка листьев, на которую он упал по милости Провидения, то быть бы сегодня смертоубийству, — проговорил с облегчением лесоторговец, но, вспомнив последние слова зятя, опять пришел в сильнейшую ярость и чуть ли не пожалел, что не отправил его к праотцам.

Проехав еще немного, он разглядел в кустах Блоссома. Соскочив с Любимой, Мелбери без особого труда поймал молодого коня, который явно чувствовал себя виноватым, привязал обеих лошадей к дереву и пошел в лес искать зятя, раскаиваясь уже, что обошелся с ним несколько суровее, чем намеревался. Он исходил лес вдоль и поперек, вороша ботинками сухие скрюченные рожки, бывшие когда-то листьями, наконец остановился послушать и осмотреться. Ветер, точно сквозь фильтр, просачивался сквозь переплетение тонких оголенных веток; огромные черные стволы и сучья отпечатывали на бледном небе часовых под ружьем, гигантские канделябры, пики, копья, алебарды — словом, чего только не разглядело бы там богатое воображение.

Отказавшись от поисков, Мелбери вернулся к привязанным лошадям и медленно, держа их в поводу, двинулся домой.

Так случилось, что в то самое время, как Фитцпирс ехал на Блоссоме домой, из Большого Хинтока в Малый возвращался один местный мальчишка, который ходил к шорнику за отданным в починку хомутом, чтобы принести его домой к пяти часам утра. Мальчишка шел короткой дорогой через лес и, просунув голову в хомут, насвистывал единственную известную ему песенку, чтобы не было страшно, как вдруг услышал позади себя довольно частый конский топот и, не зная, друг это или враг, осторожности ради перестал свистеть и сошел с дороги в лес, чтобы переждать, пока всадник проедет мимо. Скоро он увидел бледный силуэт коня, приближавшийся, как привидение, и, с ужасом вспомнив Смерть из Апокалипсиса[39], прислонил хомут к дереву, а сам притаился за ним. Всадник приближался; глаза у мальчишки были зоркие, как у кошки, и скоро, вздохнув с облегчением, он узнал во всаднике доктора.

---

[39] Примечания: 39

В Откровении Иоанна Богослова, или Апокалипсисе, содержатся мистические пророчества о конце света. Один из четырех всадников, возвещающих конец света, — Смерть на «коне бледном».

Как Мелбери и предполагал, Фитцпирс в темноте перепутал лошадей и, неспешно труся по лесной дороге, пребывал в полной уверенности, что под ним Любимая, хотя минутами необычная резвость всегда спокойной лошадки несколько его удивляла. Между тем Блоссом, отличавшийся не менее острым зрением, чем мальчишка, заметил впереди под деревом какой-то странный предмет (это был уже известный нам хомут) и с присущей животным нелюбовью ко всему непонятному вдруг взбрыкнул задними ногами (Любимая на его месте и ухом бы не повела), так что Фитцпирс, будучи весьма посредственным наездником, вылетел из седла.

Он оставался лежать неподвижно, покуда подоспевший Мелбери не влил ему в рот несколько капель рому. Мальчишка же, бросив доктора на произвол судьбы, помчался что есть духу прочь от этого проклятого места, заглушив укоры совести тем соображением, что надо немедля оповестить односельчан о несчастье. Ворвавшись в деревню, он тут же раструбил о падении доктора, приукрасив этот сам по себе сухой факт самыми драматическими подробностями.

Грейс вернулась; экипаж, нанятый для нее отцом, был после расчета с возницей отпущен.

Многочасовое путешествие, несколько ободрило ее: болезнь ее была нервной лихорадкой, недугом скорее души, нежели тела, и она поднялась к себе в гостиную в более спокойном настроении. Миссис Мелбери, встретив дочь, сразу же сообщила ей, что муж ее вернулся из Лондона, но тотчас уехал: по-видимому, к пациенту, — но должен скоро вернуться, добавила она, поскольку не пил чаю и не ужинал. Грейс, запретив себе пускаться в догадки, где может быть сейчас ее муж, ничего не ответила, а мачеха не стала ей говорить, что миссис Чармонд, по слухам, в большой печали и, кажется, собирается за границу.

Грейс сидела возле огня в молчаливом ожидании. Она уехала из Хинтока, почувствовав после признания миссис Чармонд непреодолимое отвращение к мужу и не желая, чтобы он, вернувшись, застал ее дома, но, обдумав все хорошенько еще раз, позволила отцу уговорить ее и увезти домой. А теперь даже жалела немного, что Эдрид вернулся в ее отсутствие.

Вдруг в гостиную, запыхавшаяся и расстроенная, поспешно вошла миссис Мелбери.

— Я должна тебе что-то сказать… плохие вести, — начала она. — Только не волнуйся: все еще, может быть, обойдется. Эдрида сбросила

лошадь. Но, даст Бог, он не очень сильно зашибся. Это случилось в лесу, по ту сторону Маршкомской долины. Место там, говорят, нечистое.

И она рассказала в нескольких словах, что произошло, опустив самые ужасные подробности, созданные живым воображением подростка, потом добавила:

— Я решила, что лучше тебе сразу сказать. Вдруг его… вдруг он не сможет идти и его принесут.

В действительности же миссис Мелбери думала, что дело обстоит гораздо хуже, и Грейс это поняла сразу. Несколько минут она сидела задумавшись. Миссис Мелбери спросила, не надо ли что-нибудь сделать. Грейс отрицательно покачала головой, но потом все же сказала:

— Хотя нет. Пойди, пожалуйста, в спальню и посмотри, все ли готово на случай, если ему совсем плохо.

Миссис Мелбери позвала бабушку Оливер, и обе женщины поднялись в спальню, чтобы по собственному разумению приготовить все к возвращению хозяина.

В первом этаже дома никого не осталось. Прошло немного времени, как вдруг Грейс услышала стук в дверь — постучали только один раз и так тихо, что в спальне стука не слышали.

Грейс вышла на площадку лестницы и негромко сказала:

— Войдите.

Входная дверь, как и в других домах Хинтока, не запиралась. Отступив в темноту широкого коридора, она увидела, что по лестнице поднимается женская фигурка. Сперва Грейс не разглядела, кто это, но, услышав голос, полный тревоги и горя, тотчас узнала Сьюк Дэмсон. Полоса света из приоткрытой двери в комнату Грейс упала на лицо молодой женщины: оно было бледное и осунувшееся.

— О, мисс Мелбери, то бишь миссис Фитцпирс! — воскликнула Сьюк, заламывая руки. — Такое ужасное известие! Он умер? Сильно ушибся? Скажите мне, ради бога, правду! Пожалуйста, простите меня, мисс Мелбери, то бишь миссис Фитцпирс, за то, что я пришла к вам. Я не могла оставаться дома!

Грейс опустилась на дубовый сундук, стоявший в коридоре, и прижала ладони к горящему лицу. Разве не должна она выпроводить сейчас же Сьюк Дэмсон из своего дома? Каждую минуту могут внести ее мужа, и что тогда будет? Но разве хватит у нее духа велеть уйти этой женщине, чья скорбь так искренна и глубока?

Около минуты на лестнице царила мертвая тишина.

— Почему вы не отвечаете мне? Он здесь? Жив? Если нет, почему мне нельзя увидеть его? Что в этом дурного?

Не успела Грейс ответить, как снаружи послышались еще чьи-то шаги, легкие, как у лани. Кто-то торопливо постучал в дверь, точно ему некогда было искать молоточек. Не ожидая ответа, руководствуясь, по-видимому, косой полоской света на площадке, новый пришелец стал быстро подниматься по лестнице. Сердце Грейс заколотилось, когда она узнала в гостье миссис Чармонд. В полумраке лестницы фигура Грейс была хорошо различима, и миссис Чармонд подошла к ней.

— На мой стук никто не ответил внизу, — проговорила она, и Грейс почудилось, что она слышит шуршание ее пересохших губ. Дыхание миссис Чармонд прерывалось — казалось, она вот-вот упадет без чувств. — Что с ним? Он будет жить? Я хочу знать всю правду!

Она умоляюще глядела на Грейс, не замечая бедняжки Сьюк, забившейся в испуге и изумлении в самый темный угол при появлении на сцене столь важной персоны. Маленькие ножки Фелис были все в грязи, но она ничего не замечала.

— До меня дошли слухи о страшном несчастье, — продолжала она. — И я пришла узнать, правда ли это. Он расшибся насмерть?

— Она не хочет говорить с нами! Он умирает! Он в той комнате! — вдруг, не помня себя, вскричала Сьюк, услышав шум в спальне, находившейся в конце коридора, где сейчас были миссис Мелбери и бабушка Оливер.

— Где? — спросила миссис Чармонд.

Сьюк махнула рукой, и миссис Чармонд бросилась было в указанном направлении, но Грейс преградила ей дорогу.

— Его там нет. Я точно так же, как и вы, не знаю, где он. О несчастье мне рассказали. Но все не так страшно, как вы думаете. До вас дошли преувеличенные слухи.

— Пожалуйста, не скрывайте от меня ничего. Я должна все знать, — проговорила миссис Чармонд, с мольбой глядя на Грейс.

— Вы будете знать все, что известно мне самой, поскольку имеете неоспоримое право войти к нему в спальню… обе, — прибавила Грейс, не упустив возможности уколоть соперниц, чего те в смятении чувств не заметили.

Дойдя до двери спальни, Грейс широко распахнула ее.

— Мы все его жены, и войдем вместе… Повторяю, я слышала, что случившееся не так страшно. Что именно произошло, можно только гадать. И я из простого человеколюбия молю Бога, чтобы все закончилось счастливо. Вы, вероятно, молите о том же по иной причине.

Она смотрела на стоявших рядом с ней в этой тускло освещенной комнате у пустой кровати Фитцпирса двух убитых горем женщин, которые не отрывали глаз от его постели и пижамы, сложенной на подушке, не отвечая на ее колкости, не замечая ее настроения. И вдруг душу Грейс, точно траву росой, подернуло жалостью.

С точки зрения общепринятой морали язвительность ее в разговоре с миссис Чармонд и Сьюк была вполне понятна. Но мораль — одно, а жизнь — другое. Грейс весь день «подвергала себя ранам и обличениям», как певец псалма Асафа, но не провинилась ли она перед родом своим, произнеся злые слова, чтобы облегчить душу, чего тот певец не совершил?

— Он, наверное, при смерти! — воскликнула Сьюк Дэмсон, прижимая фартук к глазам.

В их лицах и позах было столько тревоги, скорби сердца и любви к человеку, который не только не принес им счастья, но никогда не вел себя

иначе, как эгоист! Но даже сейчас они с радостью отдали бы за него полжизни. Возможное несчастье с Фитцпирсом не могло исторгнуть слезы из глаз Грейс, а сейчас она плакала, глядя на этих женщин, которые были так же близки ему, как и она, не будучи связаны с ним узами брака.

Заплакала и Фелис, слезы текли и текли по ее лицу, но она не вытирала их. Так и стояли эти три женщины у пустой постели Фитцпирса, жалея друг друга, как вдруг за окном послышался конский топот и следом громкий голос Мелбери, звавшего его конюха.

Грейс тотчас опамятовалась и бросилась вниз по лестнице навстречу отцу, который шел уже по двору к дому.

— Отец! Что с ним случилось? — воскликнула она.

— С кем? С Эдридом? — спросил сухо Мелбери. — Что с ним могло случиться? Ровным счетом ничего. Ты-то как, моя голубка? О, да тебе, я вижу, гораздо лучше! Но ты не должна выбегать раздетая на холод.

— Его сбросила лошадь!

— Знаю, знаю. Сам видел. Он поднялся на ноги и пошел в лес как ни в чем не бывало. Падение на кучу листьев не может причинить большого

вреда такому крепкому парню. Пошел он в лес, — прибавил многозначительно Мелбери. — Видно, решил поискать лошадь. Я отправился было за ним, но он как сквозь землю провалился. Пока искал его, наткнулся на Блоссома и привел домой, чтобы не потерялся. Так что ему придется идти домой пешком. А ты ступай сейчас же в дом, не стой на таком холоде!

Грейс вернулась домой с отцом и, поднявшись в свои комнаты, к огромному облегчению, обнаружила, что обе пассии ее супруга тихонько удалились, по всей вероятности, услышав слова лесоторговца и в значительной степени успокоившись.

Скоро к Грейс поднялись отец с мачехой и стали развлекать ее как могли. Заметив, однако, что дочь предпочитает остаться одна, они под каким-то предлогом ее покинули.

Грейс стала ждать. Время от времени били часы, а муж все не возвращался. Перед сном Мелбери опять поднялся навестить дочь.

— Ложись спать, — сказала ему Грейс, чуть только он вошел. — Я совсем не устала и подожду его.

— Думаю, ты напрасно его прождешь, Грейс, — медленно проговорил Мелбери.

— Почему?

— Мы с ним крепко поссорились. И я думаю, что он сегодня не вернется.

— Поссорились? Уже после того, как его сбросила лошадь?

Мелбери кивнул, не отрывая взгляда от свечи.

— Да, — ответил он, — когда мы с ним вместе возвращались домой.

Слушая отца, Грейс чувствовала, как в ней закипает обида и негодование, и вдруг воскликнула:

— Зачем ты ссорился с ним? Почему не привез его мирно домой, раз он ехал сюда? Он мой муж. И если уж ты выдал меня за него, так зачем теперь все осложнять? То ты требуешь, чтобы я помирилась с ним, а то делаешь все, чтобы разлучить нас, хотя между нами и так пропасть.

— Как ты несправедлива, Грейс! — сказал Мелбери, вконец расстроенный. — Я все делаю, чтобы разлучить вас? Ты не думаешь, что говоришь…

Он хотел было пересказать ей все, что слышал сегодня от Фитцприса, объяснить, что причиной случившегося были единственно его возмутительные речи, оскорбляющие ее, но подумал, что это больно заденет дочь, и промолчал.

— Ложись лучше спать, — сказал он ей мягко. — Покойной ночи.

Весь дом уснул, тишина опустилась на усадьбу, только изредка слышался скрип уздечки в конюшне. Несмотря на уговоры отца, Грейс так и не заснула, все ждала, но Фитцпирс не возвращался.

Грейс пережила в ту ночь тяжелый духовный кризис, много думала о муже, позабыв на время об Уинтерборне, и говорила себе: «Как сильно, должно быть, любят Фитцпирса эти несчастные женщины! Каким привлекательным он кажется им! Но он ведь и в самом деле привлекателен».

Если бы Фитцпирс взглянул сейчас ласково на жену, то эти мысли Грейс, родившиеся под влиянием встречи с соперницами, обернулись бы, по всей вероятности, нежным чувством. Любовь птицей рвалась из сердца Грейс и жадно тосковала по гнезду.

Но Фитцпирс так и не вернулся в ту ночь. Мелбери заблуждался относительно истинного состояния зятя. Люди не падают головой оземь без вреда для себя. Если бы Мелбери имел возможность поближе увидеть Фитцпирса, то заметил бы, что тот удаляется в лес, истекая кровью. Не пройдя и пятидесяти шагов, он почувствовал дурноту, поднял руки к голове, зашатался и рухнул на землю.

Глава XXXVI

Не одна Грейс провела эту ночь в думах и ожидании. Фелис Чармонд не легла спать в урочный час: сидела возле комода гостиной в просторном пустом доме, погруженная в глубокое раздумье, как и Грейс в своей маленькой гостиной в доме отца.

Услыхав на лестнице успокоительное известие из уст Мелбери и почувствовав большое облегчение, миссис Чармонд тотчас вспомнила о приличиях, поспешно сбежала по ступенькам вниз и исчезла в дверях, как привидение: прячась в тени стены, достигла ворот, через которые и удалилась, никем не замеченная, не успели еще Грейс с отцом вернуться в дом. Сьюк Дэмсон решила, что самое лучшее — последовать примеру благородной дамы, спустилась по черной лестнице так же поспешно, как Фелис по парадной, выскочила из дому через боковую дверь и была такова.

Очутившись за воротами усадьбы Мелбери, миссис Чармонд побежала домой со всей быстротой, на какую были способны ее ноги, ни разу не остановившись и не повернув головы. Она вошла

в дом, как и вышла из него, — через стеклянную дверь гостиной. В доме все было как до ее ухода: она отсутствовала три четверти часа, и никто из домочадцев не успел ее хватиться. Усталая физически, но в душевном возбуждении, села она перед камином; сердце бешено колотилось, и она глядела широко раскрытыми глазами на огонь, не переставая изумляться своему поступку.

Любовь и страх предательски толкнули ее в дом Грейс, и теперь, когда тревога за Фитцпирса улеглась, она с сокрушением думала о проявленной слабости. Вот как начала она бороться со своей страстной к нему привязанностью! Признав перед собой и Грейс непозволительность своего увлечения, она тем не менее проявила полное бессилие справиться с ним.

Если бы только Небо могло укрепить ее, но рассчитывать на Небо плохая надежда! Одно было несомненно: если она действительно хочет победить соблазн, то должна покинуть Хинток. Борьба слишком безнадежна, слишком изнурительна. Это была медленная капитуляция совести перед тем, что она не смела назвать.

Мало-помалу Фелис стала проникаться непреклонной решимостью вести себя впредь более мудро. Это была реакция после всех ее страхов,

следствие уверенности, что возлюбленный ее цел и невредим. В эти минуты она была, говоря словами миссис Элизабет Монтегю[40], «благоразумна до безумия» и видела единственный выход в немедленном отъезде. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Фелис соскочила с кресла и принялась собирать свои мелкие вещицы, разбросанные здесь и там по комнате.

Она металась по гостиной от столика к столику, как вдруг услышала легкий шорох за дверью и остановилась. Кто-то тихонько стучал в стекло. Щеки миссис Чармонд вспыхнули. Он и прежде приходил к этой двери, но как осмелился прийти сейчас! Все слуги в доме спали, она тоже должна быть в постели! Фелис вспомнила, что, войдя в дом с веранды, неплотно задернула штору, так что из комнаты на газон падала полоска света, выдававшая ее присутствие запоздалому пришельцу. Даже вещи, казалось, сговорились помешать ей сдержать слово, данное Грейс.

Стук повторился — такой легкий, точно птичка клювом постучала в стекло; объявленные вне закона чувства одержали верх над благоразумием, и миссис Чармонд подошла к окну с твердой

[40] Примечания: 40

Монтегю Элизабет (1720–1800) — английская писательница, в салоне которой собирались выдающиеся художники, писатели и артисты.

решимостью, однако, покачать отрицательно головой и плотно задернуть штору.

То, что она увидела за окном, могло поразить ужасом и более мужественное сердце, чем ее, беззащитной женщины, одиноко коротающей ночь. В центре нижнего квадрата двери к стеклу прижималось чье-то лицо, в котором она с трудом узнала Фитцпирса. Смертельно бледное, все в крови, оно пятном выделялось в черноте ночи. Испуганными глазами смотрела она на это лицо, которое показалось ей ликом с платка святой Вероники[41].

Губы Фитцпирса зашевелились: он о чем-то молил ее. Фелис мгновенно представила себе события, предшествующие этому печальному исходу, дрожащей рукой отворила створку двери, наклонилась к скорчившейся фигуре, со страстной тревогой прижалась своей щекой к его, потом, не сказав ни слова, помогла ему войти в комнату, вернее — чуть не внесла его на руках.

Поспешно заперев двери и задернув шторы, она, почти не дыша, наклонилась над ним и прошептала:

---

[41] Примечания: 41

По христианской легенде, святая Вероника дала свой платок Христу, ведомому на Голгофу, чтобы он мог отереть лицо, и на платке чудесным образом остался отпечаток его лица.

— Как это случилось? Ты что, очень сильно ушибся?

— Довольно сильно, только ты не пугайся, — проговорил он с трудом, пытаясь принять более удобную позу. — Немного воды, пожалуйста.

Фелис бросилась в столовую и принесла графин с водой. Фитцпирс жадно выпил стакан. Ему стало легче, и он смог с ее помощью добраться до софы и лечь.

— Тебе очень плохо, Эдрид? — спросила миссис Чармонд. — Скажи мне.

— Я едва жив, — прошептал Фитцпирс. — Но все, наверное, обойдется… Это от потери крови.

— Но я слышала, что ты не так сильно ушибся, — сказала миссис Чармонд. — Как это произошло?

— Это сделал мой тесть! Я чуть не на четвереньках полз больше мили. Думал, не дотяну… Я пришел к тебе потому, что ты мой единственный друг на всем свете. И я никогда больше не вернусь в Хинток под крышу Мелбери, никогда! Нет, ни мак, ни мандрагора не исцелят моей ненависти…[42] Только бы мне поправиться…

— Давай, Эдрид, я перевяжу тебе голову. Я вижу, тебе чуть полегче.

---

[42] Примечания: 42

У. Шекспир. Отелло. Акт III, сцена 3.

— Перевяжи. Хотя нет, подожди немного. Кровотечение, к счастью, остановилось, а то бы меня уже в живых не было. Еще в лесу, в кромешной тьме, мне удалось наложить жгут из носового платка и нескольких полупенсов… Послушай, Фелис, не могла бы ты спрятать меня в своем доме, пока я не встану на ноги? Что угодно, но я не покажусь больше в Хинтоке. Практика моя почти совсем иссякла, ты это знаешь, а после того, что произошло, я просто не хочу возобновлять ее.

Слезы не переставая текли по лицу Фелис. Куда девалось ее намерение расстаться с Фитцпирсом навсегда? Ее единственным желанием было теперь ухаживать за ним, пестовать его, пока он болен, всеми покинут и в нищете. Во-первых, надо было спрятать его. Она стала думать куда — и придумала.

Фелис дала ему выпить немного вина, которое принесла из столовой, затем разула его. Теперь он мог, опираясь на ее плечо и на палку, немного пройти. Так они вышли из комнаты и стали медленно подниматься по лестнице. Наверху они вышли на галерею, отдохнули немного и добрались наконец до узкой лестнички, которая привела их в самый глухой и отдаленный угол дома. Фелис отперла дверь. Это был большой

чулан, где находилась всевозможная старая мебель. Среди этого нагромождения, застилавшего свет из окон, было много закутков и тайных местечек, надежно укрывающих от постороннего взгляда, даже если заглянуть в дверь. Мебель эта по большей части принадлежала прежнему владельцу: покойный мистер Чармонд купил ее на аукционе, — но прихоти моды, а также вкусы молодой жены послужили причиной ссылки ее на чердак.

Фитцпирс опустился на пол, прислонившись к стене, пока Фелис ходила за тюфяком и одеялом и устраивала ему на полу постель в одном из закутков. Потом она принесла таз с водой, смыла засохшую кровь с его рук и лица. Устроив Фитцпирса как можно удобнее, — он полулежал, откинувшись на высокие подушки, — Фелис пошла в буфетную за едой. Пока он ел, она смотрела на его лицо, следила за каждым его движением с такой тревогой, с такой добротой и любовью, как может смотреть только любящая женщина.

Скоро он почувствовал себя гораздо лучше и был в состоянии обсудить с ней свое положение.

— То, что я сказал Мелбери, может действительно привести в ярость любого, если это, конечно, сказано с умыслом и адресовано тому, кто слуша-

ет. Но ведь я не узнал его, да к тому же голова у меня пошла кругом от той гадости, которую он дал мне глотнуть… Завеса в храме разодралась надвое…[43] Я не вернусь больше в Хинток, и поэтому первое, что должен сделать, это рассеять беспокойство, вызванное моим исчезновением: не хочу, чтобы меня искали. Никто не должен знать о моем состоянии, иначе пойдут всякие толки. Я должен немедленно написать письмо, чтобы предотвратить поиски. Не можешь ли ты сейчас же принести мне бумаги и чернила? Я не буду спокойно спать, если не напишу этого письма. Бедняжка! Сколько приходится тебе ходить вверх-вниз из-за меня.

Миссис Чармонд принесла все, что Фитцпирс просил, подложила ему под листок бювар, и он скоро набросал коротенькое письмо своей законной супруге.

«Враждебность, проявленная по отношению ко мне твоим отцом, — писал он в своем ледяном послании, — такова, что я не могу вернуться под крышу, которая принадлежит ему, хотя бы даже под этой крышей живешь ты. Разлука неизбежна,

---

[43] Примечания: 43

Согласно евангельской легенде, после смерти Христа на кресте «завеса храма разодралась надвое, сверху донизу» (Евангелие от Марка, гл. 15).

поскольку ты, несомненно, примешь его сторону. Я уезжаю очень далеко. Не жди меня скоро».

Затем он отдал Грейс несколько распоряжений, касающихся его практики и других хозяйственных дел, и закончил письмо, не обмолвившись ни словом, куда едет и когда вернется. Прежде чем запечатать конверт, он предложил Фелис прочитать письмо, но она не могла ни видеть его, ни слышать о нем — эта сторона жизни Фитцпирса и связанные с ней обязательства были для нее источником невыразимого страдания. Она отвернулась и горько разрыдалась.

— Если бы ты могла отправить письмо из какого-нибудь другого места, подальше от Хинтока, — прошептал Фитцпирс, снова почувствовавший себя хуже, — из Шотсфорда или Порт-Бредли, а еще лучше из Бедмута, то ни у кого не возникло бы и подозрения, что я нашел убежище в твоем доме.

— Я сама поеду в один из этих городов и сделаю все, чтобы никто ничего не узнал, — проговорила она.

Теперь, когда Фитцпирс был устроен, в голосе ее стали слышны нотки легкого опасения.

Выслушав Фелис, Фитцпирс прибавил, что необходимо сделать еще одну вещь.

— Перелезая через ограду вокруг газона перед верандой, я испачкал ее кровью. Красные пятна отчетливо видны на белой краске. Даже в темноте. Ты не могла бы, Фелис, пойти туда и смыть их? Это очень важно.

Чего не сделает женщина в такие исключительные минуты самоотречения? Хотя она уже очень устала, она опять спустилась по крутым ступенькам вниз, нашла фонарь, зажгла его и, прикрыв полой, взяла губку, смочила ее, выжала и вышла из дому в сад. Белая ограда ясно выделялась в темноте; луч фонаря, блеснувший из-под полы, упал на пятна крови — они были как раз там, где он сказал. Миссис Чармонд содрогнулась: слишком много испытаний выпало на ее долю в тот день, — нетвердой рукой стерла кровь и вернулась в дом.

Все случившееся заняло около двух часов. Поправив постель Фитцпирса, поцеловав его и положив под руку все, что ему могло понадобиться, Фелис ушла, плотно затворив за собой дверь.

Глава XXXVII

Письмо, которое Грейс получила от мужа, было отправлено, судя по штемпелю на конверте, из весьма отдаленного места, и ей в голову не пришло, что Фитцпирс, больной и беспомощный, находится всего в миле от нее. Грейс почувствовала облегчение оттого, что муж ее довольно спокойно писал о ссоре с отцом, каковы бы ни были причины, вызвавшие ее, однако общая холодность тона погасила ту искорку, которая последнее время затеплилась было в ее сердце.

В Хинтоке очень скоро стало известно об отъезде Фитцпирса, а так как никто, кроме домашних Грейс, не знал, что в ночь падения с лошади он не возвращался домой, то его отъезд не вызвал никаких пересудов в деревне.

Наступил май. Однажды поздно вечером, в конце первой половины месяца, плотно закутанная фигура с костылем в одной руке и палкой в другой выползла из Хинток-хауса, пересекла лужайку перед домом и исчезла среди деревьев. Никто, кроме ночных птиц и лесных тварей, не видел, как таинственный путник медленно и с трудом пробирался по лесу и как вышел наконец на шос-

се, направляясь к ближайшему перекрестку.

Внешность его была так преображена, что и собственная жена не могла бы его узнать. Фелис Чармонд была большая искусница по этой части (что, впрочем, неудивительно), но на сей раз превзошла себя, использовав для маскарада залежавшиеся на чердаке атрибуты своей прежней профессии.

На шоссе Фитцпирса подобрал крытый экипаж, доставивший его в Шертон-Аббас, откуда он отправился в ближайший порт на южном побережье и, не задерживаясь ни на один день, пересек Ла-Манш.

А спустя три дня стало известно, что миссис Чармонд отправилась наконец в столь долго откладываемое путешествие, чтобы поселиться на неопределенный срок где-нибудь за границей. Она покинула Хинток ранним утром, стараясь не привлекать ничьего внимания и не взяв с собой горничной. Тетке она объяснила, что в одном из городков, лежащих на ее пути, ее будет ждать новая горничная, только что нанятая. Хинток-хаус, так часто пустовавший, опять остался без хозяина, и в одном из его окон появилось объявление о сдаче внаем. Лето еще не успело сменить весну, а до Хинтока дошли вполне достоверные слухи,

что миссис Чармонд и Фитцпирс вместе живут в Бадене и отношения между ними ни у кого не вызывают сомнений. Таким образом, любопытство, мучившее честных хинтокцев всю зиму, было сразу и полностью удовлетворено.

Отец и дочь вступили в Долину Унижения[44]. Отец страдал сильнее. Дух его был сломлен, но раз в неделю согласно заведенному порядку он продолжал ездить на ярмарку. И вот однажды, проходя мимо кабачка — походка его выдавала убитого горем человека, — он услышал, как кто-то окликнул его по имени. Голос был знакомый. Мелбери обернулся и увидел некоего Фреда Бокока, в прошлом местного щеголя и подававшего надежды адвоката. Его считали в Шертоне большим докой по части законов и говорили, что адвокатская контора, где он служил, процветает только благодаря его неоспоримым талантам. Но потом Бокок вдруг покатился по наклонной плоскости. Имея приятный голос, он был завсегдатаем на званых обедах горожан и сельских праздниках и постепенно стал прикладываться к рюмке чаще, чем того требует здоровье души и тела. Потеряв довольно скоро место, он уехал

[44] Примечания: 44

Долина Унижения — один из образов аллегорического романа Дж. Беньяна (1628–1688) «Путь паломника» (1677).

попытать счастья на стороне, но скоро вернулся домой (как раз во время вышеописанных событий в Хинтоке) и стал промышлять тем, что за смехотворно низкую плату толковал законы своим согражданам. Обычно он занимался этим, сидя за столиком в недрах питейного заведения: профессиональным голосом потребовав перо, чернила и полупенсовый листок бумаги, освобождал на столе местечко среди батареи кружек и стаканов и, придерживая лист одной рукой, другой писал за полкроны завещание для какого-нибудь поселянина. Известно, что идеи, воспринятые в юности, трудно поддаются искоренению, и многие солидные горожане считали, что Фред Бокок и по сей день непревзойденный знаток законов.

Вот этот-то Фред Бокок и окликнул проходившего мимо Мелбери.

— У вас совсем убитый вид, мистер Мелбери, — начал он, увидев, что лесоторговец обернулся. — Знаю, все знаю. Очень прискорбный случай. Я изучал законы, как вам известно, кое-что смыслю в подобных делах и говорю вам, что миссис Фитцпирс можно помочь.

— Как… чем помочь? — воскликнул Мелбери.

— Вышел новый закон, согласно которому —

статья двадцатая и двадцать первая, параграф восемьдесят пятый — развестись стало так же просто, как и выйти замуж. Не нужен теперь никакой парламентский акт. Новый закон имеет одну силу для всех: и для богатых, и для бедных. Давайте зайдем сюда на минутку: я как раз иду погреть душу глотком горячего рома, — и все вам разъясню.

Это известие как громом поразило Мелбери, который за делами и заботами почти не читал газет. И хотя он был человеком строгих правил и ему претило идти с Фредом Бококом в кабачок (в любом другом случае он ни за что не стал бы слушать советов этой отпетой личности), но такой заманчивой показалась ему перспектива освободить бедняжку Грейс от тяжкого бремени, что он потерял способность здраво судить и, не будучи в состоянии противиться бывшему стряпчему, пошел, куда тот пригласил.

Они сели за стол и заказали рому — платил, конечно, Мелбери. Бокок откинулся на высокую спинку скамьи и принял глубокомысленный вид, подобающий в таких случаях юридическому лицу. Он, казалось, не замечал стоявшего перед ним рома, но тот исчезал, однако, с непостижимой быстротой.

В какой степени новый бракоразводный закон в изложении Бокока был плодом невежества, а в какой — сознательного мошенничества, так никогда и не было впоследствии установлено, но он так убежденно говорил о том, с какой легкостью Грейс может стать свободной, что отец ее прямо-таки загорелся этой идеей. Хотя сам он едва пригубил свой стакан, как вышел из кабачка, как добрался до своей двуколки и поехал домой — не помнил.

Опамятовался он, только подъезжая к дому: голова гудела как колокол. По дороге он встретил Уинтерборна, который с удивлением заметил, что лицо лесоторговца напоминает лик ангела: таким предстал перед синедрионом святой мученик Стефан.

Мелбери сошел с двуколки и, взяв Уинтерборна под руку, повел к сложенным у живой изгороди очищенным от коры дубовым бревнам.

— Джайлс, — начал он, когда оба сели на бревна, — оказывается, существует новый закон. Теперь Грейс очень легко может стать свободной. Я узнал об этом случайно, а мог бы еще лет десять ничего не слыхать. Грейс, стало быть, совсем просто избавить от него, ты слышишь? Подумай только, Джайлс.

И он рассказал Уинтерборну все, что узнал о новом законе. Джайлс в ответ только пробормотал что-то.

— Теперь, мой мальчик, — прибавил Мелбери, — она будет твоя, если ты, конечно, этого хочешь.

Голос Мелбери дрожал от волнения, глаза увлажнились, когда он выразил словами давнюю свою мечту.

— Это правда… про новый закон? — спросил Уинтерборн, пораженный известием, предаваясь поочередно то черному сомнению, то бурной радости и не уловив поэтому смысла последних слов.

Мелбери ответил, что у него нет ни малейшего сомнения, ибо после разговора с Бококом вспомнил, что не так давно в одной газете сам видел сообщение о новом бракоразводном законе, но в то время это отчаянное средство не интересовало его и он не придал прочитанному значения.

— Я не буду тратить ни одного дня, — продолжал он, — и завтра же поеду в Лондон, чтобы выяснить все подробности. Бокок поедет со мной, мы пойдем к самому лучшему адвокату. В чем, в чем, а в этом он разбирается. Единственная его беда — неутолимая жажда. А я помню, когда во

всей округе не было лучшего стряпчего, чем он.

Уинтерборн на все речи Мелбери отвечал что-то невнятное, поскольку не мог вот так, вдруг осмыслить возможность такой перемены. В Хинтоке его считали человеком основательным: он продолжал сомневаться не из упрямства, а потому что жизнь научила его не поступать опрометчиво.

— Только вот что, — продолжал лесоторговец; волнения прорезали на его лбу две новые морщины в дополнение к тем, что оставило на его лице время. — Грейс сейчас нездорова. Ничего страшного, но, как ты знаешь, с той несчастной ночи она все время сама не своя. Нет, я не сомневаюсь, что она очень скоро поправится… только вот как она там сейчас?

С этими словами Мелбери поспешно вскочил на ноги, точно его взяло раскаяние, что, увлекшись мечтами о будущем дочери, он про нее-то и забыл.

В садах уже протянулись вечерние тени. Старые друзья двинулись к дому лесоторговца: Мелбери, окрыленный возможной переменой в судьбе дочери, ног под собой не чуял. Уинтерборн же, испытывая смущение от предстоящей встречи с Грейс — отец ее, несомненно, будет теперь обра-

щаться с ним как с женихом, хотя, в сущности, ничего пока не изменилось, — несколько поотстал: Мелбери очертя голову бросился туда, где и ангелам боязно ступить.

Очень скоро, однако, их радужное настроение омрачилось. Поднявшись вслед за Мелбери на крыльцо, Уинтерборн услыхал встревоженный голос бабушки Оливер: она сообщила Мелбери, что состояние миссис Фитцпирс с утра ухудшилось. Старый доктор Джонс оказался поблизости, его тотчас позвали, и он велел немедленно уложить Грейс в постель. Болезнь ее, по общему мнению, не представляла опасности: это был приступ нервной лихорадки, последствие недавних событий, и, без сомнения, через несколько дней все должно пройти без следа.

Уинтерборн поэтому не вошел в дом, и его надежда повидать в тот день Грейс не сбылась.

Даже болезнь Грейс не сильно огорчила Мелбери. Здоровье у дочери, говорил он всем, крепкое, единственная причина недуга — несчастная семейная жизнь. Став свободной, она расцветет как прежде. Мелбери не ошибся в диагнозе: родители, впрочем, редко ошибаются в подобных случаях, и на следующий день отправился в Лондон. Доктор Джонс заходил еще раз и уверил его, что может

ехать со спокойным сердцем, тем более что цель его поездки — самое целительное для его дочери лекарство.

Через день-другой после отъезда Мелбери по Хинтоку поползли слухи, что в лесу кто-то нашел шляпу мистера Фитцпирса. Слухи оказались верными, и вечером шляпу принесли в дом лесоторговца. Шляпа эта, к несчастью, попалась на глаза Грейс. Она пролежала в лесу с того дня, как Фитцпирс упал с лошади, но вид у нее был столь аккуратный — летняя погода и лиственный покров отлично сохранили ее, — что Грейс не могла в это поверить. Такого пустяка было достаточно, чтобы возбудить больное воображение: она стала со страхом думать, что муж, наверное, вернулся, что вот-вот появится в доме, — и нервная лихорадка вспыхнула с такой силой, что доктор Джонс сразу посерьезнел, а весь дом впал в беспокойство.

Было начало июня, и кукушки умолкали об эту пору только на два ночных часа. Крик этой птицы, знакомый с детства, теперь был для Грейс настоящей пыткой. В пятницу, через день после отъезда Мелбери и на другой день после того, как нашли злополучную шляпу, кукушка закуковала в два часа ночи чуть не под самым окном Грейс.

— Это он, он приехал! — вскричала, не помня себя, бедняжка Грейс и соскочила с постели на пол.

Эти приступы страха продолжались до полудня. Пришел доктор Джонс, осмотрел больную, поговорил с миссис Мелбери, сел и задумался. Было совершенно необходимо снять это состояние страха у Грейс. И доктор Джонс размышлял, как это лучше сделать.

Не сказав ни слова никому из домашних Мелбери, даже потерявшему покой Уинтерборну, ожидавшему за воротами усадьбы, доктор Джонс поехал домой и написал Мелбери в Лондон по адресу, взятому у его жены. В письме доктор писал, что надо немедленно сообщить миссис Фитцпирс о шагах, предпринятых для ее освобождения от пут, ставших для нее пыткой; надо внушить ей, что она скоро будет свободна и что уже сейчас может считаться таковой. «Если вы немедля все это напишете ей, то отвратите тем самым большое несчастье».

В субботу доктор опять наведался в Хинток и с таинственным видом заверил Грейс, что через день-другой она получит хорошее известие. Так и случилось: в воскресенье утром, в семь часов, почтальон принес от отца письмо. Грейс просну-

лась в восемь, на удивление проспав часом дольше, чем в последние дни, и миссис Мелбери тотчас подала ей письмо.

— Ты сама его распечатаешь?

— Да-да, — ответила слабым голосом Грейс, проявляя, однако, явное нетерпение.

Она разорвала конверт, развернула листок и стала читать; по ее бледным щекам и шее пополз румянец.

Ее отец решился на смелый шаг и написал Грейс, что ей нечего больше бояться возвращения Фитцпирса, что очень скоро она будет свободна и что если хочет стать женой другого человека, который с детства был ее другом, — а Мелбери считал, что хочет, поскольку сам теперь только об этом и думал, — то никаких препятствий больше нет. Мелбери верил в то, что писал. Единственным отступлением от истины было сообщение, что юридические формальности, необходимые для расторжения брака, уже почти все соблюдены.

Получив письмо доктора, бедный Мелбери встревожился до такой степени, что готов был немедленно ехать домой. Немалого труда стоило Бококу уговорить его остаться. Какой смысл мчаться сломя голову обратно в Хинток? — ска-

зал он лесоторговцу. Единственное, что может исцелить Грейс, это известие о том, что она свободна. Хотя они еще не говорили со знаменитым адвокатом, но не сегодня завтра попадут к нему, а случай их, можно сказать, бесспорный. Вот каким образом простак Мелбери, побуждаемый родительской заботой о здоровье дочери, уверениями Бокока, а также отчаянным письмом доктора, решился до окончательного выяснения всех обстоятельств написать дочери, что она больше не связана узами брака.

— Напишите также мистеру Уинтерборну, — посоветовал ему Бокок.

Понимая, что дело может вернуть ему былую славу, а вместе с тем и многочисленных клиентов, он хотел самых верных гарантий, что Мелбери не остановится на полдороге, если возникнут препятствия. А какая гарантия вернее, чем сердечная склонность Грейс к Уинтерборну? Мелбери сделает все, чтобы любовь его дочери приобрела законное право на существование.

Мелбери, охваченный лихорадочным нетерпением, охотно согласился «подтолкнуть и того и другого», как он сам выразился. Привести в исполнение замысел, который искупил бы его вину, стало у него навязчивой идеей. В письме к дочери

он сделал приписку, намекая, что она должна быть внимательнее к Уинтерборну, если не хочет совсем его потерять; Уинтерборну же написал, что счастье его теперь уже совсем близко. Жизнь коротка, философствовал сам с собой Мелбери, старость не за горами; чашу остается только поднести к губам. Надо заново пробудить в сердце Грейс интерес к ее прежнему возлюбленному, чтобы ничто не помешало соединению этих двух сердец, когда все препятствия останутся позади.

Глава XXXVIII

Письмо Мелбери пробудило в душе Уинтерборна самые противоречивые чувства. Он вдруг осознал, как все разительно переменилось за последнее время. Всего несколько месяцев назад он был чужим для этой семьи, издалека смотрел на Грейс, высокомерную, нарядно одетую, которая была теперь женой молодого, всеми уважаемого доктора и стояла недосягаемо высоко на ступенях социальной лестницы. Это было совсем недавно. Цветы, распустившиеся тогда, еще не отцвели, а горячо любящий отец уже советует ему быть смелее и не мешкая готовиться к тому дню, когда можно будет просить руки его дочери.

Точно в тумане проплывали перед ним картины прошлого. Как они презирали его тогда, с каким пренебрежением отнесся Мелбери к рождественскому празднику, который он устроил для них. Даже кроткая нежная Грейс и та свысока смотрела на него, на его скромное хозяйство и нехитрые приготовления бедного Кридла!

Нет, в это нельзя поверить. Нерушимые оковы брака не могут так легко пасть. Это будет крушение устоев. А новый закон — ведь он что-то

значит? Но мыслимое ли дело, чтобы воспитанная, образованная женщина, бывшая замужем за ученым доктором, могла снизойти до простого крестьянина! Мог ли он, Джайлс, сделать счастливым такое утонченное создание, как Грейс, особенно теперь, когда до нее рукой не достанешь?.. Уинтерборна раздирали сомнения.

Он не был человеком отсталых взглядов, но поспешность — чего так хотел Мелбери — казалась ему неуместной ввиду неопределенности положения Грейс. Он не знал всех тонкостей закона, но понимал, что назваться женихом Грейс, когда она еще несвободна, — чистое безумие, и что подобная дикая мысль могла родиться только в воспаленном мозгу Мелбери. Ему было больно видеть, с каким почти мальчишеским энтузиазмом взялся Мелбери за исполнение своего плана. Какими тяжкими должны быть страдания этого старика, что он до такой степени утратил способность трезво мыслить.

Благородство души не позволяло Уинтерборну подумать, что старый друг заискивает в нем, боясь, что развод поставит Грейс в очень странное, двусмысленное положение, а тогда самый плохой муж будет лучше, чем ничего. Он видел, что Мелбери себя не помнит, стараясь поправить почти

непоправимое зло, которое сам же причинил, — соединить два сердца, предназначенных друг для друга самой природой. Растаяла холодная отчужденность последних лет, и в ослеплении он забыл о формальной стороне дела. Вот почему Уинтерборн решил, что его долг — не делать поспешных шагов, чтобы не повредить репутации Грейс. Такого явления, как равномерная любовь, не существует в природе: человек любит то сильнее, то меньше, — Джайлс, однако, не замечал, чтобы любовь его к Грейс становилась слабее. После замужества Грейс, когда больше не на что было надеяться, он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы страсть его сменилась дружеским расположением, но напрасно: Грейс оставалась возлюбленной его сердца.

Прошло больше недели, а от Мелбери не было никаких вестей. Но действие, произведенное его письмом на впечатлительную душу дочери лесов, было таким, как и ожидал старый Джонс: успокоило ее лучше всякого лекарства. Целые сутки проспала она глубоким, спокойным сном. Новый закон представлялся ей таинственным, добрым, всесильным существом наподобие Господа Бога, которому ничего не стоит вернуть ей счастливую, беззаботную пору девичества. Тепе-

решнее положение приводило ее в отчаяние: она ненавидела не столько человека, причинившего ей зло, сколько самую ситуацию. Какой она была обидной, унизительной, непристойной. Его Грейс могла забыть, но свое положение ни поправить, ни забыть не удавалось.

Во время болезни Грейс не видела Уинтерборна, и, вероятно, поэтому ее воображение обрядило его в слишком романтическую тогу, чего не случилось бы, будь он рядом, со всеми слабостями и недостатками, присущими несовершенной человеческой природе. Он возникал в ее памяти то как бог леса, облепленный листьями и зеленым мхом, как тогда, в зарослях орешника, то как бог садов, забрызганный сидром и яблочными семечками, каким она встретила его, когда он возвращался из долины Черного Вереска с сидровым прессом. В глубине души она, как и отец, хотела показать Джайлсу, что он по-прежнему ей мил.

Неужели они будут вместе всю жизнь? — не переставала изумляться Грейс. И хотя знала, что пока это невозможно, свято верила, как и подобает дочери, в здравый смысл и жизненный опыт отца. Она вспоминала письмо, в котором он писал, что нехудо бы заронить надежду в сердце Уинтерборна, чтобы не потерять его еще раз,

и чувствовала, что совет этот ей по душе, если, конечно, следовать ему в границах благопристойности.

Мало-помалу Грейс, превратившаяся в тень за время болезни, стала оживать и наливаться здоровьем. Щеки ее порозовели, и она уже снова могла, как прежде, совершать далекие прогулки.

Вскоре миссис Мелбери предложила ей для развлечения прокатиться в двуколке на ярмарку в Шертон, куда отправился с хозяйским поручением один из работников отца. Никаких дел у Грейс в Шертоне не было, но она подумала, что может встретить там Уинтерборна, и охотно согласилась.

По дороге в Шертон Уинтерборн ей не попался, но, когда двуколка медленно продвигалась по запруженной народом и экипажами Шип-стрит, Грейс увидела его на тротуаре. И она вдруг вспомнила, как однажды он ждал ее здесь — она тогда только что вернулась из школы — и как нежному свиданию помешала воспитанная в ней чопорность. Сердце у нее защемило. Как проклинала она сейчас свое благородное воспитание. Вспомнилась и сцена во дворе гостиницы «Эрлов-Уэссекс»: Уинтерборн выжимал сок из яблок сидровым прессом, а она, изображая прекрасную

даму, благосклонно взирала на него сверху.

Грейс велела работнику остановиться, вышла из двуколки и поспешила к своему возлюбленному.

Джайлс не сразу увидел Грейс, а когда увидел, то глаза его засветились сдержанной радостью, а в манерах появилась непринужденность, которой давно уже не было при встречах с Грейс.

Обменявшись несколькими общими фразами, Грейс проговорила со значением:

— Я никуда не спешу, но, может быть, ты очень занят?

— Я? Нет, я не занят ничем. У меня сейчас, в самую рабочую пору, к сожалению, нет никаких дел.

— Ну тогда… Я иду в собор. Пойдем со мной. Уединиться в соборе — самый простой способ в Шертоне избавиться от соглядатаев.

Разговаривая с Уинтерборном, Грейс чувствовала на себе десятки глаз: значит, время не охладило любопытства, как она надеялась, совсем наоборот. Люди с сочувствием смотрели на покинутую жену, почти ребенка. Их взгляды не были ни оскорбительными, ни навязчивыми, но Грейс все равно было не по себе.

Они бродили по приделам собора, потом при-

сели на скамью. Во всем здании были только они двое. Она смотрела на мраморную плиту над могилой последнего местного барона, и ей в голову не приходило, что Фитцпирс по материнской линии прямой потомок этой вымершей аристократической семьи. Взглянув вверх, на цветные стекла окон, она спросила Уинтерборна, помнит ли он, когда они были в Шертоне последний раз вместе.

Джайлс это хорошо помнил.

— Ты была тогда важной дамой, — ответил он, — прекрасной и недосягаемой. Но, может, ты осталась ею и сейчас?

Грейс медленно покачала головой.

— Несчастье изменило меня, — проговорила она выразительно. — Я теперь совсем, совсем другая. — Почувствовав, что в ее словах таится смысл, который она не сумела бы объяснить, она поспешно прибавила: — Тебе мой отец писал?

— Да, — ответил Уинтерборн.

Грейс вопросительно взглянула на него.

— Обо мне?

— Да.

Она поняла, что отец в письме просил его не пропускать мимо ушей то, что Грейс по его просьбе должна была сказать ему. Щеки ее вспыхнули,

но она тотчас оправилась от смущения: ведь перед ней был Джайлс, ее старый верный друг, которого она совсем не боялась.

— Он написал мне, чтобы мы поговорили… Ты понимаешь о чем, — продолжал Уинтерборн тихо.

Поскольку Грейс сама начала разговор, он вовсе не был расположен ограничиться одним-двумя словами. Они вместе росли, и между ними было то полное доверие, какое бывает только между друзьями детства.

— Знаешь, Джайлс, — проговорила Грейс самым деловым тоном, — все это очень хорошо, но сейчас мое положение самое ненормальное, и я пока не могу сказать тебе ничего определенного.

— Да, — отрешенно произнес он и посмотрел на Грейс со странным ощущением новизны.

Он как-то думал, что их возобновившаяся дружба откроет ему новую Грейс. В первый раз за все время он вдруг заметил в ней нечто незнакомое, неожиданное для себя, хотя, по правде говоря, мог бы ожидать, что она переменится. Перед ним была сейчас не наивная девушка Грейс Мелбери, которую он знал с детства. Конечно, он мог бы давно это заметить, но вот не заметил. Перед ним была миссис Фитцпирс, замужняя дама. Да, Грейс

изменилась: сохранив приличествующую ее полу скромность, утратила милую девическую застенчивость. Уинтерборн понимал, что перемена неизбежна, но до этой встречи она не бросалась в глаза, и на мгновение ошеломила его. Дело в том, что с тех пор, как Грейс вышла замуж за Фитцпирса, Уинтерборн ни разу близко не видел ее, не считая короткой встречи на холме Хайстоу, когда он возвращался с сидровым прессом из долины Черного Вереска, но они так быстро расстались тогда, что Уинтерборн ничего не успел заметить.

Уинтерборн тоже стал другой. По-прежнему мягкий, он, однако, мог теперь критически относиться к Грейс. Прошло время, когда Грейс Мелбери была в его глазах непогрешима, как существо высшего порядка. Он и перемену-то заметил в ней потому, что его отношение к ней изменилось. Ведь перед ним была не близкая, понятная Грейс, а таинственная незнакомка, которую ему еще предстояло узнать: взгляды ее стали шире, она держалась с бо`льшим достоинством, с большей уверенностью, чем прежняя Грейс. На первых порах он не мог решить, нравится ли ему эта перемена, но своя прелесть в этом, во всяком случае, была.

Затянувшееся молчание Джайлса испугало

впечатлительную душу Грейс: не таится ли в нем недоброе?

— О чем ты задумался? Какие мысли проложили эти морщинки на лбу? — спросила она. — Я не обидела тебя, сказав, что еще не время серьезно говорить о будущем?

Тронутый искренней любовью, прозвучавшей в этих словах, и глубоко взволнованный, Уинтерборн отвернулся, взяв Грейс за руку. Он уже сожалел, что позволил себе критиковать ее.

— Ты очень хорошая, Грейс, очень, — проговорил он глухо. — Ты стала гораздо лучше, чем была.

— Почему?

Он не мог бы ей объяснить почему и ответил, уклончиво улыбаясь, что она стала еще красивее, хотя думал совсем о другом. Он держал ее правую руку своей правой, так что лица их были обращены в разные стороны; видя, что Джайлс не собирается отпускать ее руку, Грейс решилась мягко укорить его.

— Мне кажется, мы зашли не дальше, чем дозволено в таких обстоятельствах, и достаточно далеко, чтобы мой бедный отец больше не волновался, не правда ли, Джайлс? Мы ведь с тобой те же, что были. Видишь ли, Джайлс, дело мое еще

не кончено, вдруг… Представь себе только, что я никогда не получу свободы: возникнет какое-нибудь препятствие или недостанет какого-нибудь документа…

Грейс побледнела, дыхание у нее оборвалось. До самой последней фразы разговор их был беспечной любовной болтовней. Мрачные события прошлого, еще более мрачное будущее, если хлопоты Мелбери не увенчаются успехом, — все было на какой-то миг забыто. Теперь же несчастные обстоятельства снова обступили их, свет и тень заняли подобающие места.

— Но, кажется, дело уже решено, — проговорила Грейс. — Отец пишет, что ему сказал адвокат?

— Пишет, что все в порядке. Случай простой, проще не бывает. Еще, правда, не все оформлено, как полагается по закону. И это естественно.

— Да, конечно! — сказала Грейс и, нахмурив лоб, задумалась. — Но ведь отец написал, что дело почти решено, да? А ты сам что-нибудь знаешь про новый закон?

— Подробно не знаю. Слыхал только, что если муж и жена не ладят, то развестись теперь очень легко. Никакого постановления парламента не надо.

— Они, наверное, просто должны что-нибудь

подписать или под присягой рассказать о чем-нибудь?

— Да, наверное.

Сострадательный человек, услыхав, как эти две простых души рассуждают об имперском законе, зарыдал бы, знай, какие опасные мечты лелеют они, усыпленные неведением.

Какое-то время оба молчали, как дети при виде чудесного, непостижимого явления.

— Джайлс, — наконец сказала Грейс, — когда я вспоминаю, как серьезно мое положение, то очень расстраиваюсь. Давай уйдем отсюда. Мы с тобой так долго вместе — это опрометчиво с моей… с нашей стороны. Вдруг кто-нибудь нас увидит?.. Я почти что уверена, — прибавила она с сомнением, — что не должна позволять тебе брать мою руку, ведь документы еще не подписаны и я по-прежнему связана ненавистными узами. Мой отец потерял голову. Правда, я ни перед кем не чувствую никаких моральных обязательств, и на моем месте ни одна женщина, имеющая гордость, не чувствовала бы их после всего, что было, но хочу, чтобы приличия были соблюдены.

— Да-да, конечно. Но твой отец пишет в письме, что жизнь коротка. И он прав, поэтому я так хочу

знать, Грейс, твое теперешнее ко мне отношение. Минутами я чувствую себя, после того как получил это письмо, точно ребенок, который ничего не понимает и всего боится. Если одному из нас суждено умереть до того, как будут окончены все формальности и ты станешь свободна, если один из нас отойдет в мир иной и мы не воспользуемся этой краткой, минутной, но вполне реальной возможностью, то я, умирая, спрошу себя, если это буду я, «правильно ли, что ни разу тебя не поцеловал». А я, видит Бог, ни разу тебя не целовал, хотя ты и обещала быть моей, а теперь уже никогда не поцелую. Вот что я подумал бы.

Грейс смотрела, как слова слетают с губ Уинтерборна, точно они были видимы, лицо ее становилось печально. Услышав же последние слова, она опустила голову и сказала:

— Да, я тоже об этом все время думаю и совсем не хочу быть сдержанной и холодной с тобой, моим единственным другом, который столько лет и так преданно любит меня; я не хочу причинять тебе боль, как причиняла когда-то в те бездумные дни. Не хочу! Но могу ли я сейчас позволить тебе… Не слишком ли рано?..

В глазах Грейс от смущения и страха заблестели слезы. Честный Уинтерборн не стал настаивать,

видя смятение Грейс.

— Да, ты права, — ответил он, уже раскаиваясь в сказанном. — Лучше подождать, пока все устроится. А что пишет тебе отец?

Уинтерборн хотел спросить, в каком положении дело, но Грейс, поняв его по-своему, стала простодушно пересказывать ту часть письма, где Мелбери советовал ей, как вести себя.

— Он пишет… то, что я уже сказала тебе. Рассказать подробнее?

— Нет, конечно, если это секрет.

— Вовсе не секрет. Я перескажу тебе все слово в слово, Джайлс, если ты хочешь. Он пишет, что я должна подать тебе надежду. Вот! Но я не могу пока зайти так далеко, как он этого хочет… Ну, пойдем отсюда, — прибавила Грейс и, мягко высвободив свою руку из его ладони, первая пошла к выходу.

— Я подумал, что не мешало бы пообедать, — сказал Уинтерборн, спускаясь с небес на землю. — Тебе надо обязательно поесть. Пойдем, я знаю здесь такое местечко.

У Грейс за стенами отцовского дома не было во всем свете ни одного друга. Фитцпирс не ввел ее в общество, скорее напротив: пока жила с ним, она временами чувствовала себя одинокой, как

никогда, — и теперь ей было приятно ощутить чью-то заботу. Но все-таки она стала сомневаться, благоразумно ли предложение Уинтерборна и не является ли оно следствием его неискушенности. Грейс ласково сказала ему, что было бы лучше, если бы он пошел один и заказал ей обед где-нибудь поблизости, а она подождет его в привратницкой монастыря. Джайлс понял сомнения Грейс и, упрекнув себя в незнании приличий, пошел, куда велела ему Грейс.

Вернулся он через десять минут и застал Грейс на том же месте, где оставил.

— Пока ты дойдешь туда, обед будет готов, — сказал он и назвал харчевню, где заказал обед.

Грейс никогда о такой харчевне не слышала.

— Я спрошу, как туда идти, — сказала Грейс, спускаясь со ступеней храма.

— Мы еще увидимся сегодня?

— Конечно, приходи туда ко мне. Как будто ты случайно зашел. Это совсем другое дело, не то что идти вместе. А потом поищешь мою двуколку.

Уинтерборн подождал четверть часа: достаточно, по его мнению, чтобы пообедать, — и поспешил в харчевню. Харчевня «Три бочки», маленькая, опрятная и недорогая, находилась в соседнем переулке. По дороге Уинтерборн вдруг

со страхом подумал, достаточно ли хорошо это место для Грейс, а войдя в зал и увидев там Грейс, сразу понял, что совершил промах. Грейс сидела за столом в зале, бывшем по ярмарочным дням и столовой и гостиной. Это была длинная узкая комната с полом, посыпанным песком, на котором метла оставила след в виде елочки, и двумя окнами — одно, занавешенное красной шторой, выходило на улицу, другое — во двор. Грейс забилась в самый дальний угол, поглядывая растерянно на молочников и мясников, занявших все передние столики. Надо отдать Уинтерборну справедливость: когда он заходил сюда, чтобы заказать обед, этой публики еще не было.

Грейс была совершенно подавлена. Войдя в харчевню и оглядевшись, она немало изумилась, но было уже поздно отступать, и она, сделав над собой героическое усилие, прошла вперед и села на тщательно выскобленную скамейку за длинный узкий стол со стальными ножами и вилками, оловянными перечницами и голубыми солонками. Со стены на нее глядели вывески, рекламирующие торговлю волами. Последний раз, когда Грейс обедала вне дома, это было в фешенебельной гостинице «Эрл-ов-Уэссекс», в обществе Фитцпирса, а до этого месяца путешествовала с

ним по Европе и останавливалась в тамошних роскошных гостиницах.

Но разве она могла ожидать что-нибудь другое теперь, когда спутником ее стал Уинтерборн? И все-таки перемена была разительной! А она и не подозревала до этой минуты, что ей в такой степени привились вкусы и наклонности Фитцпирса. Правда, элегантный Фитцпирс еще и по сей день не уплатил по весьма внушительному счету вышеназванной гостинице: всякий раз, приезжая с Грейс в Шертон, он останавливался и обедал именно в этом комфортабельном заведении. Но так уж устроен человек, что Грейс, несмотря на долги, обедала в «Эрл-ов-Уэссексе» с легким сердцем, тогда как здесь, в «Трех бочках», вкушая еду, за которую Уинтерборн честно уплатил вперед, чувствовала себя несчастной и униженной.

Уинтерборн мгновенно понял, что Грейс страдает в этой непривычной обстановке. И радость его как рукой сняло. У него родилось то горькое чувство приниженности, которое испортило тогда памятный рождественский праздник.

Он не знал, что эта вспышка тщеславия в Грейс была единичной и кратковременной, — так бывает на первых порах со всеми, кто, как она, твердо решил начать новую страницу жизни.

Грейс закончила свою трапезу, бывшую, как заметил Уинтерборн, для нее мучительной. И он постарался поскорее увести ее отсюда.

— Ну вот, — сказал он, как только они вышли, глядя на нее огромными печальными глазами. — Ты голодная. Пойдем в «Эрл-ов-Уэссекс»: хоть там чаю выпьешь. Я не подумал, что то, что хорошо для меня, для тебя может быть плохо.

Поняв, что происходит в его душе, Грейс совсем расстроилась.

— О Джайлс! — воскликнула она с горячностью. — Я совсем не хочу есть. Зачем ты так говоришь, ведь ты ничего не знаешь? Ты никогда, никогда не поймешь меня!

— Нет, миссис Фитцпирс, вы не правы. Разве вы станете отрицать, что в «Трех бочках» вам было очень плохо?

— Ах, я не знаю!.. Ну хорошо, поскольку ты первый об этом заговорил, мне там было действительно не по себе.

— А я обедаю в этой харчевне вот уже двадцать лет и чувствую себя как дома. Вы с вашим мужем останавливались обычно в «Эрл-ов-Уэссексе»?

— Да, — неохотно откликнулась Грейс. Как могла она здесь, на улице, объяснить Джайлсу, что это не она, не ее чувства обижены, а привитые ей

вкусы, наносные и преходящие?

К счастью или к несчастью, но в этот момент они увидели двуколку, которой правил работник Мелбери и вертел головой по сторонам, явно высматривая Грейс: назначенный час, когда должен был встретить ее, давно прошел. Уинтерборн окликнул его, и Грейс пришлось оборвать разговор. Она села в двуколку, возница взял вожжи, и лошадь побежала. Лицо Грейс было печально.

Глава XXXIX

Всю ночь Уинтерборн не смыкал глаз, мучаясь воспоминаниями о том, как грустно окончилось их свидание с Грейс, позабыв все приятные его минуты. Он опять стал сомневаться, смогут ли они быть счастливы, даже если Грейс и выберет теперь его. Она была образованна и хорошо воспитана. Он был неотесанный деревенский парень. Это препятствие существовало всегда, и он не мог легкомысленно от него отмахнуться, как на его месте поступили бы многие.

Уинтерборн был по натуре человек независимый и малообщительный, никогда не искал чьего-нибудь расположения или покровительства и — возможно, поэтому — обладал редкой проницательностью. Он нелегко менял свои взгляды и склонности, и если уже какое-то убеждение или надежда, пройдя все стадии развития, в конце концов умирали в его груди, то впоследствии он редко к ним возвращался, как бывает с людьми более сангвинического склада. Когда-то он боготворил Грейс, был готов до конца дней служить ей, уже видел ее своей женой и вдруг потерял ее. И хотя он вернулся к ней почти с тем же

пылом сердца, но прежних надежд уже не питал и не позволял себе беспредельно поддаваться ее очарованию.

Он больше не приблизится к ней ни на шаг, даже оттолкнет ее, уступая велению совести. Преступление склонять Грейс к замужеству с таким, как он: для нее это будет еще одно не менее горькое разочарование. Отец ее сейчас слеп, а раньше-то хорошо видел эту опасность, и долг Уинтерборна — открыть глаза Грейс ради ее же блага.

Грейс также провела бессонную ночь, наутро ей передали еще одно письмо от отца, но и оно не принесло успокоения ее смущенной душе: отец все так же упрямо стоял на своем. Порадовавшись выздоровлению дочери, он писал:

«Дело опять затягивается. Адвокат, к которому мы хотим попасть, сейчас в отъезде. Так что я не знаю еще, когда буду дома. Задержка больше всего пугает меня тем, что ты можешь потерять Джайлса Уинтерборна. Я не сплю по ночам, думая, что, пока мы тут тянем время, он может почему-то обидеться на тебя или от застенчивости совсем уехать из наших мест. А я решил бесповоротно: Джайлс или никто. Пожалуйста, Грейс, будь с ним ласковее, хотя, быть может, это и преждевре-

менно. Но я верю, что Господь простит нас, когда вспоминаю, сколько мы натерпелись. У меня есть еще одна причина, почему я так уповаю на твою дружбу с Джайлсом: я уже стар и чувствую, что дело идет к концу, — последние события совсем доконали меня. И пока ты не устроена, я не умру спокойно».

В конце письма стояла приписка: «Только что стало известно, что адвокат вернулся, и завтра мы идем к нему. Вероятно, буду дома к вечеру того дня, как ты получишь письмо».

Чувства Грейс совпадали с желанием отца, и все-таки вчера Грейс чуть было не нанесла глубокого оскорбления Джайлсу. Стараясь изо всех сил снова стать простой деревенской девушкой, как хотел того отец, желая вытравить из себя мисс — точнее, миссис недотрогу, — она споткнулась на первом же шагу: именно эта «мисс недотрога» вдруг ожила в ней, вопреки всем ее добрым намерениям. Отец, вернувшись и увидев, что Джайлс обижен, упрекнет ее за строптивость: когда-то она противилась воле отца, настаивавшего на браке с Фитцпирсом, а теперь отваживает бедного Уинтерборна.

В тот день Уинтерборн работал в саду напротив окна Грейс. Он решил не втягивать больше

Грейс в эти опасные разговоры. Но если бы у него было как раз обратное намерение, если бы он был самым искусным обольстителем, он вряд ли придумал бы более верный способ возбудить ее интерес. Грейс не могла разглядеть, чем занимается Джайлс, но видела, что он все еще расстроен: он ходил по саду с самым сосредоточенным видом и ни разу не взглянул в сторону ее дома.

О, как хотела она помириться с ним! Отец ее возвращался вечером — это значит, что очень скоро никакие формальности не будут стоять между ними, замужество ее потеряет силу и она станет свободной. И подумать только, что у них с Джайлсом размолвка! Как она взглянет в глаза отцу?

Был июньский день, яркий от молодой зеленой листвы. Грейс вышла в сад и села на стоявший под лавровишней стул, сколоченный из голых дубовых ветвей, оставшихся после заготовки коры. Глянцевые темно-зеленые листья над головой упруго шелестели от налетавшего ветерка, но Грейс, защищенная ими, не чувствовала даже слабого дуновения. Весь день она ожидала, что Джайлс придет осведомиться, как она доехала вчера до дому, или найдет другой предлог, но он не пришел. А теперь все ходил по соседнему саду,

точно дразнил ее. Грейс не спускала с него глаз.

Работа Уинтерборна была прервана появлением Кридла, принесшего письмо. Грейс догадалась, что Кридл вернулся из Шертона, где перед отъездом в Хинток заглянул на почту, чтобы прихватить письма, полученные дневной почтой, которые почтальон должен был доставить на другой день. Грейс любопытствовала узнать, что содержало письмо Джайлса: отец, верно, решил и ему отправить еще одно напутственное послание.

Но письмо, по-видимому, не имело к ней никакого отношения. Джайлс прочитал его и тотчас пошел к воротам, ведущим из сада, точнее говоря — к проему в живой изгороди, если можно так назвать невысокую бровку, поросшую кое-где кустами. Он вышел в лес и, без сомнения, зашагал в сторону своей таинственной хижины, которая находилась где-то в другом конце леса.

Шуршит в песочных часах струйка быстротечного времени: Грейс в эти дни не раз слыхала ее печальный звук, — и вот опять, вспомнив, подобно Джайлсу, печальные предчувствия отца, задумалась она о том, как быстро летит время. Ее девическая свежесть поблекнет, и давняя многострадальная любовь Джайлса может вдруг

оборваться — оборваться в эту самую минуту. Мужчины ведь так странно устроены. Мысль эта произвела переворот в душе Грейс: от ее застенчивости не осталось и следа. Она решила действовать немедленно. Если после вчерашней размолвки или ссоры — называйте как хотите — необходимо восстановить мир, то она сделает это сейчас же. Грейс встала со стула, вышла за ворота, пересекла сад, где работал Джайлс, и, пройдя сквозь проем в изгороди, устремилась вслед за Джайлсом, чья фигура, удаляясь, мелькала между деревьями, подобно фавну, резвящемуся под зеленым пологом на мягком коричневом ковре.

Грейс ошиблась — очень сильно ошиблась, — предположив, что письмо не имеет к ней отношения, раз Джайлс, прочитав его, не поспешил к ней, а ушел в лес. Но Джайлс, как это ни прискорбно, именно поэтому и пошел в лес, что содержание письма прямо ее касалось. Он побоялся, что она увидит, как вдруг опечалилось его лицо.

Письмо было от Бокока, отослано вслед за посланием Мелбери Грейс и содержало плохую весть.

Джайлс когда-то оказал услугу этому непутевому малому, и теперь тот по-своему решил отблагодарить его. За несколько дней в компании

Мелбери он, конечно, немало наслышался о его искупительных планах в отношении Джайлса и поспешил поэтому уведомить его о том, что их попытка спасти Грейс не удалась: боялся, как бы молодой человек, надеясь на успешный исход дела, не поставил себя в фальшивое положение. В письме Бокок писал, что поведение Фитцпирса оказалось недостаточно вопиющим для расторжения брака и что Грейс, по всей вероятности, суждено до самой могилы оставаться его женой.

Все обиды и сомнения тотчас вылетели из головы Уинтерборна, и огромная — всепрощающая и вместе с тем мучительная — любовь к бедняжке Грейс захлестнула его. Такое действие оказало на Джайлса это роковое известие.

Навсегда отказаться от нее… это значит конец всему. Нечего больше сомневаться, подходят ли они один другому, не будет больше размолвок из-за разницы вкусов. Опять между ними воздвиглась стена. Грейс никогда не будет принадлежать ему. С нестерпимой болью вспомнил он, как совсем недавно радовались они вновь обретенной надежде. Как могли они быть до такой степени наивными, чтобы поверить в возможность чуда?

Вдруг Уинтерборн услышал, что кто-то нагоня-

ет его, и, обернувшись, увидел, как Грейс чуть не бегом бежала за ним сквозь чащу. Он сразу понял, что ей еще ничего не известно.

— Джайлс, почему ты не зашел ко мне? — спросила Грейс с ласковым упреком. — Разве ты не видел, что я весь день сидела в саду?

— Видел, — ответил Уинтерборн, захваченный врасплох. Он еще не успел сообразить, как теперь вести себя с Грейс.

Грейс же, введенная в заблуждение его тоном, подумала, что ее слова опять обидели его, и решила быть с ним помягче, отчего щеки ее слегка зарделись.

— Я получила еще одно письмо от отца, — поспешно продолжила она. — Он, наверное, приедет сегодня вечером. И ему будет очень неприятно — ведь ты знаешь его мечту, — что мы с тобой поссорились.

— А мы не ссорились, — ответил Джайлс, глядя на нее печально и ломая голову над тем, какими словами высказать Грейс горькую правду.

— Я боюсь, что ты все еще дуешься на меня за то, что мне не понравилась та харчевня.

— Нет, я не дуюсь.

— А почему у тебя такой несчастный вид? — спросила Грейс, подойдя к нему совсем близко и

прелестно улыбаясь. — Ты не веришь, что будешь когда-нибудь счастлив?

Джайлс несколько секунд молчал.

— Я буду счастлив не раньше, чем луч солнца коснется северной стены Шертон-Аббас, — глухо проговорил он, глядя в землю.

— Но тогда, значит, есть еще что-то, кроме обиды из-за этой глупой харчевни? Может, ты сердишься, что я… не позволила тебе поцеловать меня? Но, Джайлс, ты ведь знаешь, это не потому, что я не питаю к тебе никаких чувств, я просто думала тогда, что еще рано, хотя мой бедный отец думает другое. Это одна-единственная причина, честное слово. Я не хочу обижать тебя, Джайлс: видит Бог, не хочу, — сказала она, и голос ее задрожал. — Может быть, раз уж я вот-вот стану свободна, я не права, и нет ничего дурного, если ты поцелуешь меня.

«О господи!» — взмолился про себя Джайлс. У него закружилась голова, но он все еще упорно смотрел в землю. Последние несколько минут он видел, как соблазн по всем правилам военного искусства вел против него осаду, и вот наконец он в плену. Для Джайлса, чья жизнь была так проста и бесхитростна, так неукоснительно подчинена требованиям дедовской морали, было страшным

грехом, почти преступлением воспользоваться неведением Грейс и уступить ей.

— Ты что-то сказал? — спросила Грейс смущенно.

— Нет, я только…

— Ты веришь, что раз мой отец возвращается сегодня вечером, то, значит, все уже окончательно решено? — спросила она обрадованно.

— Да…

— Тогда почему же ты не делаешь того, что хочешь? — сказала она чуть ли не с досадой.

И хотя Уинтерборн отчаянно боролся с собой, хотя дорожил добрым именем Грейс как зеницей ока, он был мужчина, а мужчины не боги, как говорила Дездемона. И перед лицом этой нежной соблазнительницы, не ведающей, что творит, не искушенной в мирских делах и требованиях света, Уинтерборн не устоял. Поскольку так уж получилось, поскольку Грейс, считая себя свободной, сама просила его доказать ей свою любовь, а любовь его была самой искренней и верной, поскольку жизнь коротка, а человек слаб, он не устоял перед соблазном, хотя знал, что Грейс безвозвратно потеряна для него. В эту минуту Уинтерборн не думал больше ни о прошлом, ни о будущем; настоящее сулило ему блаженный миг:

один-единственный раз прижмет он к груди ту, которую он так давно знал и любил.

Грейс вдруг отпрянула, прервав долгое объятие и поцелуй.

— Правда ли, что я свободна? — прерывающимся голосом прошептала она. — Не поступаем ли мы плохо? Действительно ли есть такой закон? Не мог же отец так легкомысленно…

Уинтерборн молчал, и Грейс, сама того не желая, разрыдалась.

— О, почему отец не возвращается, — плакала Грейс, уткнувшись Уинтерборну в грудь. — Скорей бы уж он приехал и все объяснил. Это безжалостно — сначала велеть мне… а потом так долго не приезжать… я не знаю, кто я теперь. А вдруг мы поступили дурно?

Ко всем прежним горестям, выпавшим на долю Уинтерборна, прибавилась еще одна: он чувствовал себя Каином, убившим родного брата. Как мог он взять на душу столь тяжкий грех: умолчать о том, что ему было известно. Уинтерборн отпустил Грейс и отвернулся: раскаяние все сильнее мучило его. Как осмелился он даже помыслить поцеловать Грейс. Уинтерборн сам едва сдерживал слезы. Трудно было представить себе более несчастное существо, чем Грейс — жертву отцов-

ской слепоты и его благих намерений.

Даже в тот момент, когда Мелбери, сам вполне уверенный, убеждал его, что несчастье Грейс легкопоправимо, Джайлс питал в душе подозрение, что любой закон, будь то новый или старый, потребует ее личного присутствия в суде, но не знал, как вывести Грейс из приятного заблуждения, будто для освобождения от ненавистных уз достаточно будет росчерка пера, как об этом говорил Мелбери, но ему и в голову не могло прийти, что дело Грейс безнадежно.

Бедняжка Грейс, видя, как расстроился Уинтерборн, и подумав, должно быть, что нечего поднимать такой шум из-за одного поцелуя, каким бы долгим он ни был, перестала плакать и улыбнулась сквозь еще не просохшие слезы.

— Я рада, что мы снова друзья, — сказала она. — Если бы, Джайлс, ты проявил такую же смелость до моего замужества, то первым назвал бы меня своей. А когда мы станем мужем и женой, ты, я надеюсь, не будешь плохо обо мне думать из-за того, что я позволила тебе немного больше, чем должна была: ведь ты знаешь, мой отец стар и обременен болезнями и хочет по возвращении видеть, что согласие между нами восстановлено.

Чем ласковее были слова Грейс, тем горше

звучали они для Уинтерборна. Как могла Грейс так доверчиво отнестись к беспочвенным мечтаниям своего отца? Уинтерборн не находил слов, чтобы сказать Грейс правду, но понимал, что это нужно сделать, и казнился сознанием собственной трусости.

Свыше его сил было нанести Грейс такой удар. Много нежных слов было сказано по дороге домой. День уже клонился к вечеру, когда Уинтерборн решился наконец открыть Грейс глаза.

— Возможно, мы ошибаемся, — начал он, замирая от страха, — считая, что дело может быть улажено в такой короткий срок. Мне почему-то кажется, что даже новый закон не имеет силы расторгнуть узы брака без того, чтобы заинтересованное лицо не было вызвано на публичное судебное разбирательство. И если возникнут какие-нибудь препятствия и мы не сможем стать мужем и женой…

Кровь медленно отливала от лица Грейс.

— О Джайлс! — воскликнула она. — Ты, верно, слыхал что-нибудь? Значит, отец, находясь сейчас там, сам ничего сделать не может? Но ведь он писал, что дело уже почти решено! О Джайлс, Джайлс, не обманывай меня! После того, что мы сейчас сделали, как я буду смотреть людям

в глаза!

Нет, Уинтерборн решительно не мог произнести роковых слов. Непоколебимая вера Грейс в его благородство полностью обезоруживала.

— Я ничего не знаю, — прошептал он охрипшим голосом, точно прошуршал под ногами сухой лист. — Твой отец скоро вернется. И тогда мы все узнаем. Идем, я провожу тебя домой. — Как ни дорога была ему Грейс, он сдержанно протянул ей руку и прибавил: — По крайней мере до ворот.

Так они шли вдвоем, пребывая в полном смятении чувств. Грейс от надежды переходила к отчаянию и снова к надежде. Проселок был в нескольких минутах ходьбы, и, дойдя до него, они вдруг услыхали громкий возглас:

— Отпусти ее руку!

Секунду они точно не слышали этих слов.

— Отпусти ее руку! — повторили еще громче и настойчивее.

Это кричал Мелбери. Он вернулся раньше, чем они ожидали, и вышел им навстречу. Грейс отдернула руку с быстротой молнии, как только смысл отцовских слов дошел до нее.

— Я не виню вас, не виню, — проговорил Мелбери сломленным голосом, как человек, понесший тяжкое наказание. — Вы не должны больше

видеться. Я был введен в заблуждение, жестоко обманут. Ничего не говори, Джайлс. И уходи.

По-видимому, Мелбери не знал, что Уинтерборну уже известна несчастная новость. Молодой человек ушел, оставив отца с дочерью вдвоем, и Мелбери повел Грейс в комнату, служившую конторой. Там он сел за свое бюро и низко опустил голову. Грейс не спускала с отца тревожного взгляда.

Наконец Мелбери пришел в себя.

— Ты жена Фитцпирса, как и была, — проговорил он тихо. — Меня обманули. Мало он причинил тебе зла! Ты по-прежнему его собственность.

— Тогда пусть так все и будет, и не надо больше касаться этого, отец, — сказала она голосом, полным скорбного достоинства. — У меня хватит сил все вытерпеть. Твое состояние меня гораздо больше тревожит.

Грейс нагнулась к отцу и обняла его за шею, отчего тот вконец расстроился.

— Моя судьба безразлична мне, — продолжала Грейс, — мне все равно, чья я жена и чьей могла бы стать! Я люблю Джайлса: с этим ничего не поделаешь, — и я зашла с ним дальше, чем должна была, знай я, как в действительности обстоит

дело. Но я ни в чем не упрекаю тебя.

— Значит, Джайлс ничего тебе не сказал? — спросил Мелбери.

— Нет, — ответила Грейс. — Он ведь ничего не знал, иначе вел бы себя по-другому. Да ему и неоткуда было узнать.

Отец ничего не сказал на это, и Грейс ушла к себе, высказав желание побыть одной.

Печали ее были многообразны; главную же она забыла, думая только о своем вольном поведении с Уинтерборном. Их любовь была краткой, как миг, но не менее сладостной от этого. А вдруг он станет, по зрелом размышлении, презирать ее за то, что она позволила себе забыться. Какая наивность — поверить в свое освобождение и так непозволительно вести себя! Она корила свое неведение, но в самой глубине сердца была благодарна ему за то мимолетное счастье, которое испытала.

Глава XL

Жизнь героев этого повествования влачилась последующие месяцы печально и уединенно. Грейс редко выходила из дому и ни разу не покидала пределы отцовской усадьбы: боялась, что встретит Джайлса Уинтерборна, — а этого ей было не перенести.

Унылое, в четырех стенах, существование этой добровольной затворницы, казалось, будет длиться бесконечно. Она узнала, что существует только одна возможность обрести свободу: Фитцпирс не должен возвращаться достаточно долго, — тогда в глазах закона она будет брошенной женой. Но она не позволяла себе думать об этом и, уж конечно, не тешила себя новой надеждой. Ее чувство к Уинтерборну под действием нервного шока, нанесенного известием, привезенным отцом, очистилось от всего мирского, земного и стало тихой, светлой привязанностью.

Что касается Джайлса, то он лежал больной — точнее, полулежал — на своем пуританском ложе в скромной лесной хижине. Лихорадка, время от времени возвращавшаяся к нему — осложнение, оставленное прошлогодней простудой, — разыг-

ралась с крушением надежд особенно жестоко. Ни одна душа не знала о его болезни, а сам он считал ее несерьезной и не обращался к доктору. В самом деле, спустя три-четыре дня он почувствовал себя лучше, поднялся с постели и, надев пальто, стал приводить в порядок немудреное хозяйство.

Вот как обстояли дела, когда вдруг безмятежность полусонного существования Грейс была нарушена точно ударом грома. Она получила письмо от Фитцпирса.

Письмо было написано в спокойном и мягком тоне, но смысл его был ужасен. В отсутствие мужа Грейс мало-помалу привыкла думать о нем без раздражения и в конце концов почти забыла, каким тягостным было для нее его присутствие. Фитцпирс писал коротко и без рисовки: не просил прощения, а сообщал только, что живет один и что по зрелом размышлении отчетливо осознал необходимость воссоединения, если, конечно, Грейс готова простить его. С этой целью он намеревается пересечь Ла-Манш и в указанный день появиться в Бедмуте. Грейс посчитала, и оказалось, что это случится не далее как через три дня.

Еще он писал, что не может вернуться в Хинток

по причинам, которые отец ее поймет лучше, чем она. Единственный выход он видит в следующем: Грейс должна приехать в порт и встретить пароход, который прибудет около полуночи, захватив с собой кое-какие необходимые вещи. Затем они без промедления сядут на другой пароход, отправляющийся почти тотчас же, а достигнув Франции, поселятся в его доме на континенте. Где именно, он не писал. Фитцпирс, видимо, и часу решил не задерживаться на английской земле.

Встревоженная Грейс понесла письмо отцу, который, как зимой, просиживал теперь долгие вечера у камина, по-летнему холодного. Рядом с ним стоял кувшин с сидром, покрытый слоем пыли, — Мелбери редко прикасался к нему. Прочитав письмо, лесоторговец взглянул на дочь и заявил:

— Ты никуда не поедешь!

— И я решила, что не поеду, только не знала, как ты на это посмотришь.

— Если он вернется в Англию, поселится неподалеку отсюда и захочет, чтобы ты жила в его доме, я не стану препятствовать, — проговорил Мелбери. — Мне будет одиноко без тебя, но ты должна жить в своей семье и не стыдиться людей. Что же касается твоего переселения за границу,

то я никогда на это не соглашусь.

На том и порешили. Грейс не могла ответить мужу, поскольку он не написал адреса. Прошел день, другой, наконец наступил третий вечер — тот самый, когда Грейс должна была встретить мужа в Бедмуте. Весь этот день Грейс провела дома, в четырех стенах.

Тревога, гнетущая неизвестность черными тучами нависли над домом Мелбери. Все говорили почти шепотом, ожидая в страхе, что еще предпримет Фитцпирс. Была надежда, что, не встретив Грейс, он уберется обратно к себе во Францию. Что же касается Грейс, то она готова была написать ему самое ласковое письмо, только бы не возвращался.

Эту ночь Грейс провела без сна, в неослабеваемом нервном возбуждении; не сомкнул глаз и отец семейства. Когда на другое утро семья собралась за завтраком, все были бледные и встревоженные, но о том, что было у каждого на уме, не заговорил никто. День миновал безо всяких происшествий, как и предыдущий, и Грейс начала уже думать, что супруг, повинуясь внезапному капризу, к чему он был склонен, передумал и расхотел возвращаться к жене, как вдруг кто-то из соседей, побывавший в Кэстер-

бридже, наведался к Мелбери и сообщил новость: Фитцпирс едет домой, в Хинток. Его видели, когда он нанимал карету в гостинице «Кинг армз».

Новость эту сообщили в присутствии дочери.

— Ну вот что, — сказал твердо Мелбери, — придется делать хорошую мину при плохой игре. Доктора, видно, гонит сюда раскаяние. Я слыхал, что соучастница его глупостей бросила его и уехала в Швейцарию, из чего, видно, следует, что эту главу его жизни можно считать оконченной. Если он едет сюда с благим намерением, я думаю, Грейс, ты не вправе сказать ему «нет». Я, конечно, понимаю, что возвращение в Хинток — удар для его гордости, но если он готов смириться и ничего лучше у него на примете нет, что же, милости просим: одно крыло этого дома по-прежнему пустует.

— О отец! — побледнев, воскликнула несчастная Грейс.

— А почему ты должна оттолкнуть его? — спросил Мелбери.

Былая крутость характера нет-нет да и проглядывала в нем. К тому же он был расположен теперь более снисходительно отнестись к зятю, желая, видимо, загладить чрезмерную суровость последнего свидания.

— Разве это не самый благопристойный выход? — продолжал он. — Мне не нравится твое теперешнее положение: ты и не вдова, и не мужняя жена. Это и тебе обидно, и мне, и никто никогда в Хинтоке этого нам не простит. Не знавала еще семья Мелбери такого позора.

— Он будет здесь меньше чем через час, — прошептала Грейс.

В полумраке комнаты Мелбери не разглядел отчаянного выражения на лице дочери. Одного она не имела сил вынести, одного она страшилась более всего на свете — возвращения Фитцпирса.

— О, я не могу, не могу видеть его! — воскликнула Грейс, едва сдерживая рыдания.

— Не можешь, но должна попытаться, — упрямо возразил старик.

— Да-да, я попытаюсь! — не понимая, что говорит, откликнулась Грейс. — Я попытаюсь, — повторила она и бросилась вон из комнаты.

Во мраке гостиной, где скрылась Грейс, около получаса не было заметно никакого движения: только в одном углу слышалось быстрое, прерывистое дыхание. Впечатлительная натура Грейс, соединившая в себе современную нервическую утонченность с древней непреклонностью чувств, обрекла ее до самого дна испить чашу

страданий.

Окно было открыто. В этот тихий вечер конца лета любой звук, родившийся в этом уединенном крае, — птичий ли крик, голос ли человека или скрип колес — уносился за леса, в необозримую даль. Было очень тихо. Вдруг к дыханию Грейс примешался отдаленный, глухой постук колес и слабая дробь копыт по шоссе. Потом звук внезапно прервался, и это вернуло Грейс к действительности. Она знала, где сейчас находится экипаж: на вершине холма, через который пролегал тракт, убегавший мимо Хинтока на север. Как раз туда вышли они с миссис Чармонд из леса в холодный весенний вечер после памятного разговора. Грейс метнулась к окну, перегнулась через подоконник и прислушалась. Экипаж на гребне холма остановился, и один из путников с досадой воскликнул что-то. Потом другой голос отчетливо произнес:

— Черт возьми, почему мы остановились?

Грейс узнала голос: он принадлежал ее мужу.

Неисправность скоро была устранена, и Грейс услышала, как экипаж покатил вниз, свернул на проселок и выехал на просеку, ведущую к дому Мелбери.

Точно судорога прошла по телу Грейс. Инстинкт

целомудрия, сильный в девичестве, ожил в Грейс под влиянием вынужденного вдовства, скорое появление человека, который был ненавистен ей, и влечение к другому только усилило его. Она взяла одну из дощечек слоновой кости, лежавших на туалетном столике, написала карандашом на одной из них: «Я уехала к подруге», — положила в сумочку самое необходимое, и ровно через пять минут после того, как с дороги послышались голоса, ее тонкая фигурка, наспех закутанная в шаль, никем не замеченная, выскользнула через боковую дверь из дома Мелбери. Как на крыльях, не чуя под собой ног, бросилась Грейс через огород к проему в живой изгороди и по мшистой тропинке, затененной деревьями, устремилась вглубь хинтокского леса.

Шатер над ее головой зеленел последней зеленью и был так плотен, без единой прорехи, сквозь которую мог бы ворваться солнечный луч, что в самой чащобе царил мрак, какого никогда не бывает в зимнем лесу. Но там, где лес расступался, все было видно кругом. Лето подходило к концу, и в каждом луче солнца весело плясала мошкара, трава отяжелела, унизанная каплями росы, из низин после ливней тянуло сыростью и вечерней прохладой.

Деревья, кусты, трава — все было точно заколдовано в этот предвечерний час. Облаченный в зеленую тяжелую плоть, лес был полон об эту пору фантастических чудес, не то что зимний, сквозной, являющий взору только путаницу линий. Гладкие лаковые листья глядели, точно безвекие слепые глаза; угасающие лучи, пробравшиеся с трудом в этот зашторенный мрак, освещали там и сям странные, жуткие лица и фигуры; полоски неба в нижнем ярусе леса между голыми стволами были точно призраки, а верхушки кустов колебались, как тонкие узкие языки.

Но страхи Грейс порождались отнюдь не игрой воображения; она замечала, конечно, преображенный вечерними тенями лес, но мимоходом. Грейс старалась идти как можно тише, неслышно ступая по мягкому мху и траве, обходя лысые, не устланные листвой места. Один-два раза она остановилась, затаив дыхание: ей чудилось, что за биением сердца она различает скрип экипажа Фитцпирса, въезжающего в ворота отцовской усадьбы. И она опять чуть не бегом устремлялась вперед.

Хинтокский лес — угодья миссис Чармонд — скоро остался позади. Он отделялся от остального

леса бровкой, по которой шла когда-то живая изгородь, уже давно засохшая от недостатка солнца. Грейс шла очень осторожно, не испытывая обычной радости, сопутствующей таким дальним прогулкам. Она не боялась лесных опасностей, ее страшило то, что могло бы помешать ее бегству и возвратить домой.

Она прошла уже мили три-четыре, когда вдали за деревьями замелькал вдруг желанный огонек, предвещающий путнику кров и отдых. Он был так мал, что пришелец из чужих краев мог бы подумать, не злоумышленник ли зажег его, но Грейс именно к нему и стремилась. Она пошла быстрее, и скоро стали различимы за деревьями контуры какого-то строения.

Это была лесная хижина под четырехскатной крышей с трубой посредине. В прежние времена, когда древесный уголь был единственным топливом в этих краях, она служила приютом угольщикам. Ее окружал небольшой огороженный дворик, затененный деревьями, где по этой причине не росли ни цветы, ни овощи. Грейс подошла к окну, в котором светился огонек (ставни еще не были закрыты), и заглянула внутрь.

В хижине была всего одна комната, служившая одновременно кухней, гостиной и спальней. Зем-

ляной — точнее, посыпанный песком — пол был неровный, весь в выбоинах от долголетней службы, так что немудреная мебель стояла вкривь и вкось, а стол был покатый, как ученическая парта. В очаге горел огонь, над которым запекалась подвешенная на шнурке тушка большого кролика. Уинтерборн стоял перед очагом, опершись рукой на полку и глядя на жарившуюся дичь. Он сосредоточился на какой-то мысли, но по выражению его лица трудно было сказать на какой; одно было ясно: мысли его далеко отсюда. Грейс подумала, что Джайлс изменился со времени их последней встречи. Лицо у него сильно осунулось, но Грейс в неярком свете очага не заметила этого.

Грейс вздохнула с облегчением, достигнув места, куда стремилась, подошла к двери и тихонько постучала.

Уинтерборн, привыкший к шорохам леса, стуку дятла и голосам лесных зверушек, не обратил внимания на легкий звук за дверью, и Грейс постучала еще раз. На сей раз он услышал и открыл дверь.

Когда свет из комнаты озарил ее лицо, он от неожиданности стоял секунду точно громом пораженный, потом, едва понимая, что делает,

переступил порог и взял обе ее руки в свои, а сердце его замирало от изумления, радости, тревоги и печали. С Грейс творилось то же самое; даже сегодняшнее потрясение не могло заслонить радости свидания с Уинтерборном.

Так они стояли. Ручьи слез катились по их лицам, белым как мел, от горького, щемящего душу восторга, пока наконец Джайлс не прошептал:

— Входи.

— Нет-нет, Джайлс! — поспешно запротестовала она, отступая от двери. — Я шла мимо… и решила поговорить с тобой. Но я не войду в дом. Ты не мог бы проводить меня? А то мне страшно. Я хочу окольным путем дойти до Шертона, а оттуда в Эксбери. Там живет моя школьная подруга. Но одной мне страшно идти в Шертон. Не можешь ли ты проводить меня немного? Не осуждай меня, Джайлс, и не обижайся! Мне ничего не оставалось, как прийти к тебе, потому что мне ведь не к кому больше обратиться за помощью. Три месяца назад ты был моим возлюбленным, теперь ты только мой друг. Закон встал между нами и наложил запрет на то, что было нашей мечтой. Ей не суждено сбыться. Но мы ведь можем вести себя достойно, и ты на один коротенький час станешь моим защитником. У меня нет больше никого…

Грейс не в силах была произнести больше ни слова. Зажав ладонью глаза, чтобы сдержать слезы, она беззвучно плакала: ни всхлипываний, ни рыданий не вырывалось из ее груди. Уинтерборн взял другую ее руку в свои и ласково спросил:

— Что случилось?

— Он вернулся.

Наступила могильная тишина. Наконец Уинтерборн проговорил:

— Ты хочешь, Грейс, чтобы я помог тебе бежать?

— Да, — ответила она. — Когда дело справедливо, условности не имеют значения. Я решила, что я могу довериться только тебе.

Уинтерборн понял из этих слов, что Грейс так и не узнала о его предательстве, если можно так назвать то сладостное злодеяние, которое он совершил в один из первых дней лета, ставший последним днем их любви; полный раскаяния, Джайлс искал случая загладить вину, и вот теперь случай такой представился.

— Идем, — сказал он. — Я только зажгу фонарь.

Он потянулся за фонарем, висевшим на вбитом в стену гвозде; рука его дрожала, но Грейс не заметила этого: ей и в голову не пришло, что выполнение ее просьбы угрожает здоровью

Джайлса, который еще не совсем поправился для подобных подвигов самопожертвования.

Фонарь засветили, и Грейс с Уинтерборном отправились в путь.

Глава XLI

Первую сотню ярдов они проделали под сомкнутыми неподвижными кронами, в чьих маковках уже шуршали первые капли дождя. Когда они вышли на просеку, дождь лил уже вовсю.

— Как неприятно! — сказала Грейс, силясь улыбнуться, чтобы скрыть охватившее ее беспокойство.

Уинтерборн остановился.

— Грейс, — сказал он, сохраняя сугубо деловой тон, что ему плохо удавалось, — ты не должна идти сегодня в Шертон.

— Но это необходимо.

— Почему? Это ведь девять миль отсюда.

— В самом деле, почему? — после недолгого молчания проговорила Грейс. — Что такое для меня моя репутация?

— Послушай, а ты не можешь… вернуться к твоему…

— Нет-нет-нет! Не заставляй и ты меня возвращаться, — воскликнула Грейс так горестно, что у Уинтерборна сжалось сердце.

— Тогда идем обратно.

Они медленно пошли к хижине, опять оста-

новились на пороге, и Уинтерборн решительно заявил:

— Этот дом теперь твой. У меня есть поблизости уютный уголок, где я прекрасно устроюсь на время.

Лицо Грейс опечалилось.

— О, — прошептала она, поняв, что предлагает Уинтерборн. — Что я наделала!

Из двери потянуло горелым, и Уинтерборн заглянул в окно. Молодой кролик, его недельный запас еды, начал обугливаться.

— Иди, пожалуйста, в дом, — сказал он Грейс, — и сними кролика с огня. Потом занимайся чем хочешь. Я ухожу. В доме ты найдешь все необходимое.

— Но, Джайлс, как же твой ужин! — воскликнула Грейс. — Лучше я пойду в твой уютный уголок. Мне ведь только до утра.

Уинтерборн покачал головой:

— Говорю тебе, иди в дом: еще простудишься, — в тебе чуть душа держится. А ужин подашь мне через окно, если у тебя хватит сил что-нибудь приготовить. Я подожду.

Он легонько подтолкнул ее к двери и вздохнул с облегчением, увидев, что она присела на край его постели. Не переступая порога, он затворил

за ней дверь и повернул ключ в замке, затем постучал в окно. Грейс приоткрыла раму, и он протянул ей ключ.

— Дом твой заперт, — сказал он. — И ты в нем хозяйка.

Угнетенная своими заботами, Грейс, однако, не могла не улыбнуться такой необыкновенной деликатности Джайлса.

— Ты себя лучше чувствуешь? — продолжал он. — Если лучше и есть желание возиться с ужином, то приготовь мне чего-нибудь поесть. Если же неохота, то и это не страшно. Я найду чем поужинать.

Благодарная Джайлсу за его доброту (она и не подозревала, как на самом деле велика была его жертва), Грейс принялась действовать. Через десять минут она опять подошла к окну и шепотом позвала Джайлса. Уинтерборн в тот же миг выступил из тени, и Грейс протянула ему в окно порцию еды на тарелке.

— Мне так неприятно, что я лишила тебя крова, — проговорила она тоном глубокого сожаления, вслушиваясь в частую дробь дождя по листьям. — Но ничего другого, наверное, придумать нельзя.

— Нельзя, — быстро согласился Уинтерборн.

— Мне кажется, я и к утру не дошла бы до Шертона.

— Конечно, не дошла бы.

— А у тебя правда есть где спрятаться от непогоды? — спросила Грейс: в ней опять заговорили угрызения совести.

— Разумеется. Ты нашла все необходимое? Боюсь, что хозяйство мое бедновато.

— Разве это теперь имеет для меня значение? Я ведь уж давно не та, Джайлс, и ты это знаешь, должен знать.

Его глаза печально всматривались в бледное выразительное лицо Грейс. Оно то и дело менялось, отражая гамму всевозможных чувств, что говорило о крайнем душевном волнении. Сердцу Уинтерборна было тесно в груди от жалости к этому беззащитному существу, попавшему в стальные тиски обстоятельств. Он забыл собственные беды, радуясь, что смог хотя бы приютить Грейс. Взяв из ее рук тарелку с едой и чашку, он сказал:

— Я закрою и ставню. Внутри есть шпенек, на который надо надеть болт. Спи и ни о чем не думай, а утром я постучусь.

Грейс испуганно спросила, не уйдет ли он далеко.

— Нет-нет, — поспешил успокоить ее Уинтерборн. — Я буду совсем рядом. Если ты позовешь меня, я услышу.

Грейс надела на шпенек болт, как было сказано, и Уинтерборн ушел в темноту ночи. Его «уютный уголок» оказался жалким шалашом: четыре плетня под папоротниковой крышей, с настилом из мешков, сена, сухих веток. Уинтерборн опустился на землю и принялся было за ужин, но есть уже не хотелось. Он отставил тарелку в сторону и растянулся на своем травяном ложе, пытаясь уснуть: время было позднее, — но сон никак не шел. На это было много причин, но самой главной, пожалуй, были мысли о его подопечной. Он сел и посмотрел в сторону хижины, стараясь различить ее очертания в промозглой тьме. Хижина была такой же, как всегда, и ему не верилось, что внутри, под ее крышей, нашел приют дорогой друг — он не позволил себе назвать Грейс более нежно, — который так неожиданно появился здесь, в лесной чаще, поступив, Уинтерборн должен был это признать, пожалуй, несколько необдуманно.

Он не решился расспросить Грейс обо всем более подробно, но дело и без того было ясно. Хотя закон отнял у него надежду на райское

блаженство, Уинтерборн не без стоической гордости отнесся к выпавшему сегодня на его долю нелегкому испытанию. Был на земле только один человек, которому Грейс доверяла безгранично, и этим человеком был он, Джайлс Уинтерборн. Соображение, что сегодняшнее событие вряд ли приведет к чему-нибудь иному, кроме новой печали, на минуту было перечеркнуто этой горделивой мыслью о доверии, и чистое, святое чувство, с каким он откликнулся на призыв о помощи, сделало то, что греховное совершенно исчезло из его мыслей о Грейс.

Дождь все не прекращался, и скоро капли стали пробивать тощий навес над головой. Он поднялся было, чтобы заделать щели, но колени дрожали, а сердце так лихорадочно колотилось, что он оставил мысль противоборствовать стихиям и лег опять, стараясь выбрать место посуше. Он сердился на себя за свою слабость, он, который был всегда так силен. Надо было во что бы то ни стало скрыть от Грейс свое недомогание, а для этого она не должна видеть его лицо при дневном свете, иначе ввалившиеся щеки тотчас выдадут его.

На другое утро, чуть только забрезжило, он поднялся и, едва передвигая ноги, занялся хозяйством, чтобы Грейс имела под рукой все, когда

будет готовить завтрак. На скамью под окном он поставил ведро с водой, положил охапку дров, пучок лучин и кусочком мела написал на скамье: «Будет лучше, если мы не увидимся. Завтрак оставь на скамье».

В семь часов он постучал к Грейс в окно, как и обещал, и поспешно ушел к себе под навес, чтобы она его не увидела. Он же сам хорошо видел из своего убежища, как она, услышав стук, открыла ставни и выглянула в окно. Томный взгляд ее больших глаз сказал ему, что и она спала в эту ночь не больше, чем он, а по красным векам было видно, что долго плакала. Грейс прочитала послание, и в лице ее, как показалось Джайлсу, мелькнуло разочарование. Она внесла в дом приготовленные воду и дрова, думая, по-видимому, что Джайлс куда-то спозаранку ушел. Джайлс, не выдавая своего присутствия, ждал, хотя и не сомневался, что деревенская девушка, пусть и получившая благородное воспитание, должна справиться с нехитрой кухонной работой.

В хижине все шло так, как представлял себе Джайлс, хотя Грейс спала значительно больше, чем он. После одиночества ночи ей очень хотелось повидать Джайлса, но, прочитав слова на скамье и поразмыслив над их значением, не ре-

шилась окликнуть его. Грейс нашла множество всякой провизии в доме: Уинтерборн пополнял свои запасы раз в неделю, а как раз вчера в Хинток приезжал из Шертона продуктовый фургон. Приготовив завтрак, Грейс выставила все наружу, как накануне вечером, а сама, несмотря на то что ей очень хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на него, поспешно отошла от окна, предоставив Джайлса самому себе.

Утро было свинцово-серое, дождь, немного передохнув, полил опять. Грейс, не видя и не слыша Уинтерборна, решила, что он ушел делать свою дневную работу. Она забыла, что накануне вечером он обещал назавтра проводить ее в Шертон. Роковая забывчивость! Весь день Уинтерборн находился в пятидесяти ярдах от нее, не имея сил двинуться.

Время тянулось медленно. Грейс не знала, когда отправиться в путь и на чем лучше добираться до Эксбери, поэтому не спешила покинуть гостеприимный кров. Дверь в хижину была крепко заперта на засов, так что никто чужой не мог заглянуть мимоходом. Грейс была в относительной безопасности за этими стенами — во всяком случае, в большей безопасности, чем где-либо.

Сырые сумерки осеннего дня усугублялись еще

плотным шатром листвы, ронявшей с каждым порывом ветра каскады капель. Начало осени в этом году выдалось дождливым. Грейс, томясь вынужденным бездельем, сидела у окна в единственной комнате и смотрела наружу, где копошились, занятые своими делами, непуганые обитатели лесного края: зубастые и с клювом, пернатые, чешуйчатые или одетые в мех, коленчатые, извивающиеся кольцами жители земных недр. Вся эта мелочь, полагая, что Уинтерборн совсем покинул хижину и теперь в ней никого нет, кружила около, прикидывая, нельзя ли использовать ее под зимние квартиры. Наблюдая за братьями меньшими, которым неведомы были ни законы морали, ни понятие греха, Грейс отвлеклась немного от своих несчастий. Миновал полдень, и она стала убирать хижину, внося кое-какие усовершенствования и представляя себе, как Джайлсу будут приятны следы ее хозяйствования.

Один-два раза ей показалось, что из-за деревьев донесся какой-то звук, точно там кто-то кашлял, но звук не приближался и она подумала, что это щелкает белка или какая-нибудь птица.

Стало наконец темнеть, и Грейс разожгла в очаге огонь побольше: вечер обещал быть про-

хладным. Когда совсем стемнело (час еще был сравнительно ранний) и в тени деревьев уже нельзя было разглядеть человеческое лицо, Грейс с облегчением услыхала слабый стук в окно: это мог быть только Джайлс.

Она поспешно открыла раму и протянула руку, узрев знакомые очертания его фигуры. Джайлс взял протянутую руку, и Грейс ощутила, какой горячей и бессильной была его ладонь.

«Он очень быстро шел, чтобы поскорее прийти», — подумала она. Откуда ей было знать, что он только что выполз из-под своего лиственного навеса и что сухой жар его руки был признаком вернувшейся лихорадки.

— Джайлс, ты такой добрый! — воскликнула она порывисто.

— Любой на моем месте поступил бы так же, — возразил Уинтерборн, стараясь говорить своим естественным тоном.

— А как мне все-таки добраться до Эксбери?

— Я думал об этом, — ответил Джайлс с заботливой почтительностью, — и решил, что самое лучшее остаться здесь, если ты хочешь, чтобы тебя не нашли. Ты знаешь, дом этот — твой, сколько бы ты здесь ни оставалась. А твой муж, видя, что тебя нет и что ты не думаешь возвращаться,

глядишь, через денек-другой уедет обратно. А я на днях схожу в Хинток разведать, как дела, и, если надо будет, провожу тебя в Шертон. Скоро начнется заготовка сидра, и мне все равно надо пойти туда узнать, какой нынче урожай яблок. Вот мы и пойдем вместе. Эти же два дня я буду очень занят.

Уинтерборн надеялся, что через два дня поправится и сможет проводить Грейс.

— Надеюсь, ты не очень предаешься унынию в этом невольном заточении?

Грейс ответила, что ей здесь хорошо, но все-таки вздохнула. Они так давно знали друг друга, что читали один у другого в сердце, как по книге.

— Я боюсь, ты раскаиваешься, — сказал Джайлс, — что пришла сюда. И еще ты, наверное, думаешь, что я должен был в первый же вечер проводить тебя?

— Нет-нет! Мой дорогой, мой единственный друг, — проговорила, волнуясь, Грейс. — Я сожалею только о том, что причиняю тебе такие неудобства: отняла у тебя твой дом, выгнала на улицу. И я не хочу больше молчать о своих чувствах! Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ни к одному человеку на свете я не отношусь лучше и никогда не буду относиться. Но поскольку я

поклялась принадлежать другому и закон не освободил меня, я не могу сейчас вести себя иначе, не могу нарушить клятвы. Я не считаю себя связанной с ним перед лицом высшей справедливости после всего, что он сделал. Но я дала слово и теперь за это расплачиваюсь.

Остаток вечера Джайлс рубил дрова, принес воды — словом, старался сделать все, чтобы на следующий день Грейс ни в чем не знала нужды. Время от времени они перекидывались словами, и Грейс ненадолго забыла о своих несчастьях и о том, что любовь ее к Джайлсу обречена. Единственным прегрешением Джайлса, если это можно назвать прегрешением, нарушившим принятый им обет святого служения Грейс, был невольный поцелуй, который он запечатлел на ее руке, протянутой в окно на прощание. Он знал, что Грейс плачет, хотя и не видел ее слез.

Она опять стала умолять Джайлса простить ее за то, что, думая только о себе, оставила его без крова. Но это всего на два дня — ведь ей необходимо уехать отсюда, успокаивала она себя.

— А я... я не хочу, чтобы ты уезжала, — сказал горячо Джайлс.

— О Джайлс! Я понимаю... понимаю, — ответила Грейс, — но ведь ты мужчина, а я женщина. Я

не могу сказать яснее… Я так хотела бы впустить тебя, но… ты понимаешь, о чем я думаю, ведь ты так хорошо меня знаешь.

— Да, Грейс, да! Я знаю, нерасторжимые узы твоего брака вполне определяют наши отношения. Я просто сказал то, что чувствую.

— Если я останусь, то самое большее через неделю меня здесь найдут, и, сколько мне известно, он может по закону потребовать моего возвращения.

— Да, ты, наверное, права. Ты уйдешь отсюда, когда захочешь, дорогая Грейс.

Может, все еще образуется, на прощание попытался утешить ее Джайлс, и Фитцпирс не будет навязывать ей себя, видя, какую это причиняет ей боль. Затем окно затворилось, ставни захлопнулись, и шорох его шагов умолк.

Не успела Грейс лечь в тот вечер в постель, как завыл ветер, и после первых яростных порывов полил дождь. Ветер дул все сильнее, буря разыгралась вовсю, и трудно было поверить, что не человек из плоти и крови, а нечто бестелесное, невидимое грохочет по крыше, с треском гнет ветви, прыгает с деревьев на трубу, сует голову в дымоход, завывает и свистит снаружи за каждым углом. Как в рассказах ужасов, нарушителем спо-

койствия был бесплотный дух, которого нельзя увидеть, а можно только ощущать. Первый раз за всю жизнь испытала Грейс страх перед бурей в ночном лесу, потому что никогда раньше не была так одинока. Ей казалось, что она раздвоилась: ее «я», энергичное и одушевленное ясным намерением, исчезло, оставив пустую оболочку.

Ветка соседнего дерева, которое раскачивалось чуть не до земли, как гигантская ладонь, била иногда по крыше, точно по лицу противника, и тотчас усиливалась барабанная дробь дождя, будто кровь брызгала из нанесенной раны. А ведь Джайлс там, снаружи, и Грейс не знала, хорошо ли он защищен от ненастья.

Мысль о замерзшем, промокшем до нитки Джайлсе становилась нестерпимой. Это по ее милости он мокнет сейчас в холодном осеннем лесу. Чтобы дать ей приют, он оставил свой дом, в котором была всего одна комната. Она не достойна была такой жертвы и не может принять ее. Беспокойство ее росло; думая о Джайлсе, она вдруг вспомнила некоторые особенности их сегодняшнего свидания через окно, которые ускользнули было от ее внимания. Его лицо, насколько она могла разглядеть, очень изменилось: щеки опали, яркость красок потухла. Она

не назвала бы теперь Джайлса родным братом осени. Она вспомнила, что и тон его голоса стал другим, и ходить он стал медленно: с трудом волочил ноги, как очень уставший человек. А те звуки, которые слышались ей весь день? Она еще подумала, что это щелкает белка. А вдруг это кашлял Джайлс?

Так постепенно Грейс пришла к убеждению, что Уинтерборн или болен, или только что встал на ноги после болезни и что все это время тщательно скрывал от нее свою хворь, чтобы она не терзалась совестью, принимая его гостеприимство, которое в силу обстоятельств требовало отсутствия хозяина дома.

— Мой бесценный, мой дорогой друг! Единственная отрада моего сердца! — воскликнула в сильной тревоге Грейс. — Нет-нет, этого больше не будет!

Соскочив с кровати, она раздула огонь, поспешно оделась и, взяв ключ, пошла к двери, находившейся в двух шагах: дом Джайлса был, к счастью, в один этаж. Грейс не сразу повернула в замке ключ: прижав руку ко лбу, на секунду замешкалась. В окно громко застучали сорвавшиеся с дерева капли, и Грейс решилась: повернув ключ, настежь распахнула дверь.

Темнота снаружи была такая непроглядная, что ее глаза точно залепило черной смолой. Только сейчас она поняла, какой был ливень: с карнизов падали настоящие реки. Она прислушалась, губы ее слегка приоткрылись. Придерживая одной рукой дверь, она вглядывалась в темноту, пока глаза не привыкли и не стали различимы размахи ветвей соседних деревьев. Подавив в себе робость, Грейс громко крикнула:

— Джайлс! Иди в дом!

Ответом ей был лишь шум ветра. Испуганная собственной безрассудной смелостью, Грейс бросилась в дом, захлопнув за собой дверь, но в комнату не вошла; а осталась стоять у порога, глядя в пол с пылающими щеками. А вдруг он совсем здоров? Но стыд очень скоро уступил место жалости. Грейс снова открыла дверь, на этот раз более твердой рукой.

— Джайлс! Джайлс! — опять закричала она, теперь уже во всю силу голоса, преодолев смущение. — Иди в дом! Иди скорее! Где ты? Я была слишком жестока, я думала только о себе! Ты слышишь меня? Я не хочу, чтобы ты оставался снаружи! Сейчас же иди в дом! Джайлс!

На этот раз он откликнулся. Его голос одним из голосов ненастья прилетел к ней сквозь тьму и

завывание ветра.

— Я рядом с тобой, Грейс. Не волнуйся. Все в порядке.

— Ты не хочешь идти под крышу? Но ведь ты, наверное, насквозь промок. Иди сюда. Мне теперь все равно, что обо мне подумают или скажут!

— Мне здесь хорошо, Грейс, — опять откликнулся Джайлс. — Не беспокойся. Иди спать. Доброй ночи!

Грейс вздохнула, отступила назад и медленно затворила дверь. Что теперь он подумает о ней после ее безрассудных слов? А может, она заметила в нем перемену, потому что давно не видела его? Говорят, время меняет людей не постепенно, а сразу. Ну что ж, она сделала все, что могла. Он сам не захотел вернуться в дом. И Грейс легла спать.

Глава XLII

На следующее утро Грейс спозаранку подошла к окну. Она решила во что бы то ни стало повидать Джайлса и принялась с воодушевлением готовить завтрак. Пробило восемь часов, и она вдруг вспомнила, что Джайлс не разбудил ее стуком в окно, как вчера, и беспокойство ее переросло в тревогу.

Завтрак был готов и поставлен на подоконник, но Джайлс не появлялся, и Грейс не отходила от окна. Пробило девять часов, завтрак остыл, а Джайлса все не было. Дрозд, распевавший одну и ту же песню на соседнем кусте, слетел на подоконник, схватил с тарелки кусок, проглотил и, озираясь по сторонам, клюнул еще. В десять часов Грейс убрала поднос и села за свою одинокую трапезу. Джайлса, наверное, позвали дела, и он ушел, благо дождь прекратился.

Грейс очень хотелось убедиться, правда ли Джайлса нет возле хижины, и она решилась было осмотреть все кругом, но передумала: день был погожий, и она испугалась, что ее увидит кто-нибудь из дровосеков или просто случайный прохожий. Одиночество ее в тот день усугубилось

еще тем, что остановились часы: в них кончился завод, и некому было завести их заново. В очаг с печальным шорохом падали хлопья сажи, намокшей от дождя. Однажды она услыхала за окном какое-то шуршание и выглянула: это тритон выполз из-под листьев, чтобы погреться последний раз на солнышке, которое появится теперь не раньше мая.

Грейс то и дело подходила к окну, но видела очень мало. Перед хижиной на земле лежала бурая масса прошлогодних листьев, а по ней были разбросаны зеленые, чуть подернутые желтизной листья этой осени, которые до времени сорвало с деревьев ночной бурей. У дома стоял развесистый старый бук с большими круглыми впадинами на стволе, откуда торчали когда-то могучие сучья; черный слизняк упорно полз по нему вверх; там и сям, точно ихтиозавры в музее, торчали скелеты облетевших кустов, как веревкой опутанные умирающей жимолостью.

Из другого окна был виден лес. Впереди стояли деревья в одеяниях из лишайника и мягких сапожках из мха. У корней лимонно желтели поганки, иные совсем без ножек, иные на тонких длинных ниточках под крошечными шляпками. Дальше вглубь деревья стояли плотной стеной;

они не раз бились в борьбе за жизнь, и сучья их хранили следы увечий. Грейс слышала шум битвы этих исполинов. Под ними из мха торчали, как черные зубы из зеленых десен, высокие трухлявые пни — полуистлевшие останки павших бойцов.

Мох рос везде: то светлыми, то темными зелеными островками среди прелой листвы — и походил то на маленькие елочки, то на плющ, то на малахитовые звезды, а то просто на мох и ни на что больше.

Этот день был невыносимо тягостным для Грейс, еще одного такого же она бы не вынесла. Наконец стало темнеть. Солнце, коснувшись подбородком окоема земли, нащупало слабое место в пелене туч, тонкие лучи его проникли сквозь сырую мглу леса, и мокрые стволы заблестели, а листья под буком, озаренные солнцем, загорелись алыми пятнами. Лучи скоро погасли, и на землю опустилась ночь. Джайлс должен был вот-вот вернуться, а Грейс уже не находила себе места от тревоги и неизвестности.

Простую вечернюю еду — чай и кое-какую снедь — Грейс поставила, чтобы не остыла, на решетку очага в ожидании хозяина, но он все не приходил. Вот уже около суток Грейс не видела

его. Тьма в комнате сгущалась, только огонь из очага бросал на стены неверный, колеблющийся свет. Грейс чувствовала, что, если не повидает Джайлса или все равно кого, эту ночь не переживет. Было уже, наверное, восемь часов, а в окне так и не обозначилась его фигура. Грейс не дотронулась до еды. Она сидела у очага, в котором тлели красные угли, обхватив руками колени. Потом вдруг встала, подошла к двери, отомкнув замок, приоткрыла дверь и прислушалась. С наступлением сумерек ветер стих совсем, но дождь опять зарядил, как прошлой ночью. Простояв у двери минут пять, Грейс вдруг услышала очень близко тот самый звук, похожий на кашель, который она слышала уже не раз. Если это кашляет Джайлс, то, значит, он здесь, рядом? Почему же тогда не подошел к окну?

Ужасное предчувствие сжало сердце Грейс: а вдруг он не может подойти, у него нет сил? Встревоженная не на шутку, Грейс искала глазами фонарь, который висел над ее головой: надо зажечь его и выйти посмотреть, тогда сразу все прояснится, — но она не решалась покинуть стены спасительного убежища. Вдруг из темноты до нее донеслись новые звуки, от которых Грейс облилась холодным потом. Она явствен-

но услышала чье-то бормотание. Сначала ей показалось, что говорят несколько человек, но скоро она поняла, что это один и тот же голос. Это был бесконечный, беспрерывный монолог: так бормочет бегущая в глухомани речка или шелестит о камни плющ. Грейс узнала голос: это говорил Уинтерборн. Но кто был его собеседник — такой бессловесный, такой терпеливый? Ибо хотя Уинтерборн и говорил что-то очень быстро и настойчиво, никто не возражал ему.

Страшная догадка молнией сверкнула в ее мозгу.

— О! — воскликнула она в отчаянии, едва попадая в рукава пальто. — Какое себялюбие, какой эгоизм! Всегда вести себя правильно! Слишком, слишком правильно! И вот теперь это глупое соблюдение приличий убивает человека с таким благородным сердцем, какое никогда еще не билось ни для одной женщины!

Осыпая себя упреками, Грейс засветила фонарь и, ни о чем больше не думая, бегом побежала туда, откуда доносилось бормотание. Она различила едва заметную тропку, ведущую к небольшому, величиной с копну, шалашу, находившемуся от дома шагах в пятидесяти. Когда начинался сезон рубки, подобные шалаши во множестве

появлялись в лесу. Это было совсем легкое строение, в котором нельзя было выпрямиться во весь рост: даже не сарай, а что-то вроде навеса для хранения дров. Одной стены не было вовсе, и Грейс, просунув фонарь внутрь, увидела то, что и ожидала увидеть. Оправдались самые худшие ее опасения.

Прямо на полу, на подстилке из сена, лежал ее Джайлс, одетый так же, как и прежде, все это время, только на голове ничего не было, и волосы в беспорядке спутались и свалялись. Платье его и сено были насквозь мокрые. Руки он закинул за голову, лицо пылало, глаза лихорадочно блестели и, хотя взгляды их встретились, Грейс поняла, что он не узнает ее.

— О Джайлс! — воскликнула она. — Что же я наделала!

Но она тут же перестала причитать. Надо было немедля действовать.

Как у нее хватило сил перенести Джайлса в дом, она потом не могла понять. Обхватив за туловище, она с трудом посадила его, затем уложила на один из плетней и, приложив все силы, потащила по тропинке к дому. У порога она передохнула и, поднапрягшись, кое-как втащила его в дом.

Было невероятно, что Джайлс, хотя и находив-

шийся в полубессознательном состоянии, так покорно подчинялся всему, что делала с ним Грейс. Но он не узнавал ее: ведя нескончаемую беседу с самим собой, он воображал ее не то ангелом, не то каким-то другим неземным существом, обитателем воображаемого мира, в котором он сейчас находился. Водворение Джайлса в дом заняло у Грейс около десяти минут, и вот теперь, к ее большому облегчению, он лежал в постели, в теплой комнате, под крышей, а мокрое платье его сушилось над очагом.

Несчастная Грейс поднесла свечу к лицу Джайлса и содрогнулась: глаза его не видели ничего вокруг, а бормотание становилось все более бессвязным. Сознание неслось сквозь вселенную мыслей, как комета в межзвездном пространстве, путем странным, непредугаданным и непостижимым.

Грейс была вне себя, почти так же как Джайлс, и сразу поняла, что он умирает. Не в силах противостоять порыву, она опустилась на колени и стала целовать его руки, волосы, лицо, приговаривая сквозь слезы:

— О, как я могла! Как я могла!

Грейс, верная своим нравственным принципам, до последних минут недооценивала величие

благородной души Джайлса, хотя знала его давно. Чистота помыслов, власть над низменными инстинктами, деликатность чувств — все это в полной мере открылось Грейс только сейчас, когда он так самозабвенно, без колебаний, пожертвовал собой ради нее. И та любовь, которую Грейс питала к Джайлсу (Артемида всегда преобладала в ней над Афродитой)[45], превратилась под действием этого открытия в благоговейный восторг.

Грейс ухаживала за Джайлсом, как самая заботливая сиделка, находя горькое удовлетворение в этом запоздалом проявлении любви, хотя он уже ничего не чувствовал. Она обмывала водой его пылающий лоб, гладила цепенеющие пальцы, смачивала губы, дула на горячие как огонь веки, вытирала обильно выступавший пот — словом, делала все возможное, чтобы уменьшить его страдания, используя домашние средства и собственную смекалку. Она была виновата в страданиях Джайлса, и к чувству безграничной жалости примешивалось раскаяние.

Полгода назад точно такая сцена разыгралась в Хинток-хаусе. Участники ее были самым тесным

---

[45] Примечания: 45

Артемида — в греческой мифологии целомудренная богиня луны, покровительница охоты; *Афродита* — богиня любви и красоты.

образом связаны с героями настоящей драмы, и внешне ситуации были схожи, но как бесконечно разнились планы духовные! Одно было общим — женская беззаветная преданность.

Исполнив обязанности сестры милосердия, Грейс взглянула на все еще бредившего Джайлса и поняла, что необходимы более решительные действия. Как бы ни хотелось ей одной ухаживать за ним, она видела, что надо как можно скорее позвать врача, пока еще теплится надежда на спасение. Это выдаст ее убежище, но Грейс теперь было все равно, даже если Джайлсу ничем уже помочь нельзя. Затруднение заключалось в другом: где взять в такую пору знающего врача?

Поблизости был всего один такой врач, и он мог бы спасти больного, если это еще возможно. Его необходимо сейчас же привести к постели Джайлса. И она попытается это сделать хотя бы ценой собственного возвращения домой.

Теперь она боялась только оставить Джайлса одного; минута текла за минутой, а Грейс все еще медлила. Наконец, уже около полуночи, больной забылся неспокойным сном, и она решила этим воспользоваться. Поправив ему подушку, одеяло, она быстро оделась, взяла из связки, висевшей в шкафу, свечу, зажгла и укрепила на столе так,

чтобы свет не падал ему в глаза и, притворив за собой дверь, чуть не бегом бросилась в Хинток. К счастью, дождь к тому времени перестал.

Образ Джайлса стоял перед ней всю дорогу, и она забыла про темноту. От непрестанных дождей гнилушки и прелые листья светились у нее под ногами и молочными брызгами разлетались в стороны. Она побоялась идти напрямик, чтобы не заблудиться в лесной чаще, а пошла по знакомой тропе вдоль опушки, которая скоро вывела ее на большак. Почувствовав под ногами ровную дорогу, Грейс побежала бегом. Силы ей придавала любовь к Джайлсу и страх за него; в том же решительном настроении миновала она холм Хай-стоу и скоро очутилась в Хинтоке, у того самого дома, откуда несколько дней назад бежала в таком смятении и страхе. Но за эти дни произошла ужасная, непоправимая беда, которая изменила все, и Грейс больше не думала ни о себе, ни о своем бегстве, ни о том, чем ей грозит появление в Хинтоке.

Грейс по-прежнему ценила в Фитцпирсе только его профессиональное умение. И это было справедливо. Если бы трудолюбие его равнялось уму, а не было спорадическим, от случая к случаю, то он давно бы уже не только в мечтах обладал

и богатством, и славой. Его независимый ум, свободный от предрассудков и не впадающий в ошибки, свойственные его собратьям, даже мешал ему в Хинтоке, где люди свято верили в лекарское искусство, не догадываясь, что природа — лучший врачеватель и что дело доктора только помогать ей.

Было уже за полночь, когда Грейс подошла к дому отца, в котором должен был снова обосноваться ее муж, если только сразу не уехал обратно. Выбравшись из лесной чащи, стеснившей хижину Уинтерборна, она заметила, что сырой ночной воздух был светел, несмотря на сплошной покров туч, — значит, поверх него в небе плыл нарастающий месяц. Ясно белели в темноте нижние и верхние ворота и белые шары на столбах; лужи, оставленные дождем, и полные воды колеи холодно поблескивали, как безжизненный взгляд мертвеца. Войдя во двор через нижние ворота, Грейс устремилась к тому крылу, которое после замужества принадлежало ей, и остановилась у окна спальни Фитцпирса.

Грейс глянула на темное стекло, за которым, возможно, почивал сейчас ее супруг, и мужество ее поколебалось.

— Вот сейчас я выдам свое присутствие челове-

ку, который причинил мне столько мук, — прошептала Грейс, прижимая руку к груди. — Увы! Доктор Джонс живет отсюда за много миль, а Джайлс, наверное, умирает. Что же еще мне остается делать?

Вся в поту — не от быстрой ходьбы, а от горьких мыслей и опасений, — Грейс подняла с земли камешек, бросила в окно и стала ждать. На двери по-прежнему висел колокольчик, который повесили, когда Фитцпирс водворился здесь, но им уже давно никто не пользовался — с тех пор как практика Фитцпирса сошла на нет, а сам он подался в бега, — и Грейс не решилась дернуть веревочку.

Кто бы ни спал сейчас в спальне ее мужа, но легкий удар камешка о стекло он услышал. Окно почти тотчас приоткрылось, и голос, который Грейс сразу узнала, спросил:

— В чем дело?

— Доктор, — проговорила она, изменив голос, чтобы не выдать себя, — в маленькой хижине по дороге в Делборо лежит тяжелобольной человек. Ему срочно нужен врач. Ради бога, помогите!

— Сейчас же иду!

В ответе Фитцпирса, неожиданно для Грейс, прозвучали удивление, готовность и даже

радость. Чувства эти были вызваны тем, что ночной вызов к больному означал возвращение к привычному делу, а это было так необходимо Фитцпирсу, который в порыве раскаяния покинул стезю ошибок и заблуждений, а дома нашел потухший очаг. Как хотел он сейчас достойной, полной труда жизнью загладить прошлое! Если бы первый вызов по возвращении был к больной кошке или собаке, он бы, кажется, и тогда не отказался пойти.

— Вы знаете туда дорогу? — спросила она.

— Да, — ответил он.

— Маленькая хижина по дороге в Делборо, — повторила она. — Только быстрее.

— Да-да, — ответил Фитцпирс.

Грейс, ни секунды больше не задержавшись, вышла через белые ворота, не затворив их, и поспешила к Уинтерборну. Значит, муж опять живет в доме ее отца. Как ему удалось помириться со стариком, на каких условиях был заключен мир — об этом она могла только гадать. Но в том, что соглашение было достигнуто, сомневаться не приходилось. Как ни важен был для нее этот вопрос, другой, более важный, заслонял его, и она почти бежала вглубь леса петляющими тропами.

Тем временем Фитцпирс собирался в путь. Какое-то странное, неясное предчувствие волновало его. Услыхав первое слово, произнесенное Грейс, он не узнал ее и ничего не заподозрил, но следующие слова насторожили: голос женщины за окном поразительно напоминал голос жены, но это не могла быть Грейс. Он знал, что она гостит у подруги, чтобы исподволь подготовить себя к примирению. Фитцпирс был сейчас в таком покаянном состоянии духа, что, услышав причину отсутствия жены, и подумать не смел поехать за ней, чтобы лишний раз не вызвать ее неудовольствия. Он не знал, в каком состоянии и в какой поспешности бежала она из дому: никто из домашних не сказал ему.

Мелбери, испуганный и встревоженный этим отчаянным шагом дочери, по зрелом размышлении решил оставить ее в покое. Хотя он был недоволен таким непослушанием, но чувства ее понимал, к тому же драматический ход событий, последовавший за его вмешательством, научил его воздерживаться от крутых мер. Он молил Бога, чтобы никакая опасность не встретилась ей на пути в Шертон, а затем в Эксбери, если она действительно отправилась туда. Он даже не стал наводить справок, что можно было бы ожидать

ввиду столь скоропалительного бегства дочери. Случись такое полгода назад, он непременно начал бы самое тщательное расследование.

Вот в каком настроении был Мелбери, когда молчаливо согласился принять зятя обратно в дом. Мужчины ни разу не видели друг друга, посредничала между ними жена лесоторговца, что очень облегчило Фитцпирсу возвращение под некогда столь гостеприимный кров. Декорум был соблюден, никто ни о чем не спрашивал. Фитцпирс вернулся, готовый во всем покаяться. Что было причиной такого перерождения, об этом будет сказано позже, но случайным оно не было. Услыхав в полночь голос, призывавший его к постели умирающего, он стал немедленно собираться, стараясь не шуметь и не делать переполоха, чтобы как можно лучше выполнить свой долг.

Он не стал будить конюха, чтобы оседлали лошадь или подали двуколку, а отправился в лес к одинокой хижине пешком следом за Грейс.

Глава XLIII

Грейс вошла в хижину, сбросила шляпку и пальто и приблизилась к постели несчастного. Он опять что-то быстро-быстро бормотал, руки его стали холодны как лед, и Грейс опять ощутила ужас, который отпустил было ее, пока ходила в Хинток.

Неужели Джайлс действительно умирает? Она опять обмыла ему лицо, поцеловала, позабыв все на свете; перед ней был человек, любивший ее, как не могут любить сорок тысяч братьев, пожертвовавший собой ради ее удобства, дороживший как зеницей ока ее добрым именем.

За окном послышались быстрые легкие шаги: она знала, кому они принадлежат.

Грейс сидела на краешке кровати у стены и держала в своих ладонях руку Джайлса, так что, когда муж вошел, она оказалась к нему лицом, а распростертый на постели Джайлс — между ними. Фитцпирс, как громом пораженный, остановился на пороге, поскольку видел перед собой только Грейс. Потом медленно перевел взгляд на кровать, чтобы узнать, кто болен. Хотя отвращение Грейс к мужу было так велико, что, узнав о его

возвращении, она бежала из дому как от чумы, в эту минуту в ее отношении к нему не осталось ничего личного. Вздох облегчения вырвался из груди Грейс — так обрадовал ее приход врача, а то, что этот врач был ее мужем, кануло в глубины подсознания. Высокая, святая цель затмила все.

— Он умирает? Есть хоть какая-нибудь надежда?

— Грейс! — прошептал Фитцпирс, вложив в одно это слово страстную мольбу о прощении.

Как завороженный смотрел он на представившуюся его взгляду картину не столько из-за ее сюжета, хотя сам по себе он был весьма занимателен для человека, считавшегося мужем добровольной сиделки у постели умирающего, сколько из-за того, что на память ему тотчас пришла другая сцена, в которой роль больного играл он, а сиделкой была Фелис Чармонд.

— Он в опасности? Вы сможете помочь ему? — опять спросила Грейс.

Фитцпирс, поборов себя, подошел ближе и оглядел больного, даже не присев к нему. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это конец. Он перевел глаза на Грейс, взвешивая, как она примет роковое известие, и сухой категоричностью проговорил:

— Он умирает.

— Что? — воскликнула Грейс.

— Ни я, ни кто-либо другой в целом свете уже не может ему помочь. Это агония. Конечности уже холодеют.

Он не отводил взгляда от Грейс, так как Уинтерборн не представлял больше для него интереса: ни профессионального, ни любого иного.

— Этого не может быть! Еще неделю назад он был совсем здоров.

— Думаю, это не так. Мне кажется, у него то, что называется рецидивом. Он, видимо, переболел какой-то тяжелой болезнью — возможно, тифозной лихорадкой, — причем не важно когда: полгода назад или совсем недавно.

— Да, он болел прошлой зимой, вы правы. И значит, он уже был болен, когда я пришла сюда.

Нечего было больше делать, не о чем говорить. Грейс, поникнув, сидела на краешке кровати, Фитцпирс опустился на стул. Так они сидели в молчании и Грейс ни разу не взглянула на мужа и даже не подумала о нем. Время от времени он привычно отдавал распоряжения, чтобы уменьшить страдания умирающего, Грейс покорно, почти не понимая, что делает, исполняла его указания, а в свободную минутку наклонялась

над бесчувственным телом Джайлса, обливаясь слезами.

Уинтерборн так и не пришел в себя; Грейс скоро и сама увидела, что он умирает. Менее чем через час агония окончилась, наступила величественная минута покоя, боли прекратились, дыхание стало легким, и Джайлс тихо почил.

Фитцпирс нарушил молчание:

— Ты давно здесь живешь?

Грейс, потрясенная несправедливостью утраты, проклинала людей… Небо — всех, проговорила как во сне:

— Да. А по какому праву вы спрашиваете меня об этом?

— Не думай, я не претендую ни на какие права, — печально проговорил Фитцпирс. — Ты вольна делать и говорить что хочешь. Я заслужил твое презрение: я негодяй и недостоин даже твоего мизинца. Но, каков ни есть, я вернулся, а вопрос этот задал, потому что ты мне отнюдь не безразлична.

— Он был для меня всем! — воскликнула Грейс, едва расслышав, что говорит муж, и, опустив благоговейную руку на веки почившего, долгое время не отнимала ее, а поглаживала легким прикосновением ресницы, точно гладила птичку.

Фитцпирс наблюдал за ней, потом, оглядев комнату, обратил внимание на кое-какие вещи, которые Грейс явно принесла из дому.

— Грейс, — сказал он, — я испил чашу унижений до дна. Я вернулся, раз ты не захотела уехать со мной отсюда, опять поселился в доме твоего отца. Хотя мне это и дорого стоило, я все вынес, не искал снисхождения, потому что знал, что виноват. Но неужели меня ждет еще большее унижение? Ты сказала, что все это время была в этой хижине с ним, что он для тебя все. Должен ли я сделать отсюда самый последний и такой страшный для меня вывод?

Какой мужчина и какая женщина (особенно женщина) откажется от удовольствия отплатить обидчику той же монетой? Это была первая и единственная возможность для Грейс отомстить мужу за все унижения, которые она с такой кротостью переносила, и она ответила:

— Да.

Было в ее тонкой душевной организации что-то такое, отчего она, произнеся это слово, счастливо затрепетала от гордости, но уже в следующую минуту после того, как она возвела на себя такую чудовищную ложь, стала жалеть о сказанном. Лицо ее мужа сделалось белым как стена, про-

тив которой он сидел. Казалось, все, чем он еще жил и на что надеялся, было в один миг отнято у него. Он не двинулся с места, а только до побеления сжал губы, стараясь сдержать себя. Ему это удалось, но Грейс все-таки заметила, что удар оказался гораздо сильнее, чем она предполагала. Фитцпирс посмотрел на Уинтерборна.

— Не удивительно ли, — сказал он, едва выговаривая слова, точно ему не хватало дыхания, — что и она, бывшая для меня тем, чем он был для тебя, умерла тоже.

— Умерла, она умерла? — воскликнула Грейс.

— Да, Фелис Чармонд там же сейчас, где этот молодой человек.

— Нет-нет, только не там! — вспыхнула Грейс.

— И я приехал сюда, чтобы помириться с тобой, но…

Фитцпирс поднялся на ноги и, повесив голову, как человек, в душе которого надежда внезапно сменилась отчаянием, медленно пошел к двери. На пороге он еще раз взглянул на нее. Грейс все так же сидела, нагнувшись над покойным, приблизив к нему лицо.

— Ты целовала его во время болезни? — спросил он.

— Да.

— А во время приступов?

— Да.

— В губы?

— Да.

— Тогда ты должна как можно скорее накапать в воду несколько капель из этого пузырька и выпить.

Он вынул из кармана маленький пузырек, вернулся в комнату и протянул его Грейс, но та покачала головой.

— Если ты не сделаешь этого, все может кончиться очень плохо.

— Пусть. Я хочу умереть.

— Я ставлю пузырек сюда, — сказал Фитцпирс, кладя лекарство на полку. — Я предупредил тебя. По крайней мере, этого греха не будет на моей совести. Я ухожу и пришлю кого-нибудь за тобой. Твой отец не знает, что ты здесь? Вероятно, я должен сообщить ему это?

— Конечно!

Фитцпирс затворил за собой дверь, и скоро его шаги слились с тишиной, царившей над этим печальным местом. Грейс опустилась на колени; она плакала и молилась, не замечая времени; потом встала, накрыла простыней лицо Джайлса и пошла к двери, где недавно стоял ее муж. Она

прислушалась, не идет ли кто, но ухо ее уловило только слабое похрустывание сухих листьев, примятых подошвами Фитцпирса, которые медленно принимали прежнее положение. Грейс вспомнила, что Фитцпирс сильно изменился внешне: его всегда одухотворенное, интеллигентное лицо исхудало, и в нем появилось то особое выражение достоинства, которое приобретается страданием, Грейс вернулась к изголовью Уинтерборна, но размышления ее были нарушены звуком шагов за окном. Раскрылась дверь, кто-то вошел в комнату и остановился в изножье кровати.

— Марти! — прошептала Грейс.

— Да, я все знаю, — проговорила девушка, изменившаяся до неузнаваемости и походившая теперь на старуху, — так поразила ее смерть Уинтерборна.

— Он умер из-за меня! — с трудом проговорила Грейс.

Марти по-своему поняла эти ее слова:

— Он никому теперь не принадлежит: красавица Грейс и дурнушка Марти — все для него сейчас одно. Я пришла, чтобы помочь вам, мадам. Он ни разу, когда был жив, не подумал обо мне, зато вас очень любил, но теперь его чувства ко мне и к вам сравнялись.

— Не надо, не надо, Марти!

Девушка больше ничего не прибавила, а встала на колени по другую сторону постели.

— Ты встретила моего му… мистера Фитцпирса?

— Нет.

— Тогда что же тебя привело сюда?

— Я иногда хожу мимо. В это время года я работаю на самом дальнем участке. Я иду туда к четырем часам утра, чтобы пораньше затопить печь. И в этот час я часто прохожу здесь.

Грейс быстро взглянула на нее.

— Ты, значит, знала, что я живу в этой хижине?

— Да, мадам.

— А ты никому не рассказывала об этом?

— Нет. Я знала, что он отдал вам свою хижину, а сам ушел.

— А знала ли ты куда?

— Нет, не знала. В Делборо, наверное.

— Нет, Марти, нет. Ах, если бы он ушел туда! Он тогда был бы… был бы…

Слезы душили ее, и она отвернулась. Увидев на окне книжку, Грейс взяла ее.

— Это, Марти, псалтырь. Он не был таким уж религиозным, но был чист сердцем и благороден

душой. Давай почитаем псалтырь вместе.

— Да, конечно, я буду очень рада.

Грейс открыла тоненькую коричневую книжку, которую бедняга Джайлс держал главным образом затем, чтобы править о ее кожаный переплет перочинный нож, и начала читать глубоким, выразительным голосом, необычным в таких обстоятельствах.

— Я хочу помолиться теперь за упокой его души, — сказала Марти, когда они закончили читать.

— И я бы тоже хотела, да ведь это нельзя.

— Почему? Ведь никто не узнает.

Довод был неопровержимый, тем более что Грейс мучила совесть за то небрежение, с каким она относилась к живому Уинтерборну. Тихие нежные голоса двух женщин слились и наполнили маленькую узкую комнатку молитвенным бормотанием, которое вполне мог бы одобрить кальвинист. Только они закончили, как снаружи послышались шаги и голоса.

Узнав голос отца, Грейс встала и вышла из дому. Было еще совсем темно, только полуоткрытая дверь давала немного света. В этой полосе света стоял Мелбери со своей женой.

— Я не упрекаю тебя ни в чем, — сказал отец

незнакомым голосом, от которого на Грейс повеяло холодом. — То, что ты сделала, уйдя к нему, и то, что падет теперь на тебя и на нас, не оплачешь никакими слезами, не искупишь никакой ценой. Возможно, я сам толкнул тебя на это, но мне очень больно, очень горько, и я потрясен! Мне нечего больше тебе сказать, дочь.

Не отвечая, Грейс повернулась и исчезла в хижине.

— Марти, — сказала она, — я не могу смотреть в глаза отцу до тех пор, пока он не узнает правды. Поди и расскажи ему то, что сказала мне… что видела своими глазами… что он оставил здесь меня одну, а сам ушел.

Грейс села на стул, закрыв ладонями лицо. Марти ушла и через несколько минут вернулась. Тогда Грейс поднялась со стула и, выйдя к отцу, спросила, говорил ли он с Марти.

— Да, — ответил Мелбери.

— Теперь ты знаешь, как все было на самом деле. Пусть мой муж думает самое худшее, но не ты.

— Да, теперь я все знаю. Ты поступила необдуманно, очертя голову, но в этом и вся твоя провинность. Прости меня, Грейс, за то, что заподозрил тебя в худшем. Я должен был больше

доверять тебе. И надеюсь, ты сейчас же вернешься со мной под кров, который прежде был для тебя родным.

— Нет. Я останусь с ним. И не беспокойся обо мне больше.

Воспоминание о тех удивительных, трогательных и нежных отношениях, совсем недавно связывавших Грейс и Уинтерборна и родившихся в значительной степени при помощи самого Мелбери, увлеченного исполнением заветного плана, не могло не смягчить его вполне естественного негодования, вызванного поведением Грейс в последние дни.

— Дела наши плохи, дочь моя. Так зачем же делать все, чтобы еще ухудшить их? Какая польза Джайлсу от того, что ты с ним останешься? Видишь, я ни о чем тебя не спрашиваю: ни о том, почему ты решила прийти именно сюда; ни о том, что ты стала бы делать, если бы он остался жив. Впрочем, я верю, что ничего плохого ты бы не сделала. Я потерял над тобой всякую власть. И я никого в этом не виню. Скажу только, что, вернувшись домой, ты ничем не обидишь его, а себя спасешь от большого срама.

— Я ничего не боюсь.

— Если ты не думаешь о себе, то подумай хотя

бы о нас с миссис Мелбери. Никто, кроме домашних, не знает, что ты уходила из дому. Ты, видно, хочешь из простого упрямства свести седины мои в гроб?[46]

— Если бы только мой муж… — начала Грейс, которую слова отца немного образумили. — Я не хочу его видеть. Как может женщина, которой противно быть игрушкой в руках мужчины, забыть то, что было?

— Он не останется у нас и секунды, узнав, что ты не возвращаешься из-за него.

— А ты в этом уверен, отец?

— Мы встретили его, когда шли сюда, и он сам сказал, — вмешалась миссис Мелбери. — Он был очень, очень расстроен.

— Он сказал ей, когда вернулся из леса, что будет ждать, пока время и чувство долга сделают свое и ты простишь его, — сказал Мелбери. — Так ведь он сказал, Люси?

— Да. Сказал, что не будет искать твоего общества, пока ты сама не позовешь его, — прибавила миссис Мелбери.

Эта неожиданная покорность Фитцпирса пришлась по душе Грейс, и, хоть по-прежнему не

---

[46] Примечания: 46
Парафраза из Библии. Бытие, гл. 44.

хотела его видеть, она пожалела, что не сдержалась и сказала ему в отместку такое, от чего он вряд ли будет теперь искать с ней встречи. Грейс больше не отказывалась вернуться домой; войдя со стариками в хижину и бросив последний прощальный взгляд на Джайлса, стала собирать свои вещи. Тем временем подоспели две женщины, которых Мелбери позвал убрать покойника, а следом за ними вошел Кридл.

— Простите меня, мистер Мелбери, не могу справиться с собой, — сказал он. — Я не видел его с вечера четверга и все думал, куда он запропастился. Я ждал, что он вот-вот придет и велит мне мыть бочки для сидра, а он вон что… А я ведь знал его, когда он еще под стол пешком ходил, и отца его знал. Прервался род. И какой! Много ли у нас в Хинтоке хороших людей-то? Раз-два и обчелся. То-то и жалко его так! А когда выйдет срок и косточки Кридла закопают в сырую землю, некому будет всплакнуть о нем!

Все семейство Мелбери отправилось наконец домой, а Кридл и Марти остались в хижине. Отец и дочь шли молча. Бледная синева рассвета и стынущие краски неба отражались в озябшем, не просохшем еще от слез лице Грейс. Весь лес, казалось, стал обиталищем смерти, точно утра-

та коснулась каждого куста, каждого дерева. Уинтерборна не было больше среди живых, а молодые деревца, посаженные им, о которых он, бывало, с такой прозорливостью говорил, что уйдет раньше, чем они, тянулись вверх, цепко впустив в землю корни, которые он направил расти своей искусной легкой рукой.

— Единственное, что примирило нас с возвращением твоего мужа, — начал наконец Мелбери, — это смерть миссис Чармонд.

— Да, я знаю, — откликнулась Грейс, вспомнив сказанное Фитцпирсом. — Он говорил мне об этом.

— А он рассказал, как именно она умерла? Смерть ее была не от естественных причин, как у Джайлса. Ее застрелил человек, добивавшийся ее любви. Это случилось в Германии, несчастный тут же и себе пустил пулю в лоб. Американец из Южной Каролины, человек горячего нрава, он и сюда приезжал, ездил за ней по пятам по всему белу свету. Вот как окончилась жизнь блестящей красавицы миссис Чармонд. Когда-то мы, можно сказать, были друзья, но у тебя с ней дружбы никогда не было.

— Я давно простила ее, — рассеянно проговорила Грейс. — Тебе обо всем этом рассказал Эдрид?

— Нет, но он оставил на столе в прихожей лондонскую газету, где все это сообщалось, сложенную так, что нельзя было не прочесть. Думаю, в шертонской газете печальное известие тоже скоро появится. Для Фитцпирса это было тем большим ударом, что незадолго до того они поссорились и он уехал. Он сам рассказал об этом Люси, поэтому имя его и не упоминалось в газете. И представь себе, причиной разрыва была та, что осталась сейчас в лесу с Джайлсом.

— Марти? — Грейс говорила, едва сознавая, что говорит, ибо, хотя история, излагаемая Мелбери, касалась ее очень близко, она сейчас меньше всего могла обо всем этом думать.

— Да, Марти Саут, — подтвердил Мелбери, стараясь как-то отвлечь мысли Грейс от печального предмета. — Перед тем как уехать отсюда, он получил от Марти письмо, но забыл о нем и долго носил в кармане. Так случилось, что он обнаружил его в присутствии миссис Чармонд и прочитал вслух. В письме этом содержалось что-то очень неприятное для миссис Чармонд. Последовала ссора, затем разрыв. Миссис Чармонд встретила свою смерть, как раз когда спешила вдогонку за Фитцпирсом, чтобы помириться.

Мелбери не знал главной детали, послужившей

причиной ссоры: в письме Марти речь шла о том, что не все прелести красавицы Фелис были ее собственные, кое-что ей приходилось заимствовать. Наконец-то пуля попала в цель. Между Фитцпирсом и миссис Чармонд произошла сцена, как бывает, когда женщина позорит другую в присутствии мужчины. Правда, самой Марти не было; обвинение в украшательстве накладными локонами было прочитано самим Фитцпирсом прямо в лицо миссис Чармонд, и читалось оно в том насмешливо-ироническом тоне, какой появляется у мужчины, когда ситуация начинает его раздражать, и «восторги любви», по словам Джорджа Герберта[47], «становятся пресными». Сколько раз он нежно ласкал эти фальшивые локоны, не зная, что они принадлежат другой! Открытие было так неожиданно, что Фитцпирс, в общем человек великодушный, не мог удержаться от саркастической усмешки.

Так все началось, а концом была трагедия. Фитцпирс уехал в спешке, Фелис бросилась за ним на станцию, но поезд уже ушел, и она села на следующий. Уже в Гамбурге, когда искала его,

---

[47] Примечания: 47

Джордж Герберт (1593–1633) — английский поэт; здесь приводятся слова из стихотворения «Суетность», входящего в сборник религиозных стихотворений Герберта «Храм».

встретила своего поклонника. Тот начал укорять ее, вспыхнула ссора, и все закончилось смертью обоих. Об этом роковом повороте событий Фитцпирс узнал из газетного сообщения, в котором, к счастью для него, ни слова не было сказано о последнем друге злосчастной леди, не всплыло его имя и на следствии. Смерть обоих объяснили крупным проигрышем в рулетку, хотя оба погибших, как было известно, близко не подходили к игорному заведению.

Мелбери с дочерью подошли к дому, не встретив ни одной живой души, если не считать белки, которая увидела их, но не бросилась вверх по дереву, а, защелкав от досады, что потеряла вкусный каштан, прыгнула на длинных задних лапках вниз и стала искать его на земле. Когда за деревьями стали видны крыша и трубы родного дома, Грейс замедлила шаг.

— Вы должны ясно понимать, — сказала она, обращаясь к своей мачехе, почувствовав, что мужество покидает ее, — что я возвращаюсь домой только при том условии, что он сейчас же уедет. Не могли бы вы передать ему это, чтобы не было никаких недоразумений?

Миссис Мелбери, которая неоднократно беседовала с Фитцпирсом с глазу на глаз, заверила

Грейс, что беспокоиться ей нечего и что самое позднее к вечеру мужа ее в Хинтоке и духу не будет. Только после этих слов Грейс вступила в отцовское крыло дома и, ко всему безразличная, села в гостиной, поджидая возвращения мачехи, которая пошла переговорить с Фитцпирсом.

Такое беспрекословное послушание доктора делало ему честь. Не успела миссис Мелбери вернуться в гостиную, а он уже шагал по двору к воротам с саквояжем в руках, хорошо видимый сидевшей у окна Грейс в набиравшем силу дневном свете. Проходя в ворота, он обернулся. Каминный огонь, освещавший комнату, отпечатал на стекле темный силуэт Грейс, и он, должно быть, заметил ее. В следующий миг он вышел за ворота, створки захлопнулись, и Фитцпирс исчез. В лесной хижине она сказала ему, что другой узурпировал его права, а теперь изгоняла его из дома.

Глава XLIV

Не прошло и часа после ухода Фитцпирса, как Грейс почувствовала недомогание. На другой день она не вышла из комнаты. Позвали старого доктора Джонса, и он высказал несколько предположительных диагнозов; среди прочего Грейс услыхала о тифозной лихорадке и сразу все поняла.

Однажды, когда она все еще лежала в постели, мучаясь сильнейшей головной болью и думая о том, что, верно, пришел и ее час и она вскоре последует за тем, с кем так недавно рассталась, в комнату тихонько вошла бабушка Оливер и, протянув ей что-то, сказала:

— Вам это нужно, госпожа? Я нашла на столике. Думаю, Марти оставила. Она приходила сегодня утром.

Грейс перевела воспаленный взгляд на протягиваемый бабушкой предмет. Это был тот самый пузырек, который Фитцпирс оставил тогда в хижине, посоветовав ей выпить из него несколько капель, чтобы уберечься от болезни, унесшей Уинтерборна. Теперь она внимательно рассмотрела пузырек. Лекарство было коричне-

вого цвета, с итальянской надписью на ярлычке. Он, вероятно, купил его во время странствий за границей. Грейс, немного знавшая по-итальянски, поняла, что это жаропонижающее средство, стимулирующее сердечную деятельность. Отец, мачеха, все домашние так хотели ее выздоровления, что она решилась, каков бы ни был риск, отведать этого зелья. Принесли рюмку с водой, и Грейс отсчитала несколько капель.

Хотя мгновенного выздоровления не последовало, но действие этого лекарства оказалось очень эффективным. Уже через час уменьшился жар, Грейс почувствовала себя лучше, спокойнее, стала замечать окружающее; нервное возбуждение почти улеглось; мрачные мысли отлетели. Грейс приняла еще несколько капель. С этой минуты лихорадка пошла на убыль и скоро совсем угасла, как залитый водой пожар.

— Какой он умный! — подумала с сожалением Грейс. — Будь он так же тверд в принципах, как и умен, сколько добрых дел мог бы сделать! Он спас мою никчемную жизнь, но не знает об этом и ему нет дела, пила я лекарство или нет. И я никогда не скажу ему. Возможно, кичась своим искусством, он хотел доказать мне, какая великая сила в его руках и какое я в сравнении с ним ничтожество.

Так пророк Илия доказал вызванным с неба огнем истинность своего Бога.

Полностью оправившись от побежденной заморским зельем болезни, Грейс немедленно пошла к Марти Саут. Весь интерес ее жизни опять сосредоточился на воспоминании о потерянном навсегда Уинтерборне.

— Марти, — сказала она девушке, — мы обе любили его, а значит, должны вместе пойти к нему на могилу.

Церковь Большого Хинтока стояла на пригорке за деревней, и туда можно было дойти тропинками, минуя деревенскую улицу. В сумерках одного из последних сентябрьских дней Грейс и Марти отправились туда. Они шли, выбирая окольные тропки и по большей части пребывая в молчании, занятые собственными мыслями. У Грейс, помимо общего с Марти горя, было свое: ее мучило сознание, что своим необдуманным шагом она сама погубила Джайлса. Грейс пыталась убедить себя, что болезнь все равно сделала бы свое дело, даже если бы она и не поселилась у него в доме. Иногда ей удавалось это, но чаще — нет.

Они стояли у могилы, и, хотя солнце уже село, им было далеко видно окрест; взгляд их скользил по долине Черного Вереска, куда в это время года

Джайлс обычно отправлялся вместе со своим сидровым прессом.

Сознание того, что Джайлс и живой был для нее потерян, несколько смягчало для Грейс горечь утраты, но и для Марти он был недосягаем живой, так что разлука ни той ни другой не была внове, они и при жизни его были разлучены с ним.

Чем больше Грейс думала, тем больше убеждалась, как ей ни было горько, что она никогда не понимала Джайлса так, как понимала его Марти. Марти Саут, одна из всех женщин Хинтока, да и не только Хинтока, а всего света, действительно приблизилась к тому тончайшему идеальному пониманию природы, какое отличало Джайлса изо всех людей. В этом отношении она была достойной ему парой, можно сказать — второй его половиной; мысли ее и чувства никогда бы не вступили в противоречие с тем, что думал и чувствовал он.

Безразлично смотрели поселяне, проходя мимо, на чудесный мир стволов и листьев, именуемый хинтокским лесом, и только эти двое, Марти и Джайлс, видели этот чудесный мир во всем его великолепии. Они владели его сокровенными тайнами, читали, как по книге, его иероглифы; звуки и образы ночи, ветра, бури, зимы,

обитавшие в его зарослях и полные для Грейс таинственного, даже мистического смысла, были для них заурядными явлениями, чьи законы возникновения и развития они давно постигли. Они вместе сажали эти кусты и деревья, вместе валили их; все отдельные знаки и символы природы, напоминавшие порознь темное руническое письмо, обнаруживали их взору строгий, полный значения порядок. Когда тонкий побег в чащобе случайно задевал их по лицу, по цвету его они безошибочно узнавали, какому виду принадлежит несущий его куст; по шуму ветра в листве они угадывали название даже самого далекого дерева. По одному взгляду, брошенному на кору, одевавшую ствол, они могли безошибочно сказать, здорова ли сердцевина или начинает гнить, а по виду самых верхних ветвей знали, каких слоев почвы достигают корни. Глазами режиссера, а не зрителя смотрели они на представление, разыгрываемое в лесу природой из месяца в месяц.

— Он должен был стать твоим мужем, Марти, и больше ничьим, — убежденно проговорила Грейс после долгого молчания.

Марти покачала головой.

— За все время, которое мы провели вместе в

лесу, — сказала она, — о чем только мы не говорили, но о любви — никогда.

— Зато вы говорили на одном языке: на языке леса, цветов и яблок. И никто не знал его лучше вас, даже мой отец.

Грейс, беседуя с Марти, изливала свою печаль, но самая горькая печаль, которой не ведала Марти, неизбывно пребывала в ее душе. Если бы она знала наверняка, что Джайлса унесла в могилу единственно простуда, схваченная им в те ненастные ночи, то раскаяние и муки совести свели бы ее с ума. Она убеждала себя, что простуда лишь ускорила то, что должно было случиться неотвратимо. Но как было бы хорошо, если бы вины ее вовсе не было!

Существовал только один человек, который мог бы рассеять сомнения Грейс. Этим человеком был ее муж. Но заговорить с ним об этом значило сообщить ему такие подробности, которые представили бы в истинном свете ее отношения с Уинтерборном в последние три-четыре дня перед его смертью. А этого ей не хотелось. Она почла бы за слабость отказ от своего первого, героического, признания. Грейс ни минуты не сомневалась, что Фитцпирс поверит ей, если она расскажет ему, как в действительности обстояло дело, но,

решись она на это сейчас, он расценит ее слова как объявление перемирия, а в теперешнем состоянии духа она не могла и думать об этом.

После всего, что было сказано до сих пор о Фитцпирсе, вряд ли у кого вызовет удивление тот факт, что теперь, когда поведала ему о своем падении, Грейс вдруг пробудила в нем страстный, жгучий интерес, тогда как верностью она только раздражала его и не могла удержать от грехопадения.

Он признался себе, что никогда, видно, не понимал до конца ее пылкий характер, во всяком случае, ему и в голову не могло прийти, что она способна на такую месть. И хотя он с прискорбием отнесся к случившемуся, винил не Грейс, а только самого себя и в своей униженности теперь думал о жене не иначе как с восхищением.

Фитцпирс жил в Эксбери, и эти два месяца, проведенные вдали от Грейс, были месяцами беспросветного отчаяния. Грейс же, если бы знала о его состоянии, нашла бы, что человек, причинивший ей столько зла, заслуженно несет эту суровую кару. Но вдруг надежда, точно луч света, загорелась для Фитцпирса: что, если Грейс, подумал он, сказала тогда неправду? Разве не может женщина, являющая собой воплощенную невинность, но оскорбленная изменой, признаться в

том, в чем призналась Грейс, ради того только, чтобы уязвить неверного мужа? Знание женской души подсказало ему, что женщина часто решается на подобное признание, не имея понятия, как сильно оно ранит.

Так и Грейс, дитя во всем, что касалось чувств, могла сказать, ослепленная горем, все, что угодно.

Наконец, не в силах дольше терпеть душевную муку, Фитцпирс отважился предпринять невеселое путешествие в Малый Хинток, и как потерянный бродил по местам, где пережил самые чистые, самые светлые минуты своей жизни. Вечер был теплый, и Фитцпирс долго ходил по лесу, обступившему со всех сторон усадьбу Мелбери, прячась от людей, как преступник. Дорога, по которой он возвращался домой, проходила мимо домика Марти Саут. В окошке, как всегда, не прикрытом ставнями, горел огонек свечи, и Фитцпирс увидел Марти, как видел ее прежде сотни раз.

Она чистила садовый инвентарь, и, хотя ему не хотелось выдавать своего присутствия, он не утерпел и, окликнув Марти в полуоткрытую дверь, спросил:

— Для чего это ты так стараешься?

— Чтобы блестело, — ответила девушка и, подумав немного, прибавила: — Это не мой инвентарь.

Фитцпирс теперь и сам видел это: лопата была огромная и тяжелая, а садовые ножницы она могла держать только обеими руками. Поскольку лопата была начищена так, что блестела как серебряная, не оставалось сомнений, она, как и ножницы была собственностью Уинтерборна. Для верности он спросил Марти об этом, и та кивнула, прибавив:

— Я буду хранить их. Сидровую мельницу и пресс, сказали, продадут с молотка, а мне их так жалко.

— Я дам тебе денег, и ты купишь, — сказал Фитцпирс. — В благодарность за услугу, которую ты мне оказала однажды.

Фитцпирс взглянул на успевшую отрасти темно-рыжую косу Марти.

— О Марти! Твои локоны… твое письмо!.. И все-таки ты хорошо сделала, — прибавил он задумчиво.

Так между Фитцпирсом и Марти родилась дружба, какой раньше между ними никогда не было. Марти было неловко говорить о письме, о том, почему она решилась написать его, и она

только поблагодарила Фитцпирса за доброту. Она будет ездить с сидровым прессом осенью, как ездил когда-то Уинтерборн. У нее хватит сил и сноровки, да еще с таким помощником, как Кридл.

— Но ведь есть женщина, более близкая ему, — заметил Фитцпирс, имея в виду Грейс. — Она жила под одной крышей с ним и была рядом, когда он умирал.

Тогда Марти, подозревая, что Фитцпирс, бывший в то время далеко от дома, не знает истинных обстоятельств, рассказала ему о великодушном поступке Джайлса, отдавшего Грейс свой дом, пожертвовав для нее здоровьем, а может быть, и жизнью. Фитцпирс, услышав рассказ Марти, чуть не позавидовал Джайлсу, рыцарскому благородству его характера.

Многое бы он отдал теперь, чтобы заслужить прощение Грейс. Но какие бы надежды он ни возлагал на будущее, сейчас, пока память об Уинтерборне свежа, нечего было и думать о прощении. Оставалось ждать. Время растопит лед ее сердца, и она взглянет на него если не с любовью, то, во всяком случае, без гнева.

Глава XLV

Недели сменялись месяцами, а Грейс и Марти все ходили на могилу Уинтерборна; строгое исполнение поминального обряда смягчало острую боль утраты. Дважды в неделю две фигурки спешили в сумерках в Большой Хинток и, подобно плакальщицам из «Цимбелина»[48], украшали дорогую могилу цветами и проливали над ней слезы.

Эта смерть с потрясающей убедительностью показала Грейс, как мало значат блестящее образование и культура в сравнении с чистотой души и благородством характера. Миновала осень, подошла к концу зима, и на душе у Грейс стало немного светлее. Она уже не с таким безысходным отчаянием предавалась горю и корила себя за смерть Уинтерборна.

Ничто не нарушало сонного течения жизни Хинтока в эти месяцы осеннего листопада и зимнего тления. Толки о почти что одновременной кончине миссис Чармонд за границей прекратились очень скоро. Говорили, что смерть ее

---

[48] Примечания: 48
Драма У. Шекспира.

приключилась не столько от выстрела, сколько от душевного опустошения и страха перед будущим. Впрочем, точно этого никто сказать не мог. Фитцпирсу счастливо удалось избежать судебного разбирательства: они поссорились буквально за день до катастрофы, и причиной ссоры было письмецо Марти — ничтожный повод, за которым скрывались более глубокие причины.

Тело миссис Чармонд не было привезено домой и предано родной земле: это был как бы заключительный аккорд ее жизни, полной метаний и игры страстей. Поместье принадлежало ей пожизненно и перешло после смерти к родственнику мистера Чармонда, который знать не хотел молодую супругу престарелого торговца железом при жизни и решил, кажется, вытравить даже самую память о ней.

Ясным февральским днем, веселым Днем святого Валентина, миссис Фитцпирс получила обещанное когда-то письмо.

Ее муж писал, что живет в одном из дальних городков, где купил место помощника врача. Его патрон, из сельских эскулапов, имеет чудовищное представление о медицине, но ничего с ним поделать нельзя. Он решил в этот день влюбленных написать Грейс и спросить, не согласится ли

она вернуться к нему, если он купит хорошую практику, которую приглядел поблизости. На этом кончалась прозаическая часть письма. Далее шли излияния:

«Последний год, дорогая моя Грейс, обожаемая жена недостойного мужа, сделал меня старше и мудрее на десять лет. Тебе, может быть, безразлично то, что я пишу, и все-таки не могу не писать: никогда в жизни не любил ни одной женщины, здравствующей или уже почившей, сильнее, чем люблю тебя. Я преклоняюсь перед тобой и глубоко тебя уважаю. И я никогда не верил (строго говоря, это было неправдой) тому, что ты однажды сказала мне в минуту досады и уязвленного самолюбия, но, если бы и поверил, это не уменьшило бы моей любви к тебе. Нужно ли писать — увы, наверное, не нужно, — что я мечтаю о твоих розовых губках каждый миг моей жизни, что знакомый шорох твоих юбок то и дело слышится мне, и это сводит меня с ума.

Если согласишься встретиться со мной, ты вдохнешь жизнь в ходячего мертвеца. Моя чистая, святая Грейс, невинная горлица, неужели было время, когда я мог прижать тебя к груди? Мне невыносима мысль, что в День святого Валентина, покровителя влюбленных, ты не вспомнишь

обо мне. Хоть с ненавистью, но вспомни. Можешь считать мою просьбу причудой, любимая и потерянная жена; но ведь

В своей любви утонченна природа —
И вот она шлет драгоценный дар
Вослед тому, что любит[49].

Не буду больше докучать тебе. Прошу только об одной милости: напиши две строчки, что согласна повидаться со мной, хотя бы ненадолго. Мы встретимся и расстанемся как простые знакомые, если ты согласишься осчастливить меня и позволишь сказать несколько слов о своей любви и своих надеждах. Знай, что бы ты ни делала и ни думала: я люблю тебя. Твой верный раб (а когда-то муж)».

Как ни странно, но это письмо было первым любовным посланием Фитцпирса жене, поскольку все время до свадьбы они ни разу не расставались. Его эпистолярный слог был новостью для Грейс. И надо сказать, он ей понравился. Главный же интерес письма заключался в том, что свидание, упоминавшееся Фитцпирсом, могло

[49] Примечания: 49
У. Шекспир. Гамлет. Акт IV, сцена 5.

наконец разрешить сомнения Грейс о степени ее виновности в смерти Джайлса. Совет знающего человека — и видевшего к тому же Уинтерборна в последние минуты — был бы для Грейс даром Небес. Что же касается признания, сделанного ею под влиянием минуты, чтобы досадить обидчику, то прежде она считала его чуть ли не подвигом, а теперь была готова немедленно отречься от своих слов, ибо, как бы ни было оскорбительно такое признание для нее, оно куда сильнее оскорбляло память Джайлса.

Не сказав ничего отцу о письме, да и никому во всем доме, Грейс написала ответ. Она соглашалась встретиться с Фитцпирсом на двух условиях: местом встречи будет холм Хайстоу, и придет она в сопровождении Марти Саут.

Было ли любовное послание Фитцпирса только произведением искусства, или рукой его водило истинное чувство, но, получив ответ Грейс, он ощутил такой восторг, какой может вызвать только весеннее пробуждение природы; многие годы не испытывал он ничего подобного, точно к нему опять вернулась юность. И он немедля ответил, что принимает условия Грейс, и оговорил день и час, когда будет ждать ее в условленном месте.

В три часа без нескольких минут поднимался

он в назначенный день по небезызвестному холму, который не раз лицезрел героев этого повествования в критические минуты их жизни.

При виде знакомых мест сердце Фитцпирса сжалось; сожаление о прошлом ни на секунду не покидало его все последние дни. Каким бы ни открывалось для него будущее, Хинток с его умиротворяющей душу сенью лесов был заказан для него навсегда.

Он страстно жаждал общества Грейс, но сначала нужно было возложить жертву на осквернённый алтарь. Покуда искупительная жертва не будет принята, он не может настаивать на возвращении Грейс. А тем временем он должен дать ей понять, что она сама вольна решать, вернуться к нему или расстаться до конца дней.

К тому же Фитцпирс был гурманом по части чувств: с наслаждением ощущал он в своей душе доселе неведомые ему печали и радости, и не хотелось ему сейчас расставаться с ними. А предложи он Грейс немедленно нарушить установившийся статус-кво, и следа не останется от этой экзотики. Быть рабом ее милых фантазий — большего он пока не требовал и утешался ощущением той сладостной боли, которую она причинила ему.

Приближаясь к холму и находясь в вышеописанном состоянии духа, Фитцпирс увидел двигавшуюся навстречу процессию, в которой тотчас угадал свадьбу. Хотя ветер дул довольно холодный, женщины были в легких нарядах, а жилетки мужчин пестрели ярким, веселым узором. Каждая молодушка прижималась к своему партнеру так тесно, точно желала слиться с ним воедино, чтобы взмах руки, походка и самый центр тяжести — все было общее.

В невесте Фитцпирс не без тайной радости признал Сьюк Дэмсон, походившую в легком подвенечном платье на прелестную великаншу, рядом с ней мальчиком с пальчик семенил ее жених Тим Тенге.

Фитцпирсу не удалось избежать встречи — его заметили. Из всех красоток мира он менее всего хотел бы видеть сейчас Сьюк. Но делать нечего, и Фитцпирс бодро поспешил навстречу веселившимся хинтокцам, которые, как он мог догадаться, взахлеб обсуждали сейчас его разрыв с Грейс. Процессия приблизилась, Фитцпирс приветливо поздравил новобрачных.

— Свадебная прогулка по окрестным приходам. Были уже в Большом Хинтоке, теперь пойдем в Ревеллерс-Инн, оттуда в Мартвуд, а там домой.

Хотя дома-то у нас, можно сказать, и нет. Месяца через два мы уедем из Хинтока насовсем.

— В самом деле? Куда?

Тим ответил, что они едут в Новую Зеландию. Не потому, что Хинток надоел: так хочет жена, ей скучно жить в такой глухомани, — ну он и согласился.

— Что ж, всего вам хорошего, — сказал Фитцпирс. — Мы уж, верно, не увидимся больше.

Он пожал руку Тиму и, взглянув на новобрачную, сказал, протягивая руку и ей:

— Прощай, Сьюк. Желаю тебе и твоему супругу счастья и благоденствия на новом месте.

С этими словами он расстался с веселой компанией, торопясь поспеть на вершину холма к назначенному сроку.

Свадебная процессия после короткой заминки двинулась дальше. Протянув руку Сьюк, Тим заметил, что ее пышущее здоровьем розовощекое лицо помрачнело и уголки губ опустились.

— Эй! Что с тобой, дорогая Сьюк? — спросил Тим.

— Ах, пустяки, — ответила она, — не стоит и говорить. — И тут же, в опровержение ее собственных слов, лицо ее сморщилось, в глазах заблестели слезы и подбородок затрясся от сдер-

живаемых рыданий.

— Что случилось, черт побери? — воскликнул раздосадованный жених.

— Она немного устала, бедняжка, — сказала первая подружка невесты, встряхивая носовой платок и вытирая глаза Сьюк.

— Я никогда еще ни с кем не расставалась навсегда! — проговорила Сьюк, справившись со слезами.

— Но почему ты так расстроилась именно из-за него?

— Потому что… он такой хороший доктор, и мне очень, очень жалко, что мы никогда больше его не увидим! В Новой Зеландии не будет таких хороших докторов, а мне, наверное, скоро понадобится доктор, — вот я и расстраиваюсь!

Тим побледнел и нахмурился. Ему припомнились несколько мелких случаев, на которые в свое время он не обратил внимания. Свадебная процессия опять потянулась между рядами живой изгороди, но смеха и шуток больше не было слышно.

Фитцпирс поднялся на холм и увидел, как справа под откосом появились две фигурки. Это были Грейс и Марти, пришедшие, видимо, сюда по только им одним известной тропинке через лес.

В этот ветреный февральский полдень, под яркими лучами холодного солнца на розоватом фоне голых кустов, Грейс показалась Фитцпирсу неотразимо прекрасной. Фитцпирс не отрывал от нее глаз, но, когда взгляды их на миг встретились, Грейс тотчас отвернулась, а Фитцпирс опять залюбовался ее нежным печальным личиком, повернутым к нему вполоборота. Приветствуя дам, он снял шляпу и отвесил галантный поклон. Марти остановилась в нескольких шагах поодаль; Фитцпирс протянул руку, и Грейс пальчиком коснулась ее.

— Я согласилась встретиться с вами, потому что мне надо знать ваше мнение об одном очень важном деле, — начала миссис Фитцпирс, и в тоне ее голоса вдруг прозвучали нотки, неожиданные для нее самой.

— Я весь внимание, — ответил ее муж. — Может быть, отойдем подальше, чтобы нас не слышали?

Грейс покачала головой, и они остались перед калиткой, ведущей вниз, в долину Черного Вереска.

Но, может быть, она обопрется о его руку? Грейс так решительно запротестовала, что услышала даже Марти.

— Почему ты отталкиваешь меня, Грейс?

— О, мистер Фитцпирс, и вы еще спрашиваете!

— Ну хорошо, хорошо, — проговорил он, умеряя пыл своих чувств.

Они прохаживались по гребню холма, и Грейс снова заговорила о своем деле.

— Возможно, вам будет неприятно это слышать, но, мне кажется, я могу не волноваться об этом.

— Да-да, пожалуйста, — храбро согласился Фитцпирс.

И Грейс вернулась к последним дням бедного Уинтерборна: перечислила все обстоятельства, сопутствовавшие его роковой болезни, описала продуваемый насквозь дырявый шалаш, прибавив, что он скрыл от нее, в каком бедственном положении находится, и ни разу по своей воле не ступил ногой в хижину, чтобы уберечь от позора ее доброе имя. Слезы блеснули в ее глазах, когда она наконец решилась спросить Фитцпирса, виновна ли она в смерти Уинтерборна, ее ли это грех.

Фитцпирс не мог скрыть своей радости, выслушав рассказ Грейс, из коего явствовало, как, в сущности, безобиден был ее роман с Уинтерборном, представлявшийся ему прежде таким серьезным. И он не стал спрашивать, только ли

благодаря обстоятельствам отношения Грейс с ее возлюбленным остались такими чистыми. Что же касается вины Грейс, то тут он ничего определенного сказать не мог, как, впрочем, не мог бы сказать никто в целом свете. Впрочем, все-таки, думал он, чаша весов склоняется к решению, благоприятному для Грейс. Видимое здоровье Уинтерборна в последние месяцы было обманчиво. Эта коварная болезнь после первой вспышки часто затаивается, и выздоровление оказывается ложным.

На душе у Грейс стало легче, и не только от объяснения Фитцпирса, но еще и оттого, что она побеседовала с образованным человеком.

— Для этого я главным образом и согласилась прийти сюда: чтобы узнать мнение сведущего человека о том, что не давало мне покоя, — сказала она, выслушав Фитцпирса.

— Только для этого? — упавшим голосом проговорил тот.

— Да, главным образом для этого.

Они стояли молча и глядели на стайку скворцов за калиткой, клевавших что-то в траве. Фитцпирс первый нарушил молчание, тихо признавшись:

— Я, Грейс, люблю тебя, как никогда прежде.

Грейс не отрывала глаз от птиц; губки ее краси-

вого рта сложились так, точно она подзывала их.

— Теперь моя любовь не та, — продолжал Фитцпирс. — В ней меньше страсти, но больше глубины. Для нее не играют роли внешние, материальные признаки, для нее важна душа, которую узнаешь не сразу. «Любовь должна больше знать, а знание — больше любить».

— Это из «Меры за меру», — съязвила Грейс.

— Да, конечно. Разве нельзя цитировать Шекспира? — отпарировал Фитцпирс. — Скажи, Грейс, почему ты не хочешь вернуть мне хотя бы капельку прежней любви?

Неподалеку в лесу с треском повалилось срубленное дерево, и в памяти Грейс тотчас возникло недавнее прошлое и несчастный Уинтерборн с его чистосердечием и безграничной преданностью.

— Не спрашивайте меня об этом. Сердце мое похоронено вместе с Джайлсом, в его могиле, — проговорила она твердо.

— А мое с твоим связано неразрывно. Значит, и оно там же, в сырой земле.

— Я сочувствую вам, но, боюсь, помочь ничем не могу.

— Ты говоришь о сочувствии, а сама то и дело бередишь мне душу напоминанием об этой

могиле.

— Это неправда, — возразила Грейс и пошла было прочь от Фитцпирса.

— Но, Грейс! — воскликнул несчастный муж. — Ведь ты согласилась прийти сюда. И я подумал, что, быть может, испытательный срок истек и ты опять для меня та же, что прежде. Но если нет никакой надежды на полное примирение, неужели ты не можешь относиться ко мне менее сурово, каким бы негодяем я ни был?

— А я не говорю, что вы негодяй, и никогда не говорила.

— Ты смотришь на меня с таким презрением, что, я боюсь, ты так думаешь.

Грейс хотелось бы немного смягчить тон, но она боялась, что Фитцпирс неправильно ее поймет.

— Если я не чувствую презрения, то не могу и выказывать его, — уклончиво ответила Грейс. — Я чувствую только то, что не люблю вас.

— Моя вина велика, я знаю, — сказал Фитцпирс. — Но если ты не вернешь мне своей любви, Грейс, то, наверное, будет лучше всего, если мы расстанемся навсегда. Я не хочу, чтобы ты вернулась ко мне из чувства долга. Я ведь мог бы купить практику где-нибудь далеко отсюда и жить припеваючи: никто бы не презирал меня

и не колол своей холодностью, — а я вернулся в одно-единственное место на земле, где имя мое произносят с отвращением; пришел в дом человека, который поступил со мной так, как никто никогда не поступал. И все ради тебя!

Этого нельзя было отрицать, и Грейс почувствовала укор совести: слишком уж холодно она держалась с Фитцпирсом.

— Перед тем как мы расстанемся, — продолжал он, — скажи мне, сделай такую милость, как я должен впредь себя вести.

— Ваш вопрос кажется мне насмешкой. Я не могу вам советовать. Вы ведь знаете — вольному воля. Мне сейчас и самой впору искать советов, а не давать их.

— Зачем тебе чужие советы, мудрая из мудрых и самая прекрасная. Но если бы ты и вправду нуждалась в совете…

— Вы бы мне дали его?

— А ты бы меня послушалась?

— Это нечестно, — улыбнулась, сама того не желая, Грейс. — Но я согласна выслушать вас. Какой вы видите для меня самый правильный и разумный выход?

— Проще вопроса, чем этот, и придумать нельзя! Но я не стану отвечать на него, потому что,

боюсь, ты рассердишься.

Зная, каков будет ответ, Грейс не стала настаивать и махнула было Марти рукой, чтобы та подошла, но Фитцпирс опять задержал ее.

— Одну минуту, дорогая Грейс, мы увидимся с тобой еще раз?

Грейс ответила, что придет на это же место ровно через две недели. Фитцпирс стал сетовать на долгую разлуку, но, заметив, как разволновалась Грейс, прося его не приходить раньше, поспешно согласился, прибавив, что будет видеть в ней только друга, которому небезынтересна его жизнь и успехи на пути к совершенствованию, покуда она сама не захочет сменить дружеские отношения на более нежные.

Как жаждал Фитцпирс убедить Грейс в своем перерождении! Но было очевидно, что вернуть расположение Грейс ему пока что не удалось. Фитцпирс не переставал удивляться, что встретил в этой девочке, которая была к тому же его женой, такое сопротивление. Это противоречило всему его предшествующему опыту. И хотя в этой недоступности была своя прелесть, домой Фитцпирс возвращался в довольно-таки мрачном настроении: он понял, какую нанес глубокую обиду, если даже Грейс, кроткая доверчивая Грейс,

не желает склоняться к примирению.

Фитцпирс с его утонченной натурой не стал бы принуждать Грейс. Он не мог бы жить под одной крышей с женщиной, которой ненавистен. Пусть уж лучше все остается пока как есть.

Фитцпирс ушел, а Грейс и Марти углубились в лес. Грейс хотелось поговорить со своей молчаливой спутницей о платонических отношениях, установившихся между ней и ее бывшим мужем, как она теперь называла Фитцпирса, но Марти не проявила интереса, и Грейс промолчала. Пройдя немного, они увидели возле поваленного дерева, падение которого слышали на холме, мистера Мелбери; Грейс попросила Марти никому не рассказывать о встрече с Фитцпирсом и, простившись с девушкой, подошла к отцу. Она решила спросить отца, хорошо ли поступила, согласившись изредка видеться с мужем.

Весело возвращался домой Мелбери, шагая рядом с дочерью, как в прежние годы.

— Когда ты подошла ко мне, я как раз о тебе думал, — сказал он. — По-моему, все устроилось к лучшему. Твой муж уехал. Он, по-видимому, решил больше не тревожить тебя. Ну а раз так, то и слава богу, и надо вычеркнуть его из памяти и из жизни. Удел многих женщин гораздо хуже,

чем твой. Ты будешь жить в Хинтоке, в родной семье, ни в чем не нуждаясь… Хорошо бы он совсем уехал из Англии, а впрочем, пусть делает, что считает для себя благом. Я согласен послать ему некоторую сумму денег — чего он, естественно, ожидает, — только бы оставил тебя в покое. Вряд ли можно, живя под одной крышей, ни разу не встретиться и не заговорить, а это было бы одинаково неприятно для всех нас.

Грейс шла молча. Ей как-то неловко было признаться после этих слов отца, что она только что видела мужа и что встреча была не случайной.

— Так ты не советуешь мне видеться с ним? — только спросила она.

— Я никогда ничего не буду больше советовать тебе, Грейс. Ты сама себе госпожа: поступай как знаешь, но мнение мое таково: раз уж вы расстались, то самое лучшее выкинуть его из головы, а не играть с собой в прятки. Ты прогнала его, и он ушел. Дело сделано, и не о чем больше говорить.

Грейс чувствовала себя виноватой, хотя и не знала почему, и о встрече с Фитцпирсом отцу не сказала.

Глава XLVI

Уныло ранней весной в лесу, и Грейс большую часть дня проводила дома и много читала, гораздо больше, чем в дни замужества. Затворничество ее нарушалось прогулками на могилу Джайлса, ставшими для нее святой обязанностью. Они ходили туда с Марти, чтобы постоять у дорогого холмика и украсить его подснежниками, первоцветом и другими ранними весенними цветами.

Однажды, когда было уже за полдень и солнце клонилось к закату, Грейс стояла под деревьями за оградой своего сада (усадьба Мелбери, как и остальные хинтокские дворы, выходила задами в лес), где от одного дома к другому бежала узенькая стежка, на которую попадали, продравшись сквозь живую изгородь. Грейс как раз собиралась этим способом вернуться домой, как вдруг на тропинке появилась знакомая фигура. Муж.

— Я так рад, что успел, — запыхавшись, проговорил Фитцпирс, касаясь ее руки. — Увидел тебя еще издали и испугался, что ты исчезнешь, пока я дойду сюда.

— Ты пришел на неделю раньше, — укоризненно проговорила Грейс. — Мы ведь договорились:

через две недели.

— Милая моя Грейс, как ты могла подумать, что я выдержу две недели, не видя тебя. Ты не рассердишься, если я признаюсь тебе, что приходил на эту тропинку уже три или четыре раза со дня нашей последней встречи? Как ты живешь?

Грейс не оттолкнула его, но, когда почувствовала, что рукопожатие затягивается, ладошка ее мгновенно сжалась и выскользнула из его ладони, а лицо стало встревоженным, каким становилось обычно, когда Фитцпирс касался запретной темы. Он сразу понял, что сердце Грейс еще не оттаяло, что он все еще должен смиряться перед ней. И он взял прежний, ненавязчивый тон, чтобы лишний раз ее не расстраивать.

— А я и не знала, что ты бываешь здесь так часто, — сказала она: это признание Фитцпирса приятно поразило ее. — Откуда ты приезжаешь?

— Я остановился временно в Шертон-Аббас и хожу сюда пешком: не хочу нанимать до Хинтока двуколку, чтобы не было пересудов, — я ведь еще не прощен. Так уж пусть лучше никто не знает, что я езжу сюда. А сегодня, любимая, — я ведь могу так тебя называть? — я приехал затем, чтобы просить об одной милости: позволь мне видеть тебя чаще; ведь скоро весна.

Грейс, неожиданно для Фитцпирса, весьма спокойно отнеслась к его дерзкой просьбе, но ничего не ответила на нее, заговорив о другом:

— Я бы хотела, чтобы ты весь отдался своему делу и бросил те странные опыты, которые так отвлекают тебя. Я уверена, что как врач ты очень скоро достигнешь успеха.

— Представь себе, что и я решил то же, и хотел даже просить тебя сжечь или отдать кому-нибудь всю мою метафизику: знаешь, те книги, что лежат в шкафах на твоей половине. Вообще-то говоря, я никогда не питал особого пристрастия к туманному философствованию.

— Мне очень приятно это слышать. А что делать со старинными пьесами? От них-то какая врачу польза?

— Абсолютно никакой! — рассмеялся Фитцпирс. — Вели отвезти их в Шертон и продать, сколько бы за них ни дали.

— А ужасные старофранцузские романы с этими чудовищными «filz» и «ung» и «ilz», «mary» и «ma foy»?

— Уж не читала ли ты их, Грейс?

— Конечно нет! Я просто перелистала пару.

— Как только вернешься сегодня домой, разложи большой огонь в камине и сожги эту дрянь.

Я сам хотел их сжечь. Не понимаю, что на меня нашло, когда я вздумал собирать их. Зато теперь в моем доме одни только медицинские справочники. Видишь, я становлюсь деловым человеком. Думаю, что скоро смогу порадовать тебя: у меня есть на примете хорошее место. Скажи, Грейс, ты могла бы вернуться ко мне?

— Прошу тебя, не заставляй меня решать такой важный вопрос сейчас, — ответила Грейс с твердостью. — Ты сказал, что собираешься начать новую жизнь, приносящую людям пользу. И я бы хотела увидеть, как это получится. Вот тогда и спрашивай меня, о чем хочешь. Но вообще-то, я в любом случае не смогу переехать отсюда.

— Почему?

Грейс ненадолго задумалась.

— Мы с Марти ходим на могилу Джайлса. Он для меня как святой. Мы поклялись с ней до конца жизни ходить на его могилу. И я сдержу клятву.

— Но я не буду тебе мешать. Я понимаю: так должно быть. И я вовсе не хочу, чтобы ты изменила данному слову. Уинтерборн был всегда симпатичен мне, как никто другой. Я буду провожать тебя туда, ты пойдешь на могилу, а я останусь за оградой, выкурю сигару…

— Ты все еще куришь?

— М-да… то есть нет… я, видишь ли, сколько раз хотел бросить, но…

Необыкновенное послушание и мягкость Фитцпирса начали было примирять Грейс с ним, но курение табака опять вызвало возмущение. И она вдруг сквозь пелену слез, незримых Фитцпирсу, увидела тень несчастного Уинтерборна.

— Я не люблю, — почти резко сказала она, — когда так легкомысленно говорят об этом. Если уж быть откровенной до конца, то я и сейчас думаю о нем как о своем суженом. И ничего не могу поделать с собой. Так что, видишь, невозможно, чтобы я вернулась к тебе.

Сердце у Фитцпирса упало.

— Ты говоришь, что думаешь о нем как о своем суженом? А кто же и когда вас помолвил? — не без некоторого ехидства спросил он.

— Когда? А вот когда тебя здесь не было.

— Как же это могло быть?

Грейс могла бы умолчать о летней дружбе с Уинтерборном, но ее природное прямодушие взяло верх.

— Очень просто. Я тогда думала, что закон может сделать меня свободной, хотела стать женой Джайлса и подала ему надежду.

Фитцпирс сморщился, как от боли, но искрен-

ность, как известно, всегда похвальна. И он не переставал восхищаться своей Грейс, чувствуя, однако, что рассказ поразил его в самое сердце. Значит, она пыталась навсегда порвать с ним, хотела, чтобы его место занял другой. А ведь было время, когда такое известие он принял бы чуть не с радостью. Но теперь любовь его к Грейс была столь велика, что ему нестерпимо было слушать подобные речи, хотя он и знал, что объект ее благоговейного чувства давно уже покинул эту юдоль скорби.

— Жестоко так говорить! — сказал он с горькой усмешкой. — О Грейс, я вижу теперь, что никогда не знал тебя! Неужели ты пыталась разорвать узы, связующие нас! Но скажи, — впрочем, думаю, можно и не спрашивать, — неужели нет никакой надежды, что в твоем сердце снова затеплится хотя бы искорка любви ко мне?

— Если бы это зависело от меня, то я бы, так и быть, сделала тебе такое одолжение… но, боюсь, это от меня не зависит, — ответила Грейс несколько печальным тоном, что было по меньшей мере нелогично. — Кроме того, я не понимаю, почему ты так вдруг расстроился? Что тут такого, если у меня в жизни будет, кроме тебя, еще один возлюбленный? Ты-то любил вон сколько женщин!

— Но зато сейчас я могу, положа руку на сердце, сказать, что люблю тебя больше их всех вместе взятых. Чего ты сказать не можешь.

— Мне очень жаль, но, боюсь, действительно не могу, — вздохнула Грейс.

— А сможешь ли когда-нибудь, Грейс? Вот что для меня сейчас самое важное. — Он внимательно посмотрел ей в лицо, уже смутно белеющее в сумерках, точно читал в нем приговор себе. — Ну сжалься надо мной, скажи хоть, что постараешься.

— Снова полюбить тебя?

— Да, если сможешь.

— Я не знаю, что тебе ответить, — растерянно проговорила Грейс, потому что и в самом деле не знала. — А ты обещаешь, что не будешь требовать видеться с тобой?

— Обещаю. Впрочем, я ведь тебе уже обещал. Или я в чем-нибудь невольно провинился перед тобой и ты усомнилась в моих добрых намерениях?

Грейс должна была признать, что Фитцпирс ни в чем перед ней не провинился.

— Тогда я думаю, что сердцу твоему пора вернуться домой. Слишком уж оно загостилось в подземном царстве, — печально пошутил Фитц-

пирс.

Грейс едва заметно покачала головой и тихо произнесла:

— Я постараюсь думать о тебе чаще, если смогу.

Фитцпирс вынужден был пока довольствоваться этим.

— Когда мы опять встретимся?

— Как было условлено, через две недели.

— Ладно, пусть через две.

— По крайней мере, на этот раз. А как будет впредь, скажу, когда встретимся.

— Хорошо, хорошо. Но я все-таки буду приходить сюда чаще, чтобы взглянуть на твое окно.

— Это уж как хочешь. До свидания.

— Прибавь «мой Эдрид».

Грейс, казалось, была готова выговорить эти слова, но передумала и, скользнула в кусты живой изгороди, крикнув на прощание:

— Нет-нет, не могу!

Фитцпирс не преувеличивал, когда говорил, что усадьба Мелбери притягивает его как магнит, но заставить Грейс капитулировать ему все не удавалось. Они по-прежнему встречались через две недели, как того требовала Грейс, и в назначенный срок она появлялась неукоснительно.

Весна давно уже трудилась в лесу и садах, а встречи Фитцпирса с Грейс, хотя число их увеличилось, почти ничем не отличались от самых первых.

Усадьба Тенге — небольшой сад с домом, в котором жили отец с сыном и его молодая жена, — примыкала сбоку к усадьбе лесоторговца. Закончив работу у Мелбери, Тим в сумерки часто уходил в небольшую беседку в дальнем углу сада, где любил выкурить вечернюю трубку, и не раз видел на тропе за живой изгородью Фитцпирса, который шел обычно не спеша, задумавшись, время от времени бросая пристальные взгляды в сторону сада, мимо которого проходил, поскольку вовсе не торопился покинуть место, ставшее для него таким притягательным, и все ходил и ходил туда и обратно, надеясь увидать ту, которую так страстно мечтал прижать к груди.

Мало-помалу Тим стал задумываться над этими частыми появлениями Фитцпирса в вечерний час на задах его усадьбы. Он по простоте душевной не мог представить себе, что сердце доктора вновь загорелось любовью к Грейс: та утонченность чувств, которая видит глубочайшее, почти эстетическое наслаждение в страстном поклонении женщине, когда-то брошенной, была для молодого дровосека чистым абсурдом. Мистер Фитцпирс

и его жена давно расстались, и, конечно, никакой любви между ними быть не могло. Другое дело его Сьюк. После той памятной встречи в день свадьбы, уступив его настойчивости, она с раскаянием призналась ему в своих прошлых грехах. Теперь же, сопоставив это признание с необъяснимым появлением доктора в Хинтоке, Тим пришел к выводу, что тот приезжает сюда не иначе как для свиданий со Сьюк, перебравшейся под крышу супруга. Тим утешал себя только тем, что пароход, который увезет их в Новую Зеландию, отплывает через месяц, и уж тогда Сьюк никогда в жизни больше не увидит Фитцпирса.

Месяц прошел быстро, наступил наконец и последний вечер. Тим вместе со Сьюк, после целого дня сборов и приготовлений, отдыхали в комнатке, отведенной отцом Тима для молодых. В углу громоздились упакованные и перевязанные веревками ящики (самый большой, которому надлежало ехать в трюме, был отправлен несколько дней назад). Сьюк стояла возле камина и смотрела на огонь, освещавший ее красивое лицо и фигуру. Тим сидел в углу, последний раз созерцая стены отцовского дома, по которым, как и по его лицу, прыгали сейчас отсветы пламени.

Тим Тенге чувствовал себя очень несчастным.

Предстоящее путешествие отрывало его от отца: старик Тенге ни под каким видом не соглашался покинуть Хинток. И если бы не забота о репутации Сьюк и его собственном честном имени, он бы сейчас, в последнюю минуту, все распаковал и никуда не поехал. Тим заметил, что жена его в этот вечер чем-то возбуждена, не находит себе места и настроение у нее невеселое.

— Тебе не хочется уезжать, Сьюк? — спросил он жену.

Сьюк невольно вздохнула и ответила:

— Не знаю. Наверное, не хочется. Всегда так бывает, когда расстаешься насовсем.

— Но ты-то ведь не родилась в Хинтоке, как я.

— Ну и что же!

— А по-моему, ты не хочешь ехать, потому что здесь остается один человек.

— Кто это тебе сказал?

— Я сам все вижу. У меня есть глаза и уши. Слушай, Сьюк, я очень рад, что увожу тебя отсюда. В чужих краях мне все равно, чьими объедками питаться. А вот дома — другое дело.

От этих слов Тима лицо Сьюк не изменило своего безразличного, угрюмого выражения. Она ничего не ответила, и он скоро ушел в дальний угол сада выкурить привычную трубку.

Сьюк действительно пребывала в расстройстве. И причиной этого был именно тот джентльмен, на которого намекал Тим. Но надо отдать Сьюк справедливость: на этот раз ее мысли о Фитцпирсе были совсем особого, гораздо более невинного свойства, чем подозревал Тим, памятуя ее прежнее легкомыслие. Сьюк случайно обнаружила, что Фитцпирс возымел привычку раза два в неделю появляться в Хинтоке, и сегодня как раз был такой вечер, когда он мог наверняка появиться. Поскольку на следующий день она навсегда покидала эти края, то она решила, что никому не будет большого вреда, если, повинуясь голосу сердца, она украдкой, неведомо ни для кого, взглянет на Фитцпирса последний раз и мысленно простится с ним навеки. Час появления Фитцпирса приближался, и Сьюк, потеряв покой, нервозностью, что ей была несвойственна, выдала свои чувства.

Не успел Тим выйти из дому, как она опрометью бросилась в конец сада, чтобы из-за кустов живой изгороди увидеть, как мимо прошествует Фитцпирс, если, конечно, он уже не прошел.

Ее светлое ситцевое платье было хорошо видно Тиму, курившему трубку в беседке в другом углу сада. Сьюк же из-за деревьев не заметила мужа и, осторожно раздвинув кусты, спряталась в них.

Ясно было, что она поджидает кого-то.

Тим быстро подошел к тому месту, где притаилась Сьюк, и молча остановился. Сьюк впопыхах и не подумала, что Тим может оказаться поблизости. Почувствовав его присутствие, она тотчас вышла из своего укрытия.

— Значит, он и сегодня придет, — коротко проговорил Тим. — И нам без памяти хочется увидеть своего милого!

— Да, он придет, — ответила с вызовом Сьюк. — И нам без памяти хочется его увидеть!

— Тогда немедленно ступай домой, куда твой милый тоже скоро пожалует. Нам выезжать в полчетвертого утра. Если в восемь не ляжем, завтра будем весь день как сонные мухи.

Сьюк минуту подождала, но в конце концов покорилась мужу и медленно побрела через сад к дому. Скоро Тим услыхал, как в двери щелкнул замок.

Тим разъярился не на шутку. Его женитьба обернулась позором, постоянным источником горьких сожалений; единственный мыслимый способ поправить дело — отъезд на край света — отрывал его от родного гнезда, не вселяя надежды на счастливое будущее. Черные тучи, по всей видимости, до конца дней будут омрачать

его семейное счастье. Тяжелые мысли душили Тима, и ярость его росла. Он стал думать, как отомстить обидчику, пока тот еще в досягаемости. Несколько времени ничто не приходило ему на ум, как вдруг его точно осенило. И он не мешкая бросился через свой сад в соседнюю усадьбу, принадлежавшую когда-то лесничему, где теперь жила одинокая женщина. Тим обежал по дорожке дом и остановился у задней стены. Дом стоял на откосе, и сзади крышу можно было достать рукой. Тим сунул руку под стреху и стал шарить в узком проеме.

— Ага! Память не изменила мне! — прошептал он, беззвучно шевеля губами.

Дернув посильнее, он вытащил из-под крыши какую-то странную, всю в паутине железную конструкцию, лязгнувшую от прикосновения. В длину в ней было около трех футов, в ширину наполовину меньше. Тим внимательно осмотрел находку, насколько было возможно в гаснущем свете дня, обтер рукой паутину и сказал: «Эта штучка, надо думать, поубавит прыти его длинным ногам!»

В руках у Тима было не что иное, как капкан для охоты на человека.

Глава XLVII

Если бы ценность автоматически действующего механизма определялась пригодностью его для самых изощренных, самых действенных пыток, то капкан для двуногих на выставке автоматов, бесспорно, получил бы первую премию.

Надо прибавить к этому, что изобретатель капкана, найденного Тимом под крышей дома лесничего, был, несомненно, человеком незаурядных способностей. Ибо созданный им снаряд отличался от прочих ему подобных в такой же степени, в какой дикие львы и тигры отличаются от медведей, волков и кабанов — обитателей бродячего зверинца. Другими словами, хотя во времена старой веселой Англии, воплощавшей в себе, как теперь считают, английский дух в самом чистом виде (это особенно справедливо по отношению к деревне), употреблялось великое множество всевозможных капканов, пальма первенства, без сомнения, принадлежала тому типу, которым сейчас вооружился Тим и который получил в свое время самое широкое распространение для охраны садов и поместий.

Среди капканов на двуногих существовало

несколько разновидностей. Беззубой пользовались мягкосердечные люди, и своей безвредностью она вызывала заслуженное презрение широкой публики. Челюсти такого капкана похожи на рот столетней старухи, в котором время не оставило ни единого зуба. Была промежуточная разновидность, зубастая наполовину: два дюйма милосердия, два дюйма пыток; два дюйма — мягкий щипок, два дюйма — акульи зубы, и так вдоль обеих челюстей. Эту разновидность изобрел, по всей вероятности, сквайр из тех, про которых говорят «ни рыба ни мясо», или йомен, уступивший мольбам своей жены. Была еще одна, крайняя разновидность, некое подобие плоскозубцев: такой капкан кожу не драл, но зато дробил кости.

Готовый к действию капкан производил впечатление живого существа — комбинацию акулы, крокодила и скорпиона. Каждый зуб представлял собой заостренный шип в два с четвертью дюйма длиной, и торчали они, чередуясь: зуб сверху, зуб снизу. В раскрытом виде обе половины образовывали полный круг диаметром в два или три фута; внутри имелась плитка в один квадратный фут, куда наступала нога злоумышленника, а от нее расходились в стороны две пружины — сердце

всего механизма, — которые срабатывали под действием силы тяжести (в данном случае этой тяжестью был вес тела обладателя ноги).

В Хинтоке жили еще старики, помнившие, как действовали эти капканы. Двоюродный дядя Тима Тенге провел как-то целую ночь в таком силке и на всю жизнь остался хромым. А еще был такой случай: как-то лесничий хинтокского леса поставил на браконьеров капкан, да и позабыл про него. Ну, сам и попался. Рана загрязнилась, начался столбняк, и бедняга отдал богу душу. Было это в тридцатые годы, а спустя десять лет такие капканы уже не употреблялись в окрестностях Хинтока. Почти целиком сделанные из железа, они не сгнили и не пошли на растопку, а валялись в каком-нибудь закутке на чердаке или в сарае, досягаемые для каждого, кому пришла бы охота побаловаться. В каждой деревне остался от старых времен хотя бы один такой капкан, и Тим с приятелями еще в мальчишескую пору (среди его приятелей было немало таких, которые мечтали стать знаменитыми браконьерами) любил играть в эту опасную игрушку, не думая, что она когда-нибудь ему пригодится. Они брали этот капкан, ставили в боевое положение и принимались бить поленьями по плите, пока челюсти не

захлопывались, оставляя в дереве следы в дюйм глубиной.

Осмотрев капкан и убедившись, что все его пружины и шипы в порядке, Тим без промедления взгромоздил его на плечо и пошел со своей ношей через сад. Выбравшись сквозь живую изгородь на тропинку, бегущую на задах, он с помощью толстой палки раскрыл капкан и, спрятав его в кустах, пошел вперед на разведку. Как уже говорилось, по этой тропинке ходили мало, но все-таки была опасность, что в капкан попадется случайная жертва, а Тенге решил действовать наверняка.

Пройдя вперед сотню шагов — тропинка в этом месте бежала вверх, — Тим поднялся на бугор, на котором рос высокий могучий падуб. Лес отсюда просматривался насквозь, и он не мог бы пропустить Фитцпирса.

Некоторое время никого не было видно. Наконец далеко в густеющих сумерках замаячила чья-то темная фигура, то и дело сливавшаяся с кустами, что росли по обеим сторонам тропы. Фигура приближалась, и Тенге уже слышал шорох шагов по мху. Еще не видя, кто идет, он по легкости шага узнал Фитцпирса.

Тим повернулся и побежал вниз, в сторону

своего сада. Вытащить капкан из кустов было делом одной минуты. Опасаясь, как бы пружина не сработала раньше времени, он осторожно перенес капкан к двум молодым дубкам, росшим бок о бок прямо на узкой тропе, там, где кустарник подступал к ней вплотную. Проем между дубками был как бы воротами в густых зарослях кустарника, здесь и поставил Тим свою западню, действуя все с той же предосторожностью. Он привязал цепь от капкана к одному из дубков, запер ее и наконец спустил предохранитель, защищавший от всякой случайности того, кто ставил капкан, или, употребляя местное, более образное выражение, «спустил собачку». Окончив работу, Тим поспешно бросился сквозь кусты в свой сад, бегом побежал к дому и, неслышно ступая, вошел в прихожую.

Послушная приказанию, Сьюк была уже в постели. Заперев на засов дверь, Тим расшнуровал ботинки, снял их у входа и, не зажигая свечи, поднялся в спальню и стал быстро раздеваться. Не успел он лечь, как раздался чей-то протяжный вопль, чей — невозможно было определить.

— Что это? — воскликнула в испуге Сьюк, садясь в постели.

— Похоже, что в чей-то силок попался заяц.

— Какой заяц! Разве зайцы кричат так громко? Послушай!

— Спи сейчас же. Забыла, что нам вставать ни свет ни заря.

Сьюк, ничего не ответив, легла. Тим осторожно открыл окно и прислушался. Сквозь многоголосую песню, исполняемую слаженным хором леса, до него доносилось с той стороны, где был поставлен капкан, слабое звяканье металлической цепи, но криков больше слышно не было.

Тим был озадачен. В спешке он как-то не подумал, что жертва будет кричать. Но почему кричали только один раз? Тим недолго ломал голову над ответом. Хинток больше для него не существовал. Через несколько часов он навсегда покинет его пределы и поплывет в далекую страну, к антиподам. Тенге затворил окно и лег спать.

Все то время, пока Тим приводил в исполнение свой коварный замысел, Грейс пребывала в глубокой задумчивости. Приближался час свидания с мистером Фитцпирсом, и она решала, следует ли сказать отцу, что она не совсем порвала с мужем, как он того желал ради ее блага. Если посвящать отца в эту тайну, то придется защищать Фитцпирса, к чему она еще не была готова.

Что же касается самого Фитцпирса, то она последние дни не переставала о нем думать. Конечно, он изменился. Но он и в самые худшие времена был с ней ласков. Возможно ли, что он все-таки станет верным и любящим мужем? Она была его женой, и от этого никуда не денешься; так должна ли она и дальше отталкивать его? То, что они виделись только с ее согласия, хотя, будучи законным супругом, он мог бы и проявить непослушание; то, что он беспрекословно исполнял ее малейшую прихоть, было в высшей степени неожиданно для Грейс и в то же время приятно. Если бы она была царицей, а он ее рабом, он и тогда не мог бы вести себя более преданно и почтительно, ни разу не переступив запретной черты.

Вспомнив вдруг об одном таком далеком сейчас дне прошлой весны, Грейс взяла молитвенник и открыла на молитве о любви супругов. Медленно перечитав ее, она заново открыла для себя, какой важный обет связал ее с ним не так давно на ступенях алтаря хинтокской церкви, и Грейс ужаснулась своему легкомыслию. Она стала размышлять над тем, может ли быть нарушена клятва, если человек дал ее, не ведая, какую силу она имеет. Фраза, начинающаяся словами: «Тех,

кого соединил Господь...» — особенно потрясла Грейс, ее кроткую, благочестивую душу. Неужели это Господь соединил ее с Фитцпирсом, спросила она себя с изумлением. Но додумать до конца эту интересную тему не успела: наступило время свидания, и она вышла из своего дома в ту самую минуту, когда Тим Тенге вернулся в свой.

Дальше события развивались так: Фитцпирс, находясь шагах в двухстах от усадьбы Тенге, продолжал идти вперед и скоро достиг бугра, на котором рос высокий падуб; отсюда тропинка сбегала вниз, прямо к двум дубкам-близнецам. Все шло пока, как и предполагал Тим. Но в то самое время, в противоположной стороне и тоже в шагах двухстах от западни, случилось то, чего Тим не предвидел: из кустов, опоясывающих усадьбу Мелбери, появилась Грейс и поспешила навстречу предполагаемой жертве Тима. Таким образом, муж и жена двигались навстречу друг другу, а на полдороге между ними затаилось, разинув пасть, страшное, готовое к прыжку чудовище.

Легко было у Фитцпирса на душе, когда шел в тот вечер по хинтокскому лесу: он верил, что мягкость его и неназойливость будут в конце концов вознаграждены. Любовь его к Грейс становилась только сильнее от вынужденного отчуждения,

которому Фитцпирс подчинился, чтобы не убить нежный росток пробудившегося доверия. Он шел очень быстро, гораздо быстрее Грейс, и если бы они так и продолжали идти друг другу навстречу, то он минутой раньше достиг бы поставленной западни. Но тут вмешалось еще одно обстоятельство: чтобы избежать любопытных ушей — а кому не интересно послушать объяснение поссорившихся супругов, — Фитцпирс и Грейс решили в тот день встретиться на бугре за усадьбой Тенге, поэтому, дойдя до падуба, Фитцпирс остановился.

Не более двух минут ждал он под густой кроной падуба, шелестевшей упругими кожистыми листьями, как вдруг услышал слабый вскрик с той стороны, откуда должна была появиться Грейс. «Что бы это могло значить?» — подумал Фитцпирс. А так как он пребывал сегодня в самом счастливом настроении духа, то решил, что слышит весенние голоса лесных духов и фей, которые, по преданию, любили резвиться в хинтокском лесу еще со времен старой веселой Англии. Так он и стоял в тени падуба минут десять, но вдруг начал беспокоиться: теперь уже услышанный возглас не казался ему таким безобидным, и он побежал по заросшему склону

вниз и дальше по темной тропинке навстречу Грейс.

Дубки-близнецы росли очень тесно, и Фитцпирс чуть не упал, налетев на них. Протянув в темноте руку, чтобы исследовать препятствие, он ощутил под рукой ворох шелковой ткани, а под ней холодные железные прутья. Это, однако, ничего не объяснило. Он чиркнул спичку, и кровь застыла у него в жилах.

Он увидел захлопнувшийся капкан, а в его зубьях юбку из пестрого шелка. Челюсти захлопнулись с такой силой, что страшные шипы насквозь пронзили ткань. Фитцпирс сразу узнал юбку: в ней Грейс последний раз была на свидании. Фитцпирс не раз рассматривал в Хинток-хаусе коллекцию таких капканов и сразу же представил себе, что произошло: Грейс попала в этот проклятый капкан, случайный прохожий освободил ее и унес, искалеченную, домой, а юбку никак нельзя было отцепить, и она здесь осталась. Беда обрушилась на него внезапно, в тот момент, когда будущее представлялось ему безоблачным счастьем. Удар был так силен, что из груди Фитцпирса, как в предсмертной агонии, вырвался вопль. Обезумев от горя, он упал на колени.

Ни одно из наказаний, посланных Фитцпирсу в искупление его грехов перед Грейс, не было и вполовину таким тяжким, как это.

— О любимая моя, бесценная Грейс! Как жестока судьба! Нет, это слишком страшная кара! — заламывал он в отчаянии руки над местом, где случилось несчастье, оплакивая бедную жену свою.

Стенания и вопли его были так громки, что если бы кто находился поблизости, то, конечно, услышал бы их. И такой человек поблизости был. Слева и справа от тропинки, там, где росли дубки, темнели густые заросли кустарника; от кустов вдруг отделилась женская фигурка, в которой даже в темноте была заметна, несмотря на изящество движений, какая-то странность.

Снизу от талии она была точно в узкой длинной белой юбке, верх же красиво облегала пышная блуза. Это была Грейс, его жена, только без той части своего туалета, которая попала в зубы капкана.

— Эдрид, дорогой, не убивайся так! — воскликнула она, подбегая и наклоняясь к мужу. — Я жива и невредима! Когда я вырвалась из капкана, то побежала было искать тебя, но услыхала шаги и спряталась. Вдруг это кто-нибудь чужой. А я в

таком виде!

Фитцпирс вскочил на ноги и, не задумываясь над тем, что делает, схватил Грейс в объятия. Грейс не оттолкнула его, да, пожалуй, и не смогла бы оттолкнуть, не обладая силой амазонок. Фитцпирс прижал ее к груди, осыпая поцелуями.

— Ты жива! Ты ничего не повредила себе! Слава богу! Слава богу! — повторял он, чуть не рыдая от восторга и благодарности, что все обошлось благополучно. — Грейс, любимая жена моя! Что здесь произошло?

— Я шла к тебе, — не очень внятно отвечала полузадушенная объятиями Грейс. — Я хотела прийти точно в назначенный час, но немножко замешкалась и не успела выйти пораньше, поэтому побежала, и, к счастью, довольно быстро. Когда я уже проскочила дубки, меня кто-то сильно дернул сзади, послышался лязг железа, я не удержалась на ногах и упала. Я подумала, что меня сейчас убьют, и закричала от страха, но в ту же минуту поняла, что никого, кроме меня, здесь нет, а это захлопнулся капкан и схватил мою юбку. Я дергала ее, дергала, но не могла вырвать. Позвать отца? Но мне не хотелось бы, чтобы он знал пока о наших встречах. И я решила снять юбку, пойти навстречу тебе и рассказать, какая

странная со мной приключилась история. Кое-как стащив с себя юбку, я вдруг услыхала чьи-то шаги. Я не была уверена, ты ли это, а предстать перед кем-нибудь чужим в таком виде мне было бы очень неприятно. И я спряталась.

— Тебя спасло только то, что ты бежала! Если бы шла обычным шагом, то одна твоя нога или даже обе были бы сломаны.

— Но ведь и ты мог попасть в этот ужасный капкан, — сказала Грейс, начиная понимать, какого страшного несчастья они так счастливо избежали. — О Эдрид! — воскликнула Грейс. — Чей-то добрый глаз охраняет нас сегодня. Мы должны быть благодарны судьбе.

— Ты моя, ты снова моя! — твердил Фитцпирс, прижимая крепче щеку жены к своей.

Грейс кротко ответила, что так, наверное, оно и есть.

— Я слышала, что ты говорил, когда думал, что со мной случилось несчастье, — продолжала она, застенчиво улыбнувшись. — И я знаю, что если человек так глубоко страдает из-за другого, то, значит, любит. Но как это страшилище могло здесь оказаться?

— Думаю, что его поставили против браконьеров.

Потрясенный происшедшим, Фитцпирс не смог устоять на ногах и опустился без сил на землю. И только слова Грейс, что хорошо бы извлечь из железных тисков юбку (тогда никто ни о чем не узнает), заставили его подняться.

Наступив ногами на пружины — Фитцпирс на одну, Грейс — на другую, оба с силой надавили вниз, вставили в открывшуюся щель полено, принесенное из стоявшей поблизости поленницы, и только тогда смогли вытащить юбку из зубастой пасти капкана. Юбка была точно изжевана и со множеством дырок, но, к счастью, полностью не порвалась, и Фитцпирс помог Грейс одеться. Когда привычный силуэт Грейс был таким образом восстановлен и они пошли от злосчастного места прочь, Грейс взяла Фитцпирса за руку, но он очень скоро внес исправление и обнял ее за талию.

Теперь, когда лед был так неожиданно сломан, Грейс перестала дичиться, и холодность ее как рукой сняло.

— Я позвала бы тебя домой, — сказала она Фитцпирсу, но отец ничего не знает о наших встречах и надо его подготовить.

— Конечно, конечно, дорогая. Но я бы и не принял приглашения. Я никогда больше не вернусь

сюда не только ради моего, но и ради твоего блага. У меня ведь есть хорошие новости. С этим ужасным приключением все из головы вон. Я купил практику, точнее — стал совладельцем на половинных паях с одним доктором в Мидленде. И через неделю должен ехать туда на постоянное жительство. Восемь месяцев назад умерла моя тетка и оставила небольшой капитал. Я уже снял удобный меблированный домик, где мы будем жить, пока не купим свой.

Он подробно описал дом, место, где он расположен, окрестности и даже вид из окна, и Грейс всем этим очень заинтересовалась.

— А почему ты еще не поселился там? — спросила она.

— Я не могу уехать из Хинтока, не получив твоего согласия. Ведь ты поедешь со мной, Грейс? Поедешь, да? Сегодняшний вечер решил все?

Все сомнения Грейс рассеялись, и она не сказала Фитцпирсу «нет».

Они шли точно в тумане, не видя дороги, поглощенные событиями этого вечера, чудесным избавлением от опасности и радостным воссоединением. Грейс потеряла направление и поняла, где они находятся, только выйдя на маленькую поляну в самой чаще леса. Луна стояла почти над

головой, и все вокруг было залито таинственным лунным светом. Вечер был очень теплый для середины мая и удивительно тихий, та пора, когда из лопнувших буковых почек вылезают большие мятые листья, нежные, как крылья бабочки. Со всех сторон висели ветви, опушенные такими листьями, как бы выстилая изнутри огромную зеленую вазу, на замшелом дне которой сидели Фитцпирс и Грейс.

На западе долго стояло зарево облаков, отражающих уходящий солнечный свет, отчего час казался не таким поздним. Грейс первая вспомнила о времени.

— Я должна идти домой, — сказала она, вскакивая на ноги.

И оба тотчас стали смотреть в сторону Хинтока. Фитцпирс взглянул на часы: лунный свет был так силен, что можно было различить стрелки.

— Боже мой! Я и не думал, что уже так поздно! — воскликнул Фитцпирс.

— А где мы находимся? — спросила Грейс.

— В двух милях от дома в направлении Шертона.

— Тогда иди скорее, Эдрид. Я дойду до дому одна, мне не страшно. Я хорошо знаю лес. Как приду, расскажу отцу, что мы решили. Я теперь очень

жалею, что ничего не говорила ему о наших встречах. Он стареет и становится раздражительным, поэтому я и не рассказывала ему ничего. До свидания, Эдрид!

— Мне, видно, придется ночевать сегодня в «Эрл-ов-Уэссексе». На поезд я уже опоздал. Думаю, будет лучше, если ты пойдешь со мной.

— Отец будет беспокоиться. Он ведь думает, что я на минутку вышла в сад. Ему и в голову не придет, где я.

— Он догадается. Меня наверняка видел кто-нибудь из хинтокцев. А завтра я провожу тебя до самого дома.

— «Эрл-ов-Уэссекс» перестроен. Теперь там так неуютно и вечно полно народу.

— Если ты боишься, что нас увидят вместе, то я могу остановиться в «Трех бочках».

— Нет-нет, этого я не боюсь. Просто у меня с собой ничего нет — ни щетки, ни гребешка.

Глава XLVIII

Весь вечер Мелбери то и дело подходил к дверям и восклицал в недоумении:

— Куда могла запропаститься эта девчонка? Никогда еще не уходила из дому, не сказавшись. Пошла на огород за петрушкой и провалилась!

Мелбери исходил весь двор, сад, огород, службы — Грейс как в воду канула. Тогда он пошел с расспросами по соседям, к Тенге, однако, не заглянул, помня, что молодым вставать ни свет ни заря. Жена одного из работников неосторожно заметила, что в лесу кто-то как будто кричал, но в какой стороне кричали, запамятовала.

Не на шутку встревоженный, Мелбери приказал работникам засветить фонари. И скоро целая компания с хозяином во главе двинулась на поиски в лес. В последнюю минуту подоспел Кридл, увешанный крючьями и мотками веревок, с которыми он никак не хотел расставаться. По дороге прихватили еще щепенника с мистером Баутри, тем самым, что торговал в местном кабачке сидром.

Обыскав каждый куст в окрестностях, наткнулись на злополучный капкан. Находка ничего

не прояснила, а только прибавила беспокойства: поднеся к капкану свечу, Мелбери увидел обрывки знакомой материи. Сомнения не было: юбка его дочери побывала в зубах чудовища. Хинтокцы углубились в лес, и попавшийся навстречу дровосек из Делборо сказал, что встретил по дороге девушку, по описанию похожую на Грейс. Какой-то мужчина вел ее под руку в сторону Шертона.

— Он прижимал ее к себе? — спросил Мелбери.

— Да, пожалуй.

— А она, случаем, не прихрамывала?

— Действительно, кажется, припадала на одну ногу. Голова-то, во всяком случае, клонилась к нему на плечо.

Вопль ужаса вырвался из груди Кридла. Мелбери, не подозревая о появлении Фитцпирса, связал сообщения дровосека с криком в лесу, слышанным соседями. Дело запутывалось, свирепый образ капкана еще нагнал страху, и компания, оглашая лес криками и маяча фонарями, поспешила в сторону Шертона, а оставив позади положенное число миль, вышли наконец на большак.

Ближе к Шертону прохожие стали попадаться чаще, и все, кого спрашивали, в один голос говорили, что видели похожую на Грейс девушку,

только теперь уже ни на чью заботливую руку она не опиралась. У самого города Мелбери сказал, что не может больше испытывать терпение друзей и пойдет дальше один, чтобы любой ценой разузнать, что же сталось, в конце концов, с его дочерью. Но не в правилах хинтокцев было оставлять друзей в беде, и все пошли дальше. Скоро засветились первые огоньки города, залаяли собаки. У заставы опять обнаружился след беглянки, но джентльмена и здесь не видали: молодая дама, одетая, как Грейс, вошла в город одна.

— Клянусь Небом, — воскликнул терявшийся в догадках Мелбери, — Грейс, видно, загипнотизировали. А то еще, не ровен час, во сне ходить стала.

Тайна, окутывавшая исчезновение Грейс, все не прояснялась, и вся компания Мелбери устремилась по улицам Шертона. На пороге одного из домов увидели они мистера Перкомба, парикмахера, разлучившего в свое время Марти Саут с ее косой. Мелбери тотчас обратился к нему с расспросами.

— Ба, кого я вижу? — воскликнул, не спеша с ответом, парикмахер. — Весь Малый Хинток к нам пожаловал! Помнится, я был у вас в последний раз три года назад, зимой, так я чуть не сгинул

тогда в вашем лесу. И как это вы живете в такой глухомани! Большой Хинток — и то уже дыра дырой: совы одни да летучие мыши. У вас и с ума спятить недолго. Добрался я до дому поздно ночью, так только дня через три опамятовался. У вас, мистер Мелбери, мошна толстая — я бы на вашем месте давно ушел на покой. Поселились бы у нас в Шертоне. Надо ведь когда-нибудь и на мир божий поглядеть.

Наконец этот поток красноречия иссяк, и Мелбери услышал, что Перкомб стал бы искать Грейс в гостинице «Эрл-ов-Уэссекс», самой фешенебельной в Шертоне, которую с открытием железной дороги перестроили в современный отель.

Оставив у входа в гостиницу всю ораву, Мелбери спросил у слуги, не находится ли сейчас в гостинице молодая красивая дама, и сообщил точное описание Грейс. Такая дама действительно остановилась в гостинице. При этом известии беспокойство Мелбери сильно уменьшилось, недоумение, однако же, возросло.

— А вы не знаете, — спросил Мелбери, — не моя ли это дочь?

Этого слуга не знал.

— А может, вы знаете имя этой дамы?

Но служащие гостиницы были все новые, наня-

тые в других местах, и имени дамы никто не знал. Джентльмена же они видели у себя не первый раз, но им в голову не пришло спросить его имя.

«Ага, джентльмен появился опять», — заметил себе Мелбери, а вслух прибавил:

— Я хотел бы повидать эту даму.

Слуга пошел наверх, и после некоторого промедления на лестнице появилась Грейс. Держалась она так, точно век здесь жила, хотя лицо было виноватое и даже испуганное.

— Грейс, как имя… — начал было отец, но осекся: — А я думал, ты пошла в огород нарвать петрушки!

— А я и правда пошла за петрушкой, а потом… ты только не беспокойся, отец, все уже хорошо, — торопясь и запинаясь от волнения, прошептала Грейс. — Я здесь не одна. Со мной Эдрид. Все вышло случайно.

— Эдрид? Случайно? А как он сюда попал? Я думал, он живет в двухстах милях отсюда.

— Да, правильно, в двухстах. Но он купил очень хорошую практику. На свои деньги — наследство получил — и потом приехал сюда. А меня чуть не захлопнул капкан, и поэтому я здесь. Мы как раз собирались кого-нибудь послать к тебе, чтобы ты не волновался.

По лицу Мелбери было видно, что слова дочери мало что ему объяснили.

— Тебя захлопнул капкан?

— Да, то есть мою юбку. С этого все и началось. Эдрид наверху, у себя в номере. Я уверена, что он будет рад видеть тебя.

— Но у меня, клянусь Небом, нет никакого желания его видеть! Довольно, навидался. Разве как-нибудь в другой раз, если уж тебе так захочется.

— Он приехал, чтобы посоветоваться со мной об этой самой практике. Очень хорошее место, очень.

— Рад слышать, — сухо заметил Мелбери.

Отец с дочерью замолчали; тем временем на пороге уже толпились хинтокцы в своих затрапезных платьях, вытягивая от любопытства шеи.

— Так ты, значит, не пойдешь с нами домой?

— Думаю… думаю, что нет, — ответила Грейс краснея.

Хинтокцы чувствовали себя неловко в этом красивом гостиничном холле — на поиски Грейс они отправились тотчас, как вернулись со своих делянок: кто в кожаном фартуке, кто в перепачканном смолой балахоне, а кто и вовсе без пиджака. Неслыханное дело — хинтокцы всегда

приезжали в Шертон в своих лучших сюртуках и шляпах. Кридл, увешанный крючьями и мотками веревок, с лицом, на котором ясно читалось предчувствие беды, достойно завершал живописную картину.

— Что же, соседушки, — обратился ко всей братии Мелбери, — пойдем обратно, да поживее. Время позднее, и дорога неблизкая. Скажу вам только, что промашка тут вышла. Мистер Фитцпирс купил в Мидленде хорошую практику и должен был встретиться с миссис Фитцпирс, чтобы решить важное дело — какое, я пока и сам не знаю. Так что вы уж простите меня и не гневайтесь сильно за эту ночною прогулку.

— Эге, — откликнулся щепенник, — до дому-то добрых семь миль топать, да еще на ночь глядя, да на своих двоих. Не худо было бы промочить глотку для поддержания сил перед обратной дорогой. У меня все во рту пересохло. Что скажете, братцы?

Все единодушно согласились, что глотку и впрямь промочить недурно, и отправились на окраинную, глухую и темную, улочку, единственным освещением которой было задернутое красной шторой окно «Трех бочек». Компания уселась за длинный стол, протянув усталые ноги

на полу, на котором метла оставила узор елочкой. Мелбери заказал приятелям пива, а сам, верный себе, вышел на улицу и стал ждать, поглядывая по сторонам, пока хинтокцы не утолят жажду.

«Что поделаешь, он ей муж, — говорил себе Мелбери. — Пусть ложится к нему в постель, если хочет! Но только не мешало бы ей помнить, что в эту самую минуту где-то веселится женщина, которую он, не пройдет и года, станет ласкать, как ласкает сейчас ее, как год назад ласкал Фелис Чармонд, а год перед тем Сьюк Дэмсон. Грейс напрасно надеется… Одному Богу известно, чем все у них кончится».

За столом в «Трех бочках» говорили на ту же тему.

— Будь она моя дочь, я бы показал ей, как самовольничать! Это называется пойти в огород за петрушкой. Гонять людей ночью в Шертон! Сама-то небось спит до полудня, а нам вставать еще до света, — говорил в сердцах один из спасателей, который не был поденщиком у Мелбери и мог позволить себе некоторую вольность суждений.

— Это ты уж слишком круто берешь, — возразил щепенник. — Но и то сказать, хорошие времена настали: поссорились, ославили себя на весь честной мир, ни родных, ни близких не

постеснялись, а потом этих же близких дураками выставили!

— А-а, нынешние женщины все изменщицы, — вторил ему Кридл. — Нет чтобы остаться в отцовском доме и до гроба блюсти верность.

Говоря эти слова, Кридл думал с грустью о своем бывшем хозяине.

— Муж и жена, — заметил благоразумно фермер Баутри, — одна сатана. Их делить — сам в дураках останешься. Я тут знавал одну пару… хотя чего греха таить, все здесь свои: мои это дядька с теткой. Помню, чего только у них в ход ни шло: и кочерга, и сковородка, и щипцы. Ну, думаешь, убьют друг друга, ей-богу, убьют. Глядь — а они уже сидят рядком. Чисто голубок с голубкой. Да еще петь начнут. А уж петь были оба горазды! Так чисто выводят, так голосисто, особливо на высоких нотах.

— А я недавно какую чудную историю слышал, — заговорил опять первый. — От одной жены ушел муж. Вернулся через двадцать четыре года. Пришел — дело к вечеру было, — и видит: жена сидит возле очага, отдыхает. Он по другую руку сел. «Ну что, какие новости?» — спрашивает жена. «А никаких, — отвечает муж, — а у тебя что?» — «Тоже ничего. Вот только дочь от второго

мужа месяц назад замуж вышла. А сама я уже год как вдова». — «Угу, — отвечает муж, — а еще что?» — «А больше ничего», — говорит жена. Пришли соседи и видят: сидят они — один слева от очага, другой справа — и спят, сердечные, так что пушкой не добудишься.

— Не знаю, про кого это ты слышал, — заметил Кридл. — Но эти двое не твоим молчунам чета: найдут о чем говорить.

— Вестимо дело, найдут. Он все науки превзошел, да и она не лыком шита.

— Теперь женщины шибко ученые стали, — заметил щепенник. — Их не обманешь, как в прежние времена бывало.

— Они и прежде лишку умны были, — вздохнул Джон Апджон. — Нашему брату с ними не тягаться. Помню, ухаживал я за своей старухой. Не поверите, до чего ловка была и хитра! Знала, как показать себя с лучшей стороны. Заметили небось, что старуха моя с одной стороны глянь — хоть куда, а с другой ни то ни се?

— Я, например, не заметил, — вежливо отозвался щепенник.

— Ну ладно, пусть, — продолжал Апджон, не смущаясь. — У них всегда так: с одного боку — красавица, с другого — черт знает что. Так

чего-чего только моя старуха не выдумывала, чтобы держать меня с одной стороны. Куда бы мы ни шли: в гору ли, под гору ли, против ветра или по ветру, в лицо нам пекло солнце или в затылок, — бородавка ее всегда глядела в забор, а на меня — ямочка. И я, при моей простоте, даже не замечал ничего. Даром что двумя годами моложе, а сумела обвести меня вокруг пальца, как слепого котенка. Да и то сказать, мы тогда уже на третьей ступени сватовства были. Нет, по-моему, бабы умнее не стали, оттого что умны-то они всегда были.

— А сколько всего бывает ступеней в сватовстве, мистер Апджон? — спросил молодой парень, прислуживавший когда-то на рождественском обеде у Уинтерборна.

— Пять: первая — самая холодная, а потом все жарче… У меня, во всяком случае, было пять.

— А вы не смогли бы, мистер Апджон, рассказать про эти ступени и сколько какая ступень длится?

— Отчего же не мог бы? Конечно, мог. Только незачем! Ты и сам все узнаешь — так уж человеку на роду написано. И чем раньше, тем лучше.

— А миссис Фитцпирс не хуже твоей старухи обвела доктора вокруг пальца, — заметил щепен-

ник. — Он совсем ручной стал. Только надолго ли его хватит? Я как-то вечером обношу сад колючей проволокой и вдруг вижу: они идут. Мне и то стало жаль беднягу — так она его мучила. Вот еще принцесса выискалась: любоваться — любуйся, а тронуть — не смей. Кто бы мог ожидать такое от этой девчонки!

Мелбери вернулся в комнату. Хинтокцы объявили, что подкрепились достаточно, и компания двинулась в обратный путь. Светила луна, и возвращение было веселым. Шли лесными тропами: для тех, кто знал окрестности, это значительно сокращало путь. Тропа вела мимо церкви, и, проходя возле кладбища, наши путники, занятые пересудами, заметили одинокую девичью фигуру, недвижно стоявшую у калитки.

— Это, кажется, Марти Саут, — бросил мимоходом щепенник.

— Похоже, что она, — откликнулся Апджон. — Кого еще об эту пору встретишь в лесу в одиночестве?

Хинтокцы гурьбой прошествовали мимо и тут же забыли о Марти.

А это действительно была она. В тот вечер, как всегда по этим дням, они должны были вместе с Грейс отнести цветы на могилу Джайлса, но за

все восемь месяцев после смерти Уинтерборна Грейс первый раз не пришла в условленное место. Марти долго ждала ее на дороге неподалеку от усадьбы Мелбери, потом, решив, что Грейс вышла раньше и, не дождавшись, отправилась на кладбище одна, дошла до кладбищенской калитки, но ее и там не было. Чувство товарищества не позволяло ей пойти к могиле одной: она думала, что Грейс опаздывает из-за неотложного дела. Более двух часов стояла Марти у калитки, прижимая к себе корзинку, полную цветов, и чувствуя босыми ногами, как медленно остывает сырая земля. Вдруг услыхала она в лесу топот шагов и голоса: это возвращались хинтокцы. В тиши ночи слышалось каждое слово, и Марти поняла, что случилось и где сейчас Грейс.

Едва только хинтокцы спустились с холма и голоса затихли вдали, Марти толкнула калитку и пошла в дальний угол кладбища, где за кустами возвышался необтесанный камень, отмечавший место последнего упокоения Джайлса Уинтерборна.

Тонкая, обтянутая узким платьем фигурка высилась, озаренная лунным светом, над могилой Джайлса. Ничто женское почти не улавливалось в этом строгом облике, с которого ночной час

стер печать бедности и физического труда. Она казалась святой, без сожаления отрекшейся от своей земной сущности во имя более высокого назначения человека — любви ко всему живому под солнцем.

— Теперь ты мой, — прошептала Марти, — только мой, потому что она все-таки забыла тебя, хотя ты и отдал ради нее жизнь. Но я никогда, никогда тебя не забуду. Я ложусь спать — ты неотступно в моих мыслях, пробуждаюсь — и моя первая мысль о тебе. Сажаю ли я молодые деревца, оттачиваю ли колышки или давлю сидр, я все время думаю, что никогда не было и не будет такого умельца, как ты. И если я забуду тебя, то пусть лишусь крова над головой, пусть небо отвернется от меня! Но нет, нет, любимый, я никогда тебя не забуду, потому что ты был добрый человек и творил добрые дела.